



Это цифровая копия книги, хранящейся для потомков на библиотечных полках, прежде чем ее отсканировали сотрудники компании Google в рамках проекта, цель которого - сделать книги со всего мира доступными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских прав на эту книгу истек, и она перешла в свободный доступ. Книга переходит в свободный доступ, если на нее не были отданы авторские права или срок действия авторских прав истек. Переход книги в свободный доступ в разных странах осуществляется по-разному. Книги, перешедшие в свободный доступ, это наш ключ к прошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все пометки, примечания и другие записи, существующие в оригинальном издании, как минимум о том долгом пути, который книга прошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использования

Компания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы перевести книги, перешедшие в свободный доступ, в цифровой формат и сделать их широкодоступными. Книги, перешедшие в свободный доступ, принадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, поэтому, чтобы и в дальнейшем предоставлять этот ресурс, мы предприняли некоторые действия, предотвращающие коммерческое использование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические запросы.

Мы также просим Вас о следующем.

- Не используйте файлы в коммерческих целях.
Мы разработали программу Поиск книг Google для всех пользователей, поэтому используйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.
- Не отправляйте автоматические запросы.
Не отправляйте в систему Google автоматические запросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного перевода, оптического распознавания символов или других областей, где доступ к большому количеству текста может оказаться полезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем использовать материалы, перешедшие в свободный доступ.
- Не удаляйте атрибуты Google.
В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он позволяет пользователям узнать об этом проекте и помогает им найти дополнительные материалы при помощи программы Поиск книг Google. Не удаляйте его.
- Делайте это законно.
Независимо от того, что Вы используете, не забудьте проверить законность своих действий, за которые Вы несете полную ответственность. Не думайте, что если книга перешла в свободный доступ в США, то ее на этом основании могут использовать читатели из других стран. Условия для перехода книги в свободный доступ в разных странах различны, поэтому нет единых правил, позволяющих определить, можно ли в определенном случае использовать определенную книгу. Не думайте, что если книга появилась в Поиске книг Google, то ее можно использовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских прав может быть очень серьезным.

О программе Поиск книг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне доступной и полезной. Программа Поиск книг Google помогает пользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый поиск по этой книге можно выполнить на странице <http://books.google.com/>

ПЕРЕПЛЕТНАЯ
Я. ДЗИСЬВСКИЙ
Медовая 14.

PROPERTY OF
*University of
Michigan
Libraries*
1817
ARTES SCIENTIA VERITAS

Digitized by Google

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ
СОЧИНЕНІЙ
Гр. А. К. ТОЛСТОГО.

Съ портретомъ графа Алексѣя Толстого и критико-
біографическимъ очеркомъ С. А. Венгерова.

ТОМЪ ТРЕТІЙ.

Приложеніе къ журналу „Нива“ *Printed in Russia*

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Изданіе А. Ф. МАРКСА.

1907

891.78

T649

1937

v. 3



Артистич. заведеніе А. Ф. Маркса, Измайл. пр., № 29.



1056-219113

БЕЛЛЕТРИСТИЧЕСКІЯ
ПРОИЗВЕДЕНІЯ.

У П Ы Р Ь.

РАЗСКАЗЪ.

Съ предисловіемъ Вл. Серг. Соловьева.

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Въ 1841 году вышло въ Петербургѣ въ ограниченномъ числѣ экземпляровъ первое произведеніе начинающаго писателя подѣ псевдонимомъ Краснорогскаго. Оно было замѣчено Бѣлинскимъ, который въ своей рецензіи оказался пророкомъ.

«Эта небольшая, — пишетъ онъ: — со вкусомъ, даже изящно изданная книжка носитъ на себѣ всѣ признаки еще слишкомъ молодого, но тѣмъ не менѣе замѣчательнаго дарованія, которое нѣчто обѣщаетъ въ будущемъ. Содержаніе ея многосложно и исполнено эффектовъ; но причина этого заключается не въ недостаткѣ фантазіи, а скорѣе въ ея пылкости, которая еще не успѣла умѣриться опытомъ жизни и уравновѣситься съ другими способностями души... Вообще густота и яркость красокъ, напряженность фантазіи и чувства, односторонность идеи, избытокъ жара сердечнаго, тревога вдохновенія, порывъ и увлеченія—признаки произведеній юности... «Упырь»— произведеніе фантастическое... оно можетъ насытить прелестью ужаснаго всякое молодое воображеніе...» Бѣлинскій отказывается излагать содержаніе «Упыря», потому что «читатели немного увидѣли бы изъ сухого изложенія. Скажемъ только,—заключаетъ онъ свою рецензію:— что уже самая многосложность и запутанность изобрѣтенія обнаруживаютъ въ авторѣ силу фантазіи, а мастерское изложеніе, умѣніе сдѣлать изъ своихъ лицъ что-то въ родѣ характеровъ, способныхъ схватить духъ страны и времени, къ которымъ относится событіе, прекрасный языкъ, иногда похожий даже на «слогъ», словомъ, во всемъ отпечатокъ руки твердой, литературной—все это заставляетъ насъ надѣяться въ будущемъ многого отъ автора «Упыря». Въ комъ есть талантъ, въ томъ жизнь и наука сдѣлаютъ свое дѣло, а въ авторѣ «Упыря», повторяемъ, есть рѣшительное дарованіе».

Всѣми признанная эстетическая чуткость Бѣлинскаго

не обманула его и на этотъ разъ. Авторъ «Упыря» былъ графъ А. К. Толстой. Къ сдѣланной знаменитымъ критикомъ краткой оцѣнкѣ литературныхъ качествъ его перваго юношескаго произведенія нельзя прибавить ничего существеннаго, и я хочу здѣсь сказать лишь нѣсколько словъ о томъ, что есть истинно-фантастичное, и указать на нѣкоторыя особыя черты его проявленія въ этой повѣсти.

Существенный интересъ и значеніе фантастическаго въ поэзіи держится на увѣренности, что все происходящее въ мірѣ, и особенно въ жизни человѣческой, зависитъ, кромѣ своихъ наличныхъ и очевидныхъ причинъ, еще отъ какой-то другой причинности, болѣе глубокой и многообъемлющей, но зато менѣе ясной. Если бы жизненная связь всего существующаго была проста и прозрачна какъ дважды-два — четыре, то этимъ исключалось бы все фантастическое, — дадимъ ли мы ему неосмотрительное названіе «сверхъестественнаго», или обозначимъ его болѣе осторожно какъ «необычайное»; не имѣя своего мѣста и смысла въ жизни, оно было бы лишено и всякаго права на изображеніе въ здоровой поэзіи, и сама эта поэзія исчерпывалась бы тогда сообщеніемъ красивой формы повседневному, насквозь прозаическому содержанію. Тогда Германъ и Доротея остались бы въ поэзіи, да и то съ кой-какими выпусками, но Фауста, если бы онъ былъ написанъ, слѣдовало бы уничтожить какъ бредъ сумасшедшаго.

Но представленіе жизни какъ чего-то простаго, разсудительнаго и прозрачнаго прежде всего противорѣчитъ дѣйствительности, оно не реально. Въдѣ было бы очень плохимъ реализмомъ — утверждать, напримѣръ, что подъ видимою поверхностью земли, по которой мы ходимъ и ѣздимъ, не скрывается ничего, кромѣ пустоты. Такого рода реализмъ былъ бы разрушенъ всякимъ землетрясеніемъ и всякимъ вулканическимъ изверженіемъ, свидѣтельствующими, что подъ видимою земною поверхностью таятся дѣйствующія и слѣдовательно дѣйствительныя силы. Немногимъ лучше былъ бы и противоположный взглядъ, который, признавая дѣйствительность подземнаго, считалъ бы его прямо «сверхъестественнымъ». Такой супранатурализмъ достаточно опровергался бы опытомъ рудокоповъ и геологовъ, знакомыхъ съ естественными наслоеніями и глубинами земной коры.

Существуютъ такіа естественныя наслоенія и глубины и въ жизни человѣческой, и проявляются они не въ однѣхъ только историческихъ катастрофахъ. Подъ наружную повседневную связь житейскихъ событій существуетъ и чуткому вниманію открывается иная роковая жизненная связь, постоянная и строго-последовательная при всей неожиданности и кажущейся иррациональности своихъ проявленій. Какъ геологическіе слои земной коры не расположены вездѣ одинаково концентрически, а въ разныхъ мѣстахъ пересѣкаютъ другъ друга, такъ что, напримѣръ, въ Финляндіи или въ Шотландіи прямо подъ растительнымъ покровомъ выступаютъ древнѣйшія первозданныя образованія, такъ и мистическая глубина жизни иногда близко подходитъ къ житейской поверхности; но и въ этихъ случаяхъ «растительный покровъ» повседневнаго сознанія все-таки налицо. И вотъ отличительный признакъ подлинно-фантастическаго: оно никогда не является, такъ сказать, въ обнаженномъ видѣ. Его явленія никогда не должны вызывать принудительной вѣры въ мистическій смыслъ жизненныхъ происшествій, а скорѣе должны указывать, намекать на него. Въ подлинно-фантастическомъ всегда остается внѣшняя, формальная возможность простаго объясненія изъ обыкновенной всегдашней связи явленій, при чемъ однако это объясненіе окончательно лишается внутренней вѣроятности. Всѣ отдѣльныя подробности должны имѣть повседневный характеръ, и лишь связь цѣлаго должна указывать на иную причинность.

Отдѣльныхъ, обособленныхъ явленій фантастическаго не бываетъ, бываютъ только реальныя явленія, но иногда выступаетъ яснѣе обыкновеннаго иная, болѣе существенная и важная связь и смыслъ этихъ явленій. Никто не станетъ читать вашей фантастической поэмы, если въ ней рассказывается, что въ вашу комнату внезапно влетѣлъ шестикрылый ангелъ и поднесъ вамъ прекрасное золотое пальто съ алмазными пуговицами. Ясно, что и въ самомъ фантастическомъ рассказѣ пальто должно дѣлаться изъ обыкновеннаго матеріала и приноситься не ангеломъ, а портнымъ,—и лишь отъ сложной связи этого явленія съ другими происшествіями можетъ возникнуть тотъ загадочный или таинственный смыслъ, какового они въ отдѣльности не имѣютъ. Какъ однѣми и тѣми же буквами мы пишемъ рѣчи и высокаго и «подлаго» штиля, такъ

одинакія явленія при различномъ контекстѣ жизни могутъ имѣть и самое обыкновенное, поверхностное, и самое глубокое значеніе. Такъ оно есть въ дѣйствительности, такъ должно быть и въ поэзіи.

Юношеская повѣсть Толстого удовлетворяетъ этому требованію. Хотя она насыщена фантастическимъ элементомъ, онъ вездѣ растворенъ житейской реальностью и нигдѣ не выступаетъ въ обнаженномъ видѣ. Такъ, съ самаго начала, хотя можетъ показаться, что мы вдругъ попали въ область довольно дикой мистики, но сейчасъ же обнаруживается, что это только литературный приемъ. На балу, въ Москвѣ, главный герой повѣсти встрѣчаетъ страннаго господина, который съ важнымъ и глубоко-убѣжденнымъ видомъ объявляетъ ему, что въ числѣ гостей есть нѣсколько безпокойныхъ покойниковъ, на похоронахъ которыхъ онъ недавно присутствовалъ, но которые съ удивительною наглостью притворяются живыми, чтобы продолжать свою давнишнюю профессію—сосать кровь изъ молодыхъ людей и дѣвицъ. Для начала фантастическаго разказа это было бы слишкомъ прямолинейно и недостаточно тонко, но скоро оказывается, что странный господинъ не въ своемъ умѣ, и читатель до конца повѣсти не принуждается отвергнуть окончательно такого объясненія. И во всемъ дальнѣйшемъ нѣтъ ни одной подробности, которая сама по себѣ имѣла бы характеръ чудеснаго и не допускала бы естественнаго объясненія. Весь разказъ есть удивительно-сложный фантастическій узоръ на канвѣ обыкновенной реальности. Запутанныя диковинныя происшествія въ Комо имѣютъ свою подкладку нѣсколько кошмаровъ, при чемъ незамѣтные переходы изъ бодрственнаго состоянія въ сонное и обратно изображены такъ художественно-тонко и правдиво, что эти юношескія страницы сдѣлали бы честь зрѣлому и опытному мастеру. Диковинныя видѣнія въ подмосковномъ домѣ бригадирши Сугробиной также легко могутъ быть приписаны въ отдаленности болѣзненному бреду, тѣмъ болѣе, что ихъ испыталъ человекъ тяжело раненый, едва пришедшій въ сознаніе. Средоточіе разказа—старинная баллада, найденная въ бібліотекѣ бригадирши Сугробиной.

Какъ филинъ поймалъ летучую мышь,
Когтями сжалъ ея кости,
Какъ рыцарь Амвросій съ толпой удалцовъ
Къ сосѣду собирается въ гости.

Хоть много цѣпей и замковъ у воротъ,
Ворота хозяйка гостямъ отогреть.
Что-жь, Марѳа, веди насъ, гдѣ спать твой старикъ!
Зачѣмъ ты такъ поблѣднѣла?
Подъ замкомъ кипитъ и клубится Дунай.
Ночь скроетъ кровавое дѣло.

.....

Подъ замкомъ бѣжить и клубится Дунай.
Бѣгутъ облака половою.
Ужъ кончено дѣло, зарѣзанъ старикъ.
Амвросій пируетъ съ толпою.

.....

Подъ замкомъ бѣжить и клубится Дунай,
Надъ замкомъ пламя пожара.
Амвросій своимъ удалцамъ говоритъ:
Всѣхъ рѣзать отъ мала до стара!
Не сѣтуй, хозяйка, и будь веселѣй—
Сама-жь ты впустила веселыхъ гостей.

.....

Давнишнее описанное здѣсь злодѣяніе въ венгерскомъ замкѣ, проклятіе измѣннически убитаго старика и отдаленныя слѣдствія этого проклятія на итальянскихъ озерахъ и въ Московской губерніи—все это, въ искусномъ сплетеніи, составляетъ содержаніе «Упыря». Фантастическій элементъ даетъ этой повѣсти ея существенную форму, а общій смыслъ ея—нравственная и наследственная, устойчивость и повторяемость типовъ и дѣяній, искупленіе предковъ потомками.

Несмотря на нѣкоторые недостатки, объясняемые возрастомъ автора (наивность любовной интриги, мелодраматическій тонъ нѣкоторыхъ мѣстъ, излишняя яркость другихъ, устарѣлыя выраженія), эта повѣсть до конца остается занимательной и привлекательной. Хотя влеченіе къ таинственному и необычайному все болѣе распространяется въ наши дни, но элементъ истинно-фантастичнаго въ современной литературѣ представленъ очень слабо, и тѣмъ болѣе кстати является теперь вновь это прекрасное произведеніе живой, юношески-свѣжей фантазій.

Владиміръ Соловьевъ.

26 ноября 1899 г.

У П Ы Р Ь.

Разказъ.

Балъ былъ очень многолюденъ. Послѣ шумнаго вальса Руневскій отвелъ свою даму на ея мѣсто и сталъ прохаживаться по комнатамъ, посматривая на различныя группы гостей. Ему бросился въ глаза человѣкъ, повидимому, еще молодой, но блѣдный и почти совершенно сѣдой. Онъ стоялъ, прислонясь къ камину, и съ такимъ вниманіемъ смотрѣлъ въ одинъ уголъ залы, что не замѣтилъ, какъ пола его фрака дотронулась до огня и начала куриться. Руневскій, возбужденный страннымъ видомъ незнакомца, воспользовался этимъ случаемъ, чтобы завести съ нимъ разговоръ.

— Вы вѣрно кого-нибудь ищите, — сказалъ онъ: — а между тѣмъ ваше платье скоро начнетъ горѣть.

Незнакомецъ оглянулся, отошелъ отъ камина и, пристально посмотрѣвъ на Руневского, отвѣчалъ:

— Нѣтъ, я никого не ищу; мнѣ только странно, что на сегодняшнемъ балѣ я вижу упырей!

— Упырей? — повторилъ Руневскій: — какъ упырей?

— Упырей, — отвѣчалъ очень хладнокровно незнакомецъ. — Вы ихъ, Богъ знаетъ почему, называете вампирами, но я могу васъ увѣрить, что имъ настоящее русское названіе: упырь; а такъ какъ они происхожденія чисто-славянскаго, хотя встрѣчаются во всей Европѣ и даже въ Азіи, то и неосновательно придерживаться имени исковерканнаго венгерскими монахами, которые вздумали-было все переворачивать на латинскій ладъ и изъ упыря сдѣ-

лали вампира. Вампиръ, вампиръ!—повторилъ онъ съ презрѣніемъ:—это все равно, что если бы мы, русскіе, говорили вмѣсто привидѣнія—фантомъ или ревенантъ!

— Но однако,—спросилъ Руневскій:—какимъ бы образомъ попали сюда вампиры или упыри?

Вмѣсто отвѣта незнакомецъ протянулъ руку и указалъ на пожилую даму, которая разговаривала съ другою дамою и привѣтливо поглядывала на молодую дѣвушку, сидѣвшую возлѣ нея. Разговоръ, очевидно, касался до дѣвушки, ибо она время отъ времени улыбалась и слегка краснѣла.

— Знаете ли вы эту старуху?—спросилъ онъ Руневскаго.

— Это бригадирша Сугробина,—отвѣчалъ тотъ:—я ее лично не знаю, но мнѣ говорили, что она очень богата, и что у нея недалеко отъ Москвы есть прекрасная дача, совсѣмъ не въ бригадирскомъ вкусѣ.

— Да, она точно была Сугробина нѣсколько лѣтъ тому назадъ, но теперь она не что иное, какъ самый гнусный упырь, который только ждетъ случая, чтобы насытиться человѣческою кровью. Смотрите, какъ она глядитъ на эту бѣдную дѣвушку: это ея родная внучка. Послушайте, что говоритъ старуха: она ее расхваливаетъ и уговариваетъ пріѣхать недѣли на двѣ къ ней на дачу, на ту самую дачу, про которую вы говорите, но я васъ увѣрю, что не пройдетъ трехъ дней, какъ бѣдняжка умретъ. Доктора скажутъ, что это горячка, или воспаленіе легкихъ; но вы имъ не вѣрьте!

Руневскій слушалъ и не вѣрилъ ушамъ своимъ.

— Вы сомнѣваетесь?—продолжалъ тотъ:—никто однако лучше меня не можетъ доказать, что Сугробина упырь, ибо я былъ на ея похоронахъ. Если бы меня тогда послушали, то ей бы вбили осиновый колъ между плечъ для предосторожности; ну, да что прикажете? Наслѣдники были въ отсутствіи, а чужимъ какое дѣло?

Въ эту минуту подошелъ къ старухѣ какой-то оригиналъ въ коричневомъ фракѣ, въ парикѣ, съ большимъ Владимірскимъ крестомъ на шеѣ и съ знакомъ отличія за 45 лѣтъ безпорочной службы. Онъ держалъ обѣими руками золотую табакерку и еще издали протягивалъ се бригадиршѣ.

— И это упырь?—спросилъ Руневскій.

— Безъ сомнѣнія,—отвѣчалъ незнакомецъ.—Это стат-

скій совѣтникъ Теляевъ; онъ большой пріятель Сугробиной и умеръ двумя недѣлями прежде ея.

Приблизившись къ бригадиршѣ, Теляевъ улыбнулся и шаркнулъ ногой. Старуха также улыбнулась и опустила пальцы въ табакерку статскаго совѣтника.

— Съ донникомъ, мой батюшка?—спросила она.

— Съ донникомъ, сударыня,—отвѣчалъ сладкимъ голосомъ Теляевъ.

— Слышите?—сказалъ незнакомецъ Руневскому:—это слово въ слово ихъ ежедневный разговоръ, когда они еще были живы. Теляевъ всякій разъ, встрѣчаясь съ Сугробиной, подносилъ ей табакерку, изъ которой она брала щепотку, спросивъ напередъ, съ донникомъ ли табакъ? Тогда Теляевъ отвѣчалъ, что съ донникомъ, и садился возлѣ нея.

— Скажите мнѣ,—спросилъ Руневскій:—какимъ образомъ вы узнаете, кто упырь и кто нѣтъ?

— Это совсѣмъ не мудрено. Что касается до этихъ двухъ, то я не могу въ нихъ ошибаться, потому что зналъ ихъ еще прежде смерти и (мимоходомъ буди сказано) немало удивился, встрѣтивъ ихъ между людьми, которымъ они довольно извѣстны. Надобно признаться, что на это нужна удивительная дерзость. Но вы спрашиваете, какимъ образомъ узнавать упырей? Замѣтите только, какъ они, встрѣчаясь другъ съ другомъ, щелкаютъ языкомъ. Это по-настоящему не щелканье, а звукъ, похожій на тотъ, который производятъ губами, когда сосутъ апельсинъ. Это ихъ условный знакъ, и такъ они другъ друга узнаютъ и привѣтствуютъ.

Тутъ къ Руневскому подошелъ одинъ щеголь и напомнилъ ему, что онъ его *vis-à-vis*. Всѣ пары уже стояли на мѣстѣ, и такъ какъ у Руневскаго еще не было дамы, то онъ поспѣшилъ пригласить ту молодую дѣвушку, которой незнакомецъ пророчилъ скорую смерть, ежели она согласится ѣхать къ бабушкѣ на дачу. Во время танца онъ имѣлъ случай разсмотрѣть ее съ примѣчаніемъ. Она была лѣтъ семнадцати; черты лица ея, уже сами по себѣ прекрасныя, имѣли какое-то необыкновенно трогательное выраженіе. Можно было подумать, что тихая грусть составляетъ ея постоянный характеръ; но когда Руневскій, разговаривая съ нею, касался смѣшной стороны какого-нибудь предмета, выраженіе это исчезало, а на мѣсто его появлялась самая веселая улыбка. Всѣ

отвѣты ея были остроумны, всѣ замѣчанія разительны и оригинальны. Она смѣялась и шутила безъ всякаго зло-словія и такъ чистосердечно, что даже тѣ, которые служили цѣлью ея шутокъ, не могли бы разсердиться, если-бъ они ихъ слышали. Видно было, что она не гоняется за мыслями и не изыскиваетъ выражений, но что первыя рождаются внезапно, а вторыя приходятъ сами собою. Иногда она забывалась, и тогда опять облако грусти по-мрачало ея чело. Переходъ отъ веселаго выраженія къ печальному и отъ печальнаго къ веселому составлялъ странную противоположность. Когда стройный и легкій станъ ея мелькалъ между танцующими, Руневскому казалось, что онъ видитъ не существо земное, но одно изъ тѣхъ воздушныхъ созданій, которыя, какъ увѣряютъ поэты, въ мѣсячныя ночи порхаютъ по цвѣтамъ, не сгибая ихъ подъ своей тяжестью. Никогда никакая дѣвушка не производила на Руневскаго такого сильнаго впечатлѣнія; онъ тотчасъ послѣ танца попросилъ, чтобъ его представили ея матери.

Вышло, что дама, разговаривавшая съ Сугробиной, была не мать ея, а какая-то тетка, которую звали Зориной и у которой она воспитывалась. Руневскій узналъ послѣ, что дѣвушка уже давно сирота. Сколько онъ могъ замѣтить, тетка ее не любила; бабушка ее ласкала и называла своимъ сокровищемъ, но трудно было угадать, отъ чистаго ли сердца происходили ея ласки. Сверхъ этихъ двухъ родственницъ у нея никого не было на свѣтѣ. Одинокое положеніе бѣдной дѣвушки еще болѣе возбудило участіе Руневскаго,—но, къ сожалѣнію его, онъ не могъ продолжать съ ней разговора. Толстая тетка, послѣ нѣсколькихъ пошлыхъ вопросовъ, представила его своей дочери, жеманной барышнѣ, которая тотчасъ имъ завладѣла.

— Вы много смѣялись съ моей кузиной,—сказала она ему.—Кузина любитъ смѣяться, когда бываетъ въ духѣ. Я чаю, всѣмъ отъ нея досталось?

— Мы мало говорили о присутствующихъ,—отвѣчалъ Руневскій.—Разговоръ нашъ болѣе касался французскаго театра.

— Право? Но признайтесь, что нашъ театръ не заслуживаетъ даже, чтобъ его бранили. Я всегда страхъ какъ скучаю, когда туда ѣзжу, но я это дѣлаю для кузины; маменька по-французски не понимаетъ, и для нея все равно, есть ли театръ или нѣтъ, а бабушка и слы-

шать про него не хочеть. Вы еще не знаете бабушки; это въ полномъ смыслѣ слова—бригадирша. Повѣрите ли, она сожалѣеть, что мы болѣе не пудримся!

Софья Карповна (такъ называли барышню), посмѣявшись насчетъ бабушки и желая ослѣпить Руневскаго своею колкостью, перешла и къ прочимъ гостямъ. Болѣе всѣхъ отъ нея доставалось одному маленькому офицеру съ черными усами, который очень высоко прыгаль, танцуя французскую кадрили.

— Посмотрите, пожалуйста, на эту фигуру,—говорила она Руневскому:—можно ли видѣть что-нибудь смѣшнѣе ея, и можно ли для нея придумать фамилію приличнѣе той, которой она гордится: ее зовутъ Фрышкинъ! Это самый несносный человѣкъ въ Москвѣ и, что всего досаднѣе, онъ себя считаетъ красавцемъ и думаетъ, что всѣ въ него влюблены. Смотрите, смотрите, какъ его эполеты хлопаютъ о плечи! Мнѣ кажется, онъ скоро проломаеть паркетъ!

Софья Карповна продолжала злословить всѣхъ и каждаго, а Фрышкинъ между тѣмъ, принявъ сердитый видъ и закручивая усы, прыгаль самымъ отчаяннымъ образомъ. Руневскій, глядя на него, не могъ удержаться отъ смѣха. Софья Карповна, ободренная его веселостью, удвоила свое злословіе насчетъ бѣднаго Фрышкина. Наконецъ Руневскому удалось избавиться отъ докучливой собесѣдницы. Онъ подошелъ къ ея толстой матери, попросилъ позволенія ее навѣщать и завелъ разговоръ съ бригадиршей.

— Смотри-жь, мой батюшка,—сказала ему ласково старуха:—къ Зориной-то ходи, къ Ѳедосьѣ Акимовнѣ, да и меня грѣшную не забывай. Вѣдь не все-жь съ молодежью-то балагурить! Въ наше время не то было, что теперь; тогда молодые люди меньше франтили, да больше слушали стариковъ; куцыхъ-то фраковъ не носили, а не хуже вашего одѣвались. Ну, не въ укоръ тебѣ сказать, а на что ты похожь, мой батюшка, съ своими хвостиками-то? Птица не птица, человѣкъ не человѣкъ! Да и обхождение-то было другое; учтивѣе люди были, нечего сказать! А офицеры-то не ломались на балахъ, вотъ какъ этотъ Фрышкинъ, а дрались-то не хуже вашихъ. Вотъ какъ покойный мой Игнатій Савельичъ, бывало, начнетъ рассказывать, какъ они подъ турка-то ходили, такъ инда слушать страшно. Мы, говорить, стоимъ-себѣ на Дунаѣ, говорить, съ графомъ Петромъ Александровичемъ, а на

той сторонѣ турка стоитъ; нашихъ-то немного, да и все почти новички, а ихнихъ-то тьма-тьмушая. Вотъ отъ матушки-государыни повелѣнье пришло къ графу: перейди, дескать, черезъ Дунай да разбей басурмана! Нечего дѣлать, не хотѣлось графу, а послушался, перешелъ черезъ Дунай, съ нимъ и мой Игнатій Савельичъ. Въ наше время не разсуждали, мой батюшка; куда велятъ идти, туда и шли. Вотъ стали осаждать крѣпость-то басурманскую, что зовуть Силистріей, да силы не хватило, началъ отступать графъ Петръ Александровичъ, а они-то, некрести, и заслонили ему дорогу. Прищемили его между трехъ армій; тутъ бы ему и животъ кончить, да и моему Игнатію Савельичу съ нимъ, если-бъ нѣмецъ-то, Вейсманъ, не выручилъ. Напалъ онъ на тѣхъ, что переправу-то стерегли, да и разбилъ въ пухъ супостата, даромъ что нѣмецъ. Тутъ же и Игнатій Савельичъ былъ, и ногу ему прострѣлили басурманы, а Вейсмана-то убили совсѣмъ. Что-жь, мой батюшка? Графъ-то переправился на свою сторону. да тотчасъ и началъ готовиться опять къ бою съ некрестями! Не уступлю, дескать, знай нашихъ! Вотъ каковы, мой батюшка, въ старину люди-то были, не вашимъ чета, даромъ что куцыхъ-то фраковъ не носили, не въ укоръ тебѣ буди сказано!

Старуха еще много говорила про старину, про Игнатя Савельича и про Румянцова.

— Вотъ пріѣхалъ бы ты ко мнѣ на дачу,—сказала она ему подъ конецъ:—я бы тебѣ показала портретъ и графа Петра Александровича, и князя Григорія Александровича, и моего Игнатя Савельича. Живу я не такъ, какъ жывали прежде, не то теперь время; а гостямъ всегда рада. Кто меня вспомнить, тотъ и завернетъ ко мнѣ въ «Березовую Рощу», а мнѣ-то оно и любо. Семень Семеновичъ,—прибавила она, указывая на Теляева:—меня также не забываетъ и черезъ нѣсколько дней обѣщался ко мнѣ пріѣхать. Вотъ и моя Дашенька у меня погостить; она доброе дитя и не оставитъ своей старой бабушки, не правда ли, Даша?

Даша молча улыбнулась, а Семень Семеновичъ поклонился Руневскому и, вынувъ изъ кармана золотую табакерку, обтеръ ее рукавомъ и поднесъ ему обѣими руками, сдѣлавъ притомъ шагъ назадъ, вмѣсто того, чтобъ сдѣлать его впередъ.

— Радъ служить, радъ служить, матушка Марѳа Сергѣевна,—сказаль онъ сладкимъ голосомъ бригадиршѣ:—и даже... если бы... въ случаѣ... то-есть... — Тутъ Семень Семеновичъ щелкнулъ точно такъ, какъ описываль незнакомецъ, и Руневскій невольно вздрогнулъ. Онъ вспомнилъ о странномъ человѣкѣ, съ которымъ разговариваль въ началѣ вечера, и, увидѣвъ его на томъ же мѣстѣ, возлѣ камина, обратился къ Сугробиной и спросилъ ее: не знаетъ ли она, кто онъ? Старуха вынула изъ мѣшка очки, протерла ихъ платкомъ, надѣла на носъ и, поглядѣвъ на незнакомца, отвѣчала Руневскому:

— Знаю, мой батюшка, знаю; это г. Рыбаренко. Онъ родомъ малороссіянинъ и изъ хорошей фамиліи, только онъ, бѣдняжка, ужъ три года какъ помѣшался въ умѣ. А все это отъ моднаго воспитанія. Вѣдь, кажется, еще молоко на губахъ не обсохло, а надо было поѣхать въ чужіе края! Пошатался тамъ года съ два да и пріѣхаль съ умомъ на изнанку.—Сказавъ это, она своротила разговоръ на кампаніи Игнатя Савельича.

Вся тайна обращенія г. Рыбаренки объяснилась теперь въ глазахъ Руневскаго. Онъ былъ сумасшедшій, бригадирша Сугробиная добрая старушка, а Семень Семеновичъ Теляевъ не что иное, какъ оригиналъ, который щелкалъ только потому, что заикался, или что у него недоставало зубовъ.

Прошло нѣсколько дней послѣ бала, и Руневскій короче познакомился съ тетушкой Даши. Сколько Даша ему нравилась, столько же онъ чувствовалъ отвращенія къ Ѳедосѣ Акимовнѣ Зориной. Она была женщина лѣтъ сорока пяти, замѣчательно толстая, очень непріятной наружности и съ большими притязаніями на щегольство и на свѣтское обращеніе. Недоброжелательство ея къ племянницѣ, которое, несмотря на свои старанія, она часто не могла скрыть, Руневскій приписаль тому, что собственная ея дочь, Софья Карповна, не имѣла ни Дашиной красоты ни молодости. Софья Карповна, казалось, сама это чувствовала и старалась всячески отмстить своей соперницѣ. Она была такъ хитра, что никогда открыто ее не злословила, но пользовалась всѣми случаями, когда могла непримѣтно подать объ ней невыгодное мнѣніе; между тѣмъ Софья Карповна притворялась ея искреннею пріятельницею и съ жаромъ извиняла ея мнимые недостатки.

Руневскій замѣтилъ съ самаго начала, что ей очень

хочется его плѣнить, и сколько это ни было ему неприятно, но онъ почелъ за нужное не показывать, до какой степени она ему противна, и старался обходиться съ нею какъ можно учтивѣе.

Общество, посѣщавшее домъ Зориной, состояло изъ людей, которыхъ не встрѣчали въ высшихъ кругахъ и изъ коихъ бѣльшая часть, по примѣру хозяйки дома, проводила время въ сплетняхъ и злословіи. Среди всѣхъ этихъ лицъ Даша являлась какъ свѣтлая птичка, залетѣвшая изъ цвѣтущей страны въ темный и неопрятный курятникъ. Но, хотя она не могла не чувствовать предъ ними своего превосходства, ей и въ мысль не приходило чуждаться или пренебрегать людьми, коихъ привычки и воспитаніе такъ мало согласовались съ тѣмъ родомъ жизни, для котораго она была рождена. Руневскій удивлялся ея терпѣнію, когда, изъ снисхожденія къ старикамъ, она слушала ихъ длинные рассказы, не занимающіе ея нисколько; онъ удивлялся ея постоянной привѣтливости къ этимъ барынямъ и барышнямъ, изъ коихъ бѣльшая часть не могла ея терпѣть. Не разъ также онъ былъ свидѣтелемъ, какъ она со всею приличною скромностью, иногда однимъ только взглядомъ, удерживала молодыхъ франтовъ въ границахъ должной почтительности, когда въ разговорахъ съ нею имъ хотѣлось забыться. Мало-по-малу Даша привыкла къ Руневскому. Она уже не старалась скрыть своей радости при его посѣщеніяхъ; казалось, внутреннее чувство говорило ей, что она можетъ положиться на него, какъ на вѣрнаго друга. Довѣренность ея съ каждымъ днемъ возрастала; она уже повѣряла ему иногда свои маленькія печали и наконецъ однажды призналась, какъ она несчастлива въ домѣ своей тетки.

— Я знаю,—говорила она:—что онѣ меня не любятъ и что я имъ въ тягость; вы не повѣрите, какъ это меня мучить. Хотя я съ другими смѣюсь и бываю весела, но зато какъ часто, наединѣ, я горько плачу!

— А ваша бабушка?—спросилъ Руневскій.

— О, бабушка совсѣмъ другое дѣло! Она меня любитъ, всегда меня ласкаетъ и не иначе со мной обходится, когда мы однѣ, какъ и при чужихъ. Кромѣ бабушки и еще старой маменькиной гувернантки, я думаю, нѣтъ никого, кто бы меня любилъ! Эту гувернантку зовутъ Клеопатрой Платоновной; она меня знала еще ребенкомъ, и только съ ней я и могу разговаривать про маменьку.

Я такъ рада, что увижу ее у бабушки на дачѣ; не правда ли, вы также туда приѣдете?

— Непремѣнно приѣду, если это вамъ не будетъ неприятно.

— О, напротивъ! Не знаю почему, хотя я съ вами знакома только нѣсколько дней, но мнѣ кажется, будто бы я васъ знаю уже такъ давно, такъ давно, что я и не припомню, когда мы въ первый разъ видѣлись. Можетъ-быть, это отъ того, что вы мнѣ напоминаете двоюроднаго брата, котораго я люблю какъ роднаго и который теперь на Кавказѣ.

Однажды Руневскій засталъ Дашу съ заплаканными глазами. Боясь ее еще болѣе разстроить, онъ притворился, будто ничего не примѣчаетъ, и началъ разговаривать объ обыкновенныхъ предметахъ. Даша хотѣла отвѣчать, но слезы брызнули изъ ея глазъ, она не могла выговорить ни слова, закрыла лицо платкомъ и выбѣжала изъ комнаты.

Черезъ нѣсколько времени вошла Софья Карповна и стала извинять Дашу въ странности ея поступка.

— Мнѣ самой стыдно за сестрицу,—сказала она:—но это такой ребенокъ, что малѣйшая бездѣлица можетъ привести ее въ слезы. Сегодня ей очень хотѣлось ѣхать въ театръ, но, къ несчастію, никакъ не могли достать ложи, и это ее такъ разстроило, что она еще долго не утѣшится. Впрочемъ, ежели бы вы знали всѣ ея хорошія качества, вы бы ей охотно простили эти маленькія слабости. Я думаю, нѣтъ на свѣтѣ существа добрѣе ея. Кого она любитъ, тотъ хоть сдѣлай преступленіе, она найдетъ средство его извинить и увѣритъ всѣхъ, что онъ правъ. Зато ужъ, объ комъ она дурнаго мнѣнія, того она не оставитъ въ покоѣ и всѣмъ расскажетъ, что она объ немъ думаетъ.

Такимъ образомъ Софья Карповна, расхваливая бѣдную Дашу, успѣла намекнуть Руневскому, что она малодушна, пристрастна и несправедлива. Но слова ея не сдѣлали на него никакого впечатлѣнія. Онъ въ нихъ видѣлъ одну только зависть и вскорѣ удостоверился, что не ошибся въ своемъ предположеніи.

— Вамъ, вѣроятно, показалось страннымъ,—сказала ему на другой день Даша:—что я отъ васъ ушла, когда вы со мной говорили; но, право, я не могла сдѣлать иначе. Я нечаянно нашла письмо отъ моей бѣдной маменьки. Теперь ужъ девять лѣтъ какъ она скончалась; я была

еще ребенкомъ, когда его получила, и оно мнѣ такъ живо напомнило время моего дѣтства, что я не могла удержаться отъ слезъ, когда при васъ объ немъ подумала. Ахъ, какъ я тогда была счастлива! Какъ я радовалась, когда получила это письмо! Мы тогда были въ деревнѣ, маменька писала изъ Москвы и обѣщалась скоро пріѣхать. Она въ самомъ дѣлѣ пріѣхала на другой день и застала меня въ саду. Я помню, какъ я вырвалась изъ рукъ нянюшки и бросилась къ маменькѣ на шею.

Даша остановилась и нѣсколько времени молчала, какъ бы забывшись.

— Вскорѣ потомъ,—продолжала она:—маменька вдругъ, безъ всякой причины, сдѣлалась больна, стала худѣть и чахнуть и черезъ недѣлю скончалась. Добрая бабушка до самой послѣдней минуты отъ нея не отходила. Она по цѣлымъ ночамъ сидѣла у ея кровати и за ней ухаживала. Я помню, какъ въ послѣдній день ея платье было покрыто маменькиной кровью. Это на меня сдѣлало ужасное впечатлѣніе, но мнѣ сказали, что маменька умерла отъ чахотки и кровохарканья. Вскорѣ я переѣхала къ тетускѣ, и тогда все перемѣнилось!

Руневскій слушалъ Дашу съ большимъ участіемъ. Онъ старался превозмочь свое смущеніе; но слезы показались на его глазахъ, и, не будучи въ состояніи удерживать долѣе порыва своего сердца, онъ схватилъ ея руку и сжалъ ее крѣпко.

— Позвольте мнѣ быть вашимъ другомъ,—вскричалъ онъ:—положитесь на меня! Я не могу вамъ замѣнить той, которую вы потеряли, но, клянусь честью, я буду вамъ вѣрнымъ защитникомъ, доколѣ останусь живъ!

Онъ прижалъ ея руку къ горячимъ устами, она преклонила голову къ его плечу и тихонько заплакала. Чьи-то шаги слышались въ ближней комнатѣ.

Даша легонько оттолкнула Руневскаго и сказала ему тихимъ, но твердымъ голосомъ:

— Оставьте меня; я, можетъ-быть, дурно сдѣлала, что предалась своему чувству, но я не могу себѣ представить, что вы чужой; внутренний голосъ мнѣ говоритъ, что вы достойны моей довѣренности.

— Даша, любезная Даша!—вскричалъ Руневскій:—еще одно слово! Скажите мнѣ, что вы меня любите, и я буду самымъ счастливымъ смертнымъ!

— Можете ли вы въ этомъ сомнѣваться?—отвѣчала она

спокойно и вышла изъ комнаты, оставя его пораженнымъ этимъ отвѣтомъ и въ недоумѣннн, поняла ли она точный смыслъ его словъ.

Въ тридцати верстахъ отъ Москвы находится село «Березовая Роща». Еще издали виденъ большой каменный домъ, выстроенный по-старинному и освѣщенный высокими липами, главнымъ украшеніемъ пространнаго сада, который расположенъ на покатомъ пригорѣ, въ регулярномъ французскомъ вкусѣ.

Никто, видя этотъ домъ и не зная его исторіи, не могъ бы подумать, что онъ принадлежитъ той самой бригадиршѣ, которая рассказываетъ про походы Игнатя Савельича и нюхаетъ русскій табакъ съ донникомъ. Зданіе было вмѣстѣ легко и величественно; можно было съ перваго взгляда угадать, что его строилъ архитекторъ итальянскій, ибо оно во многомъ напоминало прекрасныя виллы въ Ломбардіи или въ окрестностяхъ Рима. Въ Россіи, къ сожалѣнію, мало такихъ домовъ; но они вообще отличаются своею красотою, какъ настоящіе образцы хорошаго вкуса прошедшаго вѣка, а домъ Сугробиной можно безспорно назвать первымъ въ этомъ родѣ.

Въ одинъ теплый іюльскій вечеръ окна казались освѣщенными ярче обыкновеннаго, и даже, что рѣдко случалось, въ третьемъ этажѣ видны были блуждающіе огни, переходящіе изъ одной комнаты въ другую.

Въ это время на дорогѣ показалась коляска, которая, поровнявшись съ дачею, вѣхала черезъ длинную аллею на господскій дворъ и остановилась передъ подъѣздомъ дома. Къ ней подбѣжалъ казачокъ въ изорванномъ платьѣ и помогъ выйти Руневскому.

Когда Руневскій вошелъ въ комнату, онъ увидѣлъ множество гостей, изъ которыхъ иные играли въ вистъ, а другіе разговаривали между собою. Къ числу первыхъ принадлежала сама хозяйка, и противъ нея сидѣлъ Семенъ Семеновичъ Теляевъ. Въ одномъ углу комнаты накрытъ былъ столъ съ огромнымъ самоваромъ, и за нимъ засѣдала пожилая дама, та самая Клеопатра Платоновна, о которой Руневскому говорила Даша. Она казалась однихъ лѣтъ съ бригадиршей, но блѣдное лицо ея выражало глубокую горестъ, какъ будто бы ее тяготила страшная тайна.

При входѣ Руневскаго, бригадирша ласково его привѣтствовала.

— Спасибо тебѣ, мой батюшка,—сказала она:—что ты не забылъ меня старуху. А я ужъ начинала думать, что ты совсѣмъ не пріѣдешь; садись-ка возлѣ насъ, да выпей-ка чайку, да расскажи намъ, что у насъ новаго въ городѣ?

Семень Семеновичъ сдѣлалъ Руневскому очень оригинальный поклонъ, коего характеръ невозможно выразить словами, и, вынувъ изъ кармана свою табакерку, сказалъ ему сладкимъ голосомъ:

— Не прикажете ли? Настоящій русский, съ донникомъ. Я французскаго не употребляю; этотъ гораздо здоровѣе, да и къ тому-жъ... въ разсужденіи насморка...

Громкій ударъ языкомъ окончилъ эту фразу, и щелканье стараго чиновника обратилось въ неопредѣленное сосанье.

— Покорно благодарю,—отвѣчалъ Руневскій:—я табаку не нюхаю.

Но бригадирша бросила недовольный взглядъ на Теляева и, обратившись къ сосѣдкѣ, сказала ей вполголоса:

— Что за неприятная привычка у Семена Семеновича вѣчно щелкать. Ужъ я бы на его мѣстѣ вставила себѣ фальшивый зубъ да говорила бы какъ другіе.

Руневскій очень разсѣянно слушалъ и бригадиршу и Семена Семеновича. Взоры его искали Даши, и онъ увидѣлъ ее въ кругу другихъ дѣвушекъ возлѣ чайнаго стола. Она приняла его съ обыкновенной своей привѣтливостью и со спокойствіемъ, которое могло бы показаться равнодушіемъ. Что касается до Руневскаго, ему было трудно скрыть свое смущеніе, и неловкость, съ которой онъ отвѣчалъ на ея слова, можно было принять за замѣшательство. Вскорѣ однако онъ оправился; его представили нѣкоторымъ дамамъ, и онъ сталъ съ ними разговаривать, какъ будто ни въ чемъ не бывало.

Все въ домѣ бригадирши ему казалось необычайнымъ. Богатое убранство высокихъ комнатъ, освѣщенныхъ салными свѣчами; картины итальянской школы, покрытыя пылью и паутиной; столы изъ флорентинскаго мозаика, на которыхъ валялись недовязанные чулки, орѣховая скорлупа и грязныя карты: все это, вмѣстѣ съ простонародными приемами гостей, съ старосвѣтскими разговорами хо-

зьяки и со шелканьемъ Семена Семеновича, составляло самую странную смѣсь.

Когда приняли самоваръ, дѣвушки захотѣли во что-нибудь играть и предложили Руневскому сѣсть за ихъ столъ.

— Давайте гадать, — сказала Даша:— вотъ какая-то книга; каждая изъ насъ должна по очереди ее раскрыть на удачу, а другая назвать любую строчку съ правой или съ лѣвой стороны. Содержаніе будетъ для насъ пророчествомъ. Напримѣръ, я начинаю; г. Руневскій, назовите строчку.

— Седьмая на лѣвой сторонѣ, считая снизу.

Даша прочитала:

Пусть бабушка внучкину высосетъ кровь!

— Ахъ, Боже мой!— вскричали дѣвушки, смѣясь:— что это значить? Прочитайте это сначала, чтобы можно было понять.

Даша передала книгу Руневскому. Это былъ какой-то манускриптъ, и онъ началъ читать слѣдующее:

Какъ филинъ поймалъ летучую мышь,
Когтями сжалъ ея кости,
Какъ рыцарь Амвросій, съ толпой удальцовъ,
Къ сосѣду собирается въ гости.
Хоть много цѣпей и замковъ у воротъ,
Ворота хозяйка гостямъ отпереть.

«Что-жь, Марѳа, веди насъ, гдѣ спитъ твой старикъ?»

«Зачѣмъ ты такъ поблѣднѣла?»

«Подъ замкомъ кипитъ и клубится Дунай,

«Ночь скроетъ кровавое дѣло.

«Не бойся, изъ гроба мертвецъ не встанетъ,

«Что будетъ, то будетъ,—веди насъ впередъ!»

Подъ замкомъ бѣжитъ и клубится Дунай,

Бѣгутъ облака половою;

Ужъ кончено дѣло, зарѣзанъ старикъ,

Амвросій пируетъ съ толпою.

Въ кровавыя воды глядится луна,

Съ Амвросьемъ пируетъ злодѣйка-жена.

Подъ замкомъ бѣжитъ и клубится Дунай,

Надъ замкомъ пламя пожара.

Амвросій своимъ удальцамъ говорить:

«Всѣхъ рѣзать отъ мала до стара!

«Не стѣуй, хозяйка, и будь веселѣй,

«Сама-жь ты впустила веселыхъ гостей!»

Сверкая, клубясь, отражаетъ Дунай

Весь замокъ, пожаромъ объятый;

Амвросій своимъ удальцамъ говорить:

«Пора ужъ домой намъ, ребята!
«Не сѣлуй, хозяйка, и будь веселѣй,
«Сама-жъ ты впустила веселыхъ гостей!»

Надъ Мареой проклятіе мужа гремитъ,
Онъ проклялъ ее, умирая.
«Чтобъ сгинула ты, и чтобъ сгинулъ твой родъ,
«Сто разъ я тебя проклипаю!
«Пусть вѣчно изсякнетъ межъ вами любовь,
«Пусть бабушка внучкину высосетъ кровь!

«И родъ твой проклятіе мое да гнететь,
«И мѣста ему да не станетъ
«Дотоль, пока замужъ портретъ не пойдетъ,
«Невѣста изъ гроба не встанетъ
«И, черепъ разбивши, не ляжетъ въ крови
«Послѣдняя жертва преступной любви!»

Какъ филинъ поймалъ летучую мышъ,
Когтями сжалъ ея кости,
Какъ рыцарь Амвросій, съ толпой удалцовъ,
Къ сосѣду нахлынули въ гости.
«Не сѣлуй, хозяйка, и будь веселѣй,
«Сама-жъ ты впустила веселыхъ гостей».

Руневскій замолчалъ, и ему опять пришли въ голову слова того человѣка, котораго онъ видѣлъ нѣсколько времени тому на балѣ и который въ свѣтѣ слылъ сумасшедшимъ. Пока онъ читалъ, Сугробина, сидя за карточнымъ столомъ, со вниманіемъ слушала и сказала ему, когда онъ кончилъ:

— Что ты, мой батюшка, тамъ за страсти читаешь? Ужъ не вздумалъ ли ты пугать насъ, отецъ мой?

— Бабушка,—отвѣчала Даша:—я сама не знаю, что это за книга. Сегодня въ моей комнатѣ передвигали большой шкафъ, и она упала съ самаго верху.

Семенъ Семеновичъ Теляевъ мигнулъ бригадиршѣ и, повернувшись на стулѣ, сказалъ:

— Это, должно-быть, какая-нибудь аллегорія, что-нибудь такое метафорическое, гм!.. фантазія!..

— То-то фантазія!—проворчала старуха:—въ наше время фантазій-то не писали, да никто бы ихъ и читать не захотѣлъ! Вотъ что вздумали!—продолжала она съ довольнымъ видомъ:—придетъ же въ голову писать стихи про летучихъ мышей! Я ихъ смерть боюсь, да и филиновъ тоже! Нечего сказать, не трусь былъ и мой Игнатій Савельичъ, какъ подъ турку-то ходилъ, а мышей и крысъ терпѣть не могъ; такая у него ужъ натура была; а все это съ тѣхъ поръ, какъ имъ въ Молдавіи крысы житья не

давали. И провизію-то, мой батюшка, и амуницію, все поѣли. Бывало, заснешь, говоритъ, въ палаткѣ-то, анъ крысы придутъ да за самую косу теребятъ. Тогда-то косы еще носили, мой батюшка, не то что теперь, взъероша волосы ходятъ.

Даша шутила надъ предсказаніемъ, а Руневскій старался прогнать странныя мысли, тѣснившіяся въ его головѣ, и ему удалось себя увѣрить, что соотвѣтственность читанныхъ имъ стиховъ съ словами г. Рыбаренки не чтò иное, какъ случай. Они продолжали гадать, а старики между тѣмъ кончили вистъ и встали изъ-за столовъ. Къ крайней досадѣ Руневскаго, ему ни разу не удалось поговорить съ Дашей такъ, чтобы ихъ не слышали другіе. Его мучила неизвѣстность; онъ зналъ, что Даша на него смотритъ, какъ на друга, но не былъ увѣренъ въ ея любви, и не хотѣлъ просить руки ея, не получивъ на то позволенія отъ нея самой.

Въ продолженіе вечера Теляевъ нѣсколько разъ принимался щелкать, съ значительнымъ видомъ посматривая на Руневскаго.

Около одиннадцати часовъ гости начали расходиться. Руневскій простился съ хозяйкою, и Клеопатра Платоновна, позвавъ одного лакея, коего пунцовый носъ ясно обнаруживалъ пристрастіе къ крѣпкимъ напиткамъ, приказала отвести гостя въ приготовленную для него квартиру.

— Въ зеленыхъ комнатахъ?—спросилъ питомецъ Бахуса.

— Разумѣется, въ зеленыхъ!—отвѣчала Клеопатра Платоновна:—развѣ ты забылъ, что въ другихъ нѣтъ мѣста?

— Да, да,—проворчалъ лакей:—въ другихъ нѣтъ мѣста. Однако съ тѣхъ поръ, какъ скончалась Прасковья Андреевна, въ этихъ никто еще не жилъ!

Разговоръ этотъ напомнилъ Руневскому нѣсколько сказокъ о старинныхъ замкахъ, обитаемыхъ привидѣніями. Въ этихъ сказкахъ обыкновенно путешественникъ, застигнутый ночью на дорогѣ, останавливается у одинокой корчмы и требуетъ ночлега; но хозяинъ ему объявляетъ, что корчма уже полна проѣзжими, но что въ замкѣ, коего башни торчатъ изъ-за густого лѣса, онъ найдетъ покойную квартиру, если только онъ челоувѣкъ нетрусливаго десятка. Путешественникъ соглашается, и цѣлую ночь привидѣнія не даютъ ему заснуть.

Вообще, когда Руневскій вступилъ въ домъ Сугроби-

ной, странное чувство имъ овладѣло, какъ будто что-то необыкновенное должно съ нимъ случиться въ этомъ домѣ. Онъ приписалъ это вліянію словъ Рыбаренки и особенному расположенію духа.

— Впрочемъ, мнѣ все равно,—продолжалъ лакей:—въ зеленыхъ такъ въ зеленыхъ!

— Ну, ну, возьми свѣчку и не умничай!

Лакей взялъ свѣчку и повелъ Руневскаго во второй этажъ.

Прошедши нѣсколько ступенекъ, онъ оглянулся и, увидѣвъ, что Клеопатра Платоновна ушла, сталъ громко самъ съ собою разговаривать:

— Не умничай! Да развѣ я умничаю? Какое мнѣ дѣло до ихъ комнаты! Развѣ съ меня мало передней? Гм, не умничай! Вотъ кабы я былъ генеральша, такъ я бы, разумѣется, ихъ не запиралъ, велѣлъ бы освятить, да и принималъ бы въ нихъ гостей, или самъ жилъ. А то на что онѣ? Какой отъ нихъ прокъ?

— А что это за комнаты?—спросилъ Руневскій.

— Что за комнаты? Позвольте, я вамъ сейчасъ растолкую. Блаженной памяти Прасковья Андреевна,—сказалъ онъ набожнымъ голосомъ, остановясь среди лѣстницы и подымая глаза кверху:—дай Господь ей царство небесное...

— Послѣ, послѣ Расскажешь,—сказалъ Руневскій:—прежде проводи меня!

Онъ вошелъ въ просторную комнату съ высокимъ каминомъ, въ которомъ уже успѣли разложить огонь. Предосторожность эта, казалось, была взята не столько противъ холода, какъ для того, чтобы очистить спертый воздухъ и дать старинному покою болѣе жилой видъ. Руневскаго поразилъ женскій портретъ; висѣвшій надъ диваномъ, близъ небольшой затворенной двери. То была дѣвушка лѣтъ семнадцати, въ платьѣ на фижмахъ съ короткими рукавами, обшитыми кружевомъ, напудренная и съ розовымъ букетомъ на груди. Если бы не старинное одѣяніе, онъ бы непременно принялъ этотъ портретъ за Дашинь. Тутъ были всѣ ея черты, ея взглядъ, ея выраженіе.

— Чей это портретъ?—спросилъ онъ лакея.

— Это она-то и есть, покойница Прасковья Андреевна. Господа говорятъ, что онѣ похожи на Дарью Васильевну-съ; но, признательно сказать, я тутъ сходства большого

не вижу: у этой волосы напудренные-сь, а у Дарьи Васильевны они темно-русого цвѣта. Къ тому же Дарья Васильевна такъ не одѣваются, это старинный манеръ!

Руневскій не счелъ за нужное опровергать логическія разсужденія своего чичероне, но ему очень хотѣлось знать, кто была Прасковья Андреевна, и онъ спросилъ о ней у лакея.

— Прасковья Андреевна,—отвѣчалъ тотъ:—была сестрица бабушки теперешней генеральши-сь. Онѣ, изволите видѣть, были еще невѣста какого-то... какъ бишь его!.. ну, провалъ его возьми!.. Приѣхалъ онъ изъ чужихъ краевъ, скряга былъ такой пристрашный!.. Я-то его не помню, а такъ, по наслышкѣ, знаю, Богъ съ нимъ! Онъ-то, изволите видѣть, и домъ этотъ выстроилъ, а наши господа уже послѣ всю дачу купили. Вотъ для него да для Прасковьи Андреевны приготовили эти покои, что мы называемъ зелеными, отдѣляли ихъ получше, обили полы коврами, а стѣны обвѣшали картинами и зеркалами. Вотъ уже все было готово, какъ за день передъ свадьбою женихъ вдругъ пропалъ. Прасковья Андреевна тужили-тужили да съ горя и скончались. А матушка вишь ихъ, это выходитъ бабушка нашей генеральши, купили домъ у наслѣдниковъ да и оставили комнаты, приготовленныя для ихъ дочери, точь-въ-точь какъ онѣ были при ихъ жизни. Прочіе покои нѣсколько разъ передѣлывали да обновляли, а до этихъ никто не смѣлъ и дотронуться. Вотъ и наша генеральша ихъ до сихъ поръ запирали, да вишь много наѣхало гостей, такъ негдѣ было бы вашей милости ночевать.

— Но ты, кажется, говорилъ, что на мѣстѣ генеральши велѣлъ бы освятить эти комнаты?

— Да оно бы, сударь, и не мѣшало; куда лѣтъ шестьдесятъ никто крещеный не входилъ, тамъ мудрено ли другимъ хозяевамъ поселиться?

Руневскій попросилъ красноносаго лакея, чтобы онъ теперь его оставилъ; но тотъ, казалось, былъ не очень расположенъ исполнить эту просьбу. Ему все хотѣлось разсказывать и разсуждать.

— Вотъ гуть,—говорилъ онъ, указывая на затворенную дверь возлѣ дивана:—есть еще цѣлый рядъ покоевъ, въ которыхъ никто никогда не жилъ. Если-бъ ихъ отдѣлать по-нынѣшнему да вынести изъ нихъ старую мебель, такъ они были бы еще лучше тѣхъ, гдѣ живетъ барыня. Ну,

да что прикажете, сами господа не догадаются, а у нашего брата совета не спросят!

Чтобы от него скорее избавиться, Руневский всунул ему в руку цѣлковый и сказалъ, что ему теперь хочется спать, и что онъ желаетъ остаться одинъ.

— Чувствительнѣйше благодаримъ, — отвѣчалъ лакей: — желаю вашей милости спокойной ночи. Ежели вамъ что-нибудь, сударь, понадобится, извольте только позвонить, и я сейчасъ явлюсь къ вашей милости. Вашъ камердинеръ не то, что здѣшній человѣкъ, имъ домъ неизвѣстенъ, а мы, слава Богу, впотьмахъ не споткнемся.

Онъ удалился, и Руневский еще слышалъ, какъ онъ, уходя съ его человѣкомъ, толковалъ ему, сколь бы выгодно было, если бы бригадирша не запирала зеленыхъ комнатъ.

Оставшись одинъ, онъ замѣтилъ углубленіе въ стѣнѣ и въ немъ богатую кровать съ штофными занавѣсами и высокимъ балдахиномъ; но, либо изъ почтенія къ памяти той, для кого она была назначена, либо оттого, что ее считали безпокойною, ему приготовили постель на диванѣ, возлѣ маленькой затворенной двери.

Сбираясь лечь, Руневский бросилъ еще взглядъ на портретъ, столь живо напоминавшій ему черты, врѣзанныя въ его сердцѣ.

«Вотъ, — подумалъ онъ: — картина, которая по всѣмъ законамъ фантастическаго міра должна ночью оживиться и повесть меня въ какое-нибудь подземелье, чтобы показать мнѣ неотпѣтыя свои кости!» Но сходство съ Дашей дало другое направленіе его мыслямъ. Потушивъ свѣчку, онъ старался заснуть, но никакъ не могъ. Мысль о Дашѣ не давала ему покою; онъ долго ворочался съ боку на бокъ и наконецъ погрузился въ какой-то полусонъ, гдѣ, какъ въ туманѣ, вертѣлись передъ нимъ старая бригадирша, г. Рыбаренко, рыцарь Амвросій и Семенъ Семеновичъ Теляевъ.

Тяжелый стонъ, вырвавшійся какъ будто изъ стѣсненной сильнымъ отчаяньемъ груди, его внезапно пробудилъ. Онъ открылъ глаза и, при свѣтѣ огня, еще не погасшаго въ каминѣ, увидѣлъ подлѣ себя Дашу. Видъ ея очень его удивилъ, но его еще болѣе поразило ея одѣяніе. На ней было совершенно такое платье, какъ на портретѣ Прасковьи Андреевны; розовый букетъ былъ приколотъ къ ея груди, и въ рукѣ она держала старинное опахало.

— Вы ли это?—вскричалъ Руневскій:—объ эту пору, въ этомъ нарядѣ!

— Мой другъ,—отвѣчала она:—если я вамъ мѣшаю, я уйду прочь.

— Оставайтесь, оставайтесь!—возразилъ онъ:—скажите, что васъ сюда привело и чѣмъ я могу вамъ служить?

Она опять застонала, и стонъ этотъ былъ такъ страшенъ и выразителенъ, что онъ пронзилъ ему сердце.

— Ахъ,—сказала она:—мнѣ немного времени остается съ вами говорить; я скоро должна возвратиться туда, откуда пришла; а тамъ такъ жарко!

Она опустилась на кресло подлѣ дивана, гдѣ лежалъ Руневскій, и стала обмахивать себя опахаломъ.

— Гдѣ жарко? Откуда вы пришли?—спросилъ Руневскій.

— Не спрашивайте меня,—отвѣчала она, вздрогнувъ при его вопросѣ:—не говорите со мной объ этомъ! Я такъ рада, что васъ вижу,—прибавила она съ улыбкой:—вы долго здѣсь пробудете?

— Какъ можно дольше!

— И всегда будете здѣсь ночевать?

— Я думаю. Но зачѣмъ вы меня объ этомъ спрашиваете?

— Для того, чтобы мнѣ можно было говорить съ вами наединѣ. Я всякую ночь сюда прихожу, но въ первый разъ васъ здѣсь вижу.

— Это немудрено, я только сегодня пріѣхалъ.

— Руневскій,—сказала она, помолчавъ:—окажите мнѣ услугу. Въ углу, возлѣ дивана, на этажеркѣ есть коробочка; въ ней вы найдете золотое кольцо; возьмите его, а завтра обручитесь съ моимъ портретомъ.

— Боже мой!—воскликнулъ Руневскій:—чего вы отъ меня требуете!

Она въ третій разъ застонала еще жалобнѣе, нежели прежде.

— Ради Бога,—закричалъ онъ, не въ силахъ удержаться отъ внутренняго содроганія:—ради Бога, не шутите надо мной! Скажите мнѣ, что васъ сюда привело? Зачѣмъ вы такъ нарядились? Сдѣлайте милость, повѣрьте мнѣ свою тайну!

Онъ схватилъ ея руку, но сжалъ только холодные косяные пальцы и почувствовалъ, что держитъ руку остова.

— Даша, Даша!—закричалъ онъ въ изступленіи:—что это значитъ?

— Я не Даша, — отвѣчало насмѣшливымъ голосомъ привидѣніе: — отчего вы приняли меня за Дашу?

Руневскій чуть не упалъ въ обморокъ; но въ эту минуту послышался сильный стукъ въ дверь, и знакомый его лакей вошелъ со свѣчою въ рукахъ.

— Чего изволите, сударь? — спросилъ онъ.

— Я тебя не звалъ.

— Да вы изволили позвонить. Вотъ и шнурокъ еще болтается!

Руневскій въ самомъ дѣлѣ увидѣлъ шнурокъ отъ колокольчика, котораго прежде не замѣтилъ, и въ то же время понялъ причину своего испуга. То, что онъ принялъ за Дашу, былъ портретъ Прасковьи Андреевны, а когда онъ ее хотѣлъ взять за руку, онъ схватилъ жесткую кисть шнурка, и ему показалось, что онъ держитъ костяные пальцы скелета.

Но онъ съ нею разговаривалъ, она ему отвѣчала; онъ принужденъ былъ внутренно сознаться, что истолкованіе его не совсѣмъ естественно, и рѣшилъ, что все видѣнное имъ — одинъ изъ тѣхъ сновъ, которымъ на русскомъ языкѣ нѣтъ, кажется, приличнаго слова, но которые французы называютъ *cauchemar*. Сны эти обыкновенно продолжаются и послѣ пробужденія и часто, но не всегда, бываютъ сопряжены съ давленіемъ въ груди. Отличительная ихъ черта — ясность и совершенное сходство съ дѣйствительностью.

Руневскій отослалъ лакея и готовился уснуть, какъ вдругъ лакей опять явился въ дверяхъ. Піоны на его носу уступили мѣсто смертельной блѣдности; онъ дрожалъ всѣмъ тѣломъ.

— Что съ тобой случилось? — спросилъ Руневскій.

— Воля ваша, — отвѣчалъ онъ: — я не могу ночевать въ этомъ этажѣ и ни за что не войду опять въ свою комнату!

— Да говори же, что въ твоей комнатѣ?

— Что въ моей комнатѣ? А то, что въ ней сидитъ портретъ Прасковьи Андреевны!

— Что ты говоришь! Это тебѣ показалось оттого, что ты пьянъ!

— Нѣтъ, нѣтъ, сударь, помилуйте! Я только что хотѣлъ войти, какъ увидѣлъ, что она тамъ, сердечная; прости меня Боже! Она сидѣла ко мнѣ спиной, и я бы умеръ со страха, если-бъ она оглянулась, да, къ счастью, я успѣлъ тихонько уйти, и она меня не замѣтила.

Въ эту минуту вошелъ слуга Руневскаго.

— Александръ Андреевичъ,—сказалъ онъ дрожащимъ голосомъ:—здѣсь что-то нехорошо!

На вопросъ Руневскаго онъ продолжалъ:

— Мы было-поговорили съ Яковомъ Антипычемъ да и легли спать, какъ Яковъ Антипычъ мнѣ говоритъ: «вашъ баринъ звонить!» Я, признаться, засыпалъ, да къ тому-жъ Яковъ Антипычъ не совсѣмъ въ пропорціи, такъ я и думаю-себѣ, что имъ такъ показалось; перевернулся на другой бокъ да и захрапѣлъ. Чуть только захрапѣлъ, слышу—кто-то шаркъ-шаркъ да какъ будто каблучками постукиваетъ. Я открылъ глаза, да ужъ не знаю, увидѣлъ ли чтò или нѣтъ, а такъ холодомъ и обдало; вскочилъ и пустился бѣжать по коридору; теперь ужъ какъ прикажете, а позвольте мнѣ ночевать гдѣ-нибудь въ другомъ мѣстѣ, хоть на дворѣ!

Руневскій рѣшился изслѣдовать эту загадку. Надѣвъ халатъ, онъ взялъ въ руку свѣчу и отправился туда, гдѣ, по словамъ Якова, была Прасковья Андреевна. Яковъ и слуга Руневскаго слѣдовали за нимъ и дрожали отъ страха. Дошедши до полурастворенной двери, Руневскій остановился. Всѣхъ его силъ едва достало, чтобы выдержать зрѣлище, представившееся его глазамъ.

То самое привидѣніе, которое онъ видѣлъ у себя въ комнатѣ, сидѣло тутъ на старинныхъ креслахъ и казалось погружено въ размышленія. Черты лица его были блѣдны и прекрасны, ибо то были черты Даши, но оно подняло руку—и рука ея была костяная! Привидѣніе долго на нее смотрѣло, горестно покачало головой и застонало.

Стонъ этотъ проникъ въ самую глубину души Руневскаго.

Онъ, самъ себя не помня, отворилъ дверь и увидѣлъ, что въ комнатѣ никого нѣтъ. То, чтò казалось ему привидѣніемъ, было не чтò иное, какъ пестрая ливрея, повѣшенная черезъ спинку креселъ и которую издали можно было принять за сидящую женщину. Руневскій не понималъ, какъ онъ до такой степени могъ обмануться. Но товарищи его все еще не рѣшались войти въ комнату.

— Позвольте мнѣ ночевать поближе къ вамъ,—сказалъ лакей:—оно все-таки лучше; да и къ тому-жъ, если вы меня потребуете, я буду у васъ подъ рукою. Извольте только крикнуть: Яковъ!

— Позвольте ужъ и мнѣ остаться съ Яковомъ Антипичемъ, а то неравно...

Руневскій воротился въ свою спальню, а слуга его и лакей расположились за дверьми въ коридорѣ. Остатокъ ночи Руневскій провелъ спокойно; но, когда проснулся, онъ не могъ забыть своего приключенія.

Сколько онъ ни заговаривалъ объ зеленыхъ комнатахъ, но всегда бригадиша или Клеопатра Платоновна находили средство своротить разговоръ на другой предметъ. Все, что онъ могъ узнать, было то же, что ему рассказывалъ Яковъ: тетушка Сугробина, будучи еще очень молода, должна была выйти за богатаго иностранца, но за день передъ свадьбою женихъ исчезъ, а бѣдная невеста занемогла отъ горести и вскорѣ умерла. Многие даже въ то время увѣряли, что она отравила себя ядомъ. Комнаты, назначенныя для нея, остались въ томъ же видѣ, какъ были первоначально, и никто до приѣзда Руневскаго не смѣлъ въ нихъ входить. Когда онъ удивлялся сходству стариннаго портрета съ Дашей, Сугробина ему говорила:

— И немудрено, мой батюшка; вѣдь Прасковья-то Андреевна мнѣ родная тетка, а я родная бабушка Даши. Такъ что-жь тутъ необыкновеннаго, если онѣ одна на другую похожи? А что съ Прасковьей-то Андреевной несчастье случилось, такъ и этому нечего удивляться. Вышла бы за нашего, за русскаго, такъ и теперь бы еще жива была, а то полюбился ей бродяга какой-то! Нечего сказать, и въ наше время иногда затменіе на людей находило; только не прогнѣвайся, мой батюшка, а все-таки умнѣе люди были теперешнихъ!

Семень Семеновичъ Теляевъ ничего не говорилъ, а только потчевалъ Руневскаго табакомъ, и щелкалъ и сосалъ попеременно.

Въ этотъ день Руневскій нашелъ случай объясниться съ Дашей и открылъ свое сердце старой бригадиришѣ. Она сначала очень удивилась, но нельзя было замѣтить, чтобы его предложеніе ей было непріятно. Напротивъ того, она поцѣловала его въ лобъ и сказала ему, что, съ ея стороны, она не желаетъ для своей внучки жениха лучше Руневскаго.

— А что касается до Даши,—прибавила она:—то я давно замѣтила, что ты ей понравился. Да, мой батюшка, даромъ что старуха, а довольно знаю вашу братью мо-

лодежь! Впрочемъ, въ наше время дочерей-то не спрашивали; кого выберетъ отецъ или мать, за того онѣ и выходили, а, право, женитьбы-то счастливѣе были! Да и воспитаніе было другое, не хуже вашего. И въ наше время, отецъ мой, науками-то не брезгали, да фанабери-то глупой дѣвкамъ въ голову не вбивали; оттого и выходили онѣ поскромнѣе вашихъ попрыгуній-то. Вотъ и я, мой батюшка, даромъ что сама по-французски не говорю, а взяла же гувернантку для Дашиной матери, и учителя-то къ ней ходили, и танцмейстеръ былъ. Всему научилась, нечего сказать, а все-таки скромной и послушной дѣвушкой осталась. Да и сама-то я за Игнатя Савельича по волѣ отцовской вышла, а ужъ полюбила-то его какъ! Не наплачусь, бывало, какъ въ походъ ему идти придется, да нечего дѣлать, самъ, бывало, разсердится, какъ плакать-то начну. «Что ты, говоритъ, Марѳа Сергѣевна, расхныкалась-то? На то я и бригадиръ, чтобъ вѣрой и правдой матушкѣ-государынѣ служить! Не за печкой же сидѣть мнѣ, пока его сіятельство графъ Петръ Александровичъ будетъ съ турками воевать! Ворочусь, хорошо! не ворочусь, такъ ужъ по крайней мѣрѣ долгъ свой исполню по-солдатски!» А мундиръ-то какой красивый на немъ былъ! весь свѣтло-зеленый, шитый золотомъ, воротникъ алый, сапоги, какъ зеркало!.. Да что я, старуха, заболталась про старину-то! Не до того тебѣ, мой батюшка, не до того; поѣзжай-ка въ Москву да попроси Дашиной руки у тетки ея, у Зориной, Оедосьи Акимовны; отъ нея Даша зависить, она опекунша. А когда Зорина-то согласится, тогда ужъ пріѣзжай сюда женихомъ да поживи съ нами. Надобно-жъ тебѣ покороче познакомиться съ твоей будущей бабушкой!»

Старуха еще много говорила, но Руневскій ужъ ее не слушалъ. Онъ бросился въ коляску и поскакалъ въ Москву.

Уже было поздно, когда Руневскій пріѣхалъ домой, и онъ почелъ за нужное отложить до другого утра свой визитъ къ Дашиной тетушкѣ. Между тѣмъ сонъ его убѣгалъ, и онъ, пользуясь лунною ночью, пошелъ ходить по городу безъ всякой цѣли, единственно чтобъ успокоить волненіе своего сердца.

Улицы были уже почти пусты, лишь изрѣдка разда-

вались на тротуарахъ поспѣшные шаги или сонно стучали о мостовую дрожки извозчиковъ. Вскорѣ и эти звуки утихли, и Руневскій остался одинъ посреди огромнаго города и самой глубокой тишины. Прошедъ всю Моховую, онъ повернулъ въ Кремлевскій садъ и хотѣлъ идти еще далѣе, какъ на одной скамьѣ увидѣлъ человѣка, погруженнаго въ размышленія. Когда онъ поровнялся со скамьею, незнакомецъ поднялъ голову, мѣсяцъ освѣтилъ его лицо, и Руневскій узналъ г. Рыбаренко. Въ другое время встрѣча съ сумасшедшимъ не могла бы ему быть пріятна, но въ этотъ вечеръ, какъ будто нарочно, онъ все думалъ о Рыбаренкѣ. Напрасно онъ самъ себя повторялъ, что всѣ слова этого человѣка не что иное, какъ бредъ разстроеннаго разсудка; что-то ему говорило, что Рыбаренко не совсѣмъ сумасшедшій, что онъ, можетъ-быть, не безъ причины облакаетъ здравый смыслъ своихъ рѣчей въ странныя формы, которыя для непосвященнаго должны казаться дикими и несвязными, но коими онъ, Руневскій, не долженъ пренебрегать. Его даже мучила совѣсть за то, что онъ оставилъ Дашу одну въ такомъ мѣстѣ, гдѣ ей угрожала опасность.

Увидѣвъ его, Рыбаренко всталъ и протянулъ къ нему руку.

— У насъ, видно, одни вкусы,—сказалъ онъ, улыбаясь.—Тѣмъ лучше! Сядемъ вмѣстѣ и поболтаемъ о чемъ-нибудь.

Руневскій молча опустился на скамью, и нѣсколько времени оба сидѣли, не говоря ни слова.

Наконецъ Рыбаренко прервалъ молчаніе.

— Признайтесь,—сказалъ онъ:—что, когда мы познакомились на балѣ, вы приняли меня за сумасшедшаго?

— Не могу скрыть отъ васъ,—отвѣчалъ Руневскій:—что вы мнѣ показались очень странными. Ваши слова, ваши замѣчанія...

— Да, да; я думаю, что я вамъ показался страннымъ. Меня разсердили прожлятые упыри. Да, впрочемъ, и было за что сердиться, я никогда не видывалъ такого безстыдства. Что, вы послѣ никого изъ нихъ не встрѣчали?

— Я былъ на дачѣ бригадирши Сугробиной и видѣлъ тамъ тѣхъ, которыхъ вы называли упырями.

— На дачѣ у Сугробиной?—повторилъ Рыбаренко:—скажите, поѣхала ли къ ней ея внучка?

— Она теперь у нея, я видѣлъ ее недавно.

— Какъ, и она еще жива?

— Конечно, жива. Не прогнѣвайтесь, почтенный другъ, но мнѣ кажется, что вы сильно наклепали на бѣдную бригадиршу. Она предобрая старушка и любитъ свою внучку отъ чистаго сердца.

Рыбаренко, казалось, не слыхалъ послѣднихъ словъ Руневскаго. Онъ приставилъ палець къ губамъ, съ видомъ человѣка, ошибшагося въ своемъ разсчетѣ.

— Странно,—сказалъ онъ наконецъ:—упыри обыкновенно такъ долго не мѣшкаютъ. А Теляевъ тамъ?

— Тамъ.

— Это меня еще болѣе удивляетъ. Теляевъ принадлежитъ къ самой лютой породѣ упырей и онъ еще гораздо кровожаднѣе Сугробиной. Но это такъ недолго продолжится, и, если вы принимаете участіе въ бѣдной дѣвушкѣ, я вамъ совѣтую взять свои мѣры какъ можно скорѣй.

— Воля ваша,—отвѣчалъ Руневскій:—я никакъ не могу думать, чтобъ вы говорили серьезно. Ни старая бригадирша ни Теляевъ мнѣ не кажутся упырями.

— Какъ,—возразилъ Рыбаренко:—вы въ нихъ ничего не примѣтили необыкновеннаго? Вы не слыхали, какъ Семень Семеновичъ щелкаетъ?

— Слышалъ; но по мнѣ это еще не есть достаточная причина, чтобъ обвинять человѣка, почтеннаго лѣтами, служащаго уже болѣе 45-ти лѣтъ безпорочно и пользующагося общимъ уваженіемъ.

— О, какъ вы мало знаете Теляева! Но положимъ, что онъ щелкаетъ безъ всякаго намѣренія, неужели васъ ничто не поразило во всемъ бытѣ бригадирши? Неужели, проведши ночь у нея въ домѣ, вы не почувствовали ни одного содроганія, ни одного изъ тѣхъ минутныхъ недуговъ, которые напоминаютъ намъ, что мы находимся вблизи существъ намъ антипатическихъ и принадлежащихъ другому міру?

— Что касается до такого рода ощущеній, то я не могу сказать, чтобы ихъ не имѣлъ; но я все приписалъ своему воображенію и думаю, что почувствовалъ ихъ у Сугробиной, какъ могъ бы почувствовать во всякомъ другомъ мѣстѣ. Къ тому-жъ характеръ и приемы бригадирши, столь противоположные съ архитектурой и убранствомъ ея дома, безъ сомнѣнія, много содѣйствуютъ къ особенному расположенію духа тѣхъ, которые ее посѣщаютъ.

Рыбаренко улыбнулся.

— Вы замѣтили архитектуру ея дома?—сказаль онъ.— Прекрасный фасадъ! совершенно въ итальянскомъ вкусѣ! Только будьте увѣрены, что не одно устройство дома на васъ подѣйствовало. Послушайте,—продолжалъ онъ, схвативъ руку Руневскаго:—будьте откровенны, скажите мнѣ, какъ другу, не случилось ли съ вами чего-нибудь особеннаго на дачѣ у старой Сугробиной?

Руневскій вспомнилъ о зеленыхъ комнатахъ, и такъ какъ Рыбаренко внушалъ ему невольную довѣренность, то онъ не почелъ за нужное что-либо отъ него скрывать и все ему разсказаль такъ точно, какъ оно было. Рыбаренко слушалъ его со вниманіемъ и сказаль ему, когда онъ кончилъ:

— Напрасно вы приписываете воображенію то, что дѣйствительно съ вами случилось. Исторія покойной Прасковьи Андреевны мнѣ извѣстна. Если хотите, я вамъ когда-нибудь ее разскажу; впрочемъ, самая любопытная подробности могла бы вамъ сообщить Клеопатра Платоновна, если-бъ она только захотѣла. Но, ради Бога, не говорите легкомысленно о вашемъ приключеніи; оно имѣетъ довольно сходства и болѣе связи, нежели вы теперь можете подозрѣвать, съ однимъ обстоятельствомъ моей жизни, которое я долженъ вамъ сообщить, чтобы васъ предостеречь.

Рыбаренко нѣсколько времени помолчалъ, какъ бы желая собраться съ мыслями, и, прислонившись къ липѣ, возлѣ которой стояла скамья, началъ слѣдующимъ образомъ:

«Три года тому назадъ предприняль я путешествіе въ Италію для возстановленія разстроенаго здоровья, въ особенности чтобы лѣчиться винограднымъ сокомъ.

«Прибывъ въ городъ Комо, на извѣстномъ озерѣ, куда обыкновенно посылають больныхъ для этого рода лѣченія, услышалъ я, что на площади piazza Volta есть домъ, уже около ста лѣтъ никѣмъ необитаемый и извѣстный подъ названіемъ чортова дома (la casa del diavolo). Почти всякій день, идучи изъ предмѣстья borgo Vico, гдѣ была моя квартира, въ albergo del Angelo, чтобы навѣщать одного пріятеля, я проходилъ мимо этого дома,

но, не зная объ немъ ничего особеннаго, никогда не обращалъ на него вниманія. Теперь, услышавъ странное его названіе и нѣсколько любопытныхъ о немъ преданій, вовсе одно на другое непохожихъ, я нарочно пошелъ на piazza Volta и съ особеннымъ примѣчаніемъ началъ его осматривать. Наружность не общала ничего необыкновеннаго: окна нижняго этажа съ толстыми желѣзными рѣшетками, ставни вездѣ затворены, стѣны обклеены объявленіями о молитвахъ по умершимъ, а ворота заперты и ужасно запачканы.

«Въ сторонѣ была лавка цырюльника, и мнѣ пришло въ голову туда зайти, чтобы спросить, нельзя ли осмотрѣть внутренность чортова дома?»

«Входя, увидѣлъ я аббата, разваливагося въ креслахъ и обязаннаго грязнымъ полотенцемъ. Толстый цырюльникъ, засучивъ рукава, тщательно и проворно мылилъ ему бороду и даже, въ жару дѣйствія, нерѣдко мазалъ его по носу и по ушамъ, что однако аббатъ сносилъ съ большимъ терпѣніемъ.»

«На вопросъ мой цырюльникъ отвѣчалъ, что домъ всегда запертъ, и что едва ли хозяинъ дозволить для кого-либо отпереть его. Не знаю почему, цырюльникъ принялъ меня за англичанина и, дѣлая руками пояснительные знаки, рассказалъ очень краснорѣчиво, что уже нѣсколько изъ моихъ соотечественниковъ старались получить позволеніе войти въ этотъ домъ, но что попытки ихъ оставались тщетными, ибо Донъ-Пьетро. д'Урджина имъ всегда отвѣчалъ наотрѣзъ, что домъ его не трактиръ и не картинная галлерей.»

«Пока цырюльникъ говорилъ, аббатъ слушалъ его со вниманіемъ, и я не разъ замѣтилъ, какъ подъ толстымъ слоемъ мыльной пѣны странная улыбка показывалась на его губахъ.»

«Когда цырюльникъ, окончивъ свою работу, обтеръ ему бороду полотенцемъ, онъ всталъ, и мы вмѣстѣ вышли изъ лавки.»

«— Могу васъ увѣрить, синьоръ,—сказалъ онъ, обращаясь ко мнѣ:—что вы напрасно такъ беспокоитесь, и что чортовъ домъ нисколько не заслуживаетъ вашего вниманія. Это совершенно пустое строеніе, и все, что вы могли о немъ слышать, не что иное, какъ выдумка самого Донъ-Пьетро.»

«— Помилуйте,—возразилъ я:—зачѣмъ бы хозяину кле-

пать на свой домъ, когда онъ, при такомъ стеченіи иностранцевъ, могъ бы отдавать его внаймы и получать большой доходъ?

«— На это есть болѣе причинъ, чѣмъ вы думаете, — отвѣчалъ аббатъ.

«— Какъ, — спросилъ я съ удивленіемъ, вспомнивъ извѣстный анекдотъ про Тюррена: — неужели онъ дѣлаетъ фальшивую монету?

«— Нѣтъ, — возразилъ аббатъ: — Донъ-Пьетро большой чудакъ, но честный человекъ. Говорятъ про него, что онъ торгуетъ запрещенными товарами и что даже онъ въ сношеніяхъ съ извѣстнымъ контрабандистомъ Титта Каннелли; но я этому не вѣрю.

«— Кто такой Титта Каннелли? — спросилъ я.

«— Титта Каннелли былъ лодочникомъ на нашемъ озерѣ, но разъ на рынкѣ онъ поспорилъ съ товарищемъ и убилъ его на мѣстѣ. Совершивъ преступленіе, онъ убѣжалъ въ горы и сдѣлался начальникомъ контрабандистовъ. Говорятъ, будто ввозимые имъ изъ Швейцаріи товары онъ складываетъ въ одной виллѣ, принадлежащей Донъ-Пьетро; еще говорятъ, что, кромѣ товаровъ, онъ въ той же виллѣ сохраняетъ большія суммы денегъ, приобретенныя имъ вовсе не торговлею; но, повторяю вамъ, я не вѣрю этимъ слухамъ.

«— Скажите же ради Бога, что за человекъ вашъ Донъ-Пьетро, и что значить вся эта исторія про чортовъ домъ?

«— Это значить, что Донъ-Пьетро, чтобы скрыть одно событіе, случившееся въ его семействѣ, и отвлечь вниманіе отъ настоящаго мѣста, гдѣ случилось это событіе, распустилъ о городскомъ домѣ своемъ множество слуховъ, одинъ нелѣпѣе другого. Народъ съ жадностью бросился на эти рассказы, возбуждающіе его любопытство, и забылъ о приключеніи, которое первоначально дало имъ поводъ.

«— Надобно вамъ знать, что хозяину чортова дома слишкомъ восемьдесятъ лѣтъ. Отецъ его, который также назывался Донъ-Пьетро д'Урджина, не пользовался уваженіемъ своихъ согражданъ. Въ неурожайные годы, когда половина жителей умирала съ голоду, онъ, имѣя огромные запасы хлѣба, продавалъ его по необыкновенно высокой цѣнѣ, несмотря на несмѣтныя свои богатства. Въ одинъ изъ такихъ годовъ, не знаю для чего, предпринялъ онъ путешествіе въ ваше отечество. Я давно замѣтилъ, — продолжалъ аббатъ: — что вы не англичанинъ, а русскій,

несмотря на то, что синьоръ Финарди, мой цырюльникъ, увѣренъ въ противномъ. Итакъ, въ одинъ изъ самыхъ несчастныхъ годовъ старый Донъ-Пьетро отправился въ Россію, поручивъ всѣ дѣла своему сыну, теперешнему Донъ-Пьетро.

«— Между тѣмъ настала весна, новые урожаи обѣщали обильную жатву, и цѣна на хлѣбъ значительно спала. Пришла осень, жатва кончилась, и хлѣбъ сталъ ни по чемъ. Сынъ Донъ-Пьетро, которому отецъ, уѣзжая, оставилъ строгія наставленія, сначала такъ дорожился, что немного сбывалъ своего товара; потомъ ему не стали уже давать цѣны, назначенной ему отцомъ, и наконецъ перестали къ нему приходиться вовсе. Въ нашемъ краю, слава Богу, неурожаи очень рѣдки, и потому весь барышъ, на который надѣялся старый Урджина, обратился въ ничто. Сынъ его нѣсколько разъ къ нему писалъ, но перемѣна въ цѣнѣ произошла такъ быстро, что онъ не успѣлъ получить отъ отца разрѣшенія ее убавить.

«— Многіе увѣряють, что покойный Донъ-Пьетро былъ скупъ до невѣроятности, но я скорѣе думаю, что онъ былъ большой злодѣй и притомъ такой же чудакъ, какъ и его сынъ. Письма сего послѣдняго заставили его поспѣшно покинуть Россію и воротиться въ Комо. Если бы Донъ-Пьетро былъ такъ скупъ, какъ говорятъ, то онъ бы или продалъ свой хлѣбъ по существующей цѣнѣ, или оставилъ его въ магазинахъ; но онъ распустилъ въ городѣ слухъ, что раздастъ его бѣднымъ, а вмѣсто того приказалъ весь запасъ вывалить въ озеро. Когда же въ назначенный день бѣдный народъ собрался передъ его домомъ, то онъ, высунувшись изъ окошка, закричалъ толпѣ, что хлѣбъ ея на днѣ озера, и что кто умѣетъ нырять, можетъ тамъ достать его. Такой поступокъ еще болѣе унижилъ его въ глазахъ жителей Комо, и они дали ему прозваніе злого, *il sativo*.

«— Въ городѣ давно уже ходилъ слухъ, что онъ продалъ душу чорту, и что чортъ вручилъ ему каменную доску съ кабалистическими знаками, которая до тѣхъ поръ должна доставлять ему всѣ наслажденія земныя, пока не разобьется. Съ уничтоженіемъ ея магической силы, чортъ, по договору, получалъ право взять душу Донъ-Пьетро.

«— Тогда Донъ-Пьетро жилъ въ загородномъ домѣ, неда-

леко отъ villa d'Este. Въ одно утро пріоръ монастыря св. Севастіана, стоя у окошка и смотря на дорогу, увидѣлъ человѣка на черной лошади, который остановился у окна и ему сказалъ: «Знай, что я чортъ и ѣду за Пьетро д'Урджина, чтобы отвезти его въ адъ. Расскажи это всей братіи». Черезъ нѣсколько времени пріоръ увидѣлъ того же человѣка, возвращающагося съ Донъ-Пьетро, лежащимъ поперекъ сѣдла. Онъ скакалъ во весь опоръ, покрывъ жертву свою чернымъ плащомъ. Сильный вѣтеръ раздувалъ этотъ плащъ, и пріоръ могъ замѣтить, что старикъ былъ въ халатѣ и въ ночномъ колпакѣ: чортъ, посѣтившій его неожиданно, засталъ его въ постели и не далъ ему времени одѣться.

«— Вотъ чтѣ говоритъ преданіе. Дѣло въ томъ, что Донъ-Пьетро, вскорѣ по возвращеніи своемъ изъ Россіи, пропалъ безъ вѣсти. Сынъ его, чтобъ прекратить непріятные толки, объявилъ, что онъ скоростижно умеръ, и велѣлъ для формы похоронить пустой гробъ. Послѣ погребенія, пришедши въ спальню отца, онъ увидѣлъ на стѣнѣ картину *al fresco*, которой никогда прежде не зналъ. То была женщина, играющая на гитарѣ. Несмотря на красоту лица, въ глазахъ ея было что-то столь непріятное и даже страшное, что онъ немедленно приказалъ ее закрасить. Черезъ нѣсколько времени увидѣли ту же фигуру на другомъ мѣстѣ; ее опять покрасили; но не прошло двухъ дней, какъ она еще явилась тамъ же, гдѣ была въ первый разъ. Молодой Урджина такъ былъ этимъ пораженъ, что навсегда покинулъ свою виллу, приказавъ сперва заколотить двери и окна. Съ тѣхъ поръ лодочники, проѣзжавшіе мимо нея ночью, нѣсколько разъ слышали въ ней звукъ гитары и два поющіе голоса, одинъ стараго Донъ-Пьетро, другой неизвѣстно чей; но послѣдній былъ такъ ужасенъ, что лодочники недолго останавливались подъ окнами.

«— Вы видите синьоръ,—продолжалъ аббатъ:—что хотя и есть нѣчто необыкновенное въ исторіи Донъ-Пьетро, но оно все относится къ загородному дому, на берегу озера, недалеко отъ villa d'Este, по ту сторону Capriccio, а не къ тому строенію, которое вамъ такъ хотѣлось видѣть.»

«— Скажите мнѣ,—спросилъ я:—чтѣ, слышны ли еще въ виллѣ Донъ-Пьетро голоса и звукъ гитары?»

«— Не знаю,—отвѣчалъ аббатъ:—но если это васъ интересуетъ,—прибавилъ онъ съ улыбкой:—то кто вамъ мѣ-

шааетъ, когда сдѣлается темно, пойти подѣ окна виллы или, что еще лучше, провести въ ней ночь?

«Этого-то мнѣ и хотѣлось.

«— Но какъ туда войти?—спросилъ я:—вѣдь вы говорите, что сынъ Донъ-Пьетро велѣлъ заколотить двери и окна?»

«Аббатъ призадумался.

«— Правда,—сказалъ онъ наконецъ:—но если не ошибаюсь, то можно, влѣзши на утесъ, къ которому прислоненъ домъ, спуститься въ незаколоченное слуховое окно.

«Разговаривая такимъ образомъ, мы, сами того не замѣчая, прошли весь borgo Vico и очутились на шоссе, ведущемъ вдоль озера къ villa d'Este. Аббатъ остановился передъ однимъ palazzo, котораго фасадъ казался выстроенъ по рисункамъ славнаго Палладія. Величественная красота зданія меня поразила, и я не могъ понять, какъ, живучи столько времени въ Комо, я ничего не слыхалъ о такомъ прекрасномъ дворцѣ.

«— Вотъ вилла Донъ-Пьетро,—сказалъ аббатъ:—вотъ утесъ, а вотъ то окно, въ которое вы можете влѣзть, если вамъ угодно.

«Въ голосѣ аббата было что-то насмѣшливое, и мнѣ показалось, что онъ сомнѣвается въ моей смѣлости. Но я твердо рѣшился, во что бы то ни стало, проникнуть тайну, сильно возбудившую мое любопытство.

«Въ этотъ день мнѣ не сидѣлось дома. Я рыскалъ по городу безъ цѣли, заходилъ въ готическій соборъ и безъ удовольствія смотрѣлъ на прекрасныя картины Bernardino Luini. Я спотыкался на корзины съ фигами и виноградомъ и разъ даже опрокинулъ цѣлый лотокъ горячихъ каштановъ. Надобно вамъ знать, что въ Комо каштаны жарятъ на улицахъ; обычай этотъ существуетъ и въ другихъ итальянскихъ городахъ, но нигдѣ я не видалъ столько жаровень и сковородъ, какъ здѣсь. Добрые ломбардцы на меня не сердились, но только смѣялись отъ всего сердца и даже провожали благодареніями, когда за причиненный имъ убытокъ я имъ бросалъ нѣсколько цванцигеровъ.

«Вечеромъ было собраніе въ villa Sallazar. Большая часть общества состояла изъ нашихъ соотечественниковъ, прочіе почти всѣ были австрійскіе офицеры или итальянцы, пріѣхавшіе изъ Милана посѣтить прелестныя окрестности Комо.

«Когда я рассказал свое намѣреніе провести слѣдующую ночь въ villa Urgina, надо мной сначала начали смѣяться, потомъ мысль моя показалась оригинальною, а напослѣдокъ вызвалось множество охотниковъ раздѣлять со мною опасности моего предпріятія. Замѣчательно, что не только я, но и никто изъ жителей Милана не зналъ о существованіи этой виллы.

«— Позвольте, господа, — сказалъ я: — если мы всѣ пойдемъ туда ночевать, то экспедиція наша потеряетъ всю свою прелесть, и я увѣренъ, что чортъ не захочетъ пѣть въ присутствіи такого общества знатоковъ; но я согласенъ взять съ собою двухъ товарищей, которыхъ назначить судьба.

«Предложеніе было принято, и жребій палъ на двухъ моихъ пріятелей, изъ коихъ одинъ былъ русскій и назывался Владиміромъ, другой итальянецъ, по имени Антоніо. Владиміръ былъ мой искренній другъ и товарищ моего дѣтства. Онъ такъ же, какъ и я, пріѣхалъ въ Комо лѣчиться виноградомъ и вмѣстѣ со мною долженъ былъ, по окончаніи лѣченія, ѣхать во Флоренцію и провести тамъ зиму. Антоніо былъ нашъ общій пріятель, и хотя мы познакомились съ нимъ только въ Комо, но образъ нашихъ мыслей и вообще нравы наши такъ были сходны, что мы невольно сблизились. Мы поклялись вѣчно любить другъ друга и не забывать до самой смерти. Антоніо уже исполнилъ свою клятву.

«Но я напрасно предаюсь печальнымъ воспоминаніямъ и преждевременно намекаю на трагическій оборотъ, который приняла наша необдуманная шалость.

«Любезный другъ! Вы молоды и имѣете пылкій характеръ. Послушайте человѣка, узнавашаго, что значитъ пренебрегать вещами, коихъ мы не въ состояніи понять и которыя, слава Богу, отдѣлены отъ насъ темной непроницаемой завѣсой. Горе тому, кто покусится ее поднять! Ужасъ, отчаянье, сумасшествіе будутъ наградою его любопытства. Да, любезный другъ, я тоже молодъ, но волосы мои сѣды, глаза мои впалы, я въ цвѣтѣ лѣтъ сдѣлался старикомъ — я приподнялъ край покрывала, я взглянулъ въ таинственный міръ. Я такъ же, какъ и вы, тогда не вѣрилъ ничему, что люди условились называть сверхъестественнымъ; но, несмотря на то, нерѣдко въ груди моей раздавались странные отголоски, противорѣчившіе моему убѣжденію. Я любилъ къ нимъ прислуши-

ваться, потому что мнѣ нравилась противоположность міра, тогда передо мною открывшагося, съ холодною прозою міра настоящаго; но я смотрѣлъ на картины, которыя развивались предо мною, какъ зритель смотритъ на интересную драму. Живая игра актеровъ его увлекаетъ, но между тѣмъ онъ знаетъ, что кулисы бумажныя, и что герой, покинувъ сцену, сниметъ шлемъ и надѣнетъ колпакъ. Поэтому, когда я затѣялъ ночевать въ villa Urgina, я не ожидалъ никакихъ приключеній, но только хотѣлъ возбудить въ себѣ то чувство чудеснаго, котораго искалъ такъ жадно. О, сколь жестоко я обманулся! Но если мое несчастье послужитъ урокомъ для другихъ, то это мнѣ будетъ утѣшеніемъ, и пребываніе мое въ домѣ Донъ-Пьетро принесетъ хотя какую-нибудь пользу.

«На другой день, едва лишь смерклось, Владиміръ, Антоніо и я уже шли на ночлеги въ таинственный palazzo. Малѣйшія обстоятельства этого вечера врѣзались въ моей памяти, и хотя съ тѣхъ поръ прошло три года, но я такъ живо помню всѣ подробности нашего разговора и нашихъ неосторожныхъ шутокъ, въ которыхъ мы такъ скоро раскалялись, что мнѣ кажется, будто все это происходило не далѣе какъ вчера.

«Проходя мимо villa Remondi, Антоніо остановился. Въ правомъ флигелѣ слышно было нѣсколько женскихъ голосовъ, поющихъ какую-то веселую пѣсню. Мелодія ея до сихъ поръ раздается въ моихъ ушахъ! «Подождемъ,—сказалъ Антоніо:—теперь еще рано, мы успѣемъ во-время туда придти». Сказавъ это, онъ хотѣлъ подойти къ окну, чтобы лучше слышать, но, нагнувшись впередъ, споткнулся на камень и упалъ на землю, разбивъ окно головой. На шумъ его паденія выбѣжала молодая дѣвушка со свѣчою. То была дочь сторожа villa Remondi. Лицо Антоніо было покрыто кровью. Дѣвушка казалась очень испуганною, она бѣгала, суетилась, принесла рукомыльникъ съ водою и, восклицая безпрестанно: о, Dio! poverino! mala-detta strada!—омыла ему лицо.

«— Это дурной знакъ!—сказалъ, улыбаясь, Антоніо, какъ скоро онъ оправился отъ своего паденія.

«— Да,—отвѣчалъ я:—не лучше ли намъ воротиться и отложить до другого раза нашу шалость.

«— О, нѣтъ, нѣтъ!—возразилъ онъ:—это совершенно ничего, и я не хочу, чтобы вы послѣ смѣялись надо мной и думали, что мы, жители юга, нѣжниѣ васъ, русскихъ!

«Мы пошли далѣе. Минуть черезъ десять насъ догнала та самая дѣвушка, которая изъ villa Remondi вышла на помощь къ Антоніо. Она и теперь къ нему обратилась и долго съ нимъ говорила вполголоса. Я замѣтилъ, что она съ трудомъ удерживалась отъ слезъ.

«— Что она тебѣ сказала?—спросилъ его Владиміръ, когда дѣвушка удалилась.

«— Бѣдная Пепина,—отвѣчалъ Антоніо:—просить меня, чтобы я черезъ отца моего выхлопоталъ прощеніе ея брату. Она говоритъ, что уже нѣсколько разъ ко мнѣ приходила, но никогда меня не заставала дома.

«— А кто ея братъ?—спросилъ я.

«— Какой-то контрабандистъ, по имени Титта.

«— А какъ фамилія этой дѣвушки?

«— Каннелли. Но что тебѣ до этого?

«— Титта Каннелли!—воскликнулъ я и вспомнилъ аббата и разсказъ его про стараго Урджина.

«Воспоминаніе это очень непріятно на меня подѣйствовало. Все, что я тогда считалъ выдумками, бреднями или плутовствомъ какихъ-нибудь мошенниковъ, теперь въ воображеніи моемъ приняло характеръ страшной истины, и я бы непремѣнно воротился, если-бъ мнѣ не было стыдно. Я сказалъ своимъ товарищамъ, что уже прежде слыхалъ о Титта Каннелли, и мы продолжали идти. Вскорѣ въ сторонѣ показался свѣтъ лампы. Она освѣщала одну изъ тѣхъ часовень, которыхъ такъ много въ Сѣверной Италіи и которыя служатъ хранилищемъ человѣческихъ костей. Я всегда имѣлъ отвращеніе отъ этого рода часовень, гдѣ въ симметрическомъ порядкѣ и какъ будто въ насмѣшку разставлены и развѣшаны узорами печальные остатки умершихъ. Но въ этотъ вечеръ я почувствовалъ невольный страхъ, когда мимоходомъ заглянулъ за желѣзную рѣшетку. Я ничего однако не сказалъ, и мы молча дошли до виллы Urgina.

«Намъ было очень легко влѣзть на утесъ и оттуда посредствомъ веревки спуститься въ слуховое окно. Тамъ мы зажгли одну изъ принесенныхъ съ собою свѣчъ и, нашедши проходъ изъ-подъ крыши въ верхній этажъ, очутились въ просторной залѣ, убранной по-старинному. Нѣсколько картинъ, представлявшихъ мифологическіе предметы, развѣшаны были по стѣнамъ, мебели обтянута шелковою тканью, а полъ составленъ изъ разноцвѣтнаго мрамора. Мы прошли пять или шесть подобныхъ покоевъ; въ

одномъ изъ нихъ увидѣли маленькую лѣстницу и спустились по ней въ большую комнату съ старинной кроватью подъ золоченымъ балдахиномъ. На столѣ, возлѣ кровати, была гитара, на полу лежали дребезги отъ каменной доски. Я поднялъ одинъ изъ этихъ обломковъ и увидѣлъ на немъ странные непонятные знаки.

«— Это, должно-быть, спальня стараго Донъ-Пьетро, — сказалъ Антоніо, приблизивъ свѣчу къ стѣнѣ: — вотъ та фигура, о которой тебѣ говорилъ аббатъ!»

«Въ самомъ дѣлѣ, между дверью, ведущей на узкую лѣстницу, и кроватью виденъ былъ фрескъ, представляющій женщину необыкновенной красоты, играющую на гитарѣ.

«— Какъ она похожа на Пепину, — сказалъ Владиміръ: — я бы это принялъ за ея портретъ!»

«— Да, — отвѣчалъ Антоніо: — черты лица довольно схожи, но у Пепины совсѣмъ другое выраженіе. У этой въ глазахъ что-то такое звѣрское, несмотря на ея красоту. Замѣть, какъ она косится на пустую кровать; знаешь ли, что мнѣ, при взглядѣ на нее, дѣлается страшно!»

«Я ничего не говорилъ, но вполнѣ раздѣлялъ чувство Антоніо.

«Комната возлѣ спальни была большая круглая зала съ колоннами, а примыкавшіе къ ней съ разныхъ сторонъ покои были всѣ прекрасно убраны и обтянуты гобеленами, почти какъ на дачѣ у Сугробиной, только еще богаче. Вездѣ отсвѣчивали большія зеркала, мраморные столы, золоченые карнизы и дорогія матеріи. Гобелены представляли сюжеты изъ мифологіи и изъ Аріостова Orlando. Здѣсь Парисъ сидѣлъ въ недоумѣннѣи, которой изъ трехъ богинь вручить золотое яблоко, а тамъ Ангелика съ Медоромъ обнимались подъ тѣнистымъ деревомъ, не замѣчая грознаго рыцаря, выглядывающаго на нихъ изъ за кустовъ.

«Пока мы осматривали старинныя ткани, оживленные красноватымъ отблескомъ свѣчи, остальные части комнаты терялись въ неопредѣленномъ мракѣ, и когда я нечаянно поднялъ голову, то мнѣ показалось, что фигуры на потолкѣ шевелятся, и что фантастическія формы ихъ отдѣляются отъ потолка и, сливаясь съ темнотою, исчезаютъ въ глубинѣ залы.

«— Я думаю, что мы теперь можемъ лечь спать, — сказалъ Владиміръ: — но чтобы уже все сдѣлать по порядку, то вотъ

мой совѣтъ: ляжемъ въ трехъ разныхъ комнатахъ и завтра поутру расскажемъ другъ другу, что съ нами случится въ продолженіе ночи.

«Мы согласились. Мнѣ, какъ предводителю экспедиціи, дали спальню Донъ-Пьетро; Владиміръ и Антоніо расположились въ двухъ отдаленныхъ комнатахъ, и вскорѣ во весь домъ доуарилась глубокая тишина».

Здѣсь г. Рыбаренко остановился и, обращаясь къ Руневскому, сказалъ:

— Я васъ, можетъ-быть, утомляю, любезный другъ, теперь уже поздно, не хочется ли вамъ спать?

— Нисколько,—отвѣчалъ Руневскій:—вы меня обяжете, если будете продолжать.

Рыбаренко немного помолчалъ и продолжалъ слѣдующимъ образомъ:

«Оставшись одинъ, я раздѣлся, осмотрѣлъ свои пистолеты, легъ въ старинную кровать, подъ богатый балдахинъ, накрылъ себя штофнымъ одѣяломъ и готовился потушить свѣчу, какъ дверь медленно отворилась и вошелъ Владиміръ. Онъ поставилъ свѣчу свою на маленькій комодъ возлѣ кровати и, подошедши ко мнѣ, сказалъ:

«— Я цѣлый день не нашелъ случая поговорить съ тобой о нашихъ дѣлахъ. Антоніо уже спитъ; мы можемъ немного поболтать, и я опять уйду дожидаться приключеній. Я тебѣ еще не сказывалъ, что получилъ письмо отъ матушки. Она пишетъ, что обстоятельства ея непременно требуютъ моего присутствія. Поэтому я не думаю, что проведу съ тобою зиму во Флоренціи.»

«Извѣстіе это меня крайне огорчило. Владиміръ тоже казался невеселъ. Онъ сѣлъ ко мнѣ на постель, прочиталъ мнѣ письмо, и мы долго разговаривали о его семейныхъ дѣлахъ и о нашихъ взаимныхъ намѣреніяхъ. Пока онъ говорилъ, меня нѣсколько разъ въ немъ поражало что-то странное, но я не могъ дать себѣ отчета, въ чемъ именно оно состояло. Наконецъ онъ всталъ и сказалъ мнѣ растроганнымъ голосомъ:

«— Меня мучитъ какое-то предчувствіе; кто знаетъ, увидимся ли мы завтра? Обними меня, мой другъ... можетъ-быть, въ послѣдній разъ!»

«— Что съ тобой!—сказалъ я, засмѣявшись:—съ которыхъ поръ ты вѣришь предчувствіямъ?»

«— Обними меня!—продолжалъ Владиміръ, необыкновеннымъ образомъ возвыся голосъ.»

«Черты лица его перемѣнились, глаза налились кровью и горѣли какъ уголья. Онъ простеръ ко мнѣ руки и хотѣлъ меня обнять.

«— Поди, поди, Владиміръ,—сказалъ я, скрывая свое удивленіе:—дай Богъ тебѣ уснуть и забыть свои предчувствія!

«Онъ что-то проворчалъ сквозь зубы и вышелъ.

«Мнѣ показалось, что онъ страннымъ образомъ смѣется; но я не былъ увѣренъ, его ли я слышу голосъ, или чужой.

«Между тѣмъ глаза мои мало-по-малу сомкнулись, и я заснулъ. Не знаю, чтѣ я увидѣлъ во снѣ, но, вѣроятно, это было что-нибудь страшное, ибо я вскорѣ съ испугомъ проснулся и началъ протирать глаза. Въ ухахъ моихъ раздавались аккорды гитары, и я сначала думалъ, что звуки эти не чтѣ иное, какъ продолженіе моего сновидѣнія, но кто опишетъ мой ужасъ, когда между моею кроватью и стѣной я увидѣлъ женщину-фреску, вперившую въ меня какой-то страшный, нечеловѣческой взглядъ. Въ одной рукѣ держала она гитару, другою трогала струны. Ужасъ мною овладѣлъ, я схватилъ со стола пистолетъ и только-что хотѣлъ въ нее выстрѣлить, какъ она уронила гитару и упала на колѣни. Я узналъ Пепину.

«— Пощадите меня, синьоръ,—кричала бѣдная дѣвушка:—я ничего не хотѣла у васъ украсть; будьте милосерды, не убивайте меня!

«Мнѣ очень было стыдно, что я въ глазахъ ея обнаружилъ свой страхъ, и я всячески старался ее успокоить, спросивъ ее однако, зачѣмъ она ко мнѣ пришла и чего отъ меня хочетъ?

«— Ахъ,—отвѣчала Пепина:—послѣ того, какъ я догнала синьора Антоніо и съ нимъ говорила, я тихонько пошла за вами и видѣла, что вы влѣзли въ окно. Но я знала другой входъ, ибо этотъ домъ служитъ иногда убѣжищемъ брату моему Титта, объ которомъ вы, вѣрно, слышали. Я изъ любопытства вошла за вами, и когда хотѣла воротиться, то увидѣла, что въ торопливости захлопнула за собою потаенную дверь и что мнѣ невозможно выйти. Я прошла къ вамъ въ комнату и, не смѣя васъ разбудить, стала играть на гитарѣ, чтобы вы проснулись. Ахъ, не сердитесь на меня; любовь къ моему брату заставила меня васъ беспокоить. Я знаю, что вы другъ синьора Антоніо, такъ спасите, если можете, моего брата! Я вамъ клянусь всѣмъ, чтѣ дорого моему сердцу, онъ давно хочетъ сдѣ-

латься честнымъ человѣкомъ; но если его будутъ преслѣдовать, какъ дикаго звѣря, онъ поневолѣ останется разбойникомъ, убійствами отяготитъ свою душу и погубитъ себя навсегда! О, достаньте ему прощеніе, умоляю васъ, на колѣняхъ умоляю васъ, сжальтесь надъ его раскаяньемъ, сжальтесь надъ его бѣдною сестрою!

«И, говоря это, она обнимала мои колѣна, и крупныя слезы катились по ея щекамъ. Огненнаго цвѣта лента, опоясывавшая ея голову, развязалась, и волосы, извиваясь какъ змѣи, упали на ея плечи. Она такъ была прекрасна, что въ эту минуту я забылъ о своемъ страхѣ, о виллѣ *Urgina* и объ ея преданіяхъ.

«Я вскочилъ съ кровати, и уста наши соединились въ долгій поцѣлуй. Знакомый голосъ въ ближней залѣ насъ пробудилъ.

«— Съ кѣмъ ты тамъ, Пепина?—сказалъ кто-то, отворяя дверь.

«— Ахъ, это мой братъ!—вскричала дѣвушка и, вырвавшись изъ моихъ объятій, убѣжала прочь.

«Въ комнату вошелъ человѣкъ въ плащѣ и въ шляпѣ съ чернымъ перомъ. Увидя меня, онъ остановился, и каково было мое удивленіе, когда, взглянувъ въ черты его лица, я въ немъ узналъ моего аббата!

«— А, это вы, *signor Russo*!—сказалъ онъ, затыкая за поясъ большой пистолетъ, которымъ готовился меня привѣтствовать.—Добро пожаловать! Не удивляйтесь перемѣнѣ моего одѣянія. Вы меня видѣли аббатомъ, въ другой разъ вы меня увидите ветуриномъ или трубочистомъ. Увы! я до тѣхъ поръ долженъ скрываться, пока не получу прощенія отъ правительства!

«Сказавъ это, *Титта Каннелли* глубоко вздохнулъ; потомъ, принявъ веселый видъ, подошелъ ко мнѣ и ударилъ меня по плечу.

«— Я васъ нарочно,—сказалъ онъ:—зазвалъ въ виллу друга моего *Донъ-Пьетро* для небольшого дѣльца. Я пужаюсь въ деньгахъ, а у меня здѣсь спрятано множество дорогихъ вещей, между прочимъ, цѣлый ящикъ колець, ожерелій, серегъ и браслетъ. За все я съ васъ возьму только 77 наполеоновъ.

«Онъ нагнулся подь мою кровать, вытащилъ оттуда большой ящикъ, и я увидѣлъ кучу золотыхъ уборовъ, одинъ прекраснѣе другого. Нѣсколько фермуаровъ были украшены самыми рѣдкими каменьями,

и все работано съ такимъ вкусомъ, какъ я никогда еще не видывалъ. Цѣна, которую онъ требовалъ, мнѣ показалась очень необыкновенною, и хотя она, очевидно, доказывала, что эти вещи достались ему даромъ, но теперь было не время входить въ разбирательство; къ тому-жъ Пепининъ братъ, стоя между моимъ оружіемъ и мною, такъ краснорѣчиво игралъ своимъ пистолетомъ, что я почелъ за нужное тотчасъ согласиться и, раскрывъ свой кошелекъ, нашелъ въ немъ ровно 77 наполеоновъ, которые отдалъ разбойнику.

«— Благодарю васъ,—сказалъ онъ:—вы сдѣлали доброе дѣло! Теперь мнѣ только остается предупредить васъ, что если вы вздумаете открыть полиціи, откуда вы получили эти вещи, я вамъ непременно размозжу голову. Желаю вамъ покойной ночи!

«Онъ мнѣ дружески пожалъ руку и исчезъ такъ скоро, что я не могъ видѣть, куда онъ скрылся. Я только слышалъ, какъ въ стѣнѣ повернулись потаенныя петли, и потомъ все погрузилось въ молчаніе. Взоры мои нечаянно упали на изображеніе на стѣнѣ, и я невольно вздрогнулъ. Мнѣ опять показалось, что это была не Пепина, а нарисованная женщина, которая нѣсколько минутъ тому назадъ выступила изъ стѣны и которую я цѣловалъ. Я сталъ сожалѣть, что въ то время не догадался посмотреть на стѣну, чтобы увидѣть, тамъ ли она или нѣтъ. Но я превозмогъ свою боязнь и принялся шарить въ ящикѣ. Между разными цѣпочками, флакончиками и прочими вещами нашелъ я одну склянку рококо, величиною съ большое яблоко и оправленную въ золото съ необыкновеннымъ вкусомъ. Работа была такъ нѣжна, что я, боясь, чтобы склянка не исцарапалась въ ящикѣ, тщательно завернулъ ее въ платокъ и поставилъ подлѣ себя на столъ. Потомъ, закрывъ ящикъ, я опять легъ и вскорѣ заснулъ. Во снѣ я всю ночь видѣлъ Пепину и женщину-фрескѣ, и часто, среди самыхъ пріятныхъ картинъ моего воображенія, я вскакивалъ въ страхъ и опять засыпалъ. Меня также беспокоило какое-то болѣзненное чувство въ шеѣ. Я думалъ, что простудился на сквозномъ вѣтру. Когда я проснулся, солнце уже было высоко, и я, наскоро одѣвшись, спѣшилъ отыскать своихъ товарищей.

«Антоніо лежалъ въ бреду. Онъ, какъ сумасшедшій, махалъ руками и безпрестанно кричалъ:

«— Оставьте меня! Развѣ я виноватъ, что Венера пре-

краснѣйшая изъ богинь? Парисъ человекъ со вкусомъ, и я его непременно сдѣлаю совѣстнымъ судьей въ Пекинѣ, какъ скоро вѣду въ свое китайское государство на крылатомъ грифонѣ!»

«Я употреблялъ всѣ силы, чтобы привести его въ себя, какъ вдругъ дверь отворилась, и Владиміръ, блѣдный, разстроенный, вбѣжалъ въ комнату.

«— Какъ,—вскричалъ онъ радостно, увидѣвъ Антоніо:—онъ живъ? Я его не убилъ? Покажи, покажи, куда я его ранилъ?»

«Онъ бросился осматривать Антоніо; но раны нигдѣ не было видно.

«— Вотъ видишь,—сказалъ Антоніо:—я тебѣ говорилъ, что богъ Панъ такъ же искусно играетъ на свирѣли, какъ и стрѣляетъ изъ пистолета.

«Владиміръ не переставалъ щупать Антоніо и наконецъ, удостовѣрившись, что онъ живъ и не раненъ, вскричалъ съ восторгомъ:

«— Слава Богу, я его не убилъ, это былъ только дурной сонъ!»

«— Друзья мои,—говорилъ я:—ради Бога объяснитесь, я ничего не могу понять!

«Наконецъ мнѣ и Владиміру удалось привести Антоніо въ память; но онъ такъ былъ слабъ, что я ничего не хотѣлъ у него спрашивать, а попросилъ Владиміра, чтобы онъ намъ рассказалъ, что съ нимъ случилось ночью.

«— Вошедши въ свою комнату,—сказалъ Владиміръ:—я воткнулъ свѣчу въ одинъ изъ вѣтвистыхъ подсвѣчниковъ, которые, какъ огромные пауки, держались на золотой рамѣ зеркала, и тщательно осмотрѣлъ свои пистолеты. Мнѣ удалось отворить заколоченную ставню, и съ неизъяснимымъ удовольствіемъ я сталъ дышать чистымъ воздухомъ ночи. Все вокругъ меня было тихо. Луна была уже высоко, а воздухъ такъ прозраченъ, что я могъ различать всѣ изгибы самыхъ отдаленныхъ горъ, между которыми башня замка Baradello величественно подымала голову. Я погрузился въ размышленія и уже около получаса смотрѣлъ на озеро и на горы, какъ легкій шорохъ за моими плечами заставилъ меня оглянуться. Свѣча очень нагорѣла, и я сначала ничего не могъ различить, но, взглянувъ на хорошенько въ темноту, я увидѣлъ въ дверяхъ большую бѣлую фигуру.

«— Кто тамъ?—закричалъ я.

«— Фигура испустила жалобный вопль и, какъ будто на невидимыхъ колесахъ, приблизилась ко мнѣ. Я никогда не видалъ лица страшнѣе этого. Привидѣніе подняло обѣ руки, какъ бы желая завернуть меня въ свое покрывало. Я не знаю, что я почувствовалъ въ эту минуту, но въ рукѣ моей былъ пистолетъ, раздался выстрѣлъ, и призракъ упалъ на землю, закричавъ:

«— Владиміръ! что ты дѣлаешь? я Антоніо!

«— Я бросился его подымать, но пуля пролетѣла ему сквозь грудь, кровь била фонтаномъ изъ раны, онъ хрипѣлъ какъ умирающій.

«— Владиміръ,—сказалъ онъ слабымъ голосомъ:—я хотѣлъ испытать твою храбрость, ты меня убилъ; прости мнѣ, какъ я тебѣ прощаю!

«— Я началъ кричать, ты прибѣжалъ на мой крикъ; мы оба перенесли Антоніо въ его комнату.

«— Что ты говоришь?—прервалъ я Владиміра:—я всю ночь не выходилъ изъ спальни. Послѣ того, какъ ты мнѣ прочиталъ письмо твоей матери и отъ меня ушелъ, я остался въ постели и ничего не знаю про Антоніо. Къ тому-жъ ты видишь, что онъ живъ и здоровъ, стало-быть, ты все это видѣлъ во снѣ!

«— Ты самъ говоришь во снѣ!—отвѣчала съ досадою Владиміръ:—никогда я къ тебѣ не приходилъ и не читалъ тебѣ никакого письма отъ матушки!

«Тутъ Антоніо всталъ со стула и къ намъ подошелъ.

«— О чемъ вы спорите?—сказалъ онъ.—Вы видите, что я живъ. Клянусь честью, что я никогда и не думалъ стращать Владиміра. Впрочемъ, мнѣ и не до того было. Когда я остался одинъ, я такъ же, какъ Владиміръ, сначала осмотрѣлъ свои пистолеты. Потомъ я легъ на диванъ, и глаза мои невольно устремились на расписанный потолокъ и высокіе карнизы, украшенные золотыми арабесками. Звѣри и птицы страннымъ образомъ сплетались съ цвѣтами, фруктами и разнаго рода узорами. Мнѣ показалось, что узоры эти шевелятся, и, чтобы не дать воли своему воображенію, я всталъ и началъ прохаживаться по залѣ. Вдругъ что-то сорвалось съ карниза и упало на полъ. Хотя въ залѣ такъ было темно, что я ничего не увидѣлъ, но я разсудилъ по звуку, что упавшее тѣло было мягкое, ибо оно совсѣмъ не произвело стуку, а только глухой шумъ. Черезъ нѣсколько времени я услышалъ за собою шаги какъ будто животнаго. Я оглянулся

и увидѣлъ золотого грифона величиною съ годовалаго теленка. Онъ смотрѣлъ на меня умными глазами и повертывалъ своимъ орлинымъ носомъ. Крылья его были подняты и концы ихъ свернуты въ кольца. Видъ его меня удивилъ, но не испугалъ. Однако, чтобы отъ него избавиться, я на него закричалъ и притопнулъ ногою. Грифонъ поднялъ одну лапу, опустилъ голову и, пошевеливъ ушами, сказалъ мнѣ человѣческимъ голосомъ: «Напрасно вы беспокоитесь, синьоръ Антоніо; я вамъ не сдѣлаю никакого вреда. Меня нарочно прислалъ за вами хозяинъ, чтобы я васъ отвезъ въ Грецію. Наши богини опять поспорили за яблоко. Юнона увѣряетъ, что Парисъ только потому отдалъ его Венерѣ, что она обѣщала ему Елену. Минерва тоже говоритъ, что Парисъ покривилъ душой, и обѣ онѣ обратились съ жалобой къ старику; а старикъ имъ сказалъ: пусть васъ разсудитъ синьоръ Антоніо. Теперь, если вамъ угодно, садитесь на меня верхомъ, я васъ мигомъ привезу въ Грецію».

«— Мысль эта мнѣ такъ показалась забавна, что я уже подымалъ ногу, чтобы сѣсть на грифона, но онъ меня остановилъ. «Каждая земля,—сказалъ онъ:—имѣетъ свои обычаи. Всѣ надъ вами будутъ смѣяться, если вы придете въ Грецію въ сюртукѣ».—А какъ же мнѣ ѣхать?—спросилъ я. «Не иначе, какъ въ національномъ костюмѣ: раздѣньтесь донага и обдрапируйтесь плащомъ. Всѣ боги и даже богини точно такъ одѣты». Я послушался грифона и сѣлъ къ нему на спину. Онъ пустился бѣжать рысью, и мы долго ѣхали по разнымъ коридорамъ, черезъ длинные ряды комнатъ, спускались и подымались по лѣстницамъ и наконецъ прибыли въ огромную залу, освѣщенную розовымъ свѣтомъ. Потолокъ залы былъ расписанъ и представлялъ небо съ летающими птицами и купидонами, а въ концѣ ея возвышался золотой тронъ, и на немъ сидѣлъ Юпитеръ.—Это нашъ хозяинъ, Донъ-Пьетро д'Урджина!—сказалъ мнѣ грифонъ.

«— У ногъ трона протекала прозрачная рѣка, и въ ней купалось множество нимфъ и наядъ, одна прекраснѣе другой. Рѣку эту, какъ я узналъ послѣ, называли Ладномъ. На берегу ея росло очень много тростнику, у котораго сидѣлъ аббатъ и игралъ на свирѣли.

«— Это кто такой?—спросилъ я у грифона.—«Это богъ Панъ»,—отвѣчалъ онъ.—Зачѣмъ же онъ въ сюртукѣ?—спросилъ я опять.—«Зачѣмъ, что онъ принадлежитъ къ ду-

ховному сословию, и ему бы неприлично было ходить голымъ». — Но какъ же онъ можетъ сидѣть на берегу рѣки, въ которой купаются нимфы? — «Это для того, чтобы умерщвлять свою плоть; вы видите, что онъ отъ нихъ отворачивается». — А для чего у него за поясомъ пистолеты? — «Охъ, — отвѣчалъ съ досадою грифонъ: — вы слишкомъ любопытны; почему я это знаю!»

«— Мнѣ показалось страннымъ видѣть въ комнатѣ рѣку, и я заглянулъ за китайскія ширмы, изъ-за которыхъ она вытекала. За ширмами сидѣлъ старикъ въ напудренномъ парикѣ и, повидимому, дремалъ. Подошедъ къ нему на дыпочкахъ, я увидѣлъ, что рѣка бѣжала изъ урны, на которую онъ опирался. Я началъ его разсматривать съ большимъ любопытствомъ; но грифонъ подбѣжалъ ко мнѣ, дернулъ меня за плащъ и сказалъ мнѣ на ухо: «Что ты дѣлаешь, безразсудный? Ты разбудишь Ладона, и тогда непременно сдѣлается наводненіе. Ступай прочь, или мы всѣ погибнемъ!» Я отошелъ. Мало-помалу зала наполнилась народомъ. Нимфы, дриады, ореады прогуливались между фавнами, сатирами и пастухами. Наяды вышли изъ воды и, накинувъ на себя легкія покрывала, стали также съ ними прохаживаться. Боги не ходили, а чинно сидѣли съ богинями возлѣ Юпитерова трона и смотрѣли на гуляющихъ. Между послѣдними замѣтилъ я одного человѣка въ домино и въ маскѣ, который ни на кого не обращалъ вниманія, но которому всѣ давали мѣсто. — Это кто? — спросилъ я у грифона. Грифонъ, очевидно, смѣшался. — «Это такъ, кто-нибудь!» — отвѣчалъ онъ, поправляя носомъ свои перья: — не обращайтесь на него вниманія!» Но въ эту минуту къ намъ подлетѣлъ красивый попугай и, сѣвъ ко мнѣ на плечо, проговорилъ гнусливымъ голосомъ: «Дурракъ, дурракъ, ты не знаешь, кто этотъ человѣкъ? Это нашъ настоящій хозяинъ, и мы его почитаемъ болѣе, нежели Донъ-Пьетро!» Грифонъ съ сердцемъ посмотрѣлъ на попугая и значительно мигнулъ ему однимъ глазомъ, но тотъ уже слетѣлъ съ моего плеча и исчезъ въ потолокъ между купидонами и облаками.

«— Вскорѣ въ собраніи сдѣлалась суматоха. Толпа разступилась, и я увидѣлъ молодого человѣка въ фригійской шапкѣ, съ связанными руками, котораго вели двѣ нимфы. «Парисъ! — сказалъ ему Юпитеръ, или Донъ-Пьетро д'Урджина (какъ называлъ его грифонъ): — Парисъ! говорятъ, что ты золотое яблоко несправедливо присудилъ

Венерѣ. Смотри, вѣдь я шутить не люблю. Ты у меня какъ разъ полетишь вверхъ ногами!»—О, могучій громовержець!—отвѣчалъ Парисъ :—клянусь Стиксомъ, я судилъ по чистой совѣсти. Впрочемъ, вотъ синьоръ Антоніо; онъ, я знаю, человекъ со вкусомъ. Вели ему произвести слѣдствіе, и если онъ не точно такъ рѣшить, какъ я, то я согласенъ полетѣть вверхъ ногами!»—«Хорошо,—сказалъ Юпитеръ :—быть по-твоему!»

«— Тутъ меня посадили подъ лавровое дерево и дали мнѣ въ руки золотое яблоко. Когда ко мнѣ подошли три богини, свирѣль аббата зазвучала сладостнѣе прежняго, тростникъ рѣки Ладона тихонько закачался, множество блестящихъ птичекъ вылетѣли изъ его середины, и пѣсни ихъ были такъ жалобны, такъ пріятны и странны, что я не зналъ, плакать ли мнѣ или смѣяться отъ удовольствія. Между тѣмъ старикъ за ширмами, вѣроятно, пробужденный пѣснями птичекъ и гармоническимъ шумомъ тростника, началъ кашлять и произнесъ слабымъ голосомъ и какъ будто вприсонкахъ : «О, Сиринга! о, дочь моя!»

«— Я совѣмъ забылся, но грифонъ очень больно ущипнулъ меня за руку и сердито сказалъ : «Скорѣй за дѣло, синьоръ Антоніо! Богини васъ ждутъ; рѣшайте, пока старикъ не проснулся!» Я превозмогъ сладостное волненіе, увлекшее меня далеко отъ виллы *Urgina* въ невѣдомый міръ цвѣтовъ и звуковъ, и, собравшись съ мыслями, устремилъ глаза на трехъ богинь. Онѣ сбросили съ себя покрывала. О, мои друзья! какъ вамъ описать, чтѣ я тогда почувствовалъ! Какими словами дать вамъ понятіе объ остромъ летучемъ огнѣ, который въ одно мгновеніе пробѣжалъ по всѣмъ моимъ жиламъ! Всѣ мои чувства смутились, всѣ понятія перемѣнились, я забылъ о васъ, о родныхъ, о самомъ себѣ, обо всей своей прошедшей жизни; я былъ увѣренъ, что я самъ Парисъ, и что мнѣ предоставлено великое рѣшеніе, отъ котораго пала Троя. Въ Юнонѣ я узналъ Пепину, но она была сто разъ прекраснѣе, нежели когда она вышла ко мнѣ на помощь изъ виллы *Remondi*. Она держала въ рукахъ гитару и тихонько трогала струны. Она была такъ обворожительна, что я уже протягивалъ руку, чтобы вручить ей яблоко, но, бросивъ взглядъ на Венеру, внезапно перемѣнилъ намѣреніе. Венера, сложивъ небрежно руки и приклонивъ голову къ плечу, смотрѣла на меня съ упрекомъ. Взоры наши встрѣтились, она покраснѣла и хотѣла отвернуться,

но въ этомъ движеніи столько было прелести, что я, не колеблясь, подаль ей яблоко.

«— Парись восторжествовалъ; но человѣкъ въ домино и въ маскѣ подошелъ къ Венерѣ и, вынувъ изъ-подъ полы большой бичъ, началъ немилосердно ее хлытать, приговаривая при каждомъ ударѣ: «Вотъ тебѣ, вотъ тебѣ; впередъ знай свою очередь и не кокетничай, когда тебя не спрашиваютъ; сегодня не твой день, а Юнонинъ; не могла ты подождать? вотъ же тебѣ за это, вотъ тебѣ, вотъ тебѣ!» Венера плакала и рыдала, но незнакомецъ не переставалъ ее бить и, обратившись къ Юпитеру, сказалъ: «Когда я съ ней расправлюсь, то и до тебя дойдетъ очередь, проклятый старикашка!» Тогда Юпитеръ и всѣ боги соскочили съ своихъ мѣстъ и бросились незнакомцу въ ноги, жалобно вопія: «Умилосердись, нашъ повелитель! Въ другой разъ мы будемъ исправнѣе!» Между тѣмъ Юнона или Пепина (я до сихъ поръ не знаю, кто она была) подошла ко мнѣ и сказала мнѣ съ очаровательной улыбкой: «Не думай, мой милый другъ, чтобы я была на тебя сердита за то, что ты не мнѣ присудилъ яблоко. Вѣрно, такъ было написано въ неисповѣдимой книгѣ судьбы! Но, чтобы ты видѣлъ, сколь я уважаю твое безпристрастіе, позволь мнѣ дать тебѣ поцѣлуй». Она обняла меня прелестными руками и жадно прижала свои розовыя губы къ моей шеѣ. Въ эту же минуту я почувствовалъ въ ней сильную боль, которая однако тотчасъ прошла. Пепина такъ ко мнѣ ласкалась, такъ нѣжно меня обнимала, что я бы вторично забылся, если бы крики Венеры не отвлекли отъ нея моего вниманія. Человѣкъ въ домино, запустивъ руку въ ея волосы, продолжалъ ее сѣчь самымъ безчеловѣчнымъ образомъ. Жестокость его меня взорвала.—Скоро ли ты перестанешь!—закричалъ я съ негодованіемъ и бросился на него. Но изъ-подъ черной маски сверкнули на меня невыразимымъ блескомъ маленькіе бѣлые глаза, и взглядъ этотъ меня пронзилъ, какъ электрическій ударъ. Въ одну секунду всѣ боги, богини и нимфы исчезли.

«— Я очутился въ китайской комнатѣ, возлѣ круглой залы. Меня окружила толпа фарфоровыхъ куколъ, фаянсовыхъ мандариновъ и глиняныхъ китаекъ, которыя съ крикомъ: «Да здравствуетъ нашъ императоръ, великій Антоніо Фу-Цингъ-Тангъ!» бросились меня щекотать. Напрасно я старался отъ нихъ отдѣлаться. Маленькія ихъ

ручонки влѣзали мнѣ въ носъ и уши, я хохоталъ, какъ сумасшедшій. Не знаю, какъ я отъ нихъ избавился, но когда я очнулся, то вы оба, друзья мои, стояли подлѣ меня. Стократъ васъ благодарю за то, что вы меня спасли!

«И Антоніо началъ насъ обнимать и цѣловать, какъ ребенокъ. Когда прошелъ его восторгъ, то я, обратившись къ нему и къ Владиміру, сказалъ имъ очень серьезно:

«— Я вижу, друзья мои, что вы оба бредили нынѣшнюю ночь, что касается до меня, то я удостовѣрился, что всѣ чудесные слухи про этотъ palazzo не что иное, какъ выдумка контрабандиста Титта Каннелли. Я самъ его видѣлъ и съ нимъ говорилъ. Пойдемъ со мною, я вамъ покажу, что я у него кушилъ.

«Съ сими словами я пошелъ въ свою спальню. Антоніо и Владиміръ за мною послѣдовали, я открылъ ящикъ, всунулъ въ него руку и вытащилъ человѣческія кости! Я ихъ съ ужасомъ отбросилъ и побѣжалъ къ столу, на который наканунѣ поставилъ склянку рококо. Развернувъ платокъ, я остолбенѣлъ. Въ немъ былъ черепъ ребенка. Пустой кошелекъ мой лежалъ подлѣ него.

«— Это ты купилъ у твоего контрабандиста?—спросили меня въ одинъ голосъ Антоніо и Владиміръ.

«Я не зналъ, что отвѣчать. Владиміръ подошелъ къ окну и воскликнулъ съ удивленіемъ:

«— Ахъ, Боже мой! гдѣ же озеро?

«Я также подошелъ къ окну. Передо мной была piazza Volta, и я увидѣлъ, что смотрю изъ окна чортова дома.

«— Какъ мы сюда попали?—спросилъ я, обращаясь къ Антоніо.

«Но Антоніо не могъ мнѣ отвѣчать. Онъ былъ чрезвычайно блѣденъ, силы его покинули, и онъ опустился въ кресла. Тогда я только замѣтилъ, что у него на шеѣ маленькая синяя ранка, какъ будто отъ шивки, немного болѣе. Я тоже чувствовалъ слабость и, подошедъ къ зеркалу, увидѣлъ у себя на шеѣ такую же ранку, какъ у Антоніо. Владиміръ ничего не чувствовалъ, и ранки у него не было. На вопросы мои Владиміръ признался, что когда онъ выстрѣлилъ въ бѣлый призракъ и потомъ узналъ своего друга, то Антоніо умолялъ его, чтобы онъ съ нимъ въ послѣдній разъ поцѣловался; но Владиміръ никакъ не могъ на это рѣшиться, потому что его пугало что-то такое во взглядѣ Антоніо.

«Мы еще разсуждали о нашихъ приключеніяхъ, какъ

кто-то сильно сталъ стучаться въ ворота. Мы увидѣли полицейскаго офицера съ шестью солдатами.

«— Господа,—кричалъ онъ снаружи:—отворите ворота; вы арестованы отъ имени правительства!

«Но ворота были такъ крѣпко заколочены, что ихъ при-
нуждены были сломать. Когда офицеръ вошелъ въ ком-
нату, мы его спросили, за что мы арестованы?

«— За то,—отвѣчалъ онъ:—что вы издѣваетесь надъ по-
койниками и нынѣшнюю ночь перетаскали всѣ кости изъ
Комской часовни. Одинъ аббатъ, проходивши мимо, ви-
дѣлъ, какъ вы ломали рѣшетку, и сегодня утромъ на
васъ донесъ.

«Мы тщетно протестовали, офицеръ непремѣнно хотѣлъ,
чтобы мы шли за нимъ. Къ счастью, я увидѣлъ комскаго
подесту (извѣстнаго археолога R...i), съ которымъ
былъ знакомъ, и призвалъ его на помощь. Узнавъ меня
и Антонію, онъ очень передъ нами извинялся и велѣлъ
привести аббата, сдѣлавшаго на насъ доносъ; но его нигдѣ
не могли отыскать. Когда я рассказалъ подестѣ, что
съ нами случилось, онъ нисколько не удивился, но при-
гласилъ меня въ городской архивъ. Антонію былъ такъ
слабъ, что не могъ за нами слѣдовать, а Владиміръ остался,
чтобы проводить его домой. Когда мы вошли въ архивъ,
подеста раскрылъ большой in-folio и прочиталъ слѣ-
дующее:

«Сего 1679 года сентября 20-го дня казненъ пу-
блично на городской площади разбойникъ Girombatista
Cannelli, около двадцати лѣтъ съ шайкою своею напол-
нявшій ужасомъ окрестности Комо и Милана. Родомъ онъ
изъ Комо, лѣтъ ему по собственному показанію 50. При-
шедъ на мѣсто казни, онъ не хотѣлъ приобщиться Свя-
тыхъ Тайнъ и умеръ не какъ христіанинъ, а какъ языч-
никъ».

«Сверхъ того подеста (человѣкъ во всѣхъ отношеніяхъ
заслуживающій уваженіе и который скорѣе бы далъ себѣ
отрѣзать руку, нежели бы согласился сказать неправду)
открылъ мнѣ, что чортовъ домъ построенъ на томъ
самомъ мѣстѣ, гдѣ нѣкогда находился языческій храмъ,
посвященный Гекатѣ и Ламіямъ. Многія пещеры и под-
земельные ходы этого храма, какъ гласить молва, и по-
нынѣ сохранились. Они ведутъ глубоко въ нѣдра земли,
и древніе думали, что они имѣютъ сообщеніе съ Тартаромъ.
Въ народѣ ходитъ слухъ, что Ламіи и Эмпузы, которыя,

какъ вамъ извѣстно, имѣли много сходства съ нашими упырями, и понынѣ еще бродятъ около посвященнаго имъ мѣста, принимая всевозможные виды, чтобы заманивать къ себѣ неопытныхъ людей и высасывать изъ нихъ кровь. Странно еще то, что Владиміръ черезъ нѣсколько дней въ самомъ дѣлѣ получилъ письмо отъ своей матери, въ которомъ она его просила возвратиться въ Россію».

Рыбаренко замолчалъ и опять погрузился въ размышленія.

— Что-жь, — спросилъ Руневскій: — и вы не дѣлали никакихъ розысканій о вашемъ приключеніи?

— Дѣлалъ, — отвѣчалъ Рыбаренко. — Сколько я ни уважалъ подесту, но истолкованіе его мнѣ не казалось вѣроятнымъ.

— И что-жь вы узнали?

— Пепина ничего не понимала, когда ее спрашивали о братѣ ея Титта. Она говорила, что у нея никогда не бывало брата. На наши вопросы она отвѣчала, что она дѣйствительно вышла изъ виллы Remondi на помощь къ Антонію, но что никогда она насъ не догоняла и не просила Антонію, чтобы онъ выхлопоталъ прощеніе ея брату. Никто также ничего не зналъ о прекрасномъ домѣ Донъ-Пьетро, между виллою Remondi и виллою d'Este, и когда я нарочно пошелъ его отыскивать, я ничего не нашелъ. Происшествіе это сдѣлало на меня сильное впечатлѣніе. Я выѣхалъ изъ Комо, оставивъ Антонію больнымъ. Черезъ мѣсяць я узналъ въ Римѣ, что онъ умеръ отъ изнеможенія. Я самъ такъ былъ слабъ, какъ будто послѣ сильной и продолжительной болѣзни; но наконецъ старанія искусныхъ врачей возвратили мнѣ, хотя не совсѣмъ, потерянное здоровье. Проживъ еще годъ въ Италіи, я возвратился въ Россію и вступилъ въ кругъ своихъ прежнихъ занятій. Я работалъ съ усердіемъ, и труды мои меня развлекали; но каждое воспоминаніе о пребываніи моемъ въ Комо приводило меня въ содроганіе. Повѣрите ли вы мнѣ, что я и теперь часто не знаю, куда мнѣ дѣваться отъ этого воспоминанія! Оно повсюду меня преслѣдуетъ, какъ червь подтачиваетъ мой разумъ, и бываютъ минуты, что я готовъ лишиться себя жизни, чтобы только избавиться отъ его присутствія! Я бы ни за что не рѣшился объ этомъ говорить, если бы не думалъ, что рассказъ мой вамъ послужитъ предостереженіемъ. Вы видите, что похожденія

мои нѣсколько похожи на то, что съ вами случилось на дачѣ старой бригадирши. Ради Бога, берегитесь, любезный другъ, а особливо не вздумайте шутить надъ нашимъ приключеніемъ.

Пока Рыбаренко говорилъ, заря уже начала освѣщать горизонтъ.

Сотни башенъ, колоколенъ и позолоченныхъ главъ заиграли солнечными лучами. Свѣжій вѣтеръ повѣялъ отъ востока, и громкій полнозвучный ударъ въ колоколь раздался на Иванѣ Великомъ. Ему отвѣчали, одинъ послѣ другого, всѣ колокола соборовъ кремлевскихъ, потомъ всѣхъ московскихъ церквей. Пространство наполнилось звукомъ, который, какъ будто на незримыхъ волнахъ, колебался, разливаясь по воздуху. Москва превратилась въ необъятную гармонику.

Въ это время странное чувство происходило въ груди Руневского. Съ благоговѣніемъ внималъ онъ священному звону колоколовъ, съ любовью смотрѣлъ на блестящій міръ, красующійся передъ нимъ. Онъ видѣлъ въ немъ образъ будущаго счастья, и чѣмъ болѣе увлекался этою мыслью, тѣмъ болѣе страшныя видѣнія, вызванныя изъ мрака рассказами Рыбаренки, блѣднѣли и исчезали.

Рыбаренко также былъ погруженъ въ размышленія, но глубокая грусть омрачала его лицо. Онъ былъ смертельно блѣденъ и не сводилъ глазъ съ Ивана Великаго, какъ будто бы желалъ измѣрить его высоту.

— Пойдемъ,—сказалъ онъ наконецъ Руневскому:— вамъ нужно отдохнуть!

Они оба встали со скамьи, и Руневскій, простившись съ Рыбаренкой, отправился домой.

V.

Когда онъ вошелъ въ домъ Дашиной тетушки, Оедосьи Акимовны Зориной, то и она и дочь ея, Софья Карповна, приняла его съ большою пріятливостью. Но обхождение матери тотчасъ съ нимъ перемѣнилось, какъ скоро онъ объявилъ, зачѣмъ къ ней пріѣхалъ.

— Какъ,—вскричала она:—что это значитъ? А Софья-то? Развѣ вы для того такъ долго ѣздили въ мой домъ, чтобы надъ нею смѣяться? Позвольте вамъ сказать: послѣ вашихъ посѣщеній, послѣ всѣхъ слуховъ, которыми наполненъ городъ о вашей женитьбѣ, поведеніе это мнѣ ка-

жется чрезвычайно страннымъ! Какъ, милостивый государь? обнадеживъ мою дочь, когда уже всѣ ее считаютъ невѣстой, вы вдругъ сватаетесь на другой и просите ея руки—у кого же? у меня, у матери Софьи!

Слова эти какъ громъ поразили Руневскаго. Онъ только теперь догадался, что Зорина давно уже на него мѣтила, какъ на жениха для своей дочери, а вовсе не для племянницы, и въ то же время понялъ ея тактику. Пока еще она питала надежду, всѣ ея дѣйствія были рассчитаны, чтобы удержать Руневскаго въ кругу ея общества, она старалась отгадывать и предупреждать всѣ его желанія; но теперь, при неожиданномъ требованіи, она рѣшилась прибѣгнуть къ послѣднему средству и чрезъ трагическую сцену надѣялась вынудить у него обѣщаніе. Къ несчастью своему, она ошиблась въ расчетѣ, ибо Руневскій весьма почтительно и холодно отвѣчалъ ей, что онъ никогда и не думалъ жениться на Софьѣ Карповнѣ, что онъ пріѣхалъ просить руки Даши и надѣется, что она не имѣетъ причинъ ему отказать. Тогда Дашина тетушка позвала свою дочь и, задыхаясь отъ злости, рассказала ей въ чемъ дѣло. Софья Карповна не упала въ обморокъ, но залилась слезами, и съ ней сдѣлалась истерика.

— Боже мой, Боже мой,—кричала она:—что я ему сдѣлала? За что хочетъ онъ убить меня? Нѣтъ, я не снесу этого удара, лучше тысячу разъ умереть! Я не могу, я не хочу теперь жить на свѣтѣ!

— Вотъ въ какое положеніе вы привели Софью,—сказала ему Зорина.—Но это не можетъ такъ остаться!

Софья Карповна такъ искусно играла свою роль, что Руневскому стало ея жалко.

Онъ хотѣлъ отвѣчать, но ни матери ни Софьи Карповны уже не было въ комнатѣ. Подождавъ нѣсколько времени, онъ отправился домой съ твердымъ намѣреніемъ не прежде возвратиться на дачу къ бригадиршѣ, какъ попытавшись еще разъ получить отъ Дашиной тетушки удовлетворительный отвѣтъ.

Онъ сидѣлъ у себя, задумавшись, когда ему пришли доложить, что ротмистръ Зоринъ желаетъ съ нимъ говорить. Онъ приказалъ просить и увидѣлъ молодого человека, коего открытое и благородное лицо предупреждало въ его пользу. Зоринъ былъ родной братъ Софьи Карповны; но такъ какъ онъ только-что пріѣхалъ изъ Тиф-

лиса, то Руневскій никогда его не видѣлъ и не имѣлъ о немъ никакого понятія.

— Я пришелъ съ вами говорить о дѣлѣ, касающемся до насъ обоихъ,—сказалъ Зоринъ, учтиво поклонившись.

— Прошу садиться,—сказалъ Руневскій.

— Два мѣсяца тому назадъ вы познакомились съ моею матерью, начали ѣздить въ домъ къ матушкѣ, и скоро распространились слухи, что вы пресите руки Софьи.

— Не знаю, распространились ли эти слухи,—прервалъ его Руневскій:—но могу васъ увѣрить, что не я тому причиною.

— Сестра была увѣрена въ вашей любви, и съ самаго начала обхожденіе ваше съ нею оправдывало ея предположенія. Вамъ удалось внушить ей участіе, и она васъ полюбила. Вы даже съ нею объяснились...

— Никогда!—воскликнулъ Руневскій.

Глаза молодого Зорина засверкали отъ негодованія.

— Послушайте, милостивый государь,—вскричалъ онъ, выходя изъ предѣловъ холодной учтивости, въ которыхъ сначала хотѣлъ остаться:—вамъ, вѣрно, неизвѣстно, что когда я еще былъ на Кавказѣ, то Софья мнѣ объ васъ писала, отъ нея я знаю, что вы обѣщали просить ея руки, и вотъ ея письма!

— Если Софья Карповна въ нихъ это говоритъ,—отвѣчалъ Руневскій, не дотрогиваясь до писемъ, которыя Зоринъ бросилъ на столъ:—то я сожалѣю, что долженъ опровергнуть ея слова. Я повторяю вамъ, что не только никогда не хотѣлъ просить ея руки, но и не давалъ ей малѣйшаго повода думать, что я ее люблю!

— Итакъ, вы не намѣрены на ней жениться?

— Нѣтъ. И доказательствомъ тому, что я нарочно пріѣхалъ въ Москву просить у вашей матушки руки ея племянницы.

— Довольно. Я надѣюсь, что вы не откажете мнѣ въ удовлетвореніи за оскорбленіе, которое нанесли моему семейству?

— Я всегда къ вашимъ услугамъ, но прежде прошу васъ обдумать вашъ поступокъ. Можетъ-быть, при хладнокровномъ размысленіи, вы убѣдитесь, что я никогда и не помышлялъ наносить оскорбленій вашему семейству.

Молодой ротмистръ бросилъ гордый взглядъ на Руневскаго.

— Завтра, въ пять часовъ, я васъ ожидаю на Влади-

мірской дорогѣ, на двадцатой верстѣ отъ Москвы,—сказалъ онъ сухо.

Руневскій поклонился въ знакъ согласія. Оставшись одинъ, онъ началъ заниматься приготовленіями къ слѣдующему утру. У него мало было знакомыхъ въ Москвѣ; къ тому-жъ почти всѣ были на дачахъ, итакъ, не удивительно, что выборъ его палъ на Рыбаренку.

На другой день, въ три часа утра, онъ и Рыбаренко уже ѣхали по Владимірской дорогѣ и на условленномъ мѣстѣ нашли Зорина съ его секундантомъ.

Рыбаренко подошелъ къ Зорину и взялъ его за руку.

— Владиміръ,—сказалъ онъ, сжавъ ее крѣпко:—ты не правъ въ этомъ дѣлѣ; помирись съ Руневскимъ!

Зоринъ отвернулся.

— Владиміръ,—продолжалъ Рыбаренко:—не шути съ судьбою, вспомни виллу Урджина!

— Полно, братецъ,—сказалъ Владиміръ, освобождая свою руку изъ рукъ Рыбаренки:—теперь не время говорить о пустякахъ!

Они углубились въ кустарникъ.

Секундантъ Зорина былъ маленькій офицеръ съ длинными черными усами, которые онъ крутилъ непрерывно. Съ самаго начала лицо его показалось Руневскому знакомымъ; но, когда, размѣряя шаги для барьера, маленькій офицеръ началъ особеннымъ образомъ подпрыгивать, Руневскій тотчасъ узналъ въ немъ Фрышкина, того самаго, падъ которымъ Софья Карповна такъ смѣялась на балѣ, гдѣ Руневскій съ ней познакомился.

— Друзья мои,—сказалъ Рыбаренко, обращаясь къ Владиміру и къ Руневскому:—помиритесь, пока еще можно; я чувствую, что одинъ изъ васъ не воротится домой!

Но Фрышкинъ, принявъ сердитый видъ, подскочилъ къ Рыбаренкѣ.

— Позвольте объяснить,—сказалъ онъ, уставивъ на него большіе красные глаза:—здѣсь оскорбленіе нестерпимое-съ... примиреніе невозможно-съ... здѣсь обижено почтенное семейство-съ, весьма почтенное-съ... я до примиренія не допущу-съ... а если бы пріятель мой Зоринъ и согласился, то я самъ, Егоръ Фрышкинъ, буду стрѣляться вмѣсто него-съ!

Оба противника уже стояли одинъ противъ другого. Вокругъ нихъ царствовала страшная тишина, прерванная на одну секунду щелканьемъ курковъ.

Фрышкинъ не переставалъ горячиться; онъ былъ красенъ какъ ракъ.

— Да,—кричалъ онъ:—я самъ хочу стрѣляться съ г. Руневскимъ-съ! Если пріятель мой Зоринъ его не убьетъ, такъ я его убью-съ.

Выстрѣлъ прервалъ его рѣчь, и отъ головы Владиміра отлетѣлъ клочокъ черныхъ кудрей. Почти въ ту же минуту раздался другой выстрѣлъ, и Руневскій грянулся на землю съ окровавленною грудью. Владиміръ и Рыбаренко бросились его подымать и перевязали его рану. Пуля пробила ему грудь; онъ былъ лишень чувствъ.

— Это твое видѣніе въ виллѣ Урджина!—сказалъ Рыбаренко на ухо Владиміру.—Ты убилъ друга.

Руневскаго перенесли въ коляску, и такъ какъ домъ бригадирши былъ самый ближній и хозяйка всѣмъ извѣстна, какъ добрая и человѣколюбивая старушка, то его отвезли къ ней, несмотря на сопротивленія Рыбаренки.

Долго Руневскій пролежалъ безъ памяти. Когда онъ началъ приходить въ себя, первое, что ему бросилось въ глаза, былъ портретъ Прасковьи Андреевны, висящій надъ диваномъ, на которомъ онъ лежалъ. Въ нишѣ стояла старинная кровать съ балдахинномъ, а посреди стѣны виденъ былъ огромный каминъ.

Руневскій узналъ свою прежнюю квартиру, но онъ никакъ не могъ понять, какимъ образомъ онъ въ нее попалъ, и отчего онъ такъ слабъ. Онъ хотѣлъ встать, но сильная боль въ груди удержала его на диванѣ, и онъ сталъ вспоминать свои походы до поединка. Онъ также вспомнилъ, какъ дрался съ Зоринымъ, но не зналъ, когда это было и сколько времени продолжался его обморокъ. Пока онъ размышлялъ о своемъ положеніи, вошелъ незнакомый докторъ, осмотрѣлъ его рану и, пощупавъ пульсъ, объявилъ, что у него лихорадка. Ночью нѣсколько разъ приходилъ Яковъ и давалъ ему лѣкарство.

Такимъ образомъ прошло нѣсколько дней, въ продолженіе коихъ онъ никого не видалъ, кромѣ доктора и Якова. Съ этимъ послѣднимъ онъ иногда разговаривалъ о Дарьѣ Александровнѣ; но онъ могъ отъ него только узнать, что Даша еще находилась у своей бабушки и что она совершенно здорова. Докторъ, посѣщая Руневскаго, говорилъ, что ему нужно какъ можно болѣе спокойствія, и на вопросъ его, скоро ли ему можно будетъ

встать, отвѣчалъ, что онъ еще долженъ пролежать, по крайней мѣрѣ, недѣлю. Все это еще болѣе усилило безпокойство и нетерпѣніе Руневскаго, и лихорадка его, вмѣсто того, чтобы уменьшиться, значительно увеличилась.

Въ одну ночь, когда сильный жаръ никакъ не давалъ ему заснуть, странный шумъ раздался близъ него. Онъ сталъ прислушиваться, и ему показалось, что шумъ этотъ происходитъ въ покояхъ, смежныхъ съ его комнатою. Вскорѣ онъ началъ различать голоса бригадирши и Клеопатры Платоновны:

— Подождите хоть одинъ день, Марѳа Сергѣевна,— говорила Клеопатра Платоновна:— подождите хоть до утра!

— Не могу, мать моя,— отвѣчала Сугробина.— Да и ожидать-то къ чему? Немного раньше, немного позже, а все тѣмъ же кончится. А ты, сударыня, ужъ всегда расхныкаешься, какъ дѣвчонка какая. И въ тотъ разъ та же была исторія, какъ до Дашиной-то матери дѣло дошло. Какая бы я и бригадирша-то была, если-бъ крови-то видѣть не могла?

— Вы не хотите?— вскричала Клеопатра Платоновна:— вы не хотите одинъ разъ отказаться отъ...

— Рыцарь Амвросій!— закричала Сугробина.

Руневскій не могъ удержаться, чтобы при этихъ словахъ не привстать и не приложить глаза къ ключевой дырѣ.

Среди комнаты стоялъ Семенъ Семеновичъ Теляевъ, одѣтый съ ногъ до головы въ желѣзные латы. Передъ нимъ на полу лежалъ какой-то предметъ, закрытый краснымъ сукномъ.

— Что тебѣ надобно, Марѳа?— спросилъ онъ грубымъ голосомъ.

— Пора, мой батюшка!— прошептала старуха.

Тутъ Руневскій замѣтилъ, что на бригадиршѣ было платье яркаго краснаго цвѣта, съ вышитою на груди большою черною летучею мышью. На латахъ Теляева изображенъ былъ филинъ, и на шлемѣ его торчали филиновы крылья.

Клеопатра Платоновна, коей черты обнаруживали ужасное внутреннее бореніе, подошла къ стѣнѣ и, сорвавъ съ нея небольшую доску съ странными, непонятными знаками, бросила ее на полъ и разбила въ дребезги.

Внезапно обои раздвинулись, и изъ потаенной двери

вошелъ въ комнату высокій человѣкъ въ черномъ домино и въ маскѣ, при видѣ коего Руневскій тотчасъ догадался, что это тотъ самый, котораго видѣлъ Антонио въ виллѣ Донъ-Пьетро д'Урджина.

Сугробина и Теляевъ обмерли отъ страха, когда онъ вошелъ.

— Ты ужъ здѣсь?—сказала, дрожа, бригадирша.

— Пора!—отвѣчалъ незнакомецъ.

— Подожди хоть одинъ день, подожди хоть до утра! Отецъ ты мой, кормилецъ, голубчикъ мой, благодѣтель! Старуха упала на колѣни; лицо ея стало страшнымъ образомъ кривляться.

— Не хочю ждать!—отвѣчалъ незнакомецъ.

— Еще хоть часочекъ!—простонала бригадирша.

Она уже не говорила ни слова, но губы еще судорожно шевелились.

— Три минуты!—отвѣчалъ тотъ.—Воспользуйся ими, если можешь, старая вѣдьма!

Онъ подаль знакъ Теляеву. Семень Семеновичъ нагнулся, поднялъ съ полу красное сукно, и Руневскій увидѣлъ Дашу, лежащую безъ чувствъ, съ связанными руками. Онъ громко вскрикнулъ и рванулся соскочить съ дивана, но на него сверкнули маленькіе бѣлые глаза чернаго домино и пригвоздили его на мѣстѣ. Онъ ничего болѣе не видалъ; въ ухахъ его страшно шумѣло; онъ не могъ сдѣлать ни одного движенія. Вдругъ холодная рука провела по его лицу, и оцѣпенѣніе его исчезло. За нимъ стояло привидѣніе Прасковьи Андреевны и обмахивало себя опахаломъ.

— Хотите жениться на моемъ портретѣ?—сказала она.—Я вамъ дамъ свое кольцо, и вы завтра его надѣнете моему портрету на палецъ. Не правда ли, вы это сдѣлаете для меня?

Прасковья Андреевна обхватила его костяными руками, и онъ упалъ на подушки, лишенный чувствъ.

Долго былъ боленъ Руневскій, и почти все время онъ не переставалъ бредить. Иногда онъ приходилъ въ себя, но тогда мрачное отчаянье блистало въ его глазахъ. Онъ былъ увѣренъ въ смерти Даши; и хотя онъ ни въ чемъ не былъ виноватъ, но проклиналъ себя за то, что не могъ ее спасти. Лѣкарства, которыя ему подносили, онъ

съ бѣшенствомъ кидаль далеко отъ себя, срываль перевязи съ своей раны и часто приходилъ въ такое изступленіе, что Яковъ боялся къ нему подойти.

Однажды страшный пароксизмъ только-что миновался, природа взяла верхъ надъ отчаяньемъ и онъ непремѣнно погружался въ благодѣтельный сонъ, какъ ему показалось, что онъ слышитъ голосъ Даши. Онъ раскрылъ глаза, но въ комнатѣ не было никого, и онъ вскорѣ заснулъ крѣпкимъ сномъ. Во снѣ онъ былъ перенесенъ въ виллу Урджина: Рыбаренко водилъ его по длиннымъ заламъ и показывалъ ему мѣста, гдѣ съ нимъ случились тѣ необыкновенныя происшествія, которыя онъ ему рассказывалъ.

— Сойдемъ внизъ по этой лѣстницѣ,—говорилъ Рыбаренко:—я вамъ покажу ту залу, куда Антонио ѣздилъ на грифонѣ.

Они начали спускаться, но лѣстницѣ не было конца. Между тѣмъ воздухъ становился все жарче и жарче, и Руневскій замѣтилъ, какъ сквозь щели стѣнъ, по обѣимъ сторонамъ лѣстницы, время отъ времени мелькалъ красный огонь.

— Я хочу воротиться,—говорилъ Руневскій; но Рыбаренко далъ ему замѣтить, что по мѣрѣ того, какъ они подвигались впередъ, лѣстница за ними заваливалась огромными утесами.

— Намъ нельзя воротиться,—говорилъ онъ:—надобно идти далѣе!

И они продолжали сходить внизъ. Наконецъ ступени кончились, и они очутились передъ большою мѣдною дверью. Толстый швейцаръ молча ее отворилъ, и нѣсколько слугъ въ блестящихъ ливреяхъ проводили ихъ черезъ переднюю; одинъ лакей спросилъ, какъ объ нихъ доложить, и Руневскій увидѣлъ, что у него изъ рта выходитъ огонь. Они вошли въ ярко освѣщенную комнату, въ которой толпа народа кружилась подъ шумную музыку. Далѣе стояли карточные столы, и за однимъ изъ нихъ сидѣла бригадирша и облизывала свои кровавыя губы; но Теляева не было съ нею; вмѣсто него напротивъ старухи сидѣло черное домино.

— Охъ!—вздыхала она:—скучно стало съ этой чучелой! Когда-то къ намъ будетъ Семень Семеновичъ!—длинная огненная струя выбѣжала изъ ея рта.

Руневскій хотѣлъ обратиться къ Рыбаренкѣ, но его уже

не было; онъ находился одинъ посреди незнакомыхъ лицъ. Вдругъ изъ той комнаты, гдѣ танцовали, вышла Даша и подошла къ нему.

— Руневскій,—сказала она:—зачѣмъ вы сюда пришли? Если они узнаютъ, кто вы, то вамъ будетъ бѣда!

Руневскому сдѣлалось страшно, онъ самъ не зналъ отъ чего.

— Слѣдуйте за мной,—продолжала Даша:—я васъ выведу отсюда, только не говорите ни слова, а то мы пропали.

Онъ поспѣшно пошелъ за нею, но она вдругъ воротилась.

— Пойдите,—сказала она:—я вамъ покажу нашъ оркестръ!

Даша подвела его къ одной двери и, отворивъ ее, сказала:

— Посмотрите, вотъ наши музыканты!

Руневскій увидѣлъ множество несчастныхъ, скованныхъ цѣпами и объятыхъ огнемъ. Черные дьяволы, съ козлиными лицами, хлопотливо раздували огонь и барабанили по ихъ головамъ раскаленными молотками. Вопли, проклятія и стукъ цѣпей сливались въ одинъ ужасный гулъ, который Руневскій сначала принялъ за музыку. Увидѣвъ его, несчастныя жертвы протянули къ нему длинныя руки и завывали:

— Къ намъ! ступай къ намъ!

— Прочь, прочь!—закричала Даша и повлекла Руневскаго за собою въ темный узкій коридоръ, въ концѣ котораго горѣла только одна лампа. Онъ слышалъ, какъ въ залѣ все заколыхалось.

— Гдѣ онъ? Гдѣ онъ?—блеяли голоса:—ловите его, ловите его!

— За мной, за мной!—кричала Даша, и онъ, запыхаясь, бѣжалъ за нею, а позади ихъ множество копытъ стучало по коридору.

Она отворила боковую дверь и, втащивъ въ нее Руневскаго, захопнула за собою.

— Теперь мы спасены!—сказала Даша и обняла его холодными костяными руками.

Руневскій увидѣлъ, что это не Даша, а Прасковья Андреевна. Онъ громко закричалъ и проснулся.

Возлѣ его постели стояли Даша и Владиміръ.

— Я радъ,—сказалъ Владиміръ, пожавъ ему руку:—что вы проснулись; васъ тяготилъ неприятный сонъ, но

мы боялись васъ разбудить, чтобъ вы не испугались. Докторъ говоритъ, что ваша рана неопасна, и никто ему за это такъ не благодаренъ, какъ я. Я бы никогда себѣ не простилъ, если-бъ вы умерли. Простите же меня; я признаюсь, что погорячился!

— Любезный другъ!—сказала Даша, улыбаясь:—не сердись на Владиміра; онъ предобрый человѣкъ, только немного вспыльчивъ. Ты его непременно полюбишь, когда съ нимъ короче познакомишься!

Руневскій не зналъ, вѣрить ли ему своимъ глазамъ или нѣтъ. Но Даша стояла передъ нимъ, онъ слышалъ ея голосъ, и въ первый разъ она ему говорила ты. Съ тѣхъ поръ, какъ онъ былъ боленъ, воображеніе столько разъ его морочило, что понятія его совершенно смѣшались, и онъ не могъ различить обмана отъ истины. Владиміръ замѣтилъ его недовѣрчивость и продолжалъ:

— Съ тѣхъ поръ, какъ вы лежите въ постели, много произошло переменъ. Сестра моя вышла замужъ за Фрышкина и уѣхала въ Симбирскъ; старая бригадирша... но я вамъ слишкомъ много рассказываю; когда вамъ будетъ лучше, вы все узнаете!

— Нѣтъ, нѣтъ,—сказала Даша:—ему никогда не будетъ лучше, если онъ останется въ недоумѣніи. Ему надобно знать все. Бабушка,—продолжала она, обратившись со вздохомъ къ Руневскому:—уже два мѣсяца какъ скончалась!

— Сама Даша,—прибавилъ Владиміръ:—была опасно больна и поправилась только послѣ смерти Сугробиной. Постарайтесь и вы поскорѣй выздоровѣть, чтобы намъ можно было сыграть свадьбу!

Видя, что Руневскій смотритъ на нихъ, ничего не понимая, Даша улыбнулась.

— Самое главное,—сказала она:—мы и забыли сказать: тетюшка согласна на нашъ бракъ и меня благословляетъ!

Услыша эти слова, Руневскій схватилъ Дашину руку, покрылъ ее поцѣлуями, обнялъ Владиміра и спросилъ его, точно ли они дрались?

— Я бы не думалъ,—отвѣчалъ, смѣясь, Владиміръ:—что вы можете въ этомъ сомнѣваться.

— Но за что-жъ мы дрались?—спросилъ Руневскій.

— Признаюсь вамъ, я и самъ не знаю, за что. Вы были совершенно правы, и, сказать правду, я радъ, что

вы не женились на Софѣ. Скоро я самъ увидѣлъ ея неоткровенность и дурной нравъ, особенно когда узналъ, что, изъ мщенія къ вамъ, она пересказала Фрышкину, какъ вы надъ нимъ смѣялись; но тогда уже было поздно, и вы лежали въ постели съ прострѣленною грудью. Не люблю я Софьи; но, впрочемъ, Богъ съ нею! Желаю, чтобы она была счастлива съ Фрышкинымъ, а мнѣ до нея нѣтъ дѣла!

— Какъ тебѣ не стыдно, Владиміръ,—сказала Даша:— ты забываешь, что она твоя сестра!

— Сестра, сестра!—прервалъ ее Владиміръ:—хороша сестра, по милости которой я чуть не убилъ даромъ человѣка и чуть не сдѣлалъ несчастною тебя, которую люблю ужъ вѣрно больше Софьи.

Еще мѣсяца три протекли послѣ этого утра. Руневскій и Даша уже были обвѣнчаны. Они сидѣли вмѣстѣ съ Владиміромъ передъ пылающимъ каминомъ, и Даша, въ красивомъ утреннемъ платьѣ и въ чепчикѣ, разливала чай. Клеопатра Платоновна, уступившая ей эту должность, сидѣла молча у окошка и что-то работала. Взоръ Руневскаго нечаянно упалъ на портретъ Прасковьи Андреевны.

— До какой степени,—сказалъ онъ:—воображеніе можетъ овладѣть человѣческимъ разсудкомъ! Если-бъ я не былъ увѣренъ, что во время моей болѣзни оно непростительнымъ образомъ меня морочило, я бы поклялся въ истинѣ странныхъ видѣній, связанныхъ съ этимъ портретомъ.

— Исторія Прасковьи Андреевны въ самомъ дѣлѣ много имѣетъ страннаго,—сказалъ Владиміръ.—Я никогда не могъ добиться, какъ она умерла и кто былъ этотъ женихъ, пропавшій такъ внезапно. Я увѣренъ, что Клеопатра Платоновна знаетъ всѣ эти подробности, но не хочетъ намъ ихъ открыть!

Клеопатра Платоновна, до этихъ поръ ни на кого не обращавшая вниманія, подняла глаза, и лицо ея приняло выраженіе еще горестнѣе обыкновеннаго.

— Если бы,—сказала она:—смерть старой бригадирши не разрѣшила моей клятвы, а женитьба Руневскаго и Даши не разрушила страшной судьбы, обременявшей ея

семейство, вы бы никогда не узнали этой ужасной тайны. Но теперь обстоятельства перемѣнились, и я могу удовлетворить вашему любопытству. Я подозреваю, объ какихъ видѣніяхъ говорить г. Руневскій, и могу его увѣрить, что въ этомъ случаѣ онъ не долженъ обвинять своего воображенія.

«Чтобы объяснить многія обстоятельства, для васъ непонятныя, я должна вамъ объявить, что Дашина бабушка, урожденная Островичева, происходитъ отъ древней венгерской фамилии, нынѣ уже угасшей, но извѣстной въ концѣ XV столѣтія подъ именемъ Ostroviczu. Гербъ ея былъ: черная летучая мышь въ красномъ полѣ. Говорятъ, что бароны Ostroviczu хотѣли этимъ означать быстроту своихъ ночныхъ набѣговъ и готовность проливать кровь своихъ враговъ. Враги эти назывались Tellara и, чтобы показать свое преимущество надъ прадедами бригадирши, приняли въ гербъ свой филина, величайшаго врага летучей мыши. Другіе утверждаютъ, что филинъ этотъ намекаетъ на происхождение фамилии Tellara отъ рода Тамерлана, который также имѣлъ въ гербу своемъ филина.

«Какъ бы то ни было, но объ фамилии вели безпрестанную войну одна съ другою, и война эта долго бы не кончилась, если-бъ измѣна и убійство не ускорили ея развязки. Марѳа Ostroviczu, супруга послѣдняго барона этого имени, женщина необыкновенной красоты, но жестокаго сердца, плѣнилась наружностью и воинской славой Амвросія Tellara, прозваннаго «Амвросіемъ съ широкимъ мечомъ». Въ одну ночь она впустила его въ замокъ и съ его помощью задушила мужа. Злодѣяніе ея однако не осталось безъ наказанія, ибо рыцарь Амвросій, видя замокъ Ostroviczu въ своей власти, послѣдовалъ голосу врожденной ненависти и, потопивъ въ Дунаѣ всѣхъ приверженцевъ своего врага, предалъ его замокъ огню. Сама Марѳа съ трудомъ могла спастись. Всѣ эти обстоятельства подробно рассказаны въ древней хроникѣ фамилии Ostroviczu, которая находится здѣсь въ библиотекѣ.

«Сказать вамъ, какъ и когда эта фамилія очутилась въ Россіи, я, право, не могу; но увѣряю васъ, что преступленіе Марѳы было наказано почти на всѣхъ ея потомкахъ. Многіе изъ нихъ уже въ Россіи умерли насильственною смертю, другіе сошли съ ума, и наконецъ

тетушка бригадирши, та самая, коей вы видите предъ собою портретъ, будучи невѣстою ломбардскаго дворянина Пьетро д'Урджина...»

— Пьетро д'Урджина?—перервали Клеопатру Платоновну въ одинъ голосъ Руневскій и Владиміръ.

«— Да,—отвѣтила она:—женихъ Прасковьи Андреевны назывался Донъ-Пьетро д'Урджина. Хотя это было давно, но я его хорошо помню. Онъ былъ человѣкъ уже не молодой и къ тому-жъ вдовецъ; но большіе черные глаза его такъ горѣли, какъ будто бы ему было не болѣе лѣтъ двадцати. Прасковья Андреевна была молодая дѣвушка, и учтивые приемы ловкаго иностранца легко ее обворожили. Она страстно въ него влюбилась. Мать ея не имѣла той ненависти ко всему иностранному, которую покойная бригадирша, можетъ-быть, лишь для того такъ часто обнаруживала, чтобы тѣмъ лучше скрыть свое собственное происхожденіе. Она желала выдать дочь за Донъ-Пьетро, ибо онъ былъ богатъ, пріѣхалъ съ большою свитой и жилъ, какъ владѣтельный князь. Къ тому-жъ онъ обѣщался навсегда поселиться въ Россіи и уступить ломбардскія свои имѣнія сыну, находившемуся тогда въ городѣ Комо.

«Донъ-Пьетро привезъ съ собою множество отличныхъ художниковъ. Архитекторы его выстроили этотъ домъ, живописцы и ваятели украсили его съ истинно-итальянскимъ вкусомъ. Но, несмотря на необыкновенную роскошь Донъ-Пьетро, многіе замѣчали въ немъ черты самой отвратительной скупости. Когда онъ проигрывалъ въ карты, лицо его видимо измѣнялось, онъ блѣднѣлъ и дрожалъ; когда же онъ былъ въ выигрышѣ, жадная улыбка показывалась на его устахъ, и онъ съ судорожнымъ движеніемъ пальцевъ загребалъ добытое золото. Низкій его нравъ, казалось, долженъ былъ перемѣнить къ нему расположеніе Прасковьи Андреевны и ея матери, но онъ такъ хорошо умѣлъ притворяться передъ ними обѣими, что ни та ни другая ничего не примѣтили, и день свадьбы былъ торжественно объявленъ.

«Наканунѣ онъ далъ въ своей новой дачѣ блистательный ужинъ, и никогда его любезность не показывалась съ такимъ блескомъ, какъ въ этотъ вечеръ. Умный и живой разговоръ его занималъ все собраніе, и всѣ были въ самомъ веселомъ расположеніи духа, какъ хозяину дома подали письмо съ иностраннымъ клеймомъ. Прочи-

тавъ содержаніе, онъ послѣшно всталъ изъ-за стола и извинился передъ обществомъ, говоря, что неожидан- ные дѣла непремѣнно требуютъ его присутствія. Въ ту же ночь онъ уѣхалъ, и никто не зналъ, куда онъ скрылся.

«Невѣста была въ отчаяніи. Мать ея, употребивъ всѣ средства, чтобы отыскать слѣдъ жениха, начала припи- сывать поведеніе его одной уловкѣ, чтобы отдѣлаться отъ брака съ ея дочерью, тѣмъ болѣе, что Донъ-Пьетро, не- смотря на послѣшность своего отъѣзда, успѣлъ оставить повѣренному письменное наставленіе, какъ распорядиться съ его домомъ и находящимися въ немъ вещами; изъ чего ясно можно было видѣть, что Донъ-Пьетро, если бы онъ только хотѣлъ, могъ бы найти время увѣдомить Прасковью Андреевну о причинѣ и назначеніи неожиданнаго своего путешествія.

«Прошло нѣсколько мѣсяцевъ, а о женихѣ все еще не было извѣстія. Бѣдная невѣста не переставала плакать и такъ похудѣла, что золотое кольцо, которое подарилъ ей Донъ-Пьетро, само собой спало съ ея руки. Всѣ уже потеряли надежду что-нибудь узнать о Донъ-Пьетро, какъ мать Прасковьи Андреевны получила изъ Комо письмо, гдѣ ее увѣдомляли, что женихъ, вскорѣ по пріѣздѣ своемъ изъ Россіи, скоростижно умеръ. Письмо было отъ сына умершаго. Но одинъ дальній родственникъ невѣсты, только-что пріѣхавшій изъ Неаполя, рассказывалъ, что въ тотъ самый день, когда, по словамъ молодого Урджина, отецъ его скончался въ Комо, онъ, родственникъ, сби- раясь влѣзть на Везувій, видѣлъ въ корчмѣ мѣстечка *Torre del Greco* двухъ путешественниковъ, изъ коихъ одинъ былъ въ халатѣ и ночномъ колпакѣ, а другой въ черномъ домино и маскѣ. Оба путешественника спо- рили между собой: человѣку въ халатѣ не хотѣлось идти далѣе, а человѣкъ въ домино его торопилъ, говоря, что имъ еще много дороги осталось до кратера, и что на другой день праздникъ св. Антонія. Наконецъ человѣкъ въ домино схватилъ человѣка въ халатѣ и съ исполни- ской силой потащилъ его за собой. Когда они скрылись, родственникъ спросилъ, кто эти чудаки?—и ему отвѣчали, что одинъ изъ нихъ Донъ-Пьетро д'Урджина, а другой какой-то англичанинъ, пріѣхавшій съ нимъ нарочно, чтобы видѣть изверженіе Везувія, и изъ странности никогда не снимающій съ себя маски. Встрѣча эта, заключалъ род-

ственникъ, ясно доказываетъ, что Донъ-Пьетро не умеръ, а только отлучился на время изъ Комо въ Неаполь.

«Къ несчастью, другія извѣстія подтвердили справедливость письма молодого Урджина. Нѣсколько очевидцевъ увѣряли, что они присутствовали при погребеніи Донъ-Пьетро, и божились, что сами видѣли, какъ гробъ его опущенъ былъ въ землю. Итакъ, не оставалось сомнѣнія въ участи жениха Прасковьи Андреевны.

«Сынъ Донъ-Пьетро, не желавшій удалиться изъ Италіи, поручилъ своему повѣренному продать отцовскую дачу съ публичнаго торга. Продажа состоялась довольно безпорядочно, и мать Прасковьи Андреевны купила «Березовую Рощу» за безцѣнокъ.

«Сколько Прасковья Андреевна сначала горевала и плакала, столько она теперь казалась спокойною. Ее рѣдко видали въ покояхъ матери, но по цѣлымъ днямъ она бродила въ верхнемъ этажѣ изъ комнаты въ комнату. Часто слуги, проходившіе по коридору, слышали, какъ она сама съ собою разговаривала. Любимое ея занятіе было—припоминать малѣйшія подробности своего знакомства съ Донъ-Пьетро, малѣйшія обстоятельства послѣдняго вечера, который она съ нимъ провела. Иногда она безъ всякой причины смѣялась, иногда такъ жалобно стонала, что нельзя было ее слышать безъ ужаса.

«Въ одинъ вечеръ съ ней сдѣлались конвульсіи, и не прошло двухъ часовъ, какъ она умерла въ страшныхъ мученіяхъ. Всѣ полагали, что она себя отравила, и, со всѣмъ почтеніемъ къ памяти покойницы, нельзя не думать, что это предположеніе справедливо. Иначе чтѣ бы значили эти звуки, которые вскорѣ послѣ ея смерти начали раздаваться въ ея комнатахъ? Чему приписать эти шаги, вздохи и даже несвязныя слова, которыя я сама не разъ слышала, когда въ бурныя осеннія ночи безпрестанный стукъ оконъ не давалъ мнѣ заснуть, а вѣтеръ свистѣлъ въ трубы, какъ будто бы наигрывалъ какую-то жалобную пѣснь. Тогда волосы мои становились дыбомъ, зубы стучали одинъ объ другой, и я громко молилась за упокой бѣдной грѣшницы».

— Но,—сказалъ Руневскій, слушавшій съ возрастающимъ любопытствомъ рассказъ Клеопатры Платоновны:— можете ли вы намъ сказать, какія именно слова произносила покойница?

— Ахъ,—отвѣчала Клеопатра Платоновна:—въ то

время въ словахъ ея мнѣ многое казалось страннымъ. Смысль ихъ всегда состоялъ въ томъ, что ей до тѣхъ поръ не будетъ покою, пока кто-нибудь не обручится съ ея портретомъ и не надѣнетъ ему на палецъ ея собственнаго кольца. Слава Всевышнему, теперь желаніе ея исполнилось, и ничто уже болѣе не будетъ тревожить ея праха. Кольцо, которымъ обручалась Даша, есть то самое, которое Донъ-Пьетро подарилъ своей невѣстѣ, а развѣ Даша не живой портретъ Прасковьи Андреевны?

— Клеопатра Платоновна!—сказалъ Руневскій послѣ нѣкотораго молчанія:—вы не все мнѣ открыли. Въ этой исторіи фамиліи Ostroviczy, отъ которой, какъ вы говорите, происходитъ покойная бригадирша, есть какая-то непостижимая тайна, окружающая меня съ самаго того времени, какъ я вступилъ въ этотъ домъ. Чтò дѣлала Сугробина вмѣстѣ съ Теляевымъ въ одну ночь, когда они оба перерядились, одна въ красную мантию, другой въ старинныя латы? Все это я считалъ сномъ или бредомъ моей горячки, но въ вашемъ разсказѣ есть подробности, которыя такъ хорошо соотвѣтствуютъ происшествіямъ той ужасной ночи, что ихъ невозможно принять за игру разстроеннаго воображенія. Вы сами, Клеопатра Платоновна, присутствовали при какомъ-то страшномъ преступленіи, отъ котораго у меня осталось одно темное воспоминаніе, но коего главные участники были бригадирша и Семенъ Семеновичъ Теляевъ. Мнѣ самому стыдно,—продолжалъ Руневскій, видя, что всѣ на него смотрятъ съ удивленіемъ:—мнѣ самому стыдно, что я еще думаю объ этомъ. Разсудокъ мой говоритъ мнѣ, что это бредъ, но это такой страшный бредъ, что я не могу не желать удостовѣриться въ его ничтожности.

— Что-жъ вы видѣли?—спросила Клеопатра Платоновна съ безпокойствомъ.

— Я видѣлъ васъ, видѣлъ Сугробину, Теляева и этого таинственнаго незнакомца въ домино и въ маскѣ, который увлекалъ Донъ-Пьетро д'Урджина въ кратеръ Везувія и о которомъ мнѣ уже разсказывалъ Рыбаренко.

— Рыбаренко!—вскричалъ, смѣясь, Владиміръ:—твой секундантъ! Ну, любезный Руневскій, если онъ тебѣ разсказывалъ похождения свои въ Комо, то я не удивляюсь, что это тебѣ вскружило голову.

— Но ты самъ и еще этотъ Антоніо, вы вмѣстѣ съ Рыбаренко ночевали въ чортовомъ домѣ?

— Такъ точно, и всѣ трое мы видѣли Богъ знаетъ что во снѣ, съ тою только разницею, что Антонио и я скоро обо всемъ забыли, а бѣдный Рыбаренко черезъ нѣсколько дней сошелъ съ ума. Впрочемъ, ему, надобно отдать справедливость, было отъ чего помѣшаться. Я самъ не понимаю, какъ уцѣлѣлъ. Если бы я только зналъ, кто подмѣшалъ намъ опиума въ этотъ пуншъ, который мы пили прежде, нежели пошли въ чортовъ домъ, онъ бы мнѣ дорого заплатилъ за эту шутку.

— Но Рыбаренко мнѣ ни слова не говорилъ про пуншъ.

— Оттого, что онъ до сихъ поръ не вѣритъ, что бредъ его былъ слѣдствіемъ пунша. Я-жъ въ этомъ вполне увѣренъ, ибо у меня отъ одного стакана закружилась голова, а Антонио началъ шататься и даже упалъ на совершенно ровномъ мѣстѣ.

— Но вѣдь Антонио умеръ отъ послѣдствій вашей шалости.

— Правда, что онъ вскорѣ послѣ нея умеръ, но правда и то, что онъ еще прежде страдалъ неизлѣчимой хронической болѣзнию.

— А кости, а черепъ ребенка, а казненный разбойникъ?

— Не прогибайся, любезный Руневскій, но въ отвѣтъ на все это я тебѣ скажу только, что Рыбаренко, котораго я, Впрочемъ, очень люблю, помѣшался въ Комо со страха. Все, что онъ видѣлъ во снѣ и наяву, все это онъ смѣшалъ, перепуталъ и прикрасилъ по-своему. Потомъ онъ рассказалъ это тебѣ, а ты, будучи въ горячкѣ, всю его чепуху еще болѣе спуталъ и сверхъ того увѣрилъ себя въ ея истинѣ.

Руневскій не довольствовался этимъ истолкованіемъ.

— Отчего же,—сказалъ онъ:—исторія этого Донъ-Пьетро, въ домъ котораго вы забрались ночью, смѣшана съ исторіею Прасковьи Андреевны, въ которой однако, мнѣ кажется, никто изъ васъ не сомнѣвается?

Владиміръ пожалъ плечами.

— Все, что я тутъ вижу,—сказалъ онъ:—заключается въ томъ, что Донъ-Пьетро былъ женихъ Прасковьи Андреевны. Но изъ этого нисколько не слѣдуетъ, что онъ былъ унесенъ чортомъ въ Неаполь, и что все, что объ немъ снилось Рыбаренкѣ, есть правда.

— Но родственникъ Прасковьи Андреевны говорилъ о чловѣкѣ въ черномъ домино, Рыбаренко также говорилъ объ этомъ чловѣкѣ, и я самъ готовъ побожиться, что

видѣлъ его своими глазами. Неужели бы три лица, не согласившись другъ съ другомъ, захотѣли сами себя обманывать?

— На это я тебѣ скажу, что черное домино вещь такая обыкновенная, что о ней могли бы говорить не три, а тридцать человекъ, вовсе между собой не согласившись. Это все равно, что плащъ, карета, дерево или домъ—предметы, которые нѣсколько разъ въ день могутъ быть въ устахъ каждаго. Замѣть, что согласіе словъ Рыбаренки съ словами родственника состоитъ только въ томъ, что они оба говорятъ о черномъ домино; но обстоятельства, въ которыхъ оно является у каждаго изъ нихъ, ничего не имѣютъ между собою схожаго. Что-жъ касается до твоего собственнаго видѣнія, то воображеніе твое просто воссоздало лицо, уже знакомое тебѣ по разсказамъ Рыбаренки.

— Но я ничего не зналъ ни о фамилии Ostroviczy ни о фамилии Tellara, а между тѣмъ ясно видѣлъ на Сугробиной красное платьѣ съ летучей мышью, а на латахъ Теляева изображеніе филина.

— А пророчество?—сказала Даша.—Ты развѣ забылъ, что въ первый день, когда ты сюда приѣхалъ, ты самъ прочиталъ родъ баллады, въ которой говорилось о Марѣ и о рыцарѣ Амвросіи, о филинѣ и о летучей мыши. Только я не знаю, что можетъ быть общаго у Теляева съ филиномъ или съ рыцаремъ Амвросіемъ!

— Эту балладу,—прибавила Клеопатра Платоновна:—извлекъ Рыбаренко изъ старинной хроники, о которой я вамъ уже говорила, но послѣ того, какъ вы ее прочитали, Марѣа Сергѣевна мнѣ приказала сжечь свою рукопись.

— И послѣ этого вы полагаете,—продолжалъ Руневскій, обращаясь къ Владиміру и къ Дашѣ:—что она была не упырь?

— Какъ не упырь?

— Что она не вампиръ?

— Чтò ты, помилуй, отъ чего бабушкѣ быть вампиромъ?

— И Теляевъ не упырь?

— Да чтò съ тобой? Съ какой стати ты хочешь, чтобы всѣ были упырями или вампирами?

— Отчего-жъ онъ щелкаетъ?

Даша и Владиміръ посмотрѣли другъ на друга, и на-

конецъ Даша такъ чистосердечно захохотала, что она увлекла за собой и Владиміра. Оба начали кататься со смѣху, и когда одна переставала, другой начиналъ снова. Они смѣялись такъ откровенно, что Руневскій, сколько это ему ни казалось некстати, самъ не могъ удержаться отъ смѣха. Одна Клеопатра Платоновна осталась попрежнему печальною.

Веселье Владиміра и Даши, вѣроятно, еще долго бы продолжалось, если-бъ не вошелъ Яковъ и не произнесъ громогласно:

— Семень Семеновичъ Теляевъ!

— Просить, просить! — сказала радостно Даша. — Упырь! — повторяла она, помирая со смѣху: — Семень Семеновичъ упырь! Рыцарь Амвросій! Ха, ха, ха!

Въ передней послышались шаги, и всѣ замолчали. Дверь отворилась, и знакомая фигура стараго чиновника представилась ихъ очамъ. Коричневый парикъ, коричневый фракъ, коричневые панталоны и никогда не измѣняющаяся улыбка были отличительными чертами этой фигуры и тотчасъ бросались въ глаза.

— Здравія желаю, сударыня Дарья Александровна, мое почтеніе, Александръ Андреевичъ! — сказалъ онъ сладкимъ голосомъ, подходя къ Дашѣ и къ Руневскому. — Душевно сожалѣю, что не могъ ранѣе поздравить молодыхъ супруговъ, но отлучка... семейныя обстоятельства...

Онъ началъ неприятнымъ образомъ щелкать, всунулъ руку въ карманъ и, вытащивъ изъ него золотую табакерку, поднесъ ее прежде Дашѣ, а потомъ Руневскому, приговаривая:

— Съ донникомъ... настоящій русскій... покойница Марѳа Сергѣевна другого не употребляли...

— Посмотри, — шепнула Даша Руневскому: — вотъ откуда ты взялъ, что онъ рыцарь Амвросій!

Она указывала на табакерку Семена Семеновича, и Руневскій увидѣлъ, что на ея крышкѣ изображенъ ушастый филинъ.

Примѣтивъ, что онъ смотритъ на это изображеніе, Семень Семеновичъ страннымъ образомъ на него взглянулъ и проговорилъ, повертывая головою:

— Гм! Это такъ-съ, фантазія... аллегорія... говорятъ, что филинъ означаетъ мудрость...

Онъ опустился въ кресла и продолжалъ съ необыкновенно сладкой улыбкой:

— Много новаго-съ! Карлисты претерпѣли значительныя пораженія. Вчера нѣкто извѣстный вамъ бросился съ колокольни Ивана Великаго, коллежскій ассессоръ Рыбаренко...

— Какъ, Рыбаренко бросился съ колокольни?

— Какъ изволите говорить... вчера въ пять часовъ...

— И убили до смерти?

— Какъ изволите говорить!

— Но что его къ этому побудило?

— Не могу доложить... причины неизвѣстны... Но смѣю сказать, что напрасно... коллежскій ассессоръ!.. далеко ли до коллежскаго совѣтника... тамъ статскій совѣтникъ... дѣйствительный...

Семень Семеновичъ впалъ въ шелканье, и во все остальное время его визита Руневскій ничего болѣе не слыхалъ.

— Бѣдный, бѣдный Рыбаренко!—сказалъ онъ, когда ушелъ Теляевъ.

Клеопатра Платоновна глубоко вздохнула.

— Итакъ, — сказала она: — пророчество исполнилось вполне. Проклятiе не будетъ болѣе тяготить этотъ родъ!

— Что вы говорите?—спросили Руневскій и Владимiръ.

— Рыбаренко, — отвѣчала она: — былъ незаконнорожденный сынъ бригадирши!

— Рыбаренко? сынъ бригадирши?

— Онъ самъ этого не зналъ. Въ балладѣ, которую вы читали, онъ страннымъ образомъ предсказалъ свою смерть. Но это предсказанiе не есть его выдумка; оно въ самомъ дѣлѣ существовало въ фамилии Ostrovczy.

Веселое выраженiе на лицахъ Даши и Владимiра уступило мѣсто печальной задумчивости. Руневскій погрузился также въ размышленiя.

— О чемъ ты думаешь, мой другъ?—сказала наконецъ Даша, прерывая общее молчанiе.

— Я думаю о Рыбаренкѣ, — отвѣчалъ Руневскій: — и еще думаю о томъ, что видѣлъ во время своей болѣзни. Оно не выходитъ у меня изъ головы, но ты здѣсь, со мною, и, стало-быть, это былъ бредъ!

Сказавъ эти слова, онъ поблѣднѣлъ, ибо въ то же время замѣтилъ на шеѣ у Даши маленькiй шрамъ, какъ будто отъ недавно зажившей ранки.

— Откуда у тебя этотъ шрамъ?—спросилъ онъ.

— Не знаю, мой милый. Я была больна и, вѣрно, обо

что-нибудь укололась. Я сама удивилась, когда увидѣла свою подушку всю въ крови.

— А когда это было? Не помнишь ли ты?

— Въ ту самую ночь, когда скончалась бабушка. Нѣсколько минутъ передъ ея смертью. Это маленькое приключеніе было причиною, что я не могла съ нею проститься; такъ я вдругъ сдѣлалась слаба!

Клеопатра Платоновна въ продолженіе этого разговора что-то про себя лепетала, и Руневскому показалось, что она тихонько молится.

— Да, — сказалъ онъ: — теперь я все понимаю. Вы спасли Дашу... вы, Клеопатра Платоновна, разбили каменную доску... такую-жъ доску, какая была у Донъ-Пьетро...

Клеопатра Платоновна смотрѣла на Руневскаго умоляющими глазами.

— Но нѣтъ, — сказалъ онъ: — я ошибаюсь, не будемъ болѣе объ этомъ говорить! Я увѣренъ, что это былъ бредъ!

Даша не совсѣмъ поняла смыслъ его словъ, но она охотно замолчала. Клеопатра Платоновна бросила благодарный взглядъ на Руневскаго и стерла двѣ крупныя слезы съ своихъ блѣдныхъ ланитъ.

— Ну, что-жъ мы всѣ четверо повѣсили головы? — сказалъ Владиміръ. — Жаль бѣднаго Рыбаренки, но помочь ему нельзя. Пойдите, я васъ сейчасъ развеселю: не правда ли, Теляевъ славный упырь?

Никто не засмѣялся, а Руневскій дернулъ за шнурокъ колокольчика и сказалъ вошедшему Якову:

— Когда бы ни пріѣхалъ Семенъ Семеновичъ, настъ никогда для него нѣтъ дома. Слышишь ли? никогда!

— Слушаю-съ! — отвѣчалъ Яковъ.

Съ этихъ поръ Руневскій не говорилъ болѣе ни про старую бригадиршу, ни про Семена Семеновича.



СЕМЬЯ ВУРДАЛАКА.

Изъ воспоминаній неизвѣстнаго.

1815 годъ привлекъ въ Вѣну все, что было тогда самаго изящнаго въ средѣ европейскихъ знаменитостей, блестящихъ салонныхъ умовъ и людей, извѣстныхъ своими высокими политическими дарованіями. Это придавало городу необыкновенное оживленіе, яркость и веселость.

Конгрессъ приходилъ къ концу. Эмигранты-роялисты готовились переселиться въ возвращенные имъ замки, русскіе воины—вернуться къ своимъ покинутымъ очагамъ, а нѣсколько недовольныхъ поляковъ—перенести въ Краковъ свои грезы о свободѣ подъ покровомъ той сомнительной независимости, которая уготована была имъ тройною заботой князей Меттерниха и Гарденберга и графа Нессельроде.

Подобно тому, какъ подъ конецъ оживленнаго бала изъ общества, за мигъ передъ тѣмъ многочисленнаго и шумнаго, остается иной разъ лишь нѣсколько человѣкъ, желающихъ еще повеселиться, нѣкоторые лица, очарованныя прелестью австрійскихъ дамъ, не спѣшили укладываться, отлагая отъѣздъ свой со дня на день.

Веселое это общество, къ которому принадлежалъ и я, собиралось раза два въ недѣлю въ замкѣ вдовствовавшей княгини Шварценбергъ, въ нѣсколькихъ миляхъ отъ города, за мѣстечкомъ Гитцингъ. Изящно-барскій тонъ хозяйки дома, ея граціозная любезность и тонкій умъ имѣли для ея гостей невыразимую привлекательность.

Утро наше посвящалось прогулкамъ; обѣдали мы все вмѣстѣ, либо въ замкѣ, либо гдѣ-нибудь въ окрестностяхъ, а по вечерамъ, сидя у неярко пылавшаго камина, бесѣ-

довали и рассказывали другъ другу разныя исторіи. Говорить о политикѣ было строго воспрещено. Всѣмъ она жестоко надоѣла, и рассказы наши почерпались или изъ повѣрій и преданій родной тому или другому изъ насъ страны, или изъ нашихъ личныхъ воспоминаній.

Однажды вечеромъ, когда уже всѣ кое-что поразсказали и воображеніе каждаго изъ насъ находилось въ томъ напряженномъ состояніи, коему такъ способствуютъ обыкновенно полумракъ и наступающее внезапно общее молчаніе, маркизъ д'Юрфе, старый эмигрантъ, котораго мы всѣ очень любили за его почти юношескую веселость и остроуміе, воспользовался этою наставшею минутой молчанія и заговорилъ.

— Рассказы ваши, господа, — сказалъ онъ: — весьма обыкновенны, конечно, но мнѣ сдается, что въ нихъ нѣтъ главнаго: именно, вашего личнаго въ нихъ участія. Я не знаю, видѣлъ ли изъ васъ кто самъ, собственными глазами, тѣ сверхъестественныя явленія, о которыхъ только-что сообщалось намъ, и можетъ ли онъ подтвердить ихъ своимъ честнымъ словомъ?

Мы должны были согласиться, что никто изъ насъ сдѣлать это не могъ, и старикъ продолжалъ, оправляя свое жабо:

— Чтѣ до меня, господа, то я знаю одинъ лишь случай въ этомъ родѣ, но случай этотъ такъ страненъ, страшенъ и, главное, достовѣренъ, что его одного достаточно, чтобы навести ужасъ на воображеніе самаго недовѣрчиваго человѣка. Я, къ несчастью, самъ былъ тутъ и свидѣтелемъ и дѣйствующимъ лицомъ, и хотя я обыкновенно не люблю о немъ вспоминать, но на сей разъ охотно расскажу вамъ этотъ случай, если только дадутъ мнѣ на это дозволеніе прелестныя дамы наши.

Согласіе немедленно послѣдовало общее. Нѣсколько пугливыхъ взоровъ обратились, правду сказать, по направлению къ свѣтящимся четырехугольникамъ, которые начинала выводить луна на гладкомъ паркетѣ покоя; гдѣ мы находились, но вскорѣ маленький кружокъ нашъ сдвинулся потѣнѣе, и всѣ замолкли въ ожиданіи повѣсти маркиза. Онъ вынулъ изъ золотой табакерки щепотку табаку, медленно потянулъ ее и началъ такъ:

— Прежде всего, mesdames, я попрошу у васъ извиненія, если въ теченіе моего разсказа мнѣ случится го-

ворить о своихъ сердечныхъ дѣлахъ чаще, нежели прилично это человѣку моихъ лѣтъ. Но упоминать о нихъ я долженъ для большей ясности моего разказа. Впрочемъ, старости простиительно иногда забываться, и никто кромѣ васъ не будетъ въ томъ виноватъ, mesdames, если въ вашемъ кругу я воображу себя на мигъ опять молодымъ человѣкомъ. Итакъ, скажу вамъ безъ дальнѣйшихъ оговорокъ, что въ 1769 году я былъ страстно влюбленъ въ хорошенькую герцогиню де-Грамонъ. Эта страсть, которую я въ ту пору почиталъ неизмѣнно глубокою, не давала мнѣ покоя ни днемъ ни ночью, а герцогиня, какъ большинство хорошенькихъ женщинъ, своимъ кокетствомъ удваивала мои мученія, такъ что наконецъ въ минуту досады я рѣшился испросить и получилъ дипломатическое порученіе къ Молдавскому господарю, у котораго шли тогда переговоры съ Версазьскимъ кабинетомъ о дѣлахъ, имѣвшихъ въ ту пору для Франціи нѣкоторую важность. Наканунѣ моего отъѣзда я отправился къ герцогинѣ. Она приняла меня уже не такъ насмѣшливо, какъ прежде, и заговорила съ нѣкоторымъ волненіемъ:

— Д'Юрфе, вы поступаете безумно. Но я васъ знаю, и знаю, что вы никогда не измѣните разъ принятому вами рѣшенію. Итакъ, я васъ прошу лишь объ одномъ: примите этотъ маленькій крестъ, какъ знакъ моей искренней дружбы, и носите его до вашего возвращенія сюда. Это семейная святыня наша, которую всѣ мы высоко цѣнимъ.

Съ галантностью, пожалуй, даже неумѣстною въ эту минуту, я поцѣловалъ не семейную святыню, а прелестную ручку, подававшую мнѣ ее, и надѣлъ на шею вотъ этотъ крестъ, котораго уже не снималъ съ тѣхъ поръ.

Не стану утомлять васъ, mesdames, ни подробностями моего путешествія ни наблюденіями своими надъ венграмми и сербами, этимъ бѣднымъ, но храбрымъ и честнымъ народомъ, который, несмотря на все свое порабоженіе турками, не забылъ ни своего достоинства ни своей прежней независимости. Достаточно, если скажу вамъ, что, выучась какъ-то по-польски въ пору одного моего довольно продолжительнаго пребыванія въ Варшавѣ, я скоро справился и съ сербскимъ языкомъ, такъ какъ эти два нарѣчія, какъ и русское съ чешскимъ, составляютъ лишь вѣтви одного и того же языка, называемаго славянскимъ.

Я разумѣлъ такимъ образомъ уже достаточно по-сербски, чтобы меня понимали, когда однажды очутился въ одной

деревушкѣ, названіе которой для васъ безразлично. Я нашелъ хозяевъ дома, въ которомъ остановился, въ какомъ-то смятеніи, показавшемся мнѣ тѣмъ болѣе страннымъ, что это было въ воскресенье, день, когда сербы предаются различнымъ удовольствіямъ — пляскамъ, стрѣльбѣ въ цѣль, борьбѣ и т. п. Приписавъ настроеніе моихъ хозяевъ какому-нибудь только-что случившемуся несчастію, я уже собрался-было покинуть ихъ, когда ко мнѣ подошелъ челоуѣкъ лѣтъ тридцати, высокій ростомъ, внушительнаго вида, и взялъ меня за руку...

— Войди, войди, чужеземець,—сказалъ онъ:—не пугайся нашей грусти; ты поймешь ее, когда узнаешь, отчего она происходитъ.

И онъ разсказалъ мнѣ, что его престарѣлый отецъ, по имени Горша, челоуѣкъ безпокойнаго и буйнаго нрава, поднялся однажды утромъ съ постели и, снявъ со стѣны длинную турецкую вѣнцовку,—«Дѣти!—сказалъ онъ своимъ двоимъ сынѡвьямъ, Георгію и Петру:—я ухожу въ горы къ храбрецамъ, которые гоняются за собакой Алибекомъ (такъ звали одного турецкаго разбойника, разорявшаго въ то время окрестность). Ждите меня десять дней; если же я въ десятый день не вернусь, отслужите по мнѣ панихиду, потому что, значить, я буду убитъ. Если же,—прибавилъ старый Горша, принимая серьезный видъ:—если (чего васъ Богъ избави) я приду по истеченіи означенныхъ десяти дней, ради спасенія вашего не выпускайте меня къ себѣ. Приказываю вамъ тогда забыть, что я отецъ вамъ, и пронзить меня осиновымъ коломъ, что бы я ни говорилъ и что бы ни дѣлалъ; потому что тогда вернувшійся уже будетъ не я, а проклятый вурдалакъ, пришедшій за тѣмъ, чтобы высосать кровь вашу».

Кстати будетъ сказать вамъ, mesdames, что вурдалаки—«вампиры» славянскихъ народовъ—не что иное, по мѣстному мнѣнію, какъ тѣла умершихъ, выходящія изъ могилъ, чтобы высосать кровь живыхъ. Вообще ихъ обычай тѣ же, что и у вампировъ другихъ странъ, но есть у нихъ, кромѣ того, особенность, дѣлающая ихъ еще болѣе опасными. Вурдалаки, mesdames, высасываютъ предпочтительно кровь своихъ ближайшихъ родныхъ и лучшихъ друзей, которые, умерши, въ свою очередь, превращаются въ вампировъ, такъ что, говорятъ, въ Босніи и Герцеговинѣ есть цѣлыя деревни, жители коихъ—вурдалаки.

Аббатъ Августинъ Кольмэ въ своемъ любопытномъ сочиненіи о привидѣніяхъ приводитъ страшные тому примѣры. Германскіе императоры назначали много разъ цѣлыя комиссіи для разслѣдованія случаевъ вампиризма. Вели слѣдствія, вырывали изъ земли трупы, которые оказывались налитыми кровью, ихъ сжигали на площадяхъ, предварительно прозвивъ имъ сердце. Свидѣтельства должностныхъ лицъ, присутствовавшихъ при этихъ казняхъ, утверждаютъ, что они слышали, какъ трупы стонали, когда палачъ вонзалъ имъ въ сердце колъ. Сохранились формальныя, клятвенныя показанія этихъ лицъ, скрѣпленныя подписью ихъ и печатью.

Принимая это во вниманіе, вамъ не трудно будетъ, mesdames, понять, какое дѣйствіе произвели слова Горши на его сыновей. Оба кинулись къ его ногамъ, умоляя пустить ихъ за него въ горы, но онъ, вмѣсто всякаго отвѣта, повернулъ имъ спину и удалился, затянувъ припѣвъ какой-то старой эпической пѣсни. Въ тотъ день, когда я приѣхалъ въ ихъ деревню, кончался срокъ, назначенный Горшей, и мнѣ теперь не трудно было объяснить себѣ тревогу его дѣтей.

Это была хорошая и честная семья. Георгій, старшій изъ сыновей, съ мужественными и правильными чертами лица, казался человѣкомъ рѣшительнымъ и серьезнымъ. Онъ былъ женатъ и имѣлъ двоихъ дѣтей. У брата его Петра, красиваго восемнадцатилѣтняго юноши, въ выраженіи лица было болѣе мягкости, чѣмъ отваги; онъ былъ, повидимому, любимцемъ своей меньшей сестры Зденки, которую можно было поистинѣ назвать типомъ славянской красоты. Кромѣ этой неоспоримой во всѣхъ отношеніяхъ красоты, меня сразу поразило въ ней какое-то отдаленное сходство съ герцогиней де-Грамонъ, въ особенности какая-то характерная черточка на лбу, которую я встрѣтилъ въ жизни только у этихъ двухъ особъ; эта черточка, пожалуй, сразу могла и не понравиться, но становилась неотразимо обаятельною, когда къ ней поприглядишься...

Былъ ли я тогда ужъ черезчуръ молодъ, или это сходство, соединенное съ оригинальнымъ и наивнымъ умомъ Зденки, было въ самомъ дѣлѣ такъ неотразимо, но только я, не поговоривъ съ нею и двухъ минутъ, уже чувствовалъ къ ней такую симпатію, которая угрожала превратиться въ чувство болѣе нѣжно, если-бъ я продлилъ свое пребываніе въ этой деревушкѣ.

Мы всё сидѣли за столомъ, на которомъ былъ поставленъ творогъ и кринка съ молокомъ. Зденка пряла, ея невѣстка готовила ужинать дѣтямъ, игравшимъ тутъ же въ пескъ. Петръ съ кажущеюся безпечною посвистываль, чистя ятаганъ, длинный турецкій ножъ. Георгій, облокотясь о столъ и подперевъ руками голову, не сводилъ глазъ съ большой дороги, не говоря ни слова.

Я же, смущенный общимъ тоскливымъ настроеніемъ, смотрѣлъ невесело на вечернія облака, окаймлявшія золотистую глубь неба, и на монастырь, высившійся изъ-за недалежнаго сосноваго лѣса.

Этотъ монастырь, какъ я узналъ потомъ, когда-то славился своею чудотворною иконой Божіей Матери, которую, по преданію, ангелы принесли и повѣсили на вѣтвяхъ дуба. Но, въ началѣ прошлаго столѣтія, турки вторглись въ страну, передушили монаховъ и разорили обитель. Оставались однѣ стѣны да часовня, гдѣ служилъ какой-то отшельникъ; онъ же показывалъ путешественникамъ развалины и давалъ пріютъ богомольцамъ, ходившимъ на поклоненіе отъ одной святыни къ другой и любившимъ оставаться въ монастырѣ «Божіей Матери подъ дубомъ». Какъ сказано, все это узналъ я впоследствии, такъ какъ въ тотъ вечеръ голова моя была занята уже отнюдь не археологіей Сербіи. Какъ часто случается, когда дашь волю воображенію, я весь углубился въ воспоминанія о прежнихъ дняхъ, о прекрасной порѣ моего дѣтства, о моей милой Франціи, которую я покинулъ для отдаленнаго и дикаго края.

Думалъ я и о герцогинѣ де-Грамонъ и, чего грѣха таить, думалъ и о нѣкоторыхъ другихъ современницахъ вашихъ бабушекъ, *mesdames*, образы которыхъ какъ-то помимо воли стучались въ двери моего сердца вслѣдъ за образомъ прелестной герцогини.

Вскорѣ я забылъ и о своихъ хозяевахъ и объ ихъ тревогѣ.

Вдругъ Георгій прервалъ молчаніе.

— Жена,—сказалъ онъ:—въ которомъ часу старикъ ушелъ?

— Въ восемь часовъ,—отвѣчала жена:—я слышала, какъ ударили тогда въ монастырскій колоколь.

— Хорошо,—продолжалъ Георгій:—теперь, стало быть, не болѣе половины восьмого.

И онъ замолкъ, снова вперивъ взоръ на большую дорогу, уходящую въ лѣсъ.

Я забылъ вамъ сказать, mesdames, что, когда сербы подозрѣваютъ кого-нибудь въ вампиризмѣ, они избѣгаютъ называть его по имени или прямо упоминать о немъ, потому что такимъ образомъ его вызываютъ изъ могилы. Поэтому съ нѣкоторыхъ поръ Георгій, говоря объ отцѣ, не называлъ его иначе, какъ «старикъ».

Нѣсколько минутъ длилось молчаніе; вдругъ одинъ изъ мальчиковъ сказалъ Зденкѣ, дергая ее за передникъ:

— Тетя, когда же дѣдушка вернется домой?

Георгій отвѣчалъ на этотъ вопросъ пощечиной.

Ребенокъ заплакалъ, а маленький его братъ сказалъ съ удивленнымъ и испуганнымъ видомъ:

— Зачѣмъ ты, батя, запрещаешь говорить намъ о дѣдушкѣ?

Другая пощечина заставила его умолкнуть. Дѣти разревѣлись, а семья принялась креститься. Въ эту минуту часы въ монастырѣ медленно пробили восемь. Только-что раздался первый ударъ часовъ, какъ мы увидѣли выходящую изъ лѣса и приближавшуюся къ намъ человѣческую фигуру.

— Это онъ! слава Богу!—воскликнули разомъ Зденка, Петръ и его невѣстка.

— Сохрани насъ Боже,—торжественно сказала Георгій:—какъ узнать, миновали или нѣтъ назначенные имъ десять дней?

Всѣ въ ужасѣ на него взглянули. Между тѣмъ человѣческая фигура подходила все ближе. То былъ высокій старикъ съ сѣдыми усами, съ блѣднымъ и строгимъ лицомъ, съ трудомъ тащившійся съ помощью палки. По мѣрѣ того, какъ онъ приближался, Георгій становился все мрачнѣе. Подойдя къ намъ, новоприбывшій остановился и обвелъ свою семью взоромъ, который, казалось, ничего не видѣлъ,—до того были тусклы и впалы его глаза.

— Ну,—сказалъ онъ глухимъ голосомъ:—что же никто не встаетъ встрѣчать меня? Что значить это молчаніе? Не видите вы развѣ, что я раненъ?

Дѣйствительно, лѣвый бокъ у старика былъ весь въ крови.

— Поддержи же отца,—сказалъ я Георгію:—а ты, Зденка, дай ему чего-нибудь подкрѣпитъ, иначе онъ сейчасъ лишится силъ!

— Отецъ,—сказалъ Георгій, подходя къ Горшѣ:—по-

кажи мнѣ свою рану, я въ нихъ толкъ знаю и перевяжу тебѣ ее...

Онъ только-что собрался скинуть съ него верхнюю одежду, какъ старикъ грубо оттолкнулъ его и схватился за бока обѣими руками.

— Оставь, неуклюжий,—сказалъ онъ:—ты мнѣ только больнѣе сдѣлалъ.

— Стало-бытъ, ты въ сердце раненъ!—воскликнулъ весь блѣдный Георгій:—снимай платье, нужно это, слышишь, нужно!

Старикъ всталъ и выпрямился во весь ростъ.

— Берегись,—сказалъ онъ глухо:—только тронь меня, я тебя прокляну!

Петръ сталъ между Георгіемъ и отцомъ.

— Оставь его, ты видишь, онъ страдаетъ.

— Не перечь ему,—сказала жена:—ты знаешь, онъ этого никогда не терпѣлъ.

Въ эту минуту мы увидали возвращавшееся домой стадо, шедшее по направленію къ дому въ цѣломъ облакѣ пыли. Не узнала ли собака, сопровождавшая стадо, своего стараго хозяина, или что другое повліяло на нее, но, лишь только замѣтила она Горшу, она остановилась, оцетинилась и зарычала, вся дрожа, точно видѣла что-либо необыкновенное.

— Что съ этимъ псомъ? —сказалъ старикъ, все болѣе и болѣе хмурясь:—что все это значить? Что я чужимъ сталъ въ своей семьѣ? Десять дней въ горахъ развѣ такъ меня измѣнили, что собственныя мои собаки не узнають меня?

— Слышишь?—сказалъ Георгій женѣ.

— Что, Георгій?

— Онъ самъ сказалъ, что десять дней миновали.

— Да нѣтъ же, вѣдь онъ пришелъ въ назначенный срокъ.

— Ладно, ладно; знаю я, что нужно дѣлать!

— А проклятый песь все еще воетъ... Застрѣлить его!—воскликнулъ Горша.—Слышите?

Георгій не пошевелился, а Петръ, со слезами на глазахъ, всталъ, поднялъ отцовскую винтовку и выстрѣлил въ собаку, которая покатила въ пыли.

— Это любимица моя была,—сказалъ онъ шопотомъ:—не знаю, зачѣмъ потребовалось отцу, чтобы ее убили.

— Затѣмъ, что она этого стоила,—отвѣчалъ Горша.—Но свѣжо стало; я хочу подъ крышу.

Пока все это происходило, Зденка приготовила старику напитокъ, состоявшій изъ водки, вскипяченной съ грушами, медомъ и изюмомъ, но старикъ съ отвращеніемъ оттолкнулъ его отъ себя. То же самое отвращеніе обнаружилъ онъ и къ бараньему боку съ рисомъ, который поставилъ предъ нимъ Георгій, и ушелъ сидѣть въ уголь, бормоча какія-то непонятныя слова.

Сосновыя дрова пылали подъ очагомъ и освѣщали своимъ дрожащимъ блескомъ лицо старика, которое было такъ блѣдно и изнурено, что, не будь этого освѣщенія—могло бы показаться лицомъ мертвеца. Зденка подошла и сѣла рядомъ съ нимъ.

— Отецъ,—сказала она:—ты ничего не ѣшь и отдохнуть не хочешь; расскажи же намъ что-нибудь о подвигахъ своихъ въ горахъ.

Говоря это, дѣвушка знала, что затрагиваетъ самую чувствительную струну старика, такъ какъ онъ любилъ поговорить о битвахъ и стычкахъ съ турками. И точно, улыбка мелькнула на его блѣдныхъ губахъ, но глаза остались безучастными, и онъ отвѣчалъ, глядя рукой прекрасные бѣлокурые волосы дочери:

— Хорошо, Зденка, я расскажу тебѣ, что видѣлъ въ горахъ, только не теперь, не сегодня: я усталъ. Одно скажу тебѣ, Алибека нѣтъ въ живыхъ, и погибъ онъ отъ руки твоего отца. Если же кто въ этомъ сомнѣвается,—продолжалъ старикъ, окинувъ взоромъ семью:—то вотъ доказательство!

И онъ, раздернувъ верхъ мѣшка, висѣвшаго у него за спиной, вынулъ оттуда окровавленную голову, которой, впрочемъ, не уступало и его собственное лицо въ мертвенной синеватости. Мы съ ужасомъ отъ нея отвернулись, но Горша, отдавъ ее Петру, сказалъ:

— На, прикрѣпи ее надъ дверью нашего дома; пусть всякій прохожій знаетъ, что Алибекъ убитъ и дороги очищены отъ злодѣевъ, если не считать султанскихъ янычаръ!

Петръ повиновался съ отвращеніемъ.

— Теперь мнѣ все понятно,—сказалъ онъ:—бѣдная собака рычала потому, что почувяла мертвое тѣло!

— Да, она почувяла мертвое тѣло,—мрачно подтвердилъ Георгій, который незамѣтно вышелъ между тѣмъ и вернулся теперь, держа что-то въ рукѣ, что онъ оставилъ въ уголь; мнѣ показалось, что это былъ колъ.

— Георгій,—сказала ему вполголоса жена:—неужели ты хочешь...

— Братъ,—вмѣшалась сестра:—что у тебя на умѣ!.. Нѣтъ, нѣтъ, ты этого не сдѣлаешь, не правда ли?..

— Оставьте меня,—отвѣчалъ Георгій:—самъ я знаю, что дѣлать, и ничего лишняго не сдѣлаю.

Между тѣмъ уже наступила ночь, и семья отправилась спать въ ту часть дома, которая отдѣлялась отъ моей комнаты тонкою перегородкой. Признаюсь, все, что я видѣлъ въ тотъ вечеръ, сильно подѣйствовало на мое воображеніе. Я задулъ свой свѣтильникъ. Мѣсяцъ глядѣлъ прямо въ низкое окно моей комнаты, близехонько отъ моей кровати, и кидалъ на полъ и на стѣну голубоватые отсвѣты, почти такъ же, какъ вотъ здѣсь въ настоящую минуту, mesdames. Мнѣ хотѣлось спать, но я не могъ. Я приписывалъ это лунному свѣту и сталъ искать чего-нибудь, чѣмъ бы завѣсить окно, но ничего не нашель; а между тѣмъ за перегородкой слышались мнѣ голоса. Я сталъ прислушиваться.

— Ложись, жена,—говорилъ Георгій:—и ты, Петръ, да и ты, Зденка. Не тревожьтесь ни о чемъ, я самъ посижу вмѣсто васъ.

— Но, Георгій,—отвѣчала жена:—скорѣе же мнѣ бы не ложиться; ты всю прошлую ночь работалъ и, вѣрно, усталъ. Да къ тому же мнѣ присмотрѣть надо за старшимъ мальчикомъ. Ты знаешь, что онъ со вчерашняго дня недужится!

— Будь покойна и ложись; я посижу за насъ обоихъ.

— Братецъ,—сказала Зденка своимъ тихимъ и ласковымъ голосомъ:—кажется, совсѣмъ никому не нужно сидѣть: отецъ спитъ, и, посмотри, какой у него спокойный видъ.

— Ни жена, ни ты, никто изъ васъ ничего не смыслить!—отвѣчалъ Георгій тономъ, не допускавшимъ никакихъ возраженій:—говорю вамъ, ложитесь и оставьте меня насторожѣ.

За этимъ воцарилось глубочайшее молчаніе. Скоро и я почувствовалъ, какъ вѣки мои отяжелѣли, и сонъ окочувалъ меня.

И вотъ, вижу я, дверь въ мою комнату тихо отворяется, и входитъ старикъ Горша. Но я скорѣе догадываюсь объ его присутствіи, чѣмъ вижу его, потому что въ той комнатѣ, откуда онъ вышелъ, темно. Мнѣ чудится, что

онъ своими угасшими глазами ищетъ угадать мои мысли и слѣдить за моимъ движеніемъ. Вотъ онъ движетъ одною ногой; вотъ поднялъ другую. Затѣмъ съ величайшею осторожностью, неслышными шагами, онъ подходитъ ко мнѣ. Еще мгновенье, онъ дѣлаетъ прыжокъ, и вотъ онъ подлѣ моей кровати... Я испытывалъ невыразимый ужасъ, но какаѣ-то непобѣдимая сила дѣлала меня недвижимымъ. Старикъ нагнулся надо мной и приблизилъ свое блѣдное лицо къ моему такъ близко, что я чувствовалъ его могильное дыханіе. Я сдѣлалъ тогда неестественное усиліе и проснулся, обливаясь холоднымъ потомъ. Въ комнатѣ никого не было; но, взглянувъ въ окно, я различилъ старика Горшу, который съ той стороны прильнулъ лицомъ къ стеклу и не спускалъ съ меня своихъ страшныхъ глазъ. У меня достало силы не закричать и оказалось настолькоъ присутствія духа, что я не вскочилъ съ постели, будто и не видалъ ничего. Между тѣмъ, повидимому, старикъ приходилъ только затѣмъ, чтобы удостовериться, сплю ли я, и не имѣлъ намѣренія войти; пристально посмотрѣвъ на меня, онъ отошелъ прочь отъ окна, и я слышалъ, какъ онъ принялся ходить въ сосѣдней комнатѣ. Георгій заснулъ и храпѣлъ такъ, что чуть стѣны не дрожали. Въ это время закашлялъ ребенокъ, и я услышалъ голосъ Горши:

— Ты не спишь, мальчуганъ?—сказалъ онъ.

— Нѣтъ, дѣдушка,—отвѣчалъ ребенокъ:—и мнѣ бы очень хотѣлось съ тобой поговорить.

— А, поговорить хочешь... о чемъ же станемъ мы говорить?

— Мнѣ бы хотѣлось, чтобы ты рассказалъ мнѣ, какъ ты воевалъ съ турками, потому и я бы охотно пошелъ съ ними подрасться.

— Я подумалъ объ этомъ, дитяtko, и принесъ маленькій ятаганъ, который дамъ тебѣ завтра.

— Ахъ, дѣдушка, дай лучше сейчасъ, ты вѣдь не спишь.

— Отчего, мальчуганъ, ты со мной днемъ не говорилъ?

— Оттого, что отецъ запретилъ.

— Онъ остороженъ, твой отецъ. Такъ тебѣ хочется ятаганчикъ получить?

— Очень хочется, только не здѣсь, потому отецъ можетъ проснуться.

— Гдѣ же?

— А выйдемъ отсюда, дѣдушка, на улицу, потихоньку, чтобы никто не слыхаль.

Мнѣ послышалось, будто Горша глухо засмѣялся, а мальчикъ принялся вставать.

Я не вѣрилъ въ вампировъ, но кошмаръ, выдержанный мной сейчасъ, подѣйствовалъ на мои нервы, и, не желая упрекнуть себя потомъ въ чемъ бы то ни было, я всталъ и ударилъ кулакомъ въ перегородку. Ударъ мой былъ такъ силенъ, что могъ бы, казалось, разбудить и семейныхъ спящихъ арабской сказки, но въ семьѣ никто не проснулся.

Я кинулся къ двери, рѣшась спасти ребенка, но нашель ее запертою снаружи, а замкъ не уступилъ моимъ усиліямъ. Пока я старался выломать дверь, я увидалъ въ окно старика, проходившаго мимо съ ребенкомъ на рукахъ.

— Вставайте, вставайте!—кричалъ я изо всѣхъ силъ, потрясая перегородку ударами кулаковъ. Тогда только Георгій проснулся.

— Гдѣ старикъ?—спросилъ онъ.

— Ступай скорѣе,—кричалъ я:—онъ унесъ вашего ребенка.

Однимъ ударомъ ноги Георгій вышибъ дверь, которая, какъ и моя, оказалась запертою снаружи, и бросился бѣжать по направленію къ лѣсу. Я насилу разбудилъ Петра, его невѣстку и Зденку. Мы собрались передъ домомъ и чрезъ нѣсколько минутъ ожиданія увидали возвращающагося Георгія съ мальчикомъ на рукахъ. Онъ нашель его безъ чувствъ на большой дорогѣ, но мальчикъ скоро пришелъ въ себя и не казался больнѣе прежняго. На вопросы онъ отвѣчалъ, что дѣдушка ему ничего не сдѣлалъ, что они вышли вмѣстѣ, чтобы лучше поговорить, но, только-что очутились на воздухѣ, мальчикъ лишился чувствъ самъ не помнитъ какъ. А Горша исчезъ.

Остальную часть ночи мы, конечно, уже провели безъ сна.

На слѣдующее утро я узналъ, что по рѣкѣ, которая пересѣкала большую дорогу въ четверти мили отъ деревни, шелъ ледъ, что бываетъ здѣсь осенью и весной. Переправа стала невозможною на нѣсколько дней, и мнѣ нечего было и думать объ отъѣздѣ. Впрочемъ, если-бъ я и могъ ухватъ, то все-таки любопытство, да и другое чувство при этомъ удерживали меня. Чѣмъ болѣе я видѣлъ Зденку, тѣмъ болѣе чувствовалъ къ ней влеченіе.

Я, mesdames, не изъ тѣхъ людей, которые вбръятъ во внезапную и непреодолимую страсть, столь часто встрѣчаемую въ романахъ; но думаю, что бывають случаи, когда любовь развивается быстрѣе, нежели обыкновенно. Оригинальная красота Зденки, ея странное сходство съ герцогиней де-Грамонъ, отъ которой я бѣжалъ изъ Парижа и которую теперь находилъ тутъ, въ живописномъ костюмѣ, говорящую на чуждомъ, звучномъ языкѣ, эта характерная черточка на лбу, изъ-за которой я двадцать разъ хотѣлъ лишить себя жизни,—все это, соединенное съ особенностью моего положенія и всѣмъ тѣмъ чудеснымъ, среди чего очутился я, теперь способствовало развитію въ душѣ моей такого чувства, которое при другихъ обстоятельствахъ сказалось бы лишь вскользь и слегка.

Въ теченіе дня я услыхалъ, какъ Зденка говорила меньшому брату:

— Чтò ты обо всемъ этомъ думаешь, Петро? Неужели и ты подозрѣваешь отца?

— Я не смѣю его подозрѣвать, тѣмъ болѣе, что мальчикъ говорить, что онъ ему не сдѣлалъ никакого вреда. А если онъ и исчезъ такъ внезапно, то ты вѣдь знаешь, что и ранѣе этого онъ всегда такъ дѣлалъ и никогда никому не отдавалъ отчета въ своихъ отлучкахъ.

— Знаю,—отвѣчала Зденка:—а потому нужно спасти его: ты вѣдь знаешь Георгія...

— Знаю, знаю. Говорить съ нимъ бесполезно; а вотъ мы спрячемъ колъ его, а за другимъ онъ не пойдетъ; по сю сторону горъ вѣдь ни одной осины не найти.

— Да, да, спрячемъ колъ, но только не скажемъ объ этомъ дѣтямъ; они проболтались бы при Георгіи.

— Осторожно надо, конечно,—сказалъ Петръ, и они разошлись.

Наступила ночь; о старикѣ Горшѣ не было ни слуху, ни духу. Я, какъ наканунѣ, лежалъ у себя на кровати, и луна полнымъ свѣтомъ заливала комнату. Когда сонъ уже началъ путать мои мысли, я вдругъ какъ бы инстинктивно почувствовалъ близость старика. Я открылъ глаза и увидалъ его блѣдное лицо, прильнувшее къ окну. На сей разъ я хотѣлъ встать, но это оказалось невозможнымъ: члены мои были точно парализованы. Пристально посмотрѣвъ на меня, старикъ отошелъ отъ окна, и я слышалъ, какъ онъ обошелъ вокругъ дома и посту-

чался въ окно комнаты, гдѣ спали Георгій съ женой. Ребенокъ зашевелился и простоналъ во снѣ. На нѣсколько времени все затихло, потомъ снова раздался стукъ въ окошко. Ребенокъ снова простоналъ и проснулся.

— Это ты, дѣдушка?—проговорилъ онъ.

— Я,—отвѣчалъ глухой голосъ:—я принесъ тебѣ ятаганчикъ.

— Да я не смѣю уйти, отецъ запретилъ!

— Тебѣ и не зачѣмъ уходить изъ дому, открой мнѣ только окошко и поцѣлуй меня!

Ребенокъ всталъ, и я услышалъ, какъ отворилось окно. Тогда, собравъ всѣ свои силы, я соскочилъ съ постели и сталъ колотить въ перегородку. Георгій тотчасъ же проснулся и всталъ. Я услышалъ, какъ онъ ругнулся; жена его громко вскрикнула, а черезъ мигъ весь домъ стоялъ кругомъ обомлѣвшаго ребенка... Горша исчезъ, какъ наканунѣ. Съ трудомъ привели мы мальчика въ чувство, но онъ былъ очень слабъ и еле дышалъ. Бѣдняжка не зналъ причины своего обморока. Мать и Зденка приписывали его страху ребенка, что его застали въ запрещенномъ разговорѣ съ дѣдушкой. Я ничего не говорилъ. Когда малютка успокоился, всѣ, кромѣ Георгія, снова улеглись.

На зарѣ я услышалъ, что Георгій будить жену, потому они стали шептаться; къ нимъ присоединилась Зденка, и я различалъ ясно, что женщины плакали.

Ребенокъ умеръ. Прохожу молчаніемъ отчаянныя семьи. Между тѣмъ никто не приписывалъ его смерти старику Горшѣ. По крайней мѣрѣ открыто этого никто не говорилъ.

Георгій молчалъ, но выраженіе его лица, всегда пасмурное, было теперь страшно. Старикъ не показывался дня два. Въ ночь на третью сутки (когда похоронили малютку) мнѣ показалось, что кто-то бродитъ вокругъ дома и точно кто-то зоветъ по имени оставшагося въ живыхъ мальчика. Мнѣ показалось даже, что на мгновеніе старикъ Горша заглянулъ въ мое окошко, но я не могъ дать себѣ отчета, было ли это на самомъ дѣлѣ, или мнѣ только представилось, такъ какъ въ ту ночь луна была задернута тучами. Я все-таки счелъ нужнымъ сообщить объ этомъ Георгію. Тотъ сталъ допытываться у ребенка, который отвѣчалъ, что дѣйствительно слышалъ, какъ его звалъ дѣдушка, и что онъ видѣлъ его въ окно. Георгій

строга-настрога приказалъ сыну разбудить себя, какъ только старикъ появится вновь...

Всѣ эти обстоятельства нисколько не мѣшали развиваться чувству нѣжности моей къ Эденкѣ.

Днемъ я не могъ говорить съ ней наединѣ. Когда наступила ночь, мысль о близкомъ отъѣздѣ болѣзненно заняла во мнѣ. Комната Эденки была отдѣлена отъ моей сѣнями, которыя съ одной стороны вели на улицу, а съ другой во дворъ. Хозяева мои уже улеглись, когда мнѣ пришла мысль пойти побродить по деревнѣ, чтобы нѣсколько разсѣяться. Выйдя въ сѣни, я увидалъ, что дверь въ комнату Эденки была приотворена.

Я невольно остановился.

Знакомый шорохъ платья заставилъ забиться мое сердце. Вслѣдъ за этимъ до меня донеслась напѣваемая вполголоса пѣсня. Это было прощаніе со своею красавицей одного сербскаго краля, отправлявшагося на войну.

«О, мой юный тополь, — говорилъ старый краля: — я уйду на войну, и ты забудешь меня.

«Деревья, растущія у подножія горы, стройны и гибки, но стройнѣе и гибче твой юный станъ. Красны ягоды рябины, что колыхаетъ вѣтеръ, но уста твои алѣе рябиновыхъ ягодъ! И самъ я что старый дубъ безъ листьевъ, и борода моя бѣлѣе, чѣмъ пѣна Дуная! И ты забудешь меня, сердце мое, и умру я съ тоски, потому не посмѣетъ воровъ убить стараго краля».

И отвѣчала красавица: «Клянусь остаться тебѣ вѣрною и не забыть тебя вовѣкъ. Если нарушу я клятву, то приди по смерти своей и высоси изъ сердца моего кровь».

И сказалъ старый краля: «Аминь!» И ушелъ онъ на войну. И красавица его скоро забыла!..

Тутъ Эденка замолкла, точно боялась кончать пѣсню. Я уже болѣе не сдерживалъ себя. Этотъ нѣжный выразительный голосъ былъ положительно голосъ герцогини де-Грамонъ... Забывъ все на свѣтѣ, я толкнулъ дверь и вошелъ. Эденка только-что сняла съ себя что-то въ родѣ казакина, что носятъ тамъ женщины. Одна шитая золотомъ и краснымъ шелкомъ рубашка и пестрая юбка, стянутая у талии, облекали теперь ея стройные члены. Ея прекрасныя бѣлокурыя косы были расплетены, и въ этой полуодеждѣ еще обаятельнѣе рисовалась предо мной ея красота. Не разсердясь, повидимому, на меня за мое

внезапное вторженіе, она однако смутилась и слегка покраснѣла.

— Ахъ, зачѣмъ ты пришелъ,—заговорила она:—и что подумаютъ обо мнѣ, если застанутъ насъ вмѣстѣ?

— Зденка, жизнь моя, будь покойна,—сказалъ я ей:—все кругомъ спитъ, только одинъ кузнечикъ въ травѣ да стрекоза въ воздухѣ могутъ услышать то, что нужно мнѣ сказать тебѣ.

— Уйди, уйди, милый, увидить насъ братъ—я погибла!

— Зденка, я не уйду отсюда до тѣхъ поръ, пока ты не общаешь мнѣ любить меня всегда, какъ общала своему кралю красавица въ твоей пѣснѣ. Я скоро уѣзжаю, Зденка; кто знаетъ, когда мы снова увидимъ другъ друга? Зденка, я люблю тебя больше души своей, больше спасенія моего... Жизнь и кровь моя—твоя. Неужели ты не дашь мнѣ и часа времени?

— Много можетъ случиться въ теченіе часа,—задумчиво отвѣтила Зденка, но оставила свою руку въ моей:—ты не знаешь моего брата,—продолжала она, вздрагивая:—у меня есть предчувствіе, что онъ придетъ.

— Успокойся, Зденка моя,—сказалъ я ей:—братъ твой усталъ отъ безсонныхъ ночей, его убаюкалъ вѣтеръ, что шелеститъ въ деревьяхъ; глубокъ его сонъ, длинна наша ночь, и я прошу у тебя только часа!.. А потомъ—прости и, можетъ-быть, навсегда.

— О, нѣтъ, нѣтъ, не навсегда!—живо заговорила Зденка и отшатнулась отъ меня, будто испугавшись своего голоса.

— О, Зденка,—воскликнулъ я:—тебя одну я вижу, тебя лишь слышу, я болѣе не воленъ въ себѣ, я послушенъ какой-то высшей власти, прости мнѣ, Зденка!

И, какъ безумный, я прижалъ ее къ сердцу.

— Нѣтъ, ты не другъ мнѣ,—сказала она, вырываясь изъ моихъ рукъ, и забила въ глубь комнаты.

Не знаю, что отвѣчалъ я ей въ эту минуту, такъ какъ самъ испугался вдругъ своей смѣлости, не потому, чтобъ она въ подобныхъ случаяхъ не помогала мнѣ, а потому, что, несмотря на увлеченіе страсти, я повиновался неотразимому чувству уваженія къ невинности Зденки.

Правда, я попытался-было начать какія-то медовыя любезности, которыя имѣли вообще успѣхъ у красавицъ тогдашняго времени, но вскорѣ самъ устыдился ихъ и умолкъ, видя, что молодая дѣвушка въ простотѣ своей

и не догадывалась даже о томъ смыслѣ этихъ рѣчей, который вамъ, mesdames, вижу по вашимъ улыбкамъ, понятенъ съ полуслова.

Итакъ, я стоялъ предъ нею, не зная, что дѣлать, какъ вдругъ она вздрогнула и устремила въ окно испуганный взоръ. Я слѣдилъ за направлениемъ ея глазъ и ясно увидалъ стараго Горшу, смотрѣвшаго на насъ въ окошко.

Въ ту же минуту я почувствовалъ, какъ тяжелая рука опустилась мнѣ на плечо.

Я обернулся. То былъ Георгій.

— Что ты здѣсь дѣлаешь?—спросилъ онъ меня.

Смущенный этимъ внезапнымъ обращениемъ, я указалъ ему на его отца, который все еще стоялъ у окна и исчезъ, лишь только Георгій его замѣтилъ.

— Я услыхалъ старика и пришелъ предупредить сестру твою,—сказалъ я.

Георгій посмотрѣлъ на меня такъ, будто хотѣлъ проникнуть взглядомъ до самой глубины моей души. Затѣмъ, взявъ меня за руку, онъ привелъ меня въ мою комнату и вышелъ, не сказавъ ни слова.

На слѣдующій день семья сидѣла предъ дверью дома, за столомъ, уставленнымъ молочною пищей.

— Гдѣ мальчикъ?—спросилъ Георгій.

— На дворѣ,—отвѣчала мать:—онъ играетъ въ свою любимую игру, воображаетъ, что дерется съ турками.

Только-что выговорила она это, мы, къ нашему крайнему изумленію, увидали огромную фигуру стараго Горши, медленно шедшаго къ намъ изъ лѣсу, точь-въ-точь какъ это было въ день моего приѣзда.

— Милости просимъ, батюшка,—промовила еле слышно его невѣстка.

— Милости просимъ, батюшка,—повторили тихо Зденка и Петръ.

— Батюшка,—сказалъ Георгій твердымъ голосомъ, но весь измѣнившись въ лицѣ:—мы ждемъ тебя, чтобы ты прочелъ молитву!

Старикъ отвернулся, сдвинувъ брови.

— Сію же минуту читай молитву,—повторилъ Георгій:—да перекрестись, или... клянусь св. Георгіемъ...

Зденка и ея невѣстка нагнулись къ старику, умоляя его прочитать молитву.

— Нѣтъ, нѣтъ и нѣтъ,—ствѣчалъ тотъ:—онъ не смѣетъ

мнѣ приказывать, а если будетъ настаивать на своемъ, я проклянѹ его!

Георгій всталъ и бросился въ домъ. Онъ вскорѣ вернулся съ бѣшенствомъ во взглядѣ.

— Гдѣ колъ?—закричалъ онъ:—куда вы дѣли колъ?

Зденка и Петръ переглянулись.

— Трупъ!—сказалъ тогда Георгій старику:—что ты сдѣлалъ съ моимъ старшимъ сыномъ? Отдай мнѣ сына, трупъ!

Такъ говоря, онъ становился все блѣднѣе, и глаза его разгорались полымемъ.

Старикъ смотрѣлъ на него недобрымъ взглядомъ и не шевелился.

— Да гдѣ же этотъ колъ, колъ гдѣ?—воскликнулъ Георгій.—Пусть на голову того, кто его спряталъ, обрушатся всѣ несчастія, которыя насъ ждутъ.

Въ эту минуту раздался веселый смѣхъ меньшого мальчика, и онъ ввѣхалъ къ намъ верхомъ на огромномъ колу, который волочилъ за собой, крича такъ, какъ кричатъ сербы, вступаая въ бой съ непріателемъ.

При этомъ появленіи Георгій вспыхнулъ весь, выхватилъ у ребенка колъ и бросился на отца. Тотъ испустилъ какой-то ревъ и кинулся бѣжать по направленію къ лѣсу съ такою быстротой, что по его годамъ это казалось сверхъестественнымъ.

Георгій гнался за нимъ черезъ поле, и они вскорѣ исчезли у насъ изъ виду.

Солнце уже зашло, когда Георгій вернулся домой, блѣдный какъ смерть, со взерошенными волосами. Онъ сѣлъ къ огню, и мнѣ показалось, что зубы у него стучали. Никто не осмѣлился его спрашивать. Когда наступилъ часъ, когда семья обыкновенно расходилась, онъ, казалось, вполне овладѣлъ своею прежнею энергіей; отозвавъ меня въ сторону, онъ сказалъ мнѣ самымъ непринужденнымъ тономъ:

— Дорогой гость, я былъ на рѣкѣ, она очистилась ото льда, проѣздъ есть, и ничто не задерживаетъ тебя здѣсь болѣе. Тебѣ нѣтъ надобности прощаться съ моею семьей,—прибавилъ онъ, взглянувъ на Зденку.—Она тебѣ моими устами желаетъ всякаго благополучія и надѣется, что и ты о насъ сохранишь доброе воспоминаніе. Завтра чѣмъ свѣтъ ты найдешь лошадь свою осѣдланною и проводника готоваго пуститься съ тобой въ путь. Прощай, вспо-

минай иногда своихъ хозяевъ и прости имъ, если твоя жизнь у нихъ не была такою спокойною, какъ бы ты желалъ.

Жесткія черты Георгія въ эту минуту казались почти дружелюбными. Онъ проводилъ меня въ мою комнату и пожалъ мнѣ руку въ послѣдній разъ. Потомъ снова вздрогнулъ, и снова зубы его застучали точно отъ холоду.

Оставшись одинъ, я и не подумалъ лечь, какъ вы себѣ легко можете представить. Разныя мысли тѣснились въ моей головѣ. Я уже нѣсколько разъ въ жизни любилъ. Я испыталъ припадки и нѣжности, и досады, и ревности, но никогда еще, даже во время разлуки съ герцогиней де-Грамонъ, я не ощущалъ такой тоски, какая въ настоящую минуту сжимала мнѣ сердце. Еще солнце не взошло, какъ я уже облекся въ свое дорожное платье и думалъ сдѣлать послѣднюю попытку увидаться со Зденкой, но Георгій уже ждалъ меня въ сѣняхъ. Всякая возможность свиданія съ ней исчезла.

Я вскочилъ на лошадь и далъ ей шпоры. Я общалъ себѣ на возвратномъ пути изъ Яссы завернуть въ эту деревню, и эта надежда, хотя и отдаленная, мало-по-малу развѣяла мои грустные мысли. Я уже съ удовольствіемъ думалъ о своемъ возвращеніи, и разыгравшееся воображеніе заранѣе рисовало мнѣ сладостныя подробности, какъ вдругъ неожиданное движеніе моей лошади чуть не выбило меня изъ сѣдла. Конь сталъ, вытянулъ переднія ноги и фыркнулъ, какъ бы чуя близкую опасность. Я внимательно оглядѣлся во всѣ стороны и увидѣлъ шагахъ во ста отъ насъ волка, рывшагося въ землѣ. Замѣтивъ насъ, онъ бросился бѣжать. Я вонзилъ шпоры въ бока моего скакуна и заставилъ его двинуться съ мѣста. Я видалъ тогда на томъ мѣстѣ, гдѣ рылся волкъ, свѣже вырытую яму. Кромѣ того, мнѣ показалось, что тамъ на нѣсколько вершковъ надъ землею торчалъ коль. Впрочемъ, я этого за вѣрное не утверждаю, такъ какъ очень быстро проѣхалъ мимо этого мѣста.

Здѣсь маркизъ остановился и взялъ щепотку табаку.

— Какъ, и все?—спросили дамы.

— Увы! не все!—ствѣчалъ д'Юрфе.—То, чтѣ мнѣ теперь придется вамъ рассказывать, мнѣ очень тяжело вспоминать, и я дорого бы далъ, чтобъ освободить себя отъ этого воспоминанія. Дѣла, по которымъ я прибылъ въ Яссы, задержали меня тамъ долѣе, нежели я предполагалъ. Для приведенія ихъ къ концу требовалось полгода.

Какъ вамъ сказать? Печальная истина, но тѣмъ не менѣе все-таки истина, что на свѣтѣ нѣтъ прочныхъ чувствъ. Успѣхъ моихъ переговоровъ, одобренія, получаемыя мной отъ Версальскаго кабинета, словомъ, политика, эта противная политика, надѣлавшая намъ столько хлопотъ, и за это послѣднее время не преминула ослабить въ моемъ сердцѣ воспоминанія о Эденкѣ. Къ тому же, прибавьте, что супруга господаря Молдавскаго, красавица и въ совершенствѣ владѣвшая нашимъ языкомъ, стала видимо отличать меня изъ среды другихъ молодыхъ иностранцевъ, находившихся въ то время въ Яссахъ. Воспитанный въ правилахъ французской любезности, съ галлскою кровью въ жилахъ, я не могъ, конечно, отвѣчать неблагодарностью на лестные для меня знаки вниманія красавицы и, въ видахъ интересовъ Франціи, которой имѣлъ честь быть представителемъ при ея супругѣ, постарался усердно доказывать, насколько почиталъ пріятнѣйшимъ для себя долгомъ повиноваться желаніямъ его прекрасной половины. Настоящія выгоды моего отечества я всегда разумѣлъ, mesdames, какъ вы видите...

Отозванный на родину, я возвращался тою же дорогою, которую ѣхалъ въ Яссы.

Я болѣе не думалъ ни о Эденкѣ ни объ ея семьѣ, когда однажды, ѣдучи полемъ, услышалъ гдѣ-то колоколь, прозвонившій восемь разъ. Звукъ его показался мнѣ какъ бы знакомымъ, и мой проводникъ сказалъ мнѣ, что звонятъ въ ближней обители. Я спросилъ, какъ она называется, и узналъ, что то былъ монастырь «Божіей Матери подъ дубомъ». Я немедленно пришпорилъ лошадь и вскорѣ очутился у монастырскихъ вратъ. Отшельникъ впустилъ насъ и указалъ помѣщеніе для пріѣзжихъ, но оно было биткомъ набито богомольцами, и я спросилъ, нельзя ли найти ночлегъ гдѣ-нибудь въ деревнѣ.

— Да и не одинъ найдется,—отвѣчалъ, тяжело вздыхая, отшельникъ: — благодаря проклятому Горшѣ, тамъ много пустыхъ домовъ стало.

— Чтѣ это значитъ? Развѣ старый Горша живъ?

— Нѣтъ, онъ-то должнымъ порядкомъ лежитъ въ сырой землѣ, пронзенный коломъ въ сердце... Но онъ высосалъ кровь внуку, маленькому сыну Георгія. Мальчикъ пришелъ однажды ночью, плача и говоря, что ему холодно, и просилъ, чтобъ его впустили. Дура-мать, несмотря на то, что сама его хоронила, не имѣла духа отправить его

снова на кладбище и впустила его. Онъ тогда бросился на нее и засосалъ ее до смерти. Когда ее схоронили, она, въ свою очередь, пришла за кровью своего меньшого сына, потомъ высосала кровь у мужа и у деверя. Всѣхъ постигла одна участь.

— А Зденка?—спросилъ я трепетно.

— Ну, эта помѣшалась съ горя, бѣдняжка! Лучше и не говорить о ней...

Отвѣтъ старика былъ загадоченъ, но у меня не стало духа спрашивать далѣе.

— Вампиризмъ заразителенъ, — продолжалъ отшельникъ:—много семей въ деревнѣ страдаютъ имъ, много семей вымерло до послѣдняго члена, и, если хочешь послушаться меня, останься на ночь въ монастырѣ; если тебя въ деревнѣ и не съѣдятъ вурдалаки, такъ все же натерпишься столько страху, что голова твоя посѣдетъ какъ лунь, прежде чѣмъ успѣю я прозвонить къ заутренѣ. Я хоть и бѣдный монахъ, — продолжалъ онъ: — но щедроты путешественниковъ даютъ мнѣ возможность заботиться о всѣхъ ихъ нуждахъ. Есть у меня отличный творогъ и такой изюмъ, что у тебя отъ одного вида его слюнки потекутъ; найдется и нѣсколько бутылокъ токайскаго, которое не уступитъ и тому, что подается за столомъ его святѣйшества патріарха...

Мнѣ показалось, что въ эту минуту говорилъ скорѣе трактирщикъ, чѣмъ отшельникъ, что онъ нарочно разсказалъ мнѣ обо всѣхъ этихъ ужасахъ, чтобы вызвать меня къ подражанію въ щедротахъ тѣмъ странникамъ, которые «давали святому челоуѣку возможность заботиться объ ихъ нуждахъ». Да и притомъ слово «страхъ» производило на меня всегда то же дѣйствіе, какъ на боевого коня звукъ трубы. Мнѣ бы самого себя стало стыдно, если-бъ я тотчасъ затѣмъ не собрался въ путь. Мой проводникъ, дрожа, попросилъ позволенія остаться въ монастырѣ, на что я охотно согласился.

Я употребилъ около получаса, чтобы добраться до деревни, которую нашелъ пустою. Нигдѣ ни огонька ни пѣсни. Молча проѣхалъ я мимо всѣхъ этихъ домовъ, по большей части мнѣ знакомыхъ, и достигъ наконецъ избы Георгія. Было ли то романическимъ чувствомъ или просто юношескою смѣлостью, только я рѣшился ночевать здѣсь.

Я слѣзъ съ лошади и постучался у воротъ. Отвѣта не было. Я толкнулъ ворота, они растворились, визжа петлями.

и я вошелъ на дворъ. Привязавъ подъ какимъ-то навѣсомъ моего коня, не разсѣдывая его, самъ я направился къ дому. Ни одна дверь не была заперта, а между тѣмъ въ домѣ, казалось, никто не жилъ. Комната Зденки имѣла видъ покинутой только наканунѣ. Нѣсколько платьевъ валялись еще на постели. Кое-какія золотыя вещицы, подаренныя мною, и, между прочими, небольшой эмалевый крестикъ, купленный мною въ Пештѣ, блестяли на столѣ при свѣтѣ луны. Сердце во мнѣ невольно сжалось, не смотря на то, что любовь давно миновала... Я вздохнулъ, завернулся покрѣпче въ плащъ свой и улегся на кровати. Меня вскорѣ одолѣлъ сонъ. Не помню подробностей, но знаю, что привидѣлась мнѣ тутъ Зденка, прелестная, наивная и любящая, какъ тогда, прежде. Я укорялъ себя, глядя на нее, за эгоизмъ свой и непостоянство. «Какъ же это могъ я,—спрашивалъ я себя:—забыть эту милую дѣвочку, которая такъ любила меня?» Мысль о ней вскорѣ смѣшалась съ воспоминаніемъ о герцогинѣ де-Грамонъ, и въ этихъ двухъ образахъ я уже видѣлъ одну и ту же особу. Я кинулся къ ногамъ Зденки и умолялъ ее о прощеніи. Все существо мое, вся душа преисполнились какимъ-то невыразимымъ ощущеніемъ грусти и счастья... Такъ снилось мнѣ, какъ вдругъ я наполовину проснулся отъ какого-то пріятнаго звука, подобнаго шелесту колосьевъ, колеблемыхъ вѣтромъ. Мнѣ почудился говоръ этихъ колосьевъ и пѣніе птицъ, къ которымъ какъ бы примѣшивался отдаленный шумъ падающихъ водъ и тихій шопотъ древесныхъ листьевъ. Затѣмъ показалось мнѣ, что всѣ эти звуки сливались воедино—въ шуршанье женскаго платья, и на этой мысли я останоился. Открывъ глаза, я увидалъ у своей кровати Зденку. Луна свѣтила такъ ясно, что я хорошо могъ различать мельчайшія подробности этихъ дорогихъ мнѣ когда-то чертъ, но всю прелесть которыхъ я какъ бы понялъ только сейчасъ во снѣ. Мнѣ показалось, что Зденка еще похорошѣла и развилась. На ней былъ тотъ же небрежный нарядъ, какъ въ тотъ разъ, когда я видѣлъ ее одну: простая рубашка, шитая золотомъ и шелкомъ, и юбка, стянутая у талии.

— Зденка,—воскликнулъ я, быстро подымаясь на мѣсто ложъ:—Зденка, ты ли это?

— Да, это я,—отвѣчала она тихимъ и грустнымъ голосомъ:—да, это твоя Зденка, которую забылъ ты. Ахъ.

зачѣмъ не вернулся ты раньше? Все теперь кончено; тебѣ нужно уѣзжать сейчасъ, еще мгновеніе—и ты пропалъ! Прощай, другъ мой, прощай навсегда!

— Зденка,—сказала я:—ты перенесла много горя, мнѣ говорили; побесѣдуй со мной, тебѣ легче будетъ!

— О, другъ мой, не вѣрь всему, чтѣ тебѣ про насъ говорятъ, но уѣзжай, уѣзжай скорѣе, не то погибнешь, безвозвратно погибнешь!

— Но, Зденка, чтѣ же угрожаетъ мнѣ? Неужели ты мнѣ не дашь и часу, одного часу, поговорить съ тобой?

Зденка вздрогнула и вдругъ словно вся перемѣнилась.

— Хорошо,—сказала она:—часть, одинъ часъ, не правда ли, какъ тогда, когда я пѣла пѣсню о старомъ королѣ и ты пришелъ ко мнѣ въ комнату... Ты этого хочешь? Хорошо, даю тебѣ этотъ часъ... Ахъ, нѣтъ, нѣтъ,—воскликнула она вдругъ опять, спохватясь:—уйди, уйди!.. Бѣги скорѣе, уѣзжай, говорю тебѣ... Бѣги, пока еще можешь.

Дикая энергія одушевляла ея черты.

Мнѣ непонятна была причина, заставлявшая ее говорить такъ, но она была такъ хороша, что я рѣшилъ остаться помимо ея воли. Уступивъ наконецъ моимъ просьбамъ, она сѣла подлѣ меня, заговорила о прошломъ и призналась, что полюбила меня съ перваго взгляда... И по мѣрѣ того, какъ говорила она, мнѣ все яснѣе сказывалась какая-то странная перемѣна, совершившаяся въ ней. Это была ужъ не та, знакомая мнѣ прежде, сдержанная, застѣнчивая, вѣчно краснѣющая дѣвушка. Въ движеніяхъ ея, въ блескѣ глазъ было что-то нескромное, не дѣвически смѣлое и вызывающее...

«Неужели возможно,—говорилъ я самъ себѣ:—что Зденка не была тою чистою и невинною дѣвушкой, какою казалась она мнѣ полгода тому назадъ? Неужели она надѣвала только личину, изъ боязни брата? Неужели меня одурачила ея заемная скромность? Но тогда зачѣмъ же заставлятъ было меня уѣхать? Или это какое-нибудь утонченное кокетство? А я-то воображалъ, что знаю ее!.. А, впрочемъ, не все ли равно! Если Зденка не Діана, какъ я воображалъ, такъ все же она можетъ быть сравнена съ другой богиней, не менѣе прелестною, а я, со своей стороны, предпочитаю, конечно, участь Адониса участи Актеона».

Если эта классическая фраза, сказанная мной самому

себѣ, кажется вамъ теперь не къ мѣсту, mesdames, то потрудитесь вспомнить, что я имѣю удовольствіе рассказывать вамъ случай, происходившій въ 1769 году. Мифология была тогда въ духѣ времени, а я не имѣлъ претензіи опережать свой вѣкъ. Съ тѣхъ поръ много измѣнилось, и еще очень недавно революція, уничтоживъ воспоминанія язычества въ одно время съ христіанскою религіей, возвела на ихъ мѣсто новое божество—Разумъ. Культъ этого божества никогда не былъ моимъ, когда я находился въ женскомъ обществѣ, а въ то время, о которомъ я говорю, я тѣмъ менѣе былъ расположенъ приносить ему жертвы. Я безъ стѣсненія предался чувству, которое влекло меня къ Зденкѣ, и радостно отвѣчалъ на ея заигрыванія... Въ сладостномъ забытьѣ прошло нѣсколько времени, въ теченіе коего я, забавляясь, между прочимъ, примѣриваніемъ на Зденкѣ то одной, то другой изъ найденныхъ мной на ея столѣ драгоценныхъ вещицъ, вздумалъ надѣть ей на шею эмалевый крестикъ, о которомъ я имѣлъ уже случай упомянуть. Едва поднялъ я его надъ нею, Зденка отскочила, вздрогнувъ.

— Довольно дурачества, милый,—сказала она:—брось эти побрякушки и поговоримъ о тебѣ и о твоихъ намѣреніяхъ!

Смущеніе Зденки заставило меня невольно задуматься. Разглядывая ее пристальнѣе, я замѣтилъ, что у нея на шеѣ не было, какъ прежде, тѣхъ образковъ и ладонокъ, которые сербы носятъ обыкновенно съ самаго ранняго дѣтства и до смерти.

— Зденка,—сказалъ я:—гдѣ же всѣ образки, которые носила ты на шеѣ?

— Потеряла,—отвѣчала она нетерпѣливо и тотчасъ же перемѣнила разговоръ.

Во мнѣ заняло вдругъ какое-то смутное предчувствіе недобраго. Я собрался ѣхать. Зденка остановила меня.

— Какъ,—сказала она:—ты просилъ у меня часа времени и уѣзжаешь, едва проведя со мной нѣсколько минутъ?

— Зденка,—отвѣтилъ я:—ты была права, уговаривая меня уѣхать; я слышу шумъ и боюсь, чтобы насъ не увидали съ тобой!

— Будь покоенъ, другъ мой, все спитъ кругомъ, и только кузничекъ въ травѣ да стрекоза въ воздухѣ могутъ услышать, что я хочу сказать тебѣ.

— Нѣтъ, нѣтъ, Зденка, я долженъ ѣхать...

— Постой, постой,—заговорила Зденка:—я люблю тебя больше души своей, больше своего спасенія; ты скажешь мнѣ, что жизнь твоя и кровь—мои...

— Но братъ твой, Зденка... я предчувствую, онъ придетъ!

— Успокойся, сердце мое, братъ мой спитъ, убаюканный вѣтромъ, что шелеститъ въ деревьяхъ; глубоко его сонъ, длинна эта ночь, и я у тебя прошу только часа!

Говоря это, Зденка была такъ хороша, что безотчетный страхъ, волновавшій меня, сталъ уступать желанію остаться съ нею. Какая-то смѣсь боязни и невыразимой нѣги наполняла все существо мое. По мѣрѣ того, какъ воля моя ослабѣвала, Зденка дѣлалась все нѣжнѣе, такъ что я рѣшился уступить, но быть однако насторожѣ. Но—увы!—какъ я уже сказалъ, я бывалъ всегда благоразумнѣе только наполовину, и когда Зденка, замѣтивъ мою сдержанность, предложила мнѣ согрѣться отъ ночного холода нѣсколькими глотками добраго вина, прибрѣтеннаго ею, говорила она, у отшельника, я согласился съ поспѣшностью, заставившею ее улыбнуться. Вино произвело свое дѣйствіе. На второмъ стаканѣ впечатлѣніе, произведенное на меня эпизодомъ съ крестикомъ и образками, совершенно изгладилось. Зденка въ своемъ небрежномъ нарядѣ, съ полусплетенными бѣлокуроыми волосами, въ блестящихъ при свѣтѣ луны запястьяхъ, показалась мнѣ неотразимо прекрасною. Я болѣе не сдерживалъ себя и заключилъ ее въ свои объятія...

Тогда, mesdames, произошло одно изъ тѣхъ таинственныхъ указаній, объясненія коимъ я никогда найти не могъ, но въ которыя опытъ заставилъ меня наконецъ повѣрить, хотя до тѣхъ поръ я далеко не былъ расположенъ допустить ихъ.

Я такъ сильно обнялъ Зденку, что, вслѣдствіе этого движенія, одна изъ оконечностей креста, видѣннаго вами и надѣтаго на меня предъ отъѣздомъ моимъ изъ Парижа герцогиней де-Грамонъ, вонзилась мнѣ въ грудь. Боль, которую я испыталъ при этомъ, была точно лучъ свѣта, озарившій меня внезапно. Я глянулъ на Зденку—и увидалъ, что надъ ея чертами, все еще прекрасными, витала смерть, что глаза ея ничего не видѣли, и что улыбка ея была лишь судорогой агоніи на лицѣ мертвеца. Въ то же самое время я ощутилъ въ комнатѣ острый запахъ непритвореннаго склепа. Ужасная истина открылась мнѣ во

всемъ безобразіи своемъ, и я слишкомъ поздно припомнилъ предостереженія отшельника. Я понялъ, въ какомъ нахождался отчаянномъ положеніи, и почувствовалъ, что все зависѣло отъ моей смѣлости и присутствія духа. Я отвернулся отъ Зденки, чтобы не дать ей замѣтить того, что, вѣроятно, выражалось на лицѣ моемъ. Взглядъ мой невольно обратился къ окну; и я увидалъ страшнаго Горшу, опиравашагося на окровавленный колы и смотрявшаго на меня взглядомъ гнѣны. Въ другомъ окнѣ стоялъ Георгій, въ эту минуту ужасно походившій на отца. Оба они, казалось, слѣдили за каждымъ моимъ движеніемъ, и было ясно, что они бросятся на меня при малѣйшей попыткѣ бѣжать. Я сдѣлалъ поэтому видъ, что не замѣтилъ ихъ, и имѣлъ настолько силы воли, что продолжалъ все такъ же ласкать Зденку, будто ничего не случилось, но въ то же время только и думалъ, какъ бы мнѣ спастись. Я видѣлъ, что Горша и Георгій переглядываются со Зденкой и начинаютъ терять терпѣніе. И тутъ же во дворѣ послышались мнѣ женскій голосъ и плачь дѣтей, но такіе ужасные, что ихъ можно было скорѣе принять за вытье дикихъ кошекъ.

«Пора убираться, — сказалъ я самъ себѣ: — и чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше!»

И, обратясь къ Зденкѣ, я заговорилъ съ ней настолько громко, чтобы страшные родственники ея могли слышать:

— Я усталъ, милая моя, мнѣ бы хотѣлось лечь и поспать нѣсколько часовъ, но надо прежде накормить мою лошадь. Прошу тебя, не уходи и подожди меня здѣсь.

Я приложилъ губы къ ея похолодѣвшимъ и блѣднымъ устамъ и вышелъ. Лошадь свою я нашелъ всю въ пѣнѣ и рвущуюся изъ-подъ навѣса. Ржаніе, которымъ она встрѣтила меня, обдало меня холодомъ, такъ какъ я боялся, какъ бы оно меня не выдало. Но вурдалаки, слышавшіе, конечно, разговоръ мой со Зденкой, не трогались съ мѣста. Тогда я, удостоверясь, что ворота не заперты, быстро вскочилъ въ сѣдло и вонзилъ сразу шпоры въ бока моего скакуна. Выскакавъ изъ воротъ, я успѣлъ только замѣтить, что толпа, собравшаяся вокругъ дома и стоявшая, прильнувъ лицами къ стекламъ, была весьма многочисленна. Полагаю, что мой внезапный выѣздъ озадачилъ ихъ, такъ какъ въ первыя минуты затѣмъ я въ молчаніи ночи различалъ только однообразный топотъ несшагося подо мной копыта.

Я уже готовъ былъ поздравить себя съ благополучнымъ концомъ этой исторіи, какъ вдругъ услыхалъ за собой шумъ, подобный вою урагана въ горахъ. Тысячи голосовъ стонали, ревѣли и точно спорили другъ съ другомъ. Потомъ вдругъ все смолкло, и раздался какъ бы мѣрный гулъ и топотъ нѣсколькихъ бѣгущихъ пѣхотинцевъ.

Я подгонялъ шпорами коня моего до крови. Жилы мои чуть не разрывались отъ пожиравшаго меня лихорадочнаго огня, и между тѣмъ какъ всѣ усилія мои направлены были къ тому, чтобы сохранить еще нѣкоторое присутствіе духа, я услыхалъ позади себя голосъ, взывавшій ко мнѣ:

— Погоди, погоди, милый! Я люблю тебя болѣе души своей, болѣе своего спасенія! Пстой, пстой, твоя кровь— моя!

Въ то же время холодное дыханіе коснулось моихъ ушей, и Зденка прыгнула на крупъ моей лошади.

— Сердце мое, душа моя!—говорила она мнѣ:— я только тебя вижу, только тебя хочу; я не властна надъ собой, я повинуюсь высшей власти; прости меня, милый, прости меня!..

И, обвивъ меня руками, она старалась опрокинуть меня и укусить за горло. Страшная борьба завязалась между нами. Долго защищался я съ трудомъ, но наконецъ напрягъ всѣ силы, схватилъ Зденку одною рукой за поясъ, а другою за косы и, приподнявшись на стременахъ, швырнулъ на-земь.

Тотчасъ затѣмъ силы оставили меня, и я впалъ въ бредъ. Тысячи безумныхъ и страшныхъ образовъ преслѣдовали меня, угрожая мнѣ. Сначала Георгій и братъ его Петръ все бѣжали до краямъ дороги и старались перерѣзать мнѣ путь. Имъ это не удавалось, и я радовался уже этому, когда, обернувшись, увидѣлъ стараго Горшу, который, опираясь на свой колъ, дѣлалъ при помощи его неимовѣрные прыжки, подобно тирольцамъ, перекидывающимся черезъ обрывы. Но и Горша остался позади. Тогда невѣстка его, волочившая за собой двоихъ дѣтей, подкинула ему одного изъ нихъ, котораго онъ и поймалъ на остріе кола. Орудя имъ какъ пращой, онъ изо всѣхъ силъ пустилъ ребенкомъ въ меня. Я избѣгъ удара, но дѣтенышъ со свирѣпою цѣпкостью бульдога такъ и вцѣпился въ шею моей лошади, и мнѣ еле-еле удалось оторвать и скинуть его. Горша кинулъ въ меня.

другимъ ребенкомъ, но этотъ свалился подъ копыта лошади, и она раздавила его... Не знаю, что было далѣе, но когда я очнулся—было уже свѣтло, и я лежалъ на краю дороги, а рядомъ со мной издыхала моя лошадь.

Такъ кончилось, mesdames, это мое любовное похождение, которое должно было, казалось бы, навсегда отбить у меня охоту искать новыхъ. Изъ остающихся въ живыхъ бабушекъ вашихъ нѣкоторыя могли бы сообщить вамъ, насколько въ дѣйствительности сталъ я съ теченіемъ времени болѣе благоразумнымъ.

Какъ бы ни было, но я и теперь еще содрогаюсь при мысли, что попадись я во власть моихъ враговъ—я бы, въ свою очередь, сталъ вампиромъ; но Провидѣніе не допустило до этого, и я, mesdames, не только не жажду вашей крови, но готовъ за васъ и всю свою отдать до послѣдней капли.

ДВА ДНЯ ВЪ КИРГИЗСКОЙ СТЕПИ.

Уже около мѣсяца жили мы на кочевкѣ, верстахъ въ полтораста отъ Оренбурга, а охота, отъ которой мы обѣщали себѣ столько удовольствія, почти ничего не представляла занимательнаго. Лѣто было самое жаркое, всѣ болота высохли; со дня на день ожидали соколовъ, чтобы поохотиться на утокъ и стрепетовъ, но соколовъ не привозили, и намъ оставалось только ходить съ лягавой за тетеревами.

Во всякомъ другомъ мѣстѣ эта охота была бы для меня занимательна, но здѣсь она мнѣ скоро надоѣла. Кочевка расположена между высокими холмами, составляющими начало Уральскаго хребта и покрытыми дубнякомъ и берзникомъ. Мимоходомъ можно сказать, что холмы эти совершенно между собою схожи, и что ничего нѣтъ легче, какъ въ нихъ заблудиться. Почти всѣ они имѣютъ ту же оригинальную форму, почти всѣ увѣнчаны стѣнообразнымъ гребнемъ сланцеватаго камня, и въ каждой долиинѣ протекаетъ небольшой ручей, съ обѣихъ сторонъ скрытый кустарникомъ. Долины эти изобилуютъ разными ягодами, а болѣе всего особеннымъ родомъ дикихъ вишенъ, растущихъ въ высокомъ ковылѣ едва примѣтными кустами. Имъ-то, кажется, должно приписать неимовѣрное множество тетеревей, водящихся въ этихъ мѣстахъ. Каждый день мы стрѣляли штукъ по шестидесяти и даже по сто, но уменьшенія ихъ вовсе не было замѣтно. Обыкновенно мы уѣзжали верхомъ рано поутру и часа черезъ три возвращались домой, обвѣшанные добычей. Каждый изъ насъ убивалъ столько, что невозможно было помѣстить

всего въ обыкновенномъ ягдташѣ, и, чтобы помочь этому неудобству, одинъ опытный охотникъ того края изобрѣлъ ремни, которые, не занимая лишняго мѣста, могли помѣститься на себѣ множество дичи. Съ начала охоты ремни эти мы носили черезъ плечо, а подъ конецъ навьючивали ими лошадь. Случалось, что мы принуждены были воротиться единственно потому, что у насъ истощался весь запасъ пороха и дроби. Чтобы дать нѣкоторое понятіе о числѣ тамошнихъ тетеревей, я приведу только одинъ примѣръ. Въ теченіе часа мы однажды втроемъ убили шестьдесятъ три штуки.

Правда, что у насъ была отличная собака: бѣдный Буффонъ былъ глухъ и кривъ, но имѣлъ также чутѣе и такую стойку, какихъ я никогда не видывалъ. Я помню, однажды онъ сталъ надъ куропаткой. — «Пиль!» — сказалъ я. Буффонъ ни съ мѣста. — «Пиль, Буффка!» Буффонъ не шевелится. — «Пиль, дуракъ!» — закричалъ я и пихнулъ его ногой. Буффонъ перекувырнулся и сталъ ко мнѣ лицомъ, нисколько не теряя ни хладнокровія ни стойки. Куропатка сидѣла между нимъ и мною, и я поймалъ ее руками. Таковъ былъ бѣдный Буффонъ, но даже и безъ него мы бы настрѣляли пропасть тетеревей: стоило только отойти шаговъ двѣсти отъ кибитокъ, чтобы поднять нѣсколько выводковъ. Охота эта могла позабавить сначала, но у нея не доставало главной прелести охоты: ожиданія неизвѣстнаго, которое такъ же пріятно охотнику, какъ и игроку. Если бы сей послѣдній зналъ напередъ, что онъ не можетъ проиграть, игра для него, вѣроятно, лишилась бы всей занимательности. Такъ точно и я, увѣренный заранее, что убью непременно столько-то штукъ, не находилъ въ томъ никакого удовольствія. Тетеревиная стрѣльба наша напомнила мнѣ кровопролитныя охоты въ нѣмецкихъ паркахъ — охоты, которыхъ, откровенно сказать, я терпѣть не могу.

Послѣ этого сознанія, легко себѣ можно представить, какъ я обрадовался, когда пришло на кочевку извѣстіе, что за Ураломъ, въ Киргизской степи, показались сайгаки. Я вспомнилъ объ описаніяхъ этого животнаго въ натуральныхъ исторіяхъ, гдѣ о немъ всегда говорится какъ объ одной изъ быстрѣйшихъ и недоступнѣйшихъ антилопъ. Нѣкоторые изъ охотниковъ, бывшіе въ хивинской экспедиціи, разсказывали намъ, какъ на возвратномъ пути, весною, имъ случалось встрѣчать сайгаковъ, и какъ они

тщетно старались догнать ихъ лучшими скакунами. Однажды имъ удалось окружить цѣлый табунъ и вогнать его въ середину обоза, но сайгаки безъ всякаго усилія перепрыгнули черезъ навьюченныхъ верблюдовъ и тотчасъ скрылись изъ виду.

Подобные рассказы еще болѣе возбудили мое любопытство, и я горѣлъ нетерпѣнiемъ увидѣть сайгака, почти не смѣя надѣяться на удачу охоты. Цѣлый день мы выливали пули, пробовали штуцера и дѣлали патроны. Отъ кочевки до Сухорѣченской крѣпости, гдѣ намъ надлежало ночевать и потомъ переѣхать черезъ Уралъ, было верстъ двѣсти. Ызда въ Оренбургской губерніи неизмовѣрно быстра, степныя дороги гладки какъ паркетъ, а башкирскія лошади неутомимы.

Часовъ въ четырнадцать мы на двухъ тарантасахъ проскакали двухсотверстное пространство и еще нашли время выкупаться въ Сакмарѣ и пообѣдать въ одной изъ линейныхъ станицъ. Мѣста, черезъ которыя мы проѣзжали, были очень разнообразны и живописны; сначала такіе же холмы, какъ и на кочевкѣ, потомъ широкія долины, Сакмара, отсвѣчивающая сквозь лѣсъ серебряныхъ тополей, зеленая, цвѣтущая степь, а вдали—голубыя Губерлинскія горы.

Стаи витютней пролетали надъ нами; по дорогѣ прохаживались степные кулики, съ краснымъ носомъ и красными ногами, называемые сороками по цвѣту ихъ перьевъ; время отъ времени вспархивалъ изъ-подъ тарантаса испуганный стрепетъ, и поминутно выскакивали изъ норъ своихъ суслики и свистѣли, сидя на заднихъ лапкахъ. На все это мы почти не обращали вниманія, будучи заняты лишь мыслью о сайгакахъ. Часовъ въ девять вечера мы приѣхали въ Сухорѣченскую крѣпость и остановились у станичнаго атамана. Передъ его домомъ казаки забавлялись стрѣлянiемъ въ цѣль изъ длинныхъ винтовокъ съ крошечнымъ калибромъ и съ присошкой о двухъ остріяхъ, придѣланной къ ложу. Настрѣлявшись съ ними вдоволь и выкунавшись въ Уралѣ, мы легли на дворѣ на свѣжемъ сѣнѣ и заснули подъ говоръ атамана, рассказывающаго намъ, какъ его взяли въ плѣнъ киргизы, и какъ онъ отъ нихъ убѣжалъ.

Солнце едва начинало всходить, а тарантасъ нашъ уже ѣхалъ по берегу Урала, окруженный конвоемъ башкирцевъ. Переѣздъ черезъ рѣку былъ какъ нельзя болѣе жи-

вописенъ. Крутые берега утеса, тарантась, до половины колесъ погруженный въ воду, прыгающія лошади, башкирцы, вооруженные луками, наши ружья и сверкающіе кинжалы, все это, освѣщенное восходящимъ солнцемъ, составляло прекрасную и оригинальную картину. Уралъ въ этомъ мѣстѣ не широкъ, но такъ быстръ, что насъ едва не унесло теченіемъ. На другой сторонѣ степь приняла совершенно новый видъ. Дорога скоро исчезла, и мы ѣхали цѣликомъ по крѣпкой глинистой почвѣ, едва покрытой сожженною солнцемъ травкою. Степь рисовалась передъ нами во всемъ своемъ необъятномъ величїи, подобная слегка взволнованному морю. Тысячи разноцвѣтныхъ отѣнковъ бороздили ее въ разныхъ направленїяхъ; въ иныхъ мѣстахъ стлался прозрачный паръ, черезъ другія бѣжали тѣни облаковъ, и все казалось въ движенїи, хотя ничего не поражало нашего слуха, кромѣ стука колесъ и конскаго топота. Вдругъ одинъ башкирецъ остановилъ коня и протянулъ руку. Послѣдовавъ глазами направленїю его пальца, я увидѣлъ нѣсколько свѣтло-желтыхъ точекъ, движущихся на горизонтѣ: то были сайгаки. Одинъ изъ насъ сѣлъ на башкирскую лошадь, въ надеждѣ, что успѣетъ какъ-нибудь къ нимъ подѣхать; но едва сайгаки увидѣли эти приготовленїя, какъ пустились бѣжать, не смотря, что насъ раздѣляло нѣсколько верстъ. Мы продолжали путь и вскорѣ стали различать кибитки, расположенныя у подножїя высокаго и длиннаго утеса, синяго и лиловаго цвѣта, который, какъ я узналъ послѣ, назывался Кукъ-Ташъ, т.-е. синій камень, и состоялъ изъ яшмы. Тутъ былъ приготовленный для насъ станъ. Нѣсколько казаковъ выѣхали къ намъ навстрѣчу, и между ними хорунжїй Иванъ Ивановичъ, завѣдывавшїй на кочевкѣ всѣми охотами. Извѣстїя о сайгакахъ были самыя удивлительныя. Казаки говорили, что имъ нѣтъ и числа, и что не помнятъ, когда бы ихъ приходило на линїю такое множество. Они полагали, что засухи вытѣснили ихъ изъ самой глубины степей и заставили искать прохлады вблизи отъ Урала.

Когда мы вошли въ кибитку, Иванъ Ивановичъ, къ удивленїю нашему, показалъ намъ десять сайгачьихъ головъ, съ красивыми рогами и съ безобразными горбатыми носами, напоминающими своею длиною и мягкостью носы индѣйскихъ пѣтуховъ.

— Чтò вы сдѣлали? — сказалъ я ему: — вы напугали

сайгаковъ, они опять уйдутъ въ степи, и вся наша охота пропадетъ!

— Что-жь дѣлать?—отвѣчалъ онъ:—никакъ ребятъ не удержу. Еще казаковъ пристрастилъ кое-какъ, а башкирцевъ ничѣмъ не остановишь,—такъ и рвутся! Вчера убили тридцать штукъ, сегодня еще не успѣли поохотиться; впрочемъ, не безпокойтесь, довольно останется для всѣхъ!

Мы хотѣли тотчасъ же ѣхать на охоту, но намъ совѣтовали подождать, чтобы сдѣлалось пожарче. Поутру сайгаки бродятъ табунами и никого не подпускаютъ, но къ полудню они ложатся порознь, и тогда есть возможность къ нимъ подползти. Подождавъ немного, мы сѣли на лошадей и разсѣялись по степи партіями человекъ по четыре.

Дорогой я завелъ разговоръ съ своими проводниками и спросилъ ихъ: часто ли видно на линіи киргизовъ?

— Теперь не такъ часто, ваше благородіе,—отвѣчалъ одинъ изъ нихъ:—а все-таки случается; и черезъ Уралъ даже переходятъ табуны угонять!

— А какъ ты думаешь, увидимъ мы ихъ сегодня?

— Куда! Они уже давно пронюхали, что мы на охотѣ; и ни одна собака сюда не покажется!

— А я слышалъ, что они не всегда васъ боятся?

— Да, тогда не боятся, когда ихъ десять на одного: дрянной народъ, нечего сказать, а плетью битъ умѣютъ! Меня чуть живого оставили, какъ попался я имъ, года два тому; да добро бы одинъ билъ, а то кто подѣдетъ, тотъ и ударить, да одинъ другого крѣпче, по чему ни попало; а сидѣлъ я на лошади нагишомъ; лишь только поймали, собаки, такъ всего и раздѣли дочиста. Дрянной народъ, ваше благородіе!

— Какъ же ты ушелъ отъ нихъ?

— Двухъ лучшихъ коней высмотрѣлъ, ваше благородіе, да и ускакалъ ночью о дву-конь. Два дня, почитай, скакалъ безъ остановки, на третій совсѣмъ проголодался, да не далъ Богъ умереть: нашелъ мертваго сайгака, поѣлъ немного да взялъ съ собою на дорогу, а безъ него пропалъ бы навѣрно; верстъ было съ пятьсотъ отъ линіи.

— Что-жь тебя заставляли дѣлать киргизы?

— Что тамъ заставлятъ? Табуны стерегъ, кобылъ доилъ да сыръ дѣлалъ изъ козьяго молока. Только били каждый день, собаки; да добро бы ужъ одни мужчины, а то и бабы и мальчишки! А плети-то у нихъ съ доброе полѣно!

Разговаривая такимъ образомъ, мы проѣхали верстъ десять, не встрѣтивъ ничего, кромѣ сурковъ, которые, выскакивая изъ норъ, стояли надъ ними какъ будто на часахъ, но не подпускали насъ на ружейный выстрѣлъ. Изрѣдка, какъ желтыя точки, виднѣлись вдали сайгаки, но мгновенно исчезали, не давая намъ даже различить ихъ формы. Вдругъ казакъ, ѣхавшій возлѣ меня, прилегъ къ конской шеѣ и круто повернулъ назадъ. Я и другіе казаки послѣдовали его примѣру.

— Слѣзайте проворнѣе!—сказалъ онъ мнѣ:—вонъ, за этимъ бугромъ, лежатъ сайгаки! Ты, Рѣшетаевъ, оставайся съ лошадьми да поглядывай по сторонамъ, а вы ложитесь на землю и ползите за мною.

Мы оба легли на землю и начали ползти на локтяхъ и на колѣняхъ. Въ одной рукѣ у меня была тяжелая одноствольная винтовка, въ другой—не менѣе тяжелое двухствольное ружье, заряженное картечью.

Глинистая, засохшая почва, ужъ и безъ того жесткая какъ камень, была еще покрыта маленькими острыми камешками, которые причиняли мнѣ ужасную боль; солнце жгло мою спину какъ будто огонь, и потъ градомъ съ меня катился. Несмотря на то, я ползъ, не останавливаясь; но, не предвидя этому конца, спросилъ тихонько у казака: гдѣ лежатъ сайгаки?

— А вотъ изволите видѣть кустикъ съ красными ягодами?

— Вижу.

— А тамъ, полѣвѣе, прямая травинка?

— Вижу; тамъ что-жъ?

— Слѣдите глазомъ все прямо между ягодами и травинкой; ступеняхъ въ пятидесяти оттоль торчитъ какъ будто сучокъ: то сайгачьи рога.

Я напрягъ свое зрѣніе и дѣйствительно увидѣлъ что-то похожее на сучокъ.

— Скоро ли мы туда дополземъ?—спросилъ я.

— А вотъ надобно дать немного круга, чтобъ подлѣзть изъ-подъ вѣтра, а то какъ разъ почувють. Да не извольте головы подымать, ваше благородіе,—тотчасъ замѣтять!

Мы опять стали ползти и описали такой большой кругъ, что я почти выбился изъ силъ.

— Теперь ужъ близко!—сказалъ казакъ:—шаговъ сто, не больше! Не подымайтесь на колѣняхъ, ползите на брюхѣ! Да, ради Бога, тише, не стучите ружьями о землю!

Я совсѣмъ растянулся и ползъ какъ лягавая собака.

— Что, скоро ли?

— Тсъ! вонъ, сталъ голову подымать,—что-нибудь да замѣтилъ... Ради Бога, тише... Ну, теперъ пора!.. Кладите ружье ко мнѣ на плечо!..

Не успѣлъ я взвести курка, какъ сайгакъ вскочилъ и вихремъ умчался въ степь. Другіе, лежавшіе вблизи, послѣдовали за нимъ.

Казакъ и я посмотрѣли другъ на друга, встали на ноги и побрели навстрѣчу къ лошадямъ.

— Я вамъ говорилъ, что надобно болѣе нагибаться!— сказалъ онъ, покачивая головой.

Мы пустились рысью, и вскорѣ Рѣпниковъ (такъ звали казака) опять увидѣлъ сайгаковъ.

Этотъ разъ мнѣ удалось доползти къ нимъ шаговъ на восемьдесятъ, но руки мои дрожали, потъ катился въ глаза и мѣшалъ мнѣ смотрѣть; я цѣлился минуты съ двѣ, наконецъ выстрѣлилъ и далъ промахъ. Къ счастью, сайгакъ насъ не увидѣлъ; онъ вскочилъ, посмотрѣлъ на всѣ стороны, отошелъ шаговъ на сорокъ и опять легъ. Я, лежа, зарядилъ ружье, подползъ опять на выстрѣлъ, но, прежде чѣмъ стрѣлять, отдохнулъ нѣсколько минутъ, не спуская съ глазъ сайгака. Я могъ различить его большіе, красиво-выгнутые рога съ черными кончиками, глубокія морщины на горбатомъ носу и огромныя раздутыя ноздри, которыми онъ шевелилъ во всѣ стороны.

Когда я собрался стрѣлять, сердце мое такъ сильно забилося, что мнѣ казалось, будто сайгакъ услышитъ его стукъ. Я вынулъ изъ-за пояса ятаганъ и воткнулъ его въ землю; потомъ съ величайшею осторожностью положилъ на него винтовку и крѣпко прижалъ ее къ плечу. Мнѣ видны были только голова и шея. Я прицѣлился въ шею и, удержавъ дыханіе, тронулъ шнеллеръ.

Сначала ничего нельзя было различить за дымомъ, но, когда я всталъ и посмотрѣлъ вокругъ себя, сайгака нигдѣ не было.

Я побѣждалъ впередъ, и кто опишетъ мою радость, когда онъ представился моимъ глазамъ, лежащей съ прострѣленной шеей: я попалъ какъ разъ куда цѣлилъ.

Казаки скоро ко мнѣ подоспѣли, сайгака выпотрожили и привязали за сѣдло. Онъ былъ ростомъ болѣе дикой козы, свѣтло-бурого цвѣта и съ шестнадцатью кольцами на рогахъ.

Эта удача насъ развеселила. Мы поскакали далѣе, соображая направленіе пути съ теченіемъ солнца. Я опять вступилъ въ разговоръ съ казаками.

— Правда ли,—спросилъ я, между прочимъ?—что киргизы переносятъ боль съ необыкновеннымъ терпѣніемъ и никогда не жалуются, какъ бы тяжело они ни были ранены?

— Правда, ваше благородіе,—отвѣчалъ Рѣшетаевъ.— Намедни я откусилъ одному киргизцу ухо, такъ нисколько и не поморщился, собака!

— Откусилъ ухо!—вскричалъ я:—какимъ это образомъ?

— Да вотъ будетъ скоро двѣ недѣли, какъ они угнали ночью табунъ изъ станицы. Мы собрались самъ-восемь и пустились въ погоню. Ъдемъ часъ, ѣдемъ другой, не видать ничего; а слѣдъ на солончакахъ знатень, ошибиться нельзя. Чтѣ за чортъ! По моему разсчету намъ бы давно пора ихъ увидѣть: слѣдъ идетъ небольшой рысью, а мы ѣдемъ верстъ по пятнадцати на часъ. «Смотрите, ребята,—говорю я:—тутъ какая-нибудь да штука,—они, должно-быть, запали вонъ въ той лощинѣ! Ступайте шагомъ да приготовьте винтовки,—мнѣ что-то сдается, что они выскочатъ, собаки, вонъ изъ-за этого камня!» Не успѣли мы еще поровняться съ камнемъ, какъ слышимъ: ззз!..—и стрѣла воткнулась мнѣ прямо въ ногу. Тутъ какъ завизжать они, да какъ посыплотся одинъ за другимъ изъ-за камня!.. Я думаю, человѣкъ съ двадцать пять было, всѣ съ копьями, да еще двое панцырниковъ! Ребята было-смѣшались, да я говорю: «не робѣть!» Вытащилъ стрѣлу изъ ноги, соскочилъ съ камня, приложился, бацъ! Такъ одинъ и покатился. Рѣшетаевъ ссадилъ другого, а они, шельмы, какъ увидѣли, что мы стоимъ за себя, повернули коней да и давай тягу! «Ну, братцы,—говорю я:—теперь за ними!» Тутъ ребята ударили на мошенниковъ, кто кого догоняетъ, а Рѣшетаевъ гонится за панцырникомъ. Ужъ онъ было-доставалъ его плетью, вдругъ тотъ—въ сторону. Я вижу, что уйдетъ, разбойникъ, а панцырь на немъ рублей во сто,—я и сталъ норовить наперехвалъ. Подъ нимъ конь хорошъ, а подо мной лучше. Скачемъ, скачемъ, только тотъ какъ обернется на всемъ скаку да какъ пустить стрѣлу прямо въ горло моему коню, такъ у него и духъ вонъ; покатился, сердечный, и я вмѣстѣ съ нимъ. Досадно стало, да и коня, признаться, жаль. «Не упустить же разбойника!»—говорю я. Взялъ у товарища

коня да и давай опять догонять собаку. Только куда! Пока я поднялся на ноги, тотъ ужъ успѣлъ ускакать чуть ли не на версту, а я остался за всѣми послѣдній. Смотрю, онъ скачетъ ровнымъ бѣгомъ, что стрѣла летитъ, а Рѣшетаевъ чѣмъ дальше, тѣмъ болѣе отстаетъ. «Эхъ, жаль, уйдетъ!» — думаю я, только, глядь, лошадь его какъ летѣла, такъ со всѣхъ ногъ и ударилась о землю: знать, наткнулась на сурочью яму. Тутъ Рѣшетаевъ съ ребятами навалились на молодца и скрутили ему руки, а я какъ подскакалъ къ нимъ, да какъ увидѣлъ эту киргизскую рожу, такъ сердце и закипѣло, — бросился на него и отхватилъ зубами ухо...

Тутъ рассказчикъ остановился и, заслонившись рукою отъ солнца, началъ всматриваться вдаль.

— Э, э, э! — сказалъ онъ: — да ихъ тутъ нѣсколько сотенъ!

— Кого? — спросилъ я: — киргизовъ?

— Нѣтъ, сайгаковъ! — отвѣчалъ онъ.

Въ самомъ дѣлѣ, послѣдовавъ направленію его нагайки, я увидѣлъ множество свѣтло-желтыхъ точекъ, которыя съ разныхъ сторонъ бѣжали къ зеленой полосѣ, ясно отдѣлявшейся отъ бураго цвѣта степи. Зеленою полосою казались издали берега небольшого ручья, впадающаго въ Ураль. Сайгаки, мучимые жаромъ, бѣжали на водопой.

— Что? — спросилъ я: — убьемъ ли мы хоть одного изъ нихъ?

— Нѣтъ, — отвѣчалъ Рѣпниковъ: — кабы заранѣе залечь въ травѣ, такъ, можетъ, и набѣжалъ бы одинъ-другой, а теперь не подѣхать.

Число сайгаковъ примѣтнымъ образомъ увеличивалось. Они бѣжали къ ручью огромными стадами. Чѣмъ болѣе я всматривался вдаль, тѣмъ болѣе открывалъ ихъ на горизонтѣ: они тянулись отовсюду. Вся степь, исключая какого-нибудь десятиверстнаго пространства вокругъ насъ, была ими покрыта. Я думаю, тутъ было нѣсколько тысячъ.

— Экое богатство! — говорили казаки. — Видитъ глазъ, да зубъ нейметъ!

Между тѣмъ мы ѣхали далѣе и вскорѣ наткнулись на лежащій табунъ. Вѣроятно, его уже прежде насъ подсмотрѣла другая партія, ибо мы увидѣли верстахъ въ двухъ четырехъ всадниковъ, осторожно объѣзжающихъ холмъ, на которомъ лежали сайгаки; но мы были къ нимъ ближе и

къ тому же подъ вѣтромъ. Я слѣзъ съ лошади, началъ было ползти, но сайгаки тотчасъ вскочили, не допустивъ меня на нѣсколько выстрѣловъ. Охотники другой партіи поскакали, чтобы перерѣзать имъ дорогу, а мы погнались за ними съ другой стороны, такъ что они бѣжали между двумя партіями, какъ будто въ клещахъ.

Мы были отъ нихъ довольно далеко и не имѣли никакой надежды догнать ихъ; но товарищи наши, скрытые холмомъ, успѣли ихъ перехватить. Табунъ остановился, и намъ видно было, какое произошло въ немъ смятеніе. Старый самецъ, бѣжавшій впереди, бросился-было въ сторону, но одинъ изъ охотниковъ соскочилъ съ лошади и застрѣлилъ его на лету въ то самое время, какъ онъ дѣлалъ отчаянный прыжокъ. Выстрѣлъ этотъ возбудилъ удивленіе казаковъ, никогда не стрѣляющихъ иначе, какъ съ подлаза, и то съ помощью придѣланныхъ къ ихъ ружьямъ присошекъ.

— Джигить! джигить! — закричали они, посматривая другъ на друга, т.-е.: «молодецъ, молодецъ!» Здѣсь можно замѣтить, что татарскій языкъ употребляется у казаковъ линейныхъ станицъ почти столько же, какъ и русскій, а мои проводники безпрестанно на немъ болтали.

Мы съѣхались съ своими товарищами, сравнили нашихъ сайгаковъ и нашли, что убитый ими гораздо болѣе моего. Между тѣмъ солнце такъ пекло и мы чувствовали такую жажду, что рѣшились воротиться въ свои кибитки.

Охотникъ застрѣлившій сайгака, убилъ дорѣгой сурка изъ винтовки. Бывшій съ нимъ калмыкъ тотчасъ слѣзъ съ лошади, чтобы его взять.

— Что это, самецъ или самка? — спросилъ мой товарищъ.

— Жеребецъ, ваше благородіе! — отвѣчалъ калмыкъ, снявъ фуражку.

Мы отъ души захохотали, и кто видалъ смѣшную фигуру сурка, тому этотъ отвѣтъ, вѣроятно, покажется столь же забавнымъ, какъ и намъ.

— Смотрите, ваше благородіе! — сказалъ мнѣ Рѣпниковъ: — вѣдь калмыкъ теперь подобралъ сурка, а потомъ его съѣсть. Это такой народъ, — хуже киргизовъ, всякую гадость ѣдятъ, а еще называютъ себя христіанами.

И казакъ, незадолго передъ тѣмъ откусившій киргизское ухо, съ омерзѣніемъ плюнулъ въ сторону.

Мнѣ также удалось заслужить названіе джигита: я за-

стрѣлили пулей, на довольно большомъ разстояніи, сидячаго карагуша, родъ орла, котораго бывшіе съ нами башкирцы тотчасъ ошипали, чтобы перьями его оклеить себѣ стрѣлы.

Когда, послѣ продолжительной ѣзды, мы увидѣли вдали свои кибитки, то, вмѣстѣ съ ними, намъ представилось необыкновенное и великолѣпное зрѣлище. Вмѣсто степи, сожженной солнцемъ, у подножія синяго утеса Кукъ-Ташъ разстилалось прекрасное озеро, отражавшее, какъ свѣтлое зеркало, и утесъ и расположенныя близъ него кибитки.

— Что это за озеро?—спросилъ я съ удивленіемъ:— это не наши кибитки?

— Наши!—отвѣчали, смѣясь, казаки.—Это не озеро, а марево *).

Несмотря на это объясненіе, я не могъ повѣрить, что вижу не что иное, какъ призракъ; и мнѣ казалось, что я различаю всѣ оттѣнки воды и отраженныхъ въ ней облаковъ. Я поскакалъ прямо къ кибиткамъ; но по мѣрѣ того, какъ я къ нимъ приближался, вода дѣлалась все болѣе и болѣе прозрачною, превращалась въ струящийся паръ и наконецъ совсѣмъ исчезла.

Въ кибиткахъ былъ приготовленъ для насъ вкусный обѣдъ; но мы предпочли пить чай. Никогда я не забуду, съ какимъ удовольствіемъ выпилъ я одиннадцать стакановъ горячаго чаю, несмотря на то, что на мнѣ не было ни одной сухой нитки, и что даже въ тѣни было болѣе тридцати градусовъ.

Остальную часть дня мы провели въ бездѣйственномъ отдыхѣ. Разсѣянныя партіи возвращались одна послѣ другой; но башкирцы остались въ степи и пріѣхали только поздно вечеромъ, обремененные добычей. У многихъ было по два, а у иныхъ даже по три сайгака за сѣдломъ. Всего-на-все въ этотъ день было убито болѣе пятидесяти штукъ, а всѣхъ насъ было только сорокъ человекъ.

Большая часть нашихъ оренбургскихъ охотниковъ, утомленныхъ ѣздою и ползаніемъ, въ тотъ же вечеръ уѣхали на кочевку; но я остался, чтобы еще на другой день поохотиться съ казаками.

Цѣлую ночь передъ кибиткою горѣлъ костеръ изъ сухой травы и привезеннаго нами хвороста. Казаки окликали другъ друга на пикетахъ. Звѣзды сквозь круглое отверстіе

*) Известное явленіе, которое французы называютъ mirage.

кибитки смотрѣли мнѣ прямо въ лицо; но ни поэтический свѣтъ ихъ, ни трескъ пылающаго хвороста, ни клики казаковъ не помѣшали мнѣ заснуть крѣпкимъ сномъ. Я спалъ, какъ убитый, и проснулся только тогда, какъ солнце было уже высоко и наставало время ѣхать на охоту.

Рѣпниковъ съ своими товарищами повели меня этотъ разъ по другому направленію. Опять я увидѣлъ тысячи сайгаковъ, опять имѣлъ случай любоваться чудеснымъ освѣщеніемъ и безчисленными отгѣнками степи; но мѣста, по которымъ мы проѣзжали, являли болѣе разнообразія, чѣмъ вчера. Холмы были выше, лоцины глубже, а мѣстами синѣли обломки яшмовыхъ утесовъ или красной большія груды желѣзняка. Но, кромѣ рѣдкой сожженной травы, мы ни вчера ни сегодня не встрѣчали никакого слѣда прозябанія.

Послѣ долгой ѣзды и многихъ неудачныхъ попытокъ, я застрѣлилъ одного сайгака съ подлаза, а другого, раненаго казакомъ, мы догнали на лошадяхъ. Довольные этой добычей, мы уже возвращались домой, какъ увидѣли вдали большой бѣгушій табунъ.

Рѣпниковъ нѣсколько секундъ слѣдилъ за нимъ взглядомъ, ударилъ коня и поскакалъ совсѣмъ въ другомъ направленіи, сказавъ только: «За мной, не отставайте!»

Мы примчались къ глубокому оврагу, бросились на самое дно и продолжали скакать во весь опоръ, не обращая вниманія на большіе, острые камни, лежавшіе на дорогѣ. Оврагъ, похожій на узкій коридоръ, поворачивалъ то направо, то налево и наконецъ началъ постепенно уравниваться съ поверхностью земли. Какъ скоро она стала видна, Рѣпниковъ велѣлъ намъ слѣзть съ лошадей и бѣжать за нимъ пѣшкомъ, согнувшись какъ можно болѣе.

Такимъ образомъ мы достигли до утеса, изъ-за котораго могли свободно обозрѣвать степь, сами не будучи видимы. Чего ожидалъ Рѣпниковъ, то и случилось. Не прошло двухъ минутъ, какъ показались сайгаки, бѣгушіе рысью прямо на насъ. Впереди ихъ былъ прекрасный самецъ, съ большими лирообразными рогами нѣжнаго желтаго цвѣта, которые на солнцѣ казались прозрачно-золотыми. Онъ раздувалъ широкоя ноздри и подымалъ голову кверху, какъ будто чуя опасность.

Мы притаили дыханіе и взвели курки. Когда табунъ, шагахъ въ шестидесяти, поровнялся съ утесомъ, я приложился и выстрѣлилъ въ передоваго сайгака. Онъ пере-

вернулся колесомъ и упалъ вверхъ ногами. Весь табунъ взволновался, поднялась ужасная пыль и скрыла его на минуту. Казаки также выстрѣлили по бѣгущему табуну, но дали промахъ. У меня еще оставалось двуствольное ружье, заряженное картечью. Я выстрѣлилъ изъ обоихъ стволовъ, почти не надѣясь на удачу. Табунъ продолжалъ бѣжать, но одинъ сайгакъ отдѣлился отъ прочихъ и бросился въ сторону. Онъ бѣжалъ скоро, но по временамъ спотыкался, взрывая облака пыли.

«Подбить, подбить!» — говорили казаки, смотря ему вслѣдъ.

Мы сѣли на лошадей, оставили одного казака, чтобы взять убитаго сайгака, и пустились догонять раненаго. Вскорѣ мы его настигли, и Рѣпниковъ, подсакавъ къ нему сбоку, убилъ его наповаль однимъ ударомъ нагайки.

Этотъ случай далъ ему поводъ разсказать мнѣ, какимъ образомъ башкирцы и киргизы ѣздятъ осенью на волковъ. «Лишь только упадетъ пороша, — говорилъ онъ: — они садятся на коней и ищутъ волчьяго слѣда. Попавъ на тропу, они ѣдутъ ею до тѣхъ поръ, пока не увидятъ звѣря; а какъ скоро онъ покажется, то преслѣдуютъ его затѣмъ небольшою рысью. Сначала звѣрь бѣжитъ скоро, иногда даже скрывается изъ виду, но мало-по-малу устаетъ, останавливается и оглядывается на охотниковъ. Случается, что они такимъ образомъ ѣдутъ верстъ пятьдесятъ. Наконецъ волкъ выбьется изъ силъ, высунетъ языкъ и пойдетъ шагомъ: тогда охотники къ нему подсакиваютъ и убиваютъ его нагайками. Ударъ по носу считается вѣрнѣйшимъ».

Разговаривая про киргизовъ, про степь и охоту, мы приѣхали къ своимъ кибиткамъ. Вскорѣ возвратились и прочіе стрѣлки; а какъ наканунѣ прибылъ въ станъ дистаночный начальникъ съ тридцатью новыми казаками, то и добыча этотъ разъ была гораздо болѣе.

Несмотря на то, что охота кончилась ранѣе вчерашняго, мы застрѣлили слишкомъ сто сайгаковъ.

Обѣдъ нашъ состоялъ большею частью изъ сайгачины. Мясо это довольно вкусно и нѣсколько похоже на баранину; но я ѣлъ его не безъ отвращенія: у всѣхъ сайгаковъ подъ кожей на спинѣ были большіе бѣлые черви; и хотя мѣста эти тщательно вырѣзывались, но мысль о нихъ не придавала особеннаго вкуса ни соусу ни жаркому. Черви эти происходятъ отъ яицъ, которыя кладутъ къ

нимъ въ шерсть какія-то насѣкомыя. Всѣ кожи, нами снятыя, были на спинѣ какъ будто прострѣлены крупною дробью; но зимою у сайгаковъ червей не бываетъ.

Послѣ обѣда началась между башкирцами стрѣльба изъ лука, борьба и пробованіе силы. Мнѣ удалось, на разстояніи пятидесяти шаговъ, пронзить стрѣлою татарскую шляпу; но послѣ этого случайнаго выстрѣла я не переставалъ давать промахи. Въ борьбѣ, требующей столько же силы, сколько и ловкости, башкирцы безъ труда бросали меня на землю, такъ же, какъ и казаковъ; но въ пробованіи силы я нѣсколько разъ одерживалъ надъ ними верхъ, и они меня честили именемъ джигита. Когда настала ночь, мы всѣ вмѣстѣ отправились верхомъ въ Сухорѣченскую крѣпость. Казаки заглавли пѣсни, и голоса ихъ терялись въ необъятномъ пространствѣ, не повторяемые ни однимъ отголоскомъ... Пѣсни эти отзывались то глубокимъ уныніемъ, то отчаянною удалью, и время отъ времени были приправляемы такими энергическими словами, какихъ нельзя и повторить. Поѣздъ этотъ запечатлѣлся въ моей памяти со всѣми еѣ подробностями.

Какъ теперь вижу я небо, усыянное звѣздами, и степь, похожую на открытое море; какъ теперь слышу слова:

Дай намъ Богъ, казаченкамъ, пожить да послужить,
На своей стороншкѣ головки положить!

Слышу глухой топотъ и фырканье коней, бряцаніе стремянъ, шумъ и плескъ воды, когда мы переѣзжали черезъ Уралъ...

На другой день мы прибыли опять на кочевку; началась наша прежняя тихая жизнь, стрѣлянніе въ цѣль, и купанье, и безконечная тетеревиная охота...

АРТЕМІЙ СЕМЕНОВИЧЪ БЕРВЕНКОВСКІЙ.

Я вспомнилъ, какъ, двадцать лѣтъ тому назадъ, когда я спѣшилъ по большой дорогѣ въ Кириловъ, передняя ось моей брички переломилась, и я принужденъ былъ остановиться. Оглядываясь во всѣ стороны, въ надеждѣ найти какое-нибудь пристанище, увидѣлъ я, верстахъ въ двухъ отъ дороги, какое-то странное зданіе, похожее на вѣтряную мельницу, но необыкновенно-сложнаго механизма. Я направилъ къ нему шаги и вскорѣ очутился передъ красивымъ господскимъ домомъ со многими флигелями и пространнымъ садомъ; тутъ же показалось мнѣ, скрытое дотолъ высокимъ холмомъ, красивое село. Странное зданіе непонятной архитектуры находилось на самомъ холмѣ, въ близкомъ разстояніи отъ дома. Старый дворецкій, стоявшій у входа, сказалъ мнѣ, что имѣніе это принадлежитъ Артемію Семеновичу Бервенковскому. Просьба моя—послать людей для починки брички—тотчасъ была исполнена; но когда я спросилъ: нѣтъ ли въ селѣ постоялаго дома, гдѣ бы мнѣ остановиться, дворецкій всплеснулъ руками.

— Батюшки!—вскричалъ онъ:—да господскій-то домъ на что? Да Артемію Семеновичъ меня изволить прогнать въ позатыльцы, если я васъ теперь отсюда выпущу. Нѣтъ, сударь, извините, а ужъ вы у насъ должны денька два погостить.

— Какъ,—спросилъ я, удивленный такимъ радушнымъ приѣмомъ:—да ты меня, вѣрно, за кого-нибудь другого принимаешь?

— Какъ за другого?—сказалъ старикъ, и морщины его

лица нѣсколько сгладились подъ добродушной улыбкой.— Да за кого-жъ другого мнѣ васъ принимать, сударь: вѣдь вы, вѣрно, проѣзжій?

— Именно проѣзжій.

— Такъ ужъ не прогнѣвайтесь, а у насъ такой обычай: извольте недѣлку здѣсь прожить, а потомъ, пожалуй, ступайте-себѣ съ Богомъ!

Я попросилъ, чтобъ обо мнѣ доложили хозяину.

— Вотъ-та! —сказалъ дворецкій:—что-жъ тутъ докладывать? Ступайте себѣ въ гостиную; только теперь Артемій Семеновичъ изволятъ гулять нагишомъ, такъ не угодно ли отдохнуть на диванѣ или чего-нибудь покушать? Они скоро воротятся.

— Артемій Семеновичъ гуляетъ нагишомъ?—спросилъ я.

— Точно такъ,—отвѣчалъ хладнокровно дворецкій.

Я невольно засмѣялся; но дворецкій продолжалъ, какъ будто ничего не замѣчая:

— Теперь четверть шестого. До шести часовъ Артемій Семеновичъ будутъ гулять; отъ шести до половины седьмого они изволятъ кричать, а потомъ,—прибавилъ дворецкій съ тяжелымъ вздохомъ:—они будутъ заниматься механикой.

— Какъ? —спросилъ я съ возрастающимъ любопытствомъ:—Артемій Семеновичъ кричитъ всякій день отъ шести часовъ до половины седьмого: ровно полчаса?

— Не всегда, сударь; иногда они изволятъ кричать цѣлый часъ, но только въ сырую погоду.

— Но развѣ,—спросилъ я, нѣсколько запинаясь:—Артемій Семеновичъ немного... того?

Я повертѣлъ пальцемъ надъ головою.

— Чтò вы, чтò вы, батюшка! бойтесь Бога! чтò вы это говорите... еще этого намъ недоставало!..—И на глазахъ старика навернулись слезы.

«Чудакъ же твой баринъ!»—подумалъ я.

Мы вошли въ гостиную. Дворецкій меня оставилъ и побѣжалъ за чаемъ, а я подошелъ къ окну. Оно отворилось въ садъ. Не прошло пяти минутъ, какъ мимо окна пробѣжалъ человекъ среднихъ лѣтъ, котораго вся одежда заключалась въ парикъ и въ башмакахъ; у него, сверхъ того, были часы на золотой цѣпочкѣ. Увидѣвъ меня, онъ мнѣ дружески кивнулъ головою и сдѣлалъ рукою успокоительный знакъ, какъ будто говоря: «не беспокойтесь, любезный другъ, я скоро возвращусь».

Онъ исчезъ между деревьями; но черезъ нѣсколько времени явился съ противоположной стороны, прикрывая этотъ разъ наготу свою большимъ подсолнечникомъ. Онъ вторично пробѣжалъ мимо окна, кивнулъ мнѣ головою и скрылся. Явленіе это повторялось довольно часто. Наконецъ Артемій Семеновичъ остановился, посмотрѣлъ на часы и сталъ кричать самымъ ужаснымъ голосомъ. Я думалъ, что весь домъ сбѣжится на его крикъ, и самъ не могъ утерпѣть, чтобъ не двинуться впередъ, спѣша къ нему на помощь; но Артемій Семеновичъ сдѣлалъ извѣстный уже мнѣ успокоительный знакъ и продолжалъ кричать. Иногда онъ посматривалъ на часы и наконецъ замолчалъ, почти выбившись изъ силъ. Кряхтя и запыхаясь, вошелъ онъ въ комнату, бросился въ мои объятія и крѣпко прижалъ меня къ сердцу.

— Извините,—сказалъ онъ:—извините, почтеннѣйшій, что заставилъ васъ такъ долго дожидаться! Не угодно ли вамъ чаю, или не прикажете ли чего другого? Ухъ, уморился! Трепетинскій!—продолжалъ онъ, обращаясь къ вошедшему съ подносомъ дворецкому:—давай скорѣй чаю! Что-жъ это ты, братецъ, голодомъ моришь дорогого гостя! Ухъ, усталъ! Ухъ, Боже мой!.. Не сердитесь, почтеннѣйшій; дайте духъ перевести!

— Несу, сударь, несу!—отвѣчалъ Трепетинскій, ставя на столъ подносъ съ чайнымъ приборомъ:—несу, батюшка, несу, несу!

Между тѣмъ Артемій Семеновичъ осыпалъ меня учтивостями и расположился возлѣ меня на диванѣ. Онъ былъ высокаго роста, хорошо сложенъ и глаза имѣлъ быстрые и умные.

— Представьте себѣ, почтенный другъ,—сказалъ онъ, скрестивъ одну ногу на другую и облокотясь на подушку дивана:—представьте себѣ, что я этакъ каждый день осужденъ утомляться! Боже мой! что за жизнь, что за жизнь, какъ подумаешь...

— Но позвольте спросить,—замѣтилъ я:—для чего вы...

— Для чего? Для здоровья, почтеннѣйшій, для здоровья! Человѣку нуженъ моціонъ, вольный воздухъ, регулярная жизнь. Сильный крикъ расширяетъ легкій,—это всякій знаетъ, но никто на это не обращаетъ вниманія. Когда вы у меня нѣсколько поживете, мы будемъ вмѣстѣ бѣгать по саду и кричать: вы увидите, какъ это полезно.

— Покорно благодарю, — сказалъ я: — но мнѣ никакъ нельзя остаться у васъ долѣе завтрашняго дня; я такъ спѣшу...

— Пустое, ничтеннѣйшій, пустое! Мнѣ еще нужно обо многомъ съ вами потолковать. Вотъ, напримѣръ, что вы скажете объ этомъ?

Тутъ Артемій Семеновичъ отворилъ большой шкафъ и сталъ вынимать изъ него какія-то запыленные модели, похожія на то необыкновенное зданіе, которое я видѣлъ на холмѣ возлѣ дома. По мѣрѣ того, какъ онъ вынималъ эти модели, онъ ставилъ ихъ на столъ подъ ранжиръ и вскорѣ совсѣмъ его загромоздилъ.

— Что это такое? — спросилъ я.

— А какъ бы вы думали? — сказалъ Артемій Семеновичъ.

— Мельница?

— Какъ бы не такъ!

Тутъ вошелъ Трепетинскій съ какими-то наливками, увидѣлъ модели, вздохнулъ и печально покачалъ головою.

— Это, сударь мой, — продолжалъ съ довольнымъ видомъ Артемій Семеновичъ: — это, сударь мой, коли вы слышали, все разныя перпетуумъ мобиле!

Я не могъ утерпѣть, чтобъ не улыбнуться.

— Мнѣ кажется, — сказалъ я: — что перпетуумъ мобиле значить вѣчное движеніе; а модели ваши стоятъ неподвижно.

— Вотъ то-то и штука, — отвѣчалъ Артемій Семеновичъ, нисколько не смѣшавшись: — они стоятъ неподвижно, потому что я еще не отыскалъ для нихъ удобнаго движителя; но дайте срокъ, у меня здѣсь (онъ ударилъ себя по лбу), у меня здѣсь сидитъ такая выдумка, о которой вскорѣ заговорятъ въ Европѣ! А прогос. Вы сочинитель?

— Нѣтъ, я живописецъ.

— Живописецъ! — вскричалъ радостно Артемій Семеновичъ. — Пойдемте со мною!

Онъ схватилъ меня за руку и потащилъ въ другую половину дома. Она была убрана прекраснѣйшими картинами итальянской и фламандской школы. Артемій Семеновичъ началъ говорить о живописи, и я былъ удивленъ его здравымъ сужденіемъ и глубокими познаніями. Онъ говорилъ съ жаромъ истиннаго любителя; но заключеніе его разговора меня удивило.

— Все это однако, — сказалъ онъ: — дрянъ въ сравненіи

съ механикой! Я вамъ сейчасъ покажу изобрѣтенную мною водоочистительную машину.

Онъ схватилъ меня за руку и опять потащилъ за собою.

— Посмотрите, — сказалъ онъ, подымая крышу машины: — посмотрите, какая въ ней грязная вода. Я нарочно велѣлъ влить въ нее воды погрязнѣе. Теперь смотрите, какая выйдетъ вода изъ крана: кристаллъ, чистый кристаллъ!

Онъ повернулъ кранъ, но изъ него выбѣжала такая же грязная вода, какая была въ машинѣ.

— Это ничего, — сказалъ Артемій Семеновичъ: — если ее раза два процѣдить, она будетъ совершенный кристаллъ! Но не хотите ли посмотреть на мой вертѣль?

Мы пошли въ кухню. Какія-то колеса и шестерни сѣплялись вмѣстѣ и занимали почти всю комнату. Три человѣка съ большимъ трудомъ вертѣли огромный цилиндръ и приводили въ движеніе желѣзный прутъ, на которомъ передъ огнемъ жарился цыпленокъ.

— Каково? — сказалъ хозяинъ, дома, потирая руки.

— Кажется, — замѣтилъ я: — механизмъ немного сложенъ. Этимъ бѣднымъ поваренкамъ, должно быть, нѣсколько тяжело!

— Помилуйте! тѣмъ лучше, что тяжело. Моціонъ, почтеннѣйшій, моціонъ! О! у меня ничего не забыто, одно истекаетъ изъ другого. А посмотрите-ка сюда: пока цыпленокъ жарится, здѣсь сбивается масло, а тутъ рубится зелень. У меня на ригѣ есть вѣялка, которая вмѣстѣ и вѣялка и органъ! Но это еще ничего; пойдемте-ка въ мою спальню. Что, вы думаете, это такое?

— Треугольная шляпа?

— Совсѣмъ нѣтъ: рукомойникъ! А это?

— Скрипка.

— Какъ бы не такъ! Это дорожный ящикъ съ бритвами. А это?

— Пистолеть.

— Хорошъ пистолеть! Это чернильница, чернильница, милостивый государь, чернильница!

Артемій Семеновичъ еще много показывалъ мнѣ предметовъ въ родѣ скрипки и рукомойника. Когда подали ужинъ, онъ наскоро надѣлъ парикъ и шитый кафтанъ и сѣлъ со мною за столъ. Не знаю, вся ли его кухонная посуда была устроена въ родѣ вертела, но ужинъ показался мнѣ отличнымъ. Артемій Семеновичъ былъ очень

веселаго нрава. Онъ много въ своей жизни читаль; зналь нѣсколько иностранныхъ языковъ, и разговоръ его, когда онъ не касался механики, былъ какъ нельзя болѣе занимателенъ.

Мы разстались уже поздно. Отведенная мнѣ комната была чиста и покойна; бѣлье на постели тонко и бѣло; перина раздувалась очень примачливо; но, признаюсь, я легъ на нее не безъ боязни: мнѣ казалось, что, при первомъ прикосновеніи, она превратится или въ воздушный шаръ, или въ какую-нибудь водоочистительную машину. Опасеніе мое однако было напрасно, и я ужъ предавался пріятному сну, какъ меня разбудилъ вошедшій на цыпочкахъ Трепетинскій.

— Извините, сударь,—сказаль онъ:—я пришелъ просить васъ о важномъ дѣлѣ!

— Меня?

— Да; о такомъ важномъ,—продолжалъ старикъ, упавъ на колѣни и цѣлуя мою руку:—о такомъ важномъ, что я отдалъ бы остатокъ жизни, лишь бы вы, батюшка, исполнили мою просьбу.

Я смотрѣлъ на него съ удивленіемъ.

— Вотъ изволите видѣть, сударь,—продолжалъ онъ:—прогнѣвили мы, видно, Господа Бога! Покойный Семенъ Артемьевичъ, — дай Богъ ему царство небесное, — оставилъ намъ имѣннице порядочное: семьсотъ душъ, батюшка, да капиталу тысячь триста въ ломбардѣ; кажется, всего довольно! Только ужъ разорить насъ проклятая механика, вижу, что разорить! Особенно эти распроклятыя петумебели, провалиться бы имъ сквозь землю, прости меня Господи! Знаю, батюшка, что грѣшу, а не могу не ругать этихъ петумебелей! Не знаю, кто ихъ выдумаль! Виданное ли это дѣло, сударь, чтобъ молодой богатый баринъ день и ночь просиживаль надъ этими колесиками? и какой отъ нихъ прокъ? Ужъ добро бы Артемій Семеновичъ дѣлаль машинки для воды или вертелы, ну, скажутъ, страсть, — вотъ и все! А то что за петумебели? Къ чему они? Да ужъ пусть бы они дѣлали однѣ маленькія, а то, изволили видѣть—на горѣ стоитъ, словно мельница вѣтряная.

— Какъ,—спросилъ я:—и это...

— И это петумебель, и въ селѣ есть петумебель, и въ въ хуторѣ петумебель, и вездѣ-вездѣ петумебели! Сто тысячь на нихъ убили! Сто тысячь,

батюшка, легко сказать! Ахъ, Боже мой, Боже мой! прогнѣвили мы Господа!

Старикъ закрыль лицо руками и горько заплакаль.

— Что же ты хочешь, чтобъ я сдѣлалъ?

— Батюшка! — вскричалъ Трепетинскій: — отецъ родной! сдѣлайте божескую милость, уговорите Артемія Семеновича, чтобъ они бросили свою механику. Не доведетъ она насъ до добра, ей-Богу, не доведетъ! Пусть лучше играетъ онъ въ карты, прости меня Господи! Пусть заведутъ псовую охоту или чтд другое, только не механику! Артемій Семеновичъ васъ полюбили, я по всему вижу; можетъ-быть, они васъ послушаются; а коли послушаются, такъ я вамъ буду вѣчный слуга, и Богъ наградитъ васъ на томъ свѣтѣ!

Я обѣщался бѣдному старику исполнить его просьбу. Онъ вышелъ, осыпая меня благодарностями; но черезъ нѣсколько времени опять воротился.

— Ужъ если,—сказалъ онъ, всхлипывая:—вамъ не удастся уговорить Артемія Семеновича, чтобъ они совсѣмъ бросили механику, такъ пусть, по крайней мѣрѣ, обѣщаютъ вамъ дѣлать одни только сюрпризы. Мало ли какіе можно выдумать? Намедни они изволили сдѣлать сапори съ флейточками: какъ надѣнешь, такъ и заиграютъ: это, по крайней мѣрѣ, сюрпризъ.

И старикъ вышелъ, утирая глаза кулаками.

На другой день, за кофе, я покусился было уговорить Артемія Семеновича, но онъ меня перебилъ:

— Вы видите этотъ кофейникъ?—сказалъ онъ.—Я изобрѣлъ его въ прошломъ году и довольно надъ нимъ промучился; зато, посмотрите, какой кофе!

Къ несчастію, кофе никакъ не хотѣлъ протекать, и Артемій Семеновичъ принужденъ былъ велѣть подать обыкновенный кофейникъ. Впрочемъ, это его нисколько не смутило.

— Надобно будетъ,—сказалъ онъ:—придумать только третье сито. Я ужъ знаю, какъ это сдѣлать, и тогда вы увидите, чтд будетъ за кофейникъ!

Послѣ кофе Артемій Семеновичъ повелъ меня въ село и заставилъ любоваться на крыши, построенныя такимъ образомъ, что онѣ при первомъ толкѣ распадались на части. Это, говорилъ Артемій Семеновичъ, сдѣлано на случай пожара. Правда, что во время дождя сквозь крыши эти вода протекаетъ прямо въ хаты; но Артемій Семено-

вичъ говорилъ, что это ничего, и что свѣжесть воды весьма полезна для здоровья.

Такимъ образомъ добрый мой хозяинъ толковалъ въ свою пользу всѣ неудобства, сопряженныя съ его выдумками. Отъ крышъ пошли мы смотрѣть мельницу, и тутъ-то изобрѣтательный умъ Артемія Семеновича показался во всемъ своемъ блескѣ. Ничто въ его мельницѣ не походило на обыкновенную: жернова, вмѣсто того, чтобы лежать горизонтально, стояли перпендикулярно; водяное колесо снабжено было какимъ-то черпательнымъ снарядомъ, потому что Артемій Семеновичъ хотѣлъ, чтобъ оно вмѣстѣ и мололо и проводило воду въ какой-то отдаленный хуторъ, который, впрочемъ, въ водѣ не нуждался.

— Видите этотъ прудъ? — сказалъ Артемій Семеновичъ: — хотите, я въ двѣ минуты его выпущу?

Онъ дернулъ за веревку — и дѣйствительно, не прошло двухъ минутъ, какъ весь прудъ выбѣжалъ черезъ нѣсколько шлюзовъ, и явилось тинистое дно, на которомъ запрыгали караси и окуни, показывая свои бѣлыя брюшки. Этотъ опытъ былъ изъ всѣхъ самый удачный. Артемій Семеновичъ отъ радости потиралъ руки. Онъ предложилъ мнѣ также въ пять минутъ разобрать мельницу, но я попросилъ позволенія еще разъ взглянуть на его картины, и мы возвратились въ домъ.

Послѣ обѣда Артемій Семеновичъ бѣгалъ по саду въ одномъ парикѣ и башмакахъ и кричалъ полчаса. Потомъ мы вмѣстѣ пили чай и весело провели вечеръ. Я намекнулъ на свой отъѣздъ, но онъ не хотѣлъ о немъ и слышать.

На другой день я принужденъ былъ осматривать разныя перпетуумы, мобиле, кромѣ одного большого, стоявшаго на горѣ. Его мнѣ Артемій Семеновичъ не показалъ, вѣроятно, чтобы я самъ не воспользовался его мыслью прежде, чѣмъ она приведена будетъ въ исполненіе.

Слѣдующій день во всемъ подобенъ былъ предшествовавшимъ. Но лишь только я заговаривалъ о своей бричкѣ, Артемій Семеновичъ показывалъ мнѣ какую-нибудь машину и перебивалъ мою рѣчь.

Я рѣшился уѣхать тихонько; но попытки мои отыскать свой экипажъ были тщетны: мнѣ всегда отвѣчали, что онъ еще чинится.

Однажды Артемій Семеновичъ объявилъ мнѣ, что бричка готова, и что я могу ѣхать.

— Но прежде, чѣмъ отпущу васъ,—прибавилъ онъ:— я хочу показать вамъ свой лабиринтъ. Пойдемте со мною.

Мы пришли въ садъ къ круглому мѣсту, гдѣ множество дорожекъ сплетались, путались и пересѣкали одна другую. Пространство между дорожками засажено было кустами; но такъ какъ лабиринтъ только-что заводился, то кусты не успѣли разрастись, и можно было, стоя въ срединѣ, видѣть конецъ лабиринта.

— А ну-ка, почтеннѣйшій, попробуйте-ка сюда войти,—сказалъ мнѣ Артемій Семеновичъ.

— Но ужъ я велѣлъ закладывать,—отвѣчалъ я.

— Ничего, ничего, почтеннѣйшій; сдѣлайте милость, посмотрите мой лабиринтъ.

— Да я его и такъ вижу!

— Ну, ужъ сдѣлайте милость, войдите!

— Зачѣмъ?—сказалъ я, предчувствуя какою-нибудь измѣну.

— Ну, я васъ прошу!

— Право, не хочется!

— Душенька, миленькій! пожалуйста!

Я не захотѣлъ огорчить Артемія Семеновича и, собравшись съ духомъ, вошелъ въ его лабиринтъ. Артемій Семеновичъ стоялъ у входа, и только-что я добрался до середины, онъ захлопалъ въ ладони.

— А ну-ка, почтеннѣйшій,—сказалъ онъ:—посмотрю я, какъ вы отсюда выберетесь!

— Полноте шутить, Артемій Семеновичъ, я, право, спѣшу; сдѣлайте милость, покажите мнѣ дорогу!

— Чтوبъ я показалъ вамъ, дорогу! Нѣтъ, почтеннѣйшій, посидите-ка здѣсь до вечера; а завтра, послѣ кофе, поѣдете. Я теперь поправилъ свой кофейникъ: вамъ надобно его посмотрѣть.

— Не хочу я смотрѣть на вашъ кофейникъ!—сказалъ я, теряя терпѣніе.—Вотъ ужъ недѣля, какъ вы держите меня здѣсь Богъ знаетъ зачѣмъ! Скажите мнѣ, какъ отсюда выйти, или я самъ найду дорогу!

— А нутка, нутка!

Тутъ я, безъ всякаго уваженія къ замысловатому лабиринту, началъ шагать черезъ кусты поперекъ дорожекъ и вскорѣ очутился на чистомъ мѣстѣ, подлѣ Артемія Семеновича.

При видѣ рѣшительнаго моего поступка Артемій Семеновичъ очень смѣшался, и сильная досада изобразилась на добродушномъ лицѣ его.

— Ну ужъ, почтеннѣйшій,—сказалъ онъ:—этого я никакъ отъ васъ не ожидалъ, никакъ-таки не ожидалъ! Могу сказать, что вы первый такимъ образомъ выходите изъ моего лабиринта! Скажите, послѣ этого къ чему же лабиринтъ? Кажется, я довольно долго ломалъ надъ нимъ голову: дорожки спутаны, какъ Гордіевъ узелъ. Вы бы до завтра ихъ не распутали...

— Александръ Великій разрубилъ Гордіевъ узелъ,—отвѣчалъ я, направляя шаги къ дому.

— Признаюсь, я никакъ, никакъ этого не ожидалъ, и отъ кого же? отъ васъ, котораго я полюбилъ, какъ брата!

Во всю дорогу Артемій Семеновичъ былъ очень печаленъ. Глядя на него, мнѣ стало его жалко. Однако выраженіе его лица дѣлалось все веселѣе по мѣрѣ того, какъ мы приближались къ дому. Глаза его устремлены были на мою бричку, уже заложенную и стоящую у крыльца. Меня поразили въ ней какія-то странныя прибавленія, въ родѣ ящичковъ, придѣланныхъ къ колесамъ. Разсмотрѣвъ ихъ внимательно и не понимая, что они значатъ, я обратился съ вопросомъ къ кучеру.

Артемій Семеновичъ взялся за него отвѣчать.

— Это вамъ сюрпризъ, почтеннѣйшій!—сказалъ онъ съ довольнымъ видомъ.—Доселѣ вы ѣздили въ вашей бричкѣ безъ всякой пользы; теперь у васъ съ одной стороны кофейная мельница, съ другой органъ, и оба приводятся въ движеніе круговращеніемъ оси. Примите эти двѣ машины въ знакъ моего уваженія и въ доказательство, что я забываю вашу обиду.

Отговариваться было не время. Я радовался, что получилъ свободу, поблагодарилъ Артемія Семеновича и, послѣ многихъ объятій и гигиеническихъ совѣтовъ, сѣлъ въ свою бричку. Кофе въ мельницѣ уже былъ насыпанъ, лошади тронулись съ мѣста, и органъ заигралъ:

Громъ побѣды раздавайся!
Веселися храбрый россъ!

При проѣздѣ черезъ село, мужики почтительно снимали передо мной шапки, мальчишки бѣжали за мною, и я съ триумфомъ выѣхалъ изъ помѣстья Артемія Семеновича. Не нужно прибавлять, что въ тотъ же день кофейная мельница сломалась, а органъ пересталъ играть «Громъ побѣды раздавайся»; ось, къ которой они были придѣланы, покривилась,—и я принужденъ былъ остановиться въ одной деревнѣ для ея починки.

А М Е Н А.

Отрывокъ изъ романа «Стебеловскій».

Солнце уже было на закатъ, когда я, со стилетомъ въ карманъ, пришелъ въ Колизей; но чудное освѣщеніе древняго амфитеатра не привлекало моего вниманія; жажда мщенія кипѣла въ груди моей и вытѣсняла всѣ другія мысли. Передо мной проходили, одно за другимъ, всѣ обстоятельства, приведшія меня въ эти развалины; я вспоминалъ свое знакомство съ Пепиной; вспомнилъ всѣ ядовитыя шутки Мореля, который, какъ злой духъ, не переставалъ преслѣдовать меня во все пребываніе мое въ Римѣ; наконецъ вспомнилъ его послѣднюю обиду и задрожалъ отъ ярости... Вдругъ послышалось знакомое пѣніе, раздался звонъ колокольчика, и длинный рядъ людей, съ завѣшенными лицами, вошелъ въ ворота и потянулся во кругъ арены, останавливаясь у каждой часовни и читая вполголоса молитвы. Обошедъ всѣ до одной и преклонивъ колѣни передъ крестомъ, на серединѣ арены, братья милосердія въ прежнемъ порядкѣ вышли изъ амфитеатра; лишь одинъ остался неподвиженъ, распростертый у подножія креста.

— О, друзья мои, прощаете ли вы меня?—произнесъ онъ глухо и такимъ страннымъ голосомъ, что я невольно затрепеталъ.

Незнакомецъ поднялъ голову, и сквозь прорѣзанныя дыры его покрывала устремились на меня выразительные глаза его.

— Молодой человѣкъ, — сказалъ онъ: — я знаю, кого ты ожидаешь и съ какимъ намѣреніемъ, и я затѣмъ здѣсь, чтобъ остановить тебя на краю бездны и удержать отъ преступленія.

— Кто ты?—спросилъ я съ изумленіемъ:—и отчего тебѣ извѣстны мои сокровеннѣйшія мысли?

— Кто бы я ни былъ,—отвѣчалъ онъ торжественно:— благодари Бога, что Онъ дозволилъ тебѣ встрѣтить меня, и внемли моимъ словамъ: на этомъ самомъ мѣстѣ, гдѣ мы теперь стоимъ, совершилось нѣкогда ужасное преступленіе, и жестоко за него наказанъ преступникъ! Слушай,—продолжалъ, незнакомецъ, облокотясь на капитель древней колонны, которой обломки разбросаны были по аренѣ:—я расскажу, тебѣ нѣчто случившееся давно; очень давно.

«Во времена императора Максиміана жили въ Римѣ два друга, Викторъ и Амвросій, и оба они были христіане. Сестра Виктора была помолвлена за Амвросія, и день ихъ свадьбы уже приближался; но не брачный вѣнецъ Провидѣніе назначало Леоніи. Въ то время кесарь сталъ преслѣдовать нашу святую вѣру, и цѣлыми тысячами погибали его жертвы, иныя растерзанныя звѣрями, другія сверженныя со скалы Тарпейской. Братья, дѣти и друзья этихъ несчастныхъ собрались въ отдаленнѣйшей части Рима и принесли передъ крестомъ торжественный обѣтъ: скорѣе умереть въ мученіяхъ еще ужаснѣйшихъ, чѣмъ хотя единымъ словомъ отречься отъ истиннаго Бога. Викторъ и Амвросій были между давшими сей обѣтъ. Они бросились въ объятія другъ друга и подкрѣпили слезами умиленія священную клятву. Дабы существеннымъ символомъ ознаменовать свой духовный союзъ, Амвросій снялъ съ себя тогу, надѣлъ ее на Виктора, а самъ покрылся тогою своего друга.

«— Можемъ ли мы быть счастливѣе?—сказалъ онъ Виктору.—Сестра твоя скоро будетъ моею женою; а есть ли въ языческой древности хотя одинъ примѣръ такой дружбы, какъ наша?

«— Будемъ благодарить Всевышняго,—отвѣчалъ Викторъ:—даровавшаго тебѣ любовь, а мнѣ дружбу, какъ прекрасное предчувствіе ожидающаго насъ въ той жизни блаженства, но не забудемъ, что велика власть врага человѣческаго, и что козни его неисчислимы. Счастіе наше не отъ міра сего, и мы не должны ему предаваться вполнѣ, но бдѣть и молиться, дабы врагъ не раскинулъ намъ сѣтей въ самую минуту упоенія.

«Амвросій не отвѣчалъ ни слова, но внутренно упрекнулъ своего друга въ излишней боязливости.

«Въ тотъ самый вечеръ Амвросій, проходя мимо храма Венеры, котораго развалины видны черезъ эти ворота, услышалъ пронзительные вопли, смѣшанные съ неистовыми криками; нѣсколько факеловъ блеснули передъ нимъ. Выхвативъ мечъ, онъ бросился впередъ и увидѣлъ четырехъ преторіанцевъ, влекущихъ за собою дѣвушку съ распущенными волосами, въ растерзанной одеждѣ. Нѣсколько ударовъ меча разсѣяли хищниковъ. Амвросій поднялъ брошенный однимъ изъ нихъ факель и хотѣлъ помочь дѣвушкѣ встать, но она была въ обморокѣ. Онъ сталъ передъ нею на колѣни и началъ тереть ея виски, ладони и подошвы. Вскорѣ она раскрыла глаза, и лицо ея покрылось румянцемъ стыдливости, когда она взглянула на свою одежду. Амвросій хотѣлъ прикрыть дѣвушку своей тогой, но лишь только сбросилъ ее съ плечъ, какъ услышалъ опять дикіе крики и увидѣлъ блескъ факеловъ. Преторіанцы возвращались въ сопровожденіи новыхъ товарищей. Крики становились громче, проклетія внятиѣе, и факелы уже освѣщали ихъ звѣрскія лица, а Амвросій все еще стоялъ въ недоумѣніи, не зная, какъ скрыть ихъ беззащитную жертву. Вдругъ дѣвушка приподняла голову и указала ему на стѣну храма, гдѣ было продѣлано, въ родѣ двери, узкое, едва замѣтное отверстіе. Потушивъ факель, Амвросій взявъ дѣвушку на руки, вошелъ въ отверстіе и, ощупавъ ногою крутую лѣстницу, началъ спускаться въ подземелье. Ступени уже кончились, онъ чувствовалъ подъ ногами мягкіе ювры, но незнакомка все еще обвивала его руками и крѣпко къ нему прижималась.

«— Не страшись ничего,—сказалъ ей Амвросій:— похитители твои далеко, и ты можешь отдохнуть въ этомъ безопасномъ мѣстѣ.

«— Ахъ,—отвѣчала она:— я теперь совершенно спокойна и обнимаю тебя единственно изъ благодарности.

«Сказавъ это, она ударила въ ладони, и двѣ лампы зажглись какъ будто волшебствомъ. Амвросій увидѣлъ богато убранную залу, среди которой стоялъ бронзовый столъ съ сосудами и плодами. У стола находился широкій триklinій, высѣченный изъ краснаго мрамора и покрытый пурпуровыми подушками. Возлѣ стѣны стояли сѣдалища изъ бронзы и мрамора, также покрытыя пурпуромъ.

«Когда, по приглашенію неизвѣстной, Амвросій выпилъ бокалъ душистаго фалерна, она сѣла на триklinій къ его ногамъ и начала слѣдующимъ образомъ:

«— Тебѣ, конечно, кажется страннымъ твое приключеніе, но, чтобъ объяснить его, я должна тебѣ рассказать, кто я и гдѣ ты находишься. Я родомъ изъ Греціи, мое имя Анадіомена, но отецъ и мать зовутъ меня просто: Амена. Въ Греціи жизнь моя текла тихо и спокойно, но лишь только я вступила въ Римъ, какъ начались мои несчастія, а виною тому вашъ кесарь, извергъ Максиміанъ...

«Тутъ Амвросій остановилъ Амену и приложилъ палецъ къ губамъ.

«— Не бойся, — отвѣчала она, улыбаясь: — стѣны эти такъ толсты, что снаружи невозможно слышать ни одного слова. Максиміанъ, — продолжала она: — увидѣлъ меня однажды въ храмѣ и рѣшилъ похитить. Нѣсколько разъ избѣгала я его сѣтей; но, видя наконецъ, что мнѣ нельзя показаться на улицѣ безъ того, чтобы два или три преторіанца на меня напали, я не стала выходить вовсе. Въ одну ночь толпа сихъ злодѣевъ ворвалась ко мнѣ въ спальню и именемъ кесаря требовала, чтобы я шла за ними. Я отъ нихъ ускользнула, нашла случайно это убѣжище и рѣшилась въ немъ остаться. Я тайно увѣдомила отца о своей участи, и онъ доставляетъ мнѣ всѣ потребности жизни и присылаетъ поочередно нѣсколько дѣвушекъ для моей прислуги. Сегодня неизъяснимая грусть мною овладѣла, и, считая окрестности этого подземелья безопасными, я не вытерпѣла и вышла подышать свѣжимъ воздухомъ ночи; но едва сдѣлала нѣсколько шаговъ, какъ ненавидимые преторіанцы схватили меня и, несмотря на мое сопротивленіе и крики, повлекли за собою... Если бы ты не подоспѣлъ ко мнѣ на помощь, я бы теперь была во дворцѣ Максиміана... О, я не могу подумать объ этомъ безъ ужаса!

«Амена закрыла лицо руками, и Амвросій видѣлъ, какъ она покраснѣла. Оставшись нѣсколько мгновеній въ этомъ положеніи, красавица взглянула на Амвросія и сказала ему съ замѣшательствомъ:

«— Рассказывая тебѣ мои походы, я и забыла, что платье мое въ безпорядкѣ. Если позволишь, я одѣнусь въ твоемъ присутствіи, потому что жилище мое очень тѣсно...

«Она ударила въ ладони — и вошли три дѣвушки съ разными принадлежностями женскаго наряда. Сперва Амена дала расчесать себѣ длинные волосы, потомъ при-

казала одной изъ нихъ держать передъ собою покрывало въ видѣ ширмъ и, снявъ тунику, велѣла освѣжить себя водою и натереть ароматнымъ масломъ. Пока дѣвушки ей прислуживали, Амвросій чувствовалъ какое-то странное безпокойство; ему казалось, что не кровь, а огонь течетъ въ его жилахъ. Онъ рѣшился уйти, не простясь съ Аменой; но лишь только сдѣлалъ нѣсколько шаговъ по ступенямъ, какъ услышалъ голосъ одного изъ преторіанцевъ:

«— Клянусь Геркулесомъ,—говорилъ онъ:—я не отойду отсюда, пока не отыщу этого проклятаго молокососа и не отрублю ему ушей!

«— Этого мало,—отвѣчалъ другой:—съ нимъ должно поступить, какъ Улиссъ поступилъ съ невѣрнымъ пастыремъ козь!

«Услыша эти слова, Амвросій счелъ, что было бы неосторожно показаться кровожаднымъ грабителямъ, и возвратился къ Аменѣ.

«— Другъ мой,—сказала она:—теперь уже поздно; если тыпустишься въ путь объ эту пору, то непременно будешь убитъ. Останься здѣсь на ночь, а завтра чѣмъ свѣтъ возвратишься домой. Ты можешь лечь на этой кровати, я же буду спать съ своими дѣвушками.

«Амвросій чувствовалъ непреодолимое влеченіе ко сну и, не отвѣчая ни слова, опустился на триklinій и вскорѣ забылся. Сквозь сонъ онъ слышалъ голосъ Амены, разговаривавшей съ своими прислужницами, и шумъ воды, когда онѣ выжимали грецкія губки въ серебряные сосуды. Потомъ звуки эти такъ смѣшались, что ему показалось, будто бы то звонъ бокаловъ и гармоническое пѣніе, сопровождаемое арфой. Ему представилось, что онъ сидитъ за столомъ, покрытымъ дорогими яствами и душистыми винами. Сѣдой слѣпецъ, стоя передъ нимъ, ударялъ въ струны и пѣлъ ту самую пѣсню, которую въ «Одиссеѣ» поетъ Демодокъ и гдѣ описывается, какъ Марсъ и Венера пойманы были сѣтями Вулкана. Человѣкъ, въ блестящей коронѣ сидѣвшій подлѣ него, спросилъ его, улыбаясь:—«Хотѣлъ бы ты быть на мѣстѣ Марса, съ тѣмъ, чтобы тебя, подобно ему, накрыли сѣтями?»—Амвросій вспомнилъ о своей невѣстѣ и хотѣлъ сказать: «нѣтъ!», но языкъ его нечаянно повернулся, и онъ невольно произнесъ:—«Да, если бы Венера походила на Амену!» Тутъ звуки арфы сдѣлались гораздо сладостнѣе, зала наполнилась облаками

и онъ почувствовалъ, что возносится къверху. Когда облака разсѣялись, Амвросій находился на высокой горѣ, откуда видѣлись ему цвѣтуція нивы, зеленые лѣса, свѣтлыя рѣчки и необъятное голубое море съ безчисленными островами. Человѣкъ въ золотой коронѣ сидѣлъ предъ нимъ на высокомъ престолѣ, окруженный множествомъ людей въ свѣтлыхъ одеждахъ. Когда онъ шевелилъ бровями или потрясалъ черныя кудри, то вся гора дрожала и молніи разсѣкали гнѣздившіяся вокругъ нея тучи.—«Другъ мой,—шепнулъ ему знакомый голосъ:—ты теперь на Олимпѣ и видишь передъ собою собраніе безсмертныхъ, готовыхъ принять тебя въ свой кругъ, если ты отречешия отъ христіанства!» Амвросій оглянулся и увидѣлъ Амену, но онъ догадался, что то была сама Венера, потому что у ногъ ея ворковали два голубя.—«Согласенъ ли ты для меня забыть свою вѣру?»—спросила она опять.—«Мужъ мой старъ и хромъ, ты же, какъ Марсъ, и красивъ и молодъ; я охотно промѣняю на тебя мужа, скажи только, что ты согласенъ!» Амвросій опять вспомнилъ о Леоніи и хотѣлъ сказать: «нѣтъ, ни за что на свѣтѣ!», но языкъ его вторично повернулся, и онъ чуть-было не проговорилъ: «согласенъ!», какъ вдали увидалъ друга своего, Виктора, и сестру его, Леонію, которые манили его къ себѣ, показывая мученическій вѣнецъ. Въ эту минуту Амвросій, нечаянно поднявъ глаза, увидѣлъ, что надъ нимъ раскинута тонкая сѣть изъ огненныхъ нитокъ. Амена показала ему уже не столь прекрасною, а вмѣсто голубей изъ-подъ ногъ ея вспорхнули двѣ летучія мыши. Онъ сотворилъ внутреннюю молитву и проснулся.

«Вокругъ него было темно; но что-то горячее причиняло ему сильную боль въ головѣ, и, ощупавъ лобъ, онъ почувствовалъ на немъ руку Амены. Онъ вскочилъ съ кровати и бросился изъ подземелья; но едва успѣлъ пройти нѣсколько шаговъ, какъ опять услышалъ голоса преторіанцевъ:

«— Клянусь Геркулесомъ,—говорилъ одинъ:—если мнѣ попадется этотъ мальчишка, то я его растерзаю на части!»
«— Этого мало,—отвѣчалъ другой:—съ нимъ должно поступить, какъ Тезей поступилъ съ Прокрустомъ!»

«Слова эти показали такъ ужасны Амвросію, что онъ не рѣшился выйти изъ подземелья и возвратился ощупью на свое мѣсто. Лишь только глаза его сомкнулись, онъ увидѣвъ себя въ очаровательной странѣ, на берегу ру-

чья, гдѣ вокругъ серебряныхъ тополей вѣлся изумрудный виноградникъ, скрывая подъ широкими листьями спѣлые золотистые грозди. Нимфы играли на мягкой травѣ съ рѣзвыми сатирами, въ ручьѣ плескались наяды, а въ зелени деревьевъ пѣли красивыя птицы. Изъ рощи выходили центавры въ дубовыхъ вѣнкахъ и, вмѣшавшись въ толпу сатировъ и нимфъ, начинали съ ними веселую пляску. Амвросій чувствовалъ нестерпимую жажду, но, подобно Танталу, онъ не могъ ни напиться изъ ручья ни достать рукою гроздій. Въ то время, какъ онъ тщетно нагибался и протягивалъ руки, сладкій голосъ произнесъ близъ него:—«Сними съ себя крестъ хотя въ одно мгновение, и ты тотчасъ утолишь свою жажду!» Онъ оглянулся и въ кругу нимфъ узналъ Амену; но онъ догадался, что это не Амена, а Венера, ибо на ней былъ-золотой поясъ необыкновенной работы, придававшій ей удивительную красоту. Онъ не могъ противостоять ея словамъ и уже дотронулся до креста, какъ ему показалось, что вдали онъ видитъ толпу народа. Вглядѣвшись въ нее пристально, онъ узналъ Виктора; нѣсколько людей клали его на деревянный станокъ, и палачъ, съ обнаженною грудью, готовился истязать его раскаленными клещами, между тѣмъ какъ четыре другихъ привязывали Леонію къ большому колесу.

«— Прощай, Амвросій, — кричали ему другъ и невѣста:—мы умираемъ за нашу вѣру и будемъ молиться у престола Всевышняго, чтобы Онъ избавилъ тебя отъ ослѣпленія!»—«Нѣтъ мои друзья, и я хочу умереть съ вами!»— вскричалъ Амвросій и внезапно проснулся. Онъ вскочилъ съ одра, и опрометью побѣжалъ изъ подземелья; но лишь только очутился на ступеняхъ, какъ услышалъ два грубые голоса:

«— Клянусь Геркулесомъ, — говорилъ одинъ изъ нихъ:—если бы теперь попался мнѣ этотъ повѣса, я бы отрубилъ ему ноги и руки.

«— Этого мало,—отвѣчалъ другой:—я бы съ нимъ поступилъ, какъ Аполлонъ съ Марсіасомъ!

«— Я не боюсь вашихъ угрозъ!—вскричалъ Амвросій:—умереть отъ рукъ вашихъ, или отъ палачей Максимиана, для меня все равно!

«Онъ выбѣжалъ на свѣжій воздухъ и увидѣлъ, что уже настало утро. У храма Венеры не было ни одного преторіанца, и онъ спокойно дошелъ до своего жилища.

Слуги Амвросія увѣдомили его, что ночью стража кесаря вломилась въ домъ Виктора, наложила на него цѣпи и увела съ собою. Начальникъ стражи обвинялъ его въ сопротивленіи законной власти и въ нападеніи на исполнителей Максиміановыхъ повелѣній; уликою была тога съ именемъ Виктора, которую преступникъ, по словамъ его, сбросилъ во время бѣгства. Амвросій поспѣшилъ въ домъ своего друга, чтобы отъ его сестры узнать подробности этого происшествія. Онъ засталъ ее на колѣняхъ передъ образомъ Спасителя. Крупныя слезы блистали на ея глазахъ, но лицо ея не показывало никакого отчаянія.

«— Амвросій,—сказала она съ ангельскою улыбкой:— всѣ несчастія ниспосылаются намъ свыше! Сегодня другъ твой безъ всякой вины брошенъ въ темницу; завтра, можетъ-быть, погибнетъ твоя невѣста; но да будетъ воля Господня!»

Тутъ братъ милосердія остановился и, помолчавъ немного, спросилъ меня:

— Извѣстны ли тебѣ картины Рафаэля?

— Да,—отвѣчалъ я:—и ни на одну изъ его Мадоннъ я не могу смотрѣть безъ сердечнаго умиленія.

— Такъ,—продолжалъ незнакомецъ:—я вижу, что ты понимаешь великаго художника. Но если бы ты зналъ Леонію, ты бы увѣрился, что въ чертахъ ея было не менѣе кротости, не менѣе небесной чистоты, чѣмъ въ Рафаэлевыхъ Мадоннахъ.

— Но,—прервалъ я рассказчика:—ты говоришь объ ней, какъ будто бы самъ ее видѣлъ?

— Не прерывай меня,—отвѣчалъ онъ торжественно:—и слушай далѣе. Свиданіе съ Леоніей произвело на Амвросія странное дѣйствіе. Ночное происшествіе оставило въ немъ тягостное впечатлѣніе, а все, что онъ думалъ и ощущалъ въ подземельѣ Амены, показалось ему такъ презрѣнно, такъ нечисто въ сравненіи съ чувствомъ, проникавшимъ его въ присутствіи Леоніи, что онъ самъ не понималъ, какъ могъ забыть ее хотя на одну минуту. Ему хотѣлось пасть къ ея ногамъ, признаться въ своемъ заблужденіи и просить прощенія, но ложный стыдъ удержалъ его. Съ другой стороны, онъ боялся огорчить Леонію, открывъ ей, что тога, послужившая уликой Виктору, была брошена имъ самимъ, и что онъ не можетъ спасти ея брата, не погибнувъ на мѣстѣ его. Однако онъ рѣшился, не теряя времени, отыскать начальника стражи, освобо-

дить Виктора и обвинить себя въ преступленіи, которое приписывали его другу. Пока онъ бѣгалъ по всему Риму, чтобы узнать, кто именно предводительствовалъ преторіанцами, схватившими Виктора, и въ какой темницѣ онъ заключенъ, прошелъ цѣлый день. Было уже поздно, когда онъ, собравъ нужныя свѣдѣнія, шелъ по дорогѣ въ темницу. Ему надлежало проходить мимо храма Венеры. Лишь только онъ поровнялся съ мѣстомъ, гдѣ наканунѣ видѣлъ Амену, кто-то тихонько назвалъ его по имени. Онъ остановился и услышалъ, что голосъ выходитъ изъ подземелья.

«— Сойди ко мнѣ на минуту,—говорилъ голосъ:—ты усталъ, и тебѣ надобно подкрѣпить свои силы!

«— Не нужно,—отвѣчалъ Амвросій довольно сухо и продолжалъ свой путь.

«— Амвросій, Амвросій!—закричалъ голосъ:—я знаю, куда ты спѣшишь; но ты не спасешь своего друга, а только погибнешь съ нимъ вмѣстѣ. Есть другое средство его спасти, сойди ко мнѣ, и я тебя научу, что должно дѣлать!

«Слова эти показали Амвросію такъ убѣдительно, что онъ спустился въ подземелье. Ковры на этотъ разъ были усыпаны свѣжими розами, и благоуханіе ихъ было такъ сильно, что Амвросію показалось, будто бы онъ отъ него пьянѣетъ. Амена съ полураскрытыми глазами лежала на подушкахъ.

«— Я тебя ожидала,—сказала она ему:—и нарочно велѣла убрать свое жилище какъ можно лучше. Выпей немного вина и омой себя водою: смотри, какъ ты усталъ и запыхался!»

Она ударила въ ладони, и прислужницы внесли нѣсколько сосудовъ холодной воды и разные ароматы.

«Когда Амвросій выпилъ чашу вина, онъ снялъ съ него обувь и, освѣживъ его ноги, окатили ему голову и плечи.

«— Теперь ложись и отдохни,—сказала Амена:—а я пока вмѣстѣ уйду къ своимъ дѣвушкамъ.

«Амвросій давно хотѣлъ ее спросить, какимъ образомъ ему спасти Виктора; но, лишь только онъ начиналъ говорить, Амена его прерывала. Наконецъ онъ, не обращая вниманія на ея рѣчи, спросилъ, что ему надобно дѣлать?

«— Ты очень нетерпѣливъ,—отвѣчала Амена:—но, чтобы скорѣе тебя успокоить, я скажу тебѣ, какъ ты долженъ поступить, чтобы избавить друга твоего отъ смерти, не подвергая себя опасности. Если ты теперь явишься къ тюремному начальнику и скажешь ему, что

ты настоящій преступникъ, а что Викторъ невиненъ, то хотя тебя и посадятъ въ темницу, но Викторъ изъ нея не выпустятъ; напротивъ, преторъ почтетъ его твоимъ сообщникомъ,—и вмѣсто одной жертвы погибнуть двѣ. Вы принадлежите,—продолжала Амена съ видомъ соболѣзнованія:—къ такому сословію, которое всякій можетъ губить безнаказанно и для котораго нѣтъ ни суда ни законовъ. Подумай только, что будетъ съ твоей невѣстой, когда ни брата ея ни тебя не останется для ея защиты? Каждый хищникъ, каждый кровопійца станетъ на нее смотреть, какъ на свою добычу, которую никто не осмѣлится и не захочетъ у него отнять. О, если бы вы не такъ были упрямы и согласились возвратиться къ вашимъ прежнимъ богамъ, тогда еще все бы можно поправить!..

«Амвросія это заключеніе чрезвычайно поразило, и когда онъ нечаянно поднялъ голову, ему снова показалось, что надъ нимъ раскинула тонкая сѣть изъ огненныхъ нитокъ. Однако онъ не могъ не сознаться, что доводы Амены справедливы, и спросилъ ее, что ему остается дѣлать?»

«— Во-первыхъ,—отвѣчала Амена:—ты долженъ сколь можно менѣе показываться: связь твоя съ Викторомъ такъ извѣстна, что, рано или поздно, она тебя погубитъ, если ты не будешь остороженъ. Во-вторыхъ, никто не можетъ спасти твоего друга, кромѣ его сестры. Пусть она завтра же пойдетъ во дворецъ кесаря, бросится передъ нимъ на колѣни и молитъ его о помилованіи ея брата. Максиміанъ извергъ, но ему случается показывать проблески великодушія; я увѣрена, что молодость и красота твоей невѣсты тронутъ его каменное сердце...»

«Тутъ ужасная мысль поразила Амвросія.»

«— Какъ!—вскричалъ онъ:—но если эта самая молодость и красота...»

«— Я понимаю, что ты хочешь сказать,—прервала его Амена.—Ты боишься, чтобы грубая чувственность тирана не побудила его къ какому-нибудь насилію; но будь спокоенъ. Максиміанъ теперь занятъ одною мною, а неудача вчерашняго предпріятія такъ раздражила его любовь, что никакая другая мысль не войдетъ въ его голову. Впрочемъ, если бы даже это и было возможно, то такой случай—одно предположеніе; а когда ты своею опрометчивостью лишишь Леонію брата и жениха, тогда въ каждомъ воинѣ кесаревой стражи она найдетъ Максиміана!»

«Амвросій согласился съ справедливостію этихъ словъ;

но, несмотря на просьбы Амены, непременно хотѣлъ продолжать путь свой и посѣтить Виктора въ его темницѣ. Лишь только онъ приблизился къ выходу изъ подземелья, какъ услышалъ снаружи разговоръ двухъ преторіанцевъ.

«— Я увѣренъ,—говорилъ одинъ изъ нихъ:—что чело-вѣкъ, скрывшійся около этого храма, сообщникъ того негодяя, который вчера помѣшалъ намъ похитить Амену и котораго завтра утромъ прибьютъ ко кресту!

«— Въ томъ нѣтъ никакого сомнѣнія,—отвѣчалъ другой:—и я позволю назвать себя бабой, если отойду отсюда, не дождавшись этого бездѣльника!

«Услышавъ, что друга его казнятъ на другое утро, Амвросій очень испугался. Ему хотѣлось прорваться сквозь толпу преторіанцевъ и силой освободить Виктора; но, послѣ краткаго размышленія, онъ увидѣлъ, что мысль его безразсудна, и что онъ погибнетъ безъ всякой нельзы для своего друга. Онъ рѣшился возвратиться къ Аменѣ и разказать ей подслушанный разговоръ.

«— Ты видишь,—сказала Амена:—что совѣтъ мой всего вѣрнѣе. Такъ какъ опасность, угрожающая Виктору, гораздо ближе, чѣмъ я полагала, то и ты долженъ поспѣшить его спасеніемъ. Вотъ пергаментъ, напиши сейчасъ къ Леоніи, чтобы она чѣмъ свѣтъ шла ко дворцу и ожидала появленія кесаря. Скажи ей, что ты ручаешься за успѣхъ. Ты можешь ее смѣло въ этомъ увѣрить, ибо могла ли бы я, обязанная твоему мужеству болѣе чѣмъ жизнью, дать тебѣ дурной совѣтъ? Одна изъ моихъ прислужницъ выберетъ удобную минуту и выйдетъ съ твоимъ посланіемъ изъ подземелья. Преторіанцы ее не увидятъ, а если бы и замѣтили, то пропустятъ безъ затруденія.

«Амвросій хотѣлъ сдѣлать еще какое-то возраженіе, но почувствовалъ, что сонъ его одолеваетъ. Онъ взялъ пергаментъ, написалъ, что проговорила Амена, и склонивъ голову на столъ, крѣпко заснулъ. Этотъ разъ онъ ничего не видалъ во снѣ, но его пробудилъ горячій поцѣлуй Амены.

«— Встань,—говорила она ему:—теперь уже утро, преторіанцы ушли, ты можешь безопасно дойти до дому.

«Амвросій чувствовалъ большую усталость, но онъ вскочилъ съ триklinія, куда, вѣроятно, его перенесли во время сна, и вышелъ изъ жилища Амены. Солнце было уже высоко, и онъ поспѣшилъ въ домъ Леоніи, чтобы узнать объ успѣхѣ ея поступка. На дворѣ встрѣтили его слуги; они плакали и рвали на себѣ одежду. Двое изъ

нихъ рассказали ему, что Леонія велѣла имъ слѣдовать за собою и пошла ко дворцу Максиміана. Она бросилась передъ нимъ на колѣни и стала умолять его о прощеніи брата.

«— Клянусь Юпитеромъ, — сказалъ кесарь: — я ничего не знаю о ея братѣ! Что онъ за человѣкъ?»

«— Онъ? — отвѣчалъ одинъ центуріонъ: — онъ христіанинъ, котораго за разные дерзкіе поступки и, между прочимъ, за сопротивленіе твоимъ приказаніямъ, я велѣлъ посадить въ тюрьму.

«— Ты хорошо сдѣлалъ, — отвѣчалъ кесарь: — и можешь поступить съ этимъ христіаниномъ, какъ заблагоразсудишь; но сестра его мнѣ правится, и я хочу составить ея счастье.

«Тутъ, по знаку Максиміана, подвели къ нему Леонію.

«— Хочешь ли меня полюбить? — спросилъ онъ ее.

«— У меня есть женихъ и братъ, — отвѣчала Леонія съ кротостью: — и, послѣ Бога, я люблю ихъ однихъ!

«— Услыша такой отвѣтъ, — продолжали слуги: — мы поблѣднѣли; ибо глаза кесаря налились кровью и бѣлая пѣна показалась на его устахъ, однако-жъ онъ удержался и продолжалъ довольно ласково:

«— Полюби меня, и я осыплю тебя золотомъ и прощу твоего брата.

«— Жизнь его въ твоихъ рукахъ, — отвѣчала Леонія: — но если ты его погубишь, то на это будетъ воля Божія; любить же тебя я не могу!

«— Послушай, — продолжалъ кесарь: — если ты будешь упрямитъся, то я обойдусь и безъ твоего согласія, а брата твоего и жениха заставлю умереть передъ твоими глазами въ ужаснѣйшихъ мученіяхъ!

«Здѣсь твердость Леоніи ее покинула. Она упала къ ногамъ Максиміана и, заливаясь слезами, обняла его колѣни.

«— Сжался надо мной, — вопіяла она: — могу ли я любить тебя, пролившаго безвинно столько христіанской крови! Будь великодушень, отпусти меня и прости моего брата!

«Кесарь долго молчалъ и смотрѣлъ на Леонію ужасными глазами.

«— Есть одно средство, — сказалъ онъ наконецъ: — если ты и братъ твой откажетесь отъ вашей вѣры и согласитесь поклоняться богамъ, то я васъ обоихъ отпущу, не

сдѣлавъ вамъ ни малѣйшаго вреда; если же нѣтъ, то брать твой погибнетъ. Твои единовѣрцы доселѣ такъ были упрямы, что все приносили въ жертву своему Богу. Мнѣ любопытно знать, до какой степени доходить это упорство!

Леонія опять бросилась на колѣни, но кесарь подалъ знакъ, и ее отвели въ темницу.

«Услыша этотъ разсказъ, Амвросій впалъ въ отчаяніе.

«— О, Амена!—кричалъ онъ въ изступленіи:—ты виновница этого несчастія! Твои хитрости и лукавые совѣты причиною, что я погубилъ друга и невѣсту! Но если я не въ силахъ ихъ спасти, то по крайней мѣрѣ умру вмѣстѣ съ ними!

«Онъ побѣжалъ къ префекту, разсказалъ все, что съ нимъ случилось въ послѣдніе два дня, и просилъ, чтобъ его подвергли казни, но освободили бы Виктора и Леонію. Что предсказывала Амена, случилось. Префектъ велѣлъ отвести его, скованнаго, въ глубокую темницу и засмѣялся ему въ глаза, когда онъ упомянулъ объ освобожденіи друга и невѣсты.

«Амвросій провелъ ночь въ мучительномъ безпокойствѣ. На другой день пришелъ тюремный стражъ и предложилъ ему свободу отъ имени префекта, съ тѣмъ, чтобы онъ отказался отъ христіанства. Амвросій съ негодованіемъ отвергнулъ это предложеніе.

«Прошелъ день, тюремщикъ явился съ прежнимъ вопросомъ. Отвѣтъ Амвросія былъ тотъ же. Такимъ образомъ онъ недѣли двѣ провелъ въ темницѣ, получая пищи ровно столько, сколько было нужно, чтобъ не умереть съ голоду, и не видя никого, кромѣ тюремнаго стража, приходившаго каждое утро съ тѣмъ же предложеніемъ и уходившаго въ глубокомъ молчаніи. Была уже ночь, какъ Амвросій, лежа на мокрой землѣ, услышалъ подъ собою глухіе шаги. Вскорѣ яркій лучъ освѣтилъ темницу, и онъ увидѣлъ Амену, съ лампою въ одной рукѣ и съ амфорою въ другой.

«— Можно ли быть столь неосторожнымъ!—сказала она ему, и слезы блистали въ ея глазахъ:—о, если бы ты меня послушался!

«— Горе мнѣ,—отвѣчалъ Амвросій:—что я тебя послушался! Если бы не ты, Леонія не была бы теперь въ рукахъ Максиміана. Но удались отсюда и не обольщай меня болѣе!

«—О, какъ ты мало меня знаешь!—сказала Амена:— я ли виновата, что невѣста твоя такъ гордо отвѣчала кесарю? Онъ вспылчивъ, и когда войдетъ въ ярость, то бѣшенству его нѣтъ предѣловъ. Но я увѣрена, что онъ бы смягчился, если-бъ Леонія отказала ему съ большею кротостью. Впрочемъ, надежда еще не потеряна, и если ты послѣдуешь моему совѣту, то можешь завтра же выйти изъ тюрьмы и спасти твоихъ друзей.

«— Что-жъ мнѣ дѣлать?—спросилъ Амвросій.

«— Выпей немного вина,—отвѣчала Амена:—и я тебѣ сейчасъ скажу.

«Амвросій приблизилъ амфору къ губамъ, и по мѣрѣ того, какъ онъ втягивалъ въ себя душистую влагу, странное чувство разливалось по его жиламъ.

«Цѣпи перестали его тяготить; ему казалось, что темница наполняется золотистыми облаками, и что передъ нимъ мелькаютъ нимфы, сатиры, центавры и наяды. Всѣ блестящія картины языческой мифологіи постепенно разливались въ его воображеніи, и сердце его трепетало отъ сладострастной нѣги.

«— Я бы могла,—продолжала Амена:—тебя освободить теперь же. Цѣпи твои распилить мнѣ не трудно, а подземный ходъ, черезъ который я вошла, имѣетъ сообщеніе съ моимъ жилищемъ; но это бы значило совершить только половину дѣла, и товарищи твои остались бы въ темницѣ. Чтобы дѣйствовать благоразумно, ты долженъ непременно, хотя на нѣсколько дней, притвориться, будто переходишь въ нашу вѣру. Когда объ этомъ узнаетъ кесарь, онъ захочетъ тебя наградить и, по своему обыкновенію, велитъ спросить, чего ты желаешь? Ты потребуешь прощенія Виктора и Леоніи, и когда они будутъ освобождены, вы убѣжите изъ Италіи и въ отдаленной Испаніи дождетесь кончины Максиміана.

«Амвросію казалось, что отречься отъ своего Бога, хотя только для виду, смертельный грѣхъ; къ тому-жъ онъ не былъ увѣренъ, что Максиміанъ будетъ такъ великодушенъ, какъ предполагала Амена; но онъ подумалъ о мученіяхъ, ожидающихъ его друзей, и рѣшился принять на себя отвѣтственность поступка, неодобряемаго его совѣстью. Когда настало утро и тюремщикъ вошелъ къ нему съ обыкновеннымъ вопросомъ, Амвросій отвѣчалъ, по наставленію Амены, что во снѣ ему предсталъ Меркурій и убѣдилъ его перейти къ поклоненію боговъ Олим-

пійскихъ. Тюремщикъ удалился, и вскорѣ нѣсколько чело-
вѣкъ кесаревой стражи вошли въ темницу, сняли съ
него цѣпи и повели къ префекту.

«— Кесарь знаетъ о твоёмъ похвальномъ намѣреніи,—
сказалъ ему префектъ:—и приказалъ мнѣ вручить тебѣ
этотъ знакъ его благоволенія.—Онъ подаль Амвросію бога-
тый перстень съ рѣдкою жемчужиной.—Однако,—продол-
жалъ онъ:—чтобы доказать, что обращеніе твое чисто-
сердечно, ты долженъ сегодня же совершить всенарод-
ное жертвоприношеніе во храмѣ Юпитера. Теперь сту-
пай домой и приготовься.

«Пришедъ къ себѣ, Амвросій увидѣлъ въ комнатахъ
множество золотой посуды. Мѣшки съ золотомъ лежали на
полу, а на дворѣ стояли колесницы съ прекрасными ко-
нями въ богатыхъ сбруяхъ.

«— Чтѣ это значить?—спросилъ Амвросій.

«— Это прислалъ тебѣ кесарь!—отвѣчали слуги, не
радуясь его приходу и поглядывая на него исподлобья.

«Сердце Амвросія болѣзненно сжалось. Въ полдень онъ
всенародно принесъ жертву Юпитеру и отважился про-
сить помилованія Виктору и Леоніи. Ему отказали и дали
золота; онъ въ отчаяніи побѣжалъ къ Аменѣ.

«— Еще не все потеряно, мой другъ!—сказала она.—
Напиши къ своимъ друзьямъ, чтобы они, подобно тебѣ,
на время притворились. Прислужница моя найдетъ сред-
ство доставить имъ твое письмо и къ утру принесетъ от-
вѣтъ. Не пренебрегай также подарками кесаря; они тебѣ
пригодятся для спасенія друзей, если намъ не останется
другого средства, а отказомъ ты только раздражишь Ма-
ксиміана.

«Амвросій послушался Амены и старался утопить въ
винѣ угрызения совѣсти.

«— Не будь такъ печалень!—сказала ему Амена.—
Если ложное зазрѣніе не удержитъ твоего друга и не-
вѣсты, то ихъ простятъ такъ же, какъ простили тебя, а
съ твоимъ золотомъ вы можете бѣжать на край свѣта.
Впрочемъ, я увѣрена, что они поймутъ всю цѣну твоего
самоотверженія и не откажутся послѣдовать твоему со-
вѣту!

«Она взяла въ руки лиру, и тихіе ея звуки погрузили
его непримѣтно въ сладостный сонъ. Ему представилось,
что онъ древній герой, презирающій всѣ труды и опас-
ности и жертвующій собою для спасенія другихъ. Въ во-

ображеніи своемъ онъ уже могучею рукою и хитрымъ умомъ одолѣвалъ всѣ препятствія и преграды. Викторъ и Леонія были освобождены и со слезами благодарности обнимали его колѣни.—«Если бы ты не былъ христіанинъ,—шептала ему Амена:—ты бы вступилъ въ число полубоговъ!» Онъ предавался упоенію гордости, но его разбудилъ поцѣлуй Амены. Она подала ему отвѣтъ Виктора и Леоніи.

«Невѣрный братъ!—писали они:—слухи о твоёмъ отступничествѣ до насъ дошли, но мы не хотѣли имъ вѣрить. Намъ нарочно вывели изъ темницы, дабы мы собственными глазами увидѣли, какъ ты преклоняешь голову передъ идоломъ и приносишь ему нечестивую жертву; мы сочли это адскимъ навожденіемъ. Но ты самъ къ намъ пишишь, что хочешь, чтобы мы слѣдовали твоему примѣру; да оградить насъ сила Господня! Напрасно ты насъ увѣряешь, что поклонялся ложнымъ богамъ только для вида и чтобы въ награду за свою измѣну получить наше освобожденіе. Ты бы не долженъ принять тогда золото отъ Максиміана, а мы не хотимъ быть спасены этою цѣною! Покайся, пока еще время, искупи кровью свое заблужденіе, или я, Викторъ, отрекаюсь отъ твоей дружбы, а я, Леонія, перестаю быть твоею невѣстой. Ты уже и такъ измѣнилъ своему слову: мы знаемъ, что ты проводишь время съ презрѣнной женщиной, совращающей тебя съ пути вѣры и обязанностей!»

«Когда Амвросій кончилъ чтеніе, Амена закрыла лицо руками и горько заплакала.

«— О, я несчастная!—сказала она:—вотъ какъ они толкуютъ мою благодарность и преданность къ тебѣ! Теперь ты меня возненавидишь, и я умру съ тоски.

«— Амена,—отвѣчалъ Амвросій, чувствуя сильную досаду на Виктора и Леонію, хотя онъ самъ себѣ не признался, что причиною этой досады было лишь оскорбленное самолюбіе:—Амена, я знаю, что дружба твоя чистосердечна, и что ревность къ вѣрѣ сдѣлала друзей моихъ несправедливыми.

«— Нѣтъ, мой другъ,—сказала Амена, горько рыдая:—они говорятъ правду, я одна виною твоего несчастія, я виною, что они тебя отринули; но все это я сдѣлала, желая спасти ихъ, ибо не только для тебя, но и для всѣхъ, которые дороги твоему сердцу, я готова пролить до послѣдней капли кровь. Амвросій!—вскричала она,

упавъ предъ нимъ на колѣни:—прости меня, я страстно люблю тебя!

«— Да, я люблю тебя,—продолжала она, не давая ему времени отвѣчать:—я умру, если ты меня покинешь; но покинь, забудь меня, я сама тебя о томъ умоляю, у тебя есть невѣста, мы сыщемъ другое средство спасти ее, мы подкупимъ стражей, вы убѣжите изъ Италіи и будете счастливы; вотъ все, чтѣ я желаю; у меня же останется воспоминаніе счастливыхъ дней, проведенныхъ съ тобою, и сознаніе, что я содѣйствовала вашему счастью!

«Столько любви, столько самоотверженія въ сравненіи съ строгими словами Виктора и Леоніи, отвергшихъ его любовь и дружбу въ то самое время, когда онъ ожидалъ ихъ благодарности, поколебали разумъ Амвросія. Признательность и удовлетворенное самолюбіе съ одной стороны, досада и гордость съ другой, состраданіе къ Аменѣ, ея обворожительная красота, все это затмило въ его душѣ образъ невѣсты и друга. Онъ безъ сопротивленія предался ласкамъ Амены и вспомнилъ о Леоніи только на другой день; въ немъ пробудились угрызения совѣсти; но, по странному противорѣчію сердца человѣческаго, онъ, вмѣсто раскаянія, чувствовалъ негодованіе къ Леоніи за то, что мысль объ ней вырвала его изъ сладостнаго забвенія и напомнила ему вину его. Амена всячески старалась развлекать его и такъ въ томъ успѣла, что онъ въ продолженіе нѣсколькихъ дней не выходилъ изъ ея подземелья, и наконецъ пересталъ вовсе думать о Леоніи и Викторѣ. Однажды Амена предложила ему прогуляться по Риму.

«— Мы можемъ показаться безъ всякой опасности,—сказала она.—Тебя, который теперь въ милости у кесаря, никто не тронетъ, а обо мнѣ онъ уже давно забылъ. Прихоти Максиміана такъ же скоро проходятъ, какъ и рождаются.

«Амвросій согласился, и они пошли на Форумъ. Всѣ имъ давали мѣсто, всѣ на нихъ глядѣли съ почтеніемъ. Около полудня Амена почувствовала усталость и пожелала отдохнуть. Домъ Амвросія былъ близокъ, и они вошли подъ его портикъ и расположились у фонтана.

«— Ахъ,—сказала Амена:—какъ бы обрадовались мои родные, если-бъ они могли меня видѣть! Не позволишь ли ты послать за ними?

«Амвросій хотѣлъ отвѣчать, но въ эту минуту пре-

красный юноша, въ легкой одеждѣ, съ посохомъ въ рукѣ, подошелъ къ Аменѣ и что-то ей шепнулъ на ухо.

«— Родные мои,—сказала Амена:—предупредили мое желаніе. Вотъ Гермесъ, служитель моего отца, пришелъ тебя просить, чтобы ты имъ позволилъ придти.

«Амвросій согласился и, позвавъ слугу, приказалъ ему приготовить богатое угощеніе. Когда солнце зашло, гости стали собираться. Одинъ изъ нихъ былъ высокій мужчина, съ кудрявой черной бородой и съ длинными волосами, похожими на лъвинію гриву. Важное его лицо показалось Амвросію знакомымъ, и онъ вспомнилъ, что уже видѣлъ его во снѣ. Другіе обоего пола гости были всѣ прекрасны собою, кромѣ одного, запачканнаго сажеей и сильно хромавшаго. Когда они улеглись вокругъ стола, то, кромѣ Амвросія и Амены, было всѣхъ-на-все одиннадцать человѣкъ. Вскорѣ между ними завязался разговоръ. Они говорили очень увлекательно, особенно мужчина съ кудрявой бородой. Пока Амвросій его слушалъ, въ немъ разверзались совершенно новыя понятія, и онъ сталъ смотрѣть на жизнь, на вѣру и на добродѣтель со-всѣмъ другими глазами. Собесѣдники его всѣ болѣе или менѣе придерживались философіи Эпикура, и споръ состоялъ только въ томъ, что должно почитать высшимъ удовольствіемъ въ мѣрѣ? Одинъ превозносилъ любовь, другой вино, а третій славу. Амвросій нѣсколько разъ пытался имъ противорѣчить, но они легко опровергали его убѣжденія и такъ умно шутили надъ любовью Платона, ученіемъ Сократа и воздержаніемъ Сципіона, что самому Амвросію мнѣнія его показались смѣшными. Чтобы веселѣе провести время, кто-то предложилъ послать за плясунами и танцовщицами. Они вскорѣ явились, и искусство ихъ такъ понравилось Амвросію, что онъ началъ бросать имъ мѣшки золота, одинъ за другимъ; потомъ стали играть въ кости, и Амвросій проигралъ большую часть богатства, недавно ему доставшагося. Съ первымъ крикомъ пѣтуха гости удалились, и съ Амвросіемъ осталась одна Амена. Онъ только-что хотѣлъ отдохнуть отъ проведенной въ шумныхъ удовольствіяхъ ночи, какъ услышалъ сильный стукъ у дверей.

«— Отвори намъ, проклятый обманщикъ,—кричали грубые голоса.—Ты притворился, будто поклоняешься Юпитеру, а между тѣмъ носишь на себѣ крестъ и еще обрати знаменитую римлянку въ свою нечестивую вѣру!

Но вы отъ насъ не уйдете и завтра же будете сожжены живыми.

«И, говоря это, множество людей стучали въ двери такъ, что она трещала.

«— Сбрось съ себя крестъ!—шепнула ему поблѣднѣвшая Амена:—иначе мы оба пропали: я узнаю голоса преторіанцевъ!

«Между тѣмъ удары сыпались градомъ на дверь, и одна веревка уже отскочила.

«— Сбрось крестъ, сбрось крестъ!—умоляла Амена, упавъ передъ нимъ на колѣни...»

Здѣсь незнакомецъ замолчалъ.

— Что-жъ сдѣлалъ Амвросій?—спросилъ я.

— Онъ сбросилъ съ себя крестъ!—отвѣчалъ незнакомецъ съ тяжелымъ вздохомъ.

— Что-жъ было послѣ?—спросилъ я опять, видя, что братъ милосердія хранить глубокое молчаніе.—Ты, честный отецъ, такъ принимаешь рассказъ свой къ сердцу, какъ будто бы самъ зналъ Амвросія.

— Не мѣшай мнѣ,—отвѣчалъ братъ милосердія:—и слушай, что мнѣ остается тебѣ сказать. Вломившись въ домъ, преторіанцы обыскали Амвросія и Амену, обшарили всѣ комнаты, углы и застѣнки и, не найдя креста, удалились, не сдѣлавъ никому вреда. Настало утро, и Амвросій забылъ объ этомъ происшествіи.

«Прежде, хотя рѣдко, но случалось, что онъ, среди наслажденій и шума, вдругъ вспоминалъ о друзьяхъ и какъ будто съ испугомъ просыпался отъ продолжительнаго сна. Амена обыкновенно его увѣряла, что друзей его скоро выпустятъ изъ темницы, что невинность ихъ открыта, и что кесарь намѣренъ богато вознаграждать ихъ.

«Тогда угрызенія его совѣсти умолкали, и онъ вновь утопалъ въ удовольствіяхъ. Теперь же, послѣ потери креста, никакое воспоминаніе его болѣе не тревожило, и онъ постоянно оставался въ какомъ-то чаду, въ пріятномъ опьяненіи, мѣшающемъ ему замѣчать, какъ проходило время. Дни онъ проводилъ въ театрахъ, ночи въ шумныхъ оргіяхъ съ родными Амены. Между тѣмъ время текло; золото уменьшалось, и однажды онъ съ ужасомъ замѣтилъ, что отъ прежняго богатства у него не осталось ничего. Коня, колесницы и дорогая посуда давно уже были проиграны.

«— Не печалься,—говорила ему Амена:—на что тебѣ

деньги, развѣ мы и безъ нихъ не довольно счастливы? Въ моемъ жилищѣ найдешь ты все, что нужно для тихой и беззаботной жизни, а любовь моя замѣнитъ намъ потерянную роскошь!

«И Амвросій опять погружался въ удовольствія и не помышлялъ о будущемъ.

«Однажды онъ услышалъ, что два преступника осуждены на съденіе звѣрямъ въ этомъ самомъ Колизеѣ, гдѣ мы теперь находимся. Ужасное предчувствіе въ первый разъ имъ овладѣло, и онъ вмѣшался въ толпу народа, бѣжавшую съ криками радости по дорогѣ къ амфитеатру. Амена за нимъ послѣдовала. Когда они помѣстились на ступеняхъ, онъ обратился къ своему сосѣду и спросилъ его, знаетъ ли онъ имена преступниковъ?

«— Ихъ зовутъ Викторъ и Леонія, — отвѣчалъ сосѣдъ: — они оба христіане и умираютъ за упорство въ своей вѣрѣ.

«Тутъ одинъ человѣкъ пробрался сквозь толпу и, приблизившись къ Амвросію, сказалъ ему на ухо:

«— Черезъ четверть часа друзья твои должны быть растерзаны звѣрями. Я тюремный стражъ; дай мнѣ тысячу сестерцій, и я имъ помогу убѣжать!

«— Амена, — вскричалъ Амвросій: — ты слышишь, что говорить этотъ человѣкъ?

«— Слышу, — отвѣчала Амена: — но какое тебѣ до нихъ дѣло? Они христіане, а ты поклонникъ боговъ Олимпійскихъ!

«— Какъ, Амена, — продолжалъ Амвросій въ отчаяніи: — развѣ я не христіанинъ?

«— Ты? — отвѣчала Амена: — развѣ ты не приносилъ жертвы Юпитеру? Развѣ ты не сбросилъ съ себя креста?

«— Дай мнѣ пятьсотъ сестерцій! — продолжалъ тюремный стражъ: — и я освобожу твоихъ друзей!

«— Ты слышишь, Амена, — умолялъ ее Амвросій: — достань мнѣ пятьсотъ сестерцій, только пятьсотъ!

«— У тебя были горы золота, — отвѣчала Амена: — куда ты его дѣлъ?

«— Слушай, — продолжалъ тюремщикъ: — дай мнѣ одинъ ассъ, и друзья твои свободны!

«— О, я несчастный! — вопіялъ Амвросій: — у меня нѣтъ и обола!

«— Такъ ты, видно, не хочешь спасти друга и невѣсты! — сказалъ тюремщикъ и скрылся въ толпѣ.

«— Амена! — вскричалъ тогда Амвросій, и холодный потъ градомъ побѣжалъ съ его лица: — ты одна всему виною: по твоимъ совѣтамъ я сдѣлался богоотступникомъ, для тебя забылъ невѣсту и друга: спаси же ихъ теперь, на колѣняхъ умоляю тебя, спаси ихъ!

«— Какъ, — сказала Амена, странно улыбаясь: — ты все это сдѣлалъ для меня и по моимъ совѣтамъ? Развѣ ты, прежде чѣмъ меня увидѣлъ, не поклялся своему Богу, что никакія мученія не заставятъ тебя отъ Него отречься? Какія же ты испыталъ мученія? Ты отъ Него отрекся добровольно, ты принялъ въ награду золото и подарки отъ Максиміана и истратилъ ихъ на свои прихоти! Развѣ не я сама просила, чтобы ты меня покинулъ и остался вѣрней своей невѣстѣ? Но невѣста и другъ приняли твои совѣты не съ такою благодарностью, какъ ты ожидалъ, они тебя справедливо упрекали въ клятвopреступленіи, и ты на нихъ вознегодовалъ и предалъ ихъ Максиміану. Во всемъ этомъ я не виновата нисколько; я наслаждалась твоею любовью, но я не вынуждала. У тебя былъ свой разсудокъ и своя совѣсть, — пеняй же теперь самъ на себя!

«Въ эту минуту ввели на арену Виктора и Леонію. Лица ихъ были спокойны, поступъ тиха и величественна. Пришедъ на середину арены, они преклонили колѣна и устремили къ небу глаза, исполненные умиленія и восторга.

«— Викторъ! Леонія! — закричалъ отчаяннымъ голосомъ Амвросій; но они его не слышали. Ничто земное уже не могло коснуться праведниковъ: казалось, они въ предсмертный часъ внимали небесной гармоніи и пѣнію серафимовъ.

«— Римляне! — закричалъ Амвросій: — бросьте меня на арену, я васъ обманывалъ: я христіанинъ и хочу умереть за свою вѣру!

«— Онъ сумасшедшій, — сказала Амена: — не слушайте его, онъ сумасшедшій!

«Тутъ Амвросій всталъ со ступеней, выступилъ впередъ и сотворилъ крестное знаменіе.

«— Кто бы ни была ты, ужасная женщина, — сказалъ онъ, обращаясь къ Аменѣ: — я отрекаюсь отъ тебя, отрекаюсь отъ твоихъ боговъ, отрекаюсь отъ ада и сатаны!

«Услыша эти слова, Амена испустила пронзительный визгъ, черты ея лица чудовищнымъ образомъ иска-

зились, изо рта побѣжало синее пламя; она бросилась на Амвросія и укусила его въ щеку. Въ эту минуту изъ за желѣзной рѣшетки впустили на арену четырехъ львовъ. Амвросій упалъ безъ чувствъ на ступени амфитеатра.

Незнакомецъ опять замолчалъ, и я долго не смѣлъ прервать его молчанія.

— Кто ты, таинственный человекъ?—спросилъ я наконецъ, видя, что онъ хочетъ удалиться.

Вмѣсто отвѣта, братъ милосердія отбросилъ покрывало: страшно-блѣдное лицо устремило на меня выразительный взглядъ, и на его щекъ я увидѣлъ глубокій шрамъ, какъ будто изъ нея мясо было вырвано острыми зубами. Онъ опять закрылъ лицо и, не сказавъ ни слова, медленными шагами вышелъ съ арены и исчезъ между развалинами.

КНЯЗЬ СЕРЕБРЯНЫЙ.

Повѣсть временъ Іоанна Грознаго.

Ея Императорскому Величеству
Государынь Императрицъ
Маріи Александровнѣ.

ПРЕДИСЛОВІЕ

КЪ ПЕРВОМУ ИЗДАНІЮ.

Представляемый здѣсь рассказъ имѣетъ цѣлью не столько описаніе какихъ-либо событій, сколько изображеніе общаго характера цѣлой эпохи и воспроизведеніе понятій, вѣрованій, нравовъ и степени образованности русскаго общества во вторую половину XVI столѣтія.

Оставаясь вѣрнымъ исторіи въ общихъ ея чертахъ, авторъ позволилъ себѣ нѣкоторыя отступленія въ подробностяхъ, не имѣющихъ исторической важности. Такъ, между прочимъ, казнь Вяземскаго и обоихъ Басмановыхъ, случившаяся на дѣлѣ въ 1570 году, помѣщена, для сжатости рассказа, въ 1565 годъ. Этотъ умышленный анахронизмъ едва ли навлечетъ на себя строгое порицаніе, если принять въ соображеніе, что безчисленныя казни, послѣдовавшія за низверженіемъ Сильвестра и Адашева, хотя много служатъ къ личной характеристикѣ Іоанна, но не имѣютъ вліянія на общій ходъ событій.

Въ отношеніи къ ужасамъ того времени авторъ оставался постоянно ниже исторіи. Изъ уваженія къ искусству и къ нравственному чувству читателя, онъ набросилъ на нихъ тѣнь и показалъ ихъ по возможности въ отдаленіи. Тѣмъ не менѣе онъ сознается, что при чтеніи источниковъ книга не разъ выпадала у него изъ рукъ, и онъ бросалъ перо въ негодованіи, не столько отъ мысли, что могъ существовать Іоаннъ IV, сколько отъ той, что могло существовать такое общество, которое смотрѣло на него безъ негодованія. Это тяжелое чувство постоянно мѣшало необходимой въ эпическомъ сочиненіи объективности и было отчасти причиною, что романъ, начатый болѣе де-

сяти лѣтъ тому назадъ, оконченъ только въ настоящемъ году. Последнее обстоятельство послужить, быть-можетъ, нѣкоторымъ извиненіемъ для тѣхъ неровностей слога, которыя, вѣроятно, не ускользнутъ отъ читателя.

Въ заключеніе авторъ полагаетъ нелишнимъ сказать, что чѣмъ вольнѣе онъ обращался со второстепенными историческими происшествіями, тѣмъ строже онъ старался соблюдать истину и точность въ описаніи характеровъ и всего, что касается до народнаго быта и до археологіи.

Если удалось ему воскресить наглядно фізіономію очерченной имъ эпохи, онъ не будетъ сожалѣть о своемъ трудѣ и почтеть себя достигшимъ желанной цѣли.

1863.

ГЛАВА I.

О причники.

Лѣта отъ сотворенія міра семь тысячъ семьдесятъ третьяго, или по нынѣшнему численію 1565 года, въ жаркій лѣтній день, 23 іюня, молодой бояринъ князь Никита Романовичъ Серебряный подѣхалъ къ деревнѣ Медвѣдекѣ, верстъ за тридцать отъ Москвы.

За нимъ ѣхала толпа ратниковъ и холопей.

Князь провелъ цѣлыхъ пять лѣтъ въ Литвѣ. Его посылалъ царь Иванъ Васильевичъ къ королю Жигимонту подписать миръ на многія лѣта послѣ бывшей тогда войны. Но на этотъ разъ царскій выборъ вышелъ неудаченъ. Правда, Никита Романовичъ упорно отстаивалъ выгоды своей земли и, казалось бы, нельзя и желать лучшаго посредника, но Серебряный не былъ рожденъ для переговоровъ. Отвергая тонкости посольской науки, онъ хотѣлъ вести дѣло на чистоту и, къ крайней досадѣ сопровождавшихъ его дьяковъ, не позволялъ имъ никакихъ изворотовъ. Королевскіе совѣтники, уже готовые на уступки, скоро воспользовались простодушіемъ князя, вывѣдали отъ него наши слабыя стороны и увеличили свои требованія. Тогда онъ не вытерпѣлъ: среди полного сейма ударилъ кулакомъ по столу и разорвалъ докончальную грамоту, приготовленную къ подписанію. «Вы-де и съ королемъ вашимъ вьюны да оглядчики! Я съ вами говорю по совѣсти, а вы все норовите, какъ бы меня лукавствомъ обойти! Такъ-де чинить не повадно!» Этотъ горячій поступокъ разрушилъ въ одинъ мигъ успѣхъ прежнихъ переговоровъ, и не миновать бы Серебряному опалы, если бы, къ счастью его, не пришло въ тотъ же день отъ Москвы повелѣніе не заключать мира, а возобновить войну. Съ радостью выѣхалъ Серебряный изъ Вильны, смѣнилъ

бархатную одежду на блестящіе бахтерцы, и давай бить литовцевъ, гдѣ только Богъ посылалъ. Показалъ онъ свою службу въ ратномъ дѣлѣ лучше, чѣмъ въ думномъ, и прошла про него великая хвала отъ русскихъ и литовскихъ людей.

Наружность князя соотвѣтствовала его нраву. Отличительными чертами болѣе пріятнаго, чѣмъ красиваго лица его были простосердечіе и откровенность. Въ его темно-сѣрыхъ глазахъ, ослѣненныхъ черными рѣсницами, наблюдатель прочелъ бы необыкновенную, бессознательную и какъ бы невольную рѣшительность, не позволявшую ему ни на мигъ задуматься въ минуту дѣйствія. Неровныя, взъерошенныя брови и косая между ними складка указывали на нѣкоторую беспорядочность и непоследовательность въ мысляхъ. Но мягко и опредѣлительно изогнутый ротъ выражалъ честную, ничѣмъ не поколебимую твердость, а улыбка — безпритязательное, почти дѣтское добродушіе, такъ что иной, пожалуй, почелъ бы его ограниченнымъ, если бы благородство, дышащее въ каждой чертѣ его, не ручалось, что онъ всегда постигнетъ сердце, чего, можетъ-быть, и не сумѣетъ объяснить себѣ умомъ. Общее впечатлѣніе было въ его пользу и рождало убѣжденіе, что можно смѣло ему довѣриться во всѣхъ случаяхъ, требующихъ рѣшимости и самоотверженія, но что обдумывать свои поступки не его дѣло, и что соображенія ему не даются.

Серебряному было лѣтъ двадцать пять. Роста онъ былъ средняго, широкъ въ плечахъ, тонокъ въ поясѣ. Густые русые волосы его были свѣтлѣе загорѣлаго лица и составляли противоположность съ темными бровями и черными рѣсницами. Короткая борода, немного темнѣе волосъ, слегка отгнѣняла губы и подбородокъ.

Весело было теперь князю и легко на сердцѣ возвращаться на родину. День былъ свѣтлый, солнечный, одинъ изъ тѣхъ дней, когда вся природа дышитъ чѣмъ-то праздничнымъ, цвѣты кажутся ярче, небо голубѣе, вдали прозрачными струями зыблется воздухъ, и человѣку дѣлается такъ легко, какъ будто душа его сама перешла въ природу, и трепещетъ на каждомъ листѣ, и качается на каждой былинкѣ.

Свѣтель былъ юньскій день, но князю, послѣ пятилѣтняго пребыванія въ Литвѣ, онъ казался еще свѣтлѣе. Отъ полей и лѣсовъ такъ и вѣяло Русью.

Безъ лести и кривды радѣль Никита Романовичъ къ юному Іоанну. Твердо держаль онъ свое крестное цѣлованіе, и ничто не пошатнуло бы его крѣпкаго стоятельства за государя. Хотя сердце и мысль его давно просились на родину, но если бы теперь же пришло ему повелѣніе вернуться въ Литву, не увидя ни Москвы ни родныхъ, онъ безъ ропота поворотилъ бы коня и съ прежнимъ жаромъ кинулся бы въ новыя битвы. Впрочемъ, не одинъ онъ такъ мыслилъ. Всѣ русскіе люди любили Іоанна, всею землею. Казалось, съ его праведнымъ царствіемъ насталь на Руси новый золотой вѣкъ, и монахи, перечитывая лѣтописи, не находили въ нихъ государя, равнаго Іоанну.

Еще не доѣзжая деревни, князь и люди его услышали веселыя пѣсни, а когда подѣхали къ околицѣ, то увидѣли, что въ деревнѣ праздникъ. На обоихъ концахъ улицы парни и дѣвки составили по хороводу, и оба хоровода несли по березкѣ, украшенной пестрыми лоскутьями. На головахъ у парней и дѣвокъ были зеленые вѣнки. Хороводы пѣли то оба вмѣстѣ, то очередуясь, разговаривали одинъ съ другимъ и перекидывались шуточною бранью. Звонко раздавался между пѣснями дѣвичій хохотъ, и весело пестрѣли въ толпѣ цвѣтныя рубахи парней. Стаи голубей перелетали съ крыши на крышу. Все двигалось и кипѣло, веселился православный народъ.

У околицы старый стремянный князь съ нимъ поровнялся.

— Эхва! — сказалъ онъ весело: — вишь какъ они, батюшка, тѣтка ихъ подкурятина, справляютъ Аграфену Купальницу-то. Ужъ не поотдохнуть ли намъ здѣсь? Кони-то заморились, да и намъ-то, поѣмши, веселѣе будетъ ѣхать. По сытому брюху, батюшка, самъ знаешь, хоть обухомъ бей!

— Да, я чай, уже недалеко отъ Москвы! — сказалъ князь, очевидно не желавшій остановиться.

— Эхъ, батюшка, вѣдь ты сегодня уже разовъ пять спрошалъ. Сказали тебѣ добрые люди, что будетъ еще поприщъ за сорокъ. Вели отдохнуть, князь, право кони устали.

— Ну, добро, — сказалъ князь: — отдохайте.

— Эй, вы! — закричалъ Михеичъ, обращаясь къ ратникамъ: — долой съ коней, сымай котлы, раскидывай огонь! Ратники и холопы были всѣ въ приказѣ у Михеича;

они спѣшились и стали развязывать вьюки. Самъ князь слѣзъ съ коня и снялъ служилую бронь. Видя въ немъ челоуѣка роду честнаго, молодые прервали хороводы, старики сняли шапки и всѣ стояли, переглядываясь въ недоумѣннн, продолжать или нѣтъ веселіе.

— Не чинитесь, добрые люди,—сказалъ ласково Никита Романовичъ:—кречеть соколамъ не помѣха!

— Спасибо, бояринъ,—отвѣчалъ пожилой крестьянинъ.— Коли милость твоя нами не брезгаетъ, просимъ покорно, садись на завалину, а мы тебѣ, коли соизволишь, медку поднесемъ; уважь, бояринъ, выпей на здоровье!.. Дуры!—продолжалъ онъ, обращаясь къ дѣвкамъ:—чего испугались? Аль не видите, это бояринъ со своею челядью, а не какіе-нибудь опричники! Вишь ты, бояринъ, съ тѣхъ поръ, какъ настала на Руси опричина, такъ нашъ братъ всего боится; житья нѣту бѣдному челоуѣку! И въ праздникъ пей, да не допивай; пой, да оглядывайся. Какъ разъ нагрянутъ, ни съ того ни съ другого, словно снѣгъ на голову!

— Какая опричина? Чтѣ за опричники? —спросилъ князь.

— Да провалъ ихъ знаетъ! Называютъ себя царскими людьми. Мы-де люди царскіе, опричники! А вы-де земщина! Намъ-де васъ грабить да обдирать, а вамъ-де терпѣть да кланяться. Такъ-де царь указалъ!

Князь Серебряный вспыхнулъ.

— Царь указалъ обижать народъ! Ахъ, они окаянные! Да кто они такіе? Какъ вы ихъ, разбойниковъ, не переважете?

— Перевязать опричниковъ-то? Эхъ, бояринъ; видно, ты издалека ѣдешь, что не знаешь опричины! Попытайся-ка чтѣ съ ними дѣлать! Ономясь наѣхало ихъ челоуѣкъ десять на дворъ къ Степану Михайлову, вотъ на тотъ дворъ, чтѣ на заборѣ; Степанъ-то былъ въ полѣ, они къ старухѣ: давай того, давай другого. Старуха все ставитъ да кланяется. Вотъ они: давай, баба, денегъ! Заплакала старуха, да нечего дѣлать, отперла сундукъ, вынула изъ тряпицы два алтына, подаетъ со слезами: берите, только живу оставьте. А они говорятъ: мало! Да какъ хватить ее одинъ опричникъ въ високъ, такъ и духъ вонь! Приходитъ Степанъ съ поля, видитъ: лежитъ его старуха съ разбитымъ вискомъ; онъ не вытерпѣлъ. Давай ругать царскихъ людей: Бога вы не бои-

тесъ, окаянные! Не было-бъ вамъ на томъ свѣту ни дна ни покрывки! А они ему, сердечному, петлю на шею, да и повѣсили на воротахъ!

Вздвинулъ отъ ярости Никита Романовичъ. Закипѣло въ немъ ретивое.

— Какъ, на царской дорогѣ, подъ самой Москвой, разбойники грабятъ, убиваютъ крестьянъ! Да что же дѣлаютъ ваши сотскіе да губные старосты? Какъ они терпятъ, чтобы станичники себя царскими людьми называли?

— Да, — подтвердилъ мужикъ: — мы-де люди царскіе, опричники; намъ-де все вольно, а вы-де земщина! И старшіе у нихъ есть; знаки носить: метлу да собачью голову. Должно-быть, и вправду царскіе люди.

— Дурень! — вскричалъ князь: — не смѣй станичниковъ царскими людьми величать! «Ума не приложу, — подумалъ онъ: — Особые знаки? Опричники? Что это за слово? Кто эти люди? Какъ пріѣду на Москву, обо всемъ доложу царю. Пусть велитъ мнѣ сыскать ихъ! Не спущу имъ, какъ Богъ святъ, не спущу!»

Между тѣмъ хороводъ шелъ своимъ чередомъ.

Молодой парень представлялъ жениха, молодая дѣвка — невѣсту; парень низко кланялся родственникамъ своей невѣсты, которыхъ также представляли парни и дѣвки.

— Государь мой, тестюшка, — пѣлъ женихъ вмѣстѣ съ хоромъ: — свари мнѣ пива!

— Государыня теща, наеки пироговъ!

— Государь своякъ, осѣдлай мнѣ коня!

Потомъ, взявшись за руки, дѣвки и парни кружились вокругъ жениха и невѣсты, сперва въ одну, потомъ въ другую сторону. Женихъ выпилъ пиво, съѣлъ пироги, извѣздилъ коня и выгоняетъ свою родню.

— Пошелъ, тесть, къ чорту!

— Пошла, теща, къ чорту!

— Пошелъ, своякъ, къ чорту!

При каждомъ стихѣ онъ выталкивалъ изъ хоровода то дѣвку, то парня.

Мужики хохотали.

Вдругъ раздался пронзительный крикъ. Мальчикъ лѣтъ двѣнадцати, весь окровавленный, бросился въ хороводъ.

— Спасите! спрячьте! — кричалъ онъ, хватаясь за полы мужиковъ.

— Что съ тобою, Ваня? Чего орешь? Кто тебя избилъ? ужъ не опричники-ль?

Въ одинъ мигъ оба хоровода собрались въ кучу; всѣ окружили мальчика; но онъ отъ страху едва могъ говорить.

— Тамъ, тамъ,—произнесъ онъ дрожащимъ голосомъ:— за огородами, я пасъ телятъ... они наѣхали, стали колоть телятъ, рубить саблями; пришла Дунька, стала просить ихъ, они Дуньку взяли, потащили... потащили съ собой, а меня...

Новые крики перебили мальчика. Женщины бѣжали съ другого конца деревни...

— Бѣда, бѣда! — кричали онѣ: — опричники! Бѣгите, дѣвки, прячьтесь въ рожь! Дуньку и Алѣнку схватили, а Сергѣевну убили на-смерть!

Въ то же время показались всадники, человекъ съ пятьдесятъ, сабли наголо. Впереди скакалъ чернородый дѣтина въ красномъ кафтанѣ, въ рысей шапкѣ съ парчевымъ верхомъ. Къ сѣдлу его были привязаны метла и собачья голова.

— Гойда! Гойда! — кричалъ онъ. — Колите скоть, рубите мужиковъ, ловите дѣвокъ, жгите деревню! За мной, ребята! Никого не жалѣть!

Крестьяне бѣжали куда кто могъ.

— Батюшка! Бояринъ! — вопили тѣ, которые были ближе къ князю: — не выдавай насъ, сиротъ! Оборони горемычныхъ!

Но князя уже не было между ними.

— Гдѣ-жъ бояринъ? — спросилъ пожилой мужикъ, оглядываясь на всѣ стороны. — И слѣдъ простылъ! И людей его не видать! Ускакали, видно, сердечные! Охъ, бѣда неминуемая, охъ, смерть намъ настала!

Дѣтина въ красномъ кафтанѣ остановилъ коня.

— Эй ты, старый хрѣнъ! Здѣсь былъ хороводъ, куда дѣвки разбѣжались?

Мужикъ кланялся молча.

— На березу его! — закричалъ черныи: — любить молчать, такъ пусть себѣ молчитъ на березѣ!

Нѣсколько всадниковъ сошли съ коней и накинули мужику петлю на шею.

— Батюшки, кормильцы! Не губите старика, отпустите, родимые! Не губите старика!

— Ага! развязалъ языкъ, старый хрычъ! Да поздно, братъ, въ другой разъ не шути! На березу его!

Опричники потащили мужика къ березѣ. Въ эту минуту

изъ-за избы раздалось нѣсколько выстрѣловъ; человекъ десять пѣшихъ людей бросились съ саблями на душегубцевъ, и въ то же время всадники князя Серебрянаго, вылетѣвъ изъ-за угла деревни, съ крикомъ напали на опричниковъ. Княжескихъ людей было вполовину менѣе числомъ, но нападеніе совершилось такъ быстро и неожиданно, что они въ одинъ мигъ опрокинули опричниковъ. Князь самъ рукоятью сабли сшибъ съ лошади ихъ предводителя. Не давъ ему опомниться, онъ спрыгнулъ съ коня, придавилъ ему грудь колѣномъ и стиснулъ горло.

— Кто ты, мошенникъ?—спросилъ князь.

— А ты кто?—отвѣчалъ опричникъ, хрипя и сверкая глазами.

Князь приставилъ ему пистольное дуло ко лбу.

— Отвѣчай, окаянный, или застрѣлю, какъ собаку.

— Я тебѣ не слуга, разбойникъ,—отвѣчалъ черный, не показывая боязни:—а тебя повѣсятъ, чтобы не смѣлъ трогать царскихъ людей.

Курокъ пистоли щелкнулъ, но кремень осѣкся, и черный остался живъ.

Князь посмотрѣлъ вокругъ себя. Нѣсколько опричниковъ лежали убитые, другихъ княжескіе люди вьзали, прочіе скрылись.

— Скрутите и этого!—сказалъ бояринъ, и, глядя на звѣрское, но безстрашное лицо его, онъ не могъ удержаться отъ удивленія.—«Нечего сказать, молодець!—подумалъ князь:—жаль, что разбойникъ!»

Между тѣмъ подошелъ къ князю стремянный его, Михеичъ.

— Смотри, батюшка,—сказалъ онъ, показывая пукъ тонкихъ и крѣпкихъ веревокъ съ петлями на концѣ:—вишь они какіе осилы возять съ собой! Видно, не впервой имъ душегубствовать, тѣтка ихъ подкурятина!

Тутъ ратники подвели къ князю двухъ лошадей, на которыхъ сидѣли два человекъ, связанные и прикрученные къ сѣдламъ. Одинъ изъ нихъ былъ старикъ съ кудрявою, сѣдою головой и длинною бородой. Товарищъ его, черноглазый молодець, казался лѣтъ тридцати.

— Это чтó за люди?—спросилъ князь.—Зачѣмъ вы ихъ къ сѣдламъ прикрутили?

— Не мы, бояринъ, а разбойники прикрутили ихъ къ сѣдламъ. Мы нашли ихъ за огородами, и стража къ нимъ была приставлена.

— Такъ отвяжите ихъ и пустите на волю!

Освобожденные плѣнники потягивали онѣмѣлые члены, но, не спѣша воспользоваться свободою, остались посмотри́ть, что́ будетъ съ побѣжденными.

— Слушайте, мошенники, — сказалъ князь связаннымъ опричникамъ: — говорите, какъ вы смѣли называться царскими слугами? Кто вы таковы?

— Что́ у тебя глаза лопнули, что ли? — отвѣчалъ одинъ изъ нихъ. — Аль не видишь, кто мы? Извѣстно кто! Царскіе люди, опричники!

— Окаянные! — вскричалъ Серебряный: — коли жизнь вамъ дорога, отвѣчайте правду!

— Да ты, видно, съ неба свалился, — сказалъ съ усмѣшкой черный дѣтина: — что́ никогда опричниковъ не видалъ? И подлинно съ неба свалился! Чортъ его знаетъ откуда выскочилъ, провалиться бы тебѣ сквозь землю!

Упорство разбойниковъ взорвало Никиту Романовича.

— Слушай, молодець, — сказалъ онъ: — твоя дерзость мнѣ было-пришлась по нраву, я хотѣлъ-было пощадить тебя. Но если ты сейчасъ же не скажешь мнѣ, кто ты таковъ, какъ Богъ святъ, велю тебя повѣсить!

Разбойникъ гордо выпрямился.

— Я Матвѣй Хомякъ, — отвѣчалъ онъ: — стремянный Григорія Лукьяновича Скуратова-Бѣльскаго; служу вѣрно господину моему и царю въ опричникахъ. Метла, что́ у насъ при сѣдлѣ, значить, что мы Русь метемъ, выметаемъ измѣну изъ царской земли; а собачья голова, что мы грыземъ враговъ царскихъ. Теперь ты вѣдаешь, кто я; скажи-жъ и ты, какъ тебя называть, величать, какимъ именемъ помянуть, когда придется тебѣ шею свернуть?

Князь простилъ бы опричнику его дерзкія рѣчи. Безстрашіе этого человѣка въ виду смерти ему нравилось. Но Матвѣй Хомякъ клеветалъ на царя, и этого не могъ снести Никита Романовичъ. Онъ далъ знакъ ратникамъ. Привыкшіе слушаться боярина и сами раздраженные дерзостью разбойниковъ, они накинули имъ петли на шеи и готовились исполнить надъ ними казнь, незадолго передъ тѣмъ угрожавшую бѣдному мужику.

Тутъ младшій изъ людей, которыхъ князь велѣлъ отвязать отъ сѣделъ, подошелъ къ нему.

— Дозволь, бояринъ, слово молвить.

— Говори!

— Ты, бояринъ, сегодня доброе дѣло сдѣлалъ, вызво-

лил насъ изъ рукъ этихъ собачьихъ дѣтей, такъ мы хотимъ тебѣ за добро добромъ заплатить. Ты, видно, давно на Москвѣ не бывалъ, бояринъ. А мы такъ знаемъ, что тамъ дѣлается. Послушай насъ, бояринъ. Коли жизнь тебѣ не постыла, не вели вѣшать этихъ чертей. Отпусти ихъ, и этого бѣса, Хомяка, отпусти. Не ихъ жаль, а тебя, бояринъ. А ужъ попадутся намъ въ руки, вотъ-те Христокъ, самъ повѣшу ихъ. Не миновать имъ осила, только бы не ты ихъ къ чорту отправилъ, а нашъ братъ!

Князь съ удивленіемъ посмотрѣлъ на незнакомца. Черные глаза его глядѣли твердо и пронизательно; темная борода покрывала всю нижнюю часть лица, крѣпкіе и ровные зубы сверкали ослѣпительной бѣлизной. Судя по его одеждѣ, можно было принять его за посадскаго или за какого-нибудь зажиточнаго крестьянина, но онъ говорилъ съ такой увѣренностью и, казалось, такъ искренно хотѣлъ предостеречь боярина, что князь сталъ пристальнѣе вглядываться въ черты его. Тогда показалось князю, что на нихъ отпечатокъ необыкновеннаго ума и смѣтливости, а взглядъ обнаруживаетъ человѣка, привыкшаго повелѣвать.

— Ты кто, молодець?—спросилъ Серебряный:—и зачѣмъ вступаешься за людей, которые самого тебя прикрутили къ сѣдлу?

— Да, бояринъ, кабы не ты, то висѣтъ бы мнѣ вмѣсто ихъ! А все-таки послушай мово слова, отпусти ихъ, жалѣтъ не будешь, какъ приѣдешь на Москву. Тамъ, бояринъ, не то, что прежде, не тѣ времена! Кабы всѣхъ ихъ перевѣшать, я бы не прочь, зачѣмъ бы не повѣсить! А то и безъ этихъ довольно ихъ на Руси останется; а тутъ еще человѣкъ десять ихнихъ ускакало; такъ если этотъ дьяволъ, Хомякъ, не воротится на Москву, они не на кого другого, а прямо на тебя покажутъ!

Князя, вѣроятно, не убѣдили бы темныя рѣчи незнакомца, но гнѣвъ его успѣлъ простыть. Онъ разсудилъ, что скорая расправа съ злодѣями немного принесетъ пользы, тогда какъ, предавъ ихъ правосудію, онъ, можетъ-быть, откроетъ всю шайку этихъ загадочныхъ грабителей. Разспросивъ подробно, гдѣ имѣетъ пребываніе ближній губной староста, онъ приказалъ старшему ратнику съ товарищами проводить туда плѣнныхъ и объявилъ, что поѣдетъ далѣе съ однимъ Михеичемъ.

— Власть твоя посылать этихъ собакъ къ губному ста-

ростѣ,—сказалъ незнакомецъ:—только, повѣрь мнѣ, староста тотчасъ велить развязать имъ руки. Лучше бы самому тебѣ отпустить ихъ на всѣ четыре стороны. Впрочемъ, на то твоя боярская воля.

Михеичъ слушалъ все молча и только почесывалъ за ухомъ. Когда незнакомецъ кончилъ, старый стремянный подошелъ къ князю и поклонился ему въ поясъ.

— Батюшка бояринъ, — сказалъ онъ: — оно тово, можетъ-быть, этотъ молодецъ и правду говорить: неравно староста отпустить этихъ разбойниковъ. А ужъ коли ты ихъ, по мягкосердечію твоему, отъ петли помиловалъ, за что Богъ и тебя, батюшка, не оставитъ, то дозвожь по крайности, предъ отправкой-то, на всякъ случай влѣпить имъ по полсотенкѣ плетей, чтобъ впередъ-то не душегубствовали, тѣтка ихъ подкурятина!

И, принимая молчаніе князя за согласіе, онъ тотчасъ велѣлъ отвезти плѣнныхъ въ сторону, гдѣ предложенное имъ наказаніе было исполнено точно и скоро, несмотря ни на угрозы ни на бѣшенство Хомяка.

— Это самое питательное дѣло! — сказалъ Михеичъ, возвращаясь съ довольнымъ видомъ къ князю.— Оно, съ одной стороны, и безобидно, а съ другой—и памятно для нихъ будетъ.

Незнакомецъ, казалось, самъ одобрялъ счастливую мысль Михеича. Онъ усмѣхнулся, поглаживая бороду, но скоро лицо его приняло прежнее выраженіе.

— Бояринъ, — сказалъ онъ: — ужъ коли ты хочешь ѣхать съ однимъ только стремяннымъ, то дозвожь хоть мнѣ съ товарищемъ къ тебѣ примкнуться; намъ дорога одна, а вмѣстѣ будетъ веселѣе; къ тому-жъ неровенъ часъ, коли придется опять работать руками, то восемь рукъ больше четырехъ вымолотятъ.

У князя не было причинъ подозрѣвать своихъ новыхъ товарищей. Онъ позволилъ имъ ѣхать съ собою, и послѣ краткаго отдыха всѣ четверо пустились въ путь.

ГЛАВА II.

Новые товарищи.

Дорогой Михеичъ нѣсколько разъ пытался вывѣдать отъ незнакомцевъ, кто они таковы, но тѣ отшучивались или отдѣльвались разными изворотами.

— Тыфу, тѣтка ихъ подкурятина! — сказалъ наконецъ

самъ про себя Михеичъ:—что за народъ! Словно въюны какіе! Думаешь, вотъ поймалъ ихъ за хвостъ, а они тебѣ промежъ пальцевъ!

Между тѣмъ стало темнѣть. Михеичъ подѣхалъ къ князю.

— Бояринъ,—сказалъ онъ:—хорошо ли мы сдѣлали, что взяли съ собой этихъ молодцовъ? Они что-то больно увертливы, никакъ отъ нихъ толку не добьешься. Да и народъ-то плечистый, не хуже Хомяка. Ужъ не лихіе ли люди?

— А хоть и лихіе,—отвѣчалъ беззаботно князь:—все же они постоятъ за насъ, коли неравно попадутся намъ еще опричники.

— А провалъ ихъ знаетъ, постоятъ ли, батюшка! Воронъ ворону глазъ не выклюетъ; а я слышалъ, какъ они промежъ себя поговаривали чортъ знаетъ на какомъ языкѣ, ни слова не понять, а, кажись, было по-русски! Берегись, бояринъ, береженаго коня и звѣръ не вредить!

Темнота усиливалась. Михеичъ замолчалъ. Бояринъ также молчалъ. Слышенъ былъ только лошадиный топотъ да изрѣдка чуткое фырканье.

Бхали лѣсомъ. Одинъ изъ незнакомцевъ затянулъ пѣсню, другой сталъ подтягивать.

Пѣсня эта, раздающаяся ночью среди лѣса, послѣ всѣхъ дневныхъ происшествій, странно подѣйствовала на князя: ему сдѣлалось грустно. Онъ вспомнилъ о прошедшемъ, вспомнилъ объ отъѣздѣ своемъ изъ Москвы, за пять лѣтъ назадъ, и въ воображеніи очутился опять въ той церкви, гдѣ передъ отъѣздомъ слушалъ молебенъ и гдѣ, сквозь торжественное гнѣіе, сквозь шопотъ толпы, его поразилъ нѣжный и звучный голосъ, котораго не заглушилъ ни стукъ мечей ни громъ литовскихъ пищалей: «Прости, князь,—говорилъ ему украдкою этотъ голосъ:—я буду за тебя молиться!..» Между тѣмъ незнакомцы продолжали пѣть, но слова ихъ не соотвѣтствовали размышленіямъ боярина. Въ пѣснѣ говорилось про широкое раздолье степей, про матушку-Волгу, про разгульное бурлацкое житье. Голоса то сходились, то расходились, то текли ровнымъ токомъ, какъ рѣка широкая, то бурными волнами воздымались и опускались и наконецъ, взлетѣвъ высоко-высоко, парили въ небесахъ, какъ орлы съ распростертыми крыльями.

Грустно и весело въ тихую лѣтнюю ночь, среди без

молвнаго лѣса, слушать размашистую русскую пѣсню. Тутъ и тоска безконечная, безнадежная, тутъ и сила непобѣдимая, тутъ и роковая печать судьбы, желѣзное предназначеніе, одно изъ основныхъ началъ нашей народности, которымъ можно объяснить многое, что въ русской жизни кажется непонятнымъ. И чего ни слышно еще въ протяжной пѣснѣ среди лѣтней ночи и безмолвнаго лѣса!

Пронзительный свистъ прервалъ мысли боярина. Два человѣка выпрыгнули изъ-за деревьевъ и взяли лошадь его подъ уздцы. Двое другихъ схватили его за руки. Сопротивленіе стало невозможно.

— Ахъ, мошенники! — вскричалъ Михеичъ, котораго также окружили неизвѣстные люди. — Ахъ, тѣтка ихъ подкуратина! Вѣдь подвели же окаянныя!

— Кто ѣдетъ? — спросилъ грубый голосъ.

— Бабушкино веретено! — отвѣчалъ младшій изъ новыхъ товарищей князя.

— Въ дѣдушкиномъ лаптѣ! — сказалъ грубый голосъ.

— Откуда Богъ несетъ, земляки?

— Не тряся яблони! Дай дрожнямъ взойти, самъ-четверть урожаю! — продолжалъ спутникъ князя.

Руки, державшія боярина, тотчасъ опустились, и конь, почувствовавъ свободу, сталъ опять фыркать и шагать между деревьями.

— Вишь, бояринъ, — сказалъ незнакомецъ, равняясь съ княземъ: — вѣдь говорилъ я тебѣ, что вчетверомъ веселѣе ѣхать, чѣмъ самъ-другъ! Теперь дай себя только до мельницы проводить, а тамъ простимся. Въ мельницѣ найдешь ночлегъ и кормъ лошадямъ! Дотудова будетъ версты двѣ, не болѣе, а тамъ скоро и Москва.

— Спасибо, молодцы, за услугу. Коли придется намъ когда встрѣтиться, не забуду я, что долгъ платежомъ красенъ!

— Не тебѣ, бояринъ, а намъ помнить услуги. Да врядъ ли мы когда и встрѣтимся. А если бы привелъ Богъ, такъ не забудь, что русскій человѣкъ добро помнить, и что мы всегда тебѣ вѣрные холопи!

— Спасибо, ребята; а имени своего не скажете?

— У меня имя не одно, — отвѣчалъ младшій изъ незнакомцевъ. — Покажѣсть я Ванюха Перстень, а тамъ, можетъ, и другое прозваніе мнѣ найдется.

Вскорѣ они приблизились къ мельницѣ. Несмотря на ночное время, колесо шумѣло въ водѣ. На свистъ Перстня

показался мельникъ. Лица его нельзя было разглядѣть за темнотою, но, судя по голосу, онъ былъ старикъ.

— Ахъ ты, мой кормилецъ!—сказалъ онъ Перстню:— не ждалъ я тебя сегодня, да еще съ проѣзжими! Чтѣ бы тебѣ съ ними ужъ до Москвы доѣхать? А у меня, родимый, нѣтъ ни овса, ни сѣна, ни ужина!

Перстень сказалъ что-то мельнику на непонятномъ языкѣ. Старикъ отвѣчалъ такими же непонятными словами и прибавилъ вполголоса:

— И радъ бы, родимый, да гостя жду; такого гостя— Боже сохрани, какой сердитый!

— А комора за ставомъ?—сказалъ Перстень.

— Вся завалена мѣшками!

— А кладовая? Слышь ты, братъ, чтобы сейчасъ отыскалось мѣсто, овесъ лошадямъ и ужинъ боярину! Мы вѣдь знаемъ другъ друга, меня не морочь!

Мельникъ, ворча, повелъ пріѣзжихъ въ комору, стоящую шагахъ въ десяти отъ мельницы и гдѣ, несмотря на мѣшки съ хлѣбомъ и мукою, было очень довольно мѣста.

Пока онъ сходилъ за лучиной, Перстень и товарищъ его простились съ бояриномъ.

— А скажите, молодцы,—спросилъ Михеичъ:—гдѣ-жъ отыскать васъ, если-бъ, неравно, по сегодняшнему дѣлу князю понадобились свидѣтели?

— Спроси у вѣтра,—отвѣчалъ Перстень:—откуда онъ? Спроси у волны перебѣжной, гдѣ живетъ она? Мы чтѣ стрѣлы острыя съ тетивы летимъ: куда вонзится каленá стрѣла, тамъ и домъ ея! Въ свидѣтели,—продолжалъ онъ, усмѣхаясь:—мы его княжеской милости не годимся. А если-бъ мы за чѣмъ другимъ понадобились—приходи, старичина, къ мельнику, онъ тебѣ скажетъ, какъ отыскать Ванюху Перстня!

— Вишь ты, тѣтка твоя подкурятина!—проворчалъ себѣ подъ носъ Михеичъ:—какія кудрявыя рѣчи выговариваетъ!

— Бояринъ,—сказалъ Перстень, удаляясь:— послушай меня, не хвались на Москвѣ, что хотѣлъ повѣсить слугу Малюты Скуратова и потомъ отодралъ его, какъ сидорову козу!

— Вишь чтѣ наладилъ,—проворчалъ опять Михеичъ:— отпусти разбойника, не вѣшай разбойника, да и не хвались, что хотѣлъ повѣсить! Затвердила сорока Якова,

видно, съ одного поля ягода!— Не безпокойся, братъ,— прибавилъ онъ громко:— нашъ князь никого не боится; наплевать ему на твою Скурлатова; онъ одному царю отвѣтъ держать!

Мельникъ принесъ зажженную лучину и воткнулъ ее въ стѣну. Потомъ принесъ шей, хлѣба и кружку браги. Въ чертахъ его была странная смѣсь добродушія и плутовства; волосы и борода были совсѣмъ сѣдые, а глаза ярко-сѣраго цвѣта; морщины во всѣхъ направленіяхъ разсѣкали лицо его.

Поужинавъ и помолившись Богу, князь и Михеичъ расположились на мѣшкахъ; мельникъ пожелалъ имъ доброй ночи, низко поклонился, погасилъ лучину и вышелъ.

— Бояринъ,—сказалъ Михеичъ, когда они остались одни:— сдается мнѣ, напрасно мы здѣсь остановились. Лучше было ѣхать до Москвы.

— Чтобы тревожить народъ Божій среди ночи? Слѣзть съ коней да отмыкать рогатки на каждой улицѣ?

— Да чтѣ, батюшка, лучше отмыкать рогатки, чѣмъ спать въ чортовой мельницѣ. И угораздило же ихъ, окаянныхъ, привести именно въ мельницу! Да еще на Ивана-Купала. Тѣфу ты пропасть!

— Да чтѣ, тебѣ здѣсь худо, что ли?

— Нѣтъ, батюшка, не худо: и лежать покойно, и щи были добрыя, и лошадамъ овесъ засыпанъ; да то худо, что хозяинъ, вишь, мельникъ!

— Что-жь съ того, что онъ мельникъ?

— Какъ чтѣ, что онъ мельникъ?—сказалъ съ жаромъ Михеичъ.— Да развѣ ты не знаешь, князь, что нѣтъ мельника, которому бы нечистый не приходился сродни? Али ты думаешь, онъ сумѣетъ безъ нечистаго плотину насыпать? Да, чорта съ два! Тѣтка его подкурятина!

— Слыхалъ я про это,—сказалъ князь:—мало ли чтѣ люди говорятъ. Да теперь не время разбирать; бери чтѣ Богъ послалъ.

Михеичъ немного помолчалъ, потомъ зѣвнулъ, еще помолчалъ и спросилъ уже заспаннымъ голосомъ:

— А какъ ты думаешь, бояринъ, чтѣ за человѣкъ этотъ Матвѣй Хомякъ, котораго ты съ лошади сшибъ?

— Я думаю, разбойникъ.

— И я то же думаю. А какъ ты думаешь, бояринъ, чтѣ за человѣкъ этотъ Ванюха Перстень?

— Я думаю, тоже разбойникъ.

— И я такъ думаю. Только этотъ разбойникъ будетъ почище того разбойника. А тебѣ какъ покажется, бояринъ: который разбойникъ будетъ почище, Хомякъ или Перстенъ?

И, не дожидаясь отвѣта, Михеичъ захрапѣлъ. Вскорѣ уснулъ и князь.

ГЛАВА III.

Колдовство.

Мѣсяцъ взошелъ на небо, звѣзды ярко горѣли. Полуразвалившаяся мельница и шумящее колесо были озарены серебрянымъ блескомъ.

Вдругъ раздался конскій топотъ, и скорѣ повелительный голосъ закричалъ подъ самой мельницей:

— Эй, колдунъ!

Казалось, новый пріѣзжій не привыкъ дожидаться, ибо, не слыша отвѣта, онъ закричалъ еще громче:

— Эй, колдунъ! Выходи, не то въ куски изрублю!

Послышался голосъ мельника:

— Тише, князь, тише, батюшка! теперь мы не одни: остановились у меня проѣзжіе; а вотъ я сейчасъ къ тебѣ выйду, батюшка, дай только сундукъ запереть.

— Я те дамъ сундукъ запирать, чортова кочерга!— закричалъ тотъ, котораго мельникъ назвалъ княземъ.— Развѣ ты не зналъ, что я буду сегодня! Какъ смѣлъ ты принимать проѣзжихъ! Вонъ ихъ отсюда!

— Батюшка, не кричи, Бога ради не кричи, все испортишь! Я тебѣ говорилъ уже—дѣло боится шуму, а проѣзжихъ прогнать я не властенъ. Да они же намъ и не мѣшаютъ: они спятъ теперь, коли ты, родимый, не разбудилъ ихъ!

— Ну, добро, старикъ, только смотри: коли ты меня морочишь, лучше бы тебѣ на свѣтъ не родиться. Еще не выдуманно, не придумано такой казни, какую я найду тебѣ!

— Батюшка, умилосердись! что-жъ мнѣ дѣлать, старику? Чтѣ увижу, то и скажу; чтѣ послѣ случится, въ томъ одинъ Богъ властенъ! А если твоя княжеская милость меня казнить собирается, такъ лучше я и дѣла не начну.

— Ну, ну, старикъ, не бойся, я пошутилъ.

Пріѣзжій привязалъ лошадь къ дереву. Онъ былъ высокаго роста и, казалось, молодъ. Мѣсяцъ игралъ на за-

понкахъ его однорядки. Золотыя кисти мурмолки болтались по плечамъ.

— Что-жь, князь, — сказалъ мельникъ: — выучилъ ты слова?

— И слова выучилъ и ласточкино сердце ношу на шеѣ.

— Что-жь, бояринъ, и это не помогаетъ?

— Нѣтъ, — отвѣчалъ съ досадой князь: — ничего не помогаетъ! Намедни я увидѣлъ ее въ саду. Лишь узнала она меня, — поблѣднѣла, отвернулася, убѣжала въ свѣтлицу!

— Не прогнѣвись, бояринъ, не руби невинной головы, а дозвожь тебѣ слово молвить.

— Говори, старикъ.

— Слушай, бояринъ, только я боюсь говорить...

— Говори! — закричалъ князь и топнулъ ногой.

— Слушай же, батюшка: ужъ не любить ли она другого?

— Другого? Кого-жь другого? мужа? старика?

— А если... — продолжалъ мельникъ, запинаясь: — если она любить не мужа?..

— Ахъ, ты, лѣшій! — вскричалъ князь: — да какъ это тебѣ на умъ взбрело? Да если-бъ я только подумалъ про кого, я-бъ у нихъ у обоихъ своими руками сердце вырвалъ! Мельникъ отшатнулся въ страхъ.

— Колдунъ, — продолжалъ князь, смягчая свой голосъ: — помоги мнѣ! Одолѣла меня любовь, змѣя лютая! Ужъ чего я ни дѣлалъ! Цѣлыя ночи передъ иконами молился! Не вымолилъ себѣ покою. Бросилъ молиться, сталъ скакать и рыскать по полямъ съ утра до ночи, — не одного добраго коня заморилъ, а покоя не выѣздилъ! Сталъ гулять по ночамъ, выпивать ковши вина крѣпкаго, — не запилъ тоски, не нашелъ себѣ покоя въ похмельѣ! Махнулъ на все рукой и пошелъ въ опричники. Сталъ гулять за царскимъ столомъ вмѣстѣ со страдниками — съ Грязными, съ Басмановыми! Самъ хуже ихъ злодѣйствовалъ, разорялъ села и слободы, увозилъ женъ и дѣвокъ, а не залилъ кровью тоски моей! Боялся меня и земскіе и опричники, жалуется царь за молодечество, проклинаетъ народъ православный. Имя князя Аоанасья Вяземскаго стало такъ же страшно, какъ имя Малюты Скуратова! Вотъ до чего довела меня любовь: погубилъ я душу мою! Да что мнѣ до нея! Во днѣ адовомъ не будетъ хуже здѣшняго! Ну, старикъ, чего смотришь мнѣ въ глаза? Али думаешь, я помѣшался? Не помѣшался Аоанасій Ивано-

вичъ; крѣпка голова, крѣпко тѣло его! Тѣмъ-то и ужасна моя мѣка, что не можеть извести меня!

Мельникъ слушалъ князя и боялся. Онъ опасался его буйнаго нрава, опасался за жизнь свою.

— Что-жъ ты молчишь, старикъ? Али нѣтъ у тебя зелья, али нѣтъ корня какого приворожить ее? Говори, высчитывай, какія есть чародѣйныя травы? Да говори же, колдунъ!

— Батюшка, князь Аванасій Ивановичъ, какъ тебѣ сказать? Всякія есть травы. Есть колюка-трава,—собирается въ Петровъ постъ. Обкуришь ею стрѣлу—промаху не дашь. Есть тирличъ-трава,—на Лысой горѣ, подъ Кіевомъ растеть. Кто ее носить на себѣ, на того вѣкъ царскаго гнѣва не будетъ. Есть еще плакунъ-трава: вырѣжешь изъ корня крестъ да повѣсишь на шею—всѣ тебя будутъ какъ огня бояться!

Вяземскій горько усмѣхнулся.

— Меня ужъ и такъ бояться,—сказалъ онъ:—не надо мнѣ плакуна твоего. Называй другія травы.

— Есть еще Адамова-голова, — коло болотъ растеть: разрѣшаетъ роды и подарки приноситъ. Есть голубецъ болотный: коли хочешь идти на медвѣдя, вышей взвару голубца, и никакой медвѣдь тебя не тропеть. Есть ревенка-трава: когда станешь изъ земли выдергивать, она стонеть и реветъ словно человѣкъ, а надѣнешь на себя, никогда въ водѣ не утонешь.

— А болѣ нѣтъ другихъ?

— Какъ не быть, батюшка, есть еще кочедыжникъ или папортникъ: кому удастся сорвать цвѣтъ его, тотъ всѣми кладами владѣеть. Есть Иванъ-да-Марья: кто знаетъ, какъ за нее взяться, тотъ на первой клячѣ отъ лучшаго скакуна удереть.

— А такой травы, чтобы молодушка полюбила постылаго,—не знаешь?

Мельникъ замаялся.

— Не знаю, батюшка, не гнѣвайся, родимый, видитъ Богъ—не знаю!

— А такой, чтобы свою любовь перемочь,—не знаешь?

— И такой не знаю, батюшка; а вотъ есть разрывъ-трава: когда дотронешься ею до замка али до двери желѣзной, такъ и разорветъ на куски!

— Пропадай ты съ своими травами!—сказалъ гнѣвно Вяземскій и устремилъ мрачный взоръ свой на мельника.

Мельникъ опустилъ глаза и молчалъ.

— Старикъ!—вскричалъ вдругъ Вяземскій, хватая его за воротъ:—подавай мнѣ ее! Слышишь? Подавай ее, подавай ее, лѣшій! Сейчасъ подавай!

И онъ трясъ мельника за воротъ обѣими руками.

Мельникъ подумалъ, что насталъ послѣдній часъ его.

Вдругъ Вяземскій выпустилъ старика и повалился ему въ ноги.

— Сжался надо мной!—зарыдалъ онъ:—излѣчи меня! Я задарю тебя, озолочу тебя, пойду въ кабалу къ тебѣ! Сжался надо мною, старикъ!

Мельникъ еще болѣе испугался.

— Князь, бояринъ! Чтѣ съ тобой? Опомнись! Это я, Давыдычъ, мельникъ!.. Опомнись, князь!

— Не встану, пока не излѣчишь!

— Князь! князь!—сказалъ дрожащимъ голосомъ мельникъ:—пора за дѣло. Время уходитъ, вставай! Теперь темно: не видалъ я тебя, не знаю, гдѣ ты! Скорѣй, скорѣй за дѣло!

Князь всталъ.

— Начинай,—сказалъ онъ:—я готовъ.

Оба замолчали. Все было тихо. Только колесо, освѣщенное мѣсяцемъ, продолжало шумѣть и вертѣться. Гдѣ-то въ дальнемъ болотѣ кричалъ дергачъ. Сова завывала порой въ гушинѣ лѣса.

Старикъ и князь подошли къ мельницѣ.

— Смотри, князь, подѣ колесо, а я стану нашептывать.

Старикъ прилежъ къ землѣ и, еще задыхаясь отъ страха, сталъ шептать какія-то слова. Князь смотрѣлъ подѣ колесо. Прошло нѣсколько минутъ.

— Чтѣ видишь, князь?

— Вижу, будто жемчугъ сыплется, будто червонцы играютъ.

— Будешь ты богатъ, князь, будешь всѣхъ на Руси богаче!

Вяземскій вздохнулъ.

— Смотри еще, князь, чтѣ видишь?

— Вижу, будто сабли трутся одна о другую, а промежъ нихъ какъ золотыя гривны!

— Будетъ тебѣ удача въ ратномъ дѣлѣ, бояринъ, будетъ счастье на службѣ царской! Только, смотри, смотри, еще говори, чтѣ видишь?

— Теперь сдѣлалось темно, вода помутилась. А вотъ стала краснѣть вода, вотъ почервонѣла, словно кровь. Что это значить?

Мельникъ молчалъ.

— Что это значить, старикъ?

— Довольно князь. Долго смотрѣть не годится; пойдёмъ!

— Вотъ потянулись багровыя нитки, словно жилы кровавыя; вотъ будто клещи растворяются и замыкаются; вотъ...

— Пойдёмъ, князь, пойдёмъ, будетъ съ тебя!

— Постой! — сказалъ Вяземскій, отталкивая мельника: — вотъ словно пила зубчатая ходитъ взадъ и впередъ, а изъ-подъ нея словно кровь брызжетъ!

Мельникъ хотѣлъ оттащить князя.

— Постой, старикъ, мнѣ дурно, мнѣ больно въ суставахъ... Охъ, больно!

Князь самъ отскочилъ. Казалось, онъ понялъ свое видѣніе.

Долго оба молчали. Наконецъ Вяземскій сказалъ:

— Хочу знать, любить ли она другого?

— А есть ли у тебя, бояринъ, какая вещьца отъ нея?

— Вотъ что нашель я у калитки!

Князь показалъ голубую ленту.

— Брось подъ колесо!

Князь бросилъ.

Мельникъ вынулъ изъ-за пазухи глиняную сулею.

— Хлебни! — сказалъ онъ, подавая сулею князю.

Князь хлебнулъ. Голова его стала ходить кругомъ, въ очахъ помутилось.

— Смотри теперь, что видишь?

— Ее, ее!

— Одноё?

— Нѣтъ, не одну! Ихъ двое: съ ней русый молодецъ въ кармазинномъ кафтанѣ, только лица его не видно... Постой! Вотъ они сплываются... все ближе, ближе... Анаеема! они цѣлуются! Анаеема! будь ты проклять, колдунъ, будь проклять, проклять!

Князь бросилъ мельнику горсть денегъ, оторвалъ отъ дерева узду коня своего, вскочилъ въ сѣдло, и застучали въ лѣсу конскія подковы. Потомъ топотъ замеръ въ отдаленіи, и лишь колесо въ ночной тиши продолжало шумѣть и вертѣться.

ГЛАВА IV.

Дружина Андреевичъ и его жена.

Если бы читатель могъ перенестись лѣтъ за триста назадъ и посмотреть съ высокой колокольни на тогдашнюю Москву, онъ нашель бы въ ней мало сходства съ теперешнею. Берега Москвы-рѣки, Яузы и Неглинной покрыты были множествомъ деревянныхъ домовъ съ тесовыми или соломенными крышами, большею частью почернѣвшими отъ времени. Среди этихъ темныхъ крышъ рѣзко бѣлѣли и краснѣли стѣны Кремля, Китай-города и другихъ укрѣпленій, возникшихъ въ теченіе двухъ послѣднихъ столѣтій. Множество церквей и колоколенъ поднимали свои золоченыя головы къ небу. Подобныя большимъ зеленымъ и желтымъ пятнамъ, виднѣлись между домами густыя рощи и покрытыя хлѣбомъ поля. Черезъ Москву-рѣку пролегали зыбкіе живые мосты, сильно дрожавшіе и покрывавшіеся водою, когда по нимъ проѣзжали возы или всадники. На Яузѣ и на Неглинной вертѣлись десятками мельничныя колеса, одно подлѣ другого. Эти рощи, поля и мельницы среди самаго города придавали тогдашней Москвѣ много живописнаго. Особенно весело было смотрѣть на монастыри, которые, съ бѣлыми оградами и пестрыми кучами цвѣтныхъ и золоченыхъ головъ, казались отдѣльными городами.

Надъ всею этою путаницею церквей, домовъ, рощъ и монастырей гордо воздымались кремлевскія церкви и недавно отдѣланный храмъ Покрова Богоматери, который Іоаннъ заложилъ нѣсколько лѣтъ тому назадъ въ память взятія Казани и который мы знаемъ нынѣ подъ именемъ Василія Блаженнаго. Велика была радость москвитянъ, когда упали наконецъ лѣса, закрывавшіе эту церковь, и предстала она во всемъ своемъ причудливомъ блескѣ, сверкая золотомъ и красками и удивляя взоръ разнообразіемъ украшеній. Долго не переставалъ народъ дивиться искусному зодчему, благодарить Бога и славить царя, даровавшаго православнымъ зрѣлище дотолѣ невиданное. Хороши были и прочія церкви московскія. Не щадили москвитяне ни рублей ни трудовъ на благолѣпіе домовъ Божіихъ. Вездѣ видны были дорогіе цвѣта, позолота и большія наружныя иконы во весь ростъ челоувѣческой. Любили православные украшать дома Божіи, но зато мало заботились о наружности своихъ домовъ;

жилища ихъ почти всё были выстроены прочно и просто, изъ сосновыхъ или дубовыхъ брусевъ, не обшитыхъ даже тесомъ, по старинной русской пословицѣ: не красна изба углами, а красна пирогами.

Одинъ домъ боярина Дружины Андреевича Морозова, на берегу Москвы-рѣки, отличался особенною красотою. Дубовыя бревна были на подборъ круглы и ровны; всё углы рублены въ лапу, домъ возвышался въ три жилья, не считая свѣтлицы. Навѣсная кровля, надъ крутымъ крыльцомъ, поддерживалась пузатыми, вычурными столбами и щеголяла мелкою рѣзбою. Ставни были искусно расписаны цвѣтами и птицами, а окна пропускали свѣтъ Божій не сквозь тусклые бычачьи пузыри, какъ въ болѣе части домовъ московскихъ, но сквозь чистую, прозрачную слюду. На широкомъ дворѣ стояли службы, кладовыя, сушилы, голубятня и лѣтняя опочивальня боярина. Ко двору примыкали, съ одной стороны, домовая каменная церковь, съ другой—просторный садъ, окруженный дубовымъ частоколомъ, изъ-за котораго поднимались красивыя качели, также съ узорами и живописью. Словомъ, домъ выстроенъ былъ на славу. Да и было на кого строить!

Бояринъ Дружина Андреевичъ, тѣломъ дородный, права крутого, несмотря на свои преклонныя лѣта, недавно женился на первой московской красавицѣ. Всё дивились, когда вышла за него двадцатилѣтняя Елена Дмитриевна, дочь окольного Плещеева-Очина, убитаго подъ Казанью. Не такого жениха прочили ей московскія свахи. Но Елена была на выданьи, безъ отца и матери; а красота дѣвушки, при нечестивыхъ нравахъ новыхъ царскихъ любимцевъ, бывала ей чаще на бѣду, чѣмъ на радость.

Морозовъ, женившись на Еленѣ, сдѣлался ея покровителемъ, а всё знали на Москвѣ, что не легко обидѣть ту, которую бралъ подъ свою защиту бояринъ Дружина Андреевичъ!

Много любимцевъ царскихъ, до замужества Елены, старались ей понравиться, но никто такъ не старался, какъ князь Аѳанасій Ивановичъ Вяземскій. И подарки дорогие присылалъ онъ къ ней, и въ церквахъ становился супротивъ нея, и на бѣшеномъ конѣ мимо воротъ скакалъ, и въ кулачномъ бою ходилъ одинъ на стѣну. Не было удачи Аѳанасію Ивановичу! Свахи приносили ему назадъ его подарки, а при встрѣчѣ съ нимъ Елена отво-

рочивалась. Оттого ли она отворачивалась, что не нравилась ей Аѳанасій Ивановичъ, или въ сердцѣ дѣвичьемъ была уже другая зазнобушка, только какъ ни бился князь Вяземскій, а все получалъ отказы. Наконецъ осерчалъ Аѳанасій Ивановичъ и пошелъ бить челомъ въ своей неудачѣ царю Ивану Васильевичу. Царь обѣщалъ самъ заслать свахъ къ Еленѣ Дмитріевнѣ. Узнавъ о томъ, Елена залилась слезами. Пошла съ мамкою въ церковь, стала на колѣни предъ Божьею Матерью, плачетъ и кладетъ земные поклоны.

Въ церкви народу не было; но когда встала Елена и оглянулась, за нею стоялъ бояринъ Морозовъ въ бархатномъ зеленомъ кафтанѣ, въ парчевомъ терликѣ нараспашку.

— О чемъ ты плачешь, Елена Дмитріевна?—спросилъ Морозовъ.

Узнавъ боярина, Елена обрадовалась.

Онъ былъ когда-то въ дружбѣ съ ея родителями, да и теперь навѣщалъ ее и любилъ какъ родную. Елена его почитала какъ бы отца и повѣряла ему свои мысли; одной лишь не повѣрила, одну лишь схоронила отъ боярина,—схоронила себѣ на горе, ему на погибель!

И теперь, на вопросъ Морозова, она не сказала ему той завѣтной мысли, а сказала лишь, что я-де плачу о томъ, что пріѣдутъ царскія свахи, приневолятъ меня за Вяземскаго!

— Елена Дмитріевна, — сказалъ бояринъ: — полно, правду ли нѣлюбъ тебѣ Вяземскій? Подумай хорошенько. Знаю, доселѣ онъ былъ тебѣ не по-сердцу; да вѣдь у тебя, я чаю, никого еще нѣтъ на мысли, а до той поры сердце дѣвичье—воскъ; стерпится, слюбится!

— Никогда,—отвѣчала Елена:—никогда не полюблю его! Скорѣй сойду въ могилу!

Бояринъ посмотрѣлъ на нее съ участіемъ.

— Елена Дмитріевна,—сказалъ онъ, помолчавъ:—есть средство спасти тебя. Послушай. Я старъ и сѣдъ, но люблю тебя, какъ дочь свою. Поразмысли, Елена, согласна-ль ты выйти за меня, старика?

— Согласна!—вскричала радостно Елена и повалилась Морозову въ ноги.

Тронуло боярина неожиданное слово, обрадовался онъ восторгу Елены; не догадался, старый, что то былъ восторгъ утопающаго, который хватается за кустъ терновый.

Ласково поднялъ онъ Елену и поцѣловалъ въ чело.

— Дитятко,—сказалъ онъ:—цѣлуй же мнѣ крестъ, что не обезчестишь ты сѣдой головы моей! Клянись здѣсь, передъ Спасителемъ!

— Клянусь, клянусь!—прошептала Елена.

Бояринъ велѣлъ позвать священника, и вскорѣ совершился обрядъ обрученія; когда же явились къ Еленѣ царскія свахи, она уже была невѣстою Дружины Андреевича Морозова.

Не по любви вышла Елена за Морозова; но она цѣловала крестъ быть ему вѣрною и твердо рѣшилась сдержать свою клятву, не погрѣшить противъ господина своего ни словомъ ни мыслию.

И зачѣмъ бы не любить ей Дружины Андреевича? Правда, не молодой былъ бояринъ; но Господь благословилъ его и здоровьемъ, и дородствомъ, и славою ратною, и волею твердою, и деревнями, и селами, и широкими угодьями за Москвой-рѣкой, и кладовыми, полными золота, парчи и мѣховъ дорогихъ. Лишь однимъ не благословилъ Господь Дружину Андреевича: не благословилъ его милостию царскою. Какъ узналъ Иванъ Васильевичъ, что опоздали его свахи, опалился на Морозова, совершилъ наказать боярина: велѣлъ позвать его къ столу своему и посадилъ не только ниже Вяземскаго, но и ниже Годунова, Бориса Ѳедоровича, еще не вошедшаго въ честь и не имѣвшаго никакого сана.

Не снесъ бояринъ такого безчестія—всталъ изъ-за стола: не вмѣстно-де Морозову быть меньше Годунова! Тогда опалился царь горшею злобою и выдалъ Морозова головою Борису Ѳедоровичу. Понесъ бояринъ ко врагу повинную голову, но обругалъ Годунова жестоко и называлъ щенкомъ.

И, узнавъ о томъ, царь вошелъ въ ярость великую, приказалъ Морозову отойти отъ очей своихъ и отпустить сѣдые волосы, доколѣ не сыметя съ него опала. И удалился отъ двора бояринъ: и ходитъ онъ теперь въ смиренной одеждѣ, съ бородою нечесанною, падаютъ сѣдые волосы на крутое чело. Грустно боярину не видать очей государевыхъ, но не опозорилъ онъ своего роду, не сѣлъ ниже Годунова!

Домъ Морозова былъ чаша полная. Слуги боялись и любили боярина. Всякъ, кто входилъ къ нему, былъ принимаемъ съ радушіемъ. И свои и чужіе хвалились его

ласкою; всѣхъ дарилъ онъ и словами привѣтными, и одеждой богатою, и совѣтами мудрыми. Но никого такъ не ласкалъ, никого такъ не дарилъ онъ, какъ свою молодую жену, Елену Дмитріевну. И жена отвѣчала за ласку ласкою, и каждое утро и каждый вечеръ долго стояла на колѣняхъ въ своей образной и усердно молилась за его здравіе.

Виновата ли была Елена Дмитріевна, что среди привѣтливыхъ рѣчей Дружины Андреевича, среди теплой молитвы передъ иконами, внезапно представлялся воображенію ея молодой витязь, летящій на конѣ съ поднятымъ шестоперомъ, и передъ нимъ бѣгушіе въ беспорядкѣ литовскіе полки?

Виновата ли была Елена Дмитріевна, что образъ этого витязя преслѣдовалъ ее вездѣ, и дома, и въ церкви, и днемъ, и ночью, и съ упрекомъ говорилъ ей: «Елена! Ты не сдержала своего слова, ты не дождалась моего возврата, ты обманула меня!..»

Тысяча пятьсотъ шестьдесятъ пятого года, іюля двадцать четвертаго, въ день Ивана-Купалы, всѣ колокола московскіе раскачались съ самаго утра и звонили безъ умолку. Всѣ церкви были полны. По окончаніи обѣдни народъ разсыпался по улицамъ. Молодые и старые, бѣдные и богатые несли домой зеленныя вѣтки, цвѣты, березки, убранныя лентами. Все было пестро, живо и весело. Однако къ полуденной порѣ улицы стали пустѣть. Мало-помалу народъ сталъ расходиться, и вскорѣ на Москвѣ нельзя было бы встрѣтить ни одного человѣка. Воцарилась мертвая тишина. Православные покоились въ своихъ опочивальняхъ, и не было никого, кто бы гнѣвилъ Бога, гуляя по улицамъ, ибо Богъ и человѣку и всякой твари велѣлъ покоиться въ полуденную пору; а грѣшно идти противъ воли Божіей, развѣ ужъ принудить неотложное дѣло.

Итакъ, всѣ спали; Москва казалась необитаемымъ городомъ. Только на Балчугѣ, въ недавно выстроенномъ кружечномъ дворѣ, или кабакѣ, слышны были крики, ссоры и пѣсни. Тамъ, несмотря на полдень, пировали ратники, почти всѣ молодые, въ богатыхъ нарядахъ. Они расположились внутри дома, и на дворѣ, и на улицѣ. Всѣ были пьяны; иной, лежа на голой землѣ, проливалъ на платъе чарку вина; другой силился хриплымъ голосомъ подтягивать товарищамъ, но издавалъ лишь глухіе, невнятные

звуки. Осѣдланные кони стояли у воротъ. Къ каждому сѣдлу привязана была метла и собачья голова,

Въ это время два всадника показались на улицѣ. Одинъ изъ нихъ, въ кармазинномъ кафтанѣ съ золотыми кистями и въ бѣлой парчевой шапкѣ, изъ-подъ которой видѣлись густыя русыя кудри, обратился къ другому всаднику.

— Михеичъ,—сказалъ онъ:—видишь ты этихъ пьяныхъ людей?

— Вижу, бояринъ, тѣтка ихъ подкурятина! Вишь, бражники, какъ расходились!

— А видишь ты, что у лошадей за сѣдлами?

— Вижу: метлы да песьи морды, какъ у того разбойника. Стало, и въ самомъ дѣлѣ царскіе люди, коль на Москвѣ гуляютъ! Надѣлали-жъ мы дѣла, бояринъ, наварили каши!

Серебряный нахмурился.

— Поди, спроси у нихъ, гдѣ живетъ бояринъ Морозовъ.

— Эй, добрые люди, господа честные!—закричалъ Михеичъ, подѣзжая къ толпѣ:—гдѣ живетъ бояринъ Дружина Андреичъ Морозовъ?

— А на что тебѣ знать, гдѣ эта собака живетъ?

— У моего боярина, князя Серебрянаго, есть грамота къ Морозову отъ воеводы князя Пронскаго, изъ большого полку.

— Давай сюда грамоту!

— Что ты, что ты, тѣтка твоя под... что ты? Въ умѣ ли? Какъ дать тебѣ князеву грамоту?

— Давай грамоту, старій сычъ, давай ее! Посмотримъ, ужъ не затѣялъ ли этотъ Морозовъ измѣны, ужъ не хочетъ ли извести государя?

— Ахъ ты, мошенникъ!—вскричалъ Михеичъ, забывал осторожность, съ которою началъ-было говорить:— да развѣ мой господинъ знаетъ съ измѣнниками!

— А, такъ ты еще ругаться! Долой его съ лошади, ребята, въ плети его!

Тутъ самъ Серебряный подскочилъ къ опричникамъ.

— Назадъ!—закричалъ онъ такъ грозно, что они невольно остановились.

— Если кто изъ васъ,—продолжалъ князь:—хоть пальцемъ тронетъ этого человѣка, я тому голову разрублю, а остальные будутъ отвѣчать государю!

Опричники смутились; но новые товарищи подошли изъ сосѣднихъ улицъ и обступили князя. Дерзкія слова по-

сыпались изъ толпы; многіе вынули сабли, и не сдобровать бы Никитѣ Романовичу, если бы въ это время не послышался вблизи голосъ, поющій псаломъ, и не остановилъ опричниковъ какъ будто волшебствомъ. Всѣ оглянулись въ сторону, откуда раздавался голосъ. По улицѣ шелъ человѣкъ лѣтъ сорока, въ одной полотняной рубахѣ. На груди его звенѣли желѣзные кресты и вериги, а въ рукахъ были деревянные чѣтки. Блѣдное лицо его выражало необыкновенную доброту; на устахъ, осѣненныхъ рѣденькой бородой, играла улыбка, но глаза глядѣли мутно и неопредѣленно.

Увидѣвъ Серебрянаго, онъ прервалъ свое пѣніе, подошелъ поспѣшно къ нему и посмотрѣлъ ему прямо въ лицо. — Ты, ты?—сказалъ онъ, какъ будто удивляясь:—за чѣмъ ты здѣсь, между ними?

И, не дожидаясь отвѣта, онъ началъ пѣть:—«Блаженъ мужъ, иже не иде на совѣтъ нечестивыхъ!»

Опричники посторонились съ видомъ почтенія, но онъ, не обращая на нихъ вниманія, опять сталъ смотрѣть въ глаза Серебряному.

— Микитка, Микитка!—сказалъ онъ, качая головой:—куда ты заѣхалъ?

Серебряный никогда не видалъ этого человѣка и удивился, что онъ называетъ его по имени.

— Развѣ ты знаешь меня?—спросилъ онъ.

Блаженный засмѣялся.

— Ты мнѣ братъ!—отвѣчалъ онъ:—я тотчасъ узналъ тебя. Ты такой же блаженный, какъ и я. И ума-то у тебя не болѣ моего, а то бы ты сюда не пріѣхалъ. Я все твое сердце вижу. У тебя тамъ чисто-чисто, одна голая правда; мы съ тобой оба юридивые! А эти, — продолжалъ онъ, указывая на вооруженную толпу:—эти намъ не родня! У!

— Вася,—сказалъ одинъ изъ опричниковъ:—не хочешь ли чего? Не надо-ль тебѣ денегъ?

— Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ!—отвѣчалъ блаженный:—отъ тебя ничего не хочу! Вася ничего не возьметъ отъ тебя, а подай Микиткѣ, чего онъ просить!

— Божій человѣкъ,—сказалъ Серебряный:—я спрашивалъ, гдѣ живетъ бояринъ Морозовъ?

— Дружинка-то? Этотъ нашъ! Этотъ праведникъ! Только голова у него непоклонная! у, какая непоклонная! А скоро поклонится, скоро поклонится, да ужъ и не подыметъ!

— Гдѣ онъ живеть?—повторилъ ласково Серебряный.

— Не скажу!—отвѣтилъ блаженный, какъ будто разсердившись:—не скажу, пусть другіе скажутъ. Не хочу посылать тебя на недоброе дѣло!

И онъ поспѣшно удалился, затянувъ опять свой прерванный псаломъ.

Не понимая его словъ и не тратя времени на догадки, Серебряный снова обратился къ опричникамъ.

— Что-жь,—спросилъ онъ:—скажете ли вы наконецъ, какъ найти домъ Морозова?

— Ступай все прямо,—отвѣчалъ грубо одинъ изъ нихъ.—Тамъ, какъ поворотишь налѣво, тамъ тебѣ и будетъ гнѣздо стараго ворона.

По мѣрѣ того, какъ князь удалялся, опричники, усмиренные появленіемъ юродиваго, опять начали бунить.

— Эй!—закричалъ одинъ:—отдай Морозову поклонъ отъ насъ да скажи, чтобы готовился на висѣлицу; больно зажился!

— Да и на себя припаси веревку! — крикнулъ вдогонку другой.

Но князь не обратилъ вниманія на ихъ ругательства.

«Что хотѣлъ сказать мнѣ блаженный?—думалъ онъ, потупя голову.—Зачѣмъ не указалъ онъ мнѣ домъ Морозова, да еще прибавилъ, что не хочетъ посылать меня на недоброе дѣло?»

Продолжая ѣхать далѣе, князь и Михеичъ встрѣтили еще много опричниковъ. Иные были уже пьяны, другіе только шли въ кабакъ. Всѣ смотрѣли нагло и дерзко, а нѣкоторые даже дѣлали вслухъ такія грубыя замѣчанія насчетъ всадниковъ, что легко можно было видѣть, сколь они привыкли къ безнаказанности.

ГЛАВА V.

Встрѣча.

Проѣзжая верхомъ по берегу Москвы-рѣки, можно было поверхъ частокола видѣть весь садъ Морозова.

Цвѣтушія липы осѣняли свѣтлый прудъ, доставлявшій боярину въ постные дни обильную пищу. Далѣе зеленѣли яблони, вишни и сливы. Въ некошенной травѣ пролегалі узенькія дорожки. День былъ жаркій. Надъ алыми цвѣтами пахучаго шиповника кружились золотые жуки; въ липахъ жужжали пчелы; въ травѣ трещали кузнечики;

изъ-за кустовъ красной смородины большіе подсолнечники поднимали широкія головы и, казалось, нѣжились на полуденномъ солнцѣ.

Бояринъ Морозовъ уже съ часъ какъ отдыхалъ въ своей опочивальнѣ. Елена съ сѣнными дѣвушками сидѣла подъ липами на дерновой скамьѣ, у самаго частоты. На ней былъ голубой аксамитный лѣтничекъ съ яхонтовыми пуговицами. Широкіе кисейные рукава, собранные въ мелкія складки, перехватывались, повыше локтя, алмазными запястьями или зарукавниками. Такія же серьги висѣли по самыя плечи; голову покрывалъ кокошникъ съ жемчужными наклонами, а сафьянные сапожки блестяли золотою нашивкой.

Елена казалась весела. Она смѣялась и шутила съ дѣвушками.

— Боярыня,—сказала одна изъ нихъ:—примѣрь еще вотъ эти запястья, они повиднѣе.

— Будеть съ меня примѣрять, дѣвушки,—отвѣчала ласково Елена:—вотъ уже битый часъ вы меня наряжаете да укручиваете, будетъ съ меня!

— Вотъ еще только монисто надѣнь! Какъ надѣнешь монисто, будешь, право слово, ни дать ни взять, святая икона въ окладѣ!

— Полно, Пашенька, стыдно грѣхъ такой говорить!

— Ну, коли не хочешь наряжаться, боярыня, такъ не поиграть ли намъ въ горѣлки или въ камушки? Не хочешь ли рыбку покормить или на качеляхъ покачаться? Или ужъ не спѣть ли тебѣ чего?

— Спой мнѣ, Пашенька, спой мнѣ ту пѣсню, что ты наедни пѣла, какъ вы ягоды собирали!

— И, боярыня, лалушка ты моя, что-жъ въ той пѣснѣ веселаго! То грустная пѣсня, не праздничная.

— Нужды нѣтъ; мнѣ хочется ее послушать; спой мнѣ, Пашенька.

— Изволь, боярыня; коли твоя такая воля,—спою; только тебѣ послѣ не пеняй на меня, если неравно тебѣ взгрустнется! Ну-те-жъ, подруженьки, подтягивайте!

Дѣвушки усѣлись въ кружокъ, и Пашенька затянула жалобнымъ голосомъ:

Ахъ, кабы на цвѣты да не морозы,
И зимой бы цвѣты расцвѣтали;
Ахъ, кабы на меня да не кручина,
Ни о чемъ бы я не тужила,

Не сидѣла-бъ я, подпершия,
Не глядѣла-бъ я во часто поле...

Я по снѣжкѣ шла, по новымъ шла,
Подняла шубку соболиную,
Чтобъ моя шубка не прошумѣла,
Чтобъ мои пуговицы не прозвякнули,
Не услышалъ бы свекоръ-батюшка,
Не сказалъ бы своему сыну,
Своему сыну, моему мужу!

Пашенька посмотрѣла на боярыню. Двѣ слезы катились изъ очей ея.

— Ахъ, я глупенькая! — сказала Пашенька: — чего.. надѣлала! Вотъ на свою голову послушалась боярыни! Да и можно ли, боярыня, на такія пѣсни набиваться!

— Охота-жъ тебѣ и знать ихъ! — подхватила Дуняша, быстроглазая дѣвушка съ черными бровями. — Вотъ я такъ спою пѣсню, не твоей чета! Смотри, коли не развесело боярыню!

И, вскочивъ на ноги, Дуняша уперла одну руку въ бокъ, другую подняла кверху, перегнулась на сторону и, плавно подвигаясь, запѣла:

Пантелей государь ходить по двору,
Кузьмичъ гуляетъ по широкому,
Кунья на немъ шуба до земли,
Соболя на немъ шапка до верху,
Божья на немъ милость до вѣку.
Сужена-то смотреть изъ-подъ пологу,
Бояре-то смотреть изъ города,
Боярыни-то смотреть изъ терема.
Бояре-то молвятъ: чей-то такой?
Боярыни молвятъ: чей-то господинъ?
А сужена молвить: мой дорогой!

Кончила Дуняша и сама засмѣялась. Но Еленѣ стало еще грустнѣе. Она крѣпилась-крѣпилась, закрыла лицо руками и зарыдала.

— Вотъ тебѣ и пѣсня! — сказала Пашенька. — Чтò намъ теперь дѣлать? Увидитъ Дружина Андреичъ заплаканные глазки боярыни, на насъ же осердится: не умѣете вы, дескать, глупыя, и занять ее!

— Дѣвушки, душечки! — сказала вдругъ Елена, бросаясь на шею къ Пашенькѣ: — пособи́те порыдать, помогите поплакать!

— Да чтò съ тобой случилось, боярыня? Съ чего ты вдругъ раскручинилась?

— Не вдругъ, дѣвушки! Мнѣ съ самаго утра грустно.

Какъ начали къ заутренѣ звонить, да увидѣла я изъ свѣтлицы, какъ народъ Божій весело спѣшить въ церковь, такъ, дѣвушки, мнѣ стало тяжело... и теперь еще сердце надрывается... а тутъ еще день выпалъ такой свѣтлый, такой солнечный, да еще всѣ эти уборы, что вы на меня надѣли... Скиньте съ меня запястья, дѣвушки, скиньте кокошникъ, заплетите мнѣ косу по-вашему, по-дѣвичьи!

— Что ты, боярыня, грѣхъ какой! Заплести тебѣ косу по-дѣвичьи! Боже сохрани! Да неравно узнаеть Дружина Андреичъ!

— Не узнаеть, дѣвушки! Я опять кокошникъ надѣну!

— Нѣтъ, боярыня, грѣшно! Власть твоя, а мы этого на душу не возьмемъ!

«Неужели,—подумала Елена:—грѣшно и вспоминать о прошломъ!»

— Такъ и быть,—сказала она:—не сниму кокошникъ, только подойди сюда, моя Пашенька, я тебѣ заплету косу, какъ, бывало, мнѣ заплетали.

Пашенька, краснѣя отъ удовольствія, стала на колѣни передъ боярыней. Елена распустила ей волосы, раздѣлила ихъ на равныя дѣлянки и начала заплетать широкую русую косу въ девяносто прядей. Много требовало на то умѣнья. Надо было плести какъ можно слабѣе, чтобы коса, подобно рѣшеткѣ, закрывала весь затылокъ и потомъ падала вдоль спины, суживаясь непримѣтно. Елена прилежно принялась за дѣло. Перекладывая пряди, она искусно перевивала ихъ жемчужными нитками.

Наконецъ коса поспѣла. Боярыня ввязала въ кончикъ треугольный косникъ и насадила на него дорогіе перстни.

— Готово, Пашенька,—сказала она, радуясь своей работѣ:—встань-ка, да пройдишь передо мною. Ну, смотрите, дѣвушки, не правда ли, эта коса красивѣе кокошника!

— Все въ свою пору, боярыня,—отвѣчали, смѣясь, дѣвушки:—а вотъ Дуняша не прочь бы и отъ кокошника!

— Полноте вы, пересмѣшницы!—отвѣчала Дуняша.—Мнѣ бы хотя вѣкъ косы не расплетать! А вотъ знаю я такихъ, что глазъ не сводятъ съ боярскаго ключника!

Дѣвушки залились звонкимъ смѣхомъ, а инья смѣшались и покраснѣли. Видно, ключникъ былъ въ самомъ дѣлѣ молодецъ.

— Нагнись, Пашенька,—сказала боярыня:—я тебѣ повяжу еще ленту съ поднизями... Дѣвушки, да вѣдь сегодня Ивана-Купала, сегодня и русалки косы заплетаютъ!

— Не сегодня, боярыня, а въ Семикъ и Троицынъ день заплетаютъ русалки косы. На Ивана-Купала онѣ бѣгаютъ съ распущенными волосами и отманиваютъ людей отъ парторника, чтобы кто не сорвалъ его цвѣта.

— Богъ съ ними, — сказала Пашенька: — мало ли что бываетъ въ Ивановъ день, не приведи Богъ увидѣть!

— А ты боишься русалокъ, Пашенька?

— Какъ ихъ не бояться! Сегодня и въ лѣсъ ходить страшно, все равно, что въ Троицынъ день или на русальную недѣлю. Дѣвушку защекочутъ, молодца любовью изсушатъ!

— Говоришь, а сама не знаешь!—перебила ее другая дѣвушка.—Какія подъ Москвой русалки! Здѣсь ихъ нѣтъ и заводу. Вотъ на Украинѣ, тамъ другое дѣло: тамъ русалокъ гибель. Сказываютъ, не одного добраго молодца съ ума свели. Стоить только разъ увидѣть русалку, такъ до смерти все по ней тосковать будешь; коли женатый—бросишь жену и дѣтей, коли холостой—забудешь свою лапушку.

Елена задумалась.

— Дѣвушки,—сказала она, помолчавъ:—что, въ Литвѣ есть русалки?

— Тамъ-то ихъ самая родина; что на Украинѣ, что въ Литвѣ—то все одно...

Елена вздохнула. Въ эту минуту послышался конскій топотъ, и бѣлая шапка Серебрянаго показалась надъ частоколомъ.

Увидя мужчину, Елена хотѣла скрыться, но, бросивъ еще взглядъ на всадника, она вдругъ стала какъ вкопанная. Князь также остановилъ коня. Онъ не вѣрилъ глазамъ своимъ. Тысяча мыслей въ одно мгновение втѣснились въ его голову, одна другой противорѣча. Онъ видѣлъ предъ собой Елену, дочь Плещеева-Очнина, ту самую, которую онъ любилъ и которая клялась ему въ любви пять лѣтъ тому назадъ. Но какимъ случаемъ она попала въ садъ къ боярину Морозову?

Тутъ только Никита Романовичъ замѣтилъ на головѣ Елены жемчужный кокошникъ и поблѣднѣлъ.

Она была замужемъ!

«Брежу ли я?—подумалъ онъ, вперивъ въ нее неподвижный, какъ будто испуганный взглядъ.—Во снѣ ли это вижу?»

— Дѣвушки!—упрашивала Елена:—отойдите, я позову васъ,—отойдите немного, оставьте меня одну! Боже мой, Боже мой! Пресвятая Богородица! Что мнѣ дѣлать? Что сказать мнѣ?

Серебряный между тѣмъ оправился.

— Елена Дмитріевна,—произнесъ онъ рѣшительно:—отвѣчай мнѣ единымъ словомъ: ты замужемъ? Это не обманъ? Не шутка? Ты точно замужемъ?

Елена въ отчаяніи искала словъ и не находила ихъ.

— Отвѣчай мнѣ, Елена Дмитріевна, не морочь меня долѣе, теперь не святки!

— Выслушай меня, Никита Романычъ,—прошептала Елена.

Князь задрожалъ.

— Нечего мнѣ слушать,—сказалъ онъ:—я все понялъ. Не трать рѣчей понапрасну; прости, боярыня!

И онъ рванулъ коня назадъ.

— Никита Романычъ!—вскричала Елена:—молю тебя Христомъ и Пречистою Его Матерью, выслушай меня! Убей меня послѣ, но сперва выслушай!

Она не въ силахъ была продолжать; голосъ ея замеръ; колѣни опустились на дерновую скамью; она протянула умоляющія руки къ Серебряному.

Судорога пробѣгала по всѣмъ членамъ князя, но жалость зашевелилась въ его сердцѣ. Онъ остановился.

Елена, задыхаясь отъ слезъ, стала рассказывать, какъ преслѣдовалъ ее Вяземскій, какъ наконецъ царь взялся ее сосватать за своего любимца, и какъ она въ отчаяніи отдалась старому Морозову. Прерывая рассказъ свой рыданіями, она винилась въ невольной измѣнѣ, говорила, что должна бы скорѣе наложить на себя руки, чѣмъ выйти за другого, и проклинала свое малодушіе.

— Ты не можешь меня любить, князь,—говорила она:—не написано тебѣ любить меня! Но обѣщай мнѣ, что не проклянешь меня; скажи, что прощаешь меня въ великой винѣ моей!

Князь слушалъ, нахмуря брови, но не отвѣчалъ ничего.

— Никита Романычъ,—прошептала Елена боязливо:—ради Христа, вымолви хоть словечко!

И она устремила на него глаза, полные страха и ожиданія, и вся душа ея обратилась въ краснорѣчивый умоляющій взоръ.

Сильная борьба происходила въ Серебряномъ.

— Боярыня,—сказалъ онъ наконецъ, и голосъ его дрожалъ:—видно, на то была воля Божія... и ты не такъ виновата... да, ты не виновата... нѣ за что прощать тебя, Елена Дмитриевна, я не клянупо тебя,—нѣтъ,—видитъ Богъ, не клянупо—видитъ Богъ, я... я попрежнему люблю тебя!

Слова эти вырвались у князя сами собою.

Елена вскрикнула, зарыдала и кинулась къ частоколу.

Въ тотъ же мигъ князь поднялся на стременахъ и схватился за колья ограды. Елена, съ другой стороны, уже стояла на скамьѣ. Безъ размышленія, безъ самосознанія, они бросились другъ къ другу, и уста ихъ соединились.

Поцѣловала Елена Дмитриевна молодого боярина! Обманула жена лукавая мужа стараго! Забыла клятву, что дала передъ Господомъ! Какъ покажется она теперь Дружинѣ Андреичу? Догадается онъ обо всемъ по глазамъ ея. И не таковъ онъ мужъ, чтобъ простилъ ее! Не дорога жизнь боярину, дорога ему честь его! Убьетъ онъ, старый, убьетъ и жену и Никиту Романыча!

ГЛАВА VI.

Пріемъ.

Морозовъ зналъ князя еще ребенкомъ, по они давно потеряли другъ друга изъ виду. Когда Серебряный отправился въ Литву, Морозовъ воеводствовалъ гдѣ-то далеко; они не видались болѣе десяти лѣтъ, но Дружина Андреевичъ мало перемѣнился, онъ былъ бодръ попрежнему, и князь съ перваго взгляда вездѣ бы узналъ его, ибо старый бояринъ принадлежалъ къ числу тѣхъ людей, которыхъ личность глубоко врѣзывается въ памяти. Одинъ ростъ и дородность его уже привлекали вниманіе. Онъ былъ цѣлою головой выше Серебрянаго. Темно-русые волосы, съ сильною просѣдью, падали въ безпорядкѣ на умный лобъ его, разсѣченный нѣсколькими шрамами. Окладистая борода, почти совсѣмъ сѣдая, покрывала половинну груди. Изъ-подъ темныхъ навислыхъ бровей сверкалъ пронизательный взглядъ, а вокругъ устъ играла привѣтливая улыбка, сквозь которую просвѣчивало то, что въ просторѣчи называется: себѣ на умѣ. Въ его пріемахъ, въ осанистой поступи было что-то львиное, какая-то особенно спокойная важность, достоинство, неторопливость и увѣренность въ самомъ себѣ. Глядя на него, всякій сказалъ бы: хорошо быть въ ладу съ этимъ человѣкомъ! И вмѣ-

стѣ съ тѣмъ всякій подумалъ бы: нехорошо съ нимъ поссориться! Дѣйствительно, всматриваясь въ черты Морозова, легко было догадаться, что спокойное лицо его можетъ въ минуту гнѣва сдѣлаться страшнымъ. Но привѣтливая улыбка и открытое, неподдѣльное радушіе скоро изглаживали это впечатлѣніе.

— Здравствуй, князь, здравствуй, гость дорогой! Добро пожаловать!—сказалъ Морозовъ, вводя Серебрянаго въ большую брусяную избу, съ изразцовой лежанкой, съ длинными дубовыми лавками, съ драгоценнымъ оружіемъ на стѣнахъ и со множествомъ золотой и серебряной посуды, красиво установленной на широкихъ полкахъ.

— Здравствуй, здравствуй, князь! Вотъ какого гостя мнѣ Богъ подарилъ! А вѣдь помню я тебя, Никитушка, еще маленькаго! Охъ, удалъ же ты былъ, нечего сказать! Какъ, бывало, начнутъ ребята въ городки играть, бѣда той сторонѣ, что супротивъ тебя! Разлетишься словно соколъ ясный, да какъ расходишься въ тебѣ кровь молодая, такъ, бывало, разолишься, словно медвѣжонокъ,—прости, Никита Романычъ, грубое слово! Такъ и начнешь валять,—кого направо, кого налево,—смотрѣть даже весело! Ну да и вышелъ же молодецъ изъ тебя, князь! Слыхалъ я про дѣла твои въ Литовской землѣ! Каталъ же ты ихъ, супостатовъ, какъ прежде ребятъ каталъ!

И Морозовъ весело улыбался, и львиное лицо его сіяло радушіемъ.

— А помнишь ли, Никитушка,—продолжалъ онъ, обнявъ князя одной рукой за плечи:—помнишь ли, какъ ты ни въ какой игрѣ обмана не терпѣлъ? Бороться ли съ кѣмъ начнешь, али на кулачкахъ биться, скорѣй давишь себя на землю свалить, чѣмъ подъ-ножку подставишь или что противъ уговора сдѣлаешь. Все, бывало, снесешь, а ужъ лукавства ни себѣ ни другимъ не позволишь!

Князю сдѣлалось неловко въ присутствіи Морозова.

— Бояринъ,—сказалъ онъ:—вотъ грамота къ тебѣ отъ князя Пронскаго.

— Спасибо, князь. Послѣ прочту: время терпѣть; теперь дай угостить тебя! Да гдѣ же Елена Дмитриевна? Эй, кто тамъ! Скажите женѣ, что у насъ гость дорогой, князь Никита Романычъ Серебряный, чтобы сошла поточевать!

Тихо и плавно вошла Елена съ подносомъ въ рукахъ. На подносѣ были кубки съ разными винами. Елена низко

поклонилась Серебряному, какъ будто въ первый разъ его видѣла. Она была какъ смерть блѣдна.

— Князь,—сказаль Морозовъ:— это моя хозяйка, Елена Дмитриевна! Люби и жалуй ее. Вѣдь ты, Никита Романычъ, намъ почитай родной. Твой отецъ и я, мы были словно братья, такъ и жена моя тебѣ не чужая. Кланяйся, Елена, проси боярина! Кушай, князь, не брезгай нашей хлѣбомъ-солью! Чѣмъ богаты, тѣмъ и рады! Вотъ романея, вотъ венгерское, вотъ медъ малиновый, сама хозяйка на ягодахъ сытила!

Морозовъ низко кланялся.

Князь отвѣчалъ обоимъ поклонами и осушилъ кубокъ.

Елена не взглянула на Серебрянаго. Длинные рѣсницы ея были опущены. Она дрожала, и кубки на подносѣ звенѣли одинъ о другой.

— Что съ тобой, Елена?—сказаль вдругъ Морозовъ:— ужъ не больна ли ты? Лицо твое словно снѣгъ поблѣло! Олѣнушка,—прибавиль онъ шопотомъ:—ужъ не олять ли проѣзжалъ Вяземскій? Такъ! должно-быть, этотъ окаянный проѣзжалъ мимо саду! Не кручинься, Елена. Въ томъ нѣтъ твоей вины. Безъ меня не ходи лучше въ садъ; да утѣшься, мое дитятко, я не дамъ тебя никому въ обиду! Улыбнись скорѣй, будь веселѣй, а то гость замѣтитъ... Извини, Никита Романычъ, извини, захлопотался, говорилъ вотъ женѣ, чтобы велѣла тебѣ кушать подать поскорѣе. Вѣдь ты не обѣдалъ, князь?

— Благодарю, бояринъ, обѣдалъ.

— Нужды нѣтъ, Никита Романычъ, еще разъ пообѣдаешь!.. Ступай, Елена, ступай, похлопочи! А ты, бояринъ, закуси чѣмъ Богъ послалъ, не обидь старика опального! И безъ того мнѣ горя довольно!

Морозовъ указаль на свои длинные волосы.

— Вижу, бояринъ, вижу и очамъ вѣры нейму! Ты подъ опалю! За что? Прости вопросъ нескромный.

Морозовъ вздохнулъ.

— За то, что держусь стараго обычая, берегу честь боярскую да не кланяюсь новымъ людямъ!

При этихъ словахъ лицо его омрачилось, и глаза приняли суровое выраженіе.

Онъ разсказаль о ссорѣ своей съ Годуновымъ, горько жалуясь на несправедливость царя.

— Многое, князь, многое стало на Москвѣ не такъ,

какъ было, съ тѣхъ поръ, какъ учинилъ государь на Руси опричнину!

— Да что это за опричнина, бояринъ? Встрѣчалъ я опричниковъ, только въ толкъ не возьму!

— Прогнѣвили мы, видно, Бога, Никита Романычъ; по-мрачилъ Онъ свѣтлыя царскія очи! Какъ возложили клеветники измѣну на Сильвестра да на Адашева, какъ прогналъ ихъ отъ себя царь, прошли наши красные дни! Зачалъ вдругъ Иванъ Васильевичъ на насъ мнѣнїе держать, на насъ, вѣрныхъ слугъ своихъ! Зачалъ толковать про измѣны, про заговоры, чего и въ мысль чело-вѣку не вмѣстится! А новые-то люди обрадовались, да и давай ему шептать на боярѣ, кто по-насердкѣ, кто чая себѣ милости, и ко всѣмъ сталъ онъ приклонять слухъ свой. У кого была какая вражда, тотъ и давай доводить на недруга, будто онъ слова про царя говорилъ, будто хана или короля подымааетъ. И въ томъ они, окаянные, не бояся страшнаго суда Божія, и крестъ на кривѣ цѣловали и руки въ письмахъ лживили! Много безвинныхъ людей вожено въ темницы, Никита Романычъ, и съ очныхъ ставокъ пытано. Кто только хотѣлъ, тотъ и сказывалъ за собою государево слово. Прежде, бывало, коли кто донесъ на тебя, тотъ и очищай самъ свою улику; а теперь, — какая у него ни будь рознь въ словахъ, — берутъ тебя и пытаются по одной язычной молвкѣ! Трудное настало время, Никита Романычъ. Такой ужасъ отъ царя, какого искони еще не видано! Послѣ пытокъ пошли казни! И кого же казнили!.. Но ты, князь, уже, можетъ, слыхалъ про это?

— Слыхалъ, бояринъ, но глухо. Нескоро вѣсти доходятъ до Литвы. Впрочемъ, чему дивиться? Царь воленъ казнить своихъ злодѣевъ.

— Кто противъ этого, князь! На то онъ царь, чтобы карать и миловать. Только то больно, что не злодѣевъ казнили, а все вѣрныхъ слугъ государевыхъ: окольничаго, Адашева (Алексѣева брата) съ малолѣтнимъ сыномъ; трехъ Сатиныхъ; Ивана Шишкина съ женою да съ дѣтьми, да еще многихъ другихъ безвинныхъ.

Негодование выразилось на лицѣ Серебрянаго.

— Бояринъ, въ этомъ, знать, не царь виновенъ, а наушники его!

— Охъ, князь! Горько вымолвить, страшно подумать! Не по однимъ навѣтамъ наушническимъ сталъ царь проливать кровь неповинную. Вотъ хоть бы Басмановъ, но

вый кравчій царскій, билъ челомъ государю на князя Оболенскаго-Овчину въ какомъ-то непригожемъ словѣ. Что-жъ сдѣлалъ царь? За обѣдомъ своею рукою вонзилъ князю поожъ въ сердце!

— Бояринъ! — вскричалъ Серебряный, вскакивая съ мѣста: — если бы мнѣ кто другой сказалъ это, я назвалъ бы его клеветникомъ! Я бы самъ наложилъ руки на него!

— Никита Романычъ, старъ я клеветать. И на кого же? На государя моего!

— Прости, бояринъ. Но что же думать о такой перемѣнѣ? Ужъ не обошли ли царя?

— Должно-быть, князь. Но садись, слушай далѣе. Въ другой разъ Иванъ Васильевичъ, упившись, началъ (и подумать страшно!) съ своими любимцами въ личинахъ плясать. Тутъ былъ бояринъ князь Михайло Репнинъ. Онъ заплакалъ съ горести. Царь давай и на него личину надѣвать. «Нѣтъ! — сказалъ Репнинъ: — не бывать тому, чтобъ я посрамилъ санъ свой боярскій!» и растопталъ личину ногами. Дней пять спустя, убить онъ по царскому указу во храмѣ Божіемъ.

— Бояринъ! Это Богъ насъ караетъ!

— Да будетъ же надъ нами Его святая воля, князь. Но слушай далѣе. Казнямъ не было конца. Что день, то кровь текла и на лобномъ мѣстѣ, и въ тюрьмахъ, и въ монастыряхъ. Что день, то хватали боярскихъ холопей и возили въ застѣнокъ. Многіе винулись съ огня и говорили со страху на бояръ своихъ. Тѣ же, которые, не хотя отдать души во дно адово, очищали бояръ, тѣхъ самихъ предавали смерти. Многіе потерпѣли въ правдѣ, многіе пріяли вѣнецъ мученическій, Никита Романычъ! Временемъ царь какъ будто приходилъ вѣ себя, и каялся, и молился, и плакалъ, и самъ назывался смертнымъ убійцею и сыроядцемъ. Разсылалъ вклады въ разные монастыри и приказывалъ панихиды по убитымъ. Каялся Иванъ Васильевичъ, но недолго, и что же придумалъ? Слушай, князь. Просыпаюсь я разъ утромъ, вижу великое смятенье. Разсыпался народъ по улицамъ: кто бѣжитъ къ Кремлю, кто отъ Кремля. Всѣ голосятъ: «уѣзжаетъ государь невѣдомо куда!» Такъ меня холодомъ и обдало! Надѣваю платье, сажусь на-конь; со всѣхъ мѣстъ бояре спѣшатъ ко Кремлю, кто верхомъ, кто самъ о себѣ, словно простой человѣкъ, даже никто о чести своей не думаетъ! Добрались до Иверскихъ воротъ, видимъ — ратники вы-

ѣзжаютъ; народъ передъ ними такъ и раздается. За ратниками сани, въ нихъ царь съ царицею и съ царевичемъ. За царскими санями многое множество саней, а въ нихъ всѣ пожитки, вся казна, весь обиходъ царскій; за санями окольничьи и дворяне, и приказные, и воинскіе, и всякихъ чиновъ люди—всѣ выѣзжаютъ изъ Кремля. Бросились мы было къ царскимъ санямъ, да не допустили насъ ратники, говорятъ: не велѣлъ государь! И потянулся поѣздъ вдоль по Москвѣ, и выѣхалъ за посады.

Воротились мы въ дома и долго ждали, не передумаетъ ли царь, не вернется ли? Проходить недѣля, получаетъ высокопреосвященный грамоту: пишетъ государь, что я-де отъ великой жалости сердца, не хотя вашихъ измѣнныхъ дѣлъ терпѣть, оставляю мои государства и ѣду-де, куда Богъ укажетъ путь мнѣ! Какъ пронеслася эта вѣсть, зачался вопль на Москвѣ: бросилъ насъ батюшка-царь! Кто теперь будетъ надъ нами государить?

Нечего правды таить, грозень былъ Иванъ Васильевичъ, да вѣдь самъ Богъ поставилъ его надъ нами, и видно, по Божьей волѣ, для очищенія грѣховъ нашихъ, каралъ онъ насъ. Собралися мы въ думѣ и порѣшили ѣхать всѣ съ своими головами за государемъ, бить ему челомъ и плакаться. Узнали мы, что остановился царь въ Александровей слободѣ, а будетъ та слобода отсюда за восемьдесятъ слишкомъ верстъ. Помолившіяся Богу, поѣхали. Какъ завидѣли издали слободу, остановились, еще разъ помолились: страшно стало: не то страшно, что прикажетъ царь смерти предать, а то, что не допуститъ предъ свои очи. Только ничего не случилось. Допустилъ насъ царь. Какъ вошли мы, такъ, вѣришь ли, бояринъ, не узнали Ивана Васильевича! И лицо-то будто не его; и волосы и борода почитай совсѣмъ вылѣзли. Чтѣ съ нимъ случилось? И царь и не царь! Долго говорилъ онъ съ нами: корилъ насъ въ небывалыхъ измѣнахъ, высчитывалъ намъ наши вины, которыхъ мы не вѣдали за собою, и наконецъ сказалъ, что я-де только по упросу богомольцевъ моихъ, еписконовъ, беру паки мои государства, но и то на уговорѣ. Пожаловалъ насъ къ рукѣ и отпустилъ.

— А какой же уговоръ онъ прочилъ себѣ?—спросилъ Серебряный.

— А вотъ увидишь, князь; слушай: прошло недѣли три, прибылъ Иванъ Васильевичъ на Москву. Настала радость великая, такая радость, что и въ Свѣтлое Хри-

ство воскресенье не бывает такой. Вотъ созвалъ онъ въ думу и насъ и духовенство. А когда собралися мы, объявилъ намъ, что я-де съ тѣмъ только принимаю государство, чтобы казнить моихъ злодѣевъ, класть мою опалу на измѣнниковъ, имать ихъ остатки и животы, и чтобы ни отъ митрополита ни отъ влостей не было миѣ бездѣльной доуки о милости. Беру-де себѣ, говорить, опасную стражу и беру на свой особый обиходъ разные города и пригородки и на самой Москвѣ разные улицы. И тѣ города и улицы и свою особную стражу называю, говорить, опричниной, а все достальное—то земщина. А боярамъ-де и митрополиту со властями въ мой домовый особый обиходъ не вступаться. И на томъ, говорить, беру мои государства!—Съ этого дня началъ онъ новыхъ людей набирать, да все такихъ, чтобы не были знатнаго роду, да чтобы цѣловали крестъ не вести хлѣба-соли съ боярами. Отдалъ имъ всю землю, всѣ дома и все добро, что отрѣзалъ на свой обиходъ; а старыхъ вотчинниковъ, тысячъ примѣтно съ двѣнадцать, выгналъ изъ опричнины словно животину. Право, Никита Романычъ, вѣдь своими глазами видѣлъ, а доселѣ не вѣрится! Ъзять теперь по святой Руси ихъ дьявольскіе, кровоядные полки съ мечами да съ песьими головами; топчуть правду, выметають не измѣну, но честь русскую; грызуть не враговъ государевыхъ, а вѣрныхъ слугъ его, и нѣтъ на нихъ ни гдѣ ни суда ни расправы!

— Да зачѣмъ же вы согласились на этотъ уговоръ?— замѣтилъ Серебряный.

— Чтѣ ты, князь? Развѣ царю можно указывать? Развѣ онъ не отъ Бога?

— Вѣстимо, отъ Бога. Да вѣдь онъ самъ же спрашивалъ васъ? Зачѣмъ вы не сказали ему, что не хотите опричнины?

— А кабы онъ опять уѣхалъ? Чтѣ бы тогда? Безъ государя было оставаться, что ли? А народъ чтѣ бы сказалъ?

Серебряный задумался.

— Такъ, — проговорилъ онъ, немного помолчавъ:— нельзя было быть безъ государя. Только теперь-то чего вы ждете? Зачѣмъ не скажете ему, что отъ опричнины вся земля гибнетъ? Зачѣмъ смотрите на все да молчите?

— Я-то, князь, не молчу,—отвѣчалъ Морозовъ съ достоинствомъ.—Я никогда не таилъ моей мысли; оттого-то

я теперь и подь опалой. Позови меня царь къ себѣ, я не стану молчать, только онъ не позоветъ меня. Нашихъ теперь ужъ нѣтъ у него въ приближеніи. Посмотри-ка, кѣмъ окружилъ онъ себя? Какіе древніе роды около него? Нѣтъ древнихъ родовъ! Все подлые страдники, которыхъ отцы нашимъ отцамъ въ холопство-бъ не пригожались! Бери хоть любого на выдержку: Басмановы, отецъ и сынъ—ужъ не знаю, который будетъ гнусиѣ; Малюта Скуратовъ—невѣсть мясникъ, невѣсть звѣрь кѣкой, вѣчно кровью обрызганъ; Васька Грязной—ему всякое студное дѣло ни по чемъ! Борисъ Годуновъ—этотъ и отца и мать продастъ, да еще и дѣтей дастъ въ придачу, лишь бы повыше взобратся; всадитъ тебѣ ножъ въ горло, да еще и поклонится. Одинъ только и есть тамъ высокаго роду—князь Аванасій Вяземскій. Опозорилъ онъ и себя и насъ всѣхъ, окаанный! Ну да что про него!

Морозовъ махнулъ рукой. Другія мысли заняли старика. Задумался и Серебряный. Задумался онъ о страшной перемѣнѣ въ царѣ и забылъ на время объ отношеніяхъ, въ которыя судьба поставила его къ Морозову.

Между тѣмъ слуги накрыли на столъ.

Несмотря ни на какія отговорки, Дружина Андреевичъ принудилъ своего гостя отвѣдать многочисленныхъ блюдъ: студеной разнаго рода, жаркихъ, похлебокъ, кулебякъ и буженины. А когда поставили передъ ними разные напитки, Морозовъ налилъ себѣ и князю по стопѣ малвазіи, всталъ изъ-за стола, откинулъ назадъ свои опальные волосы и сказалъ, поднявъ высоко стопу:

— Во здравіе великаго государя нашего, царя Ивана Васильевича!

— Просвѣти его Богъ! Открой ему очи!—отвѣчалъ Серебряный, осушая стопу, и оба перекрестились.

Елена не показывалась во время стола и не присутствовала при разговорѣ бояръ.

Многое еще рассказывалъ Морозовъ про дѣла государственныхъ, про нападенія крымцевъ на рязанскія земли, спрашивалъ Серебрянаго о литовской войнѣ и горько осуждалъ Курбскаго за бѣгство его къ королю. Князь отвѣчалъ подробно на всѣ вопросы и наконецъ рассказывалъ про схватку свою съ опричниками въ деревнѣ Медвѣдкѣ, про ссору съ ними въ Москвѣ и про встрѣчу съ юродивымъ, не рѣшившись, впрочемъ, упомянуть о темныхъ словахъ послѣдняго.

Морозовъ выслушалъ его съ большимъ вниманіемъ.

— Плохо, князь,—сказалъ онъ, почесывая крутой лобъ свой:—больно плохо. Что они грабежъ въ той деревнѣ чинили, тому нечего дивиться: деревня-то, вишь, моя, а которая вотчина опальнаго боярина, ту теперь всякому вольно грабить. Дѣло знакомое: чтѣ можно взять—беруть, чего же не поднимуть, то огнемъ палать; рогатый животъ на-смерть колютъ. Это теперь ихъ обычай. А юродиваго-то я знаю. Онъ подлинно Божій человекъ. Не тебя одного онъ при первой встрѣчѣ по имени назвалъ; онъ всякаго словно насквозь видитъ. Его и царь боится. Сколько разъ онъ Ивана Васильевича въ глаза уличалъ. Побольше бы такихъ святыхъ людей, такъ, пожалуй, и опричнины-то не было бы! Скажи, князь,—продолжалъ Морозовъ:—когда хотѣлъ ты здравствовать государю?

— Завтра, чѣмъ свѣтъ, какъ выйдетъ его милость изъ опочивальни.

— Чтѣ ты, князь? Теперь ужъ смерклось, а тебѣ слишкомъ сто верстъ ѣхать!

— Какъ? Развѣ царь не въ Кремлѣ?

— Нѣтъ, князь, не въ Кремлѣ. Прогнѣвили мы Господа, бросилъ насъ государь, воротился въ Александрову слободу, живетъ тамъ со своими поплечниками, не было-бъ имъ ни дна ни покрышки.

— Коли такъ, то прости, бояринъ, надо спѣшить. Я еще и дома не былъ. Осмотрю немного, а завтра чѣмъ свѣтъ отправлюсь въ слободу.

— Не ѣзди, князь!

— Отчего, бояринъ?

— Не снести тебѣ головы, Никита Романычъ.

— На то Божья воля, бояринъ; чтѣ будетъ, тѣ будетъ!

— Послушай, Никита Романычъ. Вѣдь ты меня забывъ, а я помню тебя еще маленькаго. Отецъ твой покойный жилъ со мной рука въ руку, душа въ душу. Умеръ онъ, царствіе ему небесное; некому остеречь тебя, некому тебѣ совѣта подать, а не завидна твоя доля, видитъ Богъ—не завидна! Коли поѣдешь въ слободу, пропадъ ты, князь, съ головою пропадъ.

— Что-жъ, бояринъ, видно, мнѣ такъ на роду написано!

— Никитушка, останься; я тебя схороню. Никто тебя не същеть; холопи мои тебя не выдадутъ; ты будешь у меня въ домѣ какъ сынъ родной!

— Бояринъ, вспомни, чтѣ ты самъ говорилъ про Курб-

скаго. Не честно русскому боярину прятаться отъ царя своего.

— Никита Романычъ, Курбскій—измѣнникъ. Онъ ушелъ ко врагу государеву; а я кто же? Развѣ я врагъ государевъ?

— Прости, бояринъ, прости необдуманное слово, но чему быть, того не миновать!

— Кабы ты, Никитушка, остался у меня, можетъ, и простылъ бы гнѣвъ царскій, можетъ, мы съ высокопреосвященнымъ и уладили-бъ твое дѣло, а теперь ты попадешь какъ смола на уголья!

— Жизнь наша въ рукѣ Божіей, бояринъ. Непригоже стараться продлить ее хитростью болѣ, чѣмъ Богу угодно. Спасибо за хлѣбъ-соль, — прибавилъ Серебряный, вставая:—спасибо за дружбу (при этихъ словахъ онъ невольно смутился), но я поѣду. Прости, Дружина Андреичъ!

Морозовъ посмотрѣлъ на князя съ грустнымъ участіемъ, но видно было, что внутри души своей онъ его одобряетъ и что самъ не поступилъ бы иначе, если бы былъ на его мѣстѣ.

— Да будетъ же надъ тобою благословеніе Божіе, Никита Романычъ!—сказалъ онъ, поднимаясь со скамьи и обнимая князя:—да умягчитъ Господь сердце царское! Да вернешься ты невредимъ изъ слободы, какъ отрокъ изъ печи пламенной, и да обниму тебя тогда, какъ теперь обнимаю, отъ всего сердца, отъ всей души!

Пословица говорится: пѣшаго до воротъ, коннаго до коня провожаютъ. Князь и бояринъ разстались на порогѣ сѣней. Было уже темно. Проѣзжая вдоль частокола, Серебряный увидѣлъ въ саду бѣлое платье. Сердце его забилось. Онъ остановилъ коня. Къ частоколу подошла Елена.

— Князь,—сказала она шопотомъ:—я слышала твой разговоръ съ Дружиной Андреичемъ, ты ѣдешь въ слободу... Боже сохрани тебя, князь, — ты ѣдешь на смерть!

— Елена Дмитріевна! Видно, такъ угодно Господу, чтобы пріялъ я смерть отъ царя. Не на радость вернулся я на родину, не судилъ мнѣ Господь счастья, не мнѣ ты досталась, Елена Дмитріевна! Пусть же надо мной воля Божія!

— Князь, они тебя замучать! Мнѣ страшно подумать!.. Боже мой, ужели жизнь тебѣ вовсе постыла?

— Пропадай она!— сказалъ Серебряный и махнулъ рукой.

— Пресвятая Богородица! Коли ты себя не жалѣешь, пожалѣй хоть другихъ! Пожалѣй хоть меня, Никита Романычъ! Вспомни, какъ ты любилъ меня!

Мѣсяць вышелъ изъ-за облака. Лицо Елены, ея жемчужный кокошникъ, ожерелье и алмазныя серьги, ея глаза, полные слезъ, озарились чудеснымъ блескомъ. Еще плакала Елена, но уже готова была сквозь слезы улыбнуться. Одно слово князя обратило бы ея печаль въ безпредѣльную радость. Она забыла о мужѣ, забыла всю осторожность. Серебряный прочелъ въ ея глазахъ такую любовь, такую тоску, что невольно поколебался. Счастье было для него навѣки потеряно. Елена принадлежала другому, но она любила одного Серебрянаго. Для чего бы ему не остаться, не отложить поѣздки въ слободу? Не самъ ли Морозовъ его упрасивалъ?

Такъ мыслилъ князь, и очаровательныя картины рисовались въ его воображеніи, но чувство чести, на мигъ уснувшее, внезапно пробудилось.

«Нѣтъ,—подумалъ онъ:—да будетъ мнѣ стыдно, если я хотя мыслю оскорблю друга моего отца! Одинъ безчестный платить за хлѣбъ-соль обманомъ, одинъ трусъ бѣжитъ отъ смерти!»

— Мнѣ нельзя не ѣхать,—сказалъ онъ рѣшительно.— Не могу хорониться одинъ отъ царя моего, когда лучшіе люди гибнуть. Прости, Елена!

Слова эти какъ ножъ вонзились въ сердце боярыни. Она въ отчаяніи ударилась ѡ-земь.

— Разступись же подо мной, мать сыра земля!— простонала она:—не жилица я на бѣломъ свѣтѣ. Наложу на себя руки, изведу себя отравой! Не переживу тебя, Никита Романычъ! Я люблю тебя болѣ жизни, болѣ свѣту. Божьяго! Я никого кромѣ тебя не люблю и любить не буду!

Сердце Серебрянаго надрывалось. Онъ хотѣлъ утѣшить Елену, но она рыдала все громче. Люди могли ее услышать, подсмотрѣть князя и донести боярину. Серебряный это понималъ и, чтобы спасти Елену, рѣшился отъ нея оторваться.

— Елена, прости!—сказалъ онъ:—прости, душа, радость дней моихъ! Уйми свои слезы! Богъ милостивъ, авось мы еще увидимся!

Облака задержали мѣсяць, вѣтеръ потрясъ вершины

лишь, и благовоннымъ дождемъ посыпались цвѣты на князя и на Елену. Закачались старыя вѣтви, будто желая сказать: на кого намъ цвѣсти, на кого зеленѣть! Пропадетъ даромъ добрый молодецъ, пропадетъ и его любовница!

Оглянувшись послѣдній разъ на Елену, Серебряный увидѣлъ за нею, въ глубинѣ сада, темный человѣческій образъ. Почудилось ли то князю, или слуга какой проходилъ по саду, или ужъ не былъ ли то самъ бояринъ Дружина Андреевичъ?

ГЛАВА VII.

Александрова слобода.

Дорога отъ Москвы до Троицкой лавры, а отъ лавры до Александровой слободы представляла самую живую картину. Безпрестанно скакали по ней царскіе гонцы; толпы людей всѣхъ сословій шли пѣшкомъ на богомолье; отряды опричниковъ спѣшили взадъ и впередъ; сокольники отправлялись изъ слободы въ разныя деревни за живыми голубями; купцы тащились съ товарами, сидя на возахъ или провожая верхомъ длинные обозы. Проходили толпы скомороховъ съ гудками, волынками и балалайками. Они были одѣты пестро, вели съ собой ручныхъ медвѣдей, пѣли пѣсни или просили у богатыхъ проѣзжихъ.

— Пожалѣйте, государи; насъ!—говорили они на всѣ голоса:—вамъ Господь далъ и вотчины и всякое достояніе, а намъ указалъ питаться вашею подачей, такъ не оставьте насъ, скудныхъ людей, государи!

— Отцы наши, батюшки!—пѣли иные протяжно, сидя у самой дороги:—дай вамъ Господи доброе здоровье! Донеси васъ Богъ до Сергія-Троицы!

Другіе прибавляли къ этимъ словамъ разныя прибаутки, такъ что иной проѣзжій въ награду за веселое слово бросалъ имъ цѣлый корабленникъ.

Нерѣдко у скомороховъ случались драки съ толпами оборванныхъ нищихъ, которые изъ городовъ и монастырей спѣшили въ слободу поживиться царской милостыней.

Проходили также слѣпые гусяры и сказочники съ гусями на плечахъ и держась одинъ за другого.

Все это шумѣло, пѣло, ругалось. Лошади, люди, медвѣди—ржали, кричали, ревѣли. Дорога шла густымъ лѣсомъ. Несмотря на ея многолюдность, случалось иногда,

что вооруженные разбойники нападали на купцовъ и обирали ихъ дочиста.

Разбой въ окрестностяхъ Москвы особенно умножились съ тѣхъ поръ, какъ опричники выгѣснили цѣлыя села хлѣбопашцевъ, цѣлыя посады мѣщанъ. Лишась жилищъ и хлѣба, люди эти пристали къ шайкамъ станичниковъ, укрѣпились въ засѣкахъ и, по множеству своему, сдѣлались не на шутку опасны. Опричники, поймавъ разбойниковъ, вѣшали ихъ безъ милосердія; зато и разбойники не оставались у нихъ въ долгу, когда случалось имъ поймать опричника. Впрочемъ, не одни разбойники грабили на дорогахъ. Скоморохи и нищіе, заставъ подъ вечеръ плохо оберегаемый обозъ, часто избавляли разбойниковъ отъ хлопотъ. Купцамъ было всего хуже. Ихъ грабили и разбойники, и скоморохи, и нищіе, и пьяные опричники. Но они утѣшались пословицей, что наклади съ барышомъ уголь объ уголь живуть, и не переставали ѣздить въ слободу, говоря: «Богъ милостивъ, авось доѣдемъ». И неизвѣстно, какъ оно случалось, но только на повѣрку всегда выходило, что купцы оставались въ барышахъ.

Въ Троицкой лаврѣ Серебряный исповѣдался и причастился. То же сдѣлали его холопы. Архимандритъ, прощаясь съ Никитой Романовичемъ, благословилъ его, какъ идущаго на вѣрную смерть.

Верстахъ въ трехъ отъ слободы стояла на заставѣ воинская стража и останавливала проѣзжихъ, спрашивая каждаго: кто онъ и зачѣмъ ѣдетъ въ неволю? Этимъ прозваніемъ народъ, въ насмѣшку, замѣнилъ слово: «слобода», значившее въ прежнее время свободу. Серебряный и холопы его также выдержали подробный допросъ о цѣли ихъ пріѣзда. Потомъ начальный человѣкъ отобралъ отъ нихъ оружіе, и четыре опричника сѣли на-конь проводить пріѣзжихъ. Вскорѣ показались вдали крашенныя главы и причудливыя, золоченыя крыши царскаго дворца. Вотъ что говоритъ объ этомъ дворцѣ нашъ историкъ, по свидѣтельству чужеземныхъ современниковъ Іоанна:

«Въ семъ грозно-увеселительномъ жилищѣ Іоаннъ посвящалъ большую часть времени церковной службѣ, чтобы непрестанною дѣятельностью успокоить душу. Онъ хотѣлъ даже обратитъ дворецъ въ монастырь, а любимцевъ своихъ въ иноковъ: выбралъ изъ опричниковъ 300 человѣкъ, самыхъ злѣйшихъ, назвалъ ихъ братією, себя игуменомъ, князя Аванасія Вяземскаго келаремъ, Малюту

Скуратова параклисархомъ; далъ имъ тафьи, или скуфейки, и черныя рясы, подъ коими носили они богатые, золотомъ блестящіе кафтаны, съ собольей опушкою, сочинилъ для нихъ уставъ монашескій и служилъ примѣромъ въ исполненіи онаго. Такъ описываютъ сію монастырскую жизнь Іоаннову. Въ четвертомъ часу утра онъ ходилъ на колокольную съ царевичами и Малютою Скуратовымъ благовѣстити къ заутренѣ; братья спѣшили въ церковь; кто не являлся, того наказывали осьмидневнымъ заключеніемъ. Служба продолжалась до шести или семи часовъ. Царь пѣлъ, читалъ, молился столь ревностно, что на лбу всегда оставались у него знаки крѣпкихъ земныхъ поклоновъ. Въ восемь часовъ опять собирались къ обѣднѣ, а въ десять садились за братскую трапезу—всѣ, кромѣ Іоанна, который, стоя, читалъ вслухъ душевспасительныя наставленія. Между тѣмъ братія ѣли и пили досыта; всякій день казался праздникомъ: не жалѣли ни вина ни меду; остатокъ трапезы выносили изъ дворца на площадь для бѣдныхъ. Игуменъ, то-есть царь, обѣдалъ послѣ, бесѣдовалъ съ любимцами о законѣ, дремалъ или ѣхалъ въ темницу пытать какого-нибудь несчастнаго. Казалось, что сіе ужасное зрѣлище забавляло его; онъ возвращался съ видомъ сердечнаго удовольствія: шутилъ, говаривалъ тогда веселѣе обыкновеннаго. Въ восемь часовъ шли къ вечернѣ; въ десятомъ Іоаннъ уходилъ въ спальню, гдѣ трое слѣпыхъ рассказывали ему сказки; онъ слушалъ ихъ и засыпалъ, но не надолго: въ полночь вставалъ, и день его начинался молитвою. Иногда докладывали ему въ церкви о дѣлахъ государственныхъ; иногда самыя жестокія повелѣнія давалъ Іоаннъ во время заутрени или обѣдни. Единообразіе сей жизни онъ прерывалъ такъ-называемыми объѣздами; посѣщалъ монастыри, и ближніе и дальніе, осматривалъ крѣпости на границѣ, ловилъ дикихъ звѣрей въ лѣсахъ и пустыняхъ; любилъ въ особенности медвѣжью травлю; между тѣмъ вездѣ и всегда занимался дѣлами, ибо земскіе бояре, мнимо-уполномоченные правители государства, не смѣли ничего рѣшать безъ его воли!»

Вѣхавъ въ слободу, Серебряный увидѣлъ, что дворецъ или монастырь государевъ отдѣленъ отъ прочихъ зданій глубокимъ ровомъ и валомъ. Трудно описать великолѣпіе и разнообразіе этой обители. Ни одно окно не походило на другое, ни одинъ столбъ не равнялся съ другимъ узорами

или краской. Множество главъ вѣнчали зданіе. Онѣ тѣснились одна возлѣ другой, громоздились одна на другую, и сквозили, и пузырились. Золото, серебро, цвѣтные изразцы, какъ блестящая чешуя, покрывали дворець съ верху дѣ низу. Когда солнце его освѣщало, нельзя было издали догадаться, дворець ли это, или кустъ цвѣтовъ исполинскихъ, или то жаръ-птицы слетѣлись въ густую стаю и распустили на солнцѣ свои огненные перья.

Недалеко отъ дворца стоялъ печатный дворець съ принадлежащею къ нему словолитней, съ жилищемъ наборщиковъ и съ особымъ помѣщеніемъ для иностранныхъ мастеровъ, выписанныхъ Іоанномъ изъ Англіи и Германіи. Далѣе тянулись безконечныя дворцовыя службы, въ которыхъ жили ключники, подключники, сытники, повара, хлѣбники, конюхи, псары, сокольники и всякіе дворовые люди на всякій обиходъ.

Не малымъ богатствомъ сіяли слободскія церкви. Славный храмъ Богоматери покрытъ былъ снаружи яркою живописью, на каждомъ кирпичѣ блестялъ крестъ, и церковь казалась одѣтою въ золотую сѣтку.

Очаровательный видъ этотъ разогналъ на время черныя мысли, которыя не оставляли Серебрянаго во всю дорогу. Но вскорѣ непріятное зрѣлище напомнило князю его положеніе. Они проѣхали мимо нѣсколькихъ висѣлицъ, стоявшихъ одна подлѣ другой. Тутъ же были срубы съ плахами и готовыми топорами. Срубы и висѣлицы, окрашенные черною краской, были выстроены крѣпко и прочно: не на день, не на годъ, а на многія лѣта!

Какъ ни безстрашенъ бываетъ человѣкъ, онъ никогда не равнодушенъ къ мысли, что его ожидаетъ близкая смерть,—не славная смерть среди стука мечей или грома орудій, но темная и постыдная, отъ рукъ презрѣннаго палача. Видно, Серебряный, проѣзжая мимо мѣста казней, не умѣлъ подавить внутренняго волненія и оно невольно отразилось на впечатлительномъ лицѣ его: вожатые посмотрѣли на князя и усмѣхнулись.

— Это наши качели, бояринъ,—промолвилъ одинъ изъ нихъ, указывая на висѣлицы:—видно, онѣ приглянулись тебѣ, что ты съ нихъ глазъ не сводишь!

Михеичъ, ѣхавшій позади, не сказалъ ничего, но только пошвыстѣлъ и покачалъ головою.

Подѣхавъ къ валу, князь и товарищи его спѣшились и привязали лошадей къ столбамъ, въ которые нарочно для

того были ввинчены кольца. Проѣзжіе вошли на огромный дворъ, наполненный нищими. Они громко молились, распѣвали псалмы и обнажали свои отвратительныя язвы. Царскій дворецкій, стоя на ступеняхъ крыльца, раздавалъ имъ отъ имени Іоанна яства и денежныя дачи. Время отъ времени по двору прохаживались опричники; другіе сидѣли на скамьяхъ и играли въ шахматы или въ зернь (такъ называли тогда игру въ кости). Иные, собравшись въ кружокъ, бросали свайку и громко смѣялись, когда проигравшій нѣсколько разъ сряду вытаскивалъ изъ земли глубоко всаженную рѣдьку. Одежда опричниковъ представляла разительную противоположность съ лохмотьями нищихъ: царскіе тѣлохранители блистали золотомъ. На каждомъ изъ нихъ была бархатная или парчевая тафья, усаженная жемчугомъ и дорогими камнями, и всѣ они казались живыми украшеніями волшебнаго дворца, съ которыми составляли какъ бы одно цѣлое.

Одинъ изъ опричниковъ особенно привлекъ вниманіе Серебрянаго. То былъ молодой человекъ лѣтъ двадцати, необыкновенной красоты, но съ неприятнымъ, наглымъ выраженіемъ лица. Одѣтъ онъ былъ богаче другихъ, носилъ, въ противность обычаю, длинные волосы, бороды не имѣлъ вовсе, а въ пріемахъ выказывалъ какую-то женоподобную небрежность. Обращеніе съ нимъ товарищей также было довольно странно. Они съ нимъ говорили какъ съ равнымъ и не оказывали ему особенной почтительности; но когда онъ подходилъ къ какому-нибудь кружку, то кружокъ раздвигался, а сидѣвшіе на лавкахъ вставали и уступали ему мѣсто. Казалось, его берегли, или, можетъ-быть, опасались. Увидя Серебрянаго и Михеича, онъ окинулъ ихъ надменнымъ взглядомъ, подозвалъ провожатыхъ и, казалось, освѣдомился объ имени пріѣзжихъ. Потомъ онъ прищурился на Серебрянаго, усмѣхнулся и шепнулъ что-то товарищамъ. Тѣ также усмѣхнулись и разошлись въ разныя стороны. Самъ онъ взошелъ на крыльцо и, облокотясь на перила, продолжалъ насмѣшливо глядѣть на Никиту Романовича. Вдругъ между нищими сдѣлалось волненіе. Густая толпа отхлынула прямо на князя и чуть не сбила его съ ногъ. Нище съ крикомъ бѣжали отъ дворца; ужасъ изображался на ихъ лицахъ. Князь удивился, но вскорѣ понялъ причину общаго испуга. Огромный медвѣдь скокомъ преслѣдовалъ нищихъ. Въ одно мгновеніе дворъ опустѣлъ, и князь остался одинъ, глязъ-на-

глазъ съ медвѣдемъ. Мысль о бѣгствѣ не пришла ему въ голову. Серебряный не разъ ходилъ на медвѣдя одинъ-на-одинъ. Эта охота была его забавой. Онъ остановился, и въ то мгновеніе, какъ медвѣдь, прижавъ уши къ затылку, подвалился къ нему, загребая его лапами, князь сдѣлалъ движеніе, чтобы выхватить саблю. Но сабли не было: онъ забылъ, что отдалъ ее опричникамъ передъ вѣздомъ въ неволю. Молодой человѣкъ, глядѣвшій съ крыльца, захохоталъ.

— Такъ, такъ!—сказалъ онъ:—ищи своей сабли!

Одинъ ударъ медвѣжьей лапы свалилъ князя на землю, другой своротилъ бы ему черепъ, но, къ удивленію своему, князь не принялъ второго удара и почувствовалъ, что его обдала струя теплой крови.

— Вставай, бояринъ!—сказалъ кто-то, подавая ему руку.

Князь всталъ и увидѣлъ незамѣченнаго имъ прежде опричника, лѣтъ семнадцати, съ окровавленною саблей въ рукѣ. Медвѣдь съ разрубленною головой лежалъ на спинѣ и, махая лапами, издыхалъ у ногъ его.

Опричникъ, казалось, не гордился своей побѣдой. Кроткое лицо его являло отпечатокъ глубокой грусти. Увѣрившись, что медвѣдь не сломалъ князя, и не дожидаясь спасибо, онъ хотѣлъ отойти.

— Добрый молодецъ!—сказалъ ему Серебряный:—назовись по имени-прозвищу, чтобы зналъ я, за кого Богу молиться!

— Чтò тебѣ до моего прозвища, бояринъ!—отвѣчалъ опричникъ.—Не люблю я его, Богъ съ нимъ.

Такой странный отвѣтъ удивилъ Серебрянаго, но избавитель его уже удалился.

— Ну, батюшка, Никита Романовичъ, —сказалъ Михеичъ, обтирая полою кафтана медвѣжью кровь съ князя:—набрался же я страху! Ужъ я, батюшка, кричалъ медвѣдю: гу! гу! чтобы бросилъ онъ тебя да на меня бы навалился, какъ этотъ молодецъ—дай Богъ ему здоровья!—черепъ ему раскроилъ. А вѣдь все это затѣялъ вонъ тотъ голобородый съ масляными глазами, чтò съ крыльца смотритъ, тѣтка его подкурятина! Да куда мы заѣхали,—прибавилъ Михеичъ шопотомъ:—виданное ли это дѣло, чтобы среди царскаго двора медвѣдей съ цѣпей спускали?

Замѣчаніе Михеича было основательно, но слобода имѣла

свои обычаи, и ничто не происходило въ ней обыкновеннымъ порядкомъ.

Царь любилъ звѣриный бой. Нѣсколько медвѣдей всегда кормились въ желѣзныхъ клѣткахъ на случай травли. Но время отъ времени Іоаннъ или опричники его выпускали звѣрей изъ клѣтокъ, драли ими народъ и потѣшались его страхомъ. Если медвѣдь кого увѣчилъ, царь награждалъ того деньгами. Если же медвѣдь задиралъ кого до смерти, то деньги выдавались его роднымъ, а онъ вписывался въ синодикъ для поминовенія по монастырямъ вмѣстѣ съ прочими жертвами царской потѣхи или царскаго гнѣва.

Вскорѣ вышли изъ дворца два стольника и сказали Серебряному, что царь видѣлъ его изъ окна и хочетъ знать, кто онъ таковъ? Передавъ царю имя князя, стольники опять возвратились и сказали, что царь-де спрашиваетъ тебя о здоровьѣ и велѣлъ-де тебѣ сегодня быть у его царскаго стола.

Эта милость не совсѣмъ обрадовала Серебрянаго. Іоаннъ, можетъ-быть, не зналъ еще о ссорѣ его съ опричниками въ деревнѣ Медвѣдевкѣ. Можетъ быть также (и это случалось часто), царь скрывалъ на время гнѣвъ своей подлочною милости, дабы внезапное наказаніе, среди пира и веселья, показалось виновному тѣмъ ужаснѣе. Какъ бы то ни было, Серебряный приготовился къ всему и мысленно прочиталъ молитву.

Этотъ день былъ исключеніемъ въ Александровой слободѣ. Царь, готовясь ѣхать въ Суздаль на богомолье, объявилъ заранѣе, что будетъ обѣдать вмѣстѣ съ братіей, и приказалъ звать къ столу, кромѣ трехсотъ опричниковъ, составлявшихъ его всегдашнее общество, еще четыреста, такъ что всѣхъ званыхъ было семьсотъ человѣкъ.

ГЛАВА VIII.

П и р ь.

Въ огромной двусвѣтной палатѣ, между узорчатыми расписными столбами, стояли длинные столы въ три ряда. Въ каждомъ ряду было по десяти столовъ, на каждомъ столѣ по двадцати приборовъ. Для царя, царевича и ближайшихъ любимцевъ стояли особые столы въ концѣ палаты. Гостямъ были приготовлены длинныя скамьи, покрытыя парчою и бархатомъ; государю—высокія рѣзныя кресла, убранныя жемчужными и алмазными кистями. Два

льва замѣняли ножки кресель, а спинку образоваль двуглавый орель съ поднятыми крыльями, золоченый и раскрашенный. Въ серединѣ палаты стоялъ огромный четырехугольный столъ, съ поставомъ изъ дубовыхъ досокъ. Крѣпки были толстыя доски, крѣпки точеные столбы, на коихъ покоился столъ: имъ надлежало поддерживать цѣлую гору серебряной и золотой посуды. Тутъ были и тазы литые, которые четыре человѣка съ трудомъ подняли бы за узорчатыя ручки, и тяжелые ковши, и кубки, усыпанные жемчугомъ, и блюда разныхъ величинъ съ чеканными узорами. Тутъ были и чары сердоликовыя, и кружки изъ строфокамиловыхъ яиць, и турьи рога, оправленные въ золото. А между блюдами и ковшами стояли золотые кубки страннаго вида, представлявшіе медвѣдей, львовъ, пѣтуховъ, павлиновъ, журавлей, единороговъ и строфокамиловъ. И всѣ эти тяжелыя блюда, суды, ковши, чары, черпала, звѣри и птицы громоздились кверху клинообразнымъ зданіемъ, котораго конецъ упирался почти въ самый потолокъ.

Чинно вошла въ палату блестящая толпа царедворцевъ и размѣстилась по скамьямъ. На столахъ въ это время, кромѣ солонокъ, перечницъ и укусеницъ, не было никакой посуды, а изъ яствъ стояли только блюда холоднаго мяса на постномъ маслѣ, соленые огурцы, сливы и кислое молоко въ деревянныхъ чашахъ.

Опричники усѣлись, но не начинали обѣда, ожидая государя.

Вскорѣ стольники, попарно, вошли въ палату и стали у царскихъ кресель; за стольниками шествовали дворецкій и кравчій.

Наконецъ загремѣли трубы, зазвенѣли дворцовые колокола, и медленнымъ шагомъ вошелъ самъ царь Иванъ Васильевичъ.

Онъ былъ высокъ, строенъ и широкоплечъ. Длинная парчевая одежда его, испещренная узорами, была окаймлена вдоль разрѣза и вокруг подола жемчугомъ и дорогими каменьями. Драгоценное перстяное ожерелье украшалось финифтевыми изображеніями Спасителя, Богоматери, апостоловъ и пророковъ. Большой узорный крестъ висѣлъ у него на шеѣ на золотой цѣпи. Высокіе каблуки красныхъ сафьянныхъ сапоговъ были окованы серебряными скобами. Страшную перемену увидѣлъ въ Иоаннѣ Никита Романовичъ. Правильное лицо все еще было прекрасно; но

черты обозначались рѣзче; орлиный носъ сталъ какъ-то круче; глаза горѣли мрачнымъ огнемъ, и на челѣ явились морщины, которыхъ не было прежде. Всего болѣе поразили князя рѣдкіе волосы въ бородѣ и усахъ. Іоанну было отъ роду тридцать пять лѣтъ; но ему казалось далеко за сорокъ. Выраженіе лица его совершенно измѣнилось. Такъ измѣняется зданіе послѣ пожара. Еще стоятъ хоромы, но украшенія упали, мрачныя окна глядятъ зловѣщимъ взоромъ, и въ пустыхъ покояхъ поселилось недоброе.

Со всѣмъ тѣмъ, когда Іоаннъ взиралъ милостиво, взгляды его еще былъ привлекателенъ. Улыбка его очаровывала даже тѣхъ, которые хорошо его знали и гнушались его злодѣянїями. Съ такою счастливою наружностью Іоаннъ соединялъ необыкновенный даръ слова. Случалось, что люди добродѣтельные, слушая царя, убѣждались въ необходимости ужасныхъ его мѣръ и вѣрили, пока онъ говорилъ, справедливости его казней.

Съ появленїемъ Іоанна всѣ встали и низко поклонились ему.

Царь медленно прошелъ между рядами столовъ до своего мѣста, остановился и, окинувъ взоромъ собраніе, поклонился на всѣ стороны; потомъ прочиталъ вслухъ длинную молитву, перекрестился, благословилъ трапезу и опустился въ кресло. Всѣ, кромѣ кравчаго и шести стольниковъ, послѣдовали его примѣру.

Множество слугъ, въ бархатныхъ кафтанахъ фіалковаго цвѣта, съ золотымъ шитьемъ, стали передъ государемъ, поклонились ему въ поясъ и по два въ рядъ отправились за кушаньемъ. Вскорѣ они возвратились, неся сотни двѣ жареныхъ лебедей на золотыхъ блюдахъ.

Этимъ начался обѣдъ.

Серебряному пришлось сидѣть недалеко отъ царскаго стола, вмѣстѣ съ земскими боярами, то-есть съ такими, которые не принадлежали къ опричиннѣ, но, по высокому сану своему, удостоились на этотъ разъ обѣдать съ государемъ. Нѣкоторыхъ изъ нихъ Серебряный зналъ до отъѣзда своего въ Литву. Онъ могъ видѣть со своего мѣста и самого царя и всѣхъ бывшихъ за его столомъ. Грустно сдѣлалось Никитѣ Романовичу, когда онъ сравнилъ Іоанна, оставленнаго имъ пять лѣтъ тому назадъ, съ Іоанномъ, сидящимъ нынѣ въ кругу новыхъ любимцевъ.

Никита Романовичъ обратился съ вопросомъ къ своему

сосѣду, одному изъ тѣхъ, съ которыми онъ былъ знакомъ прежде :

— Кто этотъ отрокъ, чтѣ сидитъ по правую руку царя, такой блѣдный и пасмурный ?

— Это царевичъ Іоаннъ Іоанновичъ,—отвѣчалъ бояринъ и, оглянувшись по сторонамъ, прибавилъ шопотомъ :—помилуй насъ Господи ! Не въ дѣда онъ пошелъ, а въ батюшку, и не по младости исполнено его сердце свирѣйства ; не будетъ намъ утѣхи отъ его царствованья !

— А этотъ молодой, черноглазый, въ концѣ стола, съ такимъ привѣтливымъ лицомъ ? Черты его мнѣ знакомы, но не припомню, гдѣ я его видѣлъ ?

— Ты видѣлъ его, князь, лѣтъ пять тому, рындюю при дворѣ государя ; только далеко ушелъ онъ съ тѣхъ поръ и далеко уйдетъ еще ; это Борисъ Ѳедоровичъ Годуновъ, любимый совѣтникъ царскій. Видишь,—продолжалъ бояринъ, понижая голосъ :—видишь возлѣ него этого широкоплечаго рыжаго, чтѣ ни на кого не смотреть, а убираетъ себѣ лебедя, нахмура брови ? Знаешь ли, кто это ? Это Григорій Лукьяновичъ Скуратовъ-Бѣльскій, по прозванію Малюта. Онъ и другъ, и поплечникъ, и палачъ государевъ. Здѣсь же, въ монастырѣ, онъ сдѣланъ, прости Господи, параклисиархомъ. Кажется, государь безъ него ни шагу ; а скажи только слово Борисъ Ѳедоровичъ, такъ выйдетъ не по Малютину, а по Борисову !.. А вонъ тамъ, этотъ молоденькій, словно красная дѣвица, чтѣ царю наряжаетъ вина, это Ѳедоръ Алексѣевичъ Басмановъ.

— Этотъ ?—спросилъ Серебряный, узнавая женоподобнаго юношу, котораго наружность поразила его на царскомъ дворѣ, а неожиданная шутка чуть не стоила ему жизни.

— Онъ самый. Ужъ какъ царь-то любить его : кажется, жить безъ него не можетъ ; а случись дѣло какое, у кого совѣта спросить ? Не у него, а у Бориса !

— Да, —сказалъ Серебряный, вглядываясь въ Годунова :—теперь припоминаю его. Не ѣздилъ ли онъ у царскаго саадака ?

— Такъ, князь. Онъ точно былъ у саадака. Кажется, должность не знатная, какъ тутъ показать себя ? Только, случилось разъ, затѣяли на охотѣ изъ лука стрѣлять. А былъ тутъ ханскій посолъ Девлетъ-Мурза. Тотъ, чтѣ ни пустить стрѣлу, такъ и всадить ее въ татарскую шляпу, чтѣ поставили на шесть, ступеней во сто отъ цар-

ской ставки. Дѣло-то было ужъ послѣ обѣда, и много ковшей уже прошло кругомъ стола. Вотъ всталъ Ивацъ Васильевичъ, да и говорить:—Подайте мнѣ мой лукъ, и я не хуже татарина попаду!—А татаринъ-то обрадовался:—Попади, бачка-царь! говорить: моя пошла тысяча лошадей табунъ, а твоя чтó пошла?—то-есть, понашему, во чтó ставишь закладъ свой?—Идетъ городъ Рязань!—сказалъ царь и повторилъ:—Подайте мой лукъ!—Бросился Борисъ къ коновязи, гдѣ стоялъ конь съ саадакомъ, вскочилъ въ сѣдло; только, видимъ мы, бьется подъ нимъ конь, вздымается на дыбы, да вдругъ какъ пустится, закусивъ удила, такъ и пропалъ съ Борисомъ. Черезъ четверть часа вернулся Борисъ, и колчанъ и налучье изорваны, лукъ пополамъ, стрѣлы всѣ разсыпались; самъ Борисъ съ разбитой головой. Соскочилъ съ коня да и въ ноги царю:—Виноватъ, государь, не смогъ коня удержать, не соблюлъ твоего саадака!—А у царя, вишь, межить тѣмъ хмель-то ужъ выходитъ началъ.—Ну, говорить, не быть же болѣе тебѣ, неучу, при моемъ саадакѣ, а изъ чужого лука стрѣлять не стану!—Съ того дня пошелъ Борисъ въ гору, да посмотри, князь, куда уйдетъ еще! И чтó это за человѣкъ,—продолжалъ бояринъ, глядя на Годунова:—никогда не суется впередъ, а всегда тутъ; никогда не прямить, не перечить царю, идетъ себѣ окольнымъ путемъ, ни въ какое кровавое дѣло не замѣшанъ, ни къ чьей казни не причастенъ. Кругомъ его кровь такъ и хлещетъ, а онъ себѣ и чистъ и бѣлъ, какъ младенецъ, даже и въ опричину не вписанъ. Вонъ тотъ,—продолжалъ онъ, указывая на человѣка съ недоброю улыбкой:—то Алексѣй Басмановъ, отецъ Ѳедора, а тамъ, подалгъ, Василій Грязной, а вонъ тамъ отецъ Левкій, Чудовскій архимандритъ; прости ему Господи, не пасть онъ церковный, угодникъ страстей мірскихъ!

Серебряный слушалъ съ любопытствомъ и съ горестью.

— Скажи, бояринъ,—спросилъ онъ:—кто этотъ высокій кудрявый, лѣтъ тридцати, съ черными глазами? Вотъ ужъ онъ четвертый кубокъ осушилъ, одинъ за другимъ, да еще какіе кубки! Здоровъ онъ пить, нечего сказать, только вино ему будто не на радость. Смотри, какъ онъ нахмурился, а глаза-то горятъ словно молонья. Да чтó онъ, съ ума сошелъ? Смотри, какъ скатерть ножомъ пореть.

— Этого-то, князь, ты, кажись бы, долженъ знать, этотъ былъ изъ нашихъ. Правда, перемѣнился онъ съ тѣхъ поръ,

какъ, всему боярству на срамъ, въ опричники пошелъ! Это князь Аѳанасій Ивановичъ Вяземскій. Онъ будетъ всѣхъ ихъ удалѣе, только не вынести ему головы! Какъ прикачнулася къ его сердцу зазнобушка, сдѣлался онъ самъ не свой. И не видитъ ничего, и не слышитъ, и одинъ съ собою разговариваетъ, словно помѣшанный, и при царѣ держитъ такія рѣчи, что индо страшно. Но до сихъ поръ ему все съ рукъ сходило: жалѣеть его государь. А говорятъ, онъ по любви и въ опричники-то вписался.

И бояринъ нагнулся къ Серебряному, желая, вѣроятно, рассказать ему подробнѣе про Вяземскаго, но въ это время подошелъ къ нимъ стольникъ и сказалъ, ставя передъ Серебрянымъ блюдо жаркого:

— Никита-ста! Великій государь жалуетъ тебя блюдомъ со своего стола!

Князь всталъ и, слѣдуя обычаю, низко поклонился царю.

Тогда всѣ, бывшіе за однимъ столомъ съ княземъ, также встали и поклонились Серебряному, въ знакъ поздравленія съ царскою милостью. Серебряный долженъ былъ каждому отблагодарить особымъ поклономъ.

Между тѣмъ стольникъ возвратился къ царю и сказалъ ему, кланяясь въ поясъ:

— Великій государь! Никита-ста принялъ блюдо, челомъ бьетъ!

Когда съѣли лебедей, слуги вышли попарно изъ палаты и возвратились съ тремя сотнями жареныхъ павлиновъ, которыхъ распущенные хвосты качались надъ каждымъ блюдомъ, въ видъ опахала. За павлинами слѣдовали кулебяки, курники, пироги съ мясомъ и съ сыромъ, блины всѣхъ возможныхъ родовъ, кривые пирожки и оладьи. Пока гости кушали, слуги разносили ковши и кубки съ медами: вишневымъ, можжевеловымъ и черемховымъ. Другіе подавали разныя иностранныя вина: романею, рейнское и мушкатель. Особые стольники ходили взадъ и впередъ между рядами, чтобы смотрѣть и всказывать въ столы.

Напротивъ Серебрянаго сидѣлъ одинъ старый бояринъ, на котораго царь, какъ поговаривали, держалъ гнѣвъ. Бояринъ предвидѣлъ себѣ бѣду, но не зналъ—какую, и ожидалъ спокойно своей участи. Къ удивленію всѣхъ, кравчій Ѳедоръ Басмановъ изъ своихъ рукъ поднесъ ему чашу вина.

— Василій су!—сказаль Басмановъ:—великій государь жалуетъ тебя чашею!

Старикъ всталъ, поклонился Іоанну и выпилъ вино, а Басмановъ, возвратясь къ царю, донесъ ему:

— Василій-су выпилъ чашу, челомъ бьетъ!

Всѣ встали и поклонились старику; ожидали себѣ и его поклона, но бояринъ стоялъ неподвижно. Дыханіе его сперлось, онъ дрожалъ всѣмъ тѣломъ. Внезапно глаза его налились кровью, лицо посинѣло, и онъ грянулся ѓземъ.

— Бояринъ пьянъ,—сказаль Иванъ Васильевичъ:—вынести его вонъ!—Шопоть пробѣжалъ по собранію, а земскіе бояре переглянулись и потупили очи въ свои тарелки, не смѣя вымолвить ни слова.

Серебряный содрогнулся. Еще недавно не вѣрилъ онъ разсказамъ о жестокости Іоанна, теперь же самъ сдѣлался свидѣтелемъ его ужасной мести.

«Ужъ не ожидаетъ ли и меня такая же участь?»—подумалъ онъ. Между тѣмъ старика вынесли, и обѣдъ продолжался, какъ будто ничего не случилось. Гусли звучали, колокола гудѣли, царедворцы громко разговаривали и смѣялись. Слуги, бывшіе въ бархатной одеждѣ, явились теперъ всѣ въ парчевыхъ доломанахъ. Эта перемѣна платья составляла одну изъ роскошей царскихъ обѣдовъ. На столы поставили сперва разные студени, потомъ журавлей съ прянымъ зельемъ, разсольных пѣтуховъ съ инбиремъ, безкостныхъ куръ и утокъ съ огурцами. Потомъ принесли разныя похлебки и трехъ родовъ уху: курячью бѣлую, курячью черную и курячью шафранную. За уху подали рябчиковъ со сливами, гусей со пшеномъ и тетерекъ съ шафраномъ.

Тутъ наступилъ прогулъ, въ продолженіе котораго разносили гостямъ меды: смородинный, княжій и боярскій, а изъ винъ: аликантъ, бастръ и малвазію.

Разговоры становились громче, хохоть раздавался чаще, головы кружились. Серебряный, всматриваясь въ лица опричниковъ, увидѣлъ за отдаленнымъ столомъ молодого человѣка, который нѣсколько часовъ передъ тѣмъ спасъ его отъ медвѣдя. Князь спросилъ о немъ у сосѣдей, но никто изъ земскихъ не зналъ его. Молодой опричникъ, облокотясь на столъ и опустивъ голову на руки, сидѣлъ въ задумчивости и не участвовалъ въ общемъ весельѣ. Князь хотѣлъ-было обратиться съ вопросомъ къ проходившему слугѣ, но вдругъ услышалъ за собой:

— Никита-ста! Великій государь жалуетъ тебя чашею. Серебряный вздрогнулъ. За нимъ стоялъ, съ наглою умѣшкой, Ѳеодоръ Басмановъ и подавалъ ему чашу.

Не колеблясь ни минуты, князь поклонился царю и осушилъ чашу до капли. Всѣ смотрѣли на него съ любопытствомъ; онъ самъ ожидалъ неминуемой смерти и удивлялся, что не чувствуетъ дѣйствія отравы. Въмѣсто дрожи и холода, благотворная теплота пробѣжала по его жиламъ и разогнала на лицѣ его невольную блѣдность. Напитокъ, присланный царемъ, былъ старый и чистый бастръ. Серебряному стало ясно, что царь или отпустилъ вину его, или не знаетъ еще объ обидѣ опричнины.

Уже болѣе четырехъ часовъ продолжалось веселье, а столъ былъ только въ полустолѣ. Отличились въ этотъ день царскіе повара. Никогда такъ не удавались имъ лимонныя калы, верченныя почки и караси съ бараниной. Особенное удивленіе возбуждали исполинскія рыбы, пойманныя въ Студеномъ морѣ и присланныя въ слободу изъ Соловецкаго монастыря. Ихъ привезли живыхъ, въ огромныхъ бочкахъ; путешествіе продолжалось нѣсколько недѣль. Рыбы эти едва умѣщались на серебряныхъ и золотыхъ тазахъ, которые носили въ столовую нѣсколько челоуѣкъ разомъ. Затѣйливое искусство поваровъ выказалось тутъ въ полномъ блескѣ. Осетры и шеврюги были такъ надрѣзаны, такъ посажены на блюда, что походили на пѣтуховъ съ простертыми крыльями, на крылатыхъ змievъ съ разверзтыми пастьями. Хороши и вкусны были также зайцы въ лапшѣ, и гости, какъ уже ни нагрузились, но не пропустили ни перепеловъ съ чесночною подливкой ни жаворонковъ съ лукомъ и шафраномъ. Но вотъ, по знаку стольниковъ, убрали со столовъ соль, перецъ и уксусъ и сняли всѣ мясныя и рыбныя яства. Слуги вышли по два въ рядъ и возвратились въ новомъ убранствѣ. Они замѣнили парчевыя доломаны лѣтними кунтушами изъ бѣлаго аксамита съ серебрянымъ шитьемъ и собольею опушкой. Эта одежда была еще красивѣе и богаче двухъ первыхъ. Убранные такимъ образомъ, они внесли въ палату сахарный кремль, въ пять пудовъ вѣсу, и поставили его на царскій столъ. Кремль этотъ былъ вылитъ очень искусно. Зубчатыя стѣны и башни, и даже пѣшіе и конные люди были тщательно отдѣланы. Подобные кремли, но только поменьше, пуда въ три, не болѣе, украсили другіе столы. Вслѣдъ за кремлями внесли около сотни

золоченыхъ и крашенныхъ деревьевъ, на которыхъ, вмѣсто плодовъ, висѣли пряники, коврижки и сладкіе пирожки. Въ то же время явились на столахъ львы, орлы и всякія птицы, литые изъ сахара. Между городами и птицами возвышались груды яблоковъ, ягодъ и волошскихъ орѣховъ. Но плодовъ уже никто не трогалъ, всѣ были сыты. Иные допивали кубки романи, болѣе изъ приличія, чѣмъ отъ жажды; другіе дремали, облокотясь на столъ; многіе лежали подъ лавками; всѣ безъ исключенія распоясались и разстегнули кафтаны. Нравъ каждаго обрисовался яснѣе.

Царь почти вовсе не ѣлъ. Въ продолженіе стола онъ много разсуждалъ, шутилъ и милостиво говорилъ съ своими окольными. Лицо его не измѣнилось въ концѣ обѣда. То же можно было сказать и о Годуновѣ. Борисъ Ѳедоровичъ, казалось, не отказывался ни отъ лакомаго блюда ни отъ братины крѣпкаго вина: онъ былъ веселъ, занималъ царя и любимцевъ его умнымъ разговоромъ, но ни разу не забывался. Черты Бориса являли теперь, какъ и въ началѣ обѣда, смѣсь пронизательности, обдуманнаго смиренія и увѣренности въ самомъ себѣ. Окинувъ быстрымъ взоромъ толпу пьяныхъ и сонныхъ царедворцевъ, молодой Годуновъ непримѣтно улыбнулся, и презрѣніе мелькнуло на лицѣ его.

Царевичъ Іоаннъ пилъ много, ѣлъ мало, молчалъ, слушалъ, и вдругъ перебивалъ говорящаго нескромною или обидною шуткой. Болѣе всѣхъ доставалось отъ него Малютѣ Скуратову, хотя Григорій Лукьяновичъ непохожъ былъ на человѣка, способнаго сносить насмѣшки. Наружность его вселяла ужасъ въ самыхъ жеробкихъ. Лобъ его былъ низокъ и сжатъ, волосы начинались почти надъ бровями; скулы и челюсти, напротивъ, были несоразмѣрно развиты; черепъ, спереди узкій, переходилъ безъ всякой постепенности въ какой-то широкий котель къ затылку; а за ушами были такія выпуклости, что уши казались впалыми. Глаза неопредѣленнаго цвѣта не смотрѣли ни на кого прямо, но страшно дѣлалось тому, кто нечаянно встрѣчалъ ихъ тусклый взглядъ. Казалось, какое великодушное чувство, никакая мысль, выходящая изъ круга животныхъ побужденій, не могла проникнуть въ этотъ узкій мозгъ, покрытый толстымъ черепомъ и густою щетиной. Въ выраженіи этого лица было что-то неумолимое и безнадежное. Глядя на Малюту, чувствовалось, что всякое стараніе отыскать въ немъ человѣческую сторону было

бы напрасно. И подлинно, онъ нравственно уединилъ себя отъ всѣхъ людей, жилъ среди нихъ особнякомъ, отказался отъ всякой дружбы, отъ всякихъ пріязненныхъ отношеній, пересталъ быть человѣкомъ и сдѣлалъ изъ себя царскую собаку, готовую растерзать безъ разбора всякаго, на кого Іоанну ни вздумалось бы натравить ее.

Единственною свѣтлою стороною Малюты казалась горячая любовь къ сыну, молодому Максиму Скуратову, но то была любовь дикаго звѣря, любовь бессознательная, хотя и доходившая до самоотверженія. Ее усугубляло любочестіе Малюты. Происходя самъ отъ низкаго сословія, будучи человѣкомъ худороднымъ, онъ мучился завистью при видѣ блеска и знатности и хотѣлъ по крайней мѣрѣ возвысить свое потомство, начиная съ сына своего. Мысль, что Максимъ, котораго онъ любилъ тѣмъ сильнѣе, что не зналъ другой родственной привязанности, будетъ всегда стоять въ глазахъ народа ниже тѣхъ гордыхъ бояръ, которыхъ онъ, Малюта, казилъ десятками, приводила его въ бѣшенство. Онъ старался золотомъ достигъ почестей, недоступныхъ ему по рожденію, и съ сугубымъ удовольствіемъ предавался убійствамъ: онъ мстилъ ненавистнымъ боярамъ, обогащалъ ихъ добычею и, возвышаясь въ милости царской, думалъ возвысить и возлюбленнаго сына. Но, независимо отъ этихъ расчетовъ, кровь была для него потребностью и наслажденіемъ. Много душегубствъ совершилъ онъ своими руками, и лѣтописи рассказываютъ, что иногда, послѣ казни, онъ собственноручно разсѣкалъ мертвыя тѣла топоромъ и бросалъ ихъ псамъ на съѣденіе. Чтобы довершить очеркъ этого лица, надобно прибавить, что, несмотря на свою умственную ограниченность, онъ, подобно хищному звѣрю, былъ въ высшей степени хитеръ, въ бояхъ отличался отчаяннымъ мужествомъ, въ сношеніяхъ съ другими былъ мнителенъ, какъ всякій рабъ, попавшій въ незаслуженную честь, и что никто не умѣлъ такъ помнить обиды, какъ Малюта Григорій Лукьяновичъ Скуратовъ-Бѣльскій.

Таковъ былъ человѣкъ, надъ которымъ столь неосторожно издѣвался царевичъ.

Особенный случай подалъ Іоанну Іоанновичу поводъ къ насмѣшкамъ. Малюта, мучимый завистью и любочестіемъ, издавна домогался боярства; но царь, уважавшій иногда обычаи, не хотѣлъ унижить верховный русскій

санъ въ лицѣ своего худороднаго любимца и оставлялъ происки его безъ вниманія. Скуратовъ рѣшился напомнить о себѣ Иоанну. Въ этотъ самый день, при выходѣ царя изъ опочивальни, онъ билъ ему челомъ, исчислилъ всѣ свои заслуги и въ награжденіе просилъ боярской шапки. Иоаннъ выслушалъ его терпѣливо, засмѣялся и назвалъ собакой. Теперь, за столомъ, царевичъ напомнилъ Малютѣ о неудачной его челобитнѣ. Не напомнилъ бы о ней царевичъ, если бы зналъ короче Григорія Лукьяновича!

Малюта молчалъ и становился блѣднѣе. Царь съ неудовольствіемъ замѣчалъ непріязненныя отношенія между Малютой и сыномъ. Чтобы переменить разговоръ, онъ обратился къ Вяземскому.

— Аванасій,—сказалъ онъ полуласково, полунасмѣшливо:—долго ли тебѣ кручиниться? Не узнаю моего добраго опричника! Аль въ конецъ заѣла тебя любовь—змѣя лютая?

— Вяземскій не опричникъ,—замѣтилъ царевичъ.—Онъ вздыхаетъ какъ красная дѣвица. Ты-бъ, государь-батюшка, велѣлъ надѣть на него сарафанъ да обрить ему бороду, какъ Ѳедкѣ Басманову, или приказалъ бы ему пѣть съ гусярами. Гусли-то ему, я чай, будутъ сподручнѣе сабли!

— Царевичъ!—вскричалъ Вяземскій:—если бы тебѣ было годковъ пять поболѣ, да не былъ бы ты сынокъ государевъ, я бы за безчестіе позвалъ тебѣ къ Москвѣ на Троицкую площадь; мы помѣрялись бы съ тобой, и самъ Богъ разсудилъ бы, кому владѣть саблей, кому на гусяхъ играть!

— Аеонъга!—сказалъ строго царь:—не забывай, передъ кѣмъ рѣчь ведешь!

— Что-жъ, батюшка, господинъ Иванъ Васильевичъ,—отвѣчалъ дерзко Вяземскій:—коли повиненъ я передъ тобой, вели мнѣ голову рубить, а царевичу не дамъ порочить себя.

— Нѣтъ, —сказалъ, смягчаясь, Иванъ Васильевичъ, который за молодечество прощалъ Вяземскому его выходки:—рано Аеонъ голову рубить! Пусть еще послужить на царской службѣ. Я тебѣ, Аеоня, лучше сказку скажу, что рассказывалъ мнѣ прошлой ночью слѣпой Филька:

«Въ славномъ Ростовѣ, въ красномъ городѣ, прожи-

валь добрый молодець, Алеша Поповичъ. Полюбилась ему пуще жизни молодая княгиня, имени не припомню. Только была она, княгиня, замужемъ за старымъ Тугариномъ Зміевичемъ, и какъ ни бился Алеша Поповичъ, все только отказы отъ нея получалъ.— Не любилъ-де тебя, добрый молодець; люблю одного мужа мово, милаго, стараго Зміевича.— Добро,—сказалъ Алеша:—полюбишь же ты и меня, бѣлая лебедушка!—Взялъ двѣнадцать слугъ своихъ добрыхъ, вломился въ теремъ Зміевича и увезъ его молодую жену.—Исполать тебѣ, добрый молодець,—сказала жена:—что умѣлъ меня любить, умѣлъ и мечомъ добыть, и зато я тебя люблю пуще жизни, пуще свѣту, пуще стараго поганого мужа мово Зміевича!»

— А что, Аюня,—прибавилъ царь, пристально смотря на Вяземскаго:—какъ покажется тебѣ сказка слѣпного Фильки?

Жадно слушалъ Вяземскій слова Ивана Васильевича. Запали они въ душу его, словно искры въ снопы овинные, загорѣлась страсть въ груди его, запылали очи пожаромъ.

— Аюнасій,—продолжалъ царь:—я этими днями ѣду молиться въ Суздаль, а ты ступай на Москву къ боярину Дружинѣ Морозову: спроси его о здоровьѣ, скажи, что я-де прислалъ тебя снять съ него мою опалу... Да возьми,—прибавилъ онъ значительно:—возьми съ собой, для почета, поболь опричниковъ.

Серебряный видѣлъ съ своего мѣста, какъ Вяземскій измѣнился въ лицѣ, и какъ дикая радость мелькнула на чертахъ его, но не слыхалъ онъ, о чемъ шла рѣчь между княземъ и Иваномъ Васильевичемъ.

Кабы догадался Никита Романовичъ, чему радуется Вяземскій, забылъ бы онъ близость государеву, сорвалъ бы со стѣны саблю острую и разсѣкъ бы Вяземскому буйную голову. Погубилъ бы Никита Романовичъ и свою головушку, но спасли его на этотъ разъ гусли звонкія, колокола дворцовые и говоръ опричниковъ. Не узналъ онъ, чему радуется Вяземскій.

Наконецъ Іоаннъ всталъ. Всѣ царедворцы зашумѣли, какъ пчелы, потревоженные въ ульѣ. Кто только могъ, поднялся на ноги, и всѣ поочередно стали подходить къ царю, получать отъ него сушенныя сливы, которыми онъ надѣлялъ братію изъ собственныхъ рукъ.

Въ это время сквозь толпу пробрался опричникъ, не

бывшій въ числѣ пировавшихъ, и сталъ шептать что-то на ухо Малютѣ Скуратову. Малюта вспыхнулъ, и ярость изобразилась на лицѣ его. Она не скрылась отъ зоркаго глаза царя. Иоаннъ потребовалъ объясненія.

— Государь!—вскричалъ Малюта:—дѣло неслыхансе! Измѣна, бунтъ на твою царскую милость!

При словѣ: «измѣна» царь поблѣднѣлъ, и глаза его за-сверкали.

— Государь,—продолжалъ Малюта:—намедни послалъ я кругъ Москвы объѣздъ, для того, государь, такъ ли московскіе люди соблюдаютъ твой царскій указъ. Какъ вдругъ невѣдомый бояринъ съ холопами напалъ на объѣзжихъ людей. Многихъ убили до смерти и больно изувѣчили моего стремяннаго. Онъ самъ здѣсь, стоитъ за дверьми, жестоко избитый! Прикажешь призвать?

Иоаннъ окинулъ взоромъ опричниковъ и на всѣхъ лицахъ прочелъ гнѣвъ и негодование. Тогда черты его приняли выраженіе какого-то страннаго удовольствія, и онъ сказалъ спокойнымъ голосомъ:

— Позвать!

Вскорѣ разступилась толпа, и въ палату вошелъ Матвѣй Хомякъ, съ повязанной головой.

ГЛАВА IX.

С у д ъ.

Не смывъ Хомякъ крови съ лица, замаралъ ею нарочно и повязку и одежду: пусть-де увидитъ царь, какъ избилъ слугу его!

Подойдя къ Иоанну, онъ упалъ ницъ и ожидалъ на клѣбняхъ позволенія говорить.

Всѣ любопытно смотрѣли на Хомяка. Царь первый прервалъ молчаніе.

— На кого ты просишь?—спросилъ онъ:—какъ было дѣло? Рассказывай по ряду!

— На кого прошу и самъ не вѣдаю, надежа православный царь! Не сказалъ онъ мнѣ, собака, своего роду-племени. А бью челомъ твоей царской милости, въ бою моемъ и увѣчѣ, что билъ меня своимъ великимъ огурствомъ незнаемый чловѣкъ!

Общее вниманіе удвоилось. Всѣ притаили дыханіе. Хомякъ продолжалъ:

— Приѣхали мы, государь, объѣздомъ въ деревню Мед-

вѣдевку, какъ вдругъ они, окаянные, откуда ни возмись, напустились на насъ напускомъ, грянули какъ снѣгъ на голову, перекололи, перерубили человекъ съ десятеро, достальныхъ перевязали; а бояринъ-то ихъ, разбойникъ, хотѣлъ-было насъ всѣхъ перевѣшать, а двухъ станичниковъ, что мы-было объѣздомъ захватили, велѣлъ свободить и пустить на волю.

Замолчалъ Хомякъ и поправилъ на головѣ своей кровавую повязку. Недовѣрчивый ропотъ пробѣжалъ между опричниками. Разказъ казался невѣроятнымъ. Царь усомнился.

— Полно, правду ли ты говоришь, дѣтинушка,—сказалъ онъ, пронзая Хомяка насквозь орлинымъ окомъ:— не закачено-ль у тебя въ головѣ? Не у браги-ль ты добыль увѣчья?

— Готовъ на своей правдѣ крестъ цѣловать, государь; кладу голову порукой въ рѣчахъ моихъ!

— А скажи, зачѣмъ не повѣсилъ тебя невѣдомый бояринъ?

— Должно-быть, раздумалъ; никого не повѣсилъ; велѣлъ лишь всѣхъ насъ плетью избить!

Ропотъ опять пробѣжалъ по собранію.

— А много-ль васъ было въ объѣздѣ?

— Пятьдесятъ человекъ, я пятьдесятъ первый.

— А много-ль ихнихъ было?

— Нечего грѣха таить, ихнихъ было поменѣе: примѣрно, человекъ двадцать или тридцать.

— И вы дали себя перевязать и пересѣчь, какъ бабы! Что за оторопь на васъ напала? Руки у васъ отсохли, а душа ушла въ пяты? Право, смѣху достойно! И что это за бояринъ средь бѣла дня напалъ на опричниковъ? Быть того не можетъ. Пожалуй, и хотѣли-бъ они извести опричнину, да жжется! И меня, пожалуй, сѣли-бъ, да зубъ нейметъ! Слушай: коли хочешь, чтобъ я взялъ тебѣ вѣру, назови того боярина, не то повинися во лжи своей. А не назовешь и не повинишься, не одобровать тебѣ, дѣтинушка!

— Надѣжа-государь!—отвѣчалъ стремянный съ твердостью:—видитъ Богъ, я говорю правду. А казнить меня твоя воля! Не боюсь я смерти, боюсь я кривды, и въ томъ шлось на цѣлую рать твою!

Тутъ онъ окинулъ глазами опричниковъ, какъ бы призывая ихъ въ свидѣтели. Внезапно взоръ его встрѣтился со взоромъ Серебрянаго.

Трудно описать, что произошло в душѣ Хомяка. Удивленіе, сомнѣніе и наконецъ злобная радость изобразились на чертахъ его.

— Государь,—сказалъ онъ, вставая:—коли хочешь вѣдать, кто напалъ на насъ, порубилъ товарищей и велѣлъ избить насъ плетьюми, прикажи вонъ этому боярину назваться по имени, по изотчеству!

Всѣ глаза обратились на Серебрянаго. Царь сдвинулъ безволосыя брови и пристально въ него вглядывался, но не говорилъ ни слова. Никита Романовичъ стоялъ неподвижно, спокойный, но блѣдный.

— Никита,—сказалъ наконецъ царь, медленно выговаривая каждое слово:—подойди сюда. Становись къ отвѣту. Знаешь ты этого человѣка?

— Знаю, государь.

— Нападалъ ты на него съ товарищи?

— Государь, человѣкъ этотъ съ товарищи самъ напалъ на деревню...

Хомякъ прервалъ князя. Чтобы погубить врага, онъ рѣшился не щадить самого себя.

— Государь,—сказалъ онъ:—не слушай боярина! То онъ на меня соромъ лаетъ, затѣмъ, что я малый человѣкъ, и въ томъ промежъ насъ правды не будетъ; а прикажи снять допросъ съ товарищей, или, пожалуй, прикажи пытать насъ обоихъ накрѣпко, и въ томъ будетъ промежъ насъ правда.

Серебряный презрительно взглянулъ на Хомяка.

— Государь,—сказалъ онъ:—я не запираюсь въ своемъ дѣлѣ. Я напалъ на этого человѣка, велѣлъ его съ товарищи бить плетьюми, затѣмъ велѣлъ бить...

— Довольно!—сказалъ строго Иванъ Васильевичъ.—Отвѣчай на допросъ мой. Вѣдалъ ли ты, когда напалъ на нихъ, что они мои опричники?

— Не вѣдалъ, государь.

— А когда хотѣлъ повѣсить ихъ, сказались они тебѣ?

— Сказались, государь.

— Зачѣмъ же ты раздумалъ ихъ вѣшать?

— Затѣмъ, государь, чтобы твои судьи сперва допросили ихъ.

— Отчего-жъ ты съ самага почину не отослалъ ихъ къ моимъ судьямъ?

Серебряный не нашелся отвѣчать.

Царь вперилъ въ него испытующій взоръ и старался проникнуть въ самую глубь души его.

— Не затѣмъ,—сказалъ онъ:—не затѣмъ раздумалъ ты вѣшать ихъ, чтобы передать ихъ судьямъ, а затѣмъ, что сказались они тебѣ людьми царскими. И ты,—продолжалъ царь съ возрастающимъ гнѣвомъ:—ты, вѣдая, что они мои люди, велѣлъ битъ ихъ плетью?

— Государь...

— Довольно! — загремѣлъ Иоаннъ. — Допросъ оконченъ... Братія,—продолжалъ онъ, обращаясь къ своимъ любимцамъ:—говорите, что заслужилъ себѣ бояринъ, князь Никита? Говорите, какъ мыслите; хочу знать, что думаетъ каждый!

Голосъ Иоанна былъ умѣренъ, но взоръ его говорилъ, что онъ въ сердцѣ своемъ уже рѣшилъ участь князя, и что бѣда ожидаетъ того, чей приговоръ окажется мягче его собственнаго.

— Говорите-жъ, люди,—повторилъ онъ, возвышая голосъ:—что заслужилъ себѣ Никита?

— Смерть! — отвѣчалъ царевичъ.

— Смерть! — повторили Скуратовъ, Грязной, отецъ Левкій и оба Басмановы.

— Такъ пусть же приметъ онъ смерть! — сказалъ Иоаннъ хладнокровно. — Писано бо: приемше ножъ, ножомъ погибнуть. Человѣки, возьмите его!

Серебряный молча поклонился Иоанну. Нѣсколько человѣкъ тотчасъ окружили его и вывели изъ палаты.

Многіе послѣдовали за ними посмотрѣть на казнь; другіе остались. Глухой говоръ раздавался въ палатѣ. Царь обратился къ опричникамъ. Видъ его былъ торжественъ.

— Братія! — сказалъ онъ:—правъ ли судъ мой?

— Правъ, правъ! — раздалось между ближними опричниками.

— Правъ, правъ! — повторили отдаленные.

— Не правъ! — сказалъ одинъ голосъ.

Опричники взволновались.

— Кто это сказалъ? Кто вымолвилъ это слово? Кто говорить, что не правъ судъ государевъ? — слышалось отовсюду.

На всѣхъ лицахъ изобразилось удивленіе, всѣ глаза засверкали негодованіемъ. Лишь одинъ, самый свирѣпый, не показывалъ гнѣва. Малюта былъ блѣденъ, какъ смерть.

— Кто говорить, что не правъ судъ мой? — спросилъ

Іоаннъ, стараясь придать чертамъ своимъ самое спокойное выраженіе.—Пусть, кто говорилъ, выступить предъ лицо мое!

— Государь,—произнесъ Малюта въ сильномъ волненіи:—между добрыми слугами твоими теперь много пьяныхъ, много такихъ, которые говорятъ, не помня, не спрашивая разума! Не вели искать этого бражника, государь! Протрезвится, самъ не повѣритъ, какую рѣчь пьянымъ дѣломъ держаль!

Царь недовѣрчиво взглянулъ на Малюту.

— Отецъ параклисархъ!—сказалъ онъ, усмѣхаясь:—давно-ль ты умилился сердцемъ?

— Государь!—продолжалъ Малюта:—не вели...

Но уже было поздно.

Сынъ Малюты выступилъ впередъ и стоялъ почтительно передъ Іоанномъ. Максимъ Скуратовъ былъ тотъ самый опричникъ, который спасъ Серебрянаго отъ медвѣдя.

— Такъ это ты, Максимушка, охаиваешь судъ мой?—сказалъ Іоаннъ, поглядывая съ недоброю улыбкой то на отца, то на сына.—Ну, говори, Максимушка, почему судъ мой тебѣ не по сердцу?

— Потому, государь, что не выслушалъ ты Серебрянаго, не далъ ему очиститься передъ тобою и не спросилъ его даже, за что онъ хотѣлъ повѣсить Хомяка?

— Не слушай его, государь!—умолялъ Малюта:—онъ пьянъ, ты видишь, онъ пьянъ! Не слушай его! Пошелъ, бражникъ! вишь какъ нарѣзался! Пошелъ, уноси свою голову!

— Максимъ не пилъ ни вина ни меду,—замѣтилъ злобно царевичъ.—Я все время на него смотрѣлъ, онъ и усовъ не омочилъ!

Малюта взглянулъ на царевича такимъ взглядомъ, отъ котораго всякій задрожалъ бы. Но царевичъ считалъ себя недоступнымъ Малютиной мести. Второй сынъ Грознаго, наслѣдникъ престола, вмѣшалъ въ себѣ почти всѣ пороки отца, а злые примѣры все болѣе и болѣе заглушали то, что было въ немъ добраго. Іоаннъ Іоанновичъ уже не зналъ жалости.

— Да,—прибавилъ онъ, усмѣхаясь:—Максимъ не ѣлъ и не пилъ за обѣдомъ. Ему не по сердцу наше житье. Онъ гнушается батюшкиной опричниной.

Въ продолженіе этого разговора Борисъ Годуновъ не спускалъ глазъ съ Іоанна. Онъ, казалось, изучалъ выра-

женіе лица его и тихо, никѣмъ незамѣченный, вышелъ изъ столовой.

Малюта повалился государю въ ноги.

— Батюшка, государь Иванъ Васильевичъ!—проговорилъ онъ, хватаясь за полы царской одежды:—сего утра я, дуракъ глупый, деревенщина необтесанный, просилъ тебя пожаловать мнѣ боярство. Гдѣ былъ разумъ мой? Куда дѣвался смыслъ человѣческій? Мнѣ ли, смрадному рабу, носить шапку боярскую? Забудь, государь, дурацкія слова мои, вели снять съ меня кафтанъ золоченый, одѣнь въ рогожу, только отпусти Максиму вину его! Молодь онъ, государь, глупъ, не смыслить, что говорить! А ужъ если казнить кого, такъ вели меня казнить,—не давай я, дуракъ, напиваться сыну дѣ-пьяна! Дозволь, государь, я снесу на плаху глупую голову! Прикажи, тотчасъ самъ на себя руки наложу!

Жалко было видѣть, какъ исказилось лицо Малюты, какъ отчаянье написалось на чертахъ, никогда не отражавшихъ ничего, кромѣ звѣрства.

Царь засмѣялся.

— Не за что казнить ни тебя ни сына твоего!—сказалъ онъ:—Максимъ правъ!

— Что ты, государь?—вскричалъ Малюта:—какъ Максимъ правъ?—И радостное удивленіе его выразилось было глупою улыбкой, но она тотчасъ исчезла, ибо ему представилось, что царь надъ нимъ издѣвается.

Эти быстрыя перемѣны на лицѣ Малюты были такъ необыкновенны, что царь, глядя на него, опять принялся смѣяться.

— Максимъ правъ,—повторилъ онъ наконецъ, принимая свой прежній степенный видъ:—я исторопился. Того быть не можетъ, чтобы Серебряный вольною волей что-либо учинилъ на меня. Помню я Никиту еще до литовской войны. Я всегда любилъ его. Онъ былъ мнѣ добрый слуга. Это вы, окаленные,—продолжалъ царь, обращаясь къ Грязному и къ Басмановымъ:—это вы всегда подбиваете меня кровь проливать! Мало еще было вамъ смертнаго убойства? Нужно было извести моего добраго боярина! Что стоите, звѣри! Бѣгите, остановите казнь! Только нѣтъ, и не ходите! Поздно! Я чаю, ужъ слетѣла съ него голова! Вы все заплатите мнѣ за кровь его!

— Не поздно, государь, — сказалъ Годуновъ, возвращаясь въ палату. — Я велѣлъ подождать казнить Сере-

брянаго. На милость образца нѣтъ, государь; а мнѣ вѣдомо, что ты милостивъ, что иной разъ и присудишь и простишь виноватаго. Только уже Серебряный положилъ голу на плаху; палачъ, снѣмши кафтанъ, засуча рукава, ждетъ твоего царскаго велѣнія!

Лицо Иоанна прояснилось.

— Борисъ,—сказалъ онъ:—подойди сюда, добрый слуга мой! Ты одинъ знаешь мое сердце. Ты одинъ вѣдаешь, что я кровь проливаю не ради потѣхи, а чтобъ измѣну вывести. Ты меня не считаешь за сыроядца. Подойди сюда, Федорычъ, я обниму тебя!

Годуновъ наклонился. Царь поцѣловалъ его въ голову.

— Подойди и ты, Максимъ, я тебя къ рукѣ пожалую. Хлѣбъ-соль ѣшь, а правду рѣжь! Такъ и напредки чини. Выдать ему три сорока соболей на шубу!

Максимъ поклонился въ землю и поцѣловалъ царскую руку.

— Какое идетъ тебѣ жалованье?—спросилъ Иоаннъ.

— Противъ рядовыхъ людей обычное, государь.

— Я сравняю тебя съ начальными людьми. Будетъ тебѣ идти кормъ и всякій обиходъ противу начальныхъ людей. Да у тебя, я вижу, что-то на языкѣ мотается, говори безъ зазору, проси чего хочешь!

— Государь! не заслужилъ я твоей великой милости, недостойнъ одѣжи богатой, есть постарше меня. Объ одномъ прошу, государь. Пошли меня воевать съ Литвой, пошли въ Ливонскую землю; или, государь, на Рязань пошли, татаръ колотить!

Что-то въ родѣ подозрѣнія выразилось въ глазахъ Иоанна.

— Что тебѣ такъ воевать захотѣлось, молодецъ? Аль постыла жизнь слободская?

— Постыла, государь.

— Что такъ?—спросилъ Иоаннъ, глядя пристально на Максима.

Малюта не далъ отвѣчать сыну.

— Государь,—сказалъ онъ:—хотѣлось бы, вишь, ему послужить твоей милости. Хотѣлось бы и гривну на золотой цѣпочкѣ получить изъ царскихъ рукъ твоихъ. Горяча въ немъ кровь, государь. Затѣмъ и просится на татаръ да нѣмцевъ.

— Не затѣмъ онъ просится,—подхватилъ царевичъ:—а затѣмъ, чтобы на своемъ поставить: не хочу-де быть

опричникомъ, такъ и не буду! Пусть-де выйдетъ по-моему, а не по-цареву.

— Вотъ какъ!—сказаль Іоаннъ насмѣшливо.—Такъ ты, Максимушка, меня осилить хочешь? Вишь какой богатырь! Ну, гдѣ мнѣ, убогому, на тебя! Что-жъ, не хочешь быть опричникомъ, я, пожалуй, велю тебя въ зорники вписать!

— Эхъ, государь!—поспѣшилъ сказать Малюта:—куда твоя милость ни велить вписать Максима, вездѣ готовъ онъ служить по указу твоему! Да поди домой, Максимъ,—поздно; скажи матери, чтобы не ждала меня; у насъ дѣло въ тюрьмѣ: Колычевыхъ пытаемъ. Поди, Максимъ, поди! Максимъ удалился. Царь велѣлъ позвать Серебрянаго.

Опричники ввели его съ связанными руками, безъ кафтана, вороты рубахи отстегнуть. За княземъ вошелъ главный палачъ, Терѣшка, засуча рукава, съ блестящимъ топоромъ въ рукахъ. Терѣшка вошелъ, потому что не зналъ, прощаетъ ли царь Серебрянаго или хочетъ только измѣнить родъ его казни.

— Подойди сюда, князь!—сказаль Іоаннъ.—Мои молодцы исторопились-было надъ тобой. Не прогнѣвайся. У нихъ ужъ таковъ обычай: не посмотря въ святцы, да и бухъ въ колоколь! Того не разочтуть, что казнить челоуѣка всегда успѣешь, а слетитъ голова, не приставишь. Спасибо Борису. Безъ него отравили-бъ тебя на тотъ свѣтъ; не у кого было-бъ и про Хомяка спросить. Повѣдай-ка, за что ты напалъ на него?

— За то, государь, что самъ онъ напалъ на безвинныхъ людей среди деревни. Не зналъ я тогда, что онъ слуга твой, и не слыхиваль до того про опричнину. Ъхаль я отъ Литвы къ Москвѣ обратнымъ путемъ, когда Хомякъ съ товарищи нагрянули на деревню и стали людей рѣзать!

— А кабы зналъ ты, что они мои слуги, побилъ бы ты ихъ тогда?

Царь пристально посмотрѣлъ на Серебрянаго. Князь на минуту задумался.

— И тогда побилъ бы, государь,—сказаль онъ просто-душно:—не повѣрилъ бы я, что они по твоему указу душегубствуютъ!

Іоаннъ вперилъ въ князя мрачный взоръ и долго не отвѣчалъ. Наконецъ онъ прервалъ молчаніе.

— Добрый твой отвѣтъ, Никита!—сказаль онъ, одобри-

тельно кивнувъ головой.—Не для того поставилъ я на Руси опричнину, чтобы слуги мои побивали людей безвинныхъ. Поставлены они, аки добрые псы, охранять отъ пыхающихъ волковъ овцы моя, дабы могъ сказать я на страшномъ судѣ Божиѣмъ по пророческому словеси: се азъ и дѣти, яже далъ ми Богъ! Добрый твой отвѣтъ. Скажу на весь мѣръ: ты да Борисъ—вы одни познали меня. Другіе не такъ мыслятъ: называютъ меня кровопійцею, а не вѣдаютъ того, что, проливая кровь, я заливаюсь слезами! Кровь видятъ всѣ: она красна, всякому бросается въ глаза; а сердечнаго плача моего никто не зрѣтъ: слезы безцвѣтно падаютъ мнѣ на душу, но, словно смола горячая, пробѣдаютъ, прожигаютъ ее насквозь по вся дни! (И царь при этихъ словахъ поднялъ взоръ свой къверху съ видомъ глубокой горести). Яко же древле Рахиль,—продолжалъ онъ (и глаза его закатились подъ самый лобъ):—яко же древле Рахиль, плачуще о дѣтяхъ своихъ, такъ я, многогрѣшный, плачу о моихъ озорникахъ и злодѣяхъ. Добрый твой отвѣтъ, Никита. Отпускаю тебѣ вину твою. Развяжите ему. Убирайся, Терѣшка, ты намъ не надобенъ... Или нѣтъ, погоди маленько!

Іоаннъ обратился къ Хомяку.

— Отвѣчай,—сказалъ онъ грозно:—что вы неистовымъ своимъ обычаемъ въ Медвѣдевкѣ чинили?

Хомякъ взглянулъ искоса на Терѣшку, потомъ на Серебрянаго, потомъ почесалъ затылокъ.

— Потравились маленько съ мужиками!—отвѣчалъ онъ полухитро, полудержко:—нечего грѣха таить; въ томъ виноваты, государь, что съ твоими опальниками потравились. Вѣдь деревня-то, государь, боярина Морозова!

Грозное выраженіе Іоанна смягчилось. Онъ усмѣхнулся.

— Что-жъ,—сказалъ онъ:—удоволенъ ты княжескими шелепугами? Я чай, будетъ съ тебя? Пожалуй, такъ ужъ и быть, и тебя прощу. Убирайся, Терѣшка,—видно, ужъ день такой выпалъ!

При милостивомъ обращеніи Іоанна къ Серебряному, шопотъ удовольствія пробѣжалъ между земскими боярами. Чуткое ухо царя услышало этотъ шопотъ, а подозрительный умъ объяснилъ его по-своему. Когда Хомякъ и Терѣшка вышли изъ палаты, Іоаннъ устремилъ свой пронзительный взоръ на земскихъ бояръ.

— Вы,—сказалъ онъ строго:—не думайте, глядя на судъ мой, что я вамъ началъ мирволить!—И въ то же

время въ безпокойной душѣ его зародилась мысль, что, пожалуй, и Серебряный припишетъ его милосердіе послабленію. Въ эту минуту онъ пожалѣлъ, что простилъ его, и захотѣлъ поправить свою ошибку.

— Слушай!—произнесъ онъ, глядя на князя:—я помиловалъ тебя сегодня за твое правдивое слово и прощенія моего назадъ не возьму. Только знай, что если будетъ на тебѣ какая новая вина, я взыщу съ тебя и старую. Ты же тогда, вѣдая за собою свою неправду, не захоти уходить въ Литву или къ хану, какъ иные чинятъ, а дай мнѣ теперь же клятву, что гдѣ бы ты ни былъ, ты вездѣ будешь ожидать наказанія, какое захочу положить на тебя.

— Государь, — сказалъ Серебряный:—жизнь моя въ рукѣ твоей. Хорониться отъ тебя не въ моемъ обычаѣ. Обѣщаю тебѣ, если будетъ на мнѣ какая вина, ожидать твоего суда и отъ воли твоей не уходить!

— Цѣлуй же мнѣ на томъ крестѣ!—сказалъ важно Іоаннъ, и, приподнимая висѣвшій у него на груди узорный крестъ, онъ подаль его Серебряному, съ косвеннымъ взглядомъ на земскихъ бояръ.

Среди общаго молчанія слышно было бряцаніе золотой цѣпи, когда Іоаннъ выпустилъ изъ рукъ изображеніе Спасителя, къ которому, перекрестившись, приложился Серебряный.

— Теперь ступай!—сказалъ Іоаннъ:—и молись премилостивой Троицѣ и всѣмъ святымъ угодникамъ, чтобы сохранили тебя отъ новой, хотя бы и легкой вины!

— Вы же, — прибавилъ онъ, глядя на земскихъ бояръ:—вы, слышавшіе нашъ уговоръ, не ждите новаго прощенія Никитѣ и не помыслите печаловаться мнѣ о немъ, если онъ въ другой разъ заслужитъ гнѣвъ мой!

Облекши такимъ образомъ возможность будущаго произвола надъ Серебрянымъ въ подобіе нравственнаго права, Іоаннъ выразилъ на лицѣ своемъ удовлетвореніе.

— Ступайте всѣ, — сказалъ онъ:—каждый къ своему дѣлу! Земскимъ вѣдать приказы попрежнему, а опричникамъ, избраннымъ слугамъ и полчанамъ моимъ помнить свое крестное цѣлованіе и не смущаться тѣмъ, что я сегодня простилъ Никиту: нѣсть бо въ сердцѣ моемъ лицепріятія ни къ ближнимъ ни къ дальнимъ!

Стали расходиться. Каждый побрелъ домой, унося съ собою кто страхъ, кто печаль, кто злобу, кто разныя надежды,

кто просто хмель въ головѣ. Слобода покрылась мракомъ; мѣсяць зарождался за лѣсомъ. Страшенъ казался темный дворець, съ своими глазами, теремками и гребнями. Онъ издали походилъ на чудовище, свернувшееся клубомъ и готовое вспрянуть. Одно незакрытое окно свѣтилось словно око чудовища. То была царская опочивальня. Тамъ усердно молился царь.

Молился онъ о тишинѣ на святой Руси, молился о томъ, чтобы далъ ему Господь поборотъ измѣну и непокорство, чтобы благословилъ его окончить дѣло великаго поту, сравнять сильныхъ со слабыми, чтобы не было на Руси одного выше другого, чтобы всѣ были въ равенствѣ, а онъ бы стоялъ одинъ надо всѣми, аки дубъ во чистомъ полѣ!

Молятся царь и кладетъ земные поклоны. Смотрятъ на него звѣзды въ окно косящатое, смотрятъ свѣтлыя, притуманившись,—притуманившись, будто думая: ахъ ты гоёй еси, царь Иванъ Васильевичъ! Ты затѣялъ дѣло не въ добрый часъ, ты затѣялъ насъ не спрашаючи: не расти двумъ колосьямъ въ уровень, не сравнять крутыхъ горъ со пригорками, не бывать на землѣ безбоярщинѣ!

ГЛАВА X.

Отецъ и сынъ.

Была уже ночь, когда Малюта, послѣ пытки Колычевыхъ, родственниковъ и друзей сведеннаго митрополита, вышелъ наконецъ изъ тюрьмы. Густыя тучи, какъ черныя горы, нависли надъ слободою и грозили непогодой. Въ домѣ Малюты всѣ уже спали. Не спалъ одинъ Максимъ. Онъ вышелъ навстрѣчу къ отцу.

— Батюшка,—сказалъ Максимъ:—я ждалъ тебя; мнѣ нужно переговорить съ тобою.

— О чемъ?—спросилъ Малюта и невольно отворотилъ взглядъ. Григорій Лукьяновичъ никогда не дрожалъ передъ врагомъ, но въ присутствіи Максима ему было неловко.

— Я завтра ѣду,—продолжалъ Максимъ:—прости, батюшка!

— Куда?—спросилъ Малюта, и этотъ разъ устремилъ тусклый взглядъ свой на Максима.

— Куда глаза глядятъ, батюшка; земля не клиномъ сошлась, мѣста довольно!

— Да что ты, съ ума спятилъ? И подлинно дурь на себя напустилъ! Что ты сегодня за объдомъ надѣлалъ? Какъ у тебя языкъ повернулся царю перечить? Знаешь ли, кто онъ и кто ты?

— Знаю, батюшка, и знаю, что онъ мнѣ за то спасибо сказалъ. А все же мнѣ нельзя оставаться.

— Ахъ ты самодуръ! Да откуда у тебя своя воля взялась? Что случилось съ тобой сегодня? Отчего ты теперь уѣзжать вздумалъ, когда царь тебя пожаловать изволилъ, съ начальными людьми сравнилъ? Отчего именно теперь?

— Мнѣ давно тяжело съ вами, батюшка, ты самъ знаешь, но я не довѣрялъ себѣ; съ самага дѣтства только и слышалъ отовсюду, что царева воля—Божья воля, что нѣтъ тяжелѣе грѣха, какъ думать иначе, чѣмъ царь. И отецъ Левкій, и всѣ попы слободскіе мнѣ на духу въ великій грѣхъ ставили, что я къ вамъ не мыслю. Поневолѣ иногда раздумье брало, правъ ли я одинъ противу всѣхъ васъ? Поневолѣ уѣзжать откладывалъ. А сегодня,—продолжалъ Максимъ, и румянецъ живо заигралъ на лицѣ его:—сегодня я понялъ, что я правъ! Какъ услышалъ князя Серебрянаго, какъ узналъ, что онъ твой объздъ за душегубство разбилъ и не заперся передъ царемъ въ своемъ правомъ дѣлѣ, но, какъ мученикъ, пошелъ за него на смерть.—тогда забилося къ нему сердце мое, какъ ни къ кому еще не бивалось, и вышло изъ мысли моей колебаніе, и стало мнѣ ясно, какъ день, что не на вашей сторонѣ правда!

— Такъ вотъ кто тебя съ толку сбиль!—вскричалъ Малюта, и безъ того озлобленный на Серебрянаго:—такъ вотъ кто тебя съ толку сбиль! Попадись онъ мнѣ только въ руки—не скорою смертью издохнетъ онъ у меня, собака!

— Господь сохранить его отъ рукъ твоихъ!—сказалъ Максимъ, дѣлая крестное знаменіе:—не попуститъ Онъ тебя все доброе на Руси погубить! Да,—продолжалъ, одушевляясь, сынъ Малюты:—лишь увидѣлъ я князя Никиту Романыча, понялъ, что хорошо-бъ жить вмѣстѣ съ нимъ, и захотѣлось мнѣ попроситься къ нему, но совѣстно подойти было: очи мои на него не поднимутся, пока буду эту одѣжу носить!

Малюта слушалъ сына, и два чувства спорили въ немъ между собою. Ему хотѣлось закричать на Максима, затопать на него ногами и привести его угрозами къ повиновенію, но невольное уваженіе сковывало его злобу. Онъ

понималъ чутьемъ, что угроза теперь не подѣйствуетъ, и въ низкой душѣ своей началъ искать другихъ средствъ, чтобъ удержать сына.

— Максимушка!—сказалъ онъ, принимая заискивающій видъ, насколько позволяло звѣрское лицо его:—не въ пору ты уѣзжать затѣляя! Твое слово понравилось сегодня царю. Хотя и напугалъ ты меня порядкомъ, да заступились, видно, святые угодники за насъ, умягчили сердце батюшки-государя. Въмѣсто чтобъ казнить, онъ похвалилъ тебя, и жалованья тебѣ прибавилъ, и собольею шубою пожаловалъ! Посмотри, коли ты теперь въ гору не пойдешь! А покаместъ, чѣмъ тебѣ здѣсь не житье?

Максимъ бросился въ ноги Малютѣ.

— Не житье мнѣ здѣсь, батюшка, не житье! Не по силамъ дома оставаться! Невмоготу слышать вой да плачь по вся дни, невтерпѣжъ видѣть, что отецъ мой...

Максимъ остановился.

— Ну?—сказалъ Малюта.

— Что отецъ мой—палачъ!—произнесъ Максимъ и опустилъ взоръ, какъ бы испугавшись, что могъ сказать отцу, такое слово.

Но Малюта не смутился этимъ названіемъ.

— Палачъ палачу рознь!—произнесъ онъ, покосившись въ уголъ избы.—Ино рядовой человекъ, ино начальникъ; ино простыхъ воровъ казнить, ино бояръ, что подтачиваютъ царскій престолъ и всему государству шатанье готовятъ. Я въ разбойный приказъ не вступаю; мой топоръ только и сѣчетъ, что измѣнничьи боярскія головы!

— Замолчи, отецъ!—сказалъ, вставая, Максимъ:—не возмущай мнѣ сердца такую рѣчью! Кто изъ тѣхъ, кого погубилъ ты, умышлялъ на царя? Кто изъ нихъ замутилъ государство? Не по винамъ, а по злобѣ своей сѣчешь ты боярскія головы! Кабы не ты, и царь бы былъ милостивѣе. Но вы ищете измѣны, вы пытками вымучиваете извѣты, вы, вы—всей крови заводчики! Нѣтъ, отецъ, не гнѣви Бога, не клевети на бояръ, а скажи лучше, что безъ разбора хочешь въ конецъ извести боярскій корень!

— Да ты-то съ чего за нихъ заступаешься?—сказалъ съ злобною усмѣшкой Малюта.—Или тебѣ весело видѣть, что ты какъ ни статень, какъ ни красенъ собой, а все остаешься между ними послѣдній? А чѣмъ любой изъ нихъ не по плечу тебѣ? Чѣмъ гордятся они передъ нами? Изъ другой, что ли, земли Господь ихъ вылѣпилъ? Коли

богачествомъ гордятся, такъ дайте срокъ, государи! Царь не забываетъ вѣрныхъ слугъ своихъ; а какъ дойдутъ до смертной казни Колычевы, такъ животы ихъ не кому другому, а намъ же достанутся. Довольно я надъ ними, окаянными, въ застѣнкѣ-то промучился: жиловаты, собаки, нечего сказать!

Злоба закипѣла въ сердцѣ Малюты, но онъ еще надѣялся убѣдить Максима и скривилъ ротъ свой въ ласковую улыбку. Не личила такая улыбка Малютѣ, и, глядя на нее, Максиму сдѣлалось страшно.

Но Малюта этого не замѣтилъ.

— Максимушка,—сказалъ онъ:—на кого же я денежки-то копилъ? На кого тружусь и работаю? Не уѣзжай отъ меня, останься со мной! Ты еще молодъ, не поспѣлъ еще въ ратный строй. Не уѣзжай отъ меня! Вспомни, что я тебѣ отецъ! Какъ посмотрю на тебя, такъ и прояснится на душѣ, словно царь меня похвалилъ или къ рукѣ пожаловалъ, а обидь тебя кто,—такъ, кажется, и съѣлъ бы живого!

Максимъ молчалъ. Малюта постарался придать лицу своему самое нѣжное выраженіе.

— Ужели ты, Максимушка, вовсе не любишь меня? ужели ничего ко мнѣ въ сердцѣ не шелохнется?

— Ничего, батюшка!

Малюта подавилъ свою злобу.

— А царь что скажетъ, когда узнаетъ про твой отъѣздъ, коли подумаетъ, что ты отъ него уѣхалъ?

— Отъ него-то я и ѣду, батюшка. Меня страхъ беретъ. Знаю, что Богъ велитъ любить его, а какъ посмотрю иной разъ, какія дѣла онъ творить, такъ все нутро во мнѣ перевернется. И хотѣлось бы любить, да силъ не хватаетъ. Какъ уѣду изъ слободы, да не будетъ у меня безвинной крови передъ очами, тогда, дастъ Богъ, снова царя полюблю. А не удастся полюбить, и такъ ему послужу, только бы не въ опричникахъ!

— А что будетъ съ матерью твоею?—сказалъ Малюта, прибѣгая къ послѣднему средству.—Не пережить ей такого горя! Убьешь ты старуху! Посмотри, какая она, голубушка, хвораая!

— Премилостивый Богъ не оставитъ матери моей,—отвѣтилъ со вздохомъ Максимъ.—Она проститъ меня.

Малюта началъ ходить по избѣ взадъ и впередъ.

Когда остановился онъ передъ Максимомъ, ласковое вы-

раженіе, къ которому онъ приневолилъ черты свои, совершенно исчезло. Грубое лицо его являло одну непреклонную волю.

— Слушай, молокососъ, — сказалъ онъ, перемѣняя приемы и голосъ: — доселѣ я упрасивалъ тебя, теперѣ скажу вотъ что: нѣтъ тебѣ на отъѣздъ моего благословенія. Не пущу тебя ѣхать. А не уймешься, — завтра же заставлю своими руками злодѣевъ царскихъ казнить. Авось, когда самъ окровавишься, бросишь быть бѣлоручкой, перестанешь отцомъ гнущаться!

Поблѣднѣлъ Максимъ отъ рѣчи Малюты и не отвѣчалъ ничего. Зналъ онъ, что крѣпко слово Григорія Лукьяновича, и что не переломить ему отцовской воли.

— Вишь, — продолжалъ Малюта: — разговорился я съ тобой. Скоро ночь глубокая, пора къ царю ключи отъ тюрьмы отнести. Вотъ и дождь полилъ! Подай мнѣ терликъ. Смотри, пожалуй, какой сталъ прыткій! «Ѣхать хочу, не житье мнѣ здѣсь!» Дай ему воли — пожалуй, и меня на свой ладъ переименовать! Нѣтъ, братъ, рано крылышки распустилъ! Я и не такихъ, какъ ты, унималъ! Я-те научу слушаться! Эхъ, погода, погода! Подай мнѣ шапку! А молонья-то, молонья! Ишь какъ небо разѣвается, словно вся слобода загорѣлась. Заволоки окно да ступай спать, авось къ утру выкинешь дурь изъ головы. А ужъ до твоего Серебрянаго я доберусь! Ужъ я ему это припомню!

Малюта вышелъ. Оставшись одинъ, Максимъ задумался. Все было тихо въ домѣ; лишь на дворѣ гроза шумѣла, да время отъ времени вѣтеръ, ворвавшись въ окно, качалъ цѣпи и кандалы, висѣвшія на стѣнѣ, и онѣ, ударя одна о другую, звенѣли зловѣщимъ желѣзнымъ звономъ. Максимъ подошелъ къ лѣстницѣ, которая вела въ верхнее жильѣ, къ его матери. Онъ наклонился и сталъ прислушиваться. Все молчало въ верхнемъ жильѣ. Максимъ тихонько взошелъ по крутымъ ступенямъ и остановился передъ дверью, за которою покоилась мать его.

— Господи Боже мой! — сказалъ Максимъ про себя: — Ты зришь мое сердце, вѣдаешь мои мысли! Ты знаешь, Господи, что я не по гордости моей, не по духу строптивому ослушаюсь батюшки! Прости меня, Боже мой, аще преступаю Твою заповѣдь! И ты, моя матушка, прости меня! Покидаю тебя безъ вѣдома твоего, уѣзжаю безъ благословенія; знаю, матушка, что надорву тебя сердцемъ,

но ты-бъ не отпустила меня вольною волей! Прости меня, государыня-матушка, не увидишь ты меня болѣ!

Максимъ припалъ къ порогу свѣтлицы и облобызаль его. Потомъ онъ нѣсколько разъ перекрестился, сошелъ съ лѣстницы и вышелъ на дворъ. Дождь лилъ такъ сердито, какъ бы злился на весь людъ Божій. На дворѣ не было живой души. Максимъ вошелъ въ конюшню; конюхи спали. Онъ самъ вывелъ изъ стойла любимаго коня и осѣдлалъ его. Большая цѣпная собака, прикованная у входа, вылѣзла изъ конуры и стала визжать и рваться, какъ бы чуя съ нимъ разлуку. То былъ косматый песъ изъ породы пастушьихъ волкодавовъ. Длинная и жесткая шерсть дымчато-бурого цвѣта падала ему въ безпорядкѣ на черную морду, такъ что почти вовсе не было видно умныхъ глазъ его.

Максимъ погладилъ собаку, а она положила ему свои черныя лапы на плечи и стала лизать его лицо.

— Прощай, Буянь!—сказалъ Максимъ:—стереги домъ нашъ, служи вѣрно матери!—Онъ вскочилъ въ сѣдло, выгѣхалъ въ ворота и ускакалъ отъ родительскаго дома.

Еще не доскакалъ онъ до земляного вала, какъ услышалъ громкій лай и увидѣлъ Буяна, который прыгаль вокругъ коня, радуясь, что сорвался съ цѣпи и что можетъ сопутствовать своему господину.

ГЛАВА XI.

Ночное шествіе.

Пока Малюта разговаривалъ съ сыномъ, царь продолжалъ молиться. Уже потъ катился съ лица его; уже кровавые знаки, напечатлѣнные на высокомъ челѣ прежними земными поклонами, яснѣе обозначались отъ новыхъ поклоновъ; вдругъ шорохъ въ избѣ заставилъ его обернуться. Онъ увидѣлъ свою мамку, Онуфреву.

Стара была его мамка. Взялъ ее въ Верхъ еще блаженной памяти великій князь Василій Іоанновичъ; служила она еще Еленѣ Глинской. Іоаннъ родился у нея на рукахъ; у нея же на рукахъ благословилъ его умирающій отецъ. Говорили про Онуфреву, что многое ей извѣстно, о чемъ никто и не подозрѣваетъ. Въ малолѣтство царя Глинскіе боялись ее, Шуйскіе и Бѣльскіе старались всячески угождать ей.

Много сокрытаго узнавала Онуфревна посредствомъ га-

данья и никогда не ошибалась. Въ самое величіе князя Телепнева—Іоанну тогда было четыре года—она предсказала князю, что онъ умретъ голодною смертію. Такъ и сбылось. Много лѣтъ протекло съ тѣхъ поръ, а еще свѣжо было въ памяти стариковъ это предсказанье.

Теперь Онуфренинъ добивалъ чуть ли не десятый десятокъ. Она согнулась почти вдвое; кожа на лицѣ ея такъ сморщилась, что стала походить на древесную кору, и какъ на старой корѣ пробивается мохъ, такъ на бородѣ Онуфренины пробивались волосы сѣдыми кочьями. Зубовъ у нея давно уже не было; глаза, казалось, не могли видѣть; голова судорожно шаталась.

Онуфренина опиралась костлявою рукою на клюку. Долго смотрѣла она на Іоанна, вбирая въ себя пожелтѣвшія губы, какъ будто бы что-то жевала или бормотала.

— Чтѣ?—сказала наконецъ мамка глухимъ, дребезжащимъ голосомъ:—молишься, батюшка? Молись, молись, Иванъ Васильевичъ! Много тебѣ еще стмливаться! Еще-бъ одни старые грѣхи лежали на душѣ твоей! Господь-то милостивъ, авось и простилъ бы! А то вѣдь у тебя чтѣ ни день, то новый грѣхъ, а иной разъ и по два и по три на день придется!

— Полно, Онуфренина, — сказалъ царь, вставая: — сама не знаешь, чтѣ говоришь!

— Не знаю, чтѣ говорю! Да развѣ я изъ ума выжила, что ли?

И безжизненные глаза старухи внезапно заблестали.

— Да чтѣ ты сегодня за столомъ сдѣлалъ? За что отравилъ боярина-то? Ты думалъ, я и не знаю! Чтѣ? Чего брови-то хмуришь? Вотъ погоди, какъ пробьетъ твой смертный часъ, погоди только! Ужъ привяжутся къ тебѣ грѣхи твои, какъ тысячи тысячъ пудовъ; ужъ потянутъ тебя на дно адаво! А дьяволы-то подскочатъ да и подхватятъ тебя на крючья!

Старуха опять принялась сердито жевать.

Усердная молитва приготовила царя къ мыслямъ набожнымъ. Раздражительное воображеніе не разъ уже представляло ему картину будущаго возмездія, но сила воли одолевала страхъ загробныхъ мученій. Іоанни увѣрялъ себя, что страхъ этотъ и даже угроженія совѣсти возбуждаемы въ немъ врагомъ рода человѣческаго, чтобы отвлечь помазанника Божія отъ высокихъ его начинаній. Хитростямъ дьявола царь противопоставилъ молитву, но

часто изнемогалъ подъ жестокимъ напоромъ воображенія. Тогда отчаяніе схватывало его какъ желѣзными когтями. Неправость дѣлъ его являлась во всей наготѣ, и страшно зіяли передъ нимъ адскія бездны. Но это продолжалось недолго. Вскорѣ Іоаннъ негодовалъ на свое малодушіе. Въ гнѣвъ на самого себя и на духа тьмы, онъ опять, на зло аду и наперекоръ совѣсти, начиналъ дѣло великой крови, великаго поту, и никогда жестокость его не достигала такой степени, какъ послѣ невольнаго изнеможенья.

Теперь мысль объ адѣ, оживленная наступающею грозой и пророческимъ голосомъ Онуфревы, проняла его насквозь лихорадочною дрожью. Онъ сѣлъ на постель. Зубы его застучали одинъ о другой.

— Ну что, батюшка? — сказала Онуфревна, смягчая свой голосъ: — что съ тобой случилось? Захворалъ, что ли? Такъ и есть, захворалъ! Напугала же я тебя! Да нужды нѣтъ, утѣшься, батюшка: хотъ и велики грѣхи твои, а благодать-то Божія еще больше! Только покайся, да впередъ не грѣши. Вотъ и я молюсь, молюсь о тебѣ, и денно и ношно, а теперь и того болѣ стану молиться! Что тутъ говорить? Ужъ лучше сама въ рай не попаду, да тебя отмолю!

Іоаннъ взглянулъ на свою мамку, — она какъ будто улыбалась, но непривѣтлива была улыбка на суровомъ лицѣ ея.

— Спасибо, Онуфревна, спасибо; мнѣ легче; ступай себѣ съ Богомъ!

— То-то легче! Какъ обнадежишь тебя, куда и страхъ дѣвался! — ужъ и гнать меня вздумалъ: ступай, молъ, съ Богомъ! А ты на долготерпѣніе-то Божіе слишкомъ не рассчитывай, батюшка. На тебя и у самого у Господа терпѣнія-то не станетъ. Отречется Онъ отъ тебя, посмотри, а сатана-то обрадуется, да шархъ! — и войдетъ въ тебя. Ну вотъ, опять дрожать началъ! Не худо-бъ тебѣ сбитеньку испить. Испей сбитеньку, батюшка! Бывало, и родитель твой на ночь сбитень пивалъ, царствіе ему небесное! И матушка твоя, упокой, Господи, душу ея, любила сбитень. Въ сбитнѣ-то и опоили ее проклятые Шуйскіе!

Старуха какъ будто забылась. Глаза ея померкли; она опять принялась жевать губами, непрерывно шатая головой.

Вдругъ что-то застучало въ окно. Иванъ Васильевичъ вздрогнулъ.

Старуха перекрестилась дрожащею рукой.

— Вишь,—сказала она:—дождь полилъ! И молонья блистать начинаетъ! А вотъ и громъ, батюшка,—помилуй насъ, Господи!

Гроза усиливалась все болѣе и скоро разыгралась по небу непрерывными перекатами, безпрестанною молніей.

При каждомъ ударѣ грома Іоаннъ вздрагивалъ.

— Вишь какой у тебя ознобъ, батюшка! Вотъ погоди маленько, я велю тебѣ сбитеньку заварить.

— Не надо, Онуфревна, я здоровъ...

— Здоровъ! Да на тебѣ лица не видать. Ты-бъ на постелю-то легъ, одѣяломъ-то прикрылся бы. И что-й-то у тебя за постель, право! Доски голыя. Охота тебѣ! Царское ли это дѣло! Вѣдь это хорошо монаху, а ты не монахъ какой!

Іоаннъ не отвѣчалъ. Онъ къ чему-то прислушивался.

— Онуфревна,—сказалъ онъ вдругъ съ испугомъ:—кто тамъ ходитъ въ сѣняхъ? Я слышу шаги чьи-то!

— Христосъ съ тобой, батюшка!—кому теперь ходить? Послышалось тебѣ.

— Идетъ, идетъ кто-то! Идетъ сюда!.. Посмотри, Онуфревна!

Старуха отворила дверь. Холодный вѣтеръ пахнулъ въ избу.

За дверью показался Малюта.

— Кто это?—спросилъ царь, вскакивая.

— Да твой рыжій пёсъ, батюшка,—отвѣчала мамка, сердито глядя на Малюту:—Гришка Скуратовъ; вишь какъ напугалъ, проклятый!

— Лукьянычъ!—сказалъ царь, обрадованный прѣходомъ любимца:—добро пожаловать, откуда?

— Изъ тюрьмы, государь: былъ у розыску, ключи припесъ!

Малюта низко поклонился царю и покосился на мамку.

— Ключи!—проворчала старуха:—ужъ припекутъ тебя на томъ свѣтѣ раскаленными ключами, сатана ты этакой! Ей-Богу, сатана! И лицо-то дявольское! Ужъ кому другому, а тебѣ не миновать огня вѣчнаго! Будешь, Гришка, лизать сковороды горячія за всѣ клеветы свои! Будешь, проклятый, въ смолѣ кипѣть, помани мое слово!

Молнія освѣтила грозящую старуху, и страшна была она съ подъятою клюкой, съ сверкающими глазами.

Самъ Малюта нѣсколько струсилъ; но Іоанна ободрило присутствіе любимца.

— Не слушай ея, Лукьянычъ,—сказалъ онъ:—знай свое дѣло, не смотри на бабы толки. А ты ступай себѣ, старая дура, оставь насъ!

Глаза Онуфревы снова засверкали.

— Старая дура?—повторила она:—я старая дура? Вспомнете вы меня на томъ свѣтѣ, оба вспомнете! Всѣ твои поплечники, Ваня, всѣ примутъ мзду свою, еще въ сей жизни примутъ,—и Грязной, и Басмановъ, и Вяземскій: коемуждо воздастся по дѣламъ его, а этотъ,—продолжала она, указывая клюкою на Малюту:—этотъ не приметъ мзды своей; по его дѣламъ нѣтъ и мѣки на землѣ; его мѣка на днѣ адовомъ; тамъ ему и мѣсто готово; ждуть его дьяволы и радуются ему. И тебѣ есть тамъ мѣсто, Ваня, великое, теплое мѣсто!

Старуха вышла, шаркая ногами и стуча клюкой.

Іоаннъ былъ блѣднѣнъ. Малюта не говорилъ ни слова. Молчаніе продолжалось довольно долго.

— Что-жъ, Лукьянычъ,—сказалъ наконецъ царь:—визнѣтся Колычевы?

— Нѣтъ еще, государь. Да ужъ повинятся, у меня не откашляются!

Іоаннъ вошелъ въ подробности вопроса. Разговоръ о Колычевыхъ далъ его мыслямъ другое направленіе.

Ему показалось, что онъ можетъ заснуть. Отославъ Малюту, онъ легъ на постель и забылся.

Его разбудилъ какъ будто внезапный толчокъ.

Изба слабо освѣщалась образными лампадами. Лучъ мѣсяца, проникая сквозь низкое окно, игралъ на расписанныхъ изразцахъ лежанки. За лежанкой кричалъ сверчокъ. Мышь грызла гдѣ-то дерево.

Среди этой тишины Ивану Васильевичу опять сдѣлалось страшно.

Вдругъ ему почудилось, что приподнимается половица и смотритъ изъ-подъ нея отравленный бояринъ.

Такія видѣнія случались съ Іоанномъ нерѣдко. Онъ приписывалъ ихъ адскому мороченью. Чтобы прогнать призракъ, онъ перекрестился.

Но призракъ не исчезъ, какъ то случалось прежде. Мертвый бояринъ продолжалъ смотрѣть на него испод-

любья. Глаза старика были такъ же на выкатѣ, лицо такъ же сине, какъ за обѣдомъ, когда онъ выпилъ присланную Иоанномъ чашу.

«Опять навожденіе!—подумалъ царь:—но не поддамся я прелести сатанинской, сокрушу хитрость дьявольскую. Да воскреснетъ Богъ и да расточатся врази его!»

Мертвецъ медленно вытянулся изъ-подъ полу и приблизился къ Иоанну.

Царь хотѣлъ закричать, но не могъ. Въ ушахъ его страшно звенѣло.

Мертвецъ наклонился передъ Иоанномъ.

— Здравъ буди, Иване!—произнесъ глухой нечеловѣчскій голосъ:—се кланяюся тебѣ, иже погубилъ еси мя безвинно!

Слова эти отозвались въ самой глубинѣ души Иоанна. Онъ не зналъ, отъ призрака ли ихъ слышитъ, или собственная его мысль выразилась ощутительнымъ для уха звукомъ.

Но вотъ приподнялась другая половица; изъ-подъ нея показалось лицо окольного Данилы Адашева, казненнаго Иоанномъ четыре года тому назадъ.

Адашевъ также вытянулся изъ-подъ полу, поклонился царю и сказалъ:

— Здравъ буди, Иване! се кланяюся тебѣ, иже казнилъ мя еси безвинно!

За Адашевымъ явилась боярыня Марія, казненная вмѣстѣ съ дѣтьми. Она поднялась изъ-подъ полу съ пятью сыновьями. Всѣ поклонились царю, и каждый сказалъ:

— Здравъ буди, Иване! се кланяюся тебѣ!

Потомъ показали князь Курлятевъ, князь Оболенскій, Никита Шереметевъ и другіе казненные или убитые Иоанномъ.

Изда наполнилась мертвецами. Всѣ они низко кланялись царю, всѣ говорили:

— Здравъ буди, здравъ буди, Иване! се кланяемся тебѣ!

Вотъ поднялись монахи, старцы, инокини, всѣ въ черныхъ ризахъ, всѣ блѣдные, кровавые.

Вотъ показали воины, бывшіе съ царемъ подъ Казанью.

На нихъ зіяли страшныя раны, но не въ бою добытыя, а нанесенныя палачами.

Вотъ явились дѣвы въ растерзанной одеждѣ и моло-

дыя жены съ грудными младенцами. Дѣти протягивали къ Іоанну окровавленные ручонки и лепетали:

— Здравъ буди, здравъ буди, Иване, иже погубилъ еси насъ безвинно!

Изба все болѣе наполнялась призраками. Царь не могъ уже различать воображенія отъ дѣйствительности.

Слова призраковъ повторялись стократными отголосками. Отходныя молитвы и панихидное пѣніе въ то же время раздавались надъ самыми ушами Іоанна. Волосы его стояли дыбомъ.

— Именемъ Бога живаго!—произнесъ онъ:—если вы бѣсы, насланные вражьей силою,—сгиньте! Если вы вправду души казненныхъ мною—дожидайтесь страшнаго суда Божія! Господь меня съ вами разсудить!

Взвыли мертвецы и закружились вокругъ Іоанна, какъ осенніе листья, гонимые вихремъ. Жалобнѣе раздалось панихидное пѣніе; дождь опять застучалъ въ окно, и среди шума вѣтра царю послышались какъ будто звуки трубъ и голосъ, зывающій:

— Иване, Иване! на судъ, на судъ!

Царь громко вскрикнулъ. Спальники вбѣжали изъ со-сѣднихъ покоевъ въ опочивальню.

— Вставайте!—закричалъ царь:—кто спитъ теперь! Насталъ послѣдній день, насталъ послѣдній часъ! Всѣ въ церковь! Всѣ за мной!

Царедворцы засуетились. Раздался благовѣсть. Только-что уснувшіе опричники услышали знакомый звонъ, вскочили съ палатей и спѣшили одѣться.

Многіе изъ нихъ пировали у Вяземскаго. Они сидѣли за кубками и пѣли удалыя пѣсни. Услышавъ звонъ, они вскочили и надѣли черныя рясы поверхъ богатыхъ кафтановъ, а головы накрыли высокими шляками.

Вся слобода пришла въ движеніе. Церковь Божіей Матери ярко освѣтилась. Встревоженные жители бросились къ воротамъ и увидѣли множество огней, блуждающихъ во дворцѣ изъ покоя въ покой. Потомъ огни образовали длинную цѣпь, и шествіе потянулось змѣею по наружнымъ переходамъ, соединявшимъ дворецъ съ храмомъ Божіимъ.

Всѣ опричники, одѣтые однолично въ шляки и черныя рясы, несли смоляные свѣточы. Блескъ ихъ чудно игралъ на рѣзныхъ столбахъ и на стѣнныхъ украшеніяхъ. Вѣтеръ раздувалъ рясы, а лунный свѣтъ вмѣстѣ съ огнемъ отражался на золотѣ, жемчугѣ и дорогихъ каменьяхъ.

Впереди шелъ царь, одѣтый инокомъ, билъ себя въ грудь и взывалъ, громко рыдая:

— Боже, помилуй мя грѣшнаго! Помилуй мя, смраднаго пса! Помилуй мою скверную голову! Упокой, Господи, души побитыхъ мною безвинно!

У преддверія храма Іоаннъ упалъ въ изнеможеніи.

Свѣточи озарили старуху, сидѣвшую на ступеняхъ. Она протянула къ царю дрожащую руку.

— Встань, батюшка!—сказала Онуфревна:—я помогу тебѣ. Давно я жду тебя. Войдемъ, Ваня, помолимся вмѣстѣ!

Двое опричниковъ подняли царя подъ руки. Онъ вошелъ въ церковь.

Новыя шествія, также въ черныхъ рясахъ, также въ высокихъ шлякахъ, спѣшили по улицамъ съ зажженными свѣточами. Храмовыя врата поглощали все новыхъ и новыхъ опричниковъ, и исполинскіе лики святыхъ смотрѣли на нихъ, негодуя, съ высоты стѣнъ и главъ церковныхъ.

Среди ночи, дотолѣ безмолвной, раздаюся пѣніе нѣсколькихъ сотъ голосовъ, и далеко слышны были звонъ колокольный и протяжные псалмы.

Узники въ темницахъ вскочили, гремя цѣпями, и стали прислушиваться.

— Это царь заутреню служить!—сказали они.—Умягчи, Боже, его сердце, вложи милость въ душу его!

Маленькія дѣти въ слободскихъ домахъ, спавшія близъ матерей, проснулись въ испугъ и подняли плачь.

Иная мать долго не могла унять своего ребенка.

— Молчи!—говорила она наконецъ:—молчи, не то Малюта услышитъ!

И при имени Малюты ребенокъ переставалъ плакать, въ испугъ прижимался къ матери, и среди ночного безмолвія раздавались опять лишь псалмы опричниковъ да безпрерывный звонъ колокольный.

ГЛАВА XII.

К л е в е т а .

Солнце взошло, но не радостное утро настало для Малюты. Возвратясь домой, онъ не нашелъ сына и догадался, что Максимъ навсегда бросилъ слободу. Велика была ярость Григорья Лукьяныча. Во всѣ концы поска-

кала погоня. Коиюховъ, проспавшихъ отъѣздъ Максима, Малюта велѣлъ тотчасъ вкинуть въ темницу.

Нахмура брови, стиснувъ зубы, ѣхалъ онъ по улицѣ и раздумывалъ: доложить ли царю или скрыть отъ него бѣгство Максима.

Конскій топотъ и веселая молвь послышались за его спиною. Малюта оглянувся. Царевичъ съ Басмановымъ и толпою молодыхъ удалцовъ возвращался съ утренней прогулки. Рыхлая земля размокла отъ дождя, кони ступали въ грязи по самыя бабки. Завидѣвъ Малюту, царевичъ пустилъ своего аргамака вскачь и обрызгалъ грязью Григорія Лукьяновича.

— Кланяюсь тебѣ земно, бояринъ Малюта!—сказалъ царевичъ, останавливая коня.—Встрѣтили мы тотчасъ твою погоню. Видно, Максиму солоно пришлось, что онъ отъ тебя тягу далъ. Али ты, можетъ, самъ послалъ его къ Москвѣ за боярскою шапкой, да потомъ раздумалъ?

И царевичъ захохоталъ.

Малюта, по обычаю, слѣзъ съ коня. Стоя съ обнаженною головою, онъ всею ладонью стиралъ грязь съ лица своего. Казалось, ядовитые глаза его хотѣли пронзить царевича.

— Да что онъ грязь-то стираетъ?—замѣтилъ Басмановъ, желая подслужиться царевичу:—добро на комъ другомъ, а на немъ незамѣтно!

Басмановъ говорилъ вполголоса, но Скуратовъ его услышалъ. Когда вся толпа, смѣясь и разговаривая, ускакала за царевичемъ, онъ надѣлъ шапку, влѣзъ опять на коня и шагомъ поѣхалъ ко дворцу.

«Добро!—думалъ онъ про себя:—дайте срокъ, государи, дайте срокъ!» И поблѣднѣвшія губы его скривились въ улыбку, и въ сердцѣ, уже раздраженномъ сыновнимъ побѣгомъ, медленно созрѣвало надежное мщеніе неосторожныхъ оскорбителямъ.

Когда Малюта вошелъ во дворецъ, Иванъ Васильевичъ сидѣлъ одинъ въ своемъ покоѣ. Лицо его было блѣдно, глаза горѣли. Черную рясу замѣнилъ онъ желтымъ становымъ кафтаномъ, стеганымъ полосами и подбитымъ голубою бахтой. Восемь шелковыхъ завязокъ съ длинными кистями висѣли вдоль разрѣза. Посохъ и колпакъ, украшенный большимъ изумрудомъ, лежали передъ царемъ на столѣ. Ночныя видѣнія, безпрерывная молитва, отсутствіе сна не истощили силъ Юанновыхъ, но лишь привели

его въ высшую степень раздражительности. Все испытанное ночью опять представилось ему обмороченьемъ дьявола. Царь стыдился своего страха.

— Врагъ имени Христова, — думалъ онъ: — упорно перечить мнѣ и помогаетъ моимъ злодѣямъ. Но не дамъ ему надо мною тѣшиться! Не устращуся его наводненій! Покажу ему, что не по плечу онъ себѣ борца нашель!»

И рѣшился царь карать попрежнему измѣнниковъ и предавать смерти злодѣевъ своихъ, хотя были-бъ ихъ тысячи.

И сталъ онъ мыслію пробѣгать подданныхъ и между ними искать предателей.

Каждый взглядъ, каждое движеніе теперь казались ему подозрительными.

Онъ припоминалъ разныя слова своихъ приближенныхъ и въ словахъ этихъ искалъ ключа къ заговорамъ. Самые родные не избѣжали его подозрѣній.

Малюта засталъ его въ состояніи, похожемъ на лихорадочный бредъ.

— Государь, — сказалъ, помолчавъ, Григорій Лукьяновичъ: — ты велишь пытать Колычевыхъ про новыхъ измѣнниковъ. Ужъ положишь на меня. Я про все заставлю Колычевыхъ съ пытокъ рассказать. Одного только не сумѣю: не сумѣю заставить ихъ назвать твоего наибольшаго супротивника!

Царь съ удивленіемъ взглянулъ на любимца.

Въ глазахъ Малюты было что-то необыкновенное.

— Оно, государь, дѣло такое, — продолжалъ Скуратовъ, и голосъ его измѣнился: — что и глазъ видить и ухо слышать, а вымолвить языкъ не поворотится...

Царь смотрѣлъ на него вопрошающимъ окомъ.

— Вотъ ты, государь, примѣрно, ужъ много воровъ казнилъ, а измѣна все еще на Руси не вывелась. И еще ты столько же казнишь, и вдесятеро болѣе, а измѣны все не избудешь!

Царь слушалъ и не догадывался.

— Оттого, государь, не избыть тебѣ измѣны, что ты рубишь у нея сучья да вѣтви, а стволъ-то самый и съ корнемъ стоитъ здоровехонекъ!

Царь все еще не понималъ, но слушалъ съ возрастающимъ любопытствомъ.

— Видишь, государь, какъ бы тебѣ сказать? Вотъ, примѣрно, вспомни, когда ты при смерти лежалъ, — дай

Богъ тебѣ много лѣтъ здравствовать!—а бояре-то на тебя труднаго заговоръ затѣяли. Вѣдь у нихъ былъ тогда старшой, примѣрно, братецъ твой Володимиръ Андреичъ!

«А!—подумалъ царь:—такъ вотъ чтó значили мои ночныя видѣнія! Врагъ хотѣлъ помрачить разумъ мой, чтобы убоялся я сокрушить замыслы брата. Но будетъ не такъ. Не пожалѣю и брата!»

— Говори,—сказалъ онъ, обращаясь грозно къ Малютѣ:—говори, чтó знаешь про Володимира Андреича!

— Нѣтъ, государь, моя рѣчь теперь не про Володимира Андреича. Въ немъ я уже того, не чаю, чтобы онъ что-либо надъ тобой учинилъ. И бояре къ нему теперь уже не мыслятъ. Давно пересталъ онъ подыскиваться подъ тобою царства. Моя рѣчь не про него.

— Про кого же?—спросилъ царь съ удивленіемъ, и черты его судорожно задвигались.

— Видишь, государь: Володимиръ-то Андреичъ раздумалъ государство мутить, да бояре-то не раздумали. Они себѣ на умѣ: не удалось, молъ, его на царство посадить, такъ мы посадимъ...

Малюта замаялся.

— Кого?—спросилъ царь, и глаза его запылали.

Малюта позеленѣлъ.

— Государь! Не все пригоже выговаривать. Нашъ братъ думай да гадай, а языкъ держи за зубами.

— Кого?—проговорилъ Іоаннъ, вставая съ мѣста.

Малюта медлилъ отвѣтомъ.

Царь схватилъ его за воротъ обѣими руками, придвинулъ лицо его къ своему лицу и впился въ него глазами.

Ноги Малюты стали подкашиваться.

— Государь,—сказалъ онъ вполголоса:—ты на него не гнѣвайся, вѣдь онъ не самъ вздумалъ!

— Говори!—произнесъ хриплымъ шопотомъ Іоаннъ и стиснулъ крѣпче воротъ Малюты.

— Ему-то и на умѣ бы не взбрело,—продолжалъ Малюта, избѣгая царскаго взора:—ну, а должно-быть, подбили его. Кто къ нему поближе, тотъ и подбилъ. А онъ, грѣшный человекъ, подумалъ себѣ: немного позже, немного ранѣ, все тѣмъ же кончится.

Царь началъ догадываться. Онъ сдѣлался блѣднѣе. Пальцы его стали разгибаться и выпускать воротъ Малюты.

Малюта оправился. Онъ понялъ, что настала пора для рѣшительнаго удара.

— Государь!—сказалъ онъ вдругъ рѣзко:—не ищи измѣны далеко. Супротивникъ твой сидитъ супротивъ тебя, онъ пьетъ съ тобой съ одного ковша, ѣстъ съ тобой съ одного блюда, платье носить съ одного плеча.

Замолчалъ Скуратовъ и, полный ожиданія, рѣшился устремить на царя кровавые глаза свои.

Замолчалъ и царь. Руки его опустились. Понялъ онъ наконецъ Малюту.

Въ это мгновеніе раздались на дворѣ радостные крики.

Еще въ самое то время, какъ начался разговоръ между царемъ и Скуратовымъ, царевичъ съ своими окольными вѣхалъ во дворъ, гдѣ ожидали его торговые люди черныхъ сотенъ и слободъ, пришедшіе отъ Москвы съ хлѣбомъ-солью и съ челобитьемъ.

Увидѣвъ царевича, они всѣ стали на колѣни.

— Чего вы просите, аршинники?—спросилъ небрежно царевичъ.

— Батюшка!—отвѣчали старшины:—пришли мы плакаться твоей милости! Будь намъ заступникомъ! Умилосердись надъ нашими головами! Разоряютъ насъ совѣмъ опричники, заѣдаютъ и съ женами и съ дѣтьми.

— Вишь, дурачье!—сказалъ царевичъ, обращаясь съ усмѣшкой къ Басманову.—Они-бъ хотѣли и женъ и товаръ про себя однихъ держать! Да чего вы расхныкались? Ступайте себѣ домой; я, пожалуй, попрошу батюшку за васъ, дураковъ!

— Отецъ ты нашъ, дай Богъ тебѣ многія лѣта!—закричали торговые люди.

Царевичъ сидѣлъ на конѣ. Возлѣ него былъ Басмановъ. Просители стояли передъ ними на колѣняхъ. Старшій держалъ блюдо съ хлѣбомъ-солью.

Малюта все видѣлъ изъ окна.

— Государь,—шепнулъ онъ царю:—должно-быть, его подбилъ кто-нибудь изъ тѣхъ, чтѣ теперь съ нимъ. Посмотри, вотъ уже народъ ему на царствѣ здороваеть!

И какъ чародѣй пугается недоброй силы, которую самъ онъ вызвалъ, такъ Малюта испугался выраженія, которое слова его вызвали на чертахъ Іоанна.

Съ лица царя исчезло все человѣческое. Такимъ страшнымъ никогда не видывалъ его Малюта.

Прошло нѣсколько мгновеній. Вдругъ Іоаннъ улыбнулся.

— Гриша,—сказалъ онъ, положивъ обѣ руки на плечи

Скуратову:—какъ, бишь, ты сейчасъ говорилъ? Я рублю сучья да вѣтви, а стволь-то стоитъ здоровѣшенекъ?

— Гриша, — продолжалъ царь, медленно выговаривая каждое слово и смотря на Малюту съ какой-то страшною довѣрчивостью:—берешься ли ты вырвать съ корнемъ измѣну?

Злобная радость скривила ротъ Малюты.

— Для твоей милости берусь,—прошепталъ онъ, дрожа всѣмъ тѣломъ.

Выраженіе Иоанна мгновенно измѣнилось. Улыбка исчезла, и черты приняли холодную, непреклонную неподвижность. Лицо его казалось высѣченнымъ изъ мрамора.

— Не надо медлить!—сказалъ онъ отрывисто и повелительно.—Никто чтобы не зналъ объ этомъ. Онъ сегодня будетъ на охотѣ. Сегодня же пусть найдутъ его въ лѣсу. Скажутъ, онъ убитъ съ коня. Знаешь ты Поганую-Луку?

— Знаю, государь.

— Тамъ чтобъ нашли его!—Царь указалъ на дверь.

Мажота вышелъ и въ сѣняхъ вздохнулъ свободнѣе.

Царь долго оставался неподвиженъ. Потомъ онъ медленно подошелъ къ образамъ и упалъ передъ ними на колѣни.

Изъ всѣхъ слугъ Малютиныхъ самый удалый и расторонный былъ стремянный его Матвѣй Хомякъ. Онъ никогда не уклонялся отъ опасности, любилъ буйство и наѣздничество и уступалъ въ звѣрствѣ лишь своему господину. Нужно ли было поджечь деревню или подкинуть грамоту, по которой послѣ казни боярина, требовалось ли увезти жену чью-нибудь—всегда посылали Хомяка. И Хомякъ поджигалъ деревни, подкидывалъ грамоты, и вмѣсто одной жены привозилъ ихъ нѣсколько.

Къ Хомяку обратился и теперь Григорій Лукьяновичъ. Чтò они толковали вмѣстѣ, того никто не слышалъ. Но въ это самое утро, когда гончія царевича дружно заливались въ окрестностяхъ Москвы, а вниманіе охотниковъ, стоявшихъ на лазахъ, было поглощено ожиданіемъ, и каждый напрягалъ свое зрѣніе, и ни одинъ не заботился о томъ, чтò дѣлали его товарищи,—въ это время по глухому проселку скакали, удаляясь отъ мѣста охоты, Хомякъ и Малюта, а промежъ нихъ со связанными руками, прикрученный къ сѣдлу, скакалъ кто-то третій, котораго лицо скрывалъ черный башлыкъ, надвинутый до самаго подбородка. На одномъ изъ поворотовъ проселка применили

къ нимъ двадцать вооруженныхъ опричниковъ, и всѣ вмѣстѣ продолжали скакать, не говоря ни слова.

Охота между тѣмъ шла своимъ чередомъ, и никто не замѣтилъ отсутствія царевича, исключая двухъ стремянныхъ, которые теперь издыхали въ оврагѣ, пронзенные ножами.

Версть тридцать отъ слободы, среди дремучаго лѣса, было топкое и непроходимое болото, которое народъ прозвалъ Поганой-Лужей. Много чудеснаго рассказывали про это мѣсто. Дровосѣки боялись въ сумерки подходить къ нему близко. Увѣряли, что въ лѣтнія ночи надъ водою прыгали и рѣзвились огоньки—души людей, убитыхъ разбойниками и брошенныхъ ими въ Поганую-Лужу.

Даже среди бѣлаго дня болото имѣло видъ мрачной таинственности. Большія деревья, лишеныя снизу вѣтвей, поднимались изъ воды, мутной и черной. Отражаясь въ ней, какъ въ туманномъ зеркалѣ, они принимали чудный видъ уродливыхъ людей и небывалыхъ животныхъ. Не слышно было вблизи болота человѣческаго голоса. Стаи дикихъ утокъ прилетали иногда плескаться на его поверхности. Въ камышѣ раздавался жалобный крикъ водяной курочки. Черный воронъ пролеталъ надъ вершинами деревьевъ, и зловѣщее карканье его повторялось отголосками. Иногда слышны были далеко-далеко стукъ топора, трескъ надрубленнаго дерева и глухое паденіе.

Но когда солнце опускалось за вершины, когда надъ болотомъ поднимался прозрачный паръ, стукъ топора умолкалъ, и прежніе звуки замѣнялись новыми. Начиналось однообразное кваканье лягушекъ, сперва тихое и отрывистое, потомъ громкое, слитымъ хоромъ.

Чѣмъ болѣе сгущалась темнота, тѣмъ громче кричали гады. Голоса ихъ составляли какъ бы одинъ непрерывный и продолжительный гулъ, такъ что ухо къ нему привыкало и различало сквозь него и дальній вой волковъ, и вопли филина. Мракъ становился гуще; предметы теряли свой прежній видъ и облекались въ новую наружность. Вода, древесныя вѣтви и туманныя полосы сливались въ одно цѣлое. Образы и звуки смѣшивались вмѣстѣ и ускользали отъ человѣческаго понятія. Поганая-Лужа дѣлалась достояніемъ силы нечистой.

Къ сему-то проклятому мѣсту, но не въ темную ночь, а въ утро солнечное, Малюта и опричники его направляли бѣгъ свой.

Въ то самое время, какъ они торопились и погоняли коней, другіе молодцы, недобраго вида, собирались въ дремучемъ лѣсу, недалеко отъ Поганой-Луки.

ГЛАВА XIII.

Ванюха Перстень и его товарищи.

На широкой полянѣ, окруженной древними дубами и непроходимымъ ломомъ, стояло нѣсколько земляныхъ куреней, а между ними на опрокинутыхъ пняхъ, на вывороченныхъ корняхъ, на кучахъ сѣна и сухихъ листьевъ, лежало и сидѣло множество людей разныхъ возрастовъ, въ разныхъ одеждахъ. Вооруженные молодцы безпрестанно выходили изъ глубины лѣса и присоединялись къ товарищамъ. Много было между ними разнообразія. Сермяги, ферязи и зипуны, иные въ лохмотьяхъ, другіе блестяще золотомъ, видѣлись сквозь вѣтви деревъ. У иныхъ молодцовъ были привѣшены къ бедрамъ сабли; другіе мотали въ рукахъ кистени или опирались на широкіе бердыши. Немало было тутъ рубцовъ, морщинъ, вклоченныхъ головъ и бородъ нечесанныхъ.

Удалое товарищество раздѣлилось на разные кружки. Въ самой серединѣ поляны варили кашу и жарили на прутьяхъ говядину. Надъ трескучимъ огнемъ висѣли котлы; дымъ отдѣлялся сизымъ облакомъ отъ зеленого мрака, окружавшаго поляну какъ бы плотную стѣною. Кашевары покашливали, терли себѣ глаза и отворачивались отъ дыму.

Немного подалѣе, старикъ съ сѣдою кудрявою головой, съ длинною бородой, рассказывалъ молодежи какую-то сказку. Онъ говорилъ стоя и опершись на топоръ, насаженный на длинную палку. Въ этомъ положеніи старику было ловчѣе рассказывать, чѣмъ сидя. Онъ могъ и выпрямиться, и обернуться во всѣ стороны, и въ личномъ мѣстѣ взмахнуть топоромъ, и присвищнуть помолодецки. Ребята слушали его съ истиннымъ наслажденіемъ. Они и уши поразвѣсили и рты поразвѣвали. Кто присѣлъ на землю, кто взобрался на сучокъ, кто просто разставилъ ноги и выпучилъ глаза; но большая часть лежала на животахъ, упершись локтями въземь, а подбородкомъ о ладони: оно-де сподручнѣе.

Далѣе, двое молодцовъ тузили другъ друга по головѣ кулаками. Игра состояла въ томъ, что кто-де изъ насъ

первый попросить пощады. И ни одному не хотѣлось просить ея. Уже оба противника побагровѣли какъ двѣ свеклы, но дюжіе кулаки не переставали стучать о головы, словно молоты о наковальни.

— Эй, не будетъ ли съ тебя, Хлопко?—спросилъ тотъ, который казался послабѣе.

— Небось, братъ, Андрюшка! когда будетъ—скажу. А вотъ тебѣ такъ сейчасъ плѣхо придется!

И кулаки продолжали стучать.

— Смотрите, братцы, вотъ Андрюшка тотчасъ свалится!—говорили зрители.

— Нѣтъ, не свалится!—отвѣчали другіе:—зачѣмъ ему свалиться, у него голова здорова!

— А вотъ увидишь, свалится!

Но Андрюшкѣ и подлинно не хотѣлось свалиться. Онъ изловчился и, вмѣсто чтобы ударить противника по макушкѣ, хватилъ его кулакомъ въ високъ.

Хлопко опрокинулся.

Многіе изъ зрителей захохотали, но бѣольшая часть изъъявила негодованіе.

— Не честно, не честно!—закричали они:—Андрюшка! слукавилъ! Отодрать Андрюшку!

И Андрюшку тотчасъ же отодрали.

— Откуда молодцовъ Богъ несетъ?—спросилъ старый сказочникъ у нѣсколькихъ парней, которые подошли къ огню и робко озирались во все стороны.

Ихъ привелъ ражій дѣтина съ широкимъ ножомъ за поясомъ; на парняхъ не было оружія, они казались новичками.

— Слышь, вы, соколики!—сказалъ, обращаясь къ нимъ, ражій дѣтина:—дѣдушка Коршунъ спрашиваетъ, откуда васъ Богъ принесъ? Отвѣчайте дѣдушкѣ!

— Да оно, тово, вотъ какъ будетъ. Я-то изъ-подъ Москвы!—отвѣчалъ одинъ изъ парней, немного запинаясь.

— А зачѣмъ изъ гнѣздышка вылетѣлъ?—спросилъ Коршунъ:—нѣшто морозомъ охватило, али черезчуръ жарко стало?

— Стало-быть, жарко!—отвѣчалъ парень:—какъ опричники избу-то запалили, такъ сперва стало жарко, а какъ сгорѣла-то изба, такъ и морозомъ охватило на дворѣ!

— Вотъ оно какъ. Ты парень не глупый. Ну, а ты чего пришелъ?

— А родни искать!

Разбойники захохотали.

— Вишь что выдумалъ! Какой тебѣ родни?

— Да какъ убили опричники матушку да батюшку, сестеръ да братьевъ, скучно стало одному на свѣтѣ; думаю себѣ: пойду къ добрымъ людямъ; они меня накормятъ, наполятъ, будутъ мнѣ братьями да отцами! Встрѣтилъ въ кружалѣ вотъ этого молодца да и попросилъ взять съ собою.

— Добрый ты парень!—сказали разбойники:—садись съ нами, хлѣбъ да соль, мы тебѣ будемъ братьями!

— А этотъ чего стоитъ, повѣся носъ, словно не солоно хлебаль? Эй, ты, плакса, что губы надулъ? Откуда ты?

— Сподѣй Коломны!—отвѣчалъ, лѣниво горочая языкомъ, дюжій молодой парень, стоявшій съ печальнымъ видомъ позади другихъ.

— Что-жъ, и тебя опричники сбидѣли, что ли?

— Нявѣсту взяли!—отвѣчалъ парень нѣхотя и протяжно.

— А ну-ка, расскажи!

— Да что тутъ рассказывать! Наѣхали да и взяли!

— Ну, а потомъ?

— Что-жъ потомъ? Потомъ ничаво!

— Зачѣмъ же ты не отбилъ невѣсты?

— Гдѣ-жъ ее было отбивать? какъ наѣхали, такъ и взяли.

— А ты на нихъ такъ и смотрѣлъ, разиня ротъ?

— Нѣтъ, опосля, какъ удрали-то, такъ ужъ такъ осерчалъ, что Боже сохрани!

Разбойники опять захохотали.

— А ты, братъ, видно, тяжелъ на подъемъ!

Парень скроилъ глупое лицо и не отвѣчалъ.

— Эй ты, пареня рѣша!—сказалъ одинъ разбойникъ:—взяли у тебя невѣсту, такъ изъ-за этого еще нечего киснуть, другую найдешь!

Парень смотрѣлъ разиня ротъ и не говорилъ ни слова.

Лицо его разбойникамъ показалось забавнымъ.

— Слышь ты, съ тобой говорятъ!—сказалъ одинъ изъ нихъ, толкая его подъ бокъ.

Парень молчалъ.

Разбойникъ толкнулъ его крѣпче.

Парень посмотрѣлъ на него такъ глупо, что всѣ опять принялись хохотать.

Нѣсколько человѣкъ подошли къ нему и стали толкать его.

Парень не зналъ, сердиться ли ему или нѣтъ; но одинъ толчокъ сильнѣе другихъ вывелъ его изъ соннаго хладнокровія.

— Полно вамъ пхаться!—сказалъ онъ:—что я вамъ, кулъ муки, что-ль, дался? Перестаньте: осерчаю!

Разбойники пуще стали смѣяться.

Парню и въ самомъ дѣлѣ хотѣлось разсердиться, только лѣнь и природная сонливость превозмогали его гнѣвъ. Ему казалось, что не стоитъ сердиться изъ-за бездѣлицы, а важной-то причины не было.

— Серчай же, дурень!—сказали разбойники:—что-жъ ты не серчаешь?

— А нутка, толкните-ка ящо!

— Вишь какой лакомый! На, воть тебѣ!

— А нутка крѣпчае!

— Вотъ тебѣ!

— Ну, теперъ держитесь!—сказалъ парень, разсердясь наконецъ не на шутку.

Онъ засучилъ рукава, плюнулъ въ кулаки и принялся катать праваго и виноватаго. Разбойники не ожидали такого нападенія. Тѣ, которые были поближе, въ одинъ мигъ опрокинулись и сшибли съ ногъ товарищей. Вся ватага отхлынула къ огню; котелъ упалъ, и щи разлилися на уголья.

— Тише, ты! тише, сатана! Чего расходился! Говорятъ тебѣ, тише!—кричали разбойники.

Но парень уже ничего не слышалъ. Онъ продолжалъ махать кулаками вправо и влѣво, и каждымъ ударомъ сшибалъ по разбойнику, а иногда и по два.

— Вишь медвѣдь!—говорили тѣ, которые успѣвали отскочить въ сторону.

Наконецъ парень образумился. Онъ пересталъ драться и остановился посреди опрокинутыхъ и разбитыхъ горшковъ, почесывая затылокъ, какъ будто желая сказать:

— Что-жъ это я въ самомъ дѣлѣ надѣлалъ!

— Ну, братъ,—сказали разбойники, поднимаясь на ноги и потирая ребра:—кабы ты тогда въ пору осерчалъ, не отбили бы у тебя невѣсты! Вишь какой Илья Муромецъ!

— Да какъ тебя зовутъ, молодца?—спросилъ старый разбойникъ.

— А Митькою!

— Ну Митька! Ай да Митька!

— Вотъ ужъ Митька!

— Ребята!—сказаль, подбѣгая къ нимъ, одинъ молодецъ:—атаманъ опять началъ рассказывать про свое житье на Волгѣ. Всѣ бросили и пѣсни пѣть и сказки слушать, сидятъ вокругъ атамана. Пойдемъ скорѣе, а то мѣста не найдемъ!

— Пойдемъ, пойдемъ слушать атамана!—раздалось между разбойниками.

На срубленномъ пнѣ, подъ тѣнью огромнаго дуба, сидѣлъ широкоплечій дѣтина, средняго роста, въ богатомъ зипунѣ, шитомъ золотомъ. Голову его покрывала мисюрка, или желѣзная круглая шапка, въ родѣ тафьи, называвшаяся также и наплѣшникомъ. Къ шапкѣ придѣлана была бармица, или стальная кольчатая сѣть, защищавшая отъ сабельныхъ ударовъ затылокъ, шею и уши. Широкоплечій дѣтина держалъ въ рукѣ чеканъ, молотъ, заостренный съ задней стороны и насаженный на топорщице. Въ этомъ убранствѣ трудно было бы узнать стараго нашего знаконца, Ванюху Перстня. Глаза его бѣгали во всѣ стороны: Изъ-подъ короткихъ черныхъ усовъ сверкали зубы столь ослѣпительной бѣлизны, что они, казалось, освѣщали все лицо его.

Разбойники молчали и слушали.

— Такъ вотъ, братцы,—говорилъ Перстень:—это еще не диковина—остановить обозъ или боярина ограбить, когда васъ десятеро на одного. А вотъ была бы диковина, кабы одинъ остановилъ да ограбилъ человѣкъ пятьдесятъ или болѣ!

— Эхъ хватилъ!—отозвались разбойники:—малаго захотѣлъ! Небось ты остановишь?

— Моя рѣчь не про меня, а знаю я молодца, что и одинъ обозы останавливалъ.

— Ужъ не опять ли твой волжскій богатырь?

— Да не кто другой. Вотъ примѣрно тянулось разъ судишко на бечевѣ изъ-подъ Астрахани вверхъ по матушкѣ-Волгѣ. На судишкѣ-то народу было немало: все купцы-молодцы, съ пицалами, съ саблями, кафтаны на-распашку, шапки набекрень, не хуже нашего брата. А грузу-то: золота, каменье въ самоцвѣтныхъ, жемчугу, вещицъ астраханскихъ и всякой дряни—еще, али полно! Берегъ-то высокій, бечевникъ-то узенькій, а среди Волги

островъ : скала голая, да супротивъ теченья словно ножомъ уголъ вышелъ, такой острый, что Боже упаси.

«Вотъ провѣдалъ мой молодецъ, съ чѣмъ Богъ несетъ судно. Не сказалъ никому ни слова, пошелъ съ утра, засѣлъ въ кусты, въ усъ не дуешь. Проходитъ часть, проходитъ другой; идутъ, понатужившись, лялочки, человѣкъ двѣнадцать, одинъ за другимъ, налегли на ремни да и кряхтятъ, высунувъ языки. Судишкѣ-то, видно, не легонько, да и быстрина-то народу не подъ силу.

«Вотъ мой молодецъ и прожди, чтобъ они скалу-то остру миновали саженой на полсотни. Да какъ выскочить изъ-за кустовъ, да какъ хватить саблей поперекъ бечевы, такъ и перерубилъ пополамъ, а лялочки-то какъ шли, сердечные, такъ и шлепнулись оземь носами. Тутъ онъ кого кистенемъ, кого кулакомъ, а кто вскочилъ да давай Богъ ноги! Понесло судно назадъ по теченію прямо на скалу. Всюлошились купцы, никто и стрѣлять не думаетъ; думаютъ только, какъ бы миновать уголъ, чтобы судна-то не разбить! А мой молодецъ одной рукой поймалъ бечеву, а другой ухватилъ за дерево да и остановилъ судно.

«— Эй вы, аршинники, купцы! удалые молодцы! Бросайте въ воду сабли да пищали, честью прошу, не то бечеву пуцу, такъ васъ и съ грузомъ поминай какъ звали!

«Купцы навели-было на богатыря стволыки, да тотчасъ и опустили; думаютъ: какъ же это? убьемъ его, такъ некому и бечевы подержать!

«Нечего дѣлать, побросали оружіе въ воду, да только не все; думаютъ: какъ взойдешь, молодецъ, на палубу грабить судно, такъ мы тутъ тебѣ и карачунъ! Да мой богатырь не промахъ.

«— Добро,—говорить:—купчики-голубчики, пошло оружіе ко дну, ступайте-жь и вы, куда кому угодно! А сказать другими словами: прыгайте съ судна внизъ головами!

«Они было-замялись, а онъ, ребятушки, зацѣпилъ бечеву за дерево, схватилъ пищаль да и пустилъ по нихъ пулю.

«Тутъ всѣ, сколько ни было ихъ, попрыгали въ воду, словно лягушки.

«А онъ кричитъ:

«— Не плыть сюда! Приставай къ тому берегу, не то всѣхъ какъ утокъ перестрѣляю!»

— Чтò, ребята, каковъ богатырь?

— Молодецъ! — сказали разбойники:—вотъ ужъ по-

длинно молодецъ. Да что-жь онъ съ судномъ-то сдѣлалъ?

— Съ судномъ-то? А намоталъ на руку бечеву, словно нитку съ бумажнымъ змѣемъ, да и вытащилъ судно на мель.

— Да что-жь онъ ростомъ съ Полкана, что ли?

— Нѣтъ, не съ Полкана. Ростомъ-то онъ не болѣе мово, да плечики будутъ пошире!

— Шире твоихъ! Что-жь это, на что-жь онъ похожъ выходить?

— Да похожъ на молодца: голова кудластая, борода черная, сутуловатъ маленько, лицо плоское, да зато глаза посмотреть—страхъ!

— Воля твоя, атаманъ, ты про него говоришь, какъ про чудо какое, а намъ что-то не вѣрится. Ужъ молодцоватѣе тебя мы не видывали!

— Не видывали лучше меня? Да что вы, дураки, видѣли! Да знаете ли,—продолжалъ Перстень съ жаромъ:—знаете ли, что я передъ нимъ—ничего! Дрянъ, просто дрянъ, да и только!

— Да какъ же зовутъ твоего богатыря?

— Зовутъ его, братцы, Ермакомъ Тимоѣичемъ!

— Вишь какое имя! Что-жь онъ одинъ, что ли, безъ шайки промышляетъ?

— Нѣтъ, не одинъ. Есть у него шайка добрая, есть и вѣрные есаулики. Только разгнѣвался на нихъ царь православный, послалъ на Волгу дружину свою разбить ихъ, голубчиковъ, а одному есаулику, Ивану Кольцу, голушку велѣлъ отсѣчь да къ Москвѣ привезти.

— Что-жь, поймали его?

— Поймали-было царскіе люди Кольцо, только проскользнуло оно у нихъ промежъ пальцевъ да и покатилося по бѣлу свѣту. Гдѣ оно теперь, сердечное, Богъ вѣсть, только, я чаю, скоро опять на Волгу перекатится! Кто разъ побывалъ на Волгѣ, тому не ужиться на другой стороншкѣ!

Замолчалъ атаманъ и задумался.

Задумались и разбойники. Опустили они буйныя головы на груди могучія и поглаживали молча усы длинные и бороды широкія. О чемъ думали молодцы разудалые, сидя на полянѣ, среди лѣса дремучаго? О молодости ли своей погибшей, когда были еще честными воинами и мирными поселянами? О матушкѣ ли Волгѣ серебряной? или о дивномъ богатырѣ, про котораго рассказывалъ Перстень?

или думали они о хоромахъ высокихъ среди поля чистаго, о двухъ столбикахъ съ перекладиной, о которыхъ, въ минуту грусти, думала въ то время всякая лихая, забубенная голова?

— Атаманъ!—вскричалъ одинъ разбойникъ, подбѣгалъ къ Перстню и весь залыпавшись:—вереть пять отсюда, по рязанской дорогѣ ѣдутъ человекъ двадцать вершниковъ съ богатымъ оружіемъ, всѣ въ золоченыхъ кафтаныхъ! Аргамаки и бахматы подъ ними рублей во сто каждый или болѣ!

— Куда ѣдутъ?—спросилъ Перстень, вскакивая.

— Вотъ только-что поворотили къ Поганой-Лужѣ. Я какъ увидѣлъ, такъ напрямикъ сюда и побѣжалъ болотомъ да лѣсомъ.

— Ну, ребята!—вскричалъ Перстень:—полно бобы на печи разводить! двадцать человекъ чтобы шли за мной!

— Ты, Коршунъ,—продолжалъ онъ, обращаясь къ старому разбойнику:—возьми двадцать другихъ, да засядьте у кривого дуба, отрѣжьте имъ дорогу, коли мы неравно опоздаемъ. Ну живо, за сабли!

Перстень взмахнулъ чеканомъ и сверкнулъ очами. Онъ походилъ на грознаго полководца среди послушнаго войска.

Прежнее свободное обращеніе разбойниковъ исчезло и уступило мѣсто безусловной покорности.

Въ одинъ мигъ сорокъ станичниковъ отошли отъ толпы и раздѣлился на два отряда.

— Эй, Митька!—сказалъ Коршунъ молодому парню изъ-подъ Коломны:—на тебѣ посошокъ, ступай съ нами, да понатужься, авось осерчаешь!

Митька скроилъ глупую рожу, взялъ хладнокровно изъ рукъ старика огромную дубину, взвалилъ ее на плечи и пошелъ, переваливаясь, за своимъ отрядомъ къ кривому дубу.

Другой отрядъ, предводимый Перстнемъ, поспѣшилъ къ Поганой-Лужѣ, напереемъ неизвѣстнымъ всадникамъ.

ГЛАВА XIV.

О п л е у х а .

Въ то самое время, какъ Малюта и Хомякъ, сопровождаемые отрядомъ опричниковъ, везли незнакомца къ Поганой-Лужѣ, Серебряный сидѣлъ въ дружеской бесѣдѣ съ Годуновымъ за столомъ, уставленнымъ кубками.

— Скажи, Борисъ Ѳедорычъ,—говорилъ Серебряный:—что стало съ царемъ сею ночью? съ чего поднялась вся слобода на полунощницу? Аль то у васъ часто бываетъ?

Годуновъ пожалъ плечами.

— Великій государь нашъ,—сказалъ онъ:—часто жалѣетъ и плачетъ о своихъ злодѣяхъ и часто молится за ихъ души. А что онъ созвалъ насъ на молитву ночью, тому дивиться нечего. Самъ Василій Великій во второмъ посланіи къ Григорію Назіанзину говоритъ, что другимъ утро, то трудящимся въ благочестіи полунощъ. Среди ночной тишины, когда ни очи ни уши не допускаютъ въ сердце вредительнаго, пристойно уму человѣческому пребывать съ Богомъ!

— Борисъ Ѳедорычъ! Случалось мнѣ видѣть и прежде, какъ царь молился: оно было не такъ. Все теперь стало иначе. И опричнины я въ толкъ не возьму. Это не монахи, а разбойники. Немного дней, какъ я на Москву вернулся, а столько неистовыхъ дѣлъ наслышался и насмотрѣлся, что и повѣрить трудно. Должно-быть, обошли государя. Вотъ ты, Борисъ Ѳедорычъ, близокъ къ нему, онъ любить тебя,—что-бъ тебѣ сказать ему про опричнину?

Годуновъ улыбнулся простотѣ Серебрянаго.

— Царь милостивъ ко всѣмъ,—сказалъ онъ съ притворнымъ смиреніемъ:—и меня жалуетъ не по заслугамъ. Не мнѣ судить о дѣлахъ государевыхъ, не мнѣ царю указывать. А опричнину понять не трудно: вся земля государева, всѣ мы подъ его высокою рукою; что возьметъ государь на свой обиходъ, то и его, а что намъ оставить, то наше; кому велитъ быть около себя, тѣ къ нему близко, а кому не велитъ, тѣ далеко. Вотъ и вся опричина.

— Такъ, Борисъ Ѳедорычъ, когда ты говоришь, оно выходитъ гладко, а на дѣлѣ не то. Опричники губятъ и насилуютъ земщину хуже татаръ. Нѣтъ на нихъ никакого суда. Вся земля отъ нихъ гибнетъ! Ты бы сказалъ царю. Онъ бы тебѣ повѣрилъ!

— Князь Никита Романычъ, много есть зла на свѣтѣ. Не потому люди губятъ людей, что одни опричники, другіе земскіе, а потому, что и тѣ и другіе—люди! Положимъ, я бы сказалъ царю; что-жъ изъ того выйдетъ? Всѣ на меня поднимутся, и самъ царь на меня-жъ опалится!..

— Что-жъ! Пусть опалится, а ты сдѣлай по совѣсти,—сказалъ ему правду!

— Никита Романычъ! Правду сказать недолго, да говорить-то надо умѣючи. Кабы сталъ я перечить царю, давно бы меня здѣсь не было, а не было-бъ меня здѣсь, кто-бъ тебя вчера отъ плахи спасъ?

— Что дѣло, то дѣло, Борисъ Ѳедорычъ, дай Богъ тебѣ здоровья, пропалъ бы я безъ тебя!

Годуновъ подумалъ, что убѣдилъ князя.

— Видишь ли, Никита Романычъ,—продолжалъ онъ:— хорошо стоять за правду, да одинъ въ полѣ не воевода. Что-бъ ты сдѣлалъ, кабы примѣрно сорокъ воровъ стали при тебѣ рѣзать безвиннаго?

— Что-бъ сдѣлалъ? А хватилъ бы саблею по всѣмъ по сорока и сталъ бы крошить ихъ, доколѣ-бъ души Богу не отдалъ!

Годуновъ посмотрѣлъ на него съ удивленіемъ.

— И отдалъ бы душу, Никита Романычъ,—сказалъ онъ:—на пятомъ, много на десятомъ ворѣ, а достальные все-таки-бъ зарѣзали безвиннаго. Нѣтъ, лучше не трогать ихъ, князь, а какъ стануть они обдирать убитаго, тогда крикнуть, что Степка-де взялъ на себя болѣе Мишки, такъ они и сами другъ друга перерѣжутъ.

Серебряному былъ такой отвѣтъ не по-сердцу. Годуновъ замѣтилъ это и перемѣнилъ разговоръ.

— Вишь,—сказалъ онъ, глядя въ окно:—кто это сюда скачетъ, сломя шею? Смотри, князь, никакъ твой странный?

— Врядъ ли!—отвѣчалъ Серебряный:—онъ отпросился у меня сегодня версть за двадцать на богомолье...

Но, взглянувъ пристальнѣе во всадника, князь въ самомъ дѣлѣ узналъ Михеича. Старикъ былъ блѣденъ, какъ смерть. Сѣдла подъ нимъ не было; казалось, онъ вскочилъ на перваго коня, попавшагося подъ руку, а теперь, вопреки приличію, влетѣлъ на дворъ, подъ самыя красныя окна.

! — Батюшка, Никита Романычъ!—кричалъ онъ еще издали:—ты пьешь, ѣшь, прохлаждаешься, а кручинушки-то не вѣдаешь! Сейчас встрѣлъ я, вонъ за церковью, Малюту Скуратова да Хомяка, оба верхомъ, а промежъ нихъ—руки связаны—кто бы ты думалъ? Самъ царевичъ, самъ царевичъ, князь! Надѣли они на него черныя башлыкъ—я и узналъ царевича! Посмотрѣлъ онъ на меня, словно помощи просить, а Малюта, тѣтка его подкурятина, под-

скочилъ — да опять и нахлобучилъ ему башлыкъ на лицо!

Серебряный вспрынулъ съ мѣста.

— Слышишь, слышишь, Борисъ Ѳздорычъ! — вскричалъ онъ, сверкая глазами. — Али ждать еще, чтобы воры перессорились межъ собой?! — И онъ бросился съ крыльца.

— Давай коня! — крикнулъ онъ, вырывая узду изъ рукъ Михеича.

— Да это, — сказалъ Михеичъ: — конь-то не по тебѣ, батюшка, это конь плохой, да и сѣдла-то на немъ нѣтути... да и какъ же тебѣ на такомъ конѣ къ царю ѣхать?..

Но князь уже вскочилъ и полетѣлъ не къ царю, а въ погоню за Малютой...

Есть старинная пѣсня, можетъ-быть, современная Иоанну, которая описываетъ по-своему приводимое здѣсь событіе:

Когда зачиналась каменная Москва,
Зачинался царь Иванъ, государь Васильевичъ.
Какъ ходилъ онъ подъ Казань городъ,
Подъ Казань городъ, подъ Астрахань:
Онъ Казань городъ мимоходомъ взялъ,
Подоилъ царя и съ царицею;
Выводилъ измѣну изъ Пскова,
Изъ Пскова и изъ Новгорода.
Какъ бы вывести измѣну изъ каменной Москвы!
Что возговорить Малюта злодѣй Скурлатовичъ:
«Ахъ ты гой еси, царь Иванъ Васильевичъ!
«Не вывести тебѣ измѣнушки до вѣку!
«Сидитъ супротивникъ супротивъ тебя,
«Бѣсть съ тобою съ одного блюда,
«Пьетъ съ тобою съ одного ковша,
«Платье носить съ одного плеча!»
И тутъ царь догадается,
На царевича осержается.
«Ахъ вы гой еси, князья и бояре!
«Вы берите царевича подъ бѣлы руки,
«Надѣвайте на него платье черное,
«Поведите его на то болото жидкое,
«На тое ли Лужу-Поганю.
«Вы предайте его скорой смерти!»
Всѣ бояре разбѣжались.
Одинъ остался Малюта злодѣй;
Онъ бралъ царевича за бѣлы руки,
Надѣвалъ на него платье черное,
Повелъ на болото жидкое,
Что на ту ли Лужу-Поганю.
Провѣдалъ слуга Никиты Романыча,
Садился на лошадь водовозную,
Скоро скакалъ къ Никитѣ Романычу:

«Гой еси, батюшка Никита Романыч!
«Ты пьешь, ѣшь, прохлаждаешься,
«Надъ собой кручинушки не вѣдаешь!
«Упадаетъ звѣзда поднебесная,
«Угасаетъ свѣча воску яраго,
«Не становится млада царевича!»
Никита Романычъ испугается,
Садится на лошадь водовозную,
Скоро скачетъ на болото жидкое,
Что на ту ли Лужу-Поганую.
Онъ ударилъ Малюту по щекѣ:
«Ты Малюта, Малюта Скурлатовичъ!
«Не за свой ты кусъ принимаешься,
«Ты этимъ кусомъ подавишься!..»

Пѣсня эта, можетъ-быть, и несходная съ дѣйствительными событиями, согласна однако съ духомъ того вѣка. Немного и неясно доходили до народа извѣстія о томъ, что случалось при царскомъ дворѣ или въ кругу царскихъ приближенныхъ, но въ то время, когда сословія еще не были разъединены нравами и не жили врозь одно отъ другого, извѣстія эти, даже искаженные, не выходили изъ границъ правдоподобія и носили на себѣ печать общей жизни и общихъ понятій.

Таковъ ли ты былъ, князь Никита Романовичъ, какимъ воображаю тебя—про то знаютъ лишь стѣны кремлевскія да древніе дубы подмосковные! Но такимъ ты предсталъ мнѣ въ часъ тихаго мечтанія, въ вечерній часъ, когда поля покрывались мракомъ, вдали замиралъ шумъ хлопотливаго дня, а вблизи все было безмолвно, и лишь вѣтеръ шелестилъ въ листьяхъ и лишь жукъ вечерній пролеталъ мимо. И грустно и больно сказывалась во мнѣ любовь къ родинѣ, и ясно выступала изъ тумана наша горестная и славная старина, какъ будто взамѣнъ зрѣнія, заграждаемаго темнотою, открывалось во мнѣ внутреннее око, которому столѣтія не составляли преграды. Такимъ предсталъ ты мнѣ, Никита Романовичъ, и ясно увидѣлъ я тебя, летящаго на конѣ въ погоню за Малютой, и перенесся я въ твое страшное время, гдѣ не было ничего невозможнаго!

Забылъ Серебряный, что онъ безъ сабли и пистолей, и не было ему нужды, что конь подъ нимъ старъ. А былъ то добрый конь въ свое время, прослужилъ онъ лѣтъ двадцать и на войнѣ и въ походахъ; только не выслужилъ себѣ покою на старости; выслужилъ упряжь водовозную, сѣно гнилое да удары палочные!

Теперь почуялъ онъ на себѣ сѣдока могучаго и вспомнилъ о прежнихъ дняхъ, когда носилъ богатырей въ грозныхъ сѣчи и кормили его отборнымъ зерномъ и поили медвяною сытой. И раздулъ онъ красныя ноздри, и вытянулъ шею, и летитъ въ погоню за Малютой Скуратовымъ.

Скачетъ Малюта во дремучемъ лѣсу со своими опричниками. Онъ торопитъ ихъ къ Поганой-Лужѣ, поправляетъ башлыкъ на царевичѣ, чтобъ не знали опричники, кого везутъ на смерть. Кабы узнали они, отступились бы отъ Малюты, схоронились бы бѣльшій за меньшаго. Но думаютъ опричники, что скачетъ простой человѣкъ межъ Хомяка и Малюты, и только дивятся, что везутъ его казнить такъ далеко.

Торопитъ Малюта опричниковъ, серчаетъ на коней, бьетъ ихъ плетью по крутымъ бедрамъ.

— Ахъ вы, волчья сыть, травяные мѣшки! Не одумался-бъ царь, не послалъ бы за нами погони!

Скачетъ злодѣй Малюта во дремучемъ лѣсу; смотрятъ на него пташки, вытянувъ шейки; летятъ надъ нимъ черныя вороны—уже близко Поганая-Лужа!

— Эй!—говоритъ Малюта Хомяку:—никакъ стучать за нами чужія подковы?

— Нѣтъ,—отвѣчаетъ Хомякъ:—то отъ нашихъ коней топотъ въ лѣсу раздается.

И пуще торопитъ Малюта опричниковъ, и чаще бьетъ коней по крутымъ бедрамъ.

— Эй!—говоритъ онъ Хомяку:—никакъ кто-то кричить за нами?

— Нѣтъ,—отвѣчаетъ Хомякъ:—то нашу молвь отголоски разносятъ.

И серчаетъ Малюта на коней.

— Ахъ вы, волчья сыть, травяные мѣшки! Ой, не было-бъ за нами погони!

Вдругъ слышитъ Малюта за собою:

— Стой, Григорій Лукьянычъ!

Серебряный былъ у Скуратова за плечами. Не выдалъ его старый конь водовозный.

— Стой, Малюта!—повторилъ Серебряный и, нагнавъ Скуратова, ударилъ его въ щеку рукою могучею.

Силенъ былъ ударъ Никиты Романовича. Раздалася посечина словно выстрѣлъ пищальный; загудѣлъ сыр-боръ, посыпались листья; бросились звѣри со всѣхъ ногъ вчашу; вылетѣли изъ дупель пучеглазыя совы; а мужики,

далеко оттолѣ дравшіе лыки, посмотрѣли другъ на друга и сказали, дивясь :

— Слышь, какъ треснуло! ужъ не старый ли дубъ надломился надъ Поганою-Лужей?

Малюта свалился съ сѣдла. Бѣдный старый конь Никиты Романовича споткнулся, покотился и испустилъ духъ.

— Малюта!—вскричалъ князь, вскочивъ на ноги:—не за свой ты кусъ принимаешься! Ты этимъ кусомъ подавишься!

И, вырвавъ изъ ноженъ саблю Малюты, онъ замахнулся разрубить ему черепъ.

Внезапно другая сабля свистнула надъ головою князя. Матвѣй Хомякъ прилетѣлъ господину на помощь. Завязался бой межъ Хомякомъ и Серебрянымъ. Опричники напали съ голыми саблями на князя, но деревья и ломъ защитили Никиту Романовича, не дали всѣмъ вдругъ окружить его.

«Вотъ,—думалъ князь, отбивая удары:—придется животъ положить, не спася царевича! Кабы далъ Богъ хоть съ полчаса подержаться, авось подоспѣла бы откуда-нибудь подмога!»

И лишь только онъ подумалъ, какъ пронзительный свистъ раздался въ лѣсу; ему отвѣчали громкіе окрики. Одинъ опричникъ, уже занесшій саблю на князя, упалъ съ раздробленною головою, а надъ трупомъ его явился Ванюха Перстень, махая окровавленнымъ чеканомъ. Въ тотъ же мигъ разбойники, какъ стая волковъ, бросились на Малютиныхъ слугъ, и пошла между ними рукопашная. Хотѣлъ бы Малюта со своими дать дружный напускъ на враговъ, да негдѣ было разогнаться, все пришелъ лѣсъ да валежникъ. Многие легли на мѣстѣ; но другіе скоро оправились, крикнули: «гой-да!» и потоптали удалую вольницу. Самъ Перстень, раненый въ руку, уже слабѣе разилъ чеканомъ, какъ новый свистъ раздался въ лѣсу.

— Стойте дружно, ребята!—закричалъ Перстень:—то дѣдушка Коршунъ на прибавку.

И не успѣлъ онъ кончить рѣчи, какъ Коршунъ съ своимъ отрядомъ ударилъ на опричниковъ, и зачался межъ ними бой великій, свальный, самый красный!

Трудно было всадникамъ стоять въ лѣсу противъ пѣшихъ. Кони вздымались на дыбы, падали навзничъ, давили подъ собой сѣдоковъ. Опричники отчаялись на смерть.

Сабля Хомяка, свистѣла какъ вихрь, надъ головой его сверкала молнія.

Вдругъ среди общей свалки сдѣлалось колебанье. Дюжій Митька буравиль толпу и лѣзъ прямо на Хомяка, валяя безъ разбору и чужихъ и своихъ. Митька узналъ похитителя невѣсты. Поднявъ обѣими руками дубину, онъ грянулъ ею въ своего недруга. Хомякъ отшатнулся, ударъ палъ въ конскую голову, конь покотился мертвый, дубина переломилась.

— Погоди! — сказалъ Митька, наваливаясь на Хомяка: — теперь не уйдешь!

Кончилась битва. Не съ кѣмъ было болѣе драться; всѣ опричники легли мертвые, одинъ Малюта спасся на лихомъ аргамакѣ.

Стали разбойники считать своихъ и многихъ не досчитались. Было и между ними довольно урону.

— Вотъ, — сказалъ Перстень, подходя къ Серебряному и стирая потъ съ лица: — вотъ, бояринъ, гдѣ довелось свидѣться!

Серебряный, съ первымъ появленіемъ разбойниковъ, бросился къ царевичу и отвелъ его коня въ сторону; царевичъ былъ привязанъ къ сѣдлу. Серебряный саблею разрѣзалъ веревки, помогъ царевичу сойти и снялъ платокъ, которымъ ротъ его былъ завязанъ. Во все время сѣчи князь отъ него не отходилъ и заслонялъ его собою.

— Царевичъ, — сказалъ онъ, видя, что станичники уже принялись грабить мертвыхъ и ловить разбѣжавшихся коней: — битва кончена, всѣ твои злодѣи полегли, одинъ Малюта ушелъ, да, я чаю, и ему не сдобровать, когда царь велитъ сыскать его!

При имени царевича Перстень отступилъ назадъ.

— Какъ? — сказалъ онъ: — это самъ царевичъ? Сынъ государевъ? Такъ вотъ за кого Богъ привелъ постоять! Такъ вотъ кого они, собаки, связамши, везли!

И атаманъ повалился Юанну Юанновичу въ ноги.

Вѣсть о его присутствіи быстро разнеслась межъ разбойниковъ. Всѣ бросили выворачивать карманы убитыхъ и пришли бить челомъ царевичу.

— Спасибо вамъ, добрые люди! — сказалъ онъ ласково, безъ обычнаго своего высокомерія: — кто-бъ вы ни были, спасибо вамъ!

— Не на чемъ, государь! — отвѣчалъ Перстень: — кабы зналъ я, что это тебя везутъ, я бы привелъ съ собою.

не сорокъ молодцовъ, а сотенки двѣ; тогда не удралъ бы отъ насъ этотъ Скурлатычъ; взяли-бъ мы его живьемъ, да при тебѣ бы вздернули! Впрочемъ, есть у насъ, кажись, его стремянный; онъ же мнѣ старый знакомый, а на безрыбѣ и ракъ рыба. Эй, молодець, у тебя онъ, что ли?

— У меня!—отвѣчалъ Митька, лежа на животѣ и не выпуская изъ-подъ себя своей жертвы.

— Давай его сюда! небось, не уйдетъ! А вы, ребята, разложите-ка огоньку для допросу, да приготовьте веревку, аль, пожалуй, хоть чумбуръ отрѣжьте.

Митька всталъ. Изъ-подъ него поднялся здоровый дѣтина; но, лишь только онъ обернулся лицомъ къ разбойникамъ, всѣ вскрикнули отъ удивленія.

— Хлопка!—раздалось отовсюду:—да это Хлопка! это онъ Хлопка притиснулъ вмѣсто опричника.

Митька смотрѣлъ разиня ротъ.

Хлопка насилу дышалъ.

— Ишь,—проговорилъ наконецъ Митька:—такъ это я, должно-быть, тебя придавилъ! Чаво-жъ ты молчалъ?

— Гдѣ-жъ мнѣ было говорить, коли ты у меня на горлѣ сидѣлъ, тюлень этакой! Тѣфу!

— Да чаво-жъ ты подвернулся?

— Чаво! чаво! Какъ ты, медвѣдь, треснулъ коня по лбу, такъ сѣдокъ-то на меня и свалился, а ты, болванъ, вмѣсто чтобу на него, да на меня и сѣлъ, да и давай душить сдуру, знай обрадовался!

— Ишь!—сказалъ Митька:—вотъ што!—и почесалъ затылокъ.

Разбойники захохотали. Самъ царевичъ улыбнулся. Хомяка нигдѣ не могли найти.

— Нечего дѣлать,—сказалъ Перстень:—видно, не доспѣлъ ему часъ, а жаль, право! Ну, такъ и быть, дасть Богъ, въ другой разъ не свернется! А теперь дозвожь, государь, я тебя съ ребятами до дороги провожу. Совѣстно мнѣ, государь! Не приходилось бы мнѣ, худому человѣку, и говорить съ твоею милостью, да что-жъ дѣлать: безъ меня тебѣ отсель не выбратся!

— Ну, ребята,—продолжалъ Перстень:—собирайтесь оберегать его царскую милость. Вотъ ты, бояринъ,—сказалъ онъ, обращаясь къ Серебряному:—ты бы сѣлъ на этого коня, а я себѣ, пожалуй, вотъ этого возьму. Тебѣ, дядя Коршунъ, я чай, пѣшому будетъ сподручнѣе, а тебѣ, Митька, и подавно!

— Ништо!—сказаль Митька, ухватясь за гриву одного коня, который отъ этого покачнулся на сторону:—и я сяду!

Онъ занесъ ногу въ стремя, но, не могли попасть въ него, взвалился на коня животомъ, проѣхаль такъ нѣсколько сажень рысью и наконецъ уже взобрался на сѣдло.

— Эхва!—закричалъ онъ, болтая ногами и подкидывая локти.

Вся толпа двинулась изъ лѣсу, окружая царевича.

Когда показалось наконецъ поле, а вдаль заместрѣли крыши Александровой слободы, Перстень остановился.

— Государь,—сказаль онъ, соскакивая съ коня:—вотъ твоя дорога, вонъ и слобода видна. Не пристало намъ долѣ съ твоею царскою милостью оставаться. Къ тому-жъ тамъ пыль по дорогѣ встаетъ; должно-быть, идутъ ратные люди. Прости, государь, не взыщи; поневолѣ Богъ свель!

— Погоди, молодець!—сказаль царевичъ, который, по минованіи опасности, началъ возвращаться къ своимъ прежнимъ приемамъ.—Погоди, молодець! Скажи-ка напередъ, какого ты боярскаго рода, что золоченый зипунъ носишь?

— Государь,—отвѣтилъ скромно Перстень:—много насъ здѣсь бояръ безъ имени-прозвища, много князей безъ роду-племени. Носимъ, чтѣ Богъ послаль!

— А знаешь ли,—продолжалъ строго царевичъ:—что такимъ князьямъ, какъ ты, высокія хоромы на площади ставить, и что ты самъ своего зипуна не стдишь? Не сослужи ты мнѣ службы сегодня, я велѣлъ бы тѣмъ ратникамъ всѣхъ васъ перехватать да къ слободѣ привести. Но ради сегодняшняго дѣла я твое прежнее воровство на милость кладу. и батюшкѣ-царю за тебя слово замолвлю, коли ты ему повинную принесешь!

— Спасибо на твоей ласкѣ, государь, много тебѣ благодарствую; только не пришло еще мнѣ время нести царю повинную. Тяжелы мои грѣхи передъ Богомъ, велики виновности передъ государемъ; врядъ ли простить меня батюшка-царь, а хоча бы и простилъ, такъ не приходится бросать товарищей!

— Какъ?—сказаль удивленный царевичъ:—ты не хочешь оставить воровства своего, когда я самъ тебѣ мой упросъ обѣщаю? Видно, грабить-то по дорогамъ прибыльнѣе, чѣмъ честно жить?

Перстень погладилъ черную бороду и лукавою усмѣшкой выказалъ два ряда ровныхъ и бѣлыхъ зубовъ, отъ которыхъ загорѣлое лицо его показалось еще смуглѣе.

— Государь! — сказалъ онъ: — на то щука въ морѣ, чтобы карась не дремалъ! Не привыченъ я ни къ ратному строю ни къ торговому дѣлу. Прости, государь; вонъ ужъ пыль сюда подвигается; пора назадъ; рыба ищетъ, гдѣ глубже, а нашъ братъ—гдѣ мѣсто покрѣпче!

И Перстень исчезъ въ кустахъ, увводя за собою коня. Разбойники одинъ за другимъ пропали межъ деревьевъ, а царевичъ самъ—другъ съ Серебрянымъ поѣхали къ слободѣ и вскорѣ встрѣтились съ отрядомъ конницы, которую велъ Борисъ Годуновъ.

Что дѣлалъ царь во все это время? Послушаемъ, что говорить пѣсня и какъ она выражаетъ народныя понятія того вѣка.

Что возговорить грозный царь:

«Ахъ вы гой еси, князя мои и бояре!

«Надѣвайте платье черное,

«Собирайтесь ко заутрени,

«Слушать по царевичъ панихиду.

«Я всѣхъ васъ, бояре, въ котлѣ сварю!»

Всѣ бояре испугалися,

Надѣвали платье черное,

Собиралися ко заутрени,

Слушать по царевичъ панихиду.

Прѣхалъ Никита Романовичъ,

Нарядился въ платье цвѣтное,

Привелъ съ собой млада царевича

И поставилъ за дверьми сѣверны.

Что возговорить грозный царь:

«Ахъ ты гой еси, Никита Романовичъ!

«Что въ глаза-ль ты мнѣ насмѣхаешься?

«Какъ упала звѣзда поднебесная,

«Что угасла свѣча воску яраго,

«Не стало у меня млада царевича».

Что возговорить Никита Романовичъ:

«Ахъ ты гой еси, надежа, православный царь!

«Мы не станемъ по царевичъ панихиду пѣть,

«А станемъ мы пѣть молебень заздравный!»

Онъ бралъ царевича за бѣлу руку,

Выводилъ изъ-за сѣверныхъ дверей.

Что возговорить грозный царь:

«Ты Никита, Никита Романовичъ!

«Еще чѣмъ мнѣ тебя пожаловать?

«Или тебѣ полцарства дать?

«Или золотой казны сколько надобно?

«— Ахъ ты гой еси, царь Иванъ Васильевичъ!

«Не сули мнѣ полцарства, ни золотой казны,

«Только дай мнѣ злодѣя Скурлатова:
«Я сведу на то болото жидкое,
«Что на ту ли Лужу-Поганую!»
Что возговорить царь Иванъ Васильевичъ:
«Еще вотъ тебѣ Малюта злодѣй,
«И дѣлай съ нимъ что хочешь ты!»

Такъ гласить пѣсня; но не такъ было на дѣлѣ. Лѣтописи показываютъ намъ Малюту въ чести у Ивана Васильевича еще долго послѣ 1565 года. Много любимцевъ, въ разные времена, пали жертвою царскихъ подозрѣній. Не стало ни Басмановыхъ, ни Грязного, ни Вяземскаго, но Малюта ни разу не испыталь опалы. Онъ, по предсказанію старой Онуфревы, не пріялъ своей мѹки въ этой жизни и умеръ честною смертію. Въ обиходѣ монастыря св. Іосифа Волоцкаго, гдѣ погребено его тѣло, сказано, что онъ убитъ на государскомъ дѣлѣ подѣ Пайдою.

Какъ оправдался Малюта въ клеветѣ своей—мы не знаемъ.

Можетъ-быть, Іоаннъ, когда успокоилась встревоженная душа его, приписаль поступокъ любимца обманутому усердію; можетъ-быть, не вполне откавался отъ подозрѣній на царевича. Какъ бы то ни было, Скуратовъ не только не потеряль довѣрія царскаго, но съ этой поры сталъ еще драгоценнѣе Іоанну. Доселѣ одна Русь ненавидѣла Малюту, теперь сталъ ненавидѣть его и самый царевичъ; Іоаннъ былъ отнынѣ единственною опорой Малюты. Общая ненависть ручалась царю за его вѣрность.

Намекъ на Басманова также не прошель даромъ. Въ Іоанновомъ сердцѣ остался зародышъ подозрѣнія и хотя не тотчасъ пустиль въ немъ корни, но значительно охладилъ расположеніе его къ своему кравчему, ибо царь никогда не прощаль тому, кого однажды опасался, хотя бы впослѣдствіи и самъ призналь свое опасеніе напраснымъ.

ГЛАВА XV.

Поцѣлуйный обрядъ.

Пора намъ возвратиться къ Морозову. Смущеніе Елены въ присутствіи Серебрянаго не ускользнуло отъ проницательности боярина. Правда, сначала онъ подумаль, что встрѣча съ Вяземскимъ тому причиной, но впослѣдствіи новое подозрѣніе зародилось въ душѣ его.

Простившись съ княземъ и проводивъ его до сѣней, Морозовъ возвратился въ избу. Навислыя брови его были грозно сдвинуты; глубокія морщины бороздили чело; его

бросало въ жаръ, ему было душно. «Елена теперь спитъ,—подумаль онъ:—она не будетъ ждать меня; пройдуся я по саду, авось освѣжу свою голову».

Морозовъ вышелъ; въ саду было темно. Подходя къ оградѣ, онъ увидѣлъ бѣлую фѣрязъ. Онъ сталъ всматриваться.

Внезапно любовныя рѣчи поразили его слухъ. Старикъ остановился. Онъ узналъ голосъ жены. За оградю рисовался на звѣздномъ небѣ неопредѣленный образъ всадника. Незнакомецъ нагнулся къ Еленѣ и что-то говорилъ ей. Морозовъ притаилъ дыханіе, но порывъ вѣтра потрясъ вершины деревъ и умчалъ слова и голосъ незнакомца. Кто былъ этотъ незнакомецъ? Ужели Вяземскій успѣлъ своею настойчивостью склонить къ себѣ Елену? Загадочно женское сердце! Ему нравится сегодня, что вчера возбуждало его ненависть! Или уже не Серебряный ли назначилъ свиданіе женѣ его? Кто знаетъ? Быть-можетъ, князь, котораго принялъ онъ какъ сына, нанесъ ему въ тотъ же день кровавое оскорбленіе, ему, лучшему другу отца его, ему, который готовъ былъ подвергнуть опасности собственную жизнь, чтобы скрыть Серебрянаго отъ царскаго гнѣва.

«Но нѣтъ,—подумаль Морозовъ:—это не Серебряный! Это какой-нибудь опричникъ, новый любимецъ царскій. Имъ не въ диковину безчестить столбового боярина. А жена-то, змѣя подколодная! Ужь ее ли не любилъ я! Ее ли не держалъ, какъ дочь родную! И не вольною ли волею вышла она за меня? Не благодарила ли меня, лукавая? Не клялась ли мнѣ въ вѣрности? Нѣтъ, не надѣйся, Дружина Андреичъ, на вѣрность женскую! Женская вѣрность—теремъ высокій, дверь дубовая, да запоры желѣзные! Поторопился, Дружина Андреичъ, вручать дѣвкѣ честь свою! Обуяло тебя, стараго, сердце пылкое! Провела тебя жена, молодая змѣя; посмѣются надъ тобою люди московскіе!»

Такъ думаль Морозовъ и мучился догадками. Ему хотѣлось ринуться впередъ. Но всадникъ могъ ускакать, и бояринъ не узналъ бы врага своего. Онъ рѣшился повременить.

Какъ нарочно, въ эту ночь вѣтеръ не переставалъ шумѣть, а мѣсяцъ не выходилъ изъ-за облаковъ. Морозовъ не узналъ ни лица ни голоса всадника. Онъ только слышалъ, что боярыня сказала ему сквозь слезы:

— Я люблю тебя болѣ жизни, болѣ солнца краснаго!

Я никого, кромѣ тебѣ, не любила и любить не могу, и не буду!

Вскорѣ Елена прошла мимо Морозова, не замѣтивъ его. Медленно послѣдовалъ за нею Дружина Андреичъ.

На другой день онъ не показалъ и виду, что подозрѣваетъ Елену. Онъ былъ съ нею попрежнему привѣтливъ и ласковъ. По временамъ лишь, когда она того не примѣчала, бояринъ забывался, сдвигалъ брови и грозно смотрѣлъ на Елену. Страшную думу думалъ тогда Дружина Андреичъ. Онъ думалъ, какъ бы сыскать ему своего недруга.

Прошло дня четыре. Морозовъ сидѣлъ въ брусняной избѣ за дубовымъ столомъ; на столѣ лежала разогнутая книга, обложенная червчатымъ бархатомъ, съ серебряными застежками и жуками. Но бояринъ думалъ не о чтеніи. Глаза его скользили надъ пестрыми заголовками и узорными травами страницы, а воображеніе бродило отъ жениной свѣтлицы къ садовой оградѣ.

Наканунъ этого дня Серебряный возвратился изъ слободы и, по данному обѣщанію, посѣтилъ Морозова.

Елена въ этотъ день сказалаь больною и не вышла изъ свѣтлицы. Морозовъ ни въ чемъ не измѣнилъ своего обращенія съ Никитой Романовичемъ. Но, поздравляя его съ счастливымъ возвратомъ и потчюя прилежно дорогого гостя, онъ не переставалъ вникать въ выраженіе его лица и старался уловить на немъ признаки предательства. Серебряный былъ задумчивъ, но просто и откровененъ попрежнему; Морозовъ не узналъ ничего.

И вотъ о чемъ думалъ онъ теперь, сидя за столомъ передъ разогнутою книгой.

Размышленія его прервалъ вошедшій слуга, но, увидя нахмуренный лобъ Морозова, онъ почтительно остановился. Морозовъ спросилъ его взглядомъ.

— Государь!—сказалъ слуга:—ѣдутъ царскіе люди. Преди всѣхъ князь Аванасій Иванычъ Вяземскій; ужъ они близко,—прикажешь встрѣчать?

Въ то же время слышался звонъ бубна, въ который билъ кожаную плетью, или воцагой, передовой холопъ, чтобы разгонять народъ и очищать дорогу го-сподину.

— Вяземскій ѣдетъ ко мнѣ?—сказалъ Морозовъ.—Что онъ, рехнулся? Да можетъ, онъ ѣдетъ мимо? Ступай къ воротамъ и подожди! А если онъ поворотитъ сюда, скажи

ему, что мой домъ не кружало, что опричниковъ я не знаю и съ ними хлѣба-соли не веду! Ступай!

Слуга колебался.

— Что еще?—спросилъ Морозовъ.

— Бояринъ, твоя надо мной воля, а этого не скажу Вяземскому!

— Ступай!—закричалъ Морозовъ и топнулъ ногой.

— Бояринъ!—сказалъ, вбѣгая, дворецкій:—князь Вяземскій съ опричниками подъѣзжаетъ къ нашимъ воротамъ! Князь говоритъ, я-де посланъ отъ самого государя.

— Отъ государя? Онъ тебѣ сказалъ—отъ государя? Настежь ворота! Подайте золотое блюдо съ хлѣбомъ-солью! Вся дворня чтобы шла навстрѣчу посланнымъ государя!

Между тѣмъ ближе и ближе слышались звонъ и бряцанье бубна; человекъ двадцать всадниковъ, а впереди Аванасій Ивановичъ на статномъ караковомъ жеребцѣ, въ серебряной сбруѣ, вѣхали шагомъ на дворъ Морозова. На князѣ былъ бѣлый атласный кафтанъ. Изъ-за низко вырѣзаннаго ворота виднѣлось жемчужное ожерелье рубахи. Жемчужныя запястья плотно стягивали у кистей широкіе рукава кафтана, небрежно подпоясаннаго малиновымъ шелковымъ кушакомъ, съ выпущенною въ два конца золотою бахромой, съ заткнутыми по бокамъ узорными перчатками. Бархатные малиновые штаны заправлены были въ желтые сафьянные сапоги, съ серебряными скобами на каблукахъ, съ голенищами, шитыми жемчугомъ и спущенными въ частыхъ складкахъ до половины икорь. Поверхъ кафтана надѣтъ былъ въ накидку шелковый легкій онашень золотистаго цвѣта, застегнутый на груди двойною алмазною запоной. Голову князя покрывала бѣлая парчевая мурmolка съ гибкимъ алмазнымъ перомъ, которое качалось отъ каждаго движенія, играя солнечными лучами. Черныя кудри Аванасія Ивановича, выбѣгая изъ-подъ шалки, смѣшивались съ его бородой, короткою и кудрявою. Легкій усъ образовывалъ надъ верхнею губою не черную полосу, но лишь темную тѣнь. Станъ Вяземскаго былъ высокъ и строенъ; видъ молодъ и веселъ.

Согласно роскошному обычаю того времени, пѣшіе конюхи вели за нимъ подъ уздцы шесть верховыхъ коней въ полномъ убранствѣ; изъ нихъ одинъ былъ вороной, одинъ буланый, одинъ желѣзно-сѣрый, а три совершенно бѣлой масти. На головахъ коней качались цвѣтныя перья,

на хребтахъ ихъ пестрѣли звѣриныя кожи или парчевые чепраки и чалдары, усаженные дорогими каменьями, и всѣ шестеро звенѣли на ходу множествомъ серебряныхъ бубенчиковъ, или золотыми прорѣзными яблоками, подобранными въ согласный звонъ и висѣвшими по обѣимъ сторонамъ налобниковъ длинными гроздами.

При появленіи Дружины Андреевича Вяземскій и всѣ опричники сошли съ коней.

Морозовъ съ золотымъ блюдомъ медленно шелъ къ нимъ навстрѣчу, а за нимъ шли знакомцы, держальники и холопи боярскіе.

— Князь, — сказалъ Морозовъ: — ты посланъ ко мнѣ отъ государя. Спѣшу встрѣтить съ хлѣбомъ-солью тебя и твоихъ! — И сивые волосы боярина пали ему на глаза отъ низкаго поклона.

— Бояринъ, — отвѣтилъ Вяземскій: — великій государь велѣлъ тебѣ сказать свой царскій указъ: — Бояринъ Дружина! Царь и великій князь Иванъ Васильевичъ всея Руси слагаетъ съ тебя гнѣвъ свой, сымаетъ съ главы твоей свою царскую опалу, милуетъ и прощаетъ тебя во всѣхъ твоихъ виновностяхъ; и быть тебѣ, боярину Дружинѣ, попрежнему въ его великаго государя милости и служить тебѣ напредки великому государю, и писаться твоей чести попрежнему-жъ!

Изговоря рѣчь, Вяземскій заложилъ одну руку за кушакъ, другою погладилъ бороду, пріосанился и, устремивъ на Морозова орлиные глаза, ожидалъ его отвѣта.

При началѣ рѣчи Морозовъ опустилса на колѣни. Теперь держальники подняли его подъ руки. Онъ былъ блѣденъ.

— Да благословить же Святая Троица и московскіе чудотворцы нашего великаго государя! — произнесъ онъ дрожащимъ голосомъ: — да продлитъ прещедрый и премилостивый Богъ безъ счету царскіе дни его! Не тебя ожидалъ я, князь, но ты посланъ ко мнѣ отъ государя — войди въ домъ мой! Войдите, господа опричники! Прошу вашей милости! А я пойду отслужу благодарственный молебенъ, а потомъ сяду съ вами пировать до поздней ночи.

Опричники вошли.

Морозовъ подозвалъ холопа.

— Садись на-конь, скажи къ князю Серебряному, отвези ему поклонъ и скажи, что прошу отпаздновать се-

годняшній день: царь-де пожаловалъ меня милостію великою, изволилъ-де снять съ меня свою опалу!

Отдавъ это приказаніе и проводивъ въ сѣни гостей, Морозовъ отправился черезъ дворъ въ домовую церковь; передъ нимъ шли знакомцы и держальники, а за нимъ—многочисленные холопы. Въ домѣ остался лишь дворецкій, да сколько нужно было людей для прислуги опричникамъ.

Подали разныя закуски и наливки, но обѣдъ былъ еще впереди.

Вскорѣ пріѣхалъ Серебряный, также сопровождаемый знакомцами и холопами, ибо въ тогдашнее время ѣздить боярину въ важныхъ случаяхъ одиночествомъ или малолюдствомъ считалось порухою чести.

Столъ уже былъ накрытъ въ большой избѣ; слуги стояли по мѣстамъ; всѣ ожидали хозяина.

Дружина Андреевичъ, отслушавъ молебень, вошелъ въ добромъ платьѣ, въ парчевомъ кафтанѣ, съ собольей шапкою въ рукахъ. Сивья кудри его были ровно подстрижены, борода тщательно расчесана. Онъ поклонился гостямъ, гости ему поклонились, и всѣ сѣли за столъ.

Зачался почестный пиръ, зазвенѣли кубки и братины, и вмѣстѣ съ ними зазвенѣлъ еще другой звонъ, несомнѣнный со звуками веселаго пира. Зазвенѣли подъ кафтанами опричниковъ невидимые dospѣхи.

Но Морозовъ не услышалъ зловѣщаго звона. Другія мысли занимали его. Внутреннее чувство говорило Морозову, что ночной его оскорбитель пируетъ съ нимъ за однимъ столомъ, и бояринъ придумалъ наконецъ средство его открыть. Средство это, по мнѣнію его, было надежно.

Уже много кубковъ осушили гости; пили они про государя и про царицу, и про весь царскій домъ; пили про митрополита и про все русское духовенство; пили про Вяземскаго, про Серебрянаго и про ласковаго хозяина; пили про cadaго изъ гостей особенно. Когда всѣ здоровья были выпиты, Вяземскій всталъ и предложилъ еще здорově молодой боярыни.

Того-то и ожидалъ Морозовъ.

— Дорогіе гости,—сказалъ онъ:—непригоже безъ хозайки пить про хозайку! Сходите,—продолжалъ онъ, обращаясь къ слугамъ:—сходите за боярыней: пусть сойдегъ потчевать изъ своихъ рукъ дорогихъ гостей!

— Ладно, ладно! — зашумѣли гости: — безъ хозяйки и медь не сладокъ!

Черезъ нѣсколько времени появилась Елена въ богатомъ сарафанѣ, сопровождаемая двумя сѣнными дѣвушками; она держала въ рукахъ золотой подносъ съ одною только чаркой. Гости встали. Дворецкій наполнилъ чарку тройнымъ зеленчакомъ. Елена прикоснулась къ ней губами и начала обносить ее кругомъ гостей, кланяясь каждому, малымъ обычаемъ, въ поясъ. По мѣрѣ того, какъ гости выпивали чарку, дворецкій наполнялъ ее снова.

Когда Елена обошла всѣхъ безъ изъятія, Морозовъ, пристально за ней слѣдившій, обратился къ гостямъ.

— Дорогие гости, — сказалъ онъ: — теперь по старинной русской обыкности прошу васъ, уважили-бъ вы домъ мой, не наложили-бъ охулы на мое хозяйство, прошу васъ, дорогие гости, не побрезгали бы вы поцѣловать жену мою! Дмитріевна, становись въ большомъ мѣстѣ и отдавай всѣ поцѣлуи, каждому поочередно!

Гости благодарили хозяина. Елена съ трепетомъ стала возлѣ печи и опустила глаза.

— Князь, подходи! — сказалъ Морозовъ Вяземскому.

— Нѣтъ, нѣтъ, по обычаю! — закричали гости: — пусть хозяинъ поцѣлуетъ первый хозяйку! Пусть будетъ по обычаю, какъ отъ предковъ повелось!

— Пусть же будетъ по обычаю, — сказалъ Морозовъ и, подойдя къ женѣ, онъ сперва поклонился ей въ ноги. Когда они поцѣловались, губы Елены горѣли какъ огонь; какъ ледъ были холодны губы Дружины Андреевича.

За Морозовымъ подошелъ Вяземскій.

Морозовъ сталъ примѣчать.

Глаза Аванасья Ивановича сверкали словно уголья, но лицо Елены осталось неподвижно. Она при мужѣ, при Серебряномъ не боялась нахальнаго князя.

«Не онъ», — подумалъ Морозовъ.

Вяземскій положилъ земной поклонъ и поцѣловалъ Елену; но какъ поцѣлуй его длился долѣе, чѣмъ было нужно, она отвернулась съ примѣтною досадою.

«Нѣтъ, не онъ!» — повторилъ про себя Морозовъ

За Вяземскимъ подошли поочередно нѣсколько опричниковъ. Они кланялись, большимъ обычаемъ, въ землю и потомъ цѣловали Елену; но Дружина Андреевичъ ничего не могъ прочесть на лицѣ жены своей, кромѣ без-

покойства. Нѣсколько разъ длинныя рѣсницы ея поднимались, и взоръ, казалось, со страхомъ искалъ кого-то между гостями.

«Онъ здѣсь!»—подумалъ Морозовъ.

Вдругъ ужасъ овладѣлъ Еленой. Глаза ея встрѣтились съ глазами мужа, и, съ свойственною женскому сердцу смѣтливостью, она отгадала его мысли. Подъ этимъ тяжельмъ, неподвижнымъ взоромъ ей показалось невозможнымъ поцѣловать Серебрянаго и не быть въ тотъ же мигъ уличенною. Всѣ обстоятельства ихъ встрѣчи у садовой ограды, въ первый прїездъ Серебрянаго, живо представились ея памяти. Теперешнее ея положеніе и ожидающій ее поцѣлуй показали ей Божьимъ наказаніемъ за ту вреступную встрѣчу, за тотъ преступный поцѣлуй. Смертельный холодъ пробѣжалъ по ея членамъ.

— Я нездорова...—прошептала она:—отпусти меня, Дружина Андреичъ...

— Останься, Елена,—сказалъ спокойно Морозовъ:—пожди, ты не можешь теперь уйти; это не видано, не слыхано; надо кончить обрядъ!

И онъ проникалъ жену насквозь испытующимъ взглядомъ.

— Ноги не держатъ меня!..—произнесла Елена.

— Чтѣ? —сказалъ Морозовъ, будто не разслышавъ:—угорѣла? эка невидаль!

— Прошу васъ, государи, подходите, не слушайте жены! Она еще ребенокъ; больно застѣнчива, ей въ новинку обрядъ! Да къ тому еще угорѣла! Подходите, дорогіе гости, прошу васъ!

«Да гдѣ же Серебряный?»—подумалъ Дружина Андреевичъ, пробѣгая глазами гостей.

Князь Никита Романовичъ стоялъ въ сторонѣ. Отъ него не скрылось необыкновенное вниманіе, съ какимъ Морозовъ всматривался въ жену и въ cadaго подходившаго къ ней гостя. Онъ прочелъ на лицѣ Елены страхъ и безпокойство. Никита Романовичъ, всегда рѣшительный, когда совѣсть его ни въ чемъ не укоряла, теперь не зналъ, чтѣ дѣлать. Онъ боялся, подойдя къ Еленѣ, умножить ея смущеніе; боялся, оставаясь позади другихъ, возбудить подозрѣніе мужа. Если бы могъ онъ сказать ей хоть одно слово непримѣтно, онъ ободрилъ бы ее и возвратилъ бы ей, можетъ-быть, потерянную силу; но Елену окружали гости, мужъ не спускалъ съ нея глазъ; надо было на что-нибудь рѣшиться.

Серебряный подошелъ, поклонился Еленѣ, но не зналъ, смотрѣть ли ей въ глаза или нарочно не встрѣчать ея взора. Это колебаніе выдало князя. Съ своей стороны, Елена не выдержала пытки, которой подвергалъ ее Морозовъ.

Елена обманула мужа не по легкомыслію, не по внушенію сердца испорченнаго. Она обманула его потому, что сама обманулась, думая, что можетъ полюбить Дружину Андреевича. Когда ночью, у садовой ограды, она увѣряла Серебрянаго въ любви своей, слова вырывались у нея невольно; она не торговалась выраженіями, и если бы тогда она увидѣла за собой мужа, то призналась бы ему во всемъ чистосердечно. Но воображеніе Елены было пылко, а нравъ робокъ. Послѣ ночного свиданія съ Серебрянымъ ее не переставали мучить угрызенія совѣсти. Къ нимъ присоединилось еще смертельное безпокойство объ участи Никиты Романовича. Сердце ея раздиралось противоположными ощущеніями; ей хотѣлось пасть къ ногамъ мужа и просить у него прощенія и совѣта; но она боялась его гнѣва, боялась за Никиту Романовича.

Эта борьба, эти мученія, страхъ, внушаемый ей мужемъ, добрымъ и ласковымъ, но неумолимымъ во всемъ, что касалось его чести,—все это разрушительно потрясло ея тѣлесныя силы. Когда губы Серебрянаго прикоснулись къ губамъ ея, она задрожала какъ въ лихорадкѣ, ноги подъ ней подкосились, а изъ устъ вырвались слова:

— Пресвятая Богородица! пожалѣй меня!

Морозовъ подхватилъ Елену.

— Эхъ!—сказалъ онъ:—вотъ женское-то здоровье! Посмотрѣть, такъ кровь съ молокомъ, а немного угару, такъ и ноги не держать. Да ничего, пройдетъ! Подходите, дорогіе гости!

Голосъ и приемы Морозова ни въ чемъ не измѣнились. Онъ такъ же казался спокоенъ, такъ же былъ привѣтливъ и доброхотенъ.

Серебряный остался въ недоумѣніи: въ самомъ ли дѣлѣ онъ проникъ его тайну?

Когда кончился обрядъ и Елена, поддерживаемая дѣвushками, удалилась въ свѣтлицу, гости, по приглашенію Морозова, опять сѣли за столъ.

Дружина Андреевичъ всѣхъ нудилъ и потчевалъ съ прежнею заботливостію и не забывалъ ни одной изъ ме-

лочныхъ обязанностей, доставлявшихъ въ тѣ времена хозяину дома славу добраго хлѣбосола.

Уже было поздно. Вино горячило умы, и странныя слова проскакивали иногда среди разговора опричниковъ.

— Князь, — сказалъ одинъ изъ нихъ, наклоняясь къ Вяземскому: — пора бы за дѣло!

— Молчи! — отвѣчалъ шопотомъ Вяземскій: — старикъ услышитъ!

— Хоть и услышитъ, не пойметъ! — продолжалъ громко опричникъ съ настойчивостью пьянаго.

— Молчи! — повторилъ Вяземскій.

— Я-те говорю, князь, пора! Ей-Богу, пора! Вотъ я знакъ подамъ!

И опричникъ двинулся встать.

Вяземскій сильною рукою пригвоздилъ его къ скамѣ.

— Уймись! — сказалъ онъ ему на ухо: — не то вонжу этотъ ножъ тебѣ въ горло!

— Ого, да ты еще грозишь! — вскричалъ опричникъ, вставая со скамьи. — Вишь ты какой! Я говорилъ, что нельзя тебѣ вѣрить! Вѣдь ты не нашъ братъ! Ужъ я бы васъ всѣхъ, князей да бояръ, что наше жалованье заѣдаете! Да погоди, посмотримъ, чья возьметъ! Долой изъ-подъ кафтана кольчугу-то! Вымай саблю! Посмотримъ, чья возьметъ!

Слова эти были произнесены невѣрнымъ языкомъ, среди общаго говора и шума; но нѣкоторыя изъ нихъ долетѣли до Серебрянаго и возбудили его вниманіе. Морозовъ ихъ не слыжалъ. Онъ видѣлъ только, что между гостями вспыхнула ссора.

— Дорогие гости! — сказалъ онъ, вставая изъ-за стола: — на дворѣ ужъ темная ночь! Не пора ли на покой? Всѣмъ вамъ готовы и перины мягкія и подушки пуховыя!

Опричники встали, благодарили хозяина, раскланялись и пошли въ приготовленныя для нихъ на дворѣ опочивальни.

Серебряный также хотѣлъ удалиться.

Морозовъ остановилъ его за руку.

— Князь, — сказалъ онъ шопотомъ: — обожди меня здѣсь!

И, оставя Серебрянаго, Дружина Андреевичъ отправился на половину жены.

ГЛАВА XVI.

Похищеніе.

Во время обѣда вокругъ дома происходило нѣчто необыкновенное.

Съ наступленіемъ сумерекъ новые опричники стали являться, по одному, возлѣ садовой ограды, возлѣ забора, окружавшаго дворъ, и наконецъ на самомъ дворѣ.

Люди Морозова не обратили на нихъ вниманія.

Когда настала ночь, домъ былъ со всѣхъ сторонъ окруженъ опричниками.

Стремянный Вяземскаго вышелъ изъ застольной, будто бы напоить коня. Но, не дойдя до конюшни, онъ оглянулся, посмотрѣлъ на всѣ стороны, подошелъ къ воротамъ и просвисталъ какъ-то особенно. Кто-то къ нему подкрался.

— Всѣ ли вы?—спросилъ стремянный.

— Всѣ,—отвѣчалъ тотъ.

— Много ли васъ?

— Пятьдесятъ.

— Добро, ожидайте знака.

— А скоро ли? Ждать надоѣло.

— Про то знаетъ князь. Да слышь ты, Хомякъ: князь не велить ни жечь ни грабить дома!

— Не велить! Да чтѣ онъ мнѣ—господинъ, что ли?

— Видно, господинъ, коли Григорій Лукьянычъ велѣлъ быть тебѣ сегодня у него въ приказѣ.

— Служить-то я ему послужу, да только ему, а не Морозову. Помогу князю увезти боярыню, а потомъ ужъ и мнѣ никто не указывай!

— Смотри, Хомякъ, князь не шутить!

— Да чтѣ ты?—сказалъ Хомякъ, злобно усмѣхаясь.— Князь княземъ, а я самъ по себѣ. Коли мнѣ хочется погулять, кому какое дѣло?

Въ то самое время, какъ разговоръ этотъ происходилъ у воротъ, Морозовъ, остановивъ Серебрянаго, вошелъ на половину Елены.

Боярыня еще не ложилась. На головѣ ея уже не было ежошника. Густая, полураспушенная коса упала на ея бѣлыя плечи. Лѣтникъ былъ на груди разстегнутъ. Елена готовилась раздѣться, но склонила голову на плечо и забылась. Мысли ея блуждали въ прошедшемъ. Она вспомнила первое знакомство съ Серебрянымъ, свои надежды, отчаянье, предложеніе Морозова и данную клятву. Ей

живо представилось, какъ въ Радуницу, передъ самой свадьбой, она, по обычаю сиротъ, пошла на могилу матери, поставила подъ крестомъ чашу съ красными яйцами, мысленно христосовалась съ матерью и просила благословенія на любовь и союзъ съ Морозовымъ.

Она вѣрила въ то время, что переможетъ первую любовь свою, вѣрила, что будетъ счастлива за Морозовымъ; а теперь... Елена вспомнила о поцѣлуйномъ обрядѣ, и ее обдало холодомъ. Бояринъ вошелъ, не примѣченный ею, и остановился на порогѣ. Лицо его было сурово и грустно. Нѣсколько времени смотрѣлъ онъ молча на Елену. Она была еще такъ молода, такъ неопытна, такъ неискусна въ обманѣ, что Морозовъ почувствовалъ невольную жалость.

— Елена!—сказалъ онъ:—отчего ты смутилась во время обряда?

Елена вздрогнула и устремила на мужа глаза, полные страха. Ей хотѣлось пасть къ его ногамъ и сказать всю правду, но она подумала, что, можетъ-быть, онъ еще не подозрѣваетъ Серебрянаго, и побоялась навлечь на него мщеніе мужа.

— Отчего смутилась ты?—повторилъ Морозовъ.

— Мнѣ понездоровилось,—отвѣчала Елена шопотомъ.

— Такъ. Тебѣ нездоровилось, но не тѣломъ, а душой. Болѣзнь твоя душевная. Ты погубишь свою душу, Елена! Боярыня дрожала.

— Когда сего утра,—продолжалъ Морозовъ:—Вяземскій съ опричниками пріѣхалъ въ домъ нашъ, я читалъ священное писаніе. Знаешь ли, что говорится въ писаніи о невѣрныхъ женахъ?

— Боже мой!—произнесла Елена.

— Я читалъ,—продолжалъ Морозовъ:—о наказаніи за прелюбодѣйство...

— Господи!—умоляла боярыня:—будь милостивъ, Дружина Андреичъ, пожалѣй меня! Я не столько виновна, какъ ты думаешь... Я не измѣнила тебѣ...

Морозовъ грозно сдвинулъ брови.

— Не лги, Елена. Не мудрствуй. Не умножай грѣха своего лукавою рѣчью. Ты не измѣнила мнѣ, потому что для измѣны нужна хотя краткая вѣрность, а ты никогда не была мнѣ вѣрна...

— Дружина Андреичъ, пожалѣй меня!

— Ты никогда не была мнѣ вѣрна! Когда насъ вѣн-

чали; когда ты своею великою неправдой цѣловала мнѣ крестъ, ты любила другого... Да, ты любила другого!— продолжалъ онъ, возвышая голосъ.

— Боже мой, Боже мой!—прошептала Елена, закрывъ лицо руками.

— Дмитріевна! А Дмитріевна! Зачѣмъ не сказала ты мнѣ, что любишь его?

Елена плакала и не отвѣчала ни слова.

— Когда я тебя увидѣлъ въ церкви, беззащитную сироту, въ тотъ день, какъ хотѣли выдать тебя насильно за Вяземскаго, я рѣшился спасти тебя отъ постылаго мужа, но хотѣлъ твоей клятвы, что не посрамишь ты сѣдыхъ волосъ моихъ. Зачѣмъ ты дала мнѣ клятву? Зачѣмъ не призналась во всемъ? Словами ты была со мною, а сердцемъ и мыслію—съ другимъ! Если бы зналъ я про любовь твою, развѣ я взялъ бы тебя? Я бы схоронилъ тебя гдѣ-нибудь въ глухомъ помѣстьѣ, далеко отъ Москвы, или свезъ бы въ монастырь; но не женился бы на тебѣ, видить Богъ—не женился-бъ! Лучше было отойти отъ міра, чѣмъ достаться постылому. Зачѣмъ ты не отошла отъ міра? Зачѣмъ защитилась моимъ именемъ, какъ стѣной каменною, а потомъ насмѣхалась мнѣ съ твоимъ полюбивникомъ? Вы думали: Морозовъ слабъ, намъ легко его одурачить!

— Нѣтъ, господинъ мой!—взрыдала Елена и упала на колѣни:—я никогда этого не думала! Ни въ умѣ ни въ помышленіи того не было! Да онъ же въ ту пору былъ въ Литвѣ...

При словѣ онъ глаза Морозова засверкали, но онъ овладѣлъ собою и горько усмѣхнулся.

— Такъ. Вы не въ ту пору спознались, но позже, когда онъ вернулся. Вы спознались ночью, въ саду у ограды, въ тотъ самый вечеръ, когда я принялъ и обласкалъ его какъ сына! Скажи, Елена: ужели въ самомъ дѣлѣ вы думали, что я не угадаю вашего замысла, дамъ себя одурачить, не сумѣю наказать жену вѣроломную и злодѣя моего, ея сводчика? Ужели чаялъ этотъ молокососъ, что гнусное его дѣло сойдетъ ему съ рукъ? Аль не читалъ онъ, что въ книгахъ Левитъ написано: человекъ аще прелюбы содѣетъ съ мужнею женою, смертію да умрутъ прелюбодѣй и прелюбодѣйца!

Елена съ ужасомъ взглянула на мужа. Въ глазахъ его была холодная рѣшительность.

— Дружина Андреичъ!—сказала она въ испугѣ:—что ты хочешь сдѣлать?

Бояринъ вынулъ изъ-подъ опашня длинную пистоллю.

— Что ты дѣлаешь?—вскричала боярыня и отступила назадъ.

Морозовъ усмѣхнулся.

— Не бойся за себя!—сказалъ онъ холодно:—тебя я не убью. Возьми свѣчу, ступай передо мною!

Онъ осмотрѣлъ пистоллю и подошелъ къ двери. Елена не двигалась съ мѣста. Морозовъ оглянулся.

— Свѣти мнѣ!—повторилъ онъ повелительно.

Въ эту минуту послышался на дворѣ шумъ. Нѣсколько голосовъ говорили вмѣстѣ. Слуги Морозова звали другъ друга. Бояринъ сталъ прислушиваться. Шумъ усиливался. Казалось, множество людей врывалось въ подклѣти. Раздался выстрѣлъ.

Еленѣ представилось, что Серебряный убитъ по волѣ Морозова. Негодованье возвратило ей силы.

— Бояринъ!—вскричала она, и взоръ ея загорѣлся:—меня, меня убей! Я одна виновна!

Но Морозовъ не обратилъ вниманія на слова ея. Онъ слушалъ, наклоня голову, и лицо его выражало удивленіе.

— Убей меня!—просила въ отчаяннѣ Елена:—я не хочу, я не могу пережить его! Убей меня! Я обманула тебя, я насмѣхалась тебѣ! Убей меня!

Морозовъ посмотрѣлъ на Елену, и если бы кто увидѣлъ его въ это мгновеніе, тотъ не рѣшилъ бы—жалость или негодованье преобладали въ его взорѣ.

— Дружина Андреичъ!—раздался голосъ снизу:—измѣна! Предательство! Опричники врываются къ женѣ твоей! Остерегись, Дружина Андреичъ!

То былъ голосъ Серебрянаго. Узнавъ его, Елена въ неизъяснимой радости бросилась къ двери. Морозовъ оттолкнулъ жену, задвинулъ запоръ и укрѣпилъ дверь на желѣзный крюкъ.

Поспѣшные шаги послышались на лѣстницѣ, потомъ стукъ сабель, потомъ проклятія, борьба, громкій крикъ и паденіе.

Дверь затрещала отъ ударовъ.

— Бояринъ!—кричалъ Вяземскій:—отопри, не то весь домъ раскидаю по бревнамъ!

— Не вѣрю, князь!—отвѣчалъ съ достоинствомъ Мо-

розовъ.—Еще не видано на Руси, чтобы гость безчестилъ хозяина, чтобы силой врвался въ теремъ жены его. Хмельнъ былъ медь мой, онъ вскружилъ тебѣ голову, князь, поди, выпись; завтра все забудемъ. Не забуду лишь я, что ты гость мой.

— Отопри!—повторилъ князь, напирая на дверь.

— Аванасій Ивановичъ! вспомни, кто ты! Вспомни, что ты не разбойникъ, но князь и бояринъ!

— Я опричникъ! Слышишь, бояринъ, я опричникъ! Нѣтъ у меня чести! Полюбилась мнѣ жена твоя,—слышишь, бояринъ! Не боюся студнаго дѣла, всю Москву дуцую, на-дымъ, а добуду Елену!

Внезапно изба ярко освѣтилась. Морозовъ увидѣлъ въ окно, что горять крыши людскихъ службъ. Въ то же время дверь, потрясенная новыми ударами, повалилась съ трескомъ, и Вяземскій явился на порогъ, озаренный пожаромъ, съ переломленною саблей въ рукъ.

Бѣлая атласная одежда его была истерзана; по ней струилась кровь. Видно было, что онъ не безъ боя достигъ до свѣтлицы.

Морозовъ выстрѣлилъ въ Вяземскаго почти въ упоръ, но рука измѣнила боярину: пуля ударила въ косякъ; князь бросился на Морозова.

Недолго продолжалась между ними борьба.

Отъ сильнаго удара рукоятью сабли Морозовъ упалъ навзничъ. Вяземскій подбѣжалъ къ боярину; но лишь только кровавыя руки его коснулись ея одежды, она отчаянно вскрикнула и лишилась чувствъ. Князь схватилъ ее на руки и помчался внизъ по лѣсницѣ, метя ступени ея распущенной косой.

У воротъ дожидались кони. Вскочивъ въ сѣдло, князь полетѣлъ съ полумертвою боярыней, а за нимъ, гремя оружіемъ, полетѣли его холопи.

Ужасъ былъ въ домѣ Морозова. Пламя охватило всѣ службы. Дворня кричала, падая подъ ударами хищниковъ. Сѣнныя дѣвушки бѣгали съ воплемъ назадъ и впередъ. Товарищи Хомяка грабили домъ, выбѣгали на дворъ и бросали въ одну кучу дорогую утварь, деньги и богатая одежда. На дворѣ, надъ грудой серебра и золота, заглушая голосомъ шумъ, крики и трескъ огня, стоялъ Хомякъ въ красномъ кафтанѣ.

— Эхъ, весело!—говорилъ онъ, потирая руки:—вотъ пиръ такъ пиръ!

— Хомякъ! — вскричалъ одинъ опричникъ: — дворянъ увезла Морозова по рѣкѣ. Догнать, аль не надо?

— Чортъ съ нимъ! Не до него теперь! Эй, вы! Всѣ на дворъ, не то скоро задохнемся!

— Хомякъ! — сказалъ другой: — что велишь дѣлать съ Серебрянымъ?

— Не трогать его ни пальцемъ! Приставить къ нему сторожевыхъ, чтобы глазъ съ него не сводили. Отвеземъ его милость къ слободѣ съ почетомъ. Вѣдь видѣли вы, какъ онъ князь Аванасья Ивановича хватилъ? Какъ нашихъ саблей крошилъ?

— Видѣли, видѣли!

— А будете въ томъ крестъ цѣловать передъ государемъ?

— Будемъ, будемъ! Всѣ будемъ крестъ цѣловать!

— Ну-жъ, смотрите! Теперь чтобы никто не смѣлъ его обидѣть, а какъ пріѣдемъ домой, такъ ужъ Григорій Лукьянычъ припомнить ему свою оплеуху, а я — мои плети!

Долго еще шумѣли и грабили опричники, и когда поѣхали они, навьючивъ лошадей тяжелою добычей, то еще долго послѣ ихъ отъѣзда видно было зарево надъ мѣстомъ, гдѣ недавно стоялъ домъ Дружины Андреевича, и Москва-рѣка, протекая мимо, до самага утра играла огненными струями, какъ растопленнымъ золотомъ.

ГЛАВА XVII.

Заговоръ на кровь.

Сосѣдніе люди, узнавъ о нападеніи опричниковъ и видя зарево надъ дворомъ Морозова, спѣшили заирать ворота и гасить огонь.

— Господи! — говорили, крестясь, тѣ изъ нихъ, мимо которыхъ скакалъ Вяземскій съ своими холопами: — Господи, помилуй насъ! пронеси бѣду мимо!

И лишь топотъ коней удалялся и бряцаніе броней замирало въ пустыхъ улицахъ, жители говорили: — Слава Богу, миновала бѣда! — и опять крестились.

Между тѣмъ князь продолжалъ скакать и уже далеко оставилъ за собой холопей. Онъ положилъ на мысль, еще до разсвѣта, достигъ деревни, гдѣ ожидала его подстава, а оттуда перевезти Елену въ свою рязанскую вотчину. Но не проскакалъ князь и пяти верстъ, какъ увидѣлъ, что сбился съ дороги.

Въ то же время онъ почувствовалъ, что раны, на ко-

торыя онъ сгоряча не обратилъ вниманія, теперь причиняютъ ему нестерпимую боль.

— Боярыня!—сказалъ онъ, остановившая коня:—мои холопы отстали... надо обождать!

Елена понемногу приходила въ себя. Открывъ глаза, она увидѣла сперва далекое зарево, потомъ стала различать лѣсъ и дорогу, потомъ почувствовала, что лежитъ на хребтѣ коня и что держатъ ее сильныя руки. Мало-по-малу она начала вспоминать событія этого дня, вдругъ узнала Вяземскаго и вскрикнула отъ ужаса.

— Боярыня,—сказалъ Аванасій Ивановичъ съ горькой усмѣшкой:—я тебѣ страшенъ? Ты клянешь меня? Не меня кляни, Елена Дмитріевна! Кляни долю свою! Напрасно хотѣла ты миновать меня. Не миновать никому, судьбы, не объѣхать конемъ суженаго! Видно, искони, боярыня, было тебѣ на роду написано, чтобы досталась ты мнѣ!

— Князь!—прошептала Елена, дрожа отъ ужаса:—коли нѣтъ въ тебѣ совѣсти, вспомни боярскую честь свою, вспомни хоть стыдъ...

— Нѣтъ у меня чести, нѣтъ стыда! Все, все отдалъ я за тебя, Елена Дмитріевна!

— Князь, вспомни судъ Божій, не погуби души своей!

— Поздно, боярыня! Я уже погубилъ ее! Или ты думаешь: кто платитъ за хлѣбъ-соль, какъ я, тотъ можетъ спасти душу? Нѣтъ, боярыня! Этуо ночью я потерялъ ее навѣки! Вчера еще было время, сегодня нѣтъ для меня надежды, нѣтъ ужъ мнѣ прощенія въ моемъ окаянствѣ! Да и не хочу я райскаго блаженства мимо тебя, Елена Дмитріевна!

Вяземскій слабѣлъ все болѣе. Онъ видѣлъ свое изнеможеніе, но тщетно крѣпился. Вредъ отуманилъ его разсудокъ.

— Елена,—сказалъ онъ:—я истекаю кровью, холопы мои далеко... помощи взять неоткуда; быть-можетъ, чрезъ краткій часъ я отойду въ пламень вѣчный... полюби меня, полюби на одинъ часъ... чтобы не даромъ отдалъ я душу сатанѣ!.. Елена,—продолжалъ онъ, собирая послѣднія силы:—полюби меня, прилука моего сердца, погубительница души моей!..

Князь хотѣлъ сжать ее въ кровавыхъ объятіяхъ, но силы ему измѣнили, поводья выпали изъ рукъ, онъ зашатался и свалился на землю. Елена удержалась за кон-

скую гриву. Не чуя сѣдока, конь пустился вскачь. Елена хотѣла остановить его,—конь бросился въ сторону, помчался лѣсомъ и унесъ съ собою боярню.

Долго мчались они въ темномъ бору. Сначала Елена силилась удержать коня, но вскорѣ руки ея ослабѣли и она, ухватясь за гриву, отдалась на Божью волю. Конь мчался безъ остановки. Сучья цѣплялись за платье Елены, вѣтви хлестали ее въ лицо. Когда неслась она черезъ поляны, освѣщенные мѣсяцемъ, ей казалось, что въ бѣломъ туманѣ двигаются русалки и манятъ ее къ себѣ. Она слышала отдаленный, однообразный шумъ, повторяемый отголосками. Лѣшій ли то хохоталъ, или что другое шумѣло, но звукъ становился все громче; сердце Елены замирало отъ ужаса, и она крѣпче держалась за конскую гриву. Какъ нарочно, конь скакалъ прямо на шумъ. Вотъ мелькнулъ огонекъ; вотъ какъ будто серебристый призракъ махнулъ крыльями. Вдругъ конь остановился, и Елена лишилась чувствъ.

Она очутилась на мягкой травѣ. Вокругъ нея разливалась пріятная свѣжесть. Воздухъ былъ напитанъ древеснымъ запахомъ; шумъ еще продолжался, но въ немъ не было ничего страшнаго. Онъ, какъ старая пѣсня, убаюкивалъ и усыплялъ Елену.

Она съ трудомъ раскрыла глаза. Большое колесо, движимое водою, шума, вертѣлось передъ нею, и далеко летѣли вокругъ него брызги. Отражая луну, они напоминали ей алмазы, которыми дѣвушки украшали ее въ саду, въ тотъ день, когда пріѣхалъ Серебряный.

«Ужъ не въ саду ли я у себя? — подумала Елена.— Ужель опять въ саду?»—Дѣвушки! Пашенька! Дуняша! Гдѣ вы?

Но, вмѣсто свѣжаго дѣвичьяго лица, сѣдая, сморщенная голова нагнулась надъ Еленой; бѣлая, какъ снѣгъ, борода почти коснулась ея лица.

— Вишь какъ Господь тебя соблюлъ, боярня!—сказалъ незнакомый старикъ, любопытно вглядываясь въ черты Елены:—вѣдь возьми конь немного лѣвѣе, прямо пала бы въ плѣсь; ну, да и конь-то привычный,—продолжалъ онъ про себя:—мѣсто ему знакомое; слава Богу, не въ первый разъ на мельницѣ.

Появленіе старика испугало-было Елену; она вспомнила рассказы про лѣшихъ, и странно подѣйствовали на нее морщины и бѣлая борода незнакомца, но въ голосѣ его

было что-то добродушное; Елена, перебивъ внезапно мысли, бросилась ему въ ноги.

— Дѣдушка, дѣдушка!—вскричала она:—оборони меня, укрой!

Мельникъ тотчасъ смекнулъ, въ чемъ дѣло: конь, на которомъ прискакала Елена, принадлежалъ Вяземскому. По всѣмъ вѣроятностямъ, она была боярыня Морозова, та самая, которую онъ пытался приворожить къ князю. Онъ никогда ея не видалъ, но много узналъ о ней чрезъ Вяземскаго. Она не любила князя, просила о помощи, стало-быть, она, вѣроятно, спаслась отъ князя на его же конѣ.

Старикъ въ мигъ сообразилъ всѣ эти обстоятельства.

— Господь съ тобою, боярыня!—сказалъ онъ:—какъ мнѣ оборонить тебя? Силенъ князь Аванасій Иванычъ, длинны у него руки: погубить онъ меня, старика!

Елена со страхомъ посмотрѣла на мельника.

— Ты знаешь...—сказала она:—ты знаешь, кто я?

— Мало ли что я знаю, матушка Елена Дмитриевна! Много на моемъ вѣку нажурчала мнѣ вода, напештали деревья! Знаю я довольно; не обо всемъ говорить пригоже!

— Дѣдушка, коли все тебѣ вѣдомо, ты, стало-быть, знаешь, что Вяземскій не погубить тебя, что онъ лежитъ теперь на дорогѣ изрубленный... Не его боюсь, дѣдушка,—боюсь опричниковъ и холопей княжескихъ... ради Пресвятой Богородицы, дѣдушка, укрой меня!

— Охъ, охъ, охъ!—сказалъ старикъ, тяжело вздыхая:—лежитъ Аванасій Иванычъ на дорогѣ изрубленный! Но не отъ меча ему смерть написана. Встанетъ князь Аванасій Иванычъ, прискачетъ на мельницу, скажетъ: гдѣ моя боярыня-душа, зазноба ретива сердца мово? А какую дамъ я ему отповѣдь? Не таковъ онъ человекъ, чтобы толковать съ нимъ. Изрубить въ куски!

— Дѣдушка, вотъ мое ожерелье! Возьми его! Еще больше дамъ тебѣ, коли спасешь меня!

Глаза мельника заблестали. Онъ взялъ жемчужное ожерелье изъ рукъ боярыни и сталъ любоваться имъ на мѣсяцѣ.

— Боярыня, лебедушка моя,—сказалъ онъ съ довольнымъ видомъ:—да благословить тебя прещедрый Господь и московскіе чудотворцы! Не легко мнѣ укрыть тебя отъ княжескихъ людей, коль неравно они сюда наѣдутъ! Только ужъ послужу тебѣ своею головою,—авось Богъ насъ помилуетъ...

Еще не успѣлъ старикъ договорить, какъ въ лѣсу слышался конскій топоть.

— Ёдутъ, ёдутъ! — вскричала Елена. — Не выдавай меня, дѣдушка!

— Добро, боярыня, сюда ступай за мною!

Мельникъ поспѣшно повелъ Елену въ мельницу.

— Притаись здѣсь за мѣшками, — сказалъ онъ, заперъ за нею дверь и побѣжалъ къ коню.

— Ахъ, Богъ ты мой, какъ бы коня-то схоронить, чтобы не догадались!

Онъ взялъ его за узду, отвелъ на другую сторону мельницы, гдѣ была у него пасѣка, и привязалъ въ кустахъ за ульями.

Между тѣмъ топоть коней и людскіе голоса раздавались ближе. Мельникъ заперся въ коморѣ и задулъ лучину.

Вскорѣ показались на полянѣ люди Вяземскаго. Двое изъ холопей шли пѣшіе и несли на сплетенныхъ вѣтвяхъ безчувственнаго князя. У мельницы они остановились.

— Полно, сюда ли мы заѣхали? — спросилъ старшій изъ всадниковъ.

— Сюда конь убѣжалъ! — отвѣчалъ другой. — Я слѣдъ видѣлъ! Да здѣсь же и знахаръ живетъ. Пусть посмотритъ князя!

— Опустите на землю его милость, да съ береженіемъ. Что, кровь не унимается?

— Не даетъ Богъ легче, — отвѣчали холопи: — вотъ ужъ третій разъ князь на ходу очнется, да и опять обомретъ! Коли мельникъ не остановитъ руды, такъ и не встать князю: истечетъ до капли!

— Да гдѣ онъ, колдунъ проклятый? Ведите его проворнѣй.

Опричники стали стучать въ мельницу и въ комору. Долго стукъ ихъ и крики оставались безъ отвѣта. Наконецъ въ коморѣ слышался кашель; изъ прорубленнаго отверстія высунулась голова мельника.

— Кого это Господь принесъ въ такую пору? — сказалъ старикъ, кашляя такъ тяжело, какъ будто бы готовился выкашлять душу.

— Выходи, колдунъ, выходи скорѣе, кровь унять! Бояринъ князь Вяземскій посѣченъ саблей!

— Какой бояринъ? — спросилъ старикъ, притворяясь глухимъ.

— Ахъ ты, бездѣльникъ! Еще спрашиваетъ : какой! Ломайте двери, ребята!

— Постойте, кормильцы, постойте! Самъ выйду, зачѣмъ ломать? Самъ выйду!

— Ага, небось, услышалъ, глухой тетеревъ!

— Не взыщи, батюшка, —сказалъ мельникъ, выгѣзая:— виноватъ, родимый, тугъ на ухо, иного сразу не пойму! Да къ тому-жъ, нечего грѣха таить: какъ стали вы, родимые, долбить въ дверь да въ стѣну, я испужался, подумалъ: оборони, Боже, ужъ не станичники ли! Вѣдь тутъ, кормильцы, ихъ самые засѣки и притоны. Живешь въ лѣсу со страхомъ, все думаешь: чтò коли, не дай Богъ, навернутся!

— Ну, ну, разговорился! Иди сюда, смотри: вишь какъ кровь бѣжить. Чтò, можно унять?

— А вотъ посмотримъ, родимые! Эхъ, батюшки-свѣты! Да кто-жъ это такъ сѣкнулъ-то его? Вотъ, будь на полвершка пониже, какъ разъ бы высокъ разсѣкъ! Ну, соблюлъ его Богъ! А здѣсь-то? Плечо мало не до кости прорубано! Эхъ, должно-быть, ловокъ рубиться—кто такъ хватилъ его мидостъ!

— Можно-ль унять кровь, старикъ?

— Трудно, кормилецъ, трудно. Сабля-то была наговорная!

— Наговорная? Слышите, ребята? Я говорилъ: наговорная! А то какъ бы ему одному семерыхъ посѣчь!

— Такъ, такъ!—отозвались опричники:—вѣстимо наговорная; куда Серебряному на семерыхъ!

Мельникъ все слушалъ и примѣчалъ.

— Ишь какъ руда точится!—продолжалъ онъ:—ну, какъ ее унять? Кабы сабля была не наговорная, можно-бъ унять, а то теперь... оно, пожалуй, и теперь можно, только я боюсь. Какъ стану нашептывать, языкъ у меня отыметса!

— Нужды нѣтъ, нашептывай!

— Да! нужды нѣтъ! Тебѣ-то нѣтъ нужды, родимый, а мнѣ-то будетъ каково!

— Истома!—сказалъ опричникъ одному холопу:—подай сюда кошель съ морозовскими червонцами. На тебѣ, старикъ, горсть золотыхъ! Коль уймешь руду, еще горсть дамъ; и уймешь—духъ изъ тебя вышибу!

— Спасибо, батюшка, спасибо! Награди тебя Господь и всѣ святые угодники! Нечего дѣлать, кормильцы, по-

стараюсь, хоть на свою голову, горю пособить. Отойдите, родимые,—дѣло глаза боится!

Опричники отошли. Мельникъ нагнулся надъ Вяземскимъ, перевязалъ ему раны, прочиталъ «Отче нашъ», положилъ руку на голову князя и началъ шептать:

«Бхалъ человекъ старъ, конь подъ нимъ каръ, по ристаньямъ, по дорогамъ, по притоннымъ мѣстамъ. Ты, мать-руда жильная, жильная, тѣлесная, остановись, назадъ воротись. Старъ человекъ тебя запираетъ—на покой согрѣваетъ. Какъ коню его воды не стало, такъ бы тебя, руда-мать, не бывало. Пухъ земля, одна семья, будь по-моему! Слово мое крѣпко!»

По мѣрѣ того, какъ старикъ шепталъ, кровь текла медленнѣе и съ послѣднимъ словомъ совсѣмъ перестала течь. Вяземскій вздохнулъ, но не открылъ глазъ.

— Подойдите, отцы родные!—сказалъ мельникъ:—подойдите безъ опасенья; унялась руда, будетъ живъ князь, только мнѣ худо... вотъ ужъ теперь замѣчаю, языкъ костенѣетъ!

Опричники обступили князя. Мѣсяцъ освѣщалъ лицо его, блѣдное какъ смерть, но кровь уже не текла изъ ранъ.

— И впрямь унялась руда! Вишь, старичина—не ударилъ лицовъ въ грязь!

— На тебѣ твои золотые!—сказалъ старшій опричникъ.—Только это еще не все. Слушай, старикъ. Мы по слѣдамъ знаемъ, что этой дорогой убѣжалъ княжескій конь, а можетъ, на немъ и боярыня усакала. Коли ты ихъ видѣлъ, скажи!

Мельникъ вытаращилъ глаза, будто ничего не понималъ.

— Видѣлъ ты коня съ боярыней?

Старикъ сталъ-было колебаться, сказать или нѣтъ. Но тотъ же часъ онъ сдѣлалъ слѣдующій расчетъ:

«Кабы Вяземскій былъ здоровъ, то скрыть отъ него боярыню было-бъ ой какъ опасно, а выдать ее—куда какъ выгодно! Но Вяземскій оправится-ль, нѣтъ ли—еще Богъ вѣсть! А Морозовъ не оставитъ услуги безъ награды. Да и Серебряный-то, видно, любитъ не на шутку боярыню, коль порубилъ за нее князя. Стало-быть,—думалъ мельникъ:—Вяземскій меня теперь не обидитъ, а Серебряный и Морозовъ—каждый скажетъ мнѣ спасибо, коль я выручу боярыню».

Этотъ расчетъ рѣшилъ его сомнѣнія.

— И слухомъ не слыхаль, и видомъ не видалъ, родимые!—сказаль онъ:—и не знаю, про какого коня, про какую боярыню говорите!

— Эй, не совралъ бы ты, старикъ!

— Будь я анаеема! Не видать мнѣ царствія небеснаго! Богъ пусть меня тутъ же громомъ хлопнетъ, коли я что знаю про коня, либо про боярыню!

— А вотъ давай лучину, посмотримъ, нѣтъ ли слѣдовъ на пескѣ!

— Да нечего смотрѣть,—сказаль одинъ опричникъ.— Хотя бы и были слѣды, наши кони ихъ затоптали. Теперь ничего не увидимъ!

— Такъ нечего и смотрѣть. Отворяй, старикъ, комору, князя перенестъ!

— Сейчасъ, родимые, сейчасъ. Эхъ, старъ я, кормильцы, а то бы сбѣгалъ на постоялый дворъ, притащилъ бы вамъ браги да вина зеленчатаго!

— А дома развѣ нѣтъ?

— Нѣтъ, родимые. Куда мнѣ, убогому! Нѣтъ ни вина, ни харчей, ни лошадамъ вашимъ корма. Вотъ на постояломъ дворѣ, тамъ все есть. Тамъ такое вино, что хоть бы царю на столъ. Тѣсненко вамъ будетъ у меня, государи честные, и перекусить-то нечего; да вѣдь вы люди ратные,—и безъ ужина обойдетесь! Коня ваши травку пощиплютъ... Вотъ одно худо, что трава-то здѣсь такая... иной разъ наѣтся конь, да такъ его разопретъ, что твоя гора! Покачается-покачается, да и лопнетъ!

— Чортъ тебя дерн, боровикъ ты старый! Что-жь ты хочешь, чтобъ наши кони перелопались?

— Оборони Богъ, родимые! Коней можно привязать, чтобы не ѣли травы; одну ночку не бѣда, и такъ простоятъ. А васъ, государи, прошу покорно, уважьте мою комору; нѣтъ въ ней ни сѣна ни соломы—земля голая. Здѣсь не то, что постоялый дворъ. Вотъ только, какъ будете спать ложиться, такъ не забудьте передъ сномъ прочитать молитву отъ ночного страха... оно здѣсь нечисто!

— Ахъ ты, чортовъ кумъ этакой! Провались ты и съ своею коморой! Вишь чѣмъ потчевать вздумалъ! Ребята, ѣдемъ на постоялый дворъ! Далекое-ль дотудова, старикъ?

— Ближе, родимые, совсѣмъ близко. Вотъ ступайте эту тропю; какъ выѣдете на дорогу, повернете влѣво,

проѣдете не болѣе версты, тутъ вамъ будетъ и постоянный дворъ!

— Вѣдемъ!—сказали опричники.

Вяземскій все еще былъ въ обморокѣ. Холопи подняли его и осторожно понесли на носилкахъ. Опричники съѣли на коней и поѣхали вслѣдъ.

Лишь только удалилась толпа и не стало болѣе слышно въ лѣсу человѣческаго голоса, старикъ отперъ мельницу.

— Боярыня! Ушли!—сказалъ онъ.—Пожалуй въ комору. Ахъ ты, сотикъ мой забрушенный, какъ притаилась-то! Пожалуй въ комору, лебедушка моя! Тамъ тебѣ будетъ лучше!

Онъ настлалъ свѣжаго моху въ углу коморы, зажегъ лучину и поставилъ передъ Еленой деревянную чашку съ медовыми сотами и краюху хлѣба.

— Ёшь на здоровье, боярыня!—сказалъ онъ, низко кланаясь:—вотъ я тебѣ сейчасъ винца принесу.

Сбѣгавъ еще разъ въ мельницу, онъ вынесъ изъ нея большую сулею и глиняную кружку.

— Во здравіе твое, боярыня!

Старикъ, какъ хозяинъ, первый опорожнилъ кружку. Вино его развеселило.

— Выпей, боярыня!—сказалъ онъ:—теперь некого тебѣ бояться! Они ищутъ постоялаго двора! Найдутъ ли, не найдутъ ли, а ужъ сюда не вернуться: не по такой дорогѣ я ихъ послалъ... хе-хе! Да что ты, боярыня, винца не отвѣдаешь? А впрочемъ, и не отвѣдывай! Это вино дрянъ! Плюнь на него; я тебѣ другого принесу!

Мельникъ опять сбѣгалъ на мельницу и этотъ разъ воротился съ баклагою подъ мышкой и съ серебрянымъ кубкомъ въ рукахъ.

— Вотъ вино такъ вино!—сказалъ онъ, нагибая баклагу надъ кубкомъ.—Во здравіе твое, боярыня! Это вино и съ кубкомъ подарилъ мнѣ добрый человѣкъ... зовутъ его Перстнемъ... хе-хе! Здѣсь много живетъ добрыхъ людей въ лѣсу; всѣ они со мной въ дружбѣ! Ёшь, боярыня! Да что же ты сотовъ не ёшь? Это соты не простые. Такихъ сотовъ за сто верстъ не найдешь. А почему они не простые? Потому, что я пчелиное дѣло знаю лучше любого вѣдуна. Я не такъ, какъ другіе! Я кажинное лѣто самый лучший улей въ болото бросаю водяному дѣдушкѣ: на тебѣ, дѣдушка, кушай! Хе-хе! А онъ, боярыня, дай Богъ ему здоровья, мою пасѣку бережетъ. Вѣдь

отъ него-то на землѣ и пчелы пошли. Какъ заѣздилъ онъ коня, да бросилъ въ болото, такъ отъ этого-то коня и пчелы отроились; а рыбаки-то, вишь, закинули неводъ, да вмѣсто рыбы и вытащили пчель... Эхъ, боярыня, мало ѣшь, мало пьешь! А вотъ посмотри, коли не заставлю тебя винца испить... Слушай, боярыня! Во здравіе... хе-хе! Во здравіе князя... князя, то-есть не того, а Серебрянаго! Дай Богъ ему здоровья, вишь какъ порубилъ того-то, то-есть Вяземскаго-то! А бояринъ-то Дружина Андреичъ, хе-хе! Во здравіе его, боярыня! Поживешь у меня денька два въ похоронкахъ, а потомъ куда хошь ступай: хошь къ Дружинѣ Андреичу, хошь къ Серебряному... мнѣ какое дѣло! Во здравіе твое!

Чудно и болѣзненно отозвались въ груди Елены слова пьянаго мельника. Самыя сокровенныя мысли ея, казалось, ему извѣстны; онъ какъ будто читалъ въ ея сердцѣ; лучина, воткнутая въ стѣну, озаряла его сморщенное лицо яркимъ свѣтомъ; сѣрые глаза его были отуманены хмелью, но, казалось, проникали Елену насковозъ. Ей опять сдѣлалось страшно, она стала громко молиться.

— Хе-хе! — сказалъ мельникъ: — молись, молись, боярыня, я этого не боюсь... меня молитвой не испугаешь, ладаномъ не выкуришь... я самъ умѣю причитывать... Я не какой-нибудь такой... меня и водяной дѣдъ знаетъ, и лѣсовой дѣдъ... меня знаютъ русалки... и вѣдьмы... и кикиморы... меня всѣ знаютъ... меня... меня... Вотъ, хошь, я ихъ позову? Шикалу! Ликалу!

— Господи! — прошептала Елена.

— Шикалу! Ликалу! Чтò? Нейдутъ? Пстой, я ихъ приведу! Буду, буду!

Старикъ всталъ и, шатаясь и приплясывая, вышелъ изъ коморы. Елена въ ужасѣ заперла за нимъ дверь. Долго мельникъ разговаривалъ за дверью самъ съ собою.

— Меня всѣ знаютъ! — повторялъ онъ хвастливымъ, но уже невѣрнымъ голосомъ: — и лѣсовой дѣдъ... и водяной дѣдъ... и русалки... и кикиморы... Я не какой-нибудь такой!.. меня всѣ знаютъ! Буду, буду!

Слышно было, какъ старикъ плясалъ и притопывалъ ногами. Потомъ голосъ его сталъ слабѣть, онъ легъ на землю, и вскорѣ раздалось его храпѣніе, которое во всю ночь сливалось съ шумомъ мельничнаго колеса.

ГЛАВА XVIII.

Старый знакомый.

На другой день послѣ разоренія Морозовскаго дома; пожилой ратникъ пробирался на вороной лошади въ дремучемъ лѣсу. Онъ безпрестанно снималъ шапку и къ чему-то прислушивался.

— Тише, Галка, полно-те фыркать!—говорилъ онъ, трепля лошадь по крутой шеѣ:—вишь, какая неугомонная, ничего разслушать не дастъ! Фу ты пропасть, никакъ и мѣста не спознаю! Все липа да орѣшникъ; а когда въ ту пору ночью ѣхали, кажись, смолою попахивало!

И всадникъ продолжалъ путь свой.

— Постой, Галка!—сказалъ онъ вдругъ, натянувъ поводья.—Вотъ теперь опять какъ будто слышу! Да стой ты смирно, экъ тебя разбираетъ! И вправду слышу! Это ужъ не листъ шумить, это мельничное колесо! Вишь она, мельница, куда запряталась! Только ужъ постой! Теперь отъ меня не уйдешь, тѣтка твоя подкурятина!

И Михеичъ, какъ будто опасаясь опять сбиться съ дороги, пустился во всю прыть по направленію шума.

— Ну, слава ти, Господи!—сказалъ онъ, когда между деревьями сталъ виднѣться поросшій мохомъ срубъ съ вертящимся колесомъ:—насилу-то догналъ; а то вѣдь чуть-было не уморился: то впереди шумъ, то за самою спиной,—ничего не разберешь! Вотъ она и мельница! Вотъ съ той стороны мы въ ту пору съ бояриномъ подѣхали, когда станичники-то дорогу указывали. Да какъ же это опять будетъ? Въ ту пору колесо было справа, а теперь слѣва; въ ту пору комора стояла окномъ къ мельницѣ, а дверью къ лѣсу, а теперь стоитъ окномъ къ лѣсу, а дверью къ мельницѣ! Тьфу ты, ужъ этотъ мнѣ мельникъ! Вишь какъ глаза отводитъ! Недаромъ же я и колесилъ цѣлый день кругъ этого мѣста: кабы не боярина выручать, ни за что бы сюда не пріѣхалъ!

Михеичъ слѣзъ съ своей Галки, привязалъ ее къ дереву, подошелъ съ нѣкоторою боязнью къ мельницѣ и постучался въ дверь.

— Хозяинъ, а хозяинъ!

Никто не отвѣчалъ.

— Хозяинъ, а хозяинъ!

Внутри мельницы было молчаніе; только жернова гудѣли да шестерни постукивали.

Михеичъ попытался толкнуть дверь: она была заперта.

«Да что онъ, съдой чортъ, спитъ, али притаился?»— подумалъ Михеичъ и сталъ изо всей мочи стучать въ дверь и руками и ногами. Отвѣта не было. Михеичъ началъ горячиться.

— Эй ты, хрѣнъ!—закричалъ онъ:—вылѣзай, не то огоньку подложу!

Раздался кашель, и сквозь небольшое отверстіе надъ дверью показалась бѣлая борода и лицо, изрытое морщинами, среди которыхъ свѣтились два глаза ярко-сѣраго цвѣта.

Михеичу стало неловко въ присутствіи мельника.

— Здравствуй, хозяинъ!—сказалъ онъ ласковымъ голосомъ.

— Господь съ тобою!—отвѣчалъ мельникъ:—чего тебѣ, добрый человекъ?

— Аль не узналъ меня, хозяинъ? Вѣдь я у тебя ономясь съ бояриномъ ночевалъ.

— Съ княземъ-то? Какъ не узнать, узналъ! Что-жь, батюшка, съ чѣмъ Богъ принесъ?

— Да что-жь ты, хозяинъ, забился какъ филинъ въ дупло! Или меняпусти, или самъ выйди; такъ говорить несподручно!

— Постой, батюшка, дай только хлѣбушка подсыпаться, вотъ я къ тебѣ сейчасъ выйду!

«Да,—подумалъ Михеичъ:—посмотрѣлъ бы я, какого ты, чортовъ-кумъ, хлѣба подсыплешь! Я чай, кости жидовскія вѣдьмамъ на муку перемалываешь! Тутъ и заводу быть не можетъ; вишь какая глушь, и колен-то всѣ травой заросли!»

— Ну, вотъ, батюшка, я къ тебѣ и вышелъ,—сказалъ мельникъ, тщательно запирая за собою дверь.

— Насилу-то вышелъ! Довольно ты поломался, хозяинъ!

— Да что, куманекъ, живу вѣдь не на базарѣ, въ лѣсу. Всякому отпирать не приходится: далеко ли до бѣды! Видно, что человекъ, а почему знать, хлѣбъ ли святой у него подъ полой, или камень-булыжникъ!

«Вишь, мухоморъ!—подумалъ Михеичъ:—прикидывается, что разбойниковъ боится, а, я чай, нѣтъ лѣшаго, съ которымъ бы дѣтей не крестилъ!»

— Ну, батюшка, что тебѣ до меня? Ты мнѣ расскажи, а я послушаю!

— Да вотъ что, хозяинъ: бѣда случилась, хуже смерти

пришлось; схватили окаянные опричники господина моего, повезли къ слободѣ съ великою крѣпостью; сидитъ онъ теперь, должно-быть, въ тюрьмѣ, горемъ крутить, горе мыкаетъ: а за что сидитъ, одному Богу вѣдомо; не сотворилъ никакого дурна ни передъ царемъ ни передъ Господомъ; постоялъ лишь за правду, за боярина Морозова, да за боярыню его, когда они лукавствомъ своимъ, среди веселья, на домъ напали и до тла разорили.

Глаза мельника приняли странное выраженіе.

— Охъ, охъ, охъ!—сказалъ онъ:—худо, кормилецъ, худо кормилецъ; худо карасю, когда въ шумъ заплыветъ. Худо князю твоему въ темницѣ сидѣть; худо Морозову безъ жены молодой; еще хуже Вяземскому отъ чужой жены!

Михеичъ удивился.

— Да ты почему знаешь, что Вяземскій Морозова жену увезъ? Я тебѣ ничего про это не сказывалъ!

— Эхъ, куманекъ, не то одно вѣдомо, что сказывается; иной разъ далеко въ лѣсу стукнетъ, близко отзовется! Когда подъ колесомъ воды убыло, знать, есть засуха и за сто верстъ, и будетъ хлѣбу недородъ великъ, а нашъ братъ, старикъ, живи себѣ молча; слушай, какъ трава растетъ, да мотай себѣ за ухо!

— Что-жъ, хозяинъ, ужъ не знаешь ли, какъ помочь боярину? Я вотъ все думалъ да гадалъ, раскидывалъ умомъ-разумомъ,—ничего не придумалъ. Пойду, говорю, къ доброму человѣку, попрошу совѣта. Да, признаться, и тотъ молодецъ на умѣ все мотался, что проводилъ-то насъ до тебя. Говорилъ мнѣ тогда: коли понадоблюсь, говорить, боярину, приходи, говорить, на мельницу, спроси у дѣдушки, гдѣ Ванюха Перстень, а я, говорить, радъ боярину служить; за него, говорить, и животь положу! Вотъ я къ тебѣ и прѣхалъ, хозяинъ; сдѣлай божескую милость, научи, какъ боярина вызволить. А научишь—ужъ не забудетъ тебя князь Никита Романычъ, да и я, горемычный, буду вѣчнымъ слугою твоимъ.

«Провалиться бы тебѣ сквозь землю, тѣтка твоя подкурятина!—прибавилъ мысленно Михеичъ:—вотъ кому довелось кланяться!»

— Что-жъ, батюшка, почему не попытаться горю пособить. Плохо дѣло, что и говорить, да вѣдь ухватомъ изъ поломя горшки вымаются, а бываетъ инолды, и зернышко изъ-подъ жернова цѣло выскочить: всяко бываетъ, какое кому счастье!

— Оно такъ, хозяинъ, при счастьѣ и пѣтушокъ яичко снесетъ, а при несчастьѣ и жукъ забодаетъ; только бью тебѣ челомъ: научи уму-разуму, что мнѣ теперь дѣлать?

Мельникъ опустилъ голову и сталъ какъ будто прислушиваться къ шуму колеса.

Прошло нѣсколько минутъ. Старикъ покачалъ головой и заговорилъ, не обращая вниманія на Михеича.

«Ходить, ходить колесо кругомъ; что было высоко, то будетъ низко; что было низко, будетъ высоко; слышу—далеко звонить колоколь: невѣсть на похороны, невѣсть на свадьбу; а кого вѣнчать, кого хоронить, не слышать—вода шумить, не видать за великимъ дымомъ!

«Слетаются вороны издалека, кличутъ другъ друга на богатый пиръ, а кого клевать, кому очи вымать, и сами не чуютъ, летятъ да кричатъ! Наточенъ топоръ, наряженъ палачъ; по дубовымъ доскамъ побѣгутъ, потекутъ теплой крови ручьи; слетятъ головы съ плечъ—да невѣдомо чьи».

Михеичъ струсилъ.

— Что ты, дѣдушка, говоришь такое, да еще и причитываешь, словно по покойникъ?

Мельникъ, казалось, не слышалъ Михеича. Онъ уже ничего не говорилъ, но только бормоталъ себѣ что-то подъ носъ. Губы его безъ умолку шевелились, а сѣрые глаза смотрѣли тускло, какъ будто ничего не видѣли.

— Дѣдушка, а дѣдушка!—Михеичъ дернулъ его за рукавъ.

— А?—отозвался мельникъ и обратился къ Михеичу, будто теперь только его замѣтилъ.

— Что ты бормочешь, дѣдушка?

— Эхъ, куманекъ! Много слышится, мало сказывается. Ступай теперь путемъ-дорогой мимо этой сосны. Ступай все прямо; много тебѣ будетъ поворотовъ и вправо и влево, а ты все прямо ступай; верстъ пять проѣдешь—будетъ въ сторонѣ избушка; въ той избушкѣ нѣтъ живой души. Подожди тамъ до ночи, придутъ добрые люди,—отъ нихъ больше узнаешь. А обратнымъ путемъ заѣзжай сюда, будетъ тебѣ работа: залетѣла жаръ-птица въ западню; отвезешь ее къ царю Далмату, а выручку пополамъ!

И, не дожидаясь отвѣта, старикъ вошелъ въ мельницу и заперъ за собою дверь.

— Дѣдушка!—закричалъ ему вслѣдъ Михеичъ:—да

скажи мнѣ толкомъ, про какихъ ты людей говоришь, про какую птицу?

Но мельникъ не отозвался на голосъ Михеича, и сколько тотъ ни прислушивался, онъ ничего не могъ услышать, кромѣ шума воды и стука колесъ.

«Вишь, тётка его поджурятина!—подумаль Михеичъ:—куда вздумаль посылать! Версть пять будетъ избушка, въ ней жди до ночи, а тамъ чортъ знаетъ кто придетъ—больше скажетъ. Послалъ бы я тебя самого туда, хрѣнь этакой! Кабы не бояринъ, ужъ я бы далъ тебѣ! Вишь какой, въ самомъ дѣлѣ! Тьфу! Ну, Галка, нечего дѣлать, давай искать чортовой избушки!»

И, сѣвъ на коня, Михеичъ присвистнулъ и пустился рысцой по направленію, указанному мельникомъ.

ГЛАВА XIX.

Русскій человекъ добро помнить.

Было уже поздно, когда Михеичъ увидѣлъ въ сторонѣ избушку, черную и закоптѣвшую, похожую больше на полуистлѣвшій грибокъ, чѣмъ на человѣческое жилище. Солнце уже зашло. Полосы тумана стлались надъ высокою травой на небольшой расчищенной полянѣ. Было свѣжо и сыро. Птицы перестали щебетать; лишь инья, время отъ времени, зачинали сонную пѣсню и, не окончивъ ея, засыпали на вѣтвяхъ. Мало-по-малу и онѣ замолкли, и среди общей тишины слышно было лишь слабое журчанье невидимаго ручья да изрѣдка жужжанье вечернихъ жуковъ.

— Вишь куда заѣхали!—сказалъ Михеичъ, оглядываясь кругомъ:—и подлинно тутъ живой души нѣтъ! По дождю, посмотрю, кто такой придетъ, какого дастъ совѣта? Ну, а коли, не дай Богъ, кто-нибудь такой придетъ, что... тьфу! Съ нами крестная сила! Далъ бы я карачуна этому мельнику, кабы не боярина выручать!

Михеичъ слѣзъ съ своей Галки, стреножилъ ее путами, снялъ узду и пустилъ лошадку на волю Божию.

— Щипли себѣ травку,—сказалъ онъ:—а я войду въ избу, коли дверь не заперта, посмотрю, нѣтъ ли чего перекусить! Хозяйство, можетъ, хоть и недоброе, да вѣдь и голодъ не тётка!

Онъ толкнулъ ногой низенькую косую дверь; странно раздался въ этомъ безлюдномъ мѣстѣ ея продолжительный скрипъ, почти похожій на человѣческій плачь. Когда

наконецъ, повернувшись на петляхъ, она ударилась въ стѣну, Михеичъ нагнулся и вошелъ въ избу. Его обдало темнотою и запахомъ остывшаго дыма. Пошаривъ кругомъ, онъ ощупалъ на столѣ краюху хлѣба и принялся убирать ее за обѣ щеки. Подошелъ къ очагу, порылся въ золь, нашель тамъ горячіе уголья, раздулъ ихъ не безъ труда и зажгелъ лучину, валявшуюся на лавкѣ. Между печью и стѣною были укрѣплены полати. На нихъ лежало разное платьє; между прочимъ, одинъ парчевой кафтанъ, шитый хотъ бы на боярина. На стѣнѣ висѣла мисюрка съ богатою золотою насѣчкой. Но болѣе всего привлекъ вниманіе Михеича стоявшій на косякѣ образъ, весь почернѣвшій отъ дыма. Онъ примирилъ его съ неизвѣстными хозяевами.

Михеичъ нѣсколько разъ на него перекрестился, потомъ погасилъ лучину, влѣзъ на полати, растянулся, покряхтѣлъ и заснулъ богатырскимъ сномъ. Онъ спалъ довольно сладко, когда внезапный ударъ кулакомъ въ бокъ свалилъ его съ полатей.

— Это чтѣ?—вскричалъ Михеичъ, проснувшись уже на голой землѣ:—кто это дерется? смотри, тѣтка твоя...

Передъ нимъ стоялъ дѣтина съ включенною бородой, съ широкимъ ножомъ за поясомъ, и готовился попотчевать его новымъ ударомъ кулака.

— Не замай!—сказалъ ему другой дюжій парень, у котораго только-что усъ пробивался:—чтѣ онъ тебѣ сдѣлалъ? А?—При этомъ онъ оттеръ товарища плечомъ, а самъ уставился на Михеича и выпучилъ глаза.

— Ишь, сядой!—замѣтилъ онъ съ какимъ-то почтительнымъ удивленіемъ.

— Да ты, тюлень, чего ввязался!—закричалъ на него первый:—чтѣ онъ тебѣ—отецъ, али сватъ?

— А тѣ онъ мнѣ, что старикъ. Ишь сядой, потому старикъ. Я те говорю, не тронь, осерчаю!

Громкій смѣхъ раздался между людьми, вошедшими толпою въ избу.

— Эй, Хлопко,—сказалъ одинъ изъ нихъ:—берегись! Коли Митька осерчаетъ, плохо будетъ! Съ нимъ, братъ, не связывайся!

— Лѣшій съ нимъ свяжется!—отвѣчалъ Хлопко, отходя въ сторону.—Жили-жили въ лѣсу да и нажили медвѣдя!

Другіе молодцы, всѣ вооруженные, обступили Михеича и смотрѣли на него не слишкомъ ласково.

— Откуда кожанъ залетѣлъ?—спросилъ одинъ изъ нихъ, глядя ему прямо въ глаза.

Михеичъ между тѣмъ успѣлъ оправиться.

«Эге!—подумалъ онъ:—да это они-то и есть, станички-то!»

— Здравствуйте, добрые люди! А гдѣ у васъ тотъ, что зовуть Ванюхой Перстнемъ?

— Такъ тебѣ атамана надо? Чего-жъ ты прежде не говорилъ? Сказалъ бы сразу, такъ не отвѣдалъ бы тумака!

— А вотъ и атаманъ,—прибавилъ другой, указывая на Перстня, который только-что вошелъ, въ сопровожденіи стараго Коршуна.

— Атаманъ!—закричали разбойники:—вотъ пришелъ человекъ, про тебя спрашиваетъ!

Перстень окинулъ быстрымъ окомъ Михеича и тотчасъ узналъ его.

— А, это ты, товарищъ!—сказалъ онъ:—добро пожаловать! Ну, чтѣ его княжеская милость, какъ здравствуетъ съ того дня, какъ мы вмѣстѣ Малютиныхъ опричниковъ щелкали? Досталось имъ отъ насъ на Поганой-Лужѣ! Жаль только, что Малюта Лукьянычъ ускользнулъ, да что этотъ увалень, Митька, Хомяка упустилъ. Не сдобровать бы имъ у меня въ рукахъ!.. Чтѣ, я чай, батюшка-царь куда какъ обрадовался, какъ царевича-то увидаль! Я чай, не нашель, чѣмъ пожаловать князя Никиту Романыча!

— Да!—отвѣчалъ со вздохомъ Михеичъ:—жалуетъ царь, да не жалуетъ псарь! Батюшка-государь Иванъ Васильевичъ, дай Богъ ему здоровья, таки-миловаль господина моего. Только, видно, не угодилъ Никита Романычъ опричникамъ окаяннымъ. Правда, не за что имъ и любить насъ. Перво въ Медвѣдевкѣ мы ихъ плетями отшлепали, да вдругорядъ на Поганой-Лужѣ Малютѣ оплеуху дали, да вотъ вчера на Москвѣ бояринъ таки-порубилъ ихъ порядкомъ. А они, окаянные, навалились на него многолюдствомъ, опрокинули, связали да и повезли къ слободѣ. Оно бы все ничего, да этотъ Малюта, песій сынъ, обнесетъ насъ передъ государемъ, выместитъ на князѣ свою оплеуху!

— Гмъ!—сказалъ Перстень, садясь на скамью:—такъ царь не велѣлъ повѣсить Малюту? Какъ же такъ? Ну, про то знаетъ его царская милость. Что-жъ ты думаешь дѣлать?

— Да что, батюшка Иванъ, не знаю, какъ и величать твое здоровье по изотчеству...

— Величай Ванюхой—и дѣло съ концомъ!

— Ну, батюшка Ванюха, я и самъ не знаю, что дѣлать... Авось ты чего не пригадаешь ли? Вѣдь одинъ-то умъ хорошъ, а два лучше! Вотъ и мельникъ не къ кому другому, а къ тебѣ послалъ: ступай, говоритъ, къ атаману, онъ поможетъ; ужъ я, говоритъ, по примѣтамъ вижу, что ему отъ этого будетъ всякая удача и корысть богатая! Ступай, говоритъ, къ атаману!

— Ко мнѣ! Такъ и сказалъ—ко мнѣ?

— Къ тебѣ, батюшка, къ тебѣ. Ступай, говоритъ, къ атаману, отдай отъ меня поклонъ, скажи, чтобы во что-бъ ни стало выручилъ князя. Я-де, говоритъ, ужъ вижу, что ему будетъ отъ этого корысть богатая, по примѣтамъ, дескать, вижу. Пусть, во что-бъ ни стало, выручитъ князя! Я-де, говоритъ, этой службы не забуду. А не выручитъ атаманъ князя—всякая, говоритъ, будетъ напасть на него: исчахнетъ, говоритъ, словно былинка; совсѣмъ, говоритъ, пропадетъ!

— Вотъ что!—сказалъ Перстень, потупя голову и какъ будто задумавшись:—ужель и вправду исчахну?

— Да, батюшка, и руки и ноги, говоритъ, отсохнутъ; а на головѣ такая, говоритъ, пойдетъ дрянь, что не приведи Господи!

Перстень подвѣлъ голову и пристально взглянулъ на Михеича.

— А еще ничего не сказалъ мельникъ?

— Какъ же, батюшка!—продолжалъ Михеичъ, поглядывая сбоку на дымящійся горшокъ щей, который разбойники поставили на столъ:—еще мельникъ сказалъ такъ: скажи, дескать, атаману, чтобъ онъ тебя накормилъ и напоилъ хорошенько, примѣрно, какъ бы самого меня. А главное, говоритъ, чтобъ выручилъ князя. Вотъ что, батюшка, мельникъ сказалъ!

И Михеичъ поглядывалъ на атамана, извѣдывая, какое впечатлѣніе произвели его слова.

Но Перстень взглянулъ на него еще пристальнѣе и вдругъ задился самымъ громкимъ, самымъ веселымъ смѣхомъ.

— Эхъ, старина, старина! Такъ тебѣ и вправду мельникъ сказалъ, что коли не выручу князя, такъ вотъ и пропаду?

— Да, батюшка,—отвѣчалъ стреманный, немного запинаясь:—и руки и ноги...

— Хитеръ же ты, братъ!—перебилъ Перстень, ударивъ его по плечу и продолжая смѣяться:—только меня-то напрасно надувать вздумалъ! Садись съ нами,—прибавилъ онъ, придвигаясь къ столу:—хлѣбъ да соль. На тебѣ ложку, повечеряемъ; а коли можно помочь князю, я и безъ твоихъ выдумокъ помогу. Только какъ и чѣмъ помочь? Вѣдь князь-то въ тюрьмѣ сидитъ?

— Въ тюрьмѣ, батюшка.

— Въ той самой, что на площади у Малютина дома?

— Да уже ни въ какой другой. Эта будетъ покрѣпче!

— А ключи вѣдь у кого? У Малюты?

— Да какъ были мы въ слободѣ, такъ, бывало, видѣли, какъ онъ хаживалъ въ тюрьму пытать людей. Ключи, бывало, всегда съ нимъ. А къ ночи, бывало, онъ ихъ къ царю относить; а ужъ царь, всѣмъ вѣдомо, подъ самое изголовье кладетъ.

— Ну, такъ вишь ли!—сказалъ Перстень, опуская ложку въ щи:—какой тутъ бѣсъ твоему князю помочь? Ну, говори самъ: какой бѣсъ ему поможетъ?

Михеичъ почесалъ затылокъ.

— Такъ ты видишь, что нельзя помочь?

— Вижу, — отвѣчалъ Михеичъ и ложку бросилъ.— Стало, и мнѣ не жить на бѣломъ свѣтѣ! Пойду къ господину, сложу старую голову подлѣ его головы, стану ему на томъ свѣтѣ служить, коль на этомъ заказано!

— Ну, ну, ужъ и отходную затянулъ! Еще, можетъ, князь твой и не въ тюрьмѣ. Тогда и плакать нечего, а коли въ тюрьмѣ, такъ дай подумать... Слободу-то я хорошо знаю, я туда прошедшаго мѣсяца медвѣдя водилъ, и дворецъ знаю, все высмотрѣлъ; думалъ себѣ: когда-нибудь пригодится!.. Постой, дай поразмыслить...

Перстень задумался.

— Нашелъ!—вскричалъ онъ вдругъ и вскочилъ съ мѣста.—Дядя Коршунъ! Насъ съ тобой князь отъ смерти спасъ—спасемъ и мы его; теперь наша очередь! Хочешь идти со мной на трудное дѣло?

Старый разбойникъ нахмурился и покачалъ кудрявою головой.

— Чтò, Коршунъ, нѣшто не хочется тебѣ?

— Да чтò ты, атаманъ, съ ума, что ли, спятилъ? Аль

не слыхалъ, гдѣ сидитъ князь? Аль не слыхалъ, что ключи днемъ у Малюты, а ночью у царя подѣ изголовьемъ? Чтѣ тутѣ дѣлать? Плетью обуха не перешибешь. Пропалъ онъ, такъ и пропалъ! Нешто изъ-за него и намъ пропадать? Легче ему, что ли, будетъ, когда съ насъ шкуру сдеруть?

— Оно такъ, Коршунъ, да вѣдь недаромъ пословица говорится: долъгъ платежомъ красенъ! Вѣдь не спаси насъ въ то время князь, гдѣ бы мы теперъ были? Висѣли бы гдѣ-нибудь на березѣ, вѣтеръ бы насъ покачивалъ! А каково-то ему теперъ? Я чай, думаетъ себѣ: вотъ я въ ту пору ребятушекъ вызволилъ изъ бѣды, теперъ и они меня вызволятъ! А какъ бросимъ мы его, да какъ поведутъ его казнить—тъфу! скажетъ: что-й-то за люди были: воровать-разбойничать умѣютъ, а добра-то не помнятъ! Только, скажетъ, кровь неповинную проливаютъ, а христіанина спасти не ихъ дѣло! Я, скажетъ, за нихъ Господу Богу и добраго слова не замолвлю! Пусть себѣ, скажетъ, и на этомъ свѣту и на томъ пропадаютъ! Вотъ чтѣ скажетъ князь!

Коршунъ еще болѣе нахмурилъ брови. Внутренняя борьба отразилась на суровомъ лицѣ его. Замѣтно было, что Перстень удачно тронулъ живую струну въ очерствѣломъ его сердцѣ.

Но недолго продолжалась борьба. Старикъ махнулъ рукою.

— Нѣтъ, братъ,—сказалъ онъ:—пустое затѣваешь; своя рубаха ближе къ тѣлу! Не пойду!

— Ну, нѣтъ, такъ нѣтъ!—сказалъ Перстень.—Подождемъ утра, авось, чтѣ другое придумаемъ,—утро вечера мудренѣе! А теперъ, ребятушки, пора бы и соснуть! Кто можетъ Богу молиться—молись, а кто не можетъ—такъ ложись!

Атаманъ посмотрѣлъ искоса на Коршуна. Видно, зналъ онъ что-нибудь за старикомъ, ибо Коршунъ слегка вздрогнулъ и, чтобъ никто того не замѣтилъ, сталъ громко зѣвать, а потомъ напѣвать себѣ что-то подъ носъ.

Разбойники встали. Иные тотчасъ влѣзли на полати; другіе еще долго молились передъ образомъ. Изъ числа послѣднихъ былъ Митька. Онъ усердно клалъ земные поклоны, и если-бъ одежда и вооруженіе не обличали ремесла его, никто бы, по добродушному лицу Митьки, не узналъ въ немъ разбойника.

Не таковъ былъ старый Коршунъ. Когда всё улеглись, Михеичъ увидѣлъ при слабомъ мерцаніи огня, какъ старикъ слѣзъ съ лежанки и подошелъ къ образу. Нѣсколько разъ онъ перекрестился, что-то пробормоталъ и наконецъ сказалъ съ сердцемъ:

— Нѣтъ, не могу! А чайлъ, будетъ легче сегодня!

Долго слышалъ Михеичъ, какъ Коршунъ ворочался съ боку на бокъ, ворчалъ что-то про себя, но не могъ заснуть. Передъ разсвѣтомъ онъ разбудилъ атамана.

— Атаманъ,—сказалъ онъ:—а атаманъ!

— Чего тебѣ, дядя?

— Пожалуй, я пойду съ тобой; веди куда знаешь!

— Чтò такъ?

— Да такъ,—спать не могу. Вотъ ужъ которую ночь не спится.

— А назадъ не попятишься?

— Ужъ сказалъ: иду,—такъ не попячусь!

— Ну, ладно, дядя Коршунъ, спасибо! Теперь только бы еще одного товарища, а болѣ не надо! Много ли ночи осталось?

— Ужъ слышно, птахи заиграли.

— Ну, такъ уже вволю полежано, и вставать пора... Митька! — сказалъ Перстень, толкая подъ бокъ Митьку.

— А?—отвѣчалъ, раскрывъ глаза, парень.

— Хочешь идти съ нами?

— Кудъ?

— Тебѣ чтò за дѣло? Спрашиваютъ тебя, хочешь ли идти: со мной да съ дѣдушкой Коршунномъ?

— А для-ча?—отвѣчалъ Митька, зѣвая, и свѣсилъ ноги съ полатей.

— Ну, за это люблю. Иди куда поведутъ, а не спрашивай: кудъ? Расшибуть тебѣ голову—не твое дѣло, про то мы будемъ знать, а тебѣ какая нужда! Ну, смотри-жъ, взялся за гужъ, не говори: не дюжъ; попятишься назадъ, ракомъ назову!

— Ня назовешь!—отвѣчалъ Митька и сталъ обертывать ноги онучами.

Разбойники начали одѣваться.

Въ чемъ состояла выдумка Перстня, и удачно-ль онъ исполнилъ ее—узнаемъ изъ слѣдующихъ главъ.

ГЛАВА XX.

Веселые люди.

Въ глубокой и темной тюрьмѣ, которой мокрая стѣны были покрыты плѣсенью, сидѣлъ князь Никита Романовичъ, скованный по рукамъ и ногамъ, и ожидалъ себѣ смерти. Не зналъ онъ навѣрно, сколько прошло дней съ тѣхъ поръ, какъ его схватили, ибо свѣтъ ни откуда не проникалъ въ подземелье, но время отъ времени доходилъ до слуха его отдаленный благовѣсть, и, соображаясь съ этимъ глухимъ и слабымъ звономъ, онъ рассчиталъ, что сидитъ въ тюрьмѣ болѣе трехъ дней. Брошенный ему хлѣбъ былъ уже давно съѣденъ, оставленный ковшъ съ водой давно выпитъ, и голодъ и жажда начинали его мучить, какъ непривычный шумъ привлечь его вниманіе. Надъ головой его отпирали замѣкъ. Заскрипѣла первая наружная дверь темницы. Шумъ раздался ближе. Загрѣмѣлъ другой замѣкъ, и вторая дверь заскрипѣла. Наконецъ отперли третью дверь, и слышались шаги, спускающіеся въ подземелье. Сквозь щели послѣдней двери блеснулъ огонь, ключъ съ визгомъ повернулся, нѣсколько засововъ отодвинулось, ржавыя петли застонали, и яркій, нестерпимый свѣтъ ослѣпилъ Серебрянаго.

Когда онъ опустилъ руки, которыми невольно закрылъ глаза, передъ нимъ стояли Малюта Скуратовъ и Борисъ Годуновъ. Сопровождавшій ихъ палачъ держалъ высоко надъ ними смоляной свѣточъ.

Малюта, скрестивъ руки, глядѣлъ, улыбаясь, въ лицо Серебряному, и зрачки его, казалось, сжимались и расширялись.

— Здравствуй, батюшка-князь!—проговорилъ онъ такимъ голосомъ, котораго никогда еще не слыхивалъ Никита Романовичъ,—голосомъ протяжно-вкрадчивымъ и зловѣще-мягкимъ, напоминающимъ кровожадное мяуканье кошки, когда она подходитъ къ мышеловкѣ, въ которой сидитъ пойманная мышь.

Серебряный невольно содрогнулся, но видъ Годунова подѣйствовалъ на него благотворно.

— Борисъ Федоровичъ,—сказалъ онъ, отворачиваясь отъ Малюты:—спасибо тебѣ, что ты посѣтилъ меня. Теперь и умереть будетъ легче!

И онъ протянулъ къ нему скованную руку. Но Го-

дуновъ отступилъ назадъ, и на холодномъ лицѣ его ни одна черта не выразила участія къ князю.

Рука Серебрянаго, гремя цѣпью, опять упала къ нему на колѣни.

— Не думалъ я, Борисъ Ѳедоровичъ,—сказалъ онъ съ упрекомъ:—что ты отступишься отъ меня. Иль ты только пришелъ на мою казнь посмотреть?

— Я пришелъ,—отвѣтилъ спокойно Годуновъ:—быть у допроса твоего вмѣстѣ съ Григорьемъ Лукьяновичемъ. Отступаться мнѣ не отъ чего; я никогда не мыслилъ къ тебѣ и только, вѣдая государево милосердіе, остановилъ въ ту пору заслуженную тобою казнь!

Сердце Серебрянаго болѣзненно сжалось, и перемѣна въ Годуновѣ показалась ему тяжелѣе самой смерти.

— Время милосердія прошло,—продолжалъ Годуновъ хладнокровно.—Ты помнишь клятву, что далъ государю? Покорись же теперь его святой волѣ, и если признаешься намъ во всемъ безъ утайки, то минуешь пытку и будешь казненъ скорою смертью. Начнемъ допросъ, Григорій Лукьяновичъ!

— Погоди, погоди маленько!—отвѣчалъ Малюта, улыбаясь.—У меня съ его милостью особые счеты! Укороти его цѣпи, Ѳомка!—сказалъ онъ палачу.

И палачъ, воткнувъ свѣточъ въ желѣзное кольцо, вдѣланное въ стѣну, подтянулъ руки Серебрянаго къ самой стѣнѣ, такъ что онъ не могъ ими двинуть.

Тогда Малюта подступилъ къ нему ближе и долго смотрѣлъ на него, не измѣняя своей улыбки.

— Батюшка, князь Никита Романычъ!—заговорилъ онъ наконецъ:—не откажи мнѣ въ милости великой!

Онъ сталъ на колѣни и поклонился въ землю Серебряному.

— Мы, батюшка-князь,—продолжалъ онъ съ насмѣшливою покорностью:—мы передъ твоею милостью малые люди; такихъ большихъ бояръ, какъ ты, никогда еще своими руками не казнили, не пытывали! И къ допросу-то приступить робость беретъ! Кровь-то, вишь, говорятъ, не одна у насъ въ жилахъ течеть...

И Малюта остановился, и улыбка его сдѣлалась ядовитѣе, и глаза расширились болѣе, и зрачки запрыгали чаще.

— Дозволь, батюшка-князь,—продолжалъ онъ, придавая своему голосу умоляющее выраженіе:—дозволь передъ

допросомъ, для смѣлости-то, на твою боярскую кровь по-смотреть!

И онъ вынулъ изъ-за пояса ножъ и подползъ на колѣняхъ къ Серебряному.

Никита Романовичъ рванулся назадъ и взглянулъ на Годунова.

Лицо Бориса Ѳедоровича было неподвижно.

— А потомъ, — продолжалъ, возвышая голосъ, Малюта: — потомъ дозвожь мнѣ, худородному, изъ княжеской спины твоей ремней выкроить! Дозвожь мнѣ, холопу, боярскую кожу твою на конскій чапракъ снять! Дозвожь мнѣ, смрадному рабу, вельможнымъ мясомъ твоимъ собакъ моихъ накормить!

Голосъ Малюты, обыкновенно грубый, теперь походилъ на визгъ шакала, нѣчто между плачемъ и хохотомъ.

Волосы Серебрянаго стали дыбомъ. Когда въ первый разъ Юаннъ осудилъ его на смерть, онъ твердо шелъ на плаху, но здѣсь, въ темницѣ, скованный цѣпями, изнуренный голодомъ, онъ не въ силахъ былъ вынести этого голоса и взгляда.

Малюта нѣсколько времени наслаждался произведеннымъ имъ дѣйствиємъ.

— Батюшка-князь, — взвизгнувъ онъ вдругъ, бросая ножъ свой и поднимаясь на ноги: — дозвожь мнѣ прежде всего тебѣ честно долгъ заплатить!

И, стиснувъ зубы, онъ поднялъ ладонь и замахнулся на Никиту Романовича.

Кровь Серебрянаго отхлынула къ сердцу, и къ негодованію его присоединился тотъ ужасъ омерзѣнія, какой производитъ на насъ близость нечистой твари, грозящей своимъ прикосновеніемъ.

Онъ устремилъ отчаянный взоръ свой на Годунова.

Въ эту минуту поднятая рука Малюты остановилась на воздухъ, схваченная Борисомъ Ѳедоровичемъ.

— Григорій Лукьяновичъ, — сказалъ Годуновъ, не теряя своего спокойствія: — если ты его ударишь, онъ расшибетъ себѣ голову объ стѣну, и некого будетъ намъ допрашивать. Я знаю этого Серебрянаго.

— Прочь! — заревѣлъ Малюта. — Не мѣшай мнѣ надъ нимъ потѣшиться! Не мѣшай отплатить ему за Поганую-Лужу!

— Опомнись, Григорій Лукьяновичъ! Мы отвѣчаемъ за него государю!

И Годуновъ схватилъ Малюту за обѣ руки.

Но, какъ дикій звѣрь, почувавшій кровь, Малюта ничего уже не помнилъ. Съ крикомъ и проклятіями вцѣпился онъ въ Годунова и старался опрокинуть его, чтобы броситься на свою жертву. Началась между ними борьба; свѣточъ, задѣтый однимъ изъ нихъ, упалъ на землю и погасъ подъ ногою Годунова.

Малюта пришелъ въ себя.

— Я скажу государю,—прохрипѣлъ онъ, задыхаясь:— что ты стоишь за его измѣнника!

— А я,—отвѣтилъ Годуновъ:—скажу государю, что ты хотѣлъ убить его измѣнника безъ допроса, потому что боишься его показаній!

Нѣчто въ родѣ рычанія вырвалось изъ груди Малюты, и онъ бросился изъ темницы, позвавъ съ собою палача.

Между тѣмъ какъ они ощупью взбирались по лѣстницѣ, Серебряный почувствовалъ, что ему отпускаютъ цѣпи, и что онъ опять можетъ двигаться.

— Не отчаивайся, князь!—шепнулъ ему на ухо Годуновъ, крѣпко сжимая его руку:—главное, выиграть время!

И онъ поспѣшилъ вслѣдъ за Малютой, заперевъ предварительно за собою дверь и тщательно задвинувъ засовы.

— Григорій Лукьяновичъ,—сказалъ онъ Скуратову, догнавъ его у выхода и подавая ему ключи въ присутствіи стражи:—ты не заперъ тюрьмы. Этакъ дѣлать не годится: неравно подумаютъ—ты заодно съ Серебрянымъ!

Въ то самое время, какъ описанное происходило въ тюрьмѣ, Іоаннъ сидѣлъ въ своемъ теремѣ, мрачный и недовольный. Незнакомое ему чувство мало-по-малу имъ овладѣло. Чувство это было невольное уваженіе къ Серебряному, котораго смѣлые поступки возмущали его самодержавное сердце, а между тѣмъ не подходили подъ собственныя его понятія объ измѣнѣ. Доселѣ Іоаннъ встрѣчалъ или явное своеволие, какъ въ боярахъ, омрачавшихъ своими раздорами время его малолѣтства, или гордое непокорство, какъ въ Курбскомъ, или же рабскую низкоклонность, какъ во всѣхъ окружавшихъ его въ настоящее время. Но Серебряный не принадлежалъ ни къ одному изъ этихъ разрядовъ. Онъ раздѣлялъ убѣжденія своего вѣка въ божественной неприкосновенности правъ Іоанна; онъ умственно подчинялся этимъ убѣжденіямъ и, болѣе привыкшій дѣйствовать, чѣмъ мыслить, никогда

не выходилъ преднамѣренно изъ повиновенія царю, котораго считалъ представителемъ Божіей воли на землѣ. Но, несмотря на это, каждый разъ, когда онъ сталкивался съ явною несправедливостью, душа его вскипала негодованіемъ, и врожденная прямота брала верхъ надъ правилами, принятыми на-вѣру. Онъ тогда, самъ себѣ на удивленіе и почти безсознательно, дѣйствовалъ наперекоръ этимъ правиламъ, и на дѣлѣ выходило совсѣмъ не то, что они ему предписывали. Эта благородная непослѣдовательность противорѣчила всѣмъ понятіямъ Іоанна о людяхъ и приводила въ замѣшательство его знаніе человѣческаго сердца. Откровенность Серебрянаго, его неподкупное прямодушіе и неспособность преслѣдовать личныя выгоды были очевидны для самого Іоанна. Онъ понималъ, что Серебряный его не обманетъ, что можно на него вѣрнѣе положиться, чѣмъ на кого-либо изъ присяжныхъ опричниковъ, и ему приходило желаніе приблизить его къ себѣ и сдѣлать изъ него свое орудіе; но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ чувствовалъ, что орудіе это, само по себѣ надежное, можетъ неожиданно ускользнуть изъ рукъ его, и при одной мысли о такой возможности расположеніе его къ Серебряному обращалось въ ненависть. Хотя подвижная впечатлительность Іоанна и побуждала его иногда отказываться отъ кровавыхъ дѣлъ своихъ и предаваться раскаянію, но то были исключенія; въ обыкновенное же время онъ былъ проникнутъ сознаніемъ своей непогрѣшимости, вѣрилъ твердо въ божественное начало своей власти и ревниво охранялъ ее отъ постороннихъ посягательствъ, а посягательствомъ казалось ему всякое, даже молчаливое осужденіе. Такъ случилось и теперь. Мысль простить Серебрянаго мелькнула въ душѣ его, но тотчасъ же уступила мѣсто убѣжденію, что Никита Романовичъ принадлежитъ къ числу людей, которыхъ не должно терпѣть въ государствѣ.

«Аще,—подумалъ онъ:—цѣлому стаду идущу одесную, единая овца идетъ ошую, пастырь ту овцу изъемлетъ изъ стада и закланію предаеть!»—Такъ подумалъ Іоаннъ и рѣшилъ въ сердцѣ своемъ участь Серебрянаго. Казнь ему была назначена на слѣдующій день; но онъ велѣлъ снять съ него цѣпи и послалъ ему вино и пищу отъ своего стола.

Между тѣмъ, чтобы разогнать впечатлѣнія, возбужденныя въ немъ внутреннею борьбою,—впечатлѣнія непри-

вычныя, отъ которыхъ ему было неловко, — онъ вздумалъ проѣхать въ чистомъ полѣ и приказалъ большую птичью охоту.

Утро было прекрасное. Сокольникій, подсокольникій, начальные люди и всѣ чины сокольникья пути выѣхали верхами, въ блестящемъ убранствѣ, съ соколами, кречетами и челигами на рукавицахъ, и ожидали государя въ полѣ.

Недаромъ искони говорилось, что полевалъ потѣха утѣшаетъ сердца печальныя, а кречетья добыча веселитъ весельемъ радостнымъ стараго и малаго. Сколь ни пасмуренъ былъ царь, когда выѣхалъ изъ слободы съ своими опричниками, но при видѣ всей блестящей толпы сокольниковъ лицо его прояснилось. Мѣстомъ сборища были заповѣдныя луга и перелѣски, верстахъ въ двухъ отъ слободы по Владимірской дорогѣ.

Сокольникій, въ красномъ бархатномъ кафтанѣ съ золотою нашивкой и золотою перевязью, въ парчевой шапкѣ, въ желтыхъ сапогахъ и въ нарядныхъ рукавицахъ, слѣзъ съ коня и подошелъ къ Іоанну, сопровождаемый подсокольникимъ, который несъ на рукѣ бѣлаго кречета, въ клубчкѣ и въ колокольцахъ.

Поклонившись до земли, сокольникій спросилъ:

— Время ли, государь, веселью быть?

— Время, — отвѣчалъ Іоаннъ: — начинай веселье!

Тогда сокольникій подалъ царю богатую рукавицу, всю испещренную золотыми притчами, и, принявъ кречета отъ подсокольникаго, посадилъ его государю на руку.

— Честные и доброхвальныя охотники! — сказалъ сокольникій, обращаясь къ толпѣ опричниковъ: — забавляйтесь и утѣшайтесь славною, красною и премудрою охотой, да исчезнуть всякія печали и да возрадуются сердца ваши!

Потомъ, обратясь къ сокольникамъ:

— Добрыя и прилежныя сокольники! — сказалъ онъ: — напускайте и добывайте!

Тогда вся пестрая толпа сокольниковъ разсѣялась по полю. Иные съ крикомъ бросились въ перелѣски; другіе поскакали къ небольшимъ озерамъ, разбросаннымъ, какъ зеркальные осколки, между кустами.

Вскорѣ стаи утокъ поднялись изъ камышей и потянулись по воздуху.

Охотники пустили соколовъ. Утки бросились — было обратно къ озерамъ, но тамъ встрѣтили ихъ другіе со-

колы, и онѣ въ испугѣ разметались какъ стрѣлы по всеѣмъ направленіямъ.

Соколы, дермлиги и разные челиги, ободряемые криками поддатней, нападали на утокъ, кто вдогонку, кто наперехватъ, кто прямымъ боемъ, сверху внизъ, падая какъ камень на спину добычи.

Отличился въ этотъ день и Бѣдряй и Смѣляй, сибирскіе челиги, и Арбасъ и Анпрасъ, соколы-дикомыты, и Хорьякъ, и Худякъ, и Малець, и Палець. Досталось отъ нихъ и уткамъ и тетеревамъ, которыхъ рядовые сокольники выпугивали бичами изъ зарослей. Чуденъ и красносмотрителенъ былъ летъ разнопородныхъ соколовъ. Тетерева безпрестанно падали, кувыряясь въ воздухѣ. Нѣсколько разъ утки въ отчаяннѣ бросались лошадямъ подъ ноги и были схвачены охотниками живьемъ. Не обошлось и безъ наклада. Молодикъ Гамаюнъ, бросившись съ высоты на стараго косача, летѣвшаго очень низко, ударился грудью ѳземъ и убился на мѣстѣ.

Астрецъ и Сородумъ, два казанскіе розмытыя, улетѣли изъ виду охотниковъ, несмотря ни на свистъ поддатней ни на голубиныя крылья, которыми они махали.

Но всеѣхъ славнѣе и удивительнѣе выказалъ себя царкій кречеть, честникъ, по прозванію Адраганъ. Два раза напускалъ его царь, и два раза онъ долго оставался въ воздухѣ, билъ безъ промаху всякую птицу и, натѣшившись вдоволь, спускался опять на золотую рукавицу царя. Въ третій разъ Адраганъ пришелъ въ такую ярость, что началъ бить не только полевую птицу, но и самихъ соколовъ, которые неосторожно пролетали мимо него. Соколь Смѣшляй и соколий челигъ Кружокъ упали на землю съ подрѣзанными крыльями. Тщетно царь и все бывшіе при немъ сокольники манили Адрагана на красное сукно и на птичьи крылья. Бѣлый кречеть чертилъ въ небѣ широкіе круги, поднимался на высоту невидимую и, подобно молніи, стремился на добычу; но вмѣсто того, чтобы опускаться за нею на землю, Адраганъ, послѣ каждой новой побѣды, опять взмывалъ кверху и улеталъ далеко.

Сокольникій, потерявъ надежду достать Адрагана, спѣшилъ подать царю другого кречета. Но царь любилъ Адрагана и припечалился, что пропала его лучшая птица. Онъ спросилъ у сокольника, кому изъ рядовыхъ указано держать Адрагана? Сокольникій отвѣчалъ, что указано рядовому Тришкѣ.

Іоаннъ велѣлъ позвать Тришку. Тришка, чуя бѣду, явился блѣдный.

— Человѣче,—сказалъ ему царь:—такъ ли ты блюдеши честника? На что у тебя вабило, коли ты не умѣеши наманить честника? Слушай, Тришка: отдаю въ твои руки долю твою: коли достанешь Адрагана, пожалую тебя такъ, что никому изъ васъ такого времени не будетъ; а коли пропадетъ честникъ, велю—не прогнѣвайся—голову съ тебя снять,—и то будетъ всѣмъ за страхъ; а я давно замѣчаю, что нѣтъ межъ сокольниковъ добраго строенія и гибнетъ птичьа потѣха!

При послѣднихъ словахъ Іоаннъ покосился на самого сокольникаго, который, въ свою очередь, поблѣднѣлъ, ибо зналъ, что царь ни на кого не косится даромъ.

Тришка, не теряя времени, вскочилъ на конь и поскалъ искать Адрагана, молясь своему заступнику, святому угоднику Трифону, чтобы указалъ онъ ему потерянаго кречета.

Охота между тѣмъ шла своимъ чередомъ. Уже не одинъ часъ тѣшилъ государь, и уже много всякой добычи было ввязано въ торока, какъ новое зрѣлище обратило на себя вниманіе Іоанна.

По Владимірской дорогѣ тащились двое слѣпыхъ, одинъ среднихъ лѣтъ, другой старикъ, съ сѣдою кудрявою головой и длинною бородой. На нихъ были бѣлыя, изношенныя рубахи, а на полотенцахъ, перекинутыхъ черезъ плечи крестъ-на-крестъ, висѣли, съ одной стороны, мѣшокъ для сбиранія милостыни, а съ другой—изодранный кафтанъ, скинутый по случаю жара. Остальные пожитки, какъ-то: гусли, балалайки и торбу съ хлѣбомъ, они ввалили на дюжого молодого парня, служившаго имъ жога-тымъ. Сначала тотъ изъ слѣпыхъ, который былъ помоложе, держался за плечо жога-таго, а самъ тащилъ за собою старика. Только молодой парень, видно, зазѣвался на охоту и забылъ про товарищя. Слепые отстали отъ зрячаго. Держась одинъ за другого, они шупали землю высокими палками и часто спотыкались. Глядя на нихъ, Иванъ Васильевичъ не могъ удержаться отъ смѣха. Онъ подѣхалъ къ нимъ ближе. Въ это время передній слѣпой оступился, упалъ въ лужу и потянулъ за собою товарища. Оба встали, покрытые грязью, отплевываясь и браня жога-таго, который, смотрѣлъ, разиня ротъ, на блестящихъ опричниковъ. Царь громко смѣялся.

— Кто вы, молодцы?—спросилъ онъ.—Откуда и куда идете?

— Проваливай!—отвѣчалъ младшій слѣпой, не снимая шапки:—много будешь знать, скоро состаришься.

— Дурень!—закричалъ одинъ опричникъ:—аль не видишь, кто передъ тобой!

— Самъ ты дурень!—отвѣчалъ слѣпой, выкативъ на опричника бѣлки свои:—гдѣ мнѣ видѣть, коли глазъ нѣтути. Вотъ ты—дѣло другое; у тебя безъ двухъ четыре, такъ видишь ты и далѣ и шире; скажи, кто передо мной, такъ буду знать!

Царь приказалъ молчать опричнику и ласково повторилъ вопросъ свой.

— Мы люди веселые,—отвѣчалъ слѣпой:—исходили деревни и сѣла, идемъ изъ Муромъ въ слободу, бить баклуши, добрыхъ людей тѣшить, кого на лошадь подсадить, кого спѣшить.

— Вотъ какъ!—сказалъ царь, которому нравились отвѣты слѣпого:—такъ вы муромцы, калашники, вертячіе бобы! А есть еще у васъ богатыри въ Муромѣ?

— Какъ не быть!—отвѣчалъ слѣпой, не запинаясь:—этотъ товаръ не переводится; есть у насъ дядя Михай: самъ себя за волосы на вершокъ отъ земли подымаетъ; есть тѣтка Ульяна, одна ходитъ на таракана.

Всѣ опричники засмѣялись. Царю давно уже не было такъ весело.

«Вотъ и вправду веселые люди,—подумалъ онъ:—видно, что не здѣшніе. Надоѣли мнѣ уже мои сказочники; все одно и то же наладили. Да ужъ и скоморохи мнѣ наскучили. Съ тѣхъ поръ, какъ пошутить я съ однимъ неосторожно, стали всѣ меня опасаться; смѣшного слова не добьешься; точно будто моя вина, что у того дурака душа не крѣпко въ тѣлѣ сидѣла!»

— Слушай, молодецъ: что, сказки сказывать умѣешь?

— Какова сказка,—отвѣчалъ слѣпой:—и кому сказывать. Вотъ мы ономнясь рассказали старицкому воеводѣ сказку про козу косматую, да на свою шею: коза-то, вишь, вышла сама воеводша, такъ онъ насъ со двора и велѣлъ согнать, накостылявши затылокъ. Впередъ не расскажемъ.

Трудно описать хохотъ, который раздался между опричниками. Старицкій воевода былъ въ немилости у царя. Насмѣшка слѣпого пришлась какъ нельзя болѣе кстати.

— Слушайте, человѣки,—сказалъ царь:—ступайте въ

слободу, прямо во дворець, тамъ ждите моего приѣзда, — царь-де васъ прислалъ. Да чтобъ васъ накормили и наполнили, а приѣду домой, послушаю вашихъ сказокъ.

При словѣ «царь» слѣпые оробѣли.

— Батюшка-государь! — сказали они, упавъ на колѣни: — не взыщи за нашу грубую, мужицкую рѣчь! Не вели намъ головы сѣчь: по невѣдѣнью согрѣшили!

Царь усмѣхнулся испугу слѣпыхъ и поѣхалъ опять въ поле продолжать охоту, а слѣпые съ вожатымъ побрели по направленію слободы.

Пока толпа опричниковъ могла ихъ видѣть, они держались одинъ за другого и безпрестанно спотыкались, но лишь только поворотъ дороги скрылъ ихъ изъ виду, младшій слѣпой остановился, оглянулся во всѣ стороны и сказалъ товарищу:

— А чтѣ, дядя Коршунъ, усталъ, небось, спотыкаться? Вѣдь пока дѣло-то недурно идетъ; что-то будетъ далѣ? Да чего ты такъ брови-то понасупилъ, дядя? Аль жалъ тебѣ, что дѣло затѣяли?

— Не то, — отвѣчалъ старый разбойникъ: — ужъ взялся идти, небось, оглядываться не стану; да только вотъ самъ не знаю, чтѣ со мной стало: такъ тяжело на сердцѣ, какъ отродясь еще не бывало, и о чемъ ни задумаю, все опять то же да то же на умъ лѣзетъ!

— А чтѣ тебѣ лѣзетъ на умъ?

— Слушай, атаманъ. Вотъ ужъ двадцать лѣтъ минуло съ той поры, какъ тоска ко мнѣ прикачнулась, привалилася, а никто, ни на Волгѣ ни на Москвѣ, про то не знаетъ; никому я ни слова не вымолвилъ; схоронилъ тоску въ душѣ своей, да и ношу двадцать лѣтъ, словно жерновъ на шеѣ. Пытался-было разъ говѣть въ Великій постъ, хотѣлъ попу все на духу рассказать, да молиться не смогъ — и говѣть бросилъ. А вотъ теперь опять оно меня и душилъ и давитъ; кажется, вотъ какъ вымолвлю, такъ будетъ легче. Тебѣ-то сказать и не такъ тяжело, какъ попу: ты вѣдь и самъ такой же, какъ я.

Глубокая грусть изображалась на лицѣ Коршуна. Перстень слушалъ и молчалъ. Оба разбойника сѣли на краю дороги.

— Митька, — сказалъ Перстень вожатому: — садись-ка поодаль, да гляди въ оба; коли кого дозришь, махни намъ; да смотри не забудь: ты глухъ и нѣмъ, слова не вырази!

— Добро, — сказалъ Митька: — нябось, ня вырону!

— Типунъ тебѣ на языкъ, дурень этакой, нишкни! И

съ нами не говори. Привыкай молчать; не то какъ разъ при комъ-нибудь языкомъ брякнешь: тогда и насъ и тебя поминай какъ звали!

Митька отошелъ шаговъ на сто и легъ на брюхо, перевелъ локти въ землю, а подбородокъ въ руки.

— Въдъ добрый паренъ,—сказалъ Перстень, глядя ему вслѣдъ:—а глупъ, хотъ колъ на головѣ теши. Пусти его только,—разомъ проврется! Да нечего дѣлать, лучше его нѣтъ; онъ, по крайней мѣрѣ, не выдастъ; постоятъ и за себя и за насъ, коли, не дай Богъ, намъ круто придется. Ну, чтò, дядя—теперь никто насъ не услышитъ—говори, какая у тебя кручина? Эхъ, не въ-время она тебя навѣстила!

Старый разбойникъ опустилъ кудрявую голову и провелъ ладонью по лбу. Хотѣлось ему говорить, да начать было трудно.

— Вишь, атаманъ,—сказалъ онъ:—довольно я людей перегубилъ на своемъ вѣку, чтò и говорить! Смолоду полюбилась красная рубашка! Бывало, купецъ ли заартачится, баба ли запищитъ, хвачу ножомъ въ бокъ—и конецъ. Даже и теперь, коли-бъ случилось кого отправить—рука не дрогнетъ! Да чтò тутъ! Не тебя увѣрять стать: я чай, и ты довольно народу на тотъ свѣтъ спровадилъ; не въ диковинку тебѣ, такъ ли?

— Ну, что-жъ съ того?—отвѣчалъ Перстень съ примѣтнымъ неудовольствіемъ.

— Да то, что ни ты ни я, мы не бабы, не красныя дѣвицы; много у насъ крови на душѣ; а ты мнѣ вотъ чтò скажи, атаманъ: приходилось ли тебѣ такъ, что какъ вспомнишь о какомъ-нибудь своемъ дѣлѣ, такъ тебя словно клещами за сердце схватитъ, и холодомъ и жаромъ обдастъ съ ногъ до головы, а потомъ гложетъ, гложетъ, такъ что хотъ бы на свѣтъ не родиться?

— Полно, дядя, о чемъ спрашивать вздумалъ! Не такое теперь время.

— Вотъ,—продолжалъ Коршунъ:—я много ужъ и позабылъ дѣлъ своихъ, одного не могу забыть. Тому будетъ полсорока годовъ, жили мы на Волгѣ, ходили на девяти стругахъ; атаманомъ былъ у насъ Данило Котъ; о тебѣ еще и помиду не было, меня уже знали въ шайкѣ и тогда уже величали Коршуномъ. Разбивали мы и суда богатя, и пристани грабили, а чтò, бывало, добудемъ, то всегда поровну дѣлимъ, и никакого спору Данило Котъ не тер-

пѣль. Кажется, чего бы лучше? Житье привольное, всегда сыты, одѣты. Бывало, какъ нарядимся въ цвѣтные кафтаны, какъ заломимъ шапки, да ударимъ въ весла, да затынемъ удалую, такъ въ деревняхъ и городахъ народъ на берегъ и валить, на молодцовъ посмотрѣть, на соколовъ ясныхъ полюбоваться! А мы себѣ гребемъ, да поемъ, во всю глотку заливаемся, изъ пищалей на вѣтеръ пострѣливаемъ, краснымъ дѣвкамъ подмигиваемъ. А иной разъ, какъ посядемъ съ копыями да съ рогатинами, такъ струги наши словно лѣсомъ поросли! Хорошо было житье, да подбилъ меня бѣсъ проклятый. Думаю себѣ разъ: что-жь? я вѣдь больше другихъ работаю, а корысти идетъ мнѣ со всѣми равная. И положилъ себѣ на мысль: пойти одному на промыселъ, зашибить добычи, да не отдавать въ артель, а взять на себя одного. Одѣлся нищимъ, почитай какъ теперь, повѣсилъ на шею торбу, всунулъ засапожникъ за онучу, да и побрелъ себѣ по дорогѣ къ посадѣ, не проѣдетъ ли кто? Жду себѣ, жду: ни обоза ни купца, никого не видать. Разобрала меня досада. Добро-жь, говорю: не даетъ Богъ корысти, такъ теперь кто-бъ ни прошелъ, будь онъ хоть отецъ родной, дѣчиста оберу! Только лишь подумалъ, идетъ по дорогѣ баба убогая, несетъ что-то въ лукошкѣ; лукошко холстомъ обернуто. Лишь только поровнялась она со мной, я и выскочилъ изъ-за куста.—Стой, говорю, баба! Давай лукошко!—Она мнѣ въ ноги:—Что хошь бери, а лукошко не тронь!—«Эге, думаю я, такъ у тебя, видно, казна тамъ спрятана», да и ухватился рукой за лукошко. А баба—голосить, ругать меня, кусать за руку. Я ужъ былъ больно сердитъ, что день даромъ пропалъ, а тутъ осерчалъ еще пуще. Бѣсъ толкнулъ меня подъ бокъ, я вытащилъ засапожникъ да и всадилъ бабѣ въ горло. Какъ только свалилась она, страхъ меня взялъ. Ударился-было бѣжать, да одумался и воротился за лукошкомъ. Думаю себѣ: ужъ убилъ бабу, такъ пусть же не даромъ! Взялъ лукошко, не раскрывая, да и пустился лѣсомъ. Отошелъ не болѣе, какъ на пѣсий брехъ, ноги стали подкашиваться, думаю себѣ: сяду, отдохну, да посмотрю, много ли казны добылъ? Развернулъ лукошко, гляжу: анъ тамъ лежитъ малый ребенокъ, чуть живой, и еле дышитъ. «Ахъ ты, бѣсенокъ!—подумалъ я:—такъ вотъ зачѣмъ баба не хотѣла лукошко отдавать! Такъ изъ-за тебя, проклятаго, я грѣхъ на душу взялъ!»

Коршунъ хотѣлъ-было продолжать, да замолчалъ и задумался.

— Что-жъ ты съ ребенкомъ сдѣлалъ?—спросилъ Перстень.

— Что-жъ его было нянчить, что ли? Что сдѣлалъ? Вѣстимо чтò!

Старикъ опять замолчалъ.

— Атаманъ,—сказалъ онъ вдругъ:—какъ подумаю объ этомъ, такъ сердце и защемишь. Вотъ особливо сегодня, какъ нарядился нищимъ, то такъ живо все припоминаю, какъ будто вчера было. Да не только то время, а не знаю, съ чего стало мнѣ вдругъ памятно и такое, о чемъ я давно ужъ не думалъ. Говорятъ, оно не къ добру, когда ни съ того ни съ другого станешь вдругъ вспоминать, чтò ужъ изъ памяти вышибъ!..

Старикъ тяжело вздохнулъ.

Оба разбойника замолчали. Вдругъ свистнули надъ ними крылья,—и бурый коршунъ упалъ кувыркомъ къ ногамъ старика. Въ то же время кречетъ Адраганъ плавно нырнулъ въ воздухъ и пронесся мимо, не удостоивъ спуститься на свою жертву.

Митька махнулъ рукою. Вдали показались сокольники.

— Дядя!—сказалъ поспѣшно Перстень:—забудь прошлое; мы вѣдь теперь не разбойники, а слѣпые сказочники. Вонъ скачутъ царскіе люди, тотчасъ будутъ здѣсь. Живо, дядя, присанься, закидай ихъ прибаутками!

Старый разбойникъ покачалъ головою.

— Не одобровать мнѣ,—сказалъ онъ, показывая на убитаго коршуна.—Это меня срѣзалъ бѣлый кречетъ. Вишь, и нѣтъ ужъ его. Убилъ, да и пропалъ!

Перстень пристально посмотрѣлъ на него и съ досадою почесалъ затылокъ.

— Слушай, дядя,—сказалъ онъ:—кто тебя знаетъ, чтò съ тобою сегодня случилось! Только я тебя неволить не буду. Говорятъ: сердце вѣщунъ. Пожалуй, твое сердце и недаромъ чуетъ бѣду. Оставайся, я одинъ пойду въ слободу.

— Нѣтъ,—отвѣчалъ Коршунъ:—я не къ тому вель рѣчь. Ужъ если такая моя доля, чтобъ въ слободѣ голу положить, такъ нечего оставаться. Видно, мнѣ такъ на роду написано. А вотъ къ чему я рѣчь вель. Знаешь ли, атаманъ, на Волгѣ село Богородицкое?

— Какъ не знать, знаю.

— А около того села, верстахъ въ пяти, мѣсто, что зовутъ Поповъ-Кругъ?

— И Поповъ-Кругъ знаю.

— А на Поповомъ-Кругу дубъ старый помнишь?

— И дубъ помню; только нѣтъ уже того дуба, срубили его.

— Дубъ-то срубили, да пень оставили.

— Такъ что-жь съ того?

— А вотъ чтѣ. Я-то ужъ никогда Волги-матушки не увижу, а ты еще, статься можетъ, вернешься на родимую сторонушку. Такъ когда будешь на Волгѣ, ступай на Поповъ-Кругъ. Отыщи пень стараго дуба. Какъ отыщешь пень, сосчитай полдевяносто ступней на закатъ солнечный. Сосчитаешь ступни, начинай рыть землю на томъ мѣстѣ. Тамъ,—продолжалъ Коршунъ, понизивъ голосъ:— я въ былое время закопалъ казну богатую. Довольно тамъ лежитъ корабленниковъ золотыхъ, и червонцевъ, и рублевъ серебряныхъ. Отроешь кладъ, все будетъ твое. Не взять мнѣ съ собою казны на тотъ свѣтъ. А какъ иной разъ подумаешь, что будешь тамъ отвѣтъ держать за все, чтѣ здѣсь дѣлалъ, такъ въ ночное время индо морозъ по кожѣ деретъ! Ты бы, атаманъ, какъ не будетъ меня, велѣлъ по мнѣ панихиду отслужить. Оно все вѣрнѣе. Да не жалѣй денегъ на панихиду. Заплати хорошенько попу; пусть отслужить какъ слѣдуетъ, ничего не пропустить. А зовутъ меня—ты знаешь—Амельяномъ. Это такъ только люди Коршуномъ прозвали, а крестили меня вѣдь Амельянъ; такъ пусть попу отслужить панихиду по Амельянъ; а ты ужъ заплати ему хорошенько, не пожалѣй денегъ, атаманъ; я тебѣ казну оставляю богатую, на всю жизнь твою станеть!

Коршуна прервали подскакавшіе сокольники.

— Эй, вы, убогіе!—закричалъ одинъ изъ нихъ:—говорите, куда полетѣлъ речеть?

— И радъ бы сказать, родимые,—отвѣчалъ Перстень:— да вотъ ужъ сорокъ годовъ глаза залопоршило!

— Какъ такъ?

— Да пошелъ разъ въ горы, съ камней лыки драть, вижу—дубъ растеть, въ дуплѣ жареные цыплята пищать. Я влѣзъ въ дупло, съѣлъ цыплятъ, потолстѣлъ, влѣзти не могу! Какъ тутъ быть? Сбѣгалъ домой за топоромъ, обтесалъ дупло, да и вылѣзъ; только тесамши-то, видно, щепками глаза засорилъ: съ тѣхъ поръ ничего не вижу;

иной разъ щи хлебаю, ложку въ ухо сую; чешется носъ, а я скребу спину!

— Такъ это вы,—сказалъ, смѣясь, сокольникъ:—тѣ слѣпые, что съ царемъ говорили! Бояре еще и теперъ вамъ смѣются. Ну, ребята, мы днемъ потѣшали батюшку-государя, а вамъ придется ночью тѣшить его царскую милость. Сказываютъ, хочеть государь вашихъ сказокъ послушать.

— Дай Богъ здоровья его царской милости!—подхватилъ Коршунъ, внезапно перемѣнивъ приемы.—Почему не послушать. Коли до ночи не свихнемъ языковъ, можемъ скрозь до утра рассказывать!

— Добро, добро,—сказали сокольники:—въ другой разъ побалакаемъ съ вами. Теперъ ѣдемъ кречета искать, товарища выручать. Не найдетъ Трифонъ Адрагана—быть ему безъ головы; батюшка-царь не шутить!

Сокольники поскакали въ поле.

Перстень и Коршунъ опять уцѣпились за Митьку и побрели по дорогѣ въ слободу.

Не дошли они до перваго подворья, какъ увидѣли двухъ пѣсенниковъ, которые брячали на балалайкахъ и пѣли во все горло:

Какъ у нашего сосѣда
Весела была бесѣда!

Когда разбойники съ ними поровнялись, одинъ изъ пѣсенниковъ, рыжій дѣтина, съ павлиньимъ перомъ на шапкѣ, нагнулся къ Перстню.

— Ужъ дней пять твой князь въ тюрьмѣ!—сказалъ онъ шопотомъ, продолжая перебирать лады.—Я все разузналъ. Завтра ему карачунъ. Сидитъ онъ въ большой тюрьмѣ, противъ Малютина дома. Съ котораго конца пѣтуха пускать?

— Вонъ съ того!—отвѣчалъ Перстень, мигнувъ на сторону, противоположную тюрьмѣ.

Рыжій пѣсенникъ щелкнулъ всѣми пальцами по животу балалайки и, отвернувшись отъ Перстня, будто и не съ нимъ говорилъ, продолжалъ тонкимъ голосомъ:

Какъ у нашего сосѣда
Весела была бесѣда!

ГЛАВА XXI.

Сказка.

Иванъ Васильевичъ, утомленный охотою, удалился ранѣе обыкновеннаго въ свою опочивальню.

Вскорѣ явился Малюта съ тюремными ключами.

На вопросъ царя Малюта отвѣтилъ, что новаго ничего не случилось, что Серебряный повинился въ томъ, что стоялъ за Морозова на Москвѣ, гдѣ убилъ семерыхъ опричниковъ и разсѣкъ Вяземскому голову.

— Но,—прибавилъ Малюта:—не хочетъ онъ виниться въ умыслѣ на твое царское здравіе и на Морозова также показывать не хочетъ. Послѣ заутрени учинимъ ему пристрастный допросъ, а коли онъ и съ пытки и съ огня не покажетъ на Морозова, то и ждать нечего, тогда можно и покончить съ нимъ.

Іоаннъ не отвѣчалъ. Малюта хотѣлъ продолжать, но въ опочивальню вошла старая мамка Онуфревна.

— Батюшка,—сказала она:—ты утромъ прислалъ сюда двухъ слѣпыхъ: сказочники они, что ли; ждуть здѣсь въ сѣняхъ.

Царь вспомнилъ свою встрѣчу и приказалъ позвать слѣпыхъ.

— Да ты ихъ, батюшка, знаешь ли?—спросила Онуфревна.

— А что?

— Да полно, слѣпые ли они?

— Какъ?—сказалъ Іоаннъ, и подозрѣніе мигомъ имъ овладѣло.

— Послушай меня, государь,—продолжала мамка:—берегись этихъ сказочниковъ; чуется мнѣ, что они недоброе затѣяли; берегись ихъ, батюшка, послушай меня.

— Что знаешь ты про нихъ? Говори!—сказалъ Іоаннъ.

— Не спрашивай меня, батюшка. Мое знанье словами не сказывается; чуется мнѣ, что они недобрые люди, а почему чуется—не спрашивай. Даромъ я никого еще не остерегала. Кабы послушалась меня покойная матушка твоя, она, можетъ, и теперь бы здравствовала еще.

Малюта поглядѣлъ со страхомъ на мамку.

— Ты чего на меня смотришь?—сказала Онуфревна.—Ты только безвинныхъ губишь, а лихого чловѣка распознать, видно, не твое дѣло. Чутья-то у тебя на это не хватить, рыжий пѣсь!

— Государь!—воскликнулъ Малюта:—дозволь мнѣ попытать этихъ людей. Я тотчасъ узнаю, кто они и отъ кого подосланы.

— Не нужно,—сказалъ Іоаннъ:—я ихъ самъ попытаю. Гдѣ они?

— Тутъ, батюшка, за дверью,—отвѣчала Онуфрѣвна:— въ сѣняхъ стоять.

— Подай мнѣ, Малюта, кольчугу со стѣны; да ступай будто домой, а когда войдутъ они, вернись въ сѣни, притаись съ ратниками за этую дверью, лишь только я кликну, вбѣгайте и хватайте ихъ. Онуфрѣвна, подай сюда посохъ!

Царь вздѣлъ кольчугу, надѣлъ поверхъ ея черный стихарь, легъ на постель и положилъ возлѣ себя тотъ самый посохъ, или осѣнь, которымъ незадолго передъ тѣмъ пронзилъ ногу гонцу князя Курбскаго.

— Теперь пусть войдутъ!—сказалъ онъ.

Малюта положилъ ключи подъ царское изголовье и вышелъ вмѣстѣ съ мамкою. Иконныя лампы слабо освѣщали избу. Царь съ видомъ усталости лежалъ на одрѣ.

— Войдите, убогіе,—сказала мамка:—царь велѣлъ!

Перстень и Коршунъ вошли, осторожно передвигая ноги и щупая вокругъ себя руками.

Однимъ быстрымъ взглядомъ Перстень обозрѣлъ избу и находившіеся въ ней предметы.

Надѣво отъ двери была лежанка; въ переднемъ углу стояла царская кровать; между лежанкой и кроватью было продѣлано въ стѣнѣ окно, которое никогда не затворялось ставнемъ, ибо царь любилъ, чтобы первые лучи солнца проникали въ его опочивальню. Теперь сквозь окно это смотрѣла луна, и серебряный блескъ ея игралъ на пестрыхъ изразцахъ лежанки.

— Здравствуйте, слѣпые, муромскіе калашники, вертячіе бобы!—сказалъ царь, пристально, но непримѣтно вглядываясь въ черты разбойниковъ.

— Много лѣтъ здравствовать твоей царской милости!—отвѣчали Перстень и Коршунъ, кланяясь земно.—Заступи, спаси и помилуй тя Мати Божія, что жалбешь ты насъ, скудныхъ, убогихъ людей, по земли ходящихъ, по воды бродящихъ, свѣта Божія не видящихъ! Сохрани тебя святыи Петръ и Павелъ, Іоаннъ Златоустъ, Кузьма со Демьяномъ, Хутынскіе чудотворцы и всѣ святыя угодники! Создай тебѣ, Господи, о чемъ ты молишь и просишь! Вѣчно бы тебѣ въ золотѣ ходилось, вкусно ѣлось и пилось, сладко спалось! А супостатамъ твоимъ вѣчно-бы икалось и голодалось, каждый бы день ихъ дугою корчило, бараньимъ рогомъ корбило!

— Спасибо, спасибо, убогіе!—сказалъ Іоаннъ, продол-

жая вглядываться въ разбойниковъ:—что-жъ, вы давно, знать, ослѣпли?

— Смолоду, батюшка-государь, — отвѣчалъ Перстень, кланяясь и сгибая колѣни:—оба смолоду ослѣпли! И не припомнимъ, когда солнышко Божіе видѣли!

— А кто же васъ научилъ пѣсни пѣть и сказки сказывать?

— Самъ Господь, батюшка, самъ Господь сподобилъ еще въ стародавнія времена!

— Какъ такъ?—спросилъ Іоаннъ.

— Старики наши рассказываютъ, — отвѣчалъ Перстень:—и гуслары о томъ поютъ: въ стародавнія то было времена, когда возносился Христось Богъ на небо, расплакались бѣдные, убогіе, слѣпые, хромые, вся, значитъ, нищая братія: куда ты, Христось Богъ, полетаешь? На кого насъ оставляешь? Кто будетъ насъ кормить-поить? И сказалъ имъ Христось, Царь небесный:

«Дамъ вамъ, говоритъ, гору золотую, рѣку медвяную, сады-винограды, яблони кудрявы; будете сыты да пьяны, будете обуты-одѣты! Тутъ возговорилъ Иванъ Богословъ: Ай же ты Спасъ милосердый! Не давай имъ ни горы золотыя, ни рѣки медвяныя, ни садовъ-виноградовъ, ни яблонь кудрявыхъ. Не сумѣютъ они ими владѣти: наѣдутъ къ нимъ сильныя, богатые, добро то у нихъ отымутъ. А Ты дай имъ, Христось, Царь небесный, дай-ко-се имя Твое Христовое, дай-ко-се имъ тѣ пѣсни сладкія, сказаньица великія про стару-старину, да про божьихъ людей. Пойдутъ нищѣ по земли ходити, сказаньица великія говорить, всякій ихъ приобуетъ-приодѣнетъ, хлѣбомъ-солью напитаетъ. И рече Христось, Царь небесный: «Инь пусть будетъ по-твоему, Иване! Пусть же будутъ имъ пѣсни сладкія, гусли звонкія, сказанья великія; а кто ихъ напоить-накормить, отъ темныя ночи оборонить, тому Я дамъ въ рай мѣсто; не заперты въ рай тому двери!»

— Аминь!—сказалъ Іоаннъ. — Какія же вы знаете сказки?

— Всякія знаемъ, батюшка-царь, какія твоя милость послушать соизволить. Могу сказать тебѣ о Ершѣ Ершовичѣ, сынѣ Щетинниковѣ, о семи Семіонахъ, о змѣ Горыницѣ, о гуслияхъ-самогудахъ, о Добрынѣ Никитичѣ, объ Акудинѣ...

— Что же, — перебилъ Іоаннъ:—развѣ ты одинъ сказки сказываешь? А старикъ-то зачѣмъ съ тобою пришелъ?

Перстень спохватился, что Коршунъ почти все время молчалъ, и, чтобы вызвать его изъ неестественной для сказочника угрюмости, онъ вдругъ переимѣнилъ приемы и началъ говорить прибаутками.

— Старикъ-то?—сказалъ онъ, наступая непримѣтно на ногу Коршуна:—это, вишь, мой товарищъ, Амелъка Гудокъ; борода у него длинна, да умъ коротокъ; когда я рѣчь веду скоромную, не постную, несу себѣ околесную, онъ мнѣ поддакиваетъ, потакаетъ да присвистываетъ, похвалаетъ да помалчиваетъ. Такъ ли, дядя, бѣлая борода, утиная поступь, куриныя ножки? Не сбиться бы намъ съ дорожки!

— Вѣстимо такъ,—подхватилъ Коршунъ, опомнясь:—наша чара полна зелена вина, а ужъ налил по край, такъ пей до дна! Вотъ какъ, дядя, пѣтушинный голосокъ, кротовое око; пошли ходить, заберемъ далѣко!

— Ай люли-тарарахъ, пляшутъ козы на горахъ!—сказалъ Перстень, переминая ногами:—kozy пляшутъ, мухи пашутъ, а у бабушки Ефросиньи въ лѣвомъ ухѣ звенить!..

— Ай люлюшеньки-люли!—перебилъ Коршунъ, также переминая ногами:—ай люлюшеньки-люли, сидитъ ракъ на мели; не горюетъ ракъ, а свиститъ въ кулакъ; какъ прибудетъ вода, такъ пройдетъ бѣда!

— Эхъ, батюшка-государь—закончилъ Перстень съ низкимъ поклономъ:—не смотри на насъ искоса; это не сказка, а только присказка!

— Добро!—сказалъ Иоаннъ, зѣвая:—люблю молодцовъ за обычай; начинайте сказку про Добрыню, убогіе; авось я, слушая васъ, сосну!

Перстень еще разъ поклонился, откашлялся и началъ: «Во гридницѣ княжѣнецкой, у Владиміра, князя кievскаго, было пированье почетный столъ, былъ пиръ про князей, бояръ и могучихъ богатырей. А и былъ день къ вечеру, а и былъ столъ во полустолѣ, и послашалось всѣмъ за диво: затрубила труба ратная. Возгворилъ Владиміръ, князь кievскій, солнышко Святославъевичъ:—Гой еси вы, князья, бояре, сильны-могучіе богатыри! Пошлите опровѣдать двухъ могучихъ богатырей: кто смѣловаль стать передъ Кіевомъ? Кто смѣловаль трубить ко столъ-ному князю Владиміру?»

«Зашумѣли буйны молодцы посередь двора; зазвенѣли мечи булатные по крутымъ бедрамъ; застучали палицы желѣзныя у красна крыльца, закидали шапки разнорядъ

по поднебесью. Надѣвають могучи богатыри сбрую ратную, садятся на добрыхъ коней, выѣжаютъ во чисто поле...»

— Погоди-ка!—сказалъ Іоаннъ, съ намѣреніемъ придать болѣе правдоподобія своему желанію слушать разсказчика:—я эту сказку знаю. Расскажи лучше про Акундина.

— Про Акундина?—сказалъ Перстень съ замѣшательствомъ, вспомнивъ, что въ той сказкѣ величается опальный Новгородъ:— про Акундина, батюшка-государь, сказка-то нехорошая, мужицкая; выдумали ту сказку глупые мужики новгородскіе; да я, батюшка-царь, какъ будто и забылъ-то ее...

— Разсказывай, слѣпой!—сказалъ Іоаннъ строго:—разсказывай всю, какъ есть; и не смѣй пропустить ни единого слова.

И царь внутренно усмѣхнулся трудному положенію, въ которое онъ ставилъ разсказчика.

Перстень хотя досадовалъ на себя, что самъ предложилъ эту сказку, но, не зная, до какой степени она уже извѣстна Іоанну, рѣшился, очертя голову, начать свой разсказъ, ничего не выкидывая.

«Какъ во старомъ было городѣ,—началъ онъ:—въ Новгородѣ, какъ во томъ ли во Новгородѣ, со посадской стороны, жилъ Акундинъ молодець; а и тотъ ли Акундинъ, молодой молодець, ни пива не варилъ, ни вина не курилъ, ни въ торгу не торговалъ; а ходилъ онъ, Акундинъ, со повольницей, и гулялъ онъ, Акундинъ, по Волхову по рѣкѣ на суденышкахъ. Садится онъ, Акундинъ, на суденышко оснащенное, кладетъ весельца кленовые во замки дубовые, а самъ садится на корму. Поплыло суденышко по Волхову по рѣкѣ и приплыло суденышко ко круту бережку. Какъ во ту пору по кругу бережку идетъ каличище перехожее. Беретъ каличище Акундина за бѣлы руки, ведетъ его, Акундина, на высокъ курганъ, а становивши его на высокъ курганъ, говорилъ такія рѣчи:—Погляди-ка, молодой молодець, на городъ Ростиславль, на Окъ-рѣкѣ, а поглядѣвши, повѣдай, чтѣ дѣется въ городѣ Ростиславль?—Какъ глянулъ Акундинъ въ городъ во Ростиславль, а тамъ бѣда великая: исконные слуги молода князя рязанскаго, Глѣба Олеговича, стоять посередь торго, хстятъ во ной городъ отстоять, да силы не хватить. А по Окъ-рѣкѣ плыветъ чудовище невиданное, змѣй Тугаринъ. Длинною-то былъ тотъ змѣй

Тугаринъ во триста саженъ, хвостомъ бьетъ рать рязанскую, спиною валить круты берега, а самъ все просить стару дань. Въ ту пору каличище беретъ Акундина за его бѣлы руки, молвить таково слово:—Ты гои еси, добрый молодець, назовись по имени, по изотчеству!—На тѣ ли рѣчи спросныя говоритъ Акундинъ:—Родомъ я изъ Новгорода, зовутъ меня Акундинъ Акундинычъ.

«— Тебя-то, Акундинъ Акундинычъ, я ждалъ ровно тридцать лѣтъ и три года; спознай своего дядюшку родимаго, Замятню Путятича; а и вѣдь мой-то братъ, Акундинъ Путятичъ, былъ тебѣ родимый батюшка! А и вотъ тебѣ мечъ-кладенець твоего родимаго батюшки, Акундина Путятича!—Не домолвивши рѣчи вѣстныя, сталъ Замятня Путятичъ кончатися, со бѣлымъ свѣтомъ разставатися, и кончаяся, учаль отповѣдь чинить:—А и гои ты еси, мое милое дѣтище, Акундинъ Акундинычъ! Какъ и будешь ты во славномъ во Новѣгородѣ, и ты ударь челомъ ему, Новугороду, и ты скажи, скажи ему, Новугороду: а и дай же то, Боже, тебѣ ли, Новугороду, вѣкъ вѣковать, твоимъ ли дѣтушкамъ славы добывать! Какъ и быть ли тебѣ, Новугороду, во могучествѣ, а твоимъ дѣтушкамъ во богатствѣ...»

— Довольно!—перебилъ съ гнѣвомъ царь, забывая въ эту минуту, что цѣль его была только слѣдить за рассказчикомъ.—Начинай другую сказку!

Перстень, какъ будто въ испугѣ, согнулъ колѣни и поклонился до земли.

— Какую же сказку соизволишь, батюшка-государь?—спросилъ онъ съ притворнымъ, а можетъ-быть, и съ настоящимъ страхомъ:—не рассказать ли тебѣ о Бабѣ-Ягѣ? О Чурилѣ Пленковичѣ? Объ Иванѣ-Озерѣ? Или не велишь ли твоей милости что-нибудь божественное рассказать?

Іоаннъ вспомнилъ, что онъ не долженъ запугивать слѣпыхъ, а потому еще разъ зѣвнулъ и спросилъ уже соннымъ голосомъ:

— А чтò же ты знаешь божественное, убогий?

— Объ Алексѣѣ Божьемъ человекѣ, батюшка, о Егоріи Храбромъ, объ Іосифѣ Прекрасномъ, или, пожалуй, о Голубиной книгѣ...

— Ну,—сказалъ Іоаннъ, котораго глаза, казалось, уже смыкались:—расскажи о Голубиной книгѣ. Оно намъ, грѣшнымъ, и лучше будетъ на ночь что-нибудь божественное послушать!

Перстень вторично откашлялся, выпрямился и началъ нараспѣвъ:

«Какъ изъ тучи было изъ грозныя, изъ грозныя тучи страховитыя, подымалась погода Божія; во той ли во годѣ Божіей выпадала съ небесъ книга Голубиная. Ко той ли ко книгѣ Голубиной соѣзжалось сорокъ царей и царевичей, сорокъ королей и королевичей, сорокъ князей со князевичемъ, сорокъ поповъ со поповичемъ, много бояръ, люду ратнаго, люду ратнаго, разнаго, мелкихъ христіанъ православныхъ. Изъ нихъ было пять царей наибольшихъ: былъ Исай царь, Василей царь, Костянтинъ царь, Володимеръ царь Володимерычъ, былъ премудрый царь Давидъ Евсіевичъ.

«Какъ прогѣворилъ Володимеръ царь:—Кто изъ насъ, братцы, гораздъ въ грамотѣ? Прочелъ бы эту книгу Голубиную? Сказалъ бы намъ про Божій свѣтъ: отчего началось солнце красное? Отчего начался младъ свѣтѣль мѣсяць? Отчего начались звѣзды частыя? Отчего зачались зори свѣтлыя? Отчего зачались вѣтры буйныя? Отчего зачались тучи грозныя? Отчего да взялись ночи темныя? Отчего у насъ пошелъ міръ-народъ? Отчего у насъ на земли цари пошли? Отчего зачались бояры-князья? Отчего пошли крестьяне православныя?

«На то всѣ цари приумолкнули. Имъ отвѣтъ держалъ премудрый царь, премудрый царь Давидъ Евсіевичъ:— Я вамъ, братцы, про то скажу, про эту книгу Голубиную: эта книга не малая; сорока саженьъ долина ея, поперечина двадцати саженьъ; приподнять книгу—не поднять будетъ; на руцѣхъ держать—не сдержать будетъ; по строкамъ глядѣть—всѣ не выгладѣть; по листамъ ходить—всѣ не выходить, а читать книгу—ее некому; а писалъ книгу Богословъ Иванъ, а читалъ книгу Исай пророкъ, читалъ ее по три годы, прочелъ въ книгѣ только три листа; ужъ мнѣ честь книгу—не прочесть Божію! Сама книга распечатывалась, сами листы разстилалися, сами слова прочиталися. Я скажу вамъ, государи, не выгладя, скажу вамъ, братцы, не по грамотѣ, не по грамотѣ, все по памяти, про старое, про стародавнее, по старому, по писанному.

«Началось у насъ солнце красное отъ свѣтлаго лица Божія; младъ свѣтѣль мѣсяць отъ груди Его; звѣзды частыя отъ очей Божіихъ; зори свѣтлыя отъ ризъ Его; буйныя вѣтры—то дыханье Божіе, тучи грозныя—думы Божіи;

ночи темныя отъ опасня Его! Миръ-народъ у насъ отъ Адамія; отъ Адамовой головы цари пошли; отъ мощей его—князи съ боярами; отъ колѣнъ—крестьяне православныя; отъ того-жъ начался и женскій полъ!

«Ему всѣ цари поклонилися:—Спасибо, свѣтъ-сударь, премудрый царь, мудрѣйшій царь, Давидъ Евсіевичъ! Ты еще, сударь, намъ про то скажи, про то скажи, ты повѣдай намъ:

«Который царь надъ царями царь? Кая земля всѣмъ землямъ мати? Которо море всѣмъ морямъ мати? Котора рѣка всѣмъ рѣкамъ мати? Кая гора всѣмъ горамъ мати? Который городъ всѣмъ городамъ мати?»

Здѣсь Перстень украдкою посмотрѣлъ на Ивана Васильевича, котораго, казалось, все болѣе клонило ко сну. Онъ время отъ времени, какъ будто съ трудомъ, открывалъ глаза и опять закрывалъ ихъ; но всякій разъ незамѣтно бросалъ на разсказчика испытующій, пронизательный взглядъ.

Перстень перемигнулся съ Коршунуомъ и продолжалъ:

«Имъ отвѣтъ держалъ премудрый царь Давидъ Евсіевичъ:—Я вамъ, братцы, и про то скажу, про то скажу, вамъ повѣдаю: въ Голубиной книгѣ есть написаю: у насъ Бѣлый царь будетъ надъ царями царь; онъ вѣруеть вѣру крещеную, крещеную богомольную; онъ въ Матерь Божию Богородицу и въ Троицу вѣруеть нераздѣлимую. Ему орды всѣ преклонилися, всѣ языци ему покорилися; область его надо всей землей, надъ вселенною; всѣхъ выше его рука царская, благовѣрная, благочестивая; и всѣ къ царю Бѣлому преклонятся, потому Бѣлый царь надъ царями царь! Свято-Русь земля всѣмъ землямъ мати; на ней стоятъ церкви апостольскія, богомольныя, соборныя. Окіянь-море всѣмъ морямъ мати; выходила изъ него церковь соборная; что во той ли во церкви во соборной почиваютъ мощи попа римскаго, попа римскаго Климентія; обошло то море околъ всей земли; всѣ рѣки къ морю собѣгалися, всѣ къ Окіянь-морю приклонилися. Ердань-рѣка всѣмъ рѣкамъ мати; во славной матушкѣ во Ердань-рѣкѣ окрестился самъ Иисусъ Христосъ, небесный Царь. А Фаворъ-гора всѣмъ горамъ мати; какъ на славныя на Фаворъ-горы преобразился на ней самъ Иисусъ Христосъ, показалъ славу ученикамъ своимъ. Ерусалимъ-городъ всѣмъ городамъ мати; что стоитъ тотъ городъ посреди земли, а въ томъ городѣ церковь соборная; пребываетъ во церкви Господень гробъ, почиваютъ въ немъ

ризы самого Христа, еиміамы-ладаны рядомъ курятся, свѣщи горятъ неугасимыя...»

Здѣсь Перстень опять взглянулъ на Іоанна. Глаза его были закрыты, дыханіе ровню. Грозный, казалось, почивалъ.

Атаманъ тронулъ Коршуна локтемъ. Старикъ подался шага на два впередъ. Перстень продолжалъ нараспѣвъ:

«Ему всѣ цари поклонилися:—Спасибо, свѣтъ-сударь, премудрый царь, Давидъ Евсіевичъ! Ты еще, сударь, намъ про то скажи: котора рыба всѣмъ рыбамъ мать? Котора птица птицамъ есть мать? Который звѣрь надъ звѣрями звѣрь? Который камень всѣмъ камнямъ отецъ? Которо древо древамъ всѣмъ мать? Кая трава всѣмъ травамъ мати?»

«Имъ отвѣтъ держалъ премудрый царь:—Я еще вамъ, братцы, про то скажу: у насъ Китъ-рыба всѣмъ рыбамъ мать: на трехъ на китахъ земля стоитъ; Естрафиль-птица всѣмъ птицамъ мати; что живетъ та птица на синемъ морѣ; когда птица вострепенется, все сине море всколебается, потопляетъ корабли гостиные, побиваетъ суда поморскія; а когда Естрафиль вострепенется, во второмъ часу послѣ полунощи, запоютъ иѣтухи по всей земли, освѣтится въ тѣ поры вся земля...»

Перстень покосился на Іоанна. Царь лежалъ съ сомкнутыми глазами; ротъ его былъ раскрытъ, какъ у спящаго. Въ то же время, какъ будто въ ладъ словамъ своимъ, Перстень увидѣлъ въ окно, что дворцовая церковъ и крыши ближнихъ строеній освѣтились дальнимъ заревомъ.

Онъ тихонько толкнулъ Коршуна, который подался еще однимъ шагомъ ближе къ Ивану Васильевичу.

«У насъ Индра-звѣрь,—продолжалъ Перстень:—надъ звѣрями звѣрь, и онъ ходитъ, звѣрь, по подзѣмелью, яко солнышко по поднебесью; онъ копаеть рогомъ сыру мать-землю, выкопаеть ключи все глубокіе; онъ пуцаеть рѣки, ручьявиночки, прочищаеть ручьи и проточины, даетъ людемъ питанійца, питанійца обмыванійца. Алатырь-камень всѣмъ камнямъ отецъ; на бѣломъ Алатырѣ на камени самъ Исусъ Христосъ оючивъ держалъ, Царь небесный бесѣдовалъ со двунадести со апостоламъ, утверждалъ вѣру христіанскую; утвердилъ онъ вѣру на камени, распущалъ онъ книги по всей землѣ. Кипарисъ-древо всѣмъ древамъ мати; изъ того ли изъ древа кипариснаго былъ вырѣзанъ чуденъ-поклоненъ крестъ; на тѣмъ на крестѣ на животворящимъ на распятъи былъ самъ Исусъ Хри-

стось, самъ Исусъ Христось, самъ небесный Царь, промежду двухъ воровъ, двухъ разбойниковъ. Плакунъ-трава всѣмъ травамъ мати. Когда Христось Богъ на распяты былъ, тогда шла Мати Божія, Богородица, ко своему сыну, ко распятому; отъ очей ея слезы на земь капали, и отъ тѣхъ отъ слезъ, отъ пречистыхъ, зародилася, выростала мати плакунъ-трава; изъ того плакуна, изъ корени, у насъ рѣжутъ на Руси чудны кресты, а ихъ носятъ старцы-иноки, мужіе ихъ носятъ благовѣрные».

Здѣсь Иванъ Васильевичъ глубоко вздохнулъ, но не открылъ очей. Зарево пожара дѣлалось ярче. Перстень сталъ опасаться, что тревога поднимется прежде, чѣмъ они успѣютъ достать ключи. Не рѣшаясь самъ тронуться съ мѣста, чтобы царь не замѣтилъ его движенія по голосу, онъ указалъ Коршуну на пожаръ, потомъ на спящаго Іоанна, и продолжалъ:

«Ему всѣ цари поклонилися:—Спасибо, свѣтъ-сударь, премудрый царь Давидъ Евсіевичъ! Ты гораздъ сказать по памяти, говоришь будто по грамотѣ!—Тутъ возговоритъ Володимерь царь:—Ты еси, премудрый царь, Давидъ Евсіевичъ! Ты скажи еще, ты повѣдай мнѣ: ночесе мнѣ мало спалося, мало спалося, много видѣлось: кабы два звѣрья сходилися, одинъ бѣлый звѣрь, другой сѣрый звѣрь, промежду собой подиралися; кабы бѣлый звѣрь одолѣть хочеть?—Что отвѣтъ держалъ премудрый царь, премудрый царь Давидъ Евсіевичъ:—Ахъ ты гой еси, Володимерь царь, Володимерь Володимерычъ! То не два звѣрья сходилися, промежду собой подиралися; и то было у насъ на сырой земли, на сырой земли, на святой Руси: сходилися правда со кривдою; это бѣлая звѣрь—то-то правда есть, а сѣрая звѣрь—то-то кривда есть; правда кривду передѣлила, правда пошла къ Богу на небо, а кривда осталась на сырой землѣ; а кто станетъ жить у насъ правдою, тотъ наслѣдуетъ царство небесное; а кто станетъ жить у насъ кривдою, отрѣшенъ на мѣки на вѣчныя...»

Здѣсь послышалось легкое храпѣніе Іоанна. Коршунъ протянулъ руку къ царскому изголовью; Перстень же придвинулся ближе къ окну, но, чтобы внезапнымъ молчаніемъ не прервать сна Іоаннова, онъ продолжалъ разсказъ свой тѣмъ же однообразнымъ голосомъ:

«Ему всѣ цари поклонилися:—Спасибо, свѣтъ-сударь, премудрый царь, премудрый царь, Давидъ Евсіевичъ! Ты

еще, сударь, намъ про то скажи: какимъ грѣхамъ прощенье есть, а какимъ грѣхамъ нѣтъ прощенья? Имъ отвѣтъ держалъ премудрый царь, премудрый царь, Давидъ Евсеевичъ:—Кабы всѣмъ грѣхамъ прощенье есть, тремъ грѣхамъ тяжкое покаяніе: кто спознался съ кумой крестовыя, кто бранить отца со матерью, кто...»

Въ это мгновеніе царь внезапно открылъ глаза. Коршунъ отдернулъ руку, но уже было поздно: взоръ его встрѣтился со взоромъ Іоанна. Нѣсколько времени оба неподвижно глядѣли другъ на друга, какъ бы взаимно скованные обаятельною силой.

— Слѣпые!—сказалъ вдругъ царь, быстро вскакивая:—третій грѣхъ—когда кто нарядится нищимъ и къ царю въ опочивальню войдетъ!

И онъ ударилъ острымъ посохомъ Коршуна въ грудь. Разбойникъ схватился за посохъ, закачался и упалъ.

— Гей!—закричалъ царь, выдергивая остріе изъ груди Коршуна.

Опричники вбѣжали, гремя оружіемъ.

— Хватайте ихъ обоихъ!—сказалъ Іоаннъ.

Какъ ярый пестъ, Малюта бросился на Перстня, но съ необычайною ловкостью атаманъ ударилъ его кулакомъ подъ ложку, вышибъ ногою оконницу и выскочилъ въ садъ.

— Оцѣпите садъ! Ловите разбойника!—заревѣлъ Малюта, согнувшись отъ боли и держась обѣими руками за животь.

Между тѣмъ опричники подняли Коршуна.

Іоаннъ въ черномъ стихарѣ, изъ-подъ котораго сверкала кольчуга, стоялъ съ дрожащимъ посохомъ въ рукѣ, вперивъ грозныя очи въ раненаго разбойника. Испуганные слуги держали зажженные свѣчи. Сквозь разбитое окно виденъ былъ пожаръ. Слобода приходила въ движеніе; вдали гудѣлъ набатный колоколъ.

Коршунъ стоялъ, насупивъ брови, опустивъ глаза, подерживаемый опричниками; кровь широкими пятнами пестрила его рубаху.

— Слѣпой!—сказалъ царь:—говори, кто ты и что умы шлялъ надо мною?

— Нечего мнѣ таить!—отвѣчалъ Коршунъ.—Я хотѣлъ добыть ключи отъ твоей казны, а надъ тобой ничего не умышлялъ.

— Кто подослалъ тебя? Кто твои товарищи?

Коршунъ безстрашно взглянулъ на Іоанна.

— Надѣжа, православный царь! Былъ я молодецъ, пѣвалъ я пѣсню: «Не шуми, мати сыра дуброва». Въ той ли пѣснѣ царь спрашиваетъ у добра молодца, съ кѣмъ разбой держалъ? А молодецъ говоритъ:—Товарищей у меня было четверо: ужъ какъ первый мой товарищъ черная ночь, а второй мой товарищъ...

— Будеть!—прервалъ его Малюта:—посмотримъ, что ты запоешь, какъ стануть тебя съ дыбовъ рвать, на козелъ подымать! Да кой прахъ!—продолжалъ онъ, вглядываясь въ Коршуна:—я гдѣ-то уже видалъ эту кудластую голову!

Коршунъ усмѣхнулся и отвѣсилъ поклонъ Малютѣ.

— Видѣлись мы, батюшка, Малюта Скурлатычъ, видѣлись, коли припомнишь, на Погапой-Лужѣ...

— Хомякъ!—перебилъ его Малюта, обернувшись къ своему стремянному:—возьми этого старика, потолкуй съ нимъ, попроси его рассказать, зачѣмъ приходилъ къ его царской милости. Я сейчасъ самъ въ застѣнокъ приду!

— Пойдемъ, старина!—сказалъ Хомякъ, ухватя Коршуна за воротъ:—пойдемъ-ка вдвоемъ, потолкуемъ ладкомъ!

— Постой!—сказалъ Иоаннъ.—Ты, Малюта, побереги этого старика; онъ не долженъ на пыткѣ кончиться. Я придумую ему казнь примѣрную, еще небывалую, неслыханную,—такую казнь, что самого тебя удивлю, отецъ параклисиархъ!

— Благодари же царя, пѣсь!—сказалъ Малюта Коршуну, толкая его:—доведется тебѣ, должно-быть, пожить еще. Мы сею ночью тебѣ только суставы повывернемъ!

И вмѣстѣ съ Хомякомъ онъ вывелъ разбойника изъ опочивальни.

Между тѣмъ Перстень, пользуясь общимъ смятеніемъ, перелѣзъ черезъ садовый частоколъ и прибѣжалъ на площадь, гдѣ находилась тюрьма. Площадь была пуста; весь народъ повалилъ на пожаръ.

Пробираясь осторожно вдоль тюремной стѣны, Перстень споткнулся на что-то мягкое и, нагнувшись, оцупалъ убитого челоуѣка.

— Атаманъ!—шепнулъ, подходя къ нему, тотъ самый рыжій пѣсенникъ, который остановилъ его утромъ:—часового-то я зарѣзалъ! Давай проворнѣе ключи, отопремъ тюрьму, да и прощай; пойду на пожаръ грабить съ ребятами! А гдѣ Коршунъ?

— Въ рукахъ царя!—отвѣчалъ отрывисто Перстень.—
Все пропало! Сбирай ребятъ да и тягу! Тише; это кто?

— Я!—отвѣчалъ Митька, отдѣляясь отъ стѣны.

— Убирайся, дурень! Уноси ноги! Всѣ выбирайтесь изъ
слободы! Сборъ у кривого дуба!

— А князь-то?—спросилъ Митька протяжно.

— Дурень! Слышишь: все пропало! Дѣдушку схватили,
ключей не добыли!

— А нешто тюрьма нѣ запорѣ?

— Какъ не на запорѣ? Кто отперъ?

— А я!

— Чтò ты, болванъ! Говори толкомъ!

— Чтò-жъ говорить? Прихожу—никого нѣтъ; часовой
лежитъ, раскидавши ноги. Я говорю: дай, молъ, испробую,
крѣпка-ль дверь? Понаперъ на нее плечикомъ, а она,
какъ была, такъ съ заклепами и соскочи съ петель!

— Ай да дурень!—воскликнулъ радостно Перстень.—
Вотъ вправду говорятъ: дураками свѣтъ стоитъ! Ахъ,
дуракъ, дуракъ! Ахъ, губошлепъ, губошлепъ ты этакой!

И Перстень, схвативъ Митьку за виски, поцѣловалъ
его въ обѣ щеки, при чемъ Митька протянулъ, чмокая,
и свои толстыя губы, а потомъ хладнокровно утерся ру-
кавомъ.

— Иди же за мной, такой-сякой сынъ, право! А ты,
балалайка, здѣсь погоди. Коли чтò будетъ, свистни!

Перстень вошелъ въ тюрьму. За нимъ ввалился и
Митька.

За первую дверью были еще двѣ другія двери, но тѣ,
какъ менѣе крѣпкія, еще легче подались отъ богатыр-
скаго натиска Митьки.

— Князь!—сказалъ Перстень, входя въ подземелье:—
вставай!

Серебряный подумалъ, что пришли вести его на казнь.

— Ужели теперь утро?—спросилъ онъ:—или тебѣ, Ма-
люта, до разсвѣта не терпится?

— Я не Малюта!—отвѣчалъ Перстень.—Я тотъ, кого
ты отъ смерти спасъ. Вставай, князь! Время дорого. Вста-
вай, я выведу тебя!

— Кто ты?—сказалъ Серебряный:—я не знаю твоего
голоса!

— И немудрено, бояринъ; гдѣ тебѣ помнить меня!
Только вставай! Намъ некогда мѣшкать!

Серебряный не отвѣчалъ. Онъ подумалъ, что Пер-

стенъ—одинъ изъ Малютиныхъ палачей, и принялъ слова его за насмѣшку.

— Аль ты не вѣришь мнѣ, князь?—продолжалъ атаманъ съ досадою.—Вспомни Медвѣдку, вспомни Поганую-Лужу: я—Ванюха Перстенъ!

Запылала радость въ груди Серебрянаго. Взыграло его сердце и забилось любовью къ свободѣ и къ жизни. Запестрѣли въ его мысляхъ и лѣса, и поля, и повья славныя битвы, и явился ему, какъ солнце, свѣтлый образъ Елены.

Уже онъ вспрянулъ съ земли, уже готовъ былъ слѣдовать за Перстнемъ, какъ вдругъ вспомнилъ данную царю клятву, и кровь его отхлынула къ сердцу.

— Не могу!—сказалъ онъ:—не могу идти за тобою. Я общалъ царю не выходить изъ его воли и ожидать, гдѣ бы я ни былъ, суда его!

— Князь!—отвѣчалъ удивленный Перстенъ:—мнѣ некогда толковать съ тобою. Люди мои ждутъ; каждый мигъ можетъ намъ головы стоять! Завтра тебѣ казнь, теперь еще время, вставай, ступай съ нами!

— Не могу!—повторилъ мрачно Серебряный:—я цѣловалъ ему крестъ на моемъ словѣ!

— Бояринъ!—вскричалъ Перстенъ, и голосъ его измѣнился отъ гнѣва:—издѣваешься ты, что ли, надо мною? Для тебя я зажегъ слободу, для тебя погубилъ своего лучшаго человѣка, для тебя, можетъ-быть, мы всѣ наши головы положимъ, а ты хочешь остаться! Даромъ мы сюда, что ли, пришли? Скоморохи мы тебѣ, что ли, дались? Да я бы посмотрѣлъ, кто бы сталъ глумиться надо мной! Говори въ послѣдній разъ, идешь али нѣтъ?

— Нѣтъ!—отвѣчалъ рѣшительно Пикита Романовичъ и легъ на сырую землю.

— Нѣтъ?—повторилъ, стиснувъ зубы, Перстенъ:—нѣтъ? Такъ не бывать же по-твоему! Митька, хватай его насильно!—И въ тотъ же мигъ атаманъ бросился на князя и заматалъ ему ротъ кушакомъ.

— Теперь не заспоришь!—сказалъ онъ злобно.

Митька загребъ Никиту Романовича въ охапку и, какъ малаго ребенка, вынесъ изъ тюрьмы.

— Живо! Идемъ!—сказалъ Перстенъ.

Въ одной улицѣ попались имъ опричники.

— Кого несете?—спросили они.

— Слободского на пожарѣ бревномъ пришибло!—отвѣчалъ Перстенъ.—Несемъ въ скудельницу!

При выходѣ изъ слободы ихъ остановилъ часовой. Они хотѣли пройти мимо; часовой разинулъ ротъ крикнуть; Перстень хватилъ его кистенемъ, и онъ свалился, не пикнувъ.

Разбойники вынесли князя изъ слободы безъ дальнѣйшаго препятствія.

ГЛАВА XXII.

М о н а с т ы р ь .

Мы оставили Максима ненастною ночью, на выѣздѣ изъ Александровой слободы. Косматый Буянъ лаялъ и прыгалъ вкругъ него и радовался, что удалось ему сорваться съ цѣпи.

Максимъ, покидая родительскій домъ, не успѣлъ опредѣлить себѣ никакой цѣли. Онъ хотѣлъ только оторваться отъ ненавистой жизни царскихъ любимцевъ, отъ ихъ нечестиваго веселья и ежедневныхъ казней. Оставляя за собою страшную слободу, Максимъ вѣбрился своей судьбѣ. Сначала онъ торопилъ коня, чтобы не догнали его отцовскіе холопы, если бы вздумалось Малютѣ послать за нимъ погоню. Но вскорѣ онъ повернулъ на проселочную дорогу и поѣхалъ шагомъ.

Къ утру гроза утихла. На востокъ заалѣло; и Максимъ яснѣе сталъ различать предметы. По сторонамъ дороги росли кудрявые дубы; промежъ нихъ виднѣлись кусты орѣшника. Было свѣжо; дождевыя капли бѣжали съ деревьевъ и лѣниво хлопали по широкимъ листьямъ. Вскорѣ мелкія птички запорхали и защебетали въ зелени; дятель застучалъ въ сухое дерево, и вершины дубовъ озолотились восходящимъ солнцемъ. Природа оживлялась все болѣе; конь ступалъ бодрѣе. Раскинулась передъ Максимомъ родная Русь; весело могъ бы онъ дышать въ ея вольномъ пространствѣ, но грусть легла ему на сердце,—широкая русская грусть. Задумался онъ о покинутой матери, о своемъ одиночествѣ, о многомъ, въ чемъ и самъ не отдавалъ себѣ отчета; задумался и затянулъ, въ раздумѣ, протяжную пѣсню...

Чудны задушевныя русскія пѣсни! Слова бываютъ ничтожны; они лишь предлогъ; не словами, а только звуками выражаются глубокія, необъятныя чувства.

Такъ, глядя на зелень, на небо, на весь Божій міръ, Максимъ пѣлъ о горемычной своей долѣ, о золотой волюшкѣ, о мати сырой дубравѣ. Онъ приказывалъ коню

нести себя въ чужедальнюю сторону, что безъ вѣтру сушить, безъ морозу знобитъ. Онъ поручалъ вѣтру отдать поклонъ матери. Онъ начиналъ съ перваго предмета, попадавагося на глаза, и высказывалъ все, что приходило ему на умъ; но голосъ говорилъ болѣе словъ, а если бы кто услышалъ эту пѣсню, запала-бъ она тому въ душу и часто въ минуту грусти приходила бы на память...

Наконецъ, когда тоска стала глубже забирать Максима, онъ подобралъ поводья, поправилъ шапку, свистнулъ, крикнулъ и полетѣлъ во всю конскую прыть.

Вскорѣ забѣлѣли передъ нимъ стѣны монастыря.

Обитель была расположена по скату горы, поросшей дубами. Золотыя главы и узорные кресты вырѣзывались на зелени дубовъ и на синевѣ неба.

Навстрѣчу Максиму попался отрядъ монастырскихъ служекъ въ шишакахъ и кольчугахъ. Они ѣхали шагомъ и пѣли псаломъ: «Возлюблю тя, Господи, крѣпосте моя». Услыша священныя слова, Максимъ остановилъ коня, снялъ шапку и перекрестился.

Небольшая рѣчка протекала подъ горою. Нѣсколько мельницъ вертѣли на ней свои колеса. На берегу паслись коровы пестрыми кучами.

Все вокругъ монастыря дышало такою тишиною, что вооруженный объѣздъ казался излишнимъ. Даже птицы на дубахъ щебетали какъ будто вполголоса; вѣтеръ не шелестилъ въ листьяхъ, и только кузнечики, притаивъ въ травѣ, трещали безъ умолку. Трудно было подумать, чтобы недобрые люди могли возмутить это спокойствіе.

«Вотъ гдѣ отдохну я!—подумалъ Максимъ.—За этими стѣнами проведу нѣсколько дней, пока отецъ перестанетъ искать меня. Я на исповѣди открою настоятелю свою душу, авось онъ дастъ мнѣ на время убѣжище».

Максимъ не ошибся. Престарѣлый игумень, съ длинною сѣдою бородой, съ кроткимъ взглядомъ, въ которомъ было совершенное невѣдѣніе дѣлъ мірскихъ, принявъ его ласково. Двое служекъ взяли подъ уздцы усталого коня. Третій вынесъ хлѣба и молока для Буяна; всѣ радушно хлопотали около Максима. Игумень предложилъ ему отобѣдать, но Максимъ захотѣлъ прежде всего исповѣдаться.

Старикъ взглянулъ на него испытующимъ взоромъ, насколько позволяли его добродушные глаза, и, не говоря ни слова, повелъ его черезъ обширный дворъ къ низкой, одноглавой церкви. Они шли мимо могильныхъ крестовъ

и длиннаго ряда келій, обсаженныхъ цвѣтами. Попадавшая имъ навстрѣчу братія кланялась молча. Надгробныя плиты звенѣли отъ шаговъ Максима; высокая трава пробивалась между плитами и закрывала вполонину надписи, полныя смиренія; все напоминало о бренности жизни, все вызывало на молитву и созерцаніе. Церковь, къ которой игуменъ вель Максимъ, стояла среди древнихъ дубовъ, и столѣтнія вѣтви ихъ почти совсѣмъ закрывали узкія, продольныя окна, пропускавшія свѣтъ сквозь пыльную слюду, вставленную въ мелкія свинцовыя оконницы. Когда они вошли, ихъ обдало прохладой и темнотою. Лишь сквозь одно окно, менѣе другихъ заслоненное, косые столбы свѣта падали на стѣнное изображеніе Страшнаго Суда. Остальныя части церкви казались отъ этого еще мрачнѣе; но кое-гдѣ отвѣчивали яркимъ блескомъ серебряныя яблоки паникадилъ, вѣнцы на образахъ да шитые серебромъ кресты, тропари и кондаки на черномъ бархатѣ, покрывающемъ гробницы князей Воротынскихъ, основателей монастыря. Позолота на прорѣзныхъ травахъ иконостаса походила мѣстами на уголья, тлѣющіе подъ золою и готовые вспыхнуть. Пахло сыростью и ладаномъ. Мало-помалу глазъ Максима сталъ привыкать къ полумраку и различать другія подробности храма: надъ царскими дверьми виденъ былъ Спаситель въ силахъ, съ херувимами и серафимами, а надъ нимъ шестнадцать владычныхъ праздниковъ. Большой мѣстный образъ Іоанна Предтечи представлялъ его крылатымъ и держащимъ на блюдѣ отсѣченную главу свою. На боковыхъ дверяхъ были написаны грубо и неискусно притча о блудномъ сынѣ, преніе смерти и живота, да исходъ души праведнаго и грѣшнаго. Мрачныя эти картины глубоко подѣйствовали на Максима; всѣ понятія о смиреніи духа, о безусловной покорности родительской власти, всѣ мысли, въ которыхъ онъ былъ воспитанъ, оживились въ немъ снова. Онъ усомнился: правъ ли былъ, что уѣхалъ отъ отца, противъ его воли? Но совѣсть отвѣчала ему, что онъ правъ; а между тѣмъ она не была спокойна. Картина Страшнаго Суда потрясала его воображеніе. Когда тѣнь дубовыхъ листьевъ, колеблемыхъ вѣтромъ снаружи окна, трепетала на стѣнѣ подвижною сѣткой, ему казалось, что грѣшники и дьяволы, писанные въ человѣческой ростъ, дышатъ и движутся.

Благоговѣйный ужасъ проникъ его сердце. Онъ пальницъ передъ игуменомъ.

— Отецъ мой!—сказалъ онъ:—должно-быть, я великій грѣшникъ!

— Молись,—отвѣчалъ кротко старикъ:—велико милосердіе Божіе; много поможетъ тебѣ раскаяніе, сынъ мой! Максимъ собрался съ силами.

— Тяжело мое преступленіе,—началъ онъ дрожащимъ голосомъ.—Отецъ мой, слушай! Страшно мнѣ вымолвить: оскудѣла моя любовь къ царю, сердце мое отъ него отвратилось!

Игуменъ съ удивленіемъ взглянулъ на Максима.

— Не отвергай меня, отецъ мой!—продолжалъ Максимъ:—выслушай меня! Долго боролся я самъ съ собою, долго молился предъ святыми иконами. Искалъ я въ своемъ сердцѣ любви къ царю, и не обрѣлъ ея!

— Сынъ мой,—сказалъ игуменъ, глядя съ участіемъ на Максима:—должно-быть, сатанинское навожденіе помрачило твой разумъ; ты клеветашь на себя. Того быть не можетъ, чтобы ты возненавидѣлъ царя. Много тяжкихъ преступниковъ исповѣдывалъ я въ этомъ храмѣ: были и церковные тати, и смертные убойцы, а не бывало такого, кто повинился бы въ нелюбви къ государю!

Максимъ поблѣднѣлъ.

— Стало, я преступнѣе церковнаго татя и смертнаго убойцы!—воскликнулъ онъ.—Отецъ мой, что мнѣ дѣлать? Научи, вразуми меня, душа моя дѣлится на-двое.

Старикъ смотрѣлъ на исповѣдника и все болѣе дивился.

Правильное лицо Максима не являло ни одной порочной или преступной черты. То было скромное лицо, полное добродушія и отваги, одно изъ тѣхъ русскихъ лицъ, которыя еще нынѣ встрѣчаются между Москвою и Волгой, въ странахъ, отдаленныхъ отъ большихъ дорогъ, куда не проникло городское вліяніе.

— Сынъ мой,—продолжалъ игуменъ:—я тебѣ не вѣрю; ты клеветашь на себя. Не вѣрю, чтобы сердце твое отвратилось отъ царя. Этого быть не можетъ. Подумай самъ: царь намъ болѣе, чѣмъ отецъ, а пятая заповѣдь велитъ чтить отца. Скажи мнѣ, сынъ мой, вѣдь ты слѣдуешь заповѣди?

Максимъ молчалъ.

— Сынъ мой, ты чтить отца своего?

— Нѣтъ!—произнесъ Максимъ едва внятно.

— Нѣтъ?—повторилъ игуменъ и, отступивъ назадъ, осѣнилъ крестнымъ знаменіемъ.

— Ты не любишь царя? Ты не чтишь отца? Кто же ты таковъ?

— Я...—сказалъ молодой опричникъ:—я Максимъ Скуратовъ, сынъ Скуратова-Бѣльскаго!

— Сынъ Малюты?

— Да!—сказалъ Максимъ и зарыдалъ.

Игуменъ не отвѣчалъ. Онъ горестно стоялъ передъ Максимомъ. Неподвижно смотрѣли на нихъ мрачные лики угодниковъ. Грѣшники на картинѣ Страшнаго Суда жалобно поднимали руки къ небу, но все молчало. Спокойствіе церкви прерывали одни рыданія Максима, щебетанье ласточекъ подъ сводами, да изрѣдка полугромкое слово среди тихой молитвы, которую читалъ про себя игуменъ.

— Сынъ мой,—сказалъ наконецъ старикъ:—повѣдай мнѣ все по-ряду, ничего не утай отъ меня: какъ вошла въ тебя нелюбовь къ государю?

Максимъ рассказалъ о жизни своей въ слободѣ, о послѣднемъ разговорѣ съ отцомъ и ночномъ своемъ отъѣздѣ.

Онъ говорилъ медленно, съ разстановкой, и часто собирался съ мыслями, дабы ничего не забыть и ничего не утаить отъ духовнаго отца своего.

Окончивъ рассказъ, онъ опустилъ глаза и долго не смѣлъ взглянуть на игумена, ожидая своего приговора.

— Все ли ты повѣдалъ мнѣ?—сказалъ игуменъ:—не тяготитъ ли еще что-нибудь душу твою? Не помыслилъ ли ты чего на царя? Не задумалъ ли ты чего надъ святою Русью?

Глаза Максима заблестали.

— Отецъ мой, скорѣе дамъ отсѣчь себѣ голову, чѣмъ допущу ее замыслить что-нибудь противъ родины! Грѣшнень въ нелюбви къ государю, но не грѣшнень въ измѣнѣ!

Игуменъ накрылъ его эпитрахилью.

— Очищается рабъ Божій Максимъ!—сказалъ онъ:—отпускаются ему грѣхи его вольные и невольные!

Тихая радость проникла въ душу Максима.

— Сынъ мой,—сказалъ игуменъ:—твоя исповѣдь тебя очистила. Святая церковь не поставляетъ тебѣ въ вину, что ты бросилъ слободу. Бѣжать отъ соблазна воленъ и долженъ всякій. Но бойся прельститься на лесть врага рода человѣческаго. Бойся примѣра Курбскаго, который изъ высокаго русскаго боярина учинился нынѣ сосудъ дьяволу!

— Премилостивый Богъ,—продолжалъ со вздохомъ старикъ:—за великіе грѣхи наши попустилъ нынѣ быть времени трудному. Не намъ суемудріемъ человѣческимъ судить о Его неисповѣдимомъ промыслѣ. Когда Господь наводитъ на насъ глады и тѣлесныя скорби, что намъ остается, какъ не молиться и покоряться Его святой волѣ? Такъ и теперь, насталь надъ нами царь немилостивый, грозный. Не вѣдаемъ, за что онъ насъ казнить и губить; вѣдаемъ только, что онъ посланъ отъ Бога, и держимъ поклонную голову не передъ Иваномъ Васильевичемъ, а предъ волей Пославшаго его. Вспомнимъ пророческое слово: «Аще кая земля оправдится передъ Богомъ, поставляетъ имъ царя и судью праведна и всякое подаетъ благодѣяніе; аще же котора земля прегрѣшитъ предъ Богомъ, и поставляетъ царя и судей неправедна и наводитъ на тое землю вся злая!»

— Останься у насъ, сынъ мой; поживи съ нами. Когда придетъ тебѣ пора ѣхать, я вмѣстѣ съ братіей буду молиться, дабы, гдѣ ты ни пойдешь, Богъ вездѣ исправилъ путь твой! А теперь,—продолжалъ добродушно игумень, снимая съ себя эпитрахиль:—теперь пойдѣмъ къ трапезѣ. Послѣ духовной пищи, не отвергнемъ тѣлесной. Есть у насъ изрядныя щуки, есть и караси; отвѣдай нашего троюгу, выпей съ нами меду черемхового во здравіе государя и высокопреосвященнаго владыки!

И въ дружескомъ разговорѣ старикъ повелѣ Максима къ трапезѣ.

ГЛАВА XXIII.

Д о р о г а.

Тихо и однообразно протекала монастырская жизнь.

Въ свободное время монахи собирали травы и составляли цѣлебныя зелья. Другіе занимались живописью, вырѣзывали изъ кипариса кресты или иконы, красили и золотили деревянные чаши.

Максимъ полюбилъ добрыхъ иноковъ. Онъ не замѣчалъ, какъ текло время. Но прошла недѣля, и онъ рѣшился ѣхать. Еще въ слободѣ слышалъ Максимъ о новыхъ набѣгахъ татаръ на рязанскія земли и давно уже хотѣлъ, вмѣстѣ съ рязанцами, испытать надъ врагами ратной удачи. Когда онъ повѣдалъ о томъ игумену, старикъ опечалился.

— Куда тебѣ ѣхать, сынъ мой?—сказалъ онъ.—Мы

всѣ тебя любимъ, всѣ къ тебѣ привыкли. Кто знаетъ, можетъ, и тебя посѣтитъ благодать Божія, и ты навсегда останешься съ нами! Послушай, Максимъ, не увъзжай отъ насъ!

— Не могу, отецъ мой! Давно уже судьба зоветъ меня въ дальнюю сторону. Давно слышу звонъ татарскаго лука; а иной разъ, какъ задумаюсь, то будто стрѣла просвиститъ надъ ушами. На этотъ звонъ, на этотъ свистъ меня тянетъ и манитъ!

И не сталъ игумень долѣе удерживать Максима, отслужилъ ему напутный молебенъ, благословилъ его, и грустно простился съ нимъ братія.

И снова очутился Максимъ на конѣ, среди зеленого лѣса. Какъ прежде, Буянъ прыгалъ вокругъ коня и весело смотрѣлъ на Максима. Вдругъ онъ залаялъ и побѣжалъ впередъ. Максимъ уже схватился за саблю, въ ожиданіи недоброй встрѣчи, какъ изъ-за поворота показался всадникъ въ желтомъ кафтанѣ съ чернымъ двоеглавымъ орломъ на груди.

Всадникъ ѣхалъ рысью, весело посвистывалъ и держалъ на пестрой рукавицѣ бѣлаго кречета въ клубочкѣ и колокольцахъ.

Максимъ узналъ одного изъ царскихъ сокольниковъ.

— Трифонъ!—вскричалъ онъ.

— Максимъ Григорьичъ!—отвѣчалъ весело сокольникъ:— добраго здоровья! Какъ твоя милость здравствуетъ? Такъ вотъ гдѣ ты, Максимъ Григорьичъ! А мы въ слободѣ думали, что ты и невѣсть куда пропалъ! Ну, ужъ какъ батюшка-то твой осерчалъ! Упаси Господи! Смотрѣть было страшно! Да еще многое рассказываютъ про твоего батюшку, про царевича да про князя Серебрянаго. Не знаешь, чему и вѣрить. Ну, слава Богу, добро, что ты сыскался, Максимъ Григорьевичъ! Обрадуется же твоя матушка!

Максимъ досадовалъ на встрѣчу съ сокольниковъ. Но Трифонъ былъ добрый малый и при случаѣ умѣлъ молчать. Максимъ спросилъ его, давно ли онъ изъ слободы.

— Да ужъ будетъ съ недѣлю, какъ Адраганъ съ поля улетѣлъ!—отвѣчалъ сокольникъ, показывая своего кречета.—Да вѣдь ты, пожалуй, и не знаешь, Максимъ Григорьичъ! Ну, ужъ набрался я было-страху, какъ царь на меня раскручинился! Да сжалился надо мной милосер-

дый Богъ, и святой мученикъ Трифонъ проявилъ надомной свое чудо!

Сокольникъ снялъ шапку и перекрестился.

— Вишь, Максимъ Григорьичъ: выѣхалъ государь, будетъ тому съ недѣлю, на птичью потѣху. Напускалъ Адрагана раза два; какъ на бѣду, третій-то разъ дурь нашла на Адрагана: сталъ онъ бить соколовъ, сбиль Смышляя и Кружка, да и давай тягу! Не успѣлъ бы ты десяти просчитать, какъ онъ у тебя и съ глазъ долой. Я было скакать за нимъ, да куды! Пропалъ, будто и не бывало. Вотъ доложилъ сокольничій царю, что пропалъ Адраганъ. Царь велѣлъ меня позвать, да и говорить, что ты-де, Тришка, мнѣ головой за него отвѣчаешь: достанешь—пожалую тебя, не достанешь—голову долой! Какъ быть? Батюшка-царь вѣдь не шутить! Поѣхалъ я искать Адрагана; шесть дѣнь промучился, стало мнѣ ужъ вокругъ шеи неловко; думаю, придется проститься съ головой. Сталъ я плакать: плакалъ-плакалъ, да съ горя и заснулъ въ лѣсу. Лишь только заснулъ, явилось мнѣ, сонному, видѣніе: сіяніе разлилось межъ деревьевъ и звонъ пошелъ по лѣсу. И, слыша тотъ звонъ, я, сонный, самъ себѣ говорю: то звонятъ Адраганы колокольцы. Гляжу: передо мной сидитъ на бѣломъ конѣ, весь облитый свѣтомъ, молодой ратникъ и держитъ на рукѣ Адрагана.—«Трифоне!—сказалъ ратникъ:—не здѣсь ищи Адрагана. Встань, ступай къ Москвѣ, къ Лазареву урочищу. Тамъ стоитъ сосна, на той соснѣ сидитъ Адраганъ». Проснулся я, и—самъ не знаю съ чего—стало мнѣ понятно, что ратникъ былъ святой мученикъ Трифонъ. Вскочилъ я на коня и поскакалъ къ Москвѣ. Что-жъ, Максимъ Григорьичъ, повѣришь ли? какъ пріѣхалъ на то урочище—вижу: въ самомъ дѣлѣ сосна, а на ней сидитъ мой Адраганъ, точь-въ-точь какъ говорилъ святой.

Голосъ сокольника дрожалъ, и крупныя слезы катились изъ глазъ его.

— Максимъ Григорьичъ, — прибавилъ онъ, утирая слезы:—теперь хоть всѣ животы продамъ безъ остатку, хоть самъ въ вѣковѣчную кабалу пойду, а построю часовню святому угоднику! На томъ самомъ мѣстѣ построю, гдѣ нашелъ Адрагана. И образъ велю на стѣнѣ написать, точь-въ-точь какъ явился мнѣ святой: на бѣломъ конѣ, высоко поднявъ руку, а на ней бѣлый кречеть. Заповѣдаю и дѣтямъ и внукамъ славить его, служить ему

молебны и ставить писанья свѣчи, что не захотѣлъ онъ моей погибели, спасъ отъ плахи раба своего! Вишь,—продолжалъ сокольникъ, глядя на кречета:—вотъ онъ, Адраганъ; цѣль-цѣлѣхонекъ! Дай-ка я сниму съ тебя клобочокъ! Чего кричишь? Небось, полетать хочется? Нѣтъ, братъ, погоди! Довольно налетался, не пуцу!

И Трифонъ дразнилъ кречета пальцемъ.

— Вишь, злобный какой! Такъ и хватаетъ! А кричить-то какъ! Я чай, за версту слышно!

Разсказъ сокольника запалъ въ душу Максима.

— Возьми-жъ и мое приношеніе,—сказалъ онъ, бросая горсть золотыхъ въ шапку Трифона.—Вотъ всѣ мои деньги; онѣ мнѣ не нужны, а тебѣ еще много придется собирать на часовню.

— Да наградить тебя Богъ, Максимъ Григорьичъ! Съ твоими деньгами ужъ не часовню, а цѣлую церковь выстрою! Какъ приду домой, въ слободу, отслужу молебенъ и выну просвиру во здравіе твое! Вѣчно буду твоимъ холопомъ, Максимъ Григорьичъ! Чтѣ хочешь, приказывай!

— Слушай, Трифонъ. Сослужи мнѣ службу не трудную: какъ прѣдешь въ слободу, никому не заикнись, что меня встрѣтилъ; а дня черезъ три ступай къ матушкѣ, скажи ей,—да только ей одной, чтобы никто не слыхалъ:—скажи, что сынъ-де твой, далъ Богъ, здоровъ, бьетъ тебѣ челомъ.

— Только-то, Максимъ Григорьичъ?

— Еще слушай, Трифонъ: я ѣду въ далекій путь. Можеть, не скоро вернусь. Такъ, коли тебѣ не въ трудъ, навѣдывайся отъ поры до поры къ матери, да говори ей каждый разъ: я-де, говори, слышалъ отъ людей, что сынъ твой, помощію Божіей, здоровъ, а ты-де о немъ не кручинься! А буде матушка спросить: отъ какихъ людей слышалъ?—и ты ей говори: слышалъ-де отъ московскихъ людей, а имъ-де другіе люди сказывали, а какіе люди, того не говори, чтобъ концовъ не нашли; а только бы вѣдала матушка, что я здравствую.

— Такъ ты, Максимъ Григорьичъ, и вправду не вернешься въ слободу?

— Вернусь ли, нѣтъ ли, про то Богъ знаетъ; ты же никому не сказывай, что меня встрѣтилъ.

— Ужъ положишься на меня, Максимъ Григорьичъ, не скажу никому. Только коли ты ѣдешь въ дальній путь, такъ я не возьму твоихъ денегъ. Меня Богъ накажетъ.

— Да на что мнѣ деньги? Мы не въ басурманской землѣ!

— Воля твоя, Максимъ Григорьичъ, а мнѣ взять не можно. Добро бы ты ѣхалъ домой. А то что-жъ я тебя оберу на дорогѣ, какъ станичникъ какой! Воля твоя, хоть зарѣжь, не возьму!

Максимъ пожалъ плечами и вынулъ изъ шапки Трифона нѣсколько золотыхъ.

— Коли ты не берешь,—сказалъ онъ:—авось кто другой возьметъ, а мнѣ ихъ не надо.

Онъ простился съ сокольникомъ и поѣхалъ далѣе.

Уже солнце начинало заходить. Длинные тѣни деревьевъ становились длиннѣе и застилали поляны. Подлѣ Максима ѣхала его собственная тѣнь, словно темный великанъ. Она то бѣжала по травѣ, то, когда лѣсъ спиральъ дорогу, всползала на кусты и деревья. Буянъ казался на тѣни огромнымъ баснословнымъ звѣремъ. Мало-по-малу и Буянъ, и конь, и Максимъ исчезли и съ травы и съ деревьевъ; наступали сумерки; кое-гдѣ заблѣлъ туманъ; вечерніе жуки поднялись съ земли и, жужжа, стали чертить воздухъ. Мѣсяцъ показался изъ-за лѣсу; тамъ и сямъ по темнѣющему небу зажглися звѣзды; вдали засеребрилось необозримое поле.

Родина ты моя, родина! Случалось и мнѣ въ позднюю пору проѣзжать по твоимъ пустынямъ. Ровно ступалъ конь, отдыхая отъ слѣпней и дневного жару; теплый вѣтеръ разносилъ запахъ цвѣтовъ и свѣжаго сѣна, и такъ было мнѣ сладко, и такъ было мнѣ грустно, и такъ думалось о прошедшемъ, и такъ мечталось о будущемъ. Хорошо, хорошо ѣхать вечеромъ по безлюднымъ мѣстамъ, то лѣсомъ, то нивами, бросить поводья и задуматься, глядя на звѣзды!

Уже съ добрый часъ ѣхалъ Максимъ, какъ вдругъ Буянъ поднялъ морду на вѣтеръ и замахалъ хвостомъ. Послышался запахъ дыма. Максимъ вспомнилъ о ночлегѣ и понудилъ коня. Вскорѣ увидѣлъ онъ покачнувшуюся на сторону избу. Трубы на ней не было; дымъ выходилъ прямо изъ крыши. Въ низенькомъ окнѣ свѣтился огонь. Внутри слышался однообразный напѣвъ. Максимъ подъѣхалъ къ окну. Онъ увидѣлъ всю внутренность бѣднаго хозяйства. Пылающая лучина освѣщала домашнюю утварь: все было дрянно и ветхо. Въ потолочникѣ торчалъ наискось гибкій шестъ, и на концѣ его висѣла люлька. Женщина

лѣтъ тридцати, блѣдная, хворая, качала люльку и потихоньку пѣла. Подлѣ нея сидѣлъ, согнувшись, мужичокъ съ рѣденкою бородкой и плелъ лапти. Двое дѣтей ползали у ногъ ихъ.

Максиму показалось, что женщина въ пѣснѣ поминаетъ его отца. Сначала онъ подумалъ, что ослышался, но вскорѣ ясно поразило его имя Малюты Скуратова. Полный удивленія, онъ сталъ прислушиваться.

— Спи, усни, мое дитятко!—пѣла женщина.

Спи, усни, мое дитятко,
Покуль гроза пройдетъ,
Покуль бѣда минетъ!
Баю, баюшки-баю,
Баю, мое дитятко!
Скоро минетъ бѣда наносная,
Скоро царь велитъ отсѣчь голову
Злому псу Малютѣ Скуратову!
Баю, баюшки-баю,
Баю, мое дитятко!

Вся кровь Максима бросилась ему въ лицо. Онъ слѣзъ съ коня и привязалъ его къ плетню.

Голосъ продолжалъ :

Какъ и онъ ли злой песь Малюта
Задушилъ святого старца
Святого старца Филиппа!
Баю, баюшки-баю,
Баю, мое дитятко!

Максимъ не выдержалъ и толкнулъ дверь ногою.

При видѣ богатой одежды и золотой сабли опричника, хозяева оробѣли.

— Кто вы?—спросилъ Максимъ.

— Батюшка!—отвѣчалъ мужичокъ, кланяясь и заикаясь отъ страха:—меня-то, не взыщи, меня зовутъ Оедотомъ, а хозяйку-то, не взыщи, батюшка, хозяйку зовутъ Марьею!

— Чѣмъ вы живете, добрые люди?

— Лыки деремъ, родимый, лапти плетемъ да рѣшета дѣлаемъ. Купцы проѣдутъ и покупать.

— А, знать, мало проѣзжаютъ?

— Малость, батюшка, совсѣмъ малость! Иной разъ, придется, и ѣсть нечего. Того и смотри, съ голоду али съ наготы помрешь. А лошади-то нѣтъ у насъ товаръ въ городъ отвезти. Другой годъ волки съѣли.

Максимъ поглядѣлъ съ участіемъ на мужика и его хозяйку и высыпалъ свои червонцы на столъ.

— Богъ съ вами, бѣдные люди!—сказаль онъ и схватился за дверь, чтобы выйти.

Хозяева повалились ему въ ноги.

— Батюшка, родимый, кто ты? Повѣдай намъ, кто ты? За кого намъ Богу молиться?

— Молитесь не за меня,—за Малюту Скуратова. Да скажите, далеко-ль до Рязанской дороги?

— Да это она и есть, соколь ты нашъ, она-то и есть, Рязанская-то. Мы на самомъ крестѣ живемъ. Вотъ прямо пойдетъ Муромская, а налѣво—Владимѣрская а с д вправо—на Рязань! Да не ѣзди теперь, родимый ты нашъ, не ѣзди теперь, не такая пора; больно стали шалить на дорогѣ. Вотъ вчера цѣлый обозъ съ виномъ ограбили. А теперь еще, говорятъ, татары опять проявились. Переночуй у насъ, батюшка ты нашъ, отецъ ты нашъ, соколь ты нашъ! Сохрани Богъ, долго-ль до бѣды!

Но Максиму не хотѣлось остаться въ избѣ, гдѣ недавно еще проклинали отца его. Онъ уѣхаль искать другого ночлега.

— Батюшка!—кричали ему вслѣдъ хозяева:—вернись, родимый, послушай нашего слова! Не сдобровать тебѣ ночью на этой дорогѣ!

Но Максимъ не послушался и поѣхаль далѣе.

Немного версть проѣхаль онъ, какъ вдругъ Буянъ бросился къ темному кусту и сталъ лаять такъ зло, такъ упорно, какъ будто чужьяго врага.

Тщетно отсвистываль его Максимъ. Буянъ бросался на кустъ, возвращался весь оцетиненный и снова рвался впередъ.

Наскучивъ отзывать его, Максимъ выхватилъ саблю и поспекаль прямо на кустъ. Нѣсколько человекъ съ поднятыми дубинами выскочили къ нему навстрѣчу, и грубый голосъ крикнулъ:

— Долой съ коня!

— Вотъ тебѣ!—сказаль Максимъ, отвѣшивая ударъ тому, который былъ ближе.

Разбойникъ зашатался.

— Это тебѣ не въ почетъ!—продолжалъ Максимъ и хотѣлъ отвѣсить ему второй ударъ; но сабля встрѣтила плашмя дубину другого разбойника и разлетѣлась на полы.

— Эге, посмотри-ка на его сбрую! Да это опричникъ! Хватай его живьемъ!—закричалъ грубый голосъ.

— И впрямь опричникъ!—завизжалъ другой:—вотъ поѣвшимся надъ нимъ съ ребятами!

— Ай-да Хлопко! ужъ ты и радъ тѣшиться!
И въ тотъ же мигъ всѣ вмѣстѣ навалились на Максима
и стащили его съ коня.

ГЛАВА XXIV.

Бунтъ станичниковъ.

Версты полторы отъ мѣста, гдѣ совершилось нападе-
ніе на Максима, толпы вооруженныхъ людей сидѣли во-
кругъ винныхъ бочекъ съ выбитыми днами. Чарки и бе-
рестовыя черпала ходили изъ рукъ въ руки. Плающие
костры освѣщали рѣзкія черты, включенныя бороды и
разнообразныя одежды. Были тутъ знакомыя намъ лица:
и Андрюшка, и Васька, и рыжій пѣсенникъ; но не было
старога Коршуна. Часто поминали его разбойники, хле-
бая изъ черпаль и осушая чарки.

— Эхъ,—говорилъ одинъ:—что-то съ нашимъ дѣдуш-
кой теперь?

— Вѣстимо что,—отвѣчалъ другой:—рвутъ его съ ды-
бовъ, а можетъ, на вискъ потряхиваютъ.

— А вѣдь не выдастъ старый чортъ; я чай, словечка
не выронить!

— Вѣстимо, не выронить, не таковскій, этого хоть на
ключья разорви, не выдастъ!

— А жаль сѣдой бороды! Ну да и атаманъ-то хорошъ!
Самъ, небось, цѣлъ, а старика-то выдалъ!

— Да что онъ за атаманъ! Развѣ это атаманъ, чтобы
своихъ даромъ губить изъ-за какого-то князя!

— Да, вишь ты, они съ княземъ-то въ дружбѣ. И те-
перь, вишь, въ одномъ куренѣ сидятъ. Ты про князя не
говори: неравно атаманъ услышитъ, сохрани Богъ!

— А что-жъ, коль услышитъ! Я ему въ глаза скажу,
что онъ не атаманъ. Вотъ Коршунъ такъ настоящій ата-
манъ! Небось, былъ у Перстня какъ бѣльмо на глазу,
такъ вотъ его нарочно и выдалъ!

— А что, ребята, вѣдь, можетъ, и въ самомъ дѣлѣ онъ
нарочно выдалъ Коршуна!

Глухой ропотъ пробѣжалъ межъ разбойниковъ.

— Нарочно, нарочно выдалъ!—сказали многіе.

— Да что это за князь?—спросилъ одинъ.—Зачѣмъ его
держатъ? Выкупа за него ждетъ атаманъ, что ли?

— Нѣтъ, не выкупа!—отвѣчалъ рыжій пѣсенникъ.—
Князя, вишь, царь обидѣлъ, хотѣлъ казнить его; такъ
князь-то отъ царя и ушелъ къ намъ; говоритъ: я васъ,

ребятушки, самъ на слободу поведу; мнѣ, говоритъ, вѣдомо, гдѣ казна лежитъ. Всѣхъ, говоритъ, опричниковъ перерѣжемъ, а казною подѣлимся!

— Вотъ какъ! Такъ что-жь онъ не ведетъ насъ? Ужь третьи сутки здѣсь даромъ стоимъ!

— Оттого не ведетъ, что атаманъ у насъ баба!

— Нѣтъ, этого не говори, Перстень не баба!

— А коли не баба, такъ и хуже того. Стало, онъ насъ морочить!

— Стало,—сказалъ кто-то:—онъ хочетъ царскую казну на себя одного взять, а намъ чтобъ и понюхать не досталось!

— Да, да, Перстень продать насъ хочетъ, какъ Коршуна продалъ!

— Да не на таковскихъ напалъ!

— А старика-то выручить не хочетъ!

— Да на чтѣ онъ намъ! Мы и безъ него дѣдушку выручимъ!

— И безъ него казну возьмемъ; пусть князь одинъ ведетъ насъ!

— Теперь-то и самая пора: царь, слышно, на богомольѣ; въ слободѣ и половины опричниковъ не осталось!

— Зажжемъ опять слободу!

— Перерѣжемъ слободскихъ!

— Долой Перстня! Пусть князь ведетъ насъ!

— Пусть князь ведетъ! Пусть князь ведетъ!—послышалось отовсюду.

Подобно грому прокатились слова отъ толпы до толпы, пронеслись до самыхъ отдаленныхъ костровъ, и все поднялось и закипѣло, и всѣ обступили курень, гдѣ Серебряный сидѣлъ въ жаркомъ разговорѣ съ Перстнемъ.

— Воля твоя, князь,—говорилъ атаманъ:—сердись не сердись, а пустить тебя не пущу! Не для того я тебя изъ тюрьмы вызволилъ, чтобъ ты опять голову на плаху понесъ!

— Въ головѣ своей я одинъ воленъ!—отвѣчалъ князь съ досадою.—Не зачѣмъ было меня изъ тюрьмы вызволять, коли я теперь въ неволѣ сижу.

— Эхъ, князь, велико дѣло время. Царь можетъ одуматься, царь можетъ преставиться; мало ли чтѣ можетъ случиться; а минуетъ бѣда, ступай себѣ съ Богомъ на всѣ четыре стороны. Что-жь дѣлать,—прибавилъ онъ, видя возрастающую досаду Серебрянаго:—должно-быть, тебѣ

на роду написано пожить еще на бѣломъ свѣтѣ. Ты норовомъ крутъ, Никита Романычъ, да и я крѣпко держусь своей мысли; видно ужъ нашла коса на камень, князь!

Въ это мгновеніе голоса разбойниковъ раздались у самаго куреня.

— Въ слободу, въ слободу!—кричали пьяные удалыцы.

— Пустимъ краснаго гуся въ слободу!

— Пустимъ цѣлое стадо гусей!

— Выручимъ Коршуна!

— Выручимъ дѣдушку!

— Выкатимъ бочки изъ подваловъ!

— Выгребемъ золото!

— Вырѣжемъ опричнину!

— Вырѣжемъ всю слободу!

— Гдѣ князь? Пусть ведетъ насъ!

— Пусть ведетъ князь!

— А не хочеть, такъ на осину его!

— На осину! На осину!

— Перстня туда же!

— На осину и Перстня!

Перстень вскочилъ съ мѣста.

— Такъ вотъ чтò они затѣвають!—сказалъ онъ.—А я ужъ давно прислушиваюсь, чтò они тамъ голосятъ. Вишь какъ расходились, вражьи дѣти! Теперь ихъ самъ чортъ не уймешь! Ну, князь, нечего дѣлать, вышло по-твоему; не держу тебя долѣ: вольному воля, ходячему путь! Выйди къ нимъ, скажи, что ведешь ихъ на слободу!

Серебряный вспыхнулъ.

— Чтòбъ я повелъ васъ на слободу?—сказалъ онъ:— да скорѣй вы меня на клочья разорвете!

— Эхъ, князь, притворись хоть для виду. Народъ, ты видишь, нетрезвый, завтра образумятся.

— Князь!—кричали голоса:—тебя зовутъ, выходи!

— Выйди, князь,—повторилъ Перстень:—ввалятся въ курень—хуже будетъ!

— Добро-жъ,—сказалъ князь, выходя изъ куреня:— посмотримъ, какъ они меня заставятъ вести ихъ на слободу!

— Ага!—закричали разбойники:—вылѣзь!

— Веди на слободу!

— Атаманствуй надъ нами, не то тебѣ петлю на шею!

— Такъ, такъ!—ревѣли голоса.

— Бьемъ тебѣ челомъ!—кричали другіе:—будь намъ атаманомъ, не то повѣсимъ!

— Ей-Богу, повѣсимъ!

Перстень, зная горячій нравъ Серебрянаго, поспѣшилъ также выйти.

— Что вы, братцы,—сказалъ онъ:—бѣлены, что-ль, объѣлись? Чего вы горла-то дерете? Поведетъ васъ князь, куда хотите, поведетъ чѣмъ свѣтъ; а теперь дайте выспаться его милости, да и сами ложитесь; уже вволю повеселились!

— Да что ты намъ указываешь!—захрипѣлъ одинъ:—развѣ ты намъ атаманъ?

— Слышь, братцы,—закричали другіе:—онъ не хочетъ сдать атаманства!

— Такъ на осину его!

— На осину, на осину!

Перстень окинулъ взоромъ всю толпу и вездѣ встрѣтилъ враждебныя лица.

— Ахъ вы, дураки, дураки!—сказалъ онъ.—да развѣ я держусь вашего атаманства? Поставьте надъ собой кого знаете; а я и самъ не хочу, наплевать мнѣ на васъ!

— Хорошо!—закричалъ кто-то.

— Красно говорить!—прибавилъ другой.

— Наплевать мнѣ на васъ!—продолжалъ Перстень:—мало, что ли, такихъ, какъ вы? Эка честь надъ вами атаманствовать! Да захочу, пойду на Волгу, не такихъ наберу!

— Нѣтъ, братъ, дудки. Отъ себя не пустимъ; еще, пожалуй, продашь, какъ Коршуна продалъ!

— Не пустимъ, не пустимъ! оставайся съ нами! слушайся новаго атамана!

Дикіе крики заглушили голосъ Перстня.

Разбойникъ огромнаго роста подошелъ къ Серебряному, съ чаркой въ рукѣ.

— Батка!—сказалъ онъ, ударивъ его широкой ладью по плечу:—пробазарилъ ты свою голову, сталъ нашимъ братомъ, такъ выпьемъ вмѣстѣ да поцѣлуемся!

Богъ знаетъ, что бы сдѣлалъ Серебряный. Пожалуй, вышибъ бы онъ чарку изъ рукъ разбойника и разорвала-бъ его на ключья пьяная толпа; но, къ счастью, новые крики отвлекли его вниманіе.

— Смотрите, смотрите!—раздалось въ толпѣ:—опричника поймали! Опричника ведутъ! Смотрите, смотрите!

Изъ глубины лѣса шло нѣсколько людей въ изодранныхъ одеждахъ, съ дубинами въ рукахъ. Они вели съ собой связаннаго Максима. Разбойникъ, котораго онъ ударилъ саблей, вѣхалъ на Максимовомъ конѣ. Впереди шель Хлопко, присвистывая, приплясывая. Раненый Буянъ тащился сзади.

— Гей, братцы!—пѣлъ Хлопко, щелкая пальцами:

Гости съѣхались ко вдовушкамъ во дворики,
Заходили по головушкамъ топорика!..

И Хлопко опрокидывался навзничь, билъ въ ладоши и кружился словно кубарь.

Глядя на него, рыжій пѣсенникъ не вытерпѣлъ, схватилъ балалайку и пустился въ присядку помогать товарищу.

Оба стали наперерывъ сѣменить ногами и кривляться вокругъ Максима.

— Вишь дьяволы!—сказалъ Перстень Серебряному.— Вѣдь они не просто убьютъ опричника, а замучатъ медленною смертью; я знаю обоихъ: ужъ коли эти пустились,—значить, плохо дѣло; не сдобровать молодцу!

Въ самомъ дѣлѣ, поимка опричника была для всей шайки настоящимъ праздникомъ. Они собрались выместить на Максимѣ все, что потерпѣли отъ его товарищей.

Нѣсколько человекъ съ звѣрскими лицами тотчасъ занялись приготовленіемъ къ его казни.

Въ землю вколотили четыре кола, укрѣпили на нихъ поперечныя жерди и накалили гвоздей.

Максимъ смотрѣлъ на все спокойнымъ окомъ. Не страшно было ему умирать въ мѣкахъ, грустно было умереть безъ меча, со связанными руками, и не слышать въ предсмертный часъ ни браннаго окрика ни ржанія коней, а слышать лишь дикія пѣсни да пьяный смѣхъ своихъ мучителей.

«Обмануло меня вѣщее,—подумалъ онъ:—не такого я чаюль себѣ конца. Да будетъ же надо мной Божья воля!»

Тутъ онъ замѣтилъ Серебрянаго, узналъ его и хотѣлъ къ нему подойти. Но рыжій пѣсенникъ схватилъ его за воротъ.

— Постлана постель,—сказалъ онъ:—сымай кафтанъ, ложись, что ли!

— Развяжите мнѣ руки!—отвѣчалъ Максимъ:—не могу перекреститься!

Хлопко ударомъ ножа разрѣзалъ веревки, которыми руки Максима были спутаны.

— Крестись, да недолго!—сказалъ онъ, и когда Максимъ помолится, Хлопко и рыжій сорвали съ него платье и стали привязывать его руки и ноги къ жердямъ.

Тутъ Серебряный выступилъ впередъ.

— Ребята!—сказалъ онъ голосомъ, который привыкъ раздаваться въ ратномъ строю:—слушайте!

И звонкія слова рѣзко пронеслись по толпѣ и, несмотря на шумъ и крики, долетѣли до самыхъ отдаленныхъ разбойниковъ.

— Слушайте!—продолжалъ князь.—Всѣ ли вы хотите, чтобы я былъ надъ вами старшимъ? Можетъ, есть межъ вами такіе, что не хотятъ меня?

— Э!—закричалъ кто-то:—да ты никакъ на попятный дворъ?

— Слышь ты, съ нами не шути!

— Даютъ атаманство, такъ бери!

— Принимай честь, пока цѣль!

— Подайте-жъ мнѣ атаманскій чеканъ!—сказалъ Серебряный.

— Дѣлю!—закричали разбойники.—Такъ-то лучше, по добру, по-здорову!

Князю подали чеканъ Перстня.

Никита Романовичъ подошелъ прямо къ рыжему пѣсеннику.

— Отвязывай опричника!—сказалъ онъ.

Рыжій посмотрѣлъ на него съ удивленіемъ.

— Отвязывай тотчасъ!—повторилъ грозно Серебряный.

— Вишь ты!—сказалъ рыжій:—да ты за него, что-ль, стоишь! Смотри, у самого крѣпка-ль голова?

— Окаянный!—вскричалъ князь:—не разсуждай, когда я приказываю!

И, взмахнувъ чеканомъ, онъ разрубилъ ему черепъ.

Рыжій повалился, не пикнувъ.

Поступокъ Серебрянаго смутилъ разбойниковъ. Князь не далъ имъ опомниться.

— Отвязывай ты!—сказалъ онъ Хлопку, поднявъ чеканъ надъ его головой.

Хлопко взглянулъ на князя и поспѣшилъ отвязать Максима.

— Ребята!—продолжалъ Никита Романовичъ:—этотъ молодецъ не изъ тѣхъ, что васъ обидѣли; я его знаю; онъ такой же врагъ опричникѣ, какъ и вы. Сохрани васъ Богъ тронуть его хоть пальцемъ! А теперь нечего мѣш-

кать: берите оружіе, стройтесь по сотнямъ, я веду васъ!

Твердый голосъ Серебрянаго, повелительная осанка и неожиданная рѣшительность сильно подѣйствовали на разбойниковъ.

— Эге,—сказали нѣкоторые вполголоса:—да этотъ не шутить!

— И впрямь атаманъ!—говорили другіе:—хоть кого перевернуть!

— Съ нимъ держи ухо востро, не разговаривай! Вишь какъ уходилъ пѣсенника!

Такъ разсуждали разбойники, и никому не приходило болѣе въ голову трепать Серебрянаго по плечу или съ нимъ цѣловаться.

— Исполать тебѣ, князь!—прошепталъ Перстень, съ почтеніемъ глядя на Никиту Романовича:—вишь ты какъ ихъ приструнилъ! Только не давай имъ одуматься, веди ихъ по дорогѣ въ слободу, а тамъ что Богъ дастъ!

Трудно было положеніе Серебрянаго. Ставъ во главѣ станичниковъ, онъ спасъ Максима и выигралъ время, но все было бы вновь потеряно, если-бъ онъ отказался вести буйную ватагу. Князь обратился мыслію къ Богу и предался Его волѣ.

Ужъ начали станичники готовиться къ походу и только поговаривали, что недостаетъ какого-то Ѳедьки Поддубнаго, который съ утра ушелъ со своимъ отрядомъ и еще не возвращался.

— А вотъ и Ѳедька!—сказалъ кто-то:—эвотъ идетъ съ ребятами.

Поддубный былъ сухощавый дѣтина, кривой на одинъ глазъ и со множествомъ рубцовъ на лицѣ.

Зипунъ его былъ изодранъ. Ступалъ онъ тяжело, сгибая колѣни, какъ человѣкъ черезъ силу уставшій.

— Что?—спросилъ одинъ разбойникъ.

— Я чай, опять досталось?—прибавилъ другой.

— Досталось да не намъ!—сказалъ Поддубный, садясь къ огню.—Вотъ, ребяташки, много у меня лежало грѣховъ на душѣ, а сегодня, кажись, половину сбылъ!

— Какъ такъ?

Поддубный обернулся къ своему отряду.

— Давайте сюда языка, братцы!

Къ костру подвели связаннаго дѣтину въ полосатомъ кафтанѣ. На огромной головѣ его торчала высокая шапка

съ выгнутыми краями. Сплюснутый носъ, выдававшіеся скулы, узенькіе глаза свидѣтельствовали о не-русскомъ его происхожденіи.

Одинъ изъ товарищей Поддубнаго припесь копье, саадакъ и колчанъ, взятые на плѣнномъ.

— Да это татаринъ!—закричала толпа.

— Татаринъ,—повторилъ Поддубный:—да еще какой! Насилу съ нимъ справились, такой здоровякъ! Кабы не Митька, какъ разъ ушелъ бы!

— Разсказывай, разсказывай! — кричали разбойники.

— А вотъ, братцы, пошли мы съ утра по Рязанской дорогѣ, остановили купца, стали обшаривать; а онъ намъ говорить: нечего, говорить, братцы, взять съ меня! Я, говорить, ѣду отъ Рязани, тамъ всю дорогу заложила татарва, ободрали меня дочиста, не съ чѣмъ и до Москвы дотащиться.

— Вишь разбойники!—сказалъ одинъ изъ толпы.

— Что-жъ вы съ купцомъ сдѣлали?—спросилъ другой.

— Дали ему гривну на дорогу и отпустили,—отвѣтилъ Поддубный.—Тутъ попался намъ мужикъ, разсказалъ, что еще вчера татары напали на деревню и всю выжгли. Вскорѣ мы сами перешли великую сакму: смѣтили по крайнему счету съ тысячу лошадей. А тамъ идутъ другіе мужики съ бабами да съ дѣтьми, воютъ да голосятъ: и наше-де село выжгла татарва, да еще и церковь ограбили, порубили святыя иконы, изъ ризъ подѣлали чепраки...

— Ахъ они, окаянные!—вскричали разбойники:—да какъ еще ихъ, проклятыхъ, земля держитъ!

— Попа,—продолжалъ Поддубный:—къ лошадиному хвосту привязали...

— Попа? Да какъ ихъ, собачьихъ дѣтей, громомъ не убило!

— А Богъ вѣсть!

— Да развѣ у русскаго человѣка рукъ нѣтъ на проклятую татарву!

— Вотъ то-то и есть, что рукъ-то мало! Всѣ полки распущены, остались мужики, да бабы, да старики; а басурманамъ-то и любо, что нѣтъ ратныхъ людей, что некому поколотить ихъ порядкомъ!

— Эхъ, даль бы я имъ!

— И я-бъ даль!

— Да какъ вы языка-то достали?

— А вотъ какъ. Слышимъ мы лошадиный топъ по до-

рогъ. Я и говорю ребятамъ : схоронимся, говорю, въ кусты, посмотримъ, кто такой ѣдетъ? Схоронились, видимъ : скачетъ человекъ тридцать, вотъ въ этакихъ шапкахъ, съ копыями, съ колчанами, съ луками. Братцы, говорю я, вѣдь это они, сердечные! Жаль, что насъ маленько, а то можно-бъ поколотить! Вдругъ у одного отторочился какой-то мѣшокъ и палъ на землю. Тотъ остановился, слѣзъ съ коня подымать мѣшокъ да вторачивать, а товарищи его межъ тѣмъ ускакали. Братцы, говорю я, что бы намъ навалиться на него? Нутка, робятушки, за мной разомъ! И сказавши, бросились всѣ на татарина. Да куды! Тотъ только повелъ плечами,—такъ всѣхъ насъ и стряхнулъ. Мы опять на него, онъ насъ опять стряхнулъ, да и за копье. Тутъ ужъ Митька говорить : посторонитесь, братцы, говорить, не мѣшайте! Мы дали ему мѣсто, а онъ вырвалъ у татарина копье, взялъ его за шиворотъ да и пригнулъ къ землѣ. Тутъ мы ему рукавицу въ ротъ, да и связали, какъ барана.

— Ай да Митька!—сказали разбойники.

— Да, этотъ хоть быка за рога свалить!—замѣтилъ Поддубный.

— Эй, Митька!—спросилъ кто-то :—свалишь ты быка?

— А для-ча!—отвѣтилъ Митька и отошелъ въ сторону, не желая продолжать разговора.

— Что-жъ было въ мѣшкѣ у татарина?—спросилъ Хлопко.

— А вотъ смотрите, ребята!

Поддубный развязалъ мѣшокъ и вынулъ кусокъ ризы, богатую дарохранительницу, двѣ-три панагии да золотой крестъ.

— Ахъ онъ собака!—закричала вся толпа :—такъ это онъ церковь ограбилъ!

Серебряный воспользовался негодованіемъ разбойниковъ.

— Ребята!—сказалъ онъ :—видите, какъ проклятая тарва ругается надъ Христовою вѣрой? Видите, какъ басурманское племя хочетъ святую Русь извести? Что-жъ, ребята, развѣ ужъ и мы стали басурманами? Развѣ дадимъ мы святыя иконы на поруганіе? Развѣ попустимъ, чтобы нехристи жгли русскія села да рѣзали нашихъ братьевъ?

Глухой ропотъ пробѣжалъ по толпѣ.

— Ребята!—продолжалъ Никита Романовичъ :—кто изъ

насъ Богу не грѣшенъ! Такъ искупимъ же теперь грѣхи наши, заслужимъ себѣ прощеніе отъ Господа, ударимъ всѣ, какъ мы есть, на враговъ церкви и земли русской!

Сильно подѣйствовали на толпу слова Серебрянаго. Проняла мужественная рѣчь не одно зачерствѣлое сердце, не въ одной косматой груди расшевелила любовь къ родинѣ. Старые разбойники кивнули головой, молодые взглянули другъ на друга. Громкія восклицанія вырвались изъ общаго говора.

— Что-жъ!—сказалъ одинъ:—вѣдь и вправду не приходится отдавать церковей Божіихъ на поруганіе!

— Не приходится, не приходится!—повторилъ другой.

— Двухъ смертей не бывать, одной не миновать!—прибавилъ третій:—лучше умереть въ полѣ, чѣмъ на висѣлицѣ!

— Правда!—отозвался одинъ старый разбойникъ:—въ полѣ и смерть красна!

— Эхъ, была не была!—сказалъ, выступая впередъ, молодой сорви-голова:—не знаю, какъ другіе, а я пойду на татарву!

— И я пойду! и я! и я!—закричали многіе.

— Говорятъ про васъ,—продолжалъ Серебряный:—что вы Бога забыли, что не осталось въ васъ ни души ни совѣсти. Такъ покажите-жъ теперь, что врутъ люди, что есть у васъ и душа и совѣсть! Покажите, что коли пошло на то, чтобы стоять за Русь да за вѣру, такъ и вы постоите не хуже стрѣльцовъ, не хуже опричниковъ!

— Постоймъ! постоимъ!—закричали всѣ разбойники въ одинъ голосъ.

— Не дадимъ поганымъ ругаться надъ святою Русью!

— Ударимъ на нехристей!

— Веди насъ на татарву!

— Веди насъ, веди насъ! Постоймъ за святую вѣру!

— Ребята!—сказалъ князь:—а если поколотимъ поганыхъ, да увидитъ царь, что мы не хуже опричниковъ, отпустить онъ намъ вины наши, скажетъ: не нужна мнѣ болѣ опричина; есть у меня и безъ нея добрые слуги!

— Пусть только скажетъ,—закричали разбойники:—ужъ послужимъ ему нашими головами!

— Не по своей же я охотѣ въ станичники пошелъ!—сказалъ кто-то.

— А я развѣ по своей?—подхватилъ другой.

— Такъ ляжемъ же, коли надо, за русскую землю!—
сказаль князь.

— Ляжемъ!—повторили разбойники.

— Что-жь, ребята, — продолжалъ Серебряный: — коли
бить враговъ земли русской, такъ надо выпить про рус-
скаго царя!

— Выьемъ!

— Берите-жь чарки и мнѣ чару подайте!

Князю поднесли стопу; всѣ разбойники налили себѣ
чарки.

— Да здравствуетъ великій государь нашъ, царь Иванъ
Васильевичъ всея Руси!—сказаль Серебряный.

— Да здравствуетъ царь!—повторили разбойники.

— Да живетъ земля русская!—сказаль Серебряный.

— Да живетъ земля русская!—повторили разбойники.

— Да сгинуть всѣ враги святой Руси и православной
Христовой вѣры!—продолжалъ князь.

— Да сгинетъ татарва! Да сгинуть враги русской вѣ-
ры!—кричали наперерывъ разбойники.

— Веди насъ на татарву! Гдѣ они, басурманы, что
жгутъ наши церкви?

— Веди насъ, веди насъ!—раздавалось отовсюду.

— Въ огонь татарина!—закричалъ кто-то.

— Въ огонь его! Въ поломя!—повторили другіе.

— Постойте, ребята!—сказаль Серебряный:—разпро-
симъ его напередъ порядкомъ. Отвѣчай,—сказаль князь,
обращаясь къ татарину:—много-ль васъ? Гдѣ вы ста-
номъ стоите?

Татаринъ сдѣлаль знакъ, что не понимаетъ.

— Постой, князь,—сказаль Поддубный:—мы ему раз-
вяжемъ языкъ! Давай-ка, Хлопко, огоньку. Такъ. Ну
что, будешь говорить?

— Буду, бачка!—вскрикнулъ обожженный татаринъ.

— Много-ль васъ?

— Многа, бачка, многа!

— Сколько?

— Десять тысяча, бачка; теперь десять тысяча, а
завтра пришла сто тысяча!

— Такъ вы только передовые! Кто ведетъ васъ?

— Ханъ тащиль!

— Самъ ханъ?

— Не сама! Ханъ пришла завтра; теперь пришла Ши-
ринскій князь Шихмать!

— Гдѣ его стань?

Татаринъ опять показалъ знакомъ, что не понимаетъ.

— Эй, Хлопко, огоньку!—крикнулъ Поддубный.

— Близка стань, бачка, близка!—поспѣшилъ отвѣчать татаринъ:—не больше отсюда, какъ десята верста.

— Показывай дорогу!—сказалъ Серебряный.

— Не можна, бачка! Не можна теперъ видѣть дорога! Завтра можна, бачка!

Поддубный поднесъ горящую головню къ связаннымъ рукамъ татарина.

— Найдешь дорогу?

— Нашла, бачка, нашла!

— Хорошо,—сказалъ Серебряный.—Теперь перекусите, братцы, накормите татарина, да тотчасъ и въ походъ! Покажемъ врагамъ, что значить русская сила!

ГЛАВА XXV.

Приготовление къ битвѣ.

Въ шайкѣ началось такое движеніе, бѣготня и крики, что Максимъ не успѣлъ сказать и спасибо Серебряному. Когда наконецъ станичники выстроились и двинулись изъ лѣсу, Максимъ, которому возвратили коня и дали оружіе, поровнялся съ княземъ.

— Никита Романычъ,—сказалъ онъ:—отплатилъ ты мнѣ сегодня за медвѣдя!

— Что-жъ, Максимъ Григорычъ,—отвѣтилъ Серебряный:—на то на свѣтѣ живемъ, чтобъ помогать другъ другу!

— Князь,—подхватилъ Перстень, вѣхавшій также верхомъ возлѣ Серебрянаго:—смотрѣлъ я на тебя и думалъ: эхъ, жаль, что не видитъ его одинъ низовой молодецъ, котораго оставилъ я на Волгѣ! Хоть онъ и худой человекъ; почитай мнѣ ровня, а полюбилъ бы ты его, князь, и онъ тебя полюбилъ бы! Не въ обиду тебѣ сказать, а схожи вы нравомъ. Какъ заговорилъ ты про святую Русь, да загорѣлись твои очи, такъ я и вспомнилъ Ермака Тимоеича. Любить онъ родину, крѣпко любить ее, нужды нѣтъ, что станичникъ. Не разъ говаривалъ мнѣ, что свѣсто ему даромъ землю бременить, что хотѣлось бы сослужить службу родинѣ. Эхъ, кабы теперъ его на татаръ! Онъ одинъ цѣлой сотни стоитъ. Какъ крикнетъ: «за мной, ребята!» такъ, кажется, самъ станешь и выси и сильнѣе, и ничто тебя уже не остановитъ, и все во-

кругъ тебя такъ и валится. Похожъ ты на него, ей-Богу похожъ, Никита Романычъ, не въ узоръ тебѣ сказать!

Перстень задумался. Серебряный ѳхаль осторожно, вглядываясь въ темную даль; Максимъ молчалъ. Глухо раздавались по дорогѣ шаги разбойниковъ; звѣздная ночь безмолвно раскинулась надъ спящею землею. Долго шла толпа по направленію, указанному татаринѣмъ, котораго вели подъ саблей Хлопко и Поддубный.

Вдругъ пронеслись издали какіе-то странные, мѣрные звуки.

То былъ не человѣческій голосъ, не рожокъ, не гусли, а что-то похожее на шумъ вѣтра въ тростникѣ, если бы тростникъ могъ звенѣть какъ стекло или струны.

— Что это?—спросилъ Никита Романовичъ, останавливая коня.

Перстень снялъ шапку и наклонилъ голову почти до самой луки.

— Погоди, князь, дай поразслушать!

Звуки лились мѣрно и заунывно, то звонкими серебряными струями, то подобные шуму колеблемаго лѣса,—вдругъ замолкли, какъ будто въ цорыѣ степного вѣтра.

— Кончилъ!—сказалъ Перстень, смѣясь.—Вишь грудь-то какова! Я чай, съ полчаса дулъ себя, не переводя духа!

— Да что это?—спросилъ князь.

— Чебузга!—отвѣчалъ Перстень.—Это у нихъ, почитай, что у насъ рожокъ или жалейка. Должно-быть, башкирцы. Вѣдь тутъ разный сбродъ съ ханомъ: и казанцы, и астраханцы, и всякая ногайская погань. Слышь, вотъ опять наигрывать стали.

Вдали начался какъ будто новый порывъ вихря, обратился въ длинные, грустно-пріятные переливы и черезъ нѣсколько времени кончился отрывисто, подобно конскому фырканию.

— Ага!—сказалъ Перстень:—это колѣно вышло покорое; должно-быть, надорвался, собачій сынъ!

Но тутъ раздались новые звуки, гораздо звончѣе. Казалось, множество колокольцевъ звенѣли безостановочно.

— А вотъ и горло!—сказалъ Перстень.—Вѣдь издали подумаешь и невѣсть что, а они это горломъ выдѣлываютъ. Вишь ихъ разобрало, вражыхъ дѣтей!

Грустные, заунывные звуки смѣнялись веселыми, но то была не русская грусть и не русская удадь. Тутъ отра-

жалось дикое величіе кочующаго племени, и попрыски табуновъ, и богатырскіе набѣги и переходы народовъ изъ края въ край, и тоска по неизвѣстной, первобытной родинѣ.

— Князь, — сказалъ Перстень: — должно-быть, близко станъ; я чай, за этимъ пригоркомъ и огни будутъ видны. Дозволь, я пойду повысмотрю, что и какъ: мнѣ это дѣло обычное, довольно я ихъ за Волгой встрѣчалъ; а ты бы пока ребятамъ далъ вздохнуть да осмотрѣться.

— Ступай съ Богомъ, — сказалъ князь, и Перстень соскочилъ съ коня и исчезъ во мракѣ.

Разбойники оправились, осмотрѣли оружіе и сѣли на землю, не измѣняя боевого порядка. Глубокое молчаніе царствовало въ шайкѣ. Всѣ понимали важность начатаго дѣла и необходимость безусловнаго повиновенія. Между тѣмъ звуки чебузги лились попрежнему, мѣсяцъ и звѣзды освѣщали поле, все было тихо и торжественно, и лишь изрѣдка легкое дуновеніе вѣтра волновало ковыль серебрястыми струями.

Прошло около часа; Перстень не возвращался. Князь сталъ уже терпѣніе, но вдругъ шагахъ въ трехъ отъ него поднялся изъ травы человекъ. Никита Романовичъ схватился за саблю.

— Тихе, князь, это я! — произнесъ Перстень, усмѣхаясь. — Вотъ такъ точно подползъ я и къ татарамъ; все высмотрѣлъ; теперь знаю ихъ станъ не хуже своего куреня. Коли дозволишь, князь, я возьму десятокъ молодцовъ, пугну табунъ да переполошу татарву, а ты тѣмъ часомъ, коли разсудишь, ударь на нихъ съ двухъ сторонъ, да съ добрымъ крикомъ; такъ будь я татаринъ, коли мы ихъ половины не перерѣжемъ! Это я такъ говорю только для почину; ночное дѣло мастера боится; а взойдетъ солнышко, такъ ужъ тебѣ указывать, князь, а намъ только слушаться!

Серебряный зналъ находчивость и смѣтливость Перстня и далъ ему дѣйствовать по его мысли.

— Ребятюшки, — сказалъ Перстень разбойникамъ: — вздорили мы немного, да кто старое помянетъ, тому глазъ вонъ! Есть ли промежъ васъ человекъ десять охотниковъ со мной вмѣстѣ къ стану идти?

— Выбирай кого знаешь, — отвѣчали разбойники: — мы всѣ готовы.

— Спасибо же вамъ, ребятюшки; а коли ужъ вы меня

уважили, такъ я беру вотъ какихъ: ступай сюда, Поддубный, и ты, Хлопко, и ты, Дятель, и ты, Лѣсниковъ, и ты, Рѣшето, и Степка, и Мишка, и Шестоперъ, и Наковальня, и Саранча! А ты куда лѣзешь, Митька? Тебя я не звалъ; оставайся съ княземъ, ты къ нашему дѣлу не пригоденъ. Слымайте, ребята, сабли,—съ ними ползти неладно; будетъ съ васъ и ножей. Только, ребята, чуръ, слушать моего слова, безъ меня ни на шагъ! Пошли въ охотники, такъ ужъ что укажу, то и дѣлать. Чуть кто-нибудь не такъ, я ему тутъ же и карачунъ.

— Добро, добро,—отвѣчали выбранные Перстнемъ:— какъ скажешь, такъ и сдѣлаемъ. Ужъ пошли на святое дѣло—небось, не повздоримъ.

— Видишь, князь, этотъ косогоръ?—продолжалъ атаманъ.—Какъ дойдешь до него, будутъ вамъ ихъ костры видны. А мой совѣтъ—ждать вамъ у косогора, пока не услышите моего визга. А какъ пугну табунъ, да послышится визгъ и крикъ, такъ вамъ и напускаться на нехристей; а имъ дѣться некуда; коней-то ужъ не будетъ; съ одной стороны—мы, съ другой—пришла рѣчка съ болотомъ.

Князь обѣщался сдѣлать все по распоряженію Перстня.

Между тѣмъ атаманъ съ десятью удалцами пошли на звукъ чебузги и вскорѣ пропали въ травѣ. Иной подумалъ бы, что они тутъ же и притаились; но зоркое око могло бы замѣтить колебаніе травы, независимое отъ вѣтра и не по его направленію.

Черезъ полчася Перстень и его товарищи были уже близко къ татарскимъ кибиткамъ.

Лежа въ ковылѣ, Перстень приподнялъ голову.

Шаговъ пятьдесятъ передъ нимъ горѣлъ костеръ и озарялъ нѣсколько башкирцевъ, сидѣвшихъ кружкомъ, съ поджатыми подъ себя ногами. Кто былъ въ пестромъ халатѣ, кто въ бараньемъ тулупѣ, а кто въ изодранномъ кафтанѣ изъ верблюжины. Воткнутыя въ землю копыя торчали возлѣ нихъ и докидывали длинныя тѣни свои до самаго Перстня. Табунъ изъ нѣсколькихъ тысячъ лошадей, ввѣренный стражъ башкирцевъ, пасся неподалеку густою кучей. Другіе костры, шагахъ во ста подалѣ, освѣщали безчисленные войлочные кибитки.

Не зорко смотрѣли башкирцы за своимъ табуномъ. Прошли они отъ Волги до самой Рязани, не встрѣтивъ нигдѣ отпора; знали, что наши войска распущены, и не

ожидали себѣ непріятеля; а отъ волковъ, думали, обрежемся чебузгой да горломъ. И четверо изъ нихъ, упревъ въ верхніе зубы концы длинныхъ репейныхъ дудокъ и набравъ въ широкія груди, сколько могли, вѣтру, дули, перебирая пальцами, пока хватало духа. Другіе подтягивали имъ горломъ, и огонь освѣщаль ихъ скуластыя лица, побагровѣвшія отъ натуги.

Нѣсколько минутъ Перстень любовался этою картиной, раздумывая про себя: броситься ли ему тотчасъ съ ножомъ на башкирцевъ и, не давъ имъ опомниться, передрѣзать всѣхъ до одного? Или сперва разогнать лошадей, а потомъ уже начать рѣзать?

И то и другое его прельщало. «Вишь какой табунъ,—думалъ онъ, притаивъ дыханіе:—коли пугнуть его умѣючи, такъ онъ, съ напуску, всѣ ихъ кибитки переломаетъ; такого задасть переполоху, что они своихъ не узнаютъ. А и эти-то вражьи дѣти хорошо сидятъ, больно хорошо! Вишь какъ наяриваютъ; можно къ нимъ на два шага подползти».

И не захотѣлось атаману отказаться отъ кровавой потѣхи надъ башкирцами.

— Рѣшето,—шепнулъ онъ притаившемуся возлѣ него товарищу:—что, у тебя въ горлѣ не першить? Сумѣешь взвизгнуть?

— А ты-то что-жь?—отвѣтилъ шопотомъ Рѣшето.

— Да какъ будто осипъ маненько.

— Пожалуй, я взвизгну. Пора, что ли?

— Постой, рано. Заползи-ка вонъ оттоль какъ можно ближе къ табуну; ползи, пока не смѣтять тебя кони; а лишь начнутъ ушми прясти, ты и гикни, да пострашиѣ, да и гони ихъ прямо на кибитки!

Рѣшето кивнулъ головой и исчезъ въ ковылѣ.

— Ну, братцы,—шепнулъ Перстень остальнымъ товарищамъ:—ползите за мной подъ нехристей, только, чуръ, осторожно. Вишь, ихъ всего-то человекъ двадцать, а насъ девятеро; на каждого изъ васъ будетъ по два, а я на себя четырехъ беру. Какъ послышите, что Рѣшето взвизгнулъ, такъ всѣмъ разомъ и загикать, да прямо на нихъ! Готовы, что ли?

— Готовы!—отвѣчали шопотомъ разбойники.

Атаманъ перевелъ дыханіе, оправился и началъ потихоньку вытаскивать изъ-за пояса длинный ножъ свой.

ГЛАВА XXVI.

Побратимство.

Пока все это происходило у татарскаго стана, Серебряный, за полверсты оттуда, ожидалъ нетерпѣливо условеннаго знака.

— Князь,—сказалъ ему Максимъ, не отходявшій все время отъ него:—недолго намъ ждать, скоро зачнется бой; какъ взойдетъ солнышко, такъ ужъ многихъ изъ насъ не будетъ въ живыхъ, а мнѣ бы хотѣлось попросить тебя...

— О чемъ, Максимъ Григорьичъ?

— Дѣло-то не трудное, да не знаю, какъ тебѣ сказать, совѣстно мнѣ...

— Говори, Максимъ Григорьичъ, было бы вмоготу!

— Видишь ли, князь,—скажу тебѣ всю истину. Я ушелъ изъ слободы тайно, противъ воли отца, безъ вѣдома матери. Невтерпѣжъ мнѣ стало служить въ опричникахъ; такая нашла тошнота, что хотъ въ воду кинуться. Видишь ли, бояринъ, я одинъ сынъ у отца, у матери, брата у меня никогда не бывало. Отъ Покрова пошелъ мнѣ девятнадцатый годъ, а повѣришь ли, до сей поры не съ кѣмъ было добрымъ словомъ перемолвиться. Живу промежъ нихъ одинъ-одинёшенекъ, никто мнѣ не товарищъ, всё чужіе. Всякъ только и думаетъ, какъ бы другого извести, чтобы самому въ честь попастьъ. Чтѣ ни день, то пытки да казни. Изъ церквей, почитай, не выходятъ, а губятъ народъ хуже станичниковъ. Было-бъ имъ поболѣ казны да помѣстій, такъ по нихъ хотъ вся Русь пропадай! Какъ царь ни грозень, а вѣдь и тотъ иногда слушаетъ истину; такъ у нихъ хотъ бы у одного языкъ повернулся правду вымолвить! Всѣ такъ ему и поддакиваютъ, такъ и лѣзутъ выслужиться! Повѣришь ли, князь, какъ увидѣлъ тебя, на сердцѣ у меня повеселѣло, словно родного встрѣтилъ! Еще я не зналъ я, кто ты таковъ, а ужъ полюбился ты мнѣ: и очн у тебя не такъ глядятъ, какъ у нихъ, и рѣчь звучитъ иначе. Вотъ Годуновъ, пожалуй, и лучше другихъ, а все не то, чтѣ ты. Смотрѣлъ я на тебя, какъ ты безъ оружія супротивъ медвѣдя стоялъ; какъ Басмановъ, послѣ отравы того боярина, я тебѣ чашу съ виномъ поднесъ; какъ тебя на плаху вели; какъ ты со станичниками сегодня говорилъ. Такъ меня и тянуло къ тебѣ,—вотъ такъ бы и кинулся

къ тебѣ на шею! Не дивись, князь, моей глупой рѣчи,— прибавилъ Максимъ, потупя очи:—я не набиваюсь къ тебѣ на дружбу, знаю, кто ты и кто я; только что-жъ мнѣ дѣлать, коли не могу словъ удержать, сами рвутся наружу, сердце къ тебѣ само такъ и мечется!

— Максимъ Григорьичъ, — сказала Серебряный и крѣпко сжала его руку:—и ты полюбилъ мнѣ, какъ братъ родной!

— Спасибо, князь, спасибо тебѣ! А коли ужъ на то пошло, то дай мнѣ разомъ высказать, чтò у меня на душѣ. Ты, я вижу, не брезгаешь мной. Дозволь же мнѣ, князь, теперь передъ битвою, по древнему христіанскому обычаю, побрататься съ тобой! Вотъ и вся моя просьба; не возьми ее во гнѣвъ, князь. Если бы зналъ я навѣрно, что доведется намъ еще долгое время жить вмѣстѣ, я-бъ не просилъ тебя; я помнилъ бы, что тебѣ не пригоже быть моимъ названнымъ братомъ; а теперь...

— Полно Бога гнѣвить, Максимъ Григорьичъ!—пре-
рвалъ его Серебряный:—чѣмъ ты не братъ мнѣ? Знаю, что мой родъ честиѣ твоего, да то дѣло думное и разрядное; а здѣсь передъ татарами, въ чистомъ полѣ, мы равны, Максимъ Григорьичъ, да вездѣ равны, гдѣ стоимъ предъ Богомъ, а не предъ людьми. Побратаемся, Максимъ Григорьичъ!

И князь снялъ съ себя крестъ-тѣльничъ на узорной золотой цѣпи и подаль Максиму.

Максимъ также снялъ съ шеи крестъ, простой мѣдный, на шелковомъ гайтанѣ, поцѣловалъ его и перекрестился.

— Возьми его, Никита Романычъ; имъ благословила меня мать, когда еще мы были бѣдными людьми, не вошли еще въ честь у Ивана Васильевича. Береги его, онъ мнѣ всего дороже.

Тогда оба еще разъ перекрестились и, помѣнявшись крестами, обняли другъ друга.

Максимъ просвѣтлѣлъ.

— Теперь,—сказалъ онъ радостно:—ты мнѣ братъ, Никита Романычъ! Чтò бы ни случилось, я съ тобой неразлученъ; кто тебѣ другъ, тотъ другъ и мнѣ; кто тебѣ врагъ, тотъ и мнѣ врагъ; буду любить твоею любовью, опаляться твоимъ гнѣвомъ, мыслить твоею мыслию! Теперь мнѣ и умирать веселѣе и жить не горько; есть съ кѣмъ жить, за кого умереть!

— Максимъ, — сказалъ Серебряный, глубоко тронутый: — видитъ Богъ, и я тебѣ всю душой учинился братомъ; не хочу разлучаться съ тобою до скончанія живота!

— Спасибо, спасибо, Никита Романычъ, и не слѣдъ намъ разлучаться! Коли, дастъ Богъ, останемся живы, подумаемъ хорошенько, поищемъ вмѣстѣ, что бы намъ сдѣлать для родины, какую службу святой Руси сослужить? Быть того не можетъ, чтобы все на Руси пропало, чтобъ ужъ нельзя было и царю служить иначе, какъ въ опричникахъ!

Максимъ говорилъ съ непривычнымъ жаромъ, но вдругъ остановился и схватилъ Серебрянаго за руку.

Пронзительный визгъ раздался въ отдаленіи. Воздухъ какъ будто задрожалъ, земля затряслась; смутные крики, невнятный гулъ пронеслись отъ татарскаго стана, и нѣсколько коней, грива дыбомъ, проскакали мимо Серебрянаго и Максима.

— Пора! — сказалъ Серебряный, садясь въ сѣдло, и вынулъ саблю. — Чуръ, меня слушаться, ребята, не сбиваться въ кучу, не разсыпаться врозь, каждый знай свое мѣсто! Съ Богомъ, за мной!

Разбойники вспрягнули съ земли.

— Пора, пора! — раздалось во всѣхъ рядахъ. — Слушаться князя!

И вся толпа двинулась за Серебрянымъ и перевалилась черезъ холмъ, заграждавшій имъ дотолѣ непріятельскіе костры.

Тогда новое неожиданное зрѣлище поразило ихъ очи.

Справа отъ татарскаго стана змѣился по степи огонь, и неправильные узоры его, постепенно расширяясь и сливаясь вмѣстѣ, ползли все ближе и ближе къ стану.

— Ай-да Перстень! — вскричали разбойники: — ай-да наши! Вишь, зажгли степь, пустили огонь по вѣтру, прямо на басурмановъ!

Пожаръ росъ съ неимоверною быстротой; вся степь по правую сторону стана обратилась въ огненное море, и вскорѣ волны его охватили крайнія кибитки и озарили станъ, похожій на встревоженный муравейникъ.

Татары, спасаясь отъ огня, бѣжали въ безпорядкѣ навстрѣчу разбойникамъ.

— На нихъ, ребята! — загремѣлъ Серебряный: — топчите ихъ въ воду, гоните въ огонь!

Дружный крикъ отвѣчалъ князю; разбойники бросились на татаръ, и закипѣла рѣзня.

Когда солнце взошло, бой еще продолжался, но поле было усѣяно убитыми татарами.

Тѣснимые съ одной стороны пожаромъ, съ другой—дружной Серебрянаго, враги не успѣли опомниться и кинулись къ топкимъ берегамъ рѣчки, и дѣ многие утонули. Другіе погибли въ огнѣ или задохлись въ дыму. Испуганные табуны съ самаго начала бросились на станъ, переломали кибитки и привели татаръ въ такое смятеніе, что они давили друга друга и рѣзались между собою, думая отбивать непріятеля. Одна часть успѣла прорваться черезъ огонь и разсѣялась въ безпорядкѣ по степи. Другая, собранная съ трудомъ самимъ ширинскимъ мурзою Шихматомъ, переплыла черезъ рѣчку и построилась на другомъ берегу. Тысячи стрѣлъ сыпались оттуда на торжествующихъ русскихъ. Разбойники, не имѣя другого оружія, кромѣ рукопашнаго, и видя стрѣляющихъ враговъ, защищенныхъ топкою рѣчкой, не выдержали и смѣшались.

Напрасно Серебряный просьбами и угрозами старался удержать ихъ. Уже отряды татаръ начали, подъ прикрытіемъ стрѣлъ, обратно переплывать рѣчку, грозя ударить Серебряному въ тылъ, какъ Перстень явился внезапно возлѣ князя. Смуглое лицо его разгорѣлось, рубаха была изодрана, съ ножа капала кровь.

— Стойте, други! стойте, ясные соколы!—закричалъ онъ на разбойниковъ:—аль глаза вамъ запорошило? Аль не видите: къ намъ подмога идетъ?

Въ самомъ дѣлѣ, на противоположномъ берегу подвигалась рать въ боевомъ порядкѣ; ея копья и бердыши сверкали въ лучахъ восходящаго солнца.

— Да это тѣ же татары!—сказалъ кто-то.

— Самъ ты татаринъ!—возразилъ Перстень, негодуя.— Развѣ такъ идетъ орда? Развѣ бываетъ, чтобы татары шли пѣшіе? А этого не видишь впереди на сѣромъ конѣ? Развѣ на немъ татарская брѣнь?

— Православные идутъ!—раздалось между разбойниками.—Стойте, братцы, православные къ намъ на помощь идутъ!

— Видишь, князь,—сказалъ Перстень:—они, вражди дѣти, и стрѣляютъ-то ужъ не такъ густо, значить, сме-

кнули, въ чемъ дѣло! А какъ схватится съ ними та дружина, я покажу тебѣ бродъ, перейдемъ да и ударимъ на нихъ сбоку!

Новая рать подвигалась все ближе, и уже можно было распознать ея вооруженіе и одежду, почти столь же разнообразную, какъ и на разбойникахъ. Надъ головами ратниковъ болтались цѣпы, торчали косы и рогатины. Они казались наскоро вооруженными крестьянами, и только на передовыхъ были одноцвѣтные кафтаны, а въ рукахъ ихъ свѣтились бердыши и копья. Тутъ же ѣхало человѣкъ сто вершниковъ, также въ одноцвѣтныхъ кафтанахъ. Предводитель этой дружины былъ стройный молодой человѣкъ. Изъ-подъ сверкающаго шлема висѣли у него длинные русые волосы. Онъ ловко управлялъ конемъ, и конь, серебристо-сѣрой масти, то взвивался на дыбы, то шелъ, красуясь, ровнымъ шагомъ и ржалъ навстрѣчу непріятелю.

Туца стрѣлъ встрѣтила вождя и дружину.

Между тѣмъ Никита Романовичъ вмѣстѣ съ своими перешелъ рѣчку вбродъ и врѣзался въ толпу враговъ, на которыхъ въ то же время наперла съ другой стороны вновь пришедшая подмога.

Ужъ съ часъ кипѣла битва.

Серебряный на мгновеніе отъѣхалъ къ рѣчкѣ напоить коня и перетянуть подпруги. Максимъ увидѣлъ его и подскакалъ къ нему.

— Ну, Никита Романычъ, — сказалъ онъ весело: — видно, Богъ стоитъ за святую Русь. Смотри, коли наша не возьметъ!

— Да, — отвѣтилъ Серебряный: — спасибо вонъ тому боярину, что подоспѣлъ къ намъ на прибавку. Вишь какъ рубить вправо и влѣво! Кто онъ таковъ? Я какъ будто видалъ его гдѣ-то?

— Какъ, Никита Романычъ, ты не призналъ его?

— А ты его развѣ знаешь?

— Мнѣ-то какъ не знать его, Богъ съ нимъ! Много грѣховъ отпустится ему за нынѣшній день. Да вѣдь и ты знаешь его, Никита Романычъ. Это Оедька Басмановъ.

— Басмановъ? Этотъ? Неужто онъ?

— Онъ самый, и на себя непохожъ сталъ. Бывало — и подумать соромно — въ лѣтникѣ, словно дѣвушка, плясывалъ; а теперь, видно, разобрало его; поднялъ крестьянъ и дворовыхъ и напалъ на татаръ; должно-быть, и въ немъ русскій духъ заговорилъ. А сила-то откуда взялась, по-

думаешь! Да какъ и не переѣниться въ этакой день,— продолжалъ Максимъ съ одушевленіемъ, и глаза его блистали радостью.— Повѣришь ли, Никита Романычъ, я самъ себя не узнаю. Когда ушелъ я изъ слободы, все казалось, что не долго уже доводится жить на свѣтѣ. Тянуло помѣряться съ нехристями, только не съ тѣмъ, чтобы побить ихъ,—на то, думалъ, найдутся лучше меня,— а съ тѣмъ, чтобы сложить голову на татарскую саблю. А теперь не то: теперь мнѣ хочется жить! Слышишь, Никита Романычъ, когда вѣтеръ относитъ бранный гулъ, какъ на небѣ жаворонки звенять? Вотъ такъ же весело звенить и у меня на сердцѣ! Такая чуется сила и охота, что цѣлый вѣкъ показался бы коротокъ. И чего ни передумалъ я съ тѣхъ поръ, какъ заря занялась! Такъ стало мнѣ ясно, такъ понятно, сколько добра еще можно сдѣлать на родинѣ! Тебя царь помилуетъ; быть того не можетъ, чтобы не помиловалъ. Пожалуй, еще и полюбитъ тебя. А ты возьми меня къ себѣ; давай вмѣстѣ думать и дѣлать, какъ Адашевъ съ Сильвестромъ. Все, все расскажу тебѣ, что у меня на мысли, а теперь прости, Никита Романычъ,—пора опять туда; кажись, Басманова окружили. Хоть онъ и худой человекъ, а надо выручить!

Серебряный посмотрѣлъ на Максима почти отеческимъ взоромъ.

— Побереги себя, Максимъ,—сказалъ онъ:—не мечись въ сѣчу даромъ; смотри, ты и такъ ужъ въ крови!

— То, должно-быть, вражья кровь,—отвѣтилъ Максимъ, весело посмотрѣвъ на свою рубаху:—а на мнѣ и царапины нѣтъ: твой крестъ соблюлъ меня!

Въ это время притаившійся въ камышахъ татаринъ выползъ на берегъ, натянулъ лукъ и пустилъ стрѣлу въ Максима.

Зазвенѣлъ тугой татарскій лукъ, спѣла тетива, провизжала стрѣла, угодила Максиму въ бѣлу грудь, угодила, каленая, подъ самое сердце. Закачался Максимъ на сдѣлѣ, ухватился за конскую гриву; не хочется пасть доброму молодцу, но dospѣлъ ему часъ, на роду написанный, и свалился онъ на сыру-землю, зацѣпя стремя ногою. Поволокъ его конь по чисту полю, и летитъ Максимъ, лежа навзничъ, раскидавъ бѣлыя руки, и метутъ его кудри мать сыру-землю, и бѣжитъ за нимъ по полю кровавый слѣдъ.

Придетъ въ слободу вѣсть недобрая, разрыдается мать

Максимова, что не стало ей на поминъ души поминщика и некому ея старыхъ очей закрыть. Разрыдается слезами горючими: не воротить своего дѣтища!

Придетъ въ слободу вѣсть недобрая, заскрежещетъ Малюта зубами, налетитъ на плѣнныхъ татаръ, насѣчетъ въ тюрьмахъ копны головъ и упьется кровью до жадной души: не воротить своего дѣтища!

Забыль Серебряный и битву и татаръ; не видитъ онъ, какъ Басмановъ гонить нехристей, какъ Перстень съ разбойниками перенимають бѣгущихъ,—видитъ только, что конь волочить по полю его названнаго брата. И вскочилъ Серебряный въ сѣдло, поскакалъ за конемъ, и, поймавъ его за узду, спрянулъ на землю и высвободилъ Максима изъ стремени.

— Максимъ, Максимъ!—сказалъ онъ, ставъ на колѣни и приподнявъ его голову:—живъ ли ты, названный братъ мой? Открой очи, дай мнѣ отвѣдь!

И Максимъ открылъ туманныя очи и протянулъ къ нему руки.

— Прости, названный братъ мой! Не довелось пожить намъ вмѣстѣ. Сдѣлай же одинъ, что хотѣли мы вдвоемъ сдѣлать!

— Максимъ,—сказалъ Серебряный, прижимая губы къ горячему челу умирающаго:—не заповѣдаешь ли мнѣ чего?

— Отвези матери послѣдній поклонъ мой, скажи ей, что я умеръ, ее поминая...

— Скажу, Максимъ, скажу,—отвѣтилъ Серебряный, едва удерживаясь отъ слезъ.

— А крестъ,—продолжалъ Максимъ:—тотъ, что на мнѣ, отдай ей... а мой носи на память о братѣ твоёмъ...

— Братъ мой,—сказалъ Серебряный:—нѣтъ ли еще чего на душѣ у тебя? Нѣтъ ли какой зазнобы въ сердцѣ? Не стыдись, Максимъ: кого еще жаль тебѣ, кромѣ матери?

— Жаль мнѣ родины моей, жаль святой Руси! Любилъ я ее не хуже матери, а другой зазнобы не было у меня!

Максимъ закрылъ глаза. Лицо его горѣло, дыханіе дѣлалось чаще.

Черезъ нѣсколько мгновеній онъ опять взглянулъ на Серебрянаго.

— Братъ,—сказалъ онъ:—кабы мнѣ напиться воды, да постуденѣ!

Рѣка была недалеко. Князь всталъ, зачерпнулъ въ шлемъ воды и подалъ Максиму.

— Теперь какъ будто полегчало,—сказаль умирающій.—Приподыми меня, помоги перекреститься!

Князь приподнял Максима. Онъ повелъ кругомъ уга-сающимъ взоромъ, увидѣль бѣгущихъ татаръ и улыбнулся.

— Я говорилъ, Никита Романычъ, что Богъ стоитъ за насъ... Смотри, какъ они разсыпались... А у меня ужъ и въ глазахъ темнѣть... Охъ, не хотѣлось бы умереть теперь!..

Кровь хлынула изъ усть его:

— Господи, прими мою душу!—проговориль Максимъ и упалъ мертвый.

ГЛАВА XXVII.

Басмановъ.

Люди Басманова и разбойники окружили Серебрянаго.

Татары были разбиты на-голову; многіе отдались въ плѣнъ, другіе бѣжали. Максиму вырыли могилу и похоронили его честно. Между тѣмъ Басмановъ велѣлъ раскинуть на берегу рѣчки свой персидскій шатерь, а дворецкій его, одинъ изъ начальныхъ людей рати, доложилъ Серебряному, что бояринъ бьетъ ему челомъ, просить не побрезгать походнымъ обѣдомъ.

Лежа на шелковыхъ подушкахъ, Басмановъ, уже расчесанный и надушенный, смотрѣлся въ зеркало, которое держаль передъ нимъ молодой стреманный, стоя на ко-лѣняхъ. Видъ Басманова являль странную смѣсь лукавства, надменности, изнѣженнаго разврата и безпечной удалы; и сквозь эту смѣсь проглядывало то недоброжелательство, которое никогда не покидало опричника при видѣ земскаго. Предполагая, что Серебряный долженъ презирать его, онъ, даже исполняя долгъ гостепрѣимства, придумываль заранѣ, какъ бы отомстить гостю, если тотъ неравно выкажетъ свое презрѣніе. При входѣ Серебрянаго, Басмановъ привѣтствовалъ его наклоненіемъ головы, но не тронулся съ мѣста.

— Ты раненъ, Ѳедоръ Алексѣичъ?—спросиль Серебряный простодушно.

— Нѣтъ, не раненъ,—сказаль Басмановъ, принимая эти слова за насмѣшку и рѣшившись встрѣтить ее безстыдствомъ:—нѣтъ, не раненъ, а только уморился немного, да вотъ лицо какъ будто загорѣло. Какъ думаешь, князь,—прибавиль онъ, продолжая смотрѣться въ зеркало и по-

правляя свои жемчужныя серьги:—какъ думаешь, скоро сойдетъ загаръ?

Серебряный не зналъ, что и отвѣчать.

— Жаль, — продолжалъ Басмановъ: — сегодня не поспѣемъ въ баню; до вотчины моей будетъ версть тридцать, а завтра, князь, милости просимъ, угощу тебя лучше тепершняго, увидишь мои хороводы: дѣвки всѣ на подборъ, а парни—старшему двадцати не будетъ.

Говоря это, Басмановъ сильно картавилъ.

— Спасибо, бояринъ, я спѣшу въ слободу, — отвѣчалъ сухо Серебряный.

— Въ слободу? Да вѣдь ты никакъ изъ тюрьмы убѣжалъ?

— Не убѣжалъ, Ѳедоръ Алексѣичъ, а увели меня насильно. Давши слово царю, я самъ бы не ушелъ, и теперь опять отдаюсь на его волю.

— Тебѣ, стало, хочется на висѣлицу? Вольному воля, спасенному рай! А я ужъ не знаю, вернуться ли мнѣ?

— Что такъ, Ѳедоръ Алексѣичъ?

— Да что!—сказалъ Басмановъ, предаваясь досадѣ или, можетъ-быть, желая только внушить Серебряному довѣріе:—служишь царю всею правдой, отдаешь ему и душу и плоть, а онъ, того и смотри, посадить тебѣ какого-нибудь Годунова на голову!

— Да тебя-то, кажется, жалуетъ царь.

— Жалуетъ! До сей поры и окольниковъ сдѣлать не хочетъ. А ужъ, кажется, я ли ему не холопъ. Небось, Годуновъ не по-моему служить. Этотъ бережетъ себя, какъ бы земскіе про него худо не подумали. «Эй, Борисъ, ступай въ застѣнокъ, боярина допрашивать!»—Иду, государь, только какъ-бы онъ не провелъ меня: я къ этому дѣлу не привыченъ, прикажи Григорью Лукьянычу со мною идти!—«Эй, Борисъ, вонъ за тѣмъ столомъ земскій бояринъ мало пьетъ, поднеси ему вина, — разумѣешь?»—Разумѣю, государь, да только онъ на меня подозрѣніе держать, ты бы лучше Ѳедьку Басманова послалъ!—А Ѳедька не отговаривается, куда пошлютъ, туда и идетъ. Поведи лишь царь очами, брата родного отравилъ бы, и не спросилъ бы, за что. Помнишь, какъ я тебѣ за столомъ чашу отъ Ивана Васильевича-то поднесъ? Вѣдь я думалъ—она съ ядомъ, ей-Богу, думалъ!

Серебряный усмѣхнулся.

— А гдѣ ему, — продолжалъ Басмановъ, какъ бы под-

стрекаемый къ большей наглости:—гдѣ ему найти слугу краше меня? Видалъ ли ты такія брови, какъ у меня? Чѣмъ эти брови не соболи? А волосы-то? Тронь, князь, пощупай; вѣдь шелкъ, право-ну, шелкъ!

Отвращеніе выразилось на лицѣ Серебрянаго. Басмановъ это замѣтилъ и продолжалъ, какъ будто желая поддразнить своего гостя:

— А руки-то мои, посмотри, князь, чѣмъ онѣ не дѣвичьи? Только вотъ сегодня намозолилъ маленько. Такой ужъ у меня нравъ, ни въ чемъ себя не жалѣю!

— И подлинно не жалѣешь,—сказалъ Серебряный, не въ силахъ болѣе сдерживать своего негодованія:—коли все тѣ правда, что про тебя говорятъ...

— А что же про меня говорятъ?—подхватилъ Басмановъ, лукаво прищурясь.

— Да ужъ и того бы довольно, что ты самъ рассказываешь; а то говорятъ про тебя, что ты передъ царемъ, прости Господи, какъ дѣвушка, въ лѣтникѣ пляшешь!

Краска бросилась въ лицо Басманову, но онъ призвалъ на помощь свое обычное безстыдство.

— А что-жъ,—сказалъ онъ, принимая безпечный видъ:—если и въ самомъ дѣлѣ пляшу?

— Тогда прости,—сказалъ Серебряный:—мнѣ не только съ тобой обѣдать, но и смотрѣть на тебя соромно!

— Ага!—вскричалъ Басмановъ, и поддѣльная безпечность его исчезла, а глаза засверкали, и онъ уже забылъ картавить.—Ага! выговорилъ наконецъ! Я знаю, что вы всѣ про меня думаете! Да мнѣ, вотъ видишь ли, на всѣхъ васъ наплевать!

Брови Серебрянаго сдвинулись и рука опустилась—было на крыжъ его сабли, но онъ вспомнилъ, съ кѣмъ говорить, и только пожалъ плечами.

— Да что ты за саблю-то хватаешься?—продолжалъ Басмановъ.—Меня этимъ не испугаешь. Какъ самъ примусь за саблю, такъ еще посмотримъ, чья возьметъ!

— Прости!—сказалъ Серебряный и приподнял завѣсу шатра, чтобы выйти.

— Слушай!—вскричалъ Басмановъ, хватая его за полу кафтана:—кабы на меня кто другой такъ посмотрѣлъ, я, видитъ Богъ, не спустилъ бы ему, но съ тобой ссориться не хочу: больно хорошо татаръ рубишь!

— Да и ты,—сказалъ добродушно Серебряный, оставиваясь у входа и вспомнивъ, какъ дрался Басма-

новъ:—да и ты не хуже меня рубилъ ихъ. Что-жь ты опять вздумалъ ломаться, словно баба какая!

Лицо Басманова опять сдѣлалось безпечно.

— Ну, не сердись, князь! Я вѣдь не всегда таковъ былъ; а въ свободѣ, самъ знаешь, поневолѣ всему научишься!

— Грѣшно, Ѳеодоръ Алексѣичъ! Когда сидишь ты на конѣ съ саблей въ рукѣ, сердце, глядя на тебя, радуется. И доблесть свою показалъ ты сегодня, любо смотрѣть было. Брось же свой бабій обычай, остриги волосы, какъ Богъ велитъ, сходи на покаяніе въ Кіевъ, или въ Соловки, да и вернись на Москву христіаниномъ!

— Ну, не сердись, ще сердись, Никита Романычъ! Сядь сюда, пообѣдай со мной! Вѣдь я не пѣсъ же какой, есть и хуже меня; да и не все то правда, что про меня говорятъ; не всякому слуху вѣрь. Я и самъ иногда съ досады на себя наклеплю!

Серебряный обрадовался, что можетъ объяснить поведеніе Басманова въ лучшую сторону.

— Такъ это неправда,—поспѣшилъ онъ спросить:—что ты въ лѣтникѣ плясалъ?

— Эхъ, дался тебѣ этотъ лѣтникъ! Развѣ я по своей охотѣ его надѣваю? Иль ты не знаешь царя? Да и что мнѣ, въ святые себя прочить, что ли? Ужъ я и такъ въ свободѣ пощусь ему въ угожденіе; ни одной заутрени не проспалъ; каждую среду и пятницу по сту земныхъ поклоновъ кладу; какъ еще лба не расшибъ! Кабы тебѣ пришлось по цѣлымъ недѣлямъ въ стихарѣ ходить, небось, и ты-бъ для перемѣны лѣтникъ надѣлъ!

— Скорѣй пошелъ бы на плаху!—сказалъ Серебряный.

— Ой ли?—произнесъ насмѣшливо Басмановъ и, бросивъ злобный взглядъ на князя, онъ продолжалъ съ видомъ довѣрчивости:—А ты думаешь, Никита Романычъ, мнѣ весело, что по царской милости меня ужъ не Ѳеодоромъ, а Ѳеодорой величаютъ? И еще бы какая прибыль была мнѣ отъ этого! А то вся прибыль ему, а мнѣ—одинъ соромъ! Вотъ хоть намедни, ѣду вспольемъ мимо Дорогомиловской слободы, анъ мужичье-то пальцами на меня показываютъ, а кто-то еще закричи изъ толпы: «Эвотъ царская Ѳеодра ѣдетъ!» Я было напустился на нихъ, да разбѣжались. Прихожу къ царю, говорю:—такъ и такъ, не вели, говорю, дорогомилловцамъ холопа твоего корить; вотъ ужъ одинъ меня Ѳеодорой назвалъ. «А кто на-

зваль?»—Да кабы зналъ, кто, не пришелъ бы докучать тебѣ,—самъ бы зарѣзаль его. «Ну, говорить, возьми изъ моихъ кладовыхъ сорокъ соболей на душегрѣйку».—А на что она мнѣ! Небось, ты не надѣнешь душегрѣйки на Годунова, а чѣмъ я хуже его?—«Да что же тебѣ, Оедя, пожаловать?»—А пожалуй меня окольниковымъ, чтобъ люди въ глаза не корили!—«Нѣтъ, говорить, окольниковымъ тебѣ не бывать; ты мнѣ потѣшникъ, а Годуновъ совѣтникъ; тебѣ казна, а ему почетъ. А что дорогомиловцы тебя Оедрой назвали, такъ отписать за то всю Дорогомилловщину на мой царскій обиходъ!» Вотъ тебѣ и потѣшникъ! Да съ тѣхъ поръ, какъ бросили Москву, и потѣхи-то не было. Все постились да Богу молились. Со скуки ужъ въ вотчину отпросился, да и тамъ надоѣло. Не вѣкъ же зайцевъ да перепеловъ травить! Поневолю обрадовался, какъ вѣсть про татаръ пришла. А вѣдь хорошо мы ихъ отколотили, ей-Богу, хорошо! Довольно и полону пригонимъ къ Москвѣ! Да, я-было и забылъ про полонъ! Стрѣляешь ты изъ лука, князь?

— А что?

— Да такъ. Послѣ обѣда привяжемъ татарина шагахъ во ста: кто первый въ сердце попадетъ. А что не въ сердце, то не въ почетъ. Околѣеть, другого привяжемъ.

Открытое лицо Серебрянаго омрачилось.

— Нѣтъ,—сказаль онъ:—я въ связанныхъ не стрѣляю.

— Ну, такъ велимъ ему бѣжать: кто первый на бѣгу свалить.

— И того не стану, да и тебѣ не дамъ! Здѣсь, слава Богу, не Александрова слобода!

— Не дашь?—вскричалъ Басмановъ, и глаза его снова загорѣлись; но, вѣроятно, не вошло въ его расчетъ ссориться съ княземъ, и, внезапно перемѣнивъ приемы, онъ сказаль ему весело:—Эхъ, князь! Развѣ не видишь, я шучу съ тобой! И про дѣтчикъ ты повѣрилъ! Вотъ ужъ полчаса я потѣшаюсь, а ты, что ни скажу, все за правду принимаешь! Да мнѣ хуже, чѣмъ тебѣ, слободской обычай постыль! Развѣ, ты думаешь, я лажу съ Грязнымъ, али съ Вяземскимъ, али съ Малютой? Вотъ-те Христось, они у меня какъ бѣльмо на глазу! Слушай, князь,—продолжалъ онъ вкрадчиво:—знаешь ли что? Дай мнѣ первому въ слободу вернуться, я тебѣ выпрошу прощеніе у царя, а какъ войдешь опять въ милость, тогда и ты сослужи мнѣ службу. Стоитъ только шепнуть царю сперва

про Вяземскаго, а тамъ про Малюту, а тамъ и про другихъ, такъ посмотри, коли мы съ тобой не останемся самъ-другъ у него въ приближеніи. А я уже знаю, что ему про кого сказать, да только лучше, чтобъ онъ со стороны услышалъ. Я тебя научу, какъ говорить, ты мнѣ спасибо скажешь!

Странно сдѣлалось Серебряному въ присутствіи Басманова. Храбрость этого человѣка и полувывысказанное сожалѣніе о своей постыдной жизни располагали къ нему Никиту Романовича. Онъ даже готовъ былъ подумать, что Басмановъ въ самомъ дѣлѣ передъ этимъ шутилъ или съ досады клепалъ на себя, но послѣднее предложеніе его, сдѣланное, очевидно, не въ шутку, возбудило въ Серебряномъ прежнее отвращеніе.

— Ну,—сказалъ Басмановъ, нагло смотря ему въ глаза:—пополамъ, что ли, царскую милость? Что-жь ты молчишь, князь? Аль не вѣришь мнѣ?

— Ѳедоръ Алексѣичъ,—сказалъ Серебряный, стараясь умѣрить свое негодованіе и быть повѣжливѣе къ угощавшему его хозяину:—Ѳедоръ Алексѣичъ, вѣдь то, что ты затѣялъ, оно... какъ бы тебѣ сказать? вѣдь это...

— Что?—спросилъ Басмановъ.

— Вѣдь это скаредное дѣло!—выговорилъ Серебряный и подумалъ, что, смягчивъ голосъ, онъ скрасилъ свое выраженіе.

— Скаредное дѣло!—повторилъ Басмановъ, перемогая злобу и скрывая ее подъ видомъ удивленія:—да ты забылъ, про кого я тебѣ говорю! Развѣ ты мыслишь къ Вяземскому или къ Малютѣ?

— Громъ Божій на нихъ и на всю опричнину!—сказалъ Серебряный.—Пусть только царь дастъ мнѣ говорить, я при нихъ открыто скажу все, что думаю и что знаю, но шептать не стану ему ни про кого, а колыми наче съ твоихъ словъ, Ѳедоръ Алексѣичъ!

Ядовитый взглядъ блеснулъ изъ-подъ рѣсницъ Басманова.

— Такъ ты не хочешь, чтобъ я съ тобою царскою милостью подѣлился?

— Нѣтъ,—отвѣчалъ Серебряный.

Басмановъ повѣсилъ голову, схватился за нее обѣими руками и сталъ перекачиваться со стороны на сторону.

— Охъ, сирота, сирота я!—заговорилъ онъ нараспѣвъ, будто бы плача:—сирота я горькая, горемычная! Съ

тѣхъ поръ, какъ разлюбилъ меня царь, всѣхъ только и коровить, какъ бы обидѣть меня! Никто не приласкаетъ, никто не приголубитъ, всѣ такъ на меня и плюютъ! Ой, житье мое, житье нерадостное! Надоѣло ты мнѣ, собачье житье! Захлесну поясокъ за перекладину, продѣну въ петельку головушку безталанную!

Серебряный съ удивленіемъ смотрѣлъ на Басманова, который продолжалъ голосить и причитывать, какъ бабы на похоронахъ, и только иногда, украдкой, вскидывалъ исподлобья свой наглый взоръ на князя, какъ бы желая уловить его впечатлѣніе.

— Тѣфу!—сказалъ наконецъ Серебряный и хотѣлъ было выйти, но Басмановъ опять поймалъ его за полу.

— Эй!—закричалъ онъ:—пѣсенниковъ!

Вошло нѣсколько человѣкъ, вѣроятно, ожидавшихъ сна-ружи. Они загородили выходъ Серебряному.

— Братцы,—началъ Басмановъ прежнимъ плаксивымъ голосомъ:—затяните-ка пѣсенку, да пожалобиѣе, затяните такую, чтобы душа моя встосковалась, надорвалась да и разлучилась бы съ тѣломъ!

Пѣсенники затянули длинную заунывную пѣсню, въ родѣ похоронной, въ продолженіе которой Басмановъ все переваливался со стороны на сторону и приговаривалъ:

— Протяжниѣе, протяжниѣе! Еще протяжниѣе, други! Отпѣвайте своего боярина, отпѣвайте! Вотъ такъ! Вотъ хорошо! Да что-жь душа не хочетъ изъ тѣла вонъ? Иль не насталъ еще часъ ея? Или написано мнѣ еще на свѣтѣ помяться? А коли написано, такъ надо маяться! А коли сказано жить, такъ надо жить!.. Плясовую!—крикнулъ онъ вдругъ, безъ всякаго перехода, и пѣсенники, привыкшіе къ такимъ переменамъ, грянули плясовую.

— Живѣй!—кричалъ Басмановъ и, схвативъ двѣ серебряныя стопы, началъ стучать ими одна о другую.—Живѣй, соколы! Живѣй, бѣсовы дѣти! Я васъ, разбойники!

Вся наружность Басманова измѣнилась. Ничего женоподобнаго не осталось на лицѣ его. Серебряный узналъ того удалца, который утромъ бросался въ самую сѣчу и гналъ передъ собою толпы татаръ.

— Вотъ этакъ-то получше!—проговорилъ князь, одобрительно кивнувъ головой.

Басмановъ весело на него взглянулъ.

— А вѣдь ты опять повѣрилъ мнѣ, князь! Ты подумалъ, я и вправду расхныкался! Эхъ, Никита Романычъ, легко-жъ тебя провести! Ну, выпьемъ же теперь про наше знакомство. Коли поживемъ вмѣстѣ, увидишь, что я не такой, какъ ты думалъ!

Безпечный разгулъ и бѣшеное веселье подѣйствовали на Серебрянаго. Онъ дрянялъ кубокъ изъ рукъ Басманова.

— Кто тебя разберетъ, Ѳеодоръ Алексѣичъ! Я никогда такихъ не видывалъ. Можетъ, и вправду ты лучше, чѣмъ кажешься. Не знаю, что про тебя и думать, но Богъ свелъ насъ на ратномъ полѣ, а потому: во здравіе твое!

И онъ осушилъ кубокъ до дна.

— Такъ, князь! Такъ, душа моя! Видитъ Богъ, я люблю тебя! Еще одну стопу на погибель всѣхъ татаръ, что остались на Руси.

Серебряный былъ крѣпокъ къ вину, но послѣ второй стопы мысли его стали путаться. Напитокъ ли былъ хмельнѣе обыкновеннаго, или подмѣшалъ туда чего-нибудь Басмановъ, но у князя голова заходила кругомъ; заходила кругомъ, и ничего не стало видно Никитѣ Романовичу; слышалась только бѣшенная пѣсня съ присвистомъ и топаніемъ, да голосъ Басманова:

— Живѣй, ребята! Во снѣ, что ли, поете? Кого хороните, воры!

Когда Серебряный пришелъ въ себя, пѣніе еще продолжалось, но онъ уже не стоялъ, а полусидѣлъ, полулежалъ на персидскихъ подушкахъ. Басмановъ старался съ помощью стремяннаго напаялить на него женскій лѣтникъ.

— Надѣвай же свой опашень, бояринъ, — говорилъ онъ: — на дворѣ уже сырѣть начинается!

Пѣсенники въ это время, окончивъ колѣно, переводили духъ.

Въ глазахъ Серебрянаго еще рябило, мысли его еще не совсѣмъ прояснились, и онъ готовъ былъ вздѣть лѣтникъ, принимая его за опашень, какъ среди наставшей тишины послышалось протяжное завыванье.

— Это что? — спросилъ гнѣвно Басмановъ.

— На Скуратова могилѣ дѣсь воетъ! — отвѣтилъ стремянный, выглянувъ изъ шатра.

— Подай сюда лукъ да стрѣлу! Я научу его вить, когда мы съ гостемъ веселимся.

Но при имени Скуратова Серебряный совершенно отрезвился.

— Постой, Федоръ Алексѣичъ, — сказалъ онъ, вставая:—это Максимовъ Буянь; не троить его. Онъ зоветъ меня на могилу моего названнаго брата; не въ мѣру я съ тобой загулялся; прости, пора мнѣ въ путь!

— Да надѣнь же сперва опашень, князь!

— Не на меня шить, — сказалъ Серебряный, распознавая лѣтникъ, который протягивалъ ему Басмановъ:—носи его самъ, какъ доселѣ нашивалъ.

И, не дожидаясь отвѣта, онъ плюнулъ и вышелъ изъ шатра.

За нимъ посыпались проклятія, ругательства и богохульства Басманова; но, не обращая на нихъ вниманія, онъ подошелъ къ могилѣ Максима, положилъ поклонъ своему названному брату и, сопровождаемый Буяномъ, присоединился къ разбойникамъ, которые, подъ начальствомъ Перстня, уже расположились на отдыхъ вокругъ пылающихъ костровъ.

ГЛАВА XXVIII.

Разставаніе.

Едва занялась заря, какъ уже Перстень поднялъ шайку.

— Ребятюшки!—сказалъ онъ разбойникамъ, когда они собрались вокругъ него и Серебрянаго.—Насталъ мнѣ часъ разстаться съ вами. Простите, ребятюшки! Иду опять на Волгу. Не поминайте меня лихомъ, коли я въ чемъ согрубилъ передъ вами.

И Перстень поклонился въ поясъ разбойникамъ.

— Атаманъ!—заговорила въ одинъ голосъ вольница:—не оставляй насъ! Куда мы пойдѣмъ безъ тебя?

— Идите съ княземъ, ребятюшки. Вы вашимъ вчерашнимъ дѣломъ заслужили вины свои; можете опять учиниться, чѣмъ прежде были; а князь не оставитъ васъ!

— Добрые молодцы, — сказалъ Серебряный:— я далъ царю слово, что не буду уходить отъ суда его. Вы знаете, что я изъ тюрьмы не по своей волѣ ушелъ. Теперь долженъ я сдержать мое слово, понести царю мою голову. Хотите-ль идти со мною?

— А простить ли онъ насъ?—спросили разбойники.

— Это въ Божьей волѣ; не хочу васъ обманывать. Можеть, простить, а можеть, и нѣтъ. Подумайте, потолкуйте межъ собою да и скажите мнѣ, кто идетъ и кто остается.

Разбойники переглянулись, отошли въ сторону и начали вполголоса совѣтоваться. Черезъ нѣсколько времени они вернулись къ Серебряному.

— Идемъ съ тобой, коли атаманъ идетъ!

— Нѣтъ, ребяташки, — сказалъ Перстень: — меня не просите. Коли вы и не пойдете съ княземъ, все-жъ намъ дорога не одна. Довольно я погулялъ здѣсь, пора на родину. Да мы же и повздорили немного, а порванную веревку какъ ни вяжи, все узелъ будетъ. Идите съ княземъ, ребяташки, или выберите себѣ другого атамана, а лучше послушайте моего совѣта: идите съ княземъ; не вѣрится мнѣ послѣ нашего дѣла, чтобы царь и его и васъ не простилъ.

Разбойники опять потолковали и, послѣ краткаго совѣщанія, раздѣлилась на двѣ части. Бѣльшая подошла къ Серебряному.

— Веди насъ! — сказали они: — пусть будетъ съ нами, что и съ тобой!..

— А другіе-то что-жъ? — спросилъ Серебряный.

— Другіе выбрали въ атаманы Хлопка, — мы съ нимъ не хотимъ!

— Тамъ всѣ, что похуже, остались, — шепнулъ Перстень князю: — они и дрались-то вчера не такъ, какъ эти!

— А ты, — сказалъ Серебряный: — ни за что не пойдешь со мною?

— Нѣтъ, князь, я не то, что другіе. Меня царь не проститъ: не таковы мои винности. Да, признаться, и соскучился по Ермакъ Тимоѣичъ; вотъ ужъ который годъ не видалъ его. Прости, князь, не поминай лихомъ!

Серебряный сжалъ руку Перстня и обнялъ его крѣпко.

— Прости, атаманъ, — сказалъ онъ: — жаль мнѣ тебя, жаль, что идешь на Волгу; не такимъ бы тебѣ дѣломъ заниматься.

— Кто знаетъ, князь, — отвѣтилъ Перстень, и отважный взоръ его принялъ странное выраженіе: — Богъ не безъ милости, авось и не всегда буду тѣмъ, что теперь!

Разбойники стали приготовляться къ походу.

Когда взошло солнце, на берегу рѣчки уже не было видно ни шатра ни людей Басманова. Федоръ Алексѣевичъ поднялся еще ночью, чтобы первому принести царю извѣстіе объ одержанной побѣдѣ.

Прощаясь съ товарищами, Перстень увидѣлъ возлѣ себя Митьку.

— Прости-жь и ты, губошлёпъ!—сказаль онъ весело:— послужиль ты вчера царю за четверыхъ, не оставить онъ тебя своей милостью!

Но Митька, какъ бы въ недоумѣнїи, почесаль затылокъ.

— Ну, что?—спросиль Перстень.

— Ничаво!—отвѣчаль лѣниво Митька, почесывая одной рукой затылокъ, другую поясницу.

— Ну, ничего такъ ничего!—И Перстень уже было отошелъ, какъ Митька, собравшись съ духомъ, сказалъ протяжно:

— Атаманъ, а, атаманъ!

— Что?

— Я въ слободу не хочу!

— Куда же ты хочешь?

— А съ тобой!

— Нельзя со мной; я на Волгу иду.

— Ну и я на Волгу!

— Зачѣмъ же не съ княземъ?

Митька подвинулъ одну ногу впередъ и устоялся, какъ бы въ замѣшательствѣ, на свой лапоть.

— Опричниковъ, что ли, боишься?—спросиль насмѣшливо Перстень.

Митька сталъ почесывать то затылокъ, то бока, то поясницу, но не отвѣчаль ничего.

— Мало ты ихъ видѣль?—продолжалъ Перстень:— съѣли они тебя, что ли?

— Нявѣсту взяли!—проговориль нѣхотя Митька.

Перстень засмѣялся.

— Вишь, злопамятный! Не хочеть съ ними хлѣба-соли вести! Ну, примкнись къ Хлопку.

— Не хочу!—сказаль рѣшительно Митька:—хочу съ тобой на Волгу!

— Да я не прямо на Волгу!

— Ну и я не прямо!

— Куда-жь ты?

— А куда ты, туда и я!

— Эхъ, присталь какъ банный листъ! Такъ знай же, что мнѣ сперва надо въ слободѣ побывать!

— Зачѣмъ?—спросиль Митька и выпучиль глаза на атамана.

— Зачѣмъ! Зачѣмъ!—повториль Перстень, начиная терпѣние:—зачѣмъ, что я тамъ прошлаго года орѣхи грызъ, скорлупу забылъ!

Митька посмотрѣлъ-было на него съ удивленіемъ; но тотчасъ же усмѣхнулся и растянулъ ротъ до самыхъ ушей, а отъ глазъ пустилъ по вискамъ лучеобразныя морщины и придалъ лицу своему самое хитрое выраженіе, какъ бы желая сказать: меня, братъ, надуть не такъ-то легко; я очень хорошо знаю, что ты идешь въ слободу не за орѣховою скорлупою, а за чѣмъ-нибудь другимъ!

Однако онъ этого не сказалъ, а только повторилъ, усмѣхаясь:

— Ну и я съ тобой!

— Чтò съ нимъ будешь дѣлать!—сказалъ Перстень, пожимая плечами.—Видно, ужъ не отвязаться отъ него; такъ и быть, иди со мной; дурень, только послѣ не пеняй на меня, коли тебя повѣсятъ!

— А хоча и повѣсятъ!—отвѣчалъ Митька равнодушно.

— Ладно, парень. Вотъ за это люблю! Прощайся же скорѣй съ товарищами да и въ путь!

Заспанное лицо Митьки не оживилось; но онъ тотчасъ же началъ неуклюже подходить къ товарищамъ и каждого, хотѣвшаго и не хотѣвшаго, чмокнулъ по три раза, кого добровольно, кого насильно, кого загрѣбая за плечи, кого ухвативъ за голову.

— Атаманъ,—сказалъ Серебряный:—стало, мы съ тобой по одной дорогѣ?

— Нѣтъ, бояринъ. Гдѣ я пройду, тамъ тебѣ не проѣхать. Я въ слободѣ буду прежде тебя, и если бы мы встрѣтились, ты меня не узнавай; а, впрочемъ, мы и не встрѣтимся: я до твоего пріѣзда уйду; надо только кое-какія дѣла покончить.

Серебряный догадался, что у Перстня было кое-что спрятано или зарыто въ окрестностяхъ слободы, и не настаивалъ.

Вскорѣ два отряда потянулись по двумъ разнымъ направлениямъ.

Большій шелъ за Серебрянымъ вдоль рѣчки по зеленому лугу, еще покрытому слѣдами вчерашней битвы, и за нимъ, повѣся голову и хвостъ, тащился Буянъ. Онъ часто подбѣгалъ къ Серебряному, жалобно повизгивалъ и потомъ оборачивался на свѣжій могильный холмъ, пока наконецъ не скрыли его изъ виду высокіе камыши.

Другой меньшій отрядъ пошелъ за Хлопко.

Перстень удалился въ третью сторону, а за нимъ, не

спѣша и переваливаясь съ боку на бокъ, послѣдовать Митька.

Опустѣла широкая степь, и настала на ней прежняя тишина, какъ будто бранный гулъ и не возмущалъ ея наканунѣ. Только кое-гдѣ паслись разбѣжавшіеся татарскіе кони, да валялись по пожарищу разбросанные доспѣхи. Вдоль цвѣтушаго берега рѣчки жаворонки попрежнему звенѣли въ небесной синевѣ, лыски перекликались въ густыхъ камышахъ, а мелкія птички перепархивали, чиркая, съ тростника на тростникъ, или, заливаясь пѣснями, садились на пернатыхъ стрѣлы, вонзившіяся въ землю во время битвы и торчавшія теперь на зеленомъ лугу, межъ болотныхъ цвѣтовъ, какъ будто бы и онѣ были цвѣты и росли тамъ ужъ Богъ знаетъ сколько времени.

ГЛАВА XXIX.

Очная ставка.

Съ недѣлю послѣ пораженія татаръ царь принималъ въ своей опочивальнѣ Басманова, только-что прибывшаго изъ Рязани. Царь зналъ уже о подробностяхъ битвы, но Басмановъ думалъ, что объявить о ней первый. Онъ надѣялся приписать себѣ одному всю честь побѣды и считывалъ на дѣйствіе своего разказа, чтобы войти у царя въ прежнюю милость.

Иванъ Васильевичъ слушалъ его со вниманіемъ, перебирая четки и опустивъ взоръ на алмазное кольцо, которымъ былъ украшенъ указательный перстъ его; но, когда Басмановъ, окончивъ разказъ и тряхнувъ руками, сказалъ съ самодовольнымъ видомъ:

— Что-жъ, государь, мы, кажется, постарались для твоей милости!

Иоаннъ поднялъ глаза и усмѣхнулся.

— Не пожалѣли себя,—продолжалъ вкрадчиво Басмановъ:—такъ ужъ и ты, государь, не пожалѣй наградить слугу твоего!

— А чего бы тебѣ хотѣлось, Оедя?—спросилъ Иоаннъ, принимая видъ добродушія.

— Да пожалуй меня хоть окольнымъ, чтобы люди-то не корили.

Иоаннъ посмотрѣлъ на него пристально.

— А чѣмъ мнѣ Серебрянаго пожаловать?—спросилъ онъ неожиданно.

— Опальника-то твоего?—сказалъ Басмановъ, скрывая

свое смущеніе подъ свойственнымъ ему безстыдствомъ:— да чѣмъ же, коли не висѣлицей? Вѣдь онъ ушелъ изъ тюрьмы, да со своими станичниками чуть дѣла не испортилъ. Кабы не переполошилъ онъ татаръ, мы бы ихъ всѣхъ какъ перепеловъ накрыли.

— Полно, такъ ли? А я такъ думаю, что татары тебя въ торока ввязали-бъ, какъ въ тотъ разъ, помнишь? Вѣдь тебѣ ужъ не впервой, дѣло знакомое!

— Знакомое дѣло за тебя горе терпѣть,—продолжалъ Басмановъ дерзко:—а вотъ это незнакомое, чтобы спасибо услышать. Небось, тебѣ и Годуновъ, и Малюта, и Вяземскій не по-моему служить, а награда ты для нихъ не жалѣешь.

— И подлинно, не по-твоему. Гдѣ имъ плясать супротивъ тебя!

— Надѣжа-государь,—отвѣтилъ Басмановъ, теряя терпѣніе:—коли нелюбъ я тебѣ, отпусти меня совсѣмъ!

Басмановъ надѣялся, что Іоаннъ удержитъ его; но отсутствіе изъ слободы, вмѣсто того, чтобы оживить къ нему любовь Іоанна, охладило ее еще болѣе; онъ успѣлъ отъ него отвыкнуть, а другіе любимцы, особенно Малюта, оскорбленный высокомеріемъ Басманова, воспользовались этимъ временемъ, чтобы отвратить отъ него сердце Іоанна.

Разсчетъ Басманова оказался невѣренъ. Замѣтно было, что царь забавляется его досадой.

— Такъ и быть, — сказалъ онъ съ притворною горестью:—хоть и тошно мнѣ будетъ безъ тебя, сиротѣ одинокому, и дѣла-то государскія, пожалуй, замутятся, да ужъ нечего дѣлать, промаюсь какъ-нибудь моимъ слабымъ разумомъ. Ступай себѣ, Федя, на всѣ четыре стороны! Я тебя насильно держать не стану.

Басмановъ не могъ долѣе скрыть своей злобы. Избалованный прежними отношеніями къ Іоанну, онъ далъ ей полную волю.

— Спасибо тебѣ, государь,—сказалъ онъ:—спасибо за твою хлѣбъ-соль! Спасибо, что выгоняешь слугу своего, какъ негоднаго пса! Буду, — прибавилъ онъ неосторожно:—буду хвалиться на Руси твоей лаской! Пусть же другіе послужатъ тебѣ, какъ служила Федора! Много грѣховъ взялъ я на душу на службѣ твоей, одного грѣха не взялъ—колдовства не взялъ на душу!

Иванъ Васильевичъ продолжалъ усмѣхаться, но при послѣднихъ словахъ выраженіе его измѣнилось.

— Колдовства?—спросилъ онъ съ удивленіемъ, готовымъ обратиться въ гнѣвъ:—да кто-жъ здѣсь колдуетъ?

— А хоть бы твой Вяземскій!—отвѣчалъ Басмановъ, не опуская очей передъ царскимъ взоромъ.—Да,—продолжалъ онъ, не смущаясь грознымъ выраженіемъ Іоанна:—тебѣ, видно, одному невѣдомо, что когда онъ бываетъ на Москвѣ, то по ночамъ ѣздитъ въ лѣсъ, на мельницу, колдовать; а зачѣмъ ему колдовать, коли не для того, чтобъ извести твою царскую милость!

— Да тебѣ-то отчего оно вѣдомо?—спросилъ царь, прозяая Басманова испытующимъ окомъ.

На этотъ разъ Басмановъ нѣсколько струсилъ.

— Вѣдь я, государь, вчера только услышалъ отъ его же холопей,—сказалъ онъ поспѣшно:—кабы услышалъ прежде, такъ тогда и доложилъ бы твоей милости.

Царь задумался.

— Ступай,—сказалъ онъ послѣ краткаго молчанія:—я это дѣло разберу; а изъ слободы погоди уѣзжать до моего приказа.

Басмановъ ушелъ, довольный, что успѣлъ заронить въ мнительномъ сердцѣ царя подозрѣніе на одного изъ своихъ соперниковъ, но сильно озабоченный холодностью государя.

Вскорѣ царь вышелъ изъ опочивальни въ приемную палату, сѣлъ на кресло и, окруженный опричниками, сталъ выслушивать поочередно земскихъ бояръ, пріѣхавшихъ отъ Москвы и отъ другихъ городовъ съ докладами. Отдавъ каждому приказанія, поговоривъ со многими обстоятельно о нуждахъ государства, о сношеніяхъ съ иностранными державами и о мѣрахъ къ предупрежденію дальнѣйшаго вторженія татаръ, Іоаннъ спросилъ, нѣтъ ли еще кого просящаго приѣма?

— Бояринъ Дружина Андреевичъ Морозовъ,—отвѣчалъ одинъ стольникъ:—бьетъ челомъ твоей царской милости, просить, чтобы допустилъ ты его предъ твои свѣтлыя очи.

— Морозовъ?—сказалъ Іоаннъ:—да развѣ онъ не сгорѣлъ на пожарѣ? Живучъ старый пѣсъ! Что-жъ? Я снялъ съ него опалу, пусть войдетъ!

Стольникъ вышелъ. Вскорѣ толпа царедворцевъ раздвинулась, и Дружина Андреевичъ, поддерживаемый двумя знакомцами, подошелъ къ царю и опустился передъ нимъ на колѣни.

Вниманіе всѣхъ обратилось на стараго боярина.

Лицо его было блѣдно, дородства много поубавилось, на лбу виденъ былъ шрамъ, нанесенный саблею Вяземскаго; но впалыя очи являли прежнюю силу воли, а на сдвинутыхъ бровяхъ лежалъ попрежнему отпечатокъ непреклоннаго упрямства.

Впреки обычаю двора, одежда его была смирная.

Іоаннъ смотрѣлъ на Морозова, не говоря ни слова. Кто умѣлъ читать въ царскомъ взорѣ, тотъ прочелъ бы въ немъ теперь скрытую ненависть и удовольствіе видѣть врага своего униженнымъ; но поверхностному наблюдателю выраженіе Іоанна могло показаться благосклоннымъ.

— Дружина Андреевичъ,—сказалъ онъ важно, но ласково:—я снялъ съ тебя опалу; зачѣмъ ты въ смирной одеждѣ?

— Государь,—отвѣчалъ Морозовъ, продолжая стоять на колѣняхъ:—непригоже тому рядиться въ парчу; у кого домъ сожгли твои опричники и насильно жену увезли. Государь,—продолжалъ онъ твердымъ голосомъ:—бью тебѣ челомъ въ обидѣ моей на оружничаго твоего Аюньку Вяземскаго!

— Встань,—сказалъ царь:—и разкажи дѣло по-ряду. Коли кто изъ моихъ обидѣлъ тебя, не спущу я ему, будь онъ хотя самый близкій ко мнѣ человѣкъ.

— Государь,—продолжалъ Морозовъ, не вставая:—вели позвать Аюньку. Пусть при мнѣ дастъ отвѣтъ твоей милости!

— Что-жь,—сказалъ царь, какъ бы немного подумавъ:—просьба твоя дѣльная. Отвѣтчикъ долженъ вѣдать, что говоритъ истецъ. Позвать Вяземскаго. А вы,—продолжалъ онъ, обращаясь къ знакомцамъ, отошедшимъ на почтительное разстояніе:—подымите своего боярина, посадите его на скамью; пусть подождетъ отвѣтника.

Со времени нападенія на домъ Морозова прошло болѣе двухъ мѣсяцевъ. Вяземскій успѣлъ оправиться отъ ранъ. Онъ жилъ попрежнему въ слободѣ, но, не вѣдая ничего объ участи Елены, которую ни одинъ изъ его разсыльных не могъ отыскать, онъ былъ еще пасмурнѣе, чѣмъ прежде, рѣдко являлся ко двору, отговариваясь слабостью, не участвовалъ въ пирахъ, и многимъ казалось, что въ пріемахъ его есть признаки помѣшательства. Іоанну не нравилось удаленіе его отъ общихъ молитвъ и общаго веселья; но онъ, зная о неудачномъ похищеніи боярыни,

приписывать поведеніе Вяземскаго мученіямъ любви и былъ къ нему снисходителенъ. Лишь послѣ разговора съ Басмановымъ поведеніе это стало казаться ему неяснымъ. Жалоба Морозова представляла удобный случай вывѣдать многое черезъ очную ставку, и вотъ почему онъ принялъ Морозова лучше, чѣмъ ожидали царедворцы.

Вскорѣ явился Вяземскій. Наружность его также значительно измѣнилась. Онъ какъ будто постарѣлъ нѣсколькими годами, черты лица сдѣлались рѣзче, и жизнь, казалось, сосредоточилась въ огненныхъ и безпокойныхъ глазахъ его.

— Подойди сюда, Аюня,—сказалъ царь.—Подойди и ты, Дружина. Говори, въ чемъ твое челобитье. Говори прямо, рассказывай все, какъ было.

Дружина Андреевичъ приблизился къ царю. Стоя рядомъ съ Вяземскимъ, но не удостоивая его взгляда, онъ подробно изложилъ всѣ обстоятельства нападенія.

— Такъ ли было дѣло?—спросилъ царь, обратясь къ Вяземскому.

— Такъ!—сказалъ Вяземскій, удивленный вопросомъ Иоанна, которому давно все было извѣстно.

Лицо Ивана Васильевича омрачилось.

— Какъ отчаял ты на это?—сказалъ онъ, устремивъ на Вяземскаго строгій взоръ:—развѣ я дозволяю разбойничать моимъ опричникамъ?

— Ты знаешь, государь,—отвѣтилъ Вяземскій, еще болѣе удивленный:—что домъ разграбленъ не по моему указу; а что я увезъ боярыню, на то было у меня твое дозволеніе!

— Мое дозволеніе?—произнесъ царь, медленно выговаривая каждое слово.—Когда я позволялъ тебѣ?

Тутъ Вяземскій замѣтилъ, что напрасно хотѣлъ опереться на намекъ Ивана Васильевича, сдѣланный ему инсказательно во время пира,—намакъ, вслѣдствіе котораго онъ почелъ себя въ правѣ увести Елену силою. Не отгадывая еще цѣли, съ какою царь отказывался отъ своихъ поощреній, онъ понялъ однако, что надобно измѣнить образъ своей защиты. Не изъ трусости и не для сохраненія своей жизни, которая, при перемѣнчивомъ нравѣ царя, могла быть въ опасности, рѣшился Вяземскій оправдаться. Онъ не потерялъ еще надежды добыть Елену, и всѣ средства казались ему годными.

— Государь,—сказалъ онъ:—я виноватъ передъ тобой:

ты не позволялъ мнѣ увезти боярыню. Вотъ какъ было дѣло. Послалъ ты меня къ Москвѣ, снять опалу съ боярина Морозова, а онъ, ты знаешь, издавна держитъ на меня вражду за то, что еще до свадьбы спознался я съ женою его. Какъ прибылъ я къ нему въ домъ, онъ и порѣшилъ вмѣстѣ съ Никитой Серебрянымъ извести меня. Послѣ стола они съ холопами напали на насъ предательскимъ обычаемъ; мы же дали отпоръ, а боярыня-то Морозова, вѣдая мужнину злобу, побоялась остаться у него въ домѣ и упросила меня взять ее съ собою. Уѣхала она отъ него вольною волею, а когда я въ лѣсу обезпачивалъ отъ ранъ, такъ и досель не знаю, куда она дѣвалась. Должно-быть, нашелъ ее бояринъ и держитъ гдѣ-нибудь взаперти, а можетъ-быть, и со свѣту сжилъ ее! Не ему,—продолжалъ Вяземскій, бросивъ ревнивый взоръ на Морозова:—не ему искать на мнѣ безчестія. Я самъ, государь, бью челомъ твоей милости на Морозова, что напалъ онъ на меня въ домѣ своемъ вмѣстѣ съ Никитой Серебрянымъ!

Царь не ожидалъ такого оборота. Клевета Вяземскаго была очевидна, но въ расчетъ Іоанна не вошло ее обнаружить. Морозовъ въ первый разъ взглянулъ на врага своего.

— Лжешь ты, окаянный пѣсь!—сказалъ онъ, окидывая его презрительно съ ногъ до головы:—каждое твое слово есть негодная ложь; а я въ своей правдѣ готовъ крестъ цѣловать! Государь! вели ему, окаянному, выдать мнѣ жену мою, съ которою повѣнчанъ я по закону христіанскому!

Іоаннъ посмотрѣлъ на Вяземскаго.

— Чтò скажешь ты на это?—спросилъ онъ, сохраняя хладнокровную наружность судьи.

— Я уже говорилъ тебѣ, государь, что увезъ боярыню по ея же упросу; а когда я на дорогѣ истекъ кровью, холопи мои нашли меня въ лѣсу, безъ памяти. Не было при мнѣ ни коня моего ни боярыни; перенесли меня на мельницу, къ знахарю; онъ-то и зашепталъ кровь. Болѣе ничего не знаю.

Вяземскій не думалъ, что, упоминая о мельницѣ, онъ усилить въ Іоаннѣ зародившееся подозрѣніе и придастъ вѣроятіе наговору Басманова; но Іоаннъ не показалъ вида, что обращаетъ вниманіе на это обстоятельство, а только записалъ его въ памяти, чтобы воспользоваться имъ при

случаѣ; до поры же до времени затаилъ свои мысли подъ личиною безпристрастія.

— Ты слышалъ?—сказалъ онъ Вяземскому:—бояринъ Дружина готовъ въ своихъ рѣчахъ крестъ цѣловать! Какъ очистишься передъ нимъ?

— Бояринъ воленъ говорить, — отвѣчалъ Вяземскій, рѣшившійся, во что бы ни стало, вести свою защиту до конца:—онъ воленъ клепать на меня, а я ишу на немъ моего увѣчья и самъ буду въ правдѣ моей крестъ цѣловать.

По собранію пробѣжалъ ропотъ. Всѣ опричники знали, какъ совершилось нападеніе, и сколь ни закоренѣли они въ злодѣйствѣ, но не всякій изъ нихъ рѣшился бы присягнуть ложно.

Самъ Іоаннъ изумился дерзости Вяземскаго; но въ тотъ же мигъ онъ понялъ, что можетъ черезъ нее погубить ненавистнаго Морозова и сохранить притомъ видъ строгаго правосудія.

— Братія!—сказалъ онъ, обращаясь къ собранію:—свидѣтельствуюсь вами, что я хотѣлъ узнать истину. Не въ обычаѣ моемъ судить, не услышавъ оправданія. Но въ одномъ и томъ же дѣлѣ двѣ стороны не могутъ крестъ цѣловать. Одинъ изъ противниковъ солживитъ свою присягу. Я же, яко добрый пастырь, боронящій овцы моя, никого не хочу допустить до погубленія души. Пусть Морозовъ и Вяземскій судятся судомъ Божиимъ. Отъ сего числа черезъ десять дѣнь назначаю имъ поле, здѣсь въ слободѣ, на Красной площади. Пусть явятся съ своими стряпчими и поручниками. Кому Богъ дастъ одолѣніе, тотъ будетъ чистъ и передо мною, а кто не вынесетъ боя, тотъ хотя бы и живъ остался, тутъ же приметъ казнь отъ рукъ палача!

Рѣшеніе Іоанна произвело въ собраніи сильное впечатлѣніе. Въ мнѣніи многихъ оно равнялось для Морозова смертному приговору. Нельзя было думать, чтобы престарѣлый бояринъ устоялъ противъ молодого и сильнаго Вяземскаго. Всѣ ожидали, что онъ откажется отъ поединка или, по крайней мѣрѣ, попроситъ позволенія поставить вмѣсто себя наемнаго бойца. Но Морозовъ поклонился царю и сказалъ спокойнымъ голосомъ:

— Государь, пусть будетъ по-твоему! Я старъ и хворъ, давно не надѣвалъ служилой брони; но въ Божьемъ судѣ не сила беретъ, а правое дѣло! Уповаю на помощь Го-

спода, что не оставитъ Онъ меня въ правомъ дѣлѣ моемъ :— покажетъ предъ твоею милостію и предъ всѣми людьми неправду врага моего!

Услыша царскій приговоръ, Вяземскій было-обрадовался, и очи его уже запылали надеждой; но увѣренность Морозова немного смутила его. Онъ вспомнилъ, что, по общепринятому понятію, въ судномъ поединкѣ Богъ неминуемо даруетъ побѣду правой сторонѣ, и невольно усомнился въ своемъ успѣхѣ.

Однако, подавивъ минутное смущеніе, онъ также поклонился царю и произнесъ :

— Да будетъ по-твоему, государь!

— Ступайте, — сказалъ Іоаннъ :— ищите себѣ поручниковъ, а черезъ десять дѣнь, съ восходомъ солнца, будьте оба на Красной площади, и горе тому, кто не выдержитъ боя!

Бросивъ на обоихъ глубокой, необъяснимый взоръ, царь всталъ и удалился во внутренніе покои, а Морозовъ вышелъ изъ палаты, полный достоинства, въ сопровожденіи своихъ знакомцевъ, не глядя на окружающихъ его опричниковъ.

ГЛАВА XXX.

Заговоръ на желѣзо.

На слѣдующій день Вяземскій уѣхалъ къ Москвѣ.

Во всякое другое время, готовясь къ поединку, онъ положился бы на свою силу и ловкость; но дѣло шло объ Еленѣ. Поединокъ былъ не простой; исходъ его зависѣлъ отъ суда Божія, а князь зналъ свою неправость, и сколь ни казался бы ему Морозовъ презрителенъ въ обыкновенной схваткѣ, но въ настоящемъ случаѣ онъ опасался небеснаго гнѣва, страшился, что во время боя у него онѣмѣютъ или отнимутся руки. Опасеніе это было тѣмъ сильнѣе, что недавно зажившія раны еще причиняли ему боль, и что по временамъ онъ чувствовалъ слабость и изнеможеніе. Князь не хотѣлъ ничѣмъ пренебрегать, чтобы упрочить за собою побѣду, и рѣшился обратиться къ знакомому мельнику, взять у него какого-нибудь зелья и сдѣлать черезъ колдовство удары свои неотразимыми.

Полный раздумья и волненій, ѣхалъ онъ по лѣсу шагомъ, наклоняясь время отъ времени на сѣдлѣ и разбирая тропинки, заросшія папоротникомъ. Послѣ многихъ по-

воротовъ, попалъ онъ на болѣе торную дорогу, осмотрѣлся, узналъ на деревьяхъ замѣты и пустилъ коня рысью. Вскорѣ послышался шумъ колеса. Подъѣзжая къ мельницѣ, князь вмѣстѣ съ шумомъ сталъ различать человѣческій говоръ. Онъ остановился, слѣзъ съ сѣдла и, привязавъ коня въ орѣшникѣ, подошелъ къ мельницѣ пѣшкомъ. У самаго сруба стоялъ чей-то конь въ богатой сбруѣ. Мельникъ разговаривалъ съ стройнымъ человѣкомъ, но Вяземскій не могъ видѣть лица его, потому что незнакомецъ повернулся къ нему спиною, готовясь сѣсть въ сѣдло.

— Будешь доволенъ, бояринъ, — говорилъ ему мельникъ, утвердительно кивая головою: — будешь доволенъ, батюшка! Войдешь опять въ царскую милость, и чтобы громъ меня тутъ же прихлопнулъ, коли не пропадетъ и Вяземскій и всѣ твои вороги! Будь спокоенъ, ужъ противу тирлича-травы ни одинъ не устоитъ!

— Добро, — отвѣчалъ посѣтитель, влѣзая на коня. — А ты, старый чортъ, помни нашъ уговоръ: коли не будетъ мнѣ удачи, повѣшу тебя какъ собаку!

Голосъ показался Вяземскому знакомъ, но колесо шумѣло такъ сильно, что онъ остался въ недоумѣнн, кто именно былъ говорившій.

— Какъ не быть удачѣ, какъ не быть, батюшка, — продолжалъ мельникъ, низко кланаясь: — только не сымай съ себя тирлича-то; а когда будешь съ царемъ говорить, гляди ему прямо и весело въ очи; смѣло гляди ему въ очи, батюшка, не показывай страху-то; говори ему шутки и прибаутки, какъ прежде говаривалъ, такъ будь я анаема, коли опять въ честь не войдешь!

Всадникъ повернулъ коня и, не замѣчая Вяземскаго, проѣхалъ мимо него рысью.

Князь узналъ Басманова, и ревнивое воображеніе его закипѣло. Занятый одною мыслью объ Еленѣ, онъ не обратилъ вниманія на рѣчи мельника, но, услышавъ свое имя, подумалъ, что видитъ въ Басмановѣ новаго неожиданнаго соперника.

Мельникъ между тѣмъ, проводивъ глазами Басманова, присѣлъ на завалинку и принялся считать золотыя деньги. Онъ весело ухмылялся, перекладывая ихъ съ ладони на ладонь, какъ вдругъ почувствовалъ на плечѣ своемъ тяжелую руку.

Старикъ вздрогнулъ, вскочилъ на ноги и чуть не обмеръ

отъ страха, когда глаза его встрѣтились съ черными глазами Вяземскаго.

— О чемъ ты, колдунъ, съ Басмановымъ толковалъ?—спросилъ Вяземскій.

— Ба... ба... батюшка!—произнесъ мельникъ, чувствуя, что ноги подъ нимъ подкашиваются:—батюшка, князь Аѳанасій Ивановичъ, какъ изволишь здравствовать?

—Говори!—закричалъ Вяземскій, схвативъ мельника за горло и таща его къ колесу:—говори, что вы про меня толковали?

И онъ перегнулъ старика намъ самымъ шумомъ.

— Родимый!—простоналъ мельникъ:—все скажу твоей милости, все скажу, батюшка, отпусти лишь душу на покаяніе!

— Зачѣмъ пріѣзжалъ къ тебѣ Басмановъ?

— За корнемъ, батюшка, за корнемъ! А я вѣдь зналъ, что ты тутъ, я зналъ, что ты все слышишь, батюшка; затѣмъ-то я и говорилъ погромче, чтобы вѣдомо тебѣ было, что Басмановъ хочетъ погубить твою милость!

Вяземскій отшвырнулъ мельника отъ става.

Старикъ понялъ, что миновалъ первый порывъ его гнѣва.

— Какой же ты, родимый, сердитый!—сказалъ онъ, поднимаясь на ноги.—Говорю тебѣ, я зналъ, что твоя милость близко; я съ утра еще ожидалъ тебя, батюшка!

— Ну, что же хочетъ Басмановъ?—спросилъ князь смягченнымъ голосомъ.

Мельникъ между тѣмъ успѣлъ совершенно оправиться.

— Да, вишь ты,—сказалъ онъ, придавая лицу своему доврчивое выраженіе:—говоритъ Басмановъ, что царь разлюбилъ его, что тебя, молъ, больше любить, и что тебѣ, да Годунову Борису Ѳедорычу, да Малютѣ Скурлатову только и идетъ отъ него ласка. Ну и присталь ко мнѣ, чтобы далъ ему тирлича. Дай, говоритъ, тирлича, чтобы мнѣ въ царскую милость войти, а ихъ чтобы разлюбилъ царь и опалу чтобы на нихъ положилъ! Что ты будешь съ нимъ дѣлать! Присталъ съ ножомъ къ горлу, вынь да положи; не спорить мнѣ съ нимъ! Ну, и далъ я ему корешокъ, да и корешокъ-то, батюшка, дрянной. Такъ завалившій корешика далъ ему, чтобы только жива оставилъ. Стану я ему тирлича давать, чтобы супротивъ тебя его царь полюбилъ!..

— Чортъ съ нимъ!—сказалъ равнодушно Вяземскій:—

какое мнѣ дѣло, любитъ ли царь его, или нѣтъ? Не затѣмъ я сюда прѣвхаль. Узналъ ли ты что, старикъ, про боярыню?

— Нѣтъ, родимый, ничего не узналъ. Я и гонцамъ твоимъ говорилъ, что нельзя узнать. А ужъ какъ старался-то я для твоей милости! Семь ночей сряду глядѣлъ подъ колесо. Вижу, ѣдетъ боярыня по лѣсу, самъ-другъ со старымъ человѣкомъ; сама такая печальная, а старъ человѣкъ ее утѣшаетъ, а болѣ ничего и не видно; вода замутилась, и ничего болѣ не видно!

— Со старымъ человѣкомъ? Стало-быть, съ Морозовымъ? Съ мужемъ своимъ?

— Нѣтъ, не должно быть: Морозовъ будетъ подороднѣе, да и одѣжа-то его другая. На этомъ простой кафтанъ, не боярскій; должно-быть, простой человѣкъ.

Вяземскій задумался.

— Старикъ!—сказалъ онъ вдругъ:—умѣешь ты сабли заговаривать?

— Какъ же умѣть, умѣю. Да тебѣ на что, батюшка? Чтобы рубила сабля, али чтобъ тупилась отъ удара?

— Вѣстимо, чтобы рубила, лѣшій!

— А то, бываетъ, заговариваютъ вражьи сабли, чтобы тупились али ломались о бронь...

— Мнѣ не вражью саблю заговаривать, а свою. Я буду биться на полѣ, такъ надо мнѣ, во что бы то ни стало, супротивника убить—слышишь?

— Слышу, батюшка, слышу! Какъ не слышать!—И старикъ началъ про себя думать: «Съ кѣмъ же это онъ будетъ биться? Кто его враги? Ужъ не съ Басмановымъ ли? Наврядъ ли! Онъ сейчасъ о немъ отзывался презрительно, а князь не такой человѣкъ, чтобъ умѣлъ скрывать свои мысли. Развѣ съ Серебрянымъ? Но мельникъ зналъ черезъ Михеича, что Серебряный вкинутъ въ тюрьму, а отъ посланныхъ Вяземскаго да и отъ нѣкоторыхъ товарищей Перстня слышалъ, что станичники освободили Никиту Романыча и увели съ собой, стало-быть—не съ Серебрянымъ. Остается одинъ бояринъ Морозовъ. Онъ за похищеніе жены могъ вызвать Вяземскаго. Правда, онъ больно старъ, да и въ судномъ поединкѣ дозволяется поставить вмѣсто себя другого бойца. Стало-быть,—разсечь мельникъ:—князь будетъ биться или съ Морозовымъ, или съ наймитомъ его».

— Дозволь, батюшка,—сказалъ онъ:—воды зачерпнуть, твоего супостата посмотрѣть!

— Дѣлай, какъ знаешь, — возразилъ Вяземскій и сѣлъ въ раздумьѣ на сваленный пень.

Мельникъ вынесъ изъ коморы бадью, опустилъ ее подѣ самое колесо и, зачерпнувъ воды, поставилъ возлѣ князя.

— Эхъ, эхъ, — сказалъ онъ, нагнувшись надъ бадьей и глядя въ нее пристально: — видится мнѣ твой супротивникъ, батюшка, только въ толкъ не возьму! Больно онъ старъ. А вотъ и тебя вижу, батюшка, какъ ты сходишься съ нимъ...

— Что-жъ? — спросилъ Вяземскій, тщетно стараясь увидѣть что-нибудь въ бадьѣ.

— Ангелы стоятъ за старика, — продолжалъ мельникъ таинственно и какъ бы самъ удивленный тѣмъ, что онъ видитъ: — небесныя силы стоятъ за него; трудно будетъ заговорить твою саблю!

— А за меня никто не стоитъ? — спросилъ князь съ невольною дрожью.

Мельникъ смотрѣлъ все пристальнѣе, глаза его сдѣлались совершенно неподвижны; казалось, онъ, начавъ морочить Вяземскаго, былъ пораженъ дѣйствительнымъ видѣниемъ, и ему представилось что-то страшное.

— И у твоей милости, — сказалъ онъ шопотомъ: — есть защитники... А вотъ теперъ ужъ ничего ни вижу, вода потемнѣла.

Онъ поднялъ голову, и Вяземскій замѣтилъ, что крупный потъ катился со лба его.

— Есть и у тебя защитники, батюшка, — прошепталъ онъ боязливо. — Можно будетъ заговорить твое оружіе.

— На, — сказалъ князь, вынимая изъ ноженъ тяжелую саблю: — на, заговаривай!

Мельникъ перевелъ духъ, разгребъ руками яму и вложилъ въ нее рукоятъ сабли. Затапавъ землю, онъ утвердилъ лезвеемъ остріемъ вверхъ и началъ ходить кругомъ, причитывая вполголоса:

«Выкатило солнышко изъ-за моря Хвалынскаго, восходитъ мѣсяцъ надъ градомъ каменнымъ, а въ томъ градѣ каменномъ породила меня матушка и, рожая, приговаривала: будь ты, мое дитяtko, цѣль-невредимъ: отъ стрѣлъ и мечей, отъ борцовъ и борцовъ. Опоясывала меня матушка мечомъ-кладенцомъ. Ты, мой мечъ-кладенецъ, вертись и крутись, ты вертись и крутись, какъ у мельницы жернова вертятся, ты круши и кроши всяку сталь и укладъ, и желѣзо, и мѣдь; пробивай, прорубай всяко мясо и кость; а

вражьи удары чтобы прядали отъ тебя какъ камни отъ воды, и чтобы не было тебѣ отъ нихъ ни царапины ни зазубрины! Заговариваю раба Аванасья, опоясываю мечомъ-кладенцомъ. Чуръ слову конецъ, моему дѣлу вѣнецъ!»

Онъ вытасилъ саблю и подаль ее князю, отряхнувъ съ рукояти землю и бережно обтеревъ ее полою.

— Возьми, батюшка, князь Аванасій Иванычъ. Будетъ она тебѣ служить, лишь бы супротивникъ твой свою саблю въ святую воду не окунулъ!

— А если окунетъ?

— Что-жъ дѣлать, батюшка! Противъ святой воды наговорное желѣзо не властно. Только, пожалуй, и этому пособить можно. Дамъ я тебѣ голубца болотнаго, и ты его въ мѣшечкѣ на шею повѣсь, такъ у ворога своего глаза отведешь.

— Подавай голубецъ!—сказалъ Вяземскій.

— Изволь, батюшка, изволь; для твоей княжеской милости и голубца не пожалѣю.

Старикъ сходилъ опять въ комору и принесъ князю что-то зашитое въ тряпицѣ.

— Дорого оно мнѣ досталось,—сказалъ онъ, какъ бы жалѣя выпустить изъ рукъ тряпицу:—трудно его добывать. Какъ полѣзешь за нимъ не въ урочный часъ въ болото, такіе на тебя нападуть страхи, что Господи упаси!

Князь взялъ зашитый предметъ и бросилъ мельнику мошну съ золотыми.

— Награди Господь твою княжескую милость!—сказалъ старикъ, низко кланаясь.—Только, батюшка, дозвожь еще слово тебѣ молвить: теперь уже до поединка-то въ церковь не ходи, обѣдни не слушай; не то, чего добраго, и наговоръ-то мой съ лезвья соскочить.

Вяземскій ничего не отвѣчалъ и направился-было къ мѣсту, гдѣ привязалъ коня, но вдругъ остановился.

— А можешь ты,—сказалъ онъ:—навѣрно узнать, кто изъ насъ живъ останется?

Мельникъ замялся.

— Да, должно-быть, ты, батюшка! Какъ тебѣ живу не остаться! Я тебѣ и прежде говаривалъ: не отъ меча твоей милости смерть написана!

— Посмотри еще разъ въ бадью!

— Что-жъ еще смотрѣть, батюшка! Теперь ничего не увидишь, и вода-то ужъ помутилась.

— Зачерпни свѣжей воды!—сказалъ Вяземскій повелительно.

Мельникъ повиновался нѣхотя.

— Ну, что тамъ видно?—спросилъ князь нетерпѣливо.

Старикъ съ примѣтнымъ отвращеніемъ нагнулся надъ бадью.

— Ни тебя не видно, батюшка, ни супротивника твоего!—сказалъ онъ, блѣднѣя:—видна площадь, народу полна; много головъ на кольяхъ торчатъ; а въ сторонѣ костеръ догораетъ и человѣческія кости къ столбу прикованы!

— Чьи головы на кольяхъ торчатъ?—спросилъ Вяземскій, пересиливая невольный страхъ.

— Не вижу, батюшка, все опять помутилось; одинъ костеръ еще свѣтится, да кости чьи-то висятъ у столба!

Мельникъ съ усиленіемъ поднималъ голову и, казалось, съ трудомъ отвелъ взоръ отъ бадьи. Его дергали судороги, потъ катился съ лица его, онъ, стоная и охая, дотащился до завалины и упалъ на нее въ изнеможеніи.

Вяземскій отыскалъ своего коня, сѣлъ въ сѣдло и, полный раздумья, поѣхалъ къ Москвѣ.

ГЛАВА XXXI.

Божій судъ.

Въ отсутствіе Вяземскаго Малютъ было поручено важное дѣло. Царь приказалъ ему захватить ближайшихъ слугъ князя Аванасія Ивановича и пытать ихъ накрѣпко, ѣздилъ ли господинъ ихъ на мельницу колдовать, и сколько разъ онъ былъ на мельницѣ, и что именно замышляетъ противу его государскаго здравія?

Большая часть слугъ не созналась ни въ чемъ, но нѣкоторые не выдержали пытки и показали все то, что Малюта вложилъ имъ въ уста. Показали они, что князь ѣздилъ на мельницу съ тѣмъ, чтобы испортить государя; что онъ вымалъ царскіе слѣды и жегъ ихъ на огнѣ; а нѣкоторые показали даже, что Вяземскій мыслить ко князю Владиміру Андреевичу и хочетъ посадить его на царскій престолъ. Сколь ни были нелѣпы эти показанія, они тщательно записывались дяками со словъ истязаемыхъ и прочитывались царю. Вѣрилъ ли имъ Иванъ Васильевичъ или нѣтъ,—Богъ вѣсть! Но онъ строго приказалъ Малютѣ, по возвращеніи Вяземскаго, скрыть отъ него причину, по которой захвачены его слуги, а сказать, что

взяты-де они по подозрѣнію въ воровствѣ изъ царскихъ кладовыхъ.

Въ показаніяхъ ихъ однако было много противорѣчій, и Іоаннъ послалъ за Басмановымъ, чтобы заставить его повторить все, что онъ, по доносу своему, слышалъ отъ холопей Вяземскаго.

Басманова не нашли въ слободѣ. Онъ наканунѣ уѣхалъ къ Москвѣ, и царь опалился, что осмѣлился онъ отлучиться вопреки его приказанію. Малюта воспользовался этимъ, чтобы взвести подозрѣніе на самого Басманова.

— Кто знаетъ, государь, — сказалъ Скуратовъ: — зачѣмъ онъ ослушался твоей милости? Быть-можетъ, онъ заодно съ Вяземскимъ и только для виду донесъ на него, чтобы вѣрнѣе погубить тебя!

Царь велѣлъ Малютѣ пока молчать обо всемъ и, когда воротится Басмановъ, не показывать ему вида, что его отсутствіе было замѣчено.

Между тѣмъ насталъ день, назначенный для суднаго поединка. Еще до восхода солнца народъ столпился на Красной площади; всѣ окна были заняты зрителями, всѣ крыши ими усыпаны. Вѣсть о предстоящемъ боѣ давно разнеслась по окрестностямъ. Знаменитыя имена сторонъ привлекли толпы изъ разныхъ селъ и городовъ, и даже отъ самой Москвы пріѣхали люди всѣхъ сословій посмотреть, кому Господь даруетъ одолѣніе въ этомъ дѣлѣ.

— Ну-ка, братъ, — говорилъ одинъ щегольски одѣтый гуслляръ своему товарищу, дожему молодому парню, съ добродушнымъ, но глуповатымъ лицомъ: — ступай впередъ, авось тебѣ удастся продраться до цѣпи. Эхъ, народу, народу-то! Дайте пройти, православные, дайте и намъ, владимірцамъ, на судъ Божій посмотреть!

Но увѣщанія его оставались безуспѣшны. Толпа была такъ густа, что и при добромъ желаніи не было бы возможности посторониться.

— Да ступай же, тюлень ты этакой! — повторилъ гуслляръ, толкая товарища въ спину: — аль не сумѣешь продраться?

— А для-ча! — отвѣчалъ вялымъ голосомъ дѣтина.

И, выставивъ впередъ дюжее плечо свое, онъ принялся раздвигать толпу словно желѣзнымъ клиномъ. Раздался крики и ругательства; но оба товарища подвигались впередъ, не обращая на нихъ вниманія.

— Правѣй, правѣй! — говорилъ старшій: — чего сталъ

влѣво забирать, дурень? Сверни туда, гдѣ колья торчать!

Мѣсто, на которое указывалъ гусярь, было приготовлено для самого царя. Оно состояло изъ дощатаго помоста, покрытаго червленымъ сукномъ. На немъ были поставлены царскія кресла, а торчавшія тамъ копыя и рогатины принадлежали опричникамъ, окружавшимъ помость. Другіе опричники стояли у цѣпи, протянутой вокругъ поля, то есть просторнаго мѣста, приготовленнаго для коннаго или пѣшаго боя, смотря по уговору бойцовъ. Они отгоняли народъ бердышами и не давали ему напирать на цѣпь.

Подвигаясь впередъ шагъ за шагомъ, гусярь и дюжій парень добрались наконецъ до самаго поля.

— Куда лѣзете!—закричалъ одинъ опричникъ, замахнувшись на нихъ бердышомъ.

Парень разинулъ ротъ и въ недоумѣніи обернулся на своего товарища, но тотъ снялъ обѣими руками свой поярковый грешневикъ, оббитый золотою лентой съ павлиньимъ перомъ, и, кланяясь разъ за разомъ въ поясъ, сказалъ опричнику:

— Дозвольте, господа честные, владимѣрскимъ гусярамъ судъ Божій посмотреть! Отъ самаго отъ города Володимира пришли! Дозвольте постоять, господа честные!

И лукаво-заискивающею улыбкой онъ выказывалъ изъ-подъ черной бороды свои бѣлые зубы.

— Ну, такъ и быть!—сказалъ опричникъ:—назадъ ужъ не пролѣзете; стойте здѣсь; только чуръ—впередъ не поддаваться, башку раскрою!

Внутри оцѣпленнаго мѣста расхаживали поручники и стряпчіе обѣихъ сторонъ. Тутъ же стояли бояринъ и окольничій, приставленные къ полю, и два дьяка, которымъ вмѣстѣ съ ними надлежало наблюдать за порядкомъ боя. Одинъ изъ дьяковъ держалъ развернутый судебникъ Владиміра Гусева, изданный еще при великомъ князѣ Іоаннѣ Васильевичѣ III, и толковалъ съ товарищемъ своимъ о предвидѣнныхъ случаяхъ поединка.

— «А досудятся до поля, — читалъ онъ, указывая пальцемъ на одно мѣсто въ судебникѣ:—а у поля, не стоявъ, помиряются...»—какъ дьяка прервали восклицанія толпы:

— Царь ѣдетъ! Царь ѣдетъ!—говорили всѣ, волнуясь и снимая шапки.

Окруженный множествомъ опричниковъ, Иванъ Васильевичъ подѣхалъ верхомъ къ мѣсту поединка, слѣзъ

съ коня, взошелъ по ступенямъ помоста и, поклонившись народу, опустился на кресла съ видомъ человѣка, готовящагося смотрѣть на занимательное зрѣлище.

Позади и около него размѣстились, стоя, царедворцы.

Въ то же время на всѣхъ слободскихъ церквахъ зазвонили колокола, и съ двухъ противоположныхъ концовъ вѣхали во внутренность цѣпи Вяземскій и Морозовъ, оба въ боевыхъ нарядахъ. На Морозовѣ былъ дощатый доспѣхъ, то-есть стальные бахтерцы изъ наборныхъ бляхъ, наведенныхъ черезъ рядъ серебромъ. Наручи, рукавицы и понджи блестяли серебряными разводами. Голову покрывалъ высокий шишакъ съ серебромъ и чернью, а изъ-подъ вѣнца его падала на плечи боярина кольчатая бармица, скрещенная на груди и укрѣпленная круглыми серебряными бляхами. У бедра его висѣлъ на узорномъ поясѣ, застегнутомъ крюкомъ, широкій прямой тесакъ, котораго крыжъ, ножновыя обоймицы и наконечникъ были также серебряные. Къ правой сторонѣ сѣдла привѣшенъ былъ, концомъ внизъ, золоченый шестоперъ — оружіе и знакъ достоинства, въ былые годы неразлучный съ бояриномъ въ его славныхъ битвахъ, но нынѣ, по тяжести своей, врядъ ли кому по рукѣ.

Подъ Морозовымъ былъ гругастый черно-пѣгій конь съ подпалинами. Его покрывалъ бархатный малиновый чалдаръ, весь въ серебряныхъ бляхахъ. Отъ кованаго налобника падали по сторонамъ малиновые шелковые морхи, или кисти, перевитые серебряными нитками, а изъ-подъ шеи до самой груди висѣла такая же кисть, больше и гуще первыхъ, называвшаяся наузомъ. Узда и поводья состояли изъ серебряныхъ цѣпей съ плоскими вырѣзными звеньями неравной величины.

Мѣрно шелъ конь, поднимая косматыя ноги въ серебряныхъ наколѣнникахъ, согнувши толстую шею, и когда Дружина Андреевичъ остановилъ его саженьхъ въ пяти отъ своего противника, онъ сталъ трясти густою волнистою гривой, достававшею до самой земли, грызть удила и нетерпѣливо рыть песокъ сильнымъ копытомъ, выказывая при каждомъ ударѣ блестящіе шипы широкой подковы. Казалось, тяжелый конь былъ подобранъ подъ стать дороднаго всадника, и даже бѣлый цвѣтъ его гривы согласовался съ сѣдою бородой боярина.

Вооруженіе Вяземскаго было гораздо легче. Еще страдая отъ недавнихъ ранъ, онъ не захотѣлъ надѣтъ ни

зеркала ни бахтерцовъ, хотя они и считались самою надежною броней, но предпочелъ имъ легкую кольчугу. Ея ожерелье, подолъ и зарукавья горѣли дорогими камнями. Въмѣсто шишака, на князѣ была ерихонка, то-есть низкій, изящно выгнутый шлемъ, имѣвшій на вѣнцѣ и ухахъ золотую насѣчку, а на тульѣ высокій снопъ изъ дрожащихъ золотыхъ проволокъ, густо усыпанныхъ во всю длину ихъ яхонтовыми искрами. Сквозь полку шлема проходила отвѣсно желѣзная золоченая стрѣла, предохранявшая лицо отъ поперечныхъ ударовъ; но Вяземскій, изъ удалства, не спустилъ стрѣлы, а, напротивъ, поднялъ ее, посредствомъ шурепца, до высоты яхонтоваго снопа, такъ что блѣдное лицо его и темная борода оставались совершенно открыты, а стрѣла походила на золотое перо, щегольски воткнутое въ полку ерихонки. На поясѣ, плотно стянутомъ пряжкой поверхъ кольчуги и украшенномъ разными привѣсками, звенцами и бряцальцами, висѣла кривая сабля, вся въ дорогихъ камняхъ, та самая, которую заговорилъ мельникъ и на которую теперь твердо надѣялся Вяземскій. У бархатнаго сѣдла, фіолетоваго цвѣта, съ горохатыми серебряными гвоздями и съ такими же коваными скобами, прикрѣпленъ былъ булатный топорокъ съ фіолетовымъ бархатнымъ черенкомъ въ золотыхъ поясахъ. Изъ-подъ наряднаго подола кольчуги виднѣлась бѣлая шелковая рубаха съ золотымъ шитьемъ, падавшая на зарбасные штаны, жаркаго цвѣта, всунутые въ зеленые сафьяные сапоги, которыхъ узорныя голенища, не покрытыя понджами, натянута были до колѣнъ и перехватывались подъ сгибомъ и у щиколокъ жемчужною тесьмою.

Конь Аванасія Ивановича, золотисто-буланый аргамакъ, былъ весь увѣшанъ, отъ головы до хвоста, гремѣющими цѣпями изъ дутыхъ серебряныхъ бубенчиковъ. Въмѣсто чепрака или чалдара пардовая кожа покрывала его спину. На вороненомъ налобникѣ горѣли въ золотыхъ гнѣздахъ крупные яхонты. Сухія черныя ноги горскаго скакуна не были вовсе подкованы, но на каждой изъ нихъ, подъ бабкой, звенѣло по одному серебряному бубенчику.

Давно уже слышалось на площади звонкое ржаніе аргамака. Теперь, поднявъ голову, раздуть огненные ноздри и держа черный хвостъ на-отлетѣ, онъ сперва легкою поступью, едва касаясь земли, двинулся навстрѣчу коню Морозова; но когда князь, не съѣзжаясь съ противникомъ,

натянулъ гремучіе поводья, аргамакъ прыгнулъ въ сторону и перескочилъ бы черезъ цѣпь, если бы сѣдокъ ловкимъ поворотомъ не заставилъ его вернуться на прежнее мѣсто. Тогда онъ взвился на дыбы и, крутясь на заднихъ ногахъ, норовилъ опрокинуться навзничь, но князь нагнулся на луку, отпустилъ ему поводья и вонзилъ въ бока его острыя кизилбашскія стремена. Аргамакъ сдѣлалъ скачокъ и остановился какъ вкопанный. Ни одинъ волосъ его черной гривы не двигался. Налитые кровью глаза косились по сторонамъ, и по золотистой шерсти разбѣгались надутыя жилы узорною сѣткой.

При появлении Вяземскаго, когда онъ въѣхалъ, гремя и блестя и словно обрызганный золотымъ и алмазнымъ дождемъ, владимірскій гуслиарь не могъ удержаться отъ восторга; но удивленіе его относилось еще болѣе къ коню, чѣмъ къ всаднику.

— Эхъ, конь!—говорилъ онъ, топая ногами и хватаясь въ восхищеніи за голову:—экой конь, подумаешь! И не видывалъ такого коня! Вѣдь всякіе перебивали, а, небось, такого Богъ не послалъ! «Что бы,—прибавилъ онъ про себя:—что было въ ту пору этому сѣдоку, какъ онъ есть, на Поганую-Лужу выѣхать!»

— Слышь ты,—продолжалъ онъ весело, толкая локтемъ товарища:—слышь ты, дурень: которъй конь тебѣ болѣе по-сердцу?

— А тотъ!—отвѣчалъ парень, указывая пальцемъ на морозовскаго коня.

— Тотъ? А зачѣмъ же тотъ?

— А затѣмъ, что поплотнѣе!—отвѣтилъ парень лѣниво.

Гуслиарь залился смѣхомъ, но въ это время раздался голосъ бирючей:

— Православные люди!—кричали они въ разные концы площади:—зачинается судный бой промежъ оружничаго царскаго, князя Аванасія Иваныча Вяземскаго, и боярина Дружины Андреича Морозова. Тягаются они въ безчестіи своемъ, въ бою и увѣчьѣ, и въ увозѣ боярыни Морозовой! Православные люди! Молитесь Пресвятой Троицѣ, дабы даровала она одолѣніе правой сторонѣ!

Площадь затихла. Всѣ зрители стали креститься, а бояринъ, приставленный вѣдать поединокъ, подошелъ къ царю и проговорилъ съ низкимъ поклономъ:

— Прикажешь ли, государь, начинатьъ полю?

— Зачинайте!—сказалъ Іоаннъ.

Бояринъ, окольникій, поручники, стряпчіе и оба дьяка отошли въ сторону.

Бояринъ подалъ знакъ.

Противники вынули оружіе.

По другому знаку надлежало имъ скакать другъ на друга, но, къ изумленію всѣхъ, Вяземскій закачался на сѣдлѣ и выпустилъ изъ рукъ поводья. Онъ свалился бы на землю, если бы поручникъ и стряпчій не подбѣжали и не помогли ему сойти съ коня. Подоспѣвшіе конюхи успѣли схватить аргамака подъ уздцы.

— Возьмите его! — сказалъ Вяземскій, озираясь померкшими очами: — я буду биться пѣшой!

Видя, что князь сошелъ съ коня, Морозовъ также слѣзъ съ своего черно-пѣгаго и отдалъ его конюхамъ.

Стряпчій Морозова подалъ ему большой кожаный щитъ съ мѣдными бляхами, приготовленный на случай пѣшаго боя.

Стряпчій Вяземскаго поднесъ ему также щитъ, вороненый, съ золотою насѣчкой и золотою бахромой.

Но Аванасій Ивановичъ не имѣлъ силы вздѣть его на руку. Ноги подъ нимъ подкосились, и онъ упалъ бы вторично, если бы его не подхватили.

— Чтѣ съ тобой, князь? — сказали въ одинъ голосъ стряпчій и поручникъ, съ удивленіемъ глядя ему въ очи: — оправься, князь! У поля не стоять — все равно, что побиту быть!

— Сымите съ меня бронь! — проговорилъ Вяземскій, задыхаясь: — сымите бронь! Корень душитъ меня!

Онъ сбросилъ съ себя ерихонку, разорвалъ ожерелье кольчуги и сдернулъ съ шеи гайтанъ, на которомъ висѣла шелковая ладанка съ болотнымъ голубцомъ.

— Анаѣема тебѣ, колдунъ! — вскричалъ онъ, бросая гайтанъ далеко отъ себя: — анаѣема, что обманулъ меня!

Дружина Андреевичъ подошелъ къ Вяземскому съ голымъ тесакомъ.

— Сдавайся, пѣсь! — сказалъ онъ, замахнувшись: — со знайся въ своемъ окаянствѣ!

Поручники и стряпчіе бросились между князя и Морозова.

— Нѣтъ! — сказалъ Вяземскій, и отуманенный взоръ его вспыхнулъ прежнею злобою: — рано мнѣ сдаваться! Ты, старый воронъ, испортилъ меня! Ты свой тесакъ въ святую воду окунулъ! Я поставлю за себя бойца, и тогда увидимъ, чья будетъ правда!

Между стряпчими обѣихъ сторонъ зачался споръ. Одинъ утверждалъ, что судъ оконченъ въ пользу Морозова; другой—что суда вовсе не было, потому что не было боя.

Царь между тѣмъ замѣтилъ движеніе Вяземскаго и велѣлъ подать себѣ брошенную имъ ладанку. Осмотрѣвъ ее съ любопытствомъ и недовѣрчивостью, онъ подозвалъ Малюту.

— Схорони это,—шепнулъ онъ:—пока не спрошу! А теперь,—произнесъ онъ громко:—подвести ко мнѣ Вяземскаго!

— Что, Аеоня?—сказалъ онъ, усмѣхаясь двусмысленно, когда подошелъ къ нему Вяземскій:—видно, Морозовъ тебѣ не подѣ силу?

— Государь,—отвѣтилъ князь, котораго лицо было покрыто смертельною блѣдностью:—ворогъ мой испортилъ меня! Да къ тому-жъ я съ тѣхъ поръ, какъ оправился, ни разу брони не надѣвалъ. Раны мои открылись; видишь, какъ кровь изъ-подъ кольчуги бѣжитъ! Дозволь, государь, бирючъ крикнуть, охотника вызвать, чтобы замѣсто меня у поля сталь!

Домогательство Вяземскаго было противно правиламъ. Кто не хотѣлъ биться самъ, долженъ былъ объявить о томъ заранѣе. Вышедши разъ на поединокъ, нельзя было поставить вмѣсто себя другого. Но царь имѣлъ въ виду погибель Морозова и согласился.

— Вели кричать бирючъ,—сказалъ онъ:—авось кто удалѣе тебя найдется! А не выйдетъ никто, Морозовъ будетъ чистъ, а тебя отдадутъ палачамъ!

Вяземскаго отвели подъ руки, и вскорѣ, по приказанію его, глашатаи стали ходить вдоль цѣпи и кричать громкимъ голосомъ:

— Кто хочетъ изъ слободскихъ, или московскихъ, или иныхъ людей выйти на боярина Морозова? Кто хочетъ биться за князя Вяземскаго? Выходите, бойцы, выходите стоять за Вяземскаго!

Но площадь оставалась безмолвна, и ни одинъ охотникъ не являлся.

— Выходите, охотники, добрые бойцы!—кричали бирючи:—выходите! Кто побьетъ Морозова, тому князь всѣ свои вотчины отдастъ, а буде побьетъ простой человекъ, тому князь пожалуетъ всю казну, какая есть у него!

Никто не откликнулся; всѣ знали, что дѣло Морозова свято, и царь, несмотря на ненависть свою къ Дружинѣ

Андреевичу, уже готовился объявить его правымъ, какъ вдругъ послышались крики:

— Идетъ охотникъ! Идетъ!—И внутри оцѣпленного мѣста явился Матвѣй Хомякъ.

— Гой-да!—сказалъ онъ, свистнувъ саблю по воздуху.—Подходи, бояринъ, я за Вяземскаго!

При видѣ Хомяка, Морозовъ, дожидавшійся досадѣ съ голымъ тесакомъ, обратился съ негодованіемъ къ приставамъ поединка.

— Не стану биться съ наймитомъ!—произнесъ онъ гордо.—Невмѣстно боярину Морозову мѣряться со стремяннымъ Гришки Скуратова.

И, опустивъ тесакъ въ ножны, онъ подошелъ къ мѣсту, гдѣ сидѣлъ царь.

— Государь,—сказалъ онъ:—ты дозволилъ врагу моему поставить бойца вмѣсто себя, дозвожь же и мнѣ найти наймита противъ наймита,—не то вели оставить поле до другого раза.

Какъ ни желалъ Иванъ Васильевичъ погубить Морозова, но просьба его была слишкомъ справедлива. Царю не захотѣлось въ Божьемъ судѣ прослыть пристрастнымъ.

— Кричи бирючь!—сказалъ онъ гнѣвно:—а если не найдешь охотника, бейся самъ или соизнайся въ своей кривдѣ и ступай на плаху!

Между тѣмъ Хомякъ прохаживался вдоль цѣпи, маяхая саблей и посмѣиваясь надъ зрителями.

— Вишь,—говорилъ онъ:—много васъ, вороновъ, собралось, а нѣтъ ни одного яснаго сокола промежь васъ. Что бы хоть одному выйти, мою саблю обновить, государя потѣшить! Молотимши, видно, руки отмахали! На печи лежа, бока отлежали!

— Ахъ ты, чортъ!—проговорилъ вполголоса гуслирь:—ужь я-бъ тебѣ далъ, кабы была при мнѣ моя сабля! Смотри!—продолжалъ онъ, толкая подъ бокъ товарища:—узнаешь ты его?

Но парень не слышалъ вопроса. Онъ разинулъ ротъ и, казалось, впился глазами въ Хомяка.

— Что-жь,—продолжалъ Хомякъ:—видно, нѣтъ между вами охотниковъ? Эй, вы, аршинники, калашники, пряжи, ткачихи! Кто хочеть со мной помѣряться?

— А я!—раздался неожиданно голосъ парня, и, ухватясь обѣими руками за цѣпь, онъ перекинулъ ее черезъ

голову и чуть не вырвалъ дубовыхъ колевъ, къ которымъ она была придѣлана.

Онъ очутился внутри ограды и, казалось, самъ былъ удивленъ своею смѣлостью.

Вышучивъ глаза и разиня ротъ, онъ смотрѣлъ то на Хомяка, то на опричниковъ, то на самого царя, но не говорилъ ни слова.

— Кто ты?—спросилъ его бояринъ, приставленный къ полю.

— Я-то?—сказалъ онъ и, подумавъ немного, усмѣхнулся.

— Кто ты?—повторилъ бояринъ.

— А Митька!—отвѣтилъ онъ добродушно и какъ бы удивляясь вопросу.

— Спасибо тебѣ, молодецъ! — сказалъ Морозовъ парню:—спасибо, что хочешь за правду постоять. Коли одолѣешь врага моего, не пожалѣю для тебя казны. Не все у меня добро разграблено; благодаря Божьей милости, есть еще чѣмъ бойца моего наградить!

Хомякъ видѣлъ Митьку на Поганой-Лужѣ, гдѣ парень убилъ подъ нимъ коня ударомъ дубины и, думая навалиться на всадника, притиснулъ подъ собою своего же товарища. Но въ общей свалкѣ Хомякъ не разглядѣлъ его лица, да, впрочемъ, въ Митькиной наружности и не было ничего примѣчательнаго. Хомякъ не узналъ его.

— Чѣмъ хочешь ты драться?—спросилъ приставленный къ полю бояринъ, глядя съ любопытствомъ на парня, у котораго не было ни брони ни оружія.

— Чѣмъ драться?—повторилъ Митька и обернулся назадъ, отыскивая глазами гусляра, чтобы съ нимъ посоветоваться.

Но гусляръ, видно, отошелъ на другое мѣсто, и сколько ни глядѣлъ Митька, онъ не могъ найти его.

— Что-жь, — сказалъ бояринъ:— бери себѣ саблю да броню, становись къ полю!

Митька сталъ озираться въ замѣшательствѣ.

Царю показались приемы его забавными.

— Дать ему оружіе!—сказалъ онъ.—Посмотримъ, какъ онъ умѣетъ биться!

Митькѣ подали полное вооруженіе; но онъ, сколько ни старался, никакъ не могъ пролѣзть въ рукава кольчуги, а шлемъ былъ такъ малъ для головы его, что держался на одной макушкѣ.

Въ этомъ нарядѣ Митька, совершенно растерянный, обочивался то направо, то налево, все еще надѣясь найти гуслира и спросить его, что ему дѣлать.

Глядя на него, царь началъ громко смѣяться. Примѣру его послѣдовали сперва опричники, а потомъ и всѣ зрители.

— Чаво вы горла дяrete-то?—сказаль Митька съ неудовольствіемъ:—я и безъ вашего колпака и безъ желѣзной рубахи-то на энтова пойду!

Онъ указаль пальцемъ на Хомяка и началъ стаскивать съ себя кольчугу.

Раздался новый хохоть.

— Съ чѣмъ же ты пойдешь?—спросиль бояринъ.

Митька почесаль затылокъ.

— А нѣтъ у васъ дубины?—спросиль онъ протяжно, обращаясь къ оприщикамъ.

— Да что это за дурень!—вскричали они:—откуда онъ взялся? Кто его втокнулъ сюда?.. Или ты, болванъ, думаешь, мы по-мужицки дубинами бьемся?

Но Иванъ Васильевичъ забавлялся наружностью Митьки и не позволилъ прогнать его.

— Дать ему ослопъ!—сказаль онъ:—пусть бьется, какъ знаетъ!

Хомякъ обидѣлся.

— Государь, не вели мужику на холопа твоего порухи класть!—воскликнулъ онъ.—Я твоей царской милости честно въ опричникахъ служу и съ роду еще на ослопахъ не бился!

Но царь былъ въ веселомъ расположеніи духа.

— Ты бейся саблей,—сказаль онъ:—а парень пусть бьется по-своему... Дать ему ослопъ. Посмотримъ, какъ мужикъ за Морозова постоитъ!

Принесли нѣсколько дубинъ.

Митька взялъ медленно въ руки одну за другой, осмотрѣлъ каждую и, перебравъ всѣ дубины, повернулся прямо къ царю.

— А нѣтъ ли покрѣпчѣе?—произнесъ онъ вялымъ голосомъ, глядя вопросительно въ очи Ивану Васильевичу.

— Принести ему оглоблю!—сказаль царь, заранѣе потѣшаясь ожидающимъ его зрѣлищемъ.

Вскорѣ въ самомъ дѣлѣ явилась въ рукахъ Митьки тяжелая оглобля, которую опричники вывернули нѣ-смѣхъ изъ стоявшаго на базарѣ воза.

— Что, эта годится?—спросилъ царь.

— А для-ча!—отвѣчалъ Митька:—пожаруй, годится.

И, схвативъ оглоблю за одинъ конецъ, онъ для пробы махнулъ ею по воздуху такъ сильно, что вѣтеръ пронесся кругомъ и пыль закружилась какъ отъ налетѣвшаго вихря.

— Вишь, чортъ!—промолвили, переглянувшись, опричники.

Царь обратился къ Хомяку.

— Становись!—сказалъ онъ повелительно и прибавилъ съ усмѣшкой:—Погляжу я, какъ ты увернешься отъ мушкетерскаго ослота!

Митька между тѣмъ, засучивъ рукава, плюнувъ въ обѣ руки и сжавши ими оглоблю, потряхивалъ ею, глядя на Хомяка. Застѣнчивость его исчезла.

— Ну, ты! становись, што ли!—произнесъ онъ съ рѣшимостью.—Я-те научу нявѣсть красть!

Положеніе Хомяка, въ виду непривычнаго оружія и необыкновенной силы Митьки, было довольно затруднительно, а зрители, очевидно, принимали сторону парня и уже начинали посмѣиваться надъ Хомякомъ.

Замѣшательство стремяннаго веселило царя. Онъ уже смотрѣлъ на предстоящій бой съ тѣмъ самымъ любопытствомъ, какое возбуждали въ немъ представленія скомоховъ или медвѣжья травля.

— Зачинайте бой!—сказалъ онъ, видя, что Хомякъ колеблется.

Тогда Митька поднялъ надъ головою оглоблю и началъ кружить ее, подступая къ Хомяку скокомъ.

Тщетно Хомякъ старался улучшить мгновеніе, чтобы достать Митьку саблей. Ему оставалось только поспѣшно сторониться или увертываться отъ оглобли, которая описывала огромные круги около Митьки и дѣлала его недосягаемымъ.

Къ великой радости зрителей и къ немалой потѣхѣ царя, Хомякъ сталъ отступать, думая только о своемъ спасеніи; но Митька съ медвѣжьею ловкостью продолжалъ къ нему подскакивать, и оглобля, какъ буря, гудѣла надъ его головою.

— Я-те научу нявѣсть красть!—говорилъ онъ, входя постепенно въ ярость и стараясь задѣть Хомяка по головѣ, по ногамъ и по чѣмъ ни попало.

Участіе зрителей къ Митькѣ проявлялось одобрительными восклицаніями и наконецъ дошло до восторга.

— Такъ! Такъ!—кричалъ народъ, забывая присутствіе царя:—хорошенько его!—Ай да парень! Отстаивай Морозова, стой за правое дѣло!

Но Митька думалъ не о Морозовѣ.

— Я-те научу нявѣсть красть!—приговаривалъ онъ, кружа надъ собою оглоблю и преслѣдуя Хомяка, который увивался отъ него во всѣ стороны.

Нѣсколько разъ опричникамъ, стоявшимъ вдоль цѣпи, пришлось присѣсть къ землѣ, чтобъ избѣгнуть неминуемой смерти, когда оглобля, завывая, пронеслась надъ ихъ головами.

Вдругъ раздался глухой ударъ, и Хомякъ, пораженный въ бокъ, отлетѣлъ на нѣсколько сажень и грянулся о-земь, раскинувши руки.

Площадь огласилась радостнымъ крикомъ.

Митька тотчасъ навалился на Хомяка и сталъ душить его.

— Полно! Полно!—закричали опричники, а Малюта поспѣшно нагнулъ къ Ивану Васильевичу и сказалъ ему съ озабоченнымъ видомъ:

— Государь, вели оттащить этого дьявола! Хомякъ у насъ лучший человѣкъ во всей опричинѣ.

— Тащить дурака за ноги!—закричалъ царь:—окатить его водой, только, чуръ—жива оставить!

Съ трудомъ удалось опричникамъ оттащить Митьку, но Хомяка подняли уже мертвого, и когда вниманіе всѣхъ обратилось на посинѣвшее лицо его, рядомъ съ Митькой очутился владимірскій гусярь и, дернувъ его за полу, сказалъ ему шопотомъ:

— Иди, дурень, за мной! Уноси свою голову!

И оба исчезли въ толпѣ народа.

ГЛАВА XXXII.

Ладанна Вяземскаго.

Иванъ Васильевичъ велѣлъ позвать Морозова.

Площадь снова затихла. Всѣ въ ожиданіи устремили взоры на царя и притаили дыханіе.

— Бояринъ Дружина!—сказалъ торжественно Іоаннъ, вставая съ своего мѣста:—ты Божьимъ судомъ очистился предо мною. Господь Богъ, чрезъ одолѣніе врага твоего, показалъ твою правду, и я не оставлю тебя моею милостью. Не уѣзжай изъ слободы до моего приказа. Но это,—про-

должалъ мрачно Іоаннѣ:—только половина дѣла. Еще самый судъ впереди. Привести сюда Вяземскаго.

Когда явился князь Аѳанасій Ивановичъ, царь долго глядѣлъ на него невыразимымъ взглядомъ.

— Аеоня,—сказалъ онъ наконецъ:—тебѣ вѣдомо, что я твердо держусь моего слова. Я положилъ, что тотъ изъ васъ, кто самъ собой, или черезъ бойца своего, не устоитъ у поля, смерти преданъ будетъ. Боецъ твой не устоялъ, Аеоня!

— Что-жъ,—отвѣтилъ Вяземскій съ рѣшимостью:—вели мнѣ голову рубить, государь!

Странная улыбка прозѣбалась по устамъ Іоанна.

— Только голову рубить?—произнесъ онъ злобно.—Или ты думаешь, тебѣ только голову срубятъ? Такъ было бы, пожалуй, когда-бъ ты одному Морозову отвѣтъ держалъ, но на тебѣ еще другая кривда и другое окаянство... Малюта, подай сюда его ладанку!

И, принявъ изъ рукъ Малюты гайтанъ, брошенный Вяземскимъ, Іоаннъ поднялъ его за кончикъ.

— Это чтѣ?—спросилъ онъ, страшно глядя въ очи Вяземскаго.

Князь хотѣлъ отвѣчать, но царь не далъ ему времени.

— Рабъ лукавый,—произнесъ онъ грозно, и по жиламъ присутствующихъ пробѣжалъ холодъ:—рабъ лукавый! Я приблизилъ тебя ко престолу моему; я возвеличилъ тебя и осыпалъ милостями; а ты чтѣ учинилъ? Ты въ смрадномъ сердцѣ своемъ, аки аспидъ, задумалъ погубить меня, царя твоего, и чернокнижіемъ хотѣлъ извести меня, и затѣмъ, должно-быть, ты въ опричнину просился? Чтѣ есть опричнина?—продолжалъ Іоаннъ, озираясь кругомъ и возвышая голосъ, дабы весь народъ могъ услышать его.—Я, аки господинъ винограда, поставленъ Господомъ Богомъ надъ народомъ моимъ воздѣлывати виноградъ мой. Бояре же мои, и дума, и совѣтники, не захотѣли помогать мнѣ и замыслили погубить меня; тогда взялъ я отъ нихъ виноградъ мой и отдалъ другимъ дѣлателямъ. И се есть опричнина! Званные мною на пиръ не пришли, и я послалъ на торжища и на исходища путей, и повелѣлъ призывать елицѣхъ, какіе обрѣтутся. И се опять есть опричнина! Теперь спрашиваю всѣхъ: чтѣ заслужилъ себѣ гость, пришедшій на пиръ, но не облекшійся въ одѣяніе брачное? Какъ сказано о немъ въ писаніи? «Связавше ему рuce и нозе, возьмите его и вверзите во тьму, кромѣшную: ту будетъ плачь и скрежетъ зубовъ!»

Такъ говорилъ Іоаннъ, и народъ слушалъ безмолвно это произвольное примѣненіе евангельской притчи, не чувствуя Вяземскому, но глубоко потрясенный быстрымъ паденіемъ сильнаго любимца.

Никто изъ опричниковъ не смѣлъ или не хотѣлъ вымолвить слова въ защиту Вяземскаго. На всѣхъ лицахъ изображался ужасъ. Одинъ Малюта въ звѣрскихъ глазахъ своихъ не выказывалъ ничего, кромѣ готовности приступить сейчасъ же къ исполненію царскихъ велѣній; да еще лицо Басманова выражало злобное торжество, хотя онъ и старался скрыть его подъ личиною равнодушія.

Вяземскій не почелъ нужнымъ оправдываться. Онъ зналъ Іоанна и рѣшился перенести терпѣливо ожидавшія его мученія. Видъ его остался твердъ и достоинъ.

— Отведите его!—сказалъ царь.—Я положу ему казнь наравнѣ съ тѣмъ станичникомъ, что забрался ко мнѣ въ опочивальню и теперь ожидаетъ мзды своей. А колдуна, съ которымъ спознался онъ, отыскать и привести въ слободу. Пусть на пристрастномъ допросѣ дастъ еще новыя указанія... Велика злоба князя міра сего,—продолжалъ Іоаннъ, поднявъ очи къ небу:—онъ, подобно льву рыкающему, ходитъ вокругъ, ищуще пожрати мя, и даже въ синклитѣ моемъ находитъ усердныхъ слугъ себѣ. Но я уповаю на милость Божию и, съ помощью Госнода, не дамъ укорениться измѣнѣ на Руси!

Іоаннъ сошелъ съ помоста и, сѣвъ на коня, отправился обратно ко дворцу, окруженный безмолвною толпою опричниковъ.

Малюта подошелъ къ Вяземскому съ веревкой въ рукахъ.

— Не взыщи, князь!—сказалъ онъ съ усмѣшкой, скручивая ему руки назадъ:—наше дѣло холопское!

И, окруживъ Вяземскаго стражей, онъ повелъ его въ тюрьму.

Народъ сталъ расходиться молча или толкуя шопотомъ обо всемъ случившемся, и вскорѣ опустѣла еще недавно многолюдная площадь.

ГЛАВА XXXIII.

Ладанка Басманова.

Вяземскій былъ подвергнутъ допросу, но никакія мученія не заставили его выговорить ни одного слова. Съ необыкновенною силою воли переносилъ онъ молча без-

человѣчныя истязанія, которыми Малюта старался вынудить у него сознание въ замыслѣ на государя. Изъ гордости, изъ презрѣнія, или потому, что жизнь ему опротивѣла, онъ даже не попытался ослабить клевету Басманова, показавъ, что его самого онъ встрѣтилъ на мельницѣ.

По приказанію царя, мельника схватили и тайно привезли въ слободу, но къ пыткамъ его не приступали.

Басмановъ приписалъ успѣхъ своего доноса дѣйствию тирлица, который онъ всегда носилъ на себѣ, и тѣмъ болѣе убѣдился въ его чародѣйной силѣ, что Іоаннъ не показывалъ ни малѣйшаго подозрѣнія и что хотя по-прежнему посмѣивался надъ Басмановымъ, но былъ къ нему довольно ласковъ.

Погубивъ одного изъ своихъ соперниковъ, видя рождающееся вновь расположеніе къ себѣ Ивана Васильевича и не зная, что мельникъ уже сидитъ въ слободской тюрьмѣ, Басмановъ сдѣлался еще высокомернѣе. Онъ, слѣдуя даннымъ ему наставленіямъ, смѣло глядѣлъ въ очи царя, шутилъ съ нимъ свободно и дерзко отвѣчалъ на его насмѣшки.

Иванъ Васильевичъ все сносилъ терпѣливо.

Однажды, въ одинъ изъ своихъ обычныхъ объѣздовъ, онъ съ ближайшими любимцами, въ томъ числѣ и съ обоими Басмановыми, отслушавъ въ сосѣдномъ монастырѣ раннюю обѣдню, зашелъ къ настоятелю въ келью и удостоилъ принять его угощеніе.

Царь сидѣлъ на скамьѣ подъ образами; любимцы, исключая Скуратова, котораго не было въ объѣздѣ, стояли у стѣнъ, а игуменъ, низко кланяясь, ставилъ на столъ медовые соты, разное варенье, чаши съ молокомъ и свѣжія яйца.

Царь былъ въ добромъ расположеніи духа; онъ отвѣдывалъ отъ каждаго блюда, милостиво шутилъ и велъ душеспасительныя рѣчи. Съ Басмановымъ онъ былъ ласковѣе обыкновеннаго, и Басмановъ еще болѣе убѣдился въ неотразимой силѣ тирлица.

Въ это время послышался за оградой конскій топотъ.

— Оеда, — сказала Іоаннъ: — посмотри, кто тамъ пріѣхалъ?

Басмановъ не успѣлъ подойти къ двери, какъ она открылась, и у порога показался Малюта Скуратовъ.

Выраженіе его было таинственно, и въ немъ проглядывала злобная радость.

— Войди, Лукьянычъ!—сказаль привѣтливо царь:—съ какою тебя вѣстью Богъ принесъ?

Малюта переступилъ черезъ порогъ и, переглянувшись съ царемъ, сталь креститься на образа.

— Откуда ты?—спросилъ Иоаннъ, какъ будто онъ вовсе не ожидать его.

Ис Малюта, не спѣша отвѣтомъ, сперва отвѣсилъ ему поклонъ, а потомъ подошелъ къ игумену.

— Благослови, отче,—сказаль онъ, нагибаясь, а между тѣмъ покосился на Федора Басманова, котораго вдругъ обдало недобрымъ предчувствіемъ.

— Откуда ты?—повторилъ Иоаннъ, подмигнувъ непримѣтно Скуратову.

— Изъ тюрьмы, государь: колдуна пыгалъ.

— Ну что-жь?—спросилъ царь и бросилъ бѣглыи взглядъ на Басманова.

— Да все бормочеть; трудно разобрать. Одно поняли мы, когда стали ему вертлюги ломать: «Вяземскій, дескать, не одинъ ко мнѣ ѣзживаль: ѣзживаль и Федоръ Алексѣевичъ Басмановъ, и корень-де взялъ у меня, и носить тотъ корень теперъ на шеѣ».

И Малюта опять покосился на Басманова.

Басмановъ измѣнился въ лицѣ. Вся наглость его исчезла.

— Государь,—сказаль онъ, дѣлая необыкновенное уси-
ліе, чтобы казаться спокойнымъ:—должно-бытъ, онъ за то облыгаетъ меня, что выдалъ я его твоей царской милости.

— А какъ стали мы,—продолжалъ Малюта:—прижигать ему подошвы, такъ онъ и показаль, что былъ-де тотъ корень нуженъ Басманову, чтобъ твое государское здорье испортить.

Иоаннъ пристально посмотрѣлъ на Басманова, который зашатался подъ этимъ взглядомъ.

— Батюшка-царь!—сказаль онъ:—охота тебѣ слушать, что мельникъ говорить! Кабы я знался съ нимъ, сталь ли бы я на него показывать?

— А вотъ увидимъ. Разстегни-ка свой кафтанъ; посмотримъ, что у тебя на шеѣ?

— Да что же, кромѣ креста да образковъ, государь?—произнесъ Басмановъ голосомъ, уже потерлвшимъ всю свою увѣренность.

— Разстегни кафтанъ!—повторилъ Иванъ Васильевичъ.

Басмановъ судорожно отстегнулъ верхнія пуговицы своей одежды.

— Изволь, — сказалъ онъ, подавая Иоанну цѣпь съ образками.

Но царь, кромѣ цѣпи, успѣлъ замѣтить еще шелковый гайтанъ на шеѣ Басманова.

— А это чтѣ? — спросилъ онъ, отстегивая самъ яхонтовую запонку его ворота и выгаскивая изъ-за его рубахи гайтанъ съ ладанкой.

— Это, — проговорилъ Басмановъ, дѣлая надъ собою послѣднее отчаянное усиліе: — это, государь... материнское благословеніе.

— Посмотримъ благословеніе! — Иоаннъ передалъ ладанку Грязному. — На, распори ее, Васюкѣ.

Грязной распоролъ ножомъ оболочку и, развернувъ зашитый въ нее кусокъ холстины, высыпалъ что-то на столъ.

— Ну, чтѣ это? — спросилъ царь, и всѣ съ любопытствомъ нагнулись къ столу и увидѣли какіе-то корешки, перемѣшанные съ лягушечьими костями.

Игуменъ перекрестился.

— Этимъ благословила тебя мать? — спросилъ насмѣшливо Иванъ Васильевичъ.

Басмановъ упалъ на колѣни.

— Прости, государь, холопа твоего! — вскричалъ онъ въ испугѣ. — Видя твою нелюбовь ко мнѣ, надрывался я сердцемъ и, чтобъ войти къ тебѣ въ милость, выпросилъ у мельника этого корня. Это тирличъ, государь! Мельникъ далъ мнѣ его, чтобъ полюбилъ ты опять холопа твоего, а замысла на тебя, видитъ Богъ, никакого не было!

— А жабьи кости? — спросилъ Иоаннъ, наслаждаясь отчаяніемъ Басманова, коего наглость ему давно наскучила.

— Про кости я ничего не вѣдалъ, государь, — видитъ Богъ, ничего не вѣдалъ!

Иванъ Васильевичъ обратился къ Малютѣ.

— Ты говоришь, — сказалъ онъ: — что колдунъ показываетъ на Оедьку: Оедька-де затѣмъ къ нему ѣздилъ, чтобъ испортить меня?

— Такъ, государь! — И Малюта скривилъ ротъ, радуясь бѣдѣ давнишняго врага своего.

— Ну, что-жъ, Оедюша, — продолжалъ съ усмѣшкою царь: — надо тебя съ колдуномъ окомъ къ оку поставить. Ему допросъ ужъ учинили; отвѣдай же и ты пытки; а

то скажутъ: царь однихъ земскихъ пытается, а опричниковъ своихъ бережетъ.

Басмановъ повалился. Иоанну въ ноги.

— Солнышко мое красное!—вскричалъ онъ, хватаясь за полы царскаго охабня:—свѣтикъ мой, государь, не губи меня, солнышко мое, мѣсяцъ ты мой, соколикъ мой, горностаекъ! Вспомни, какъ я служилъ тебѣ, какъ отъ воли твоей ни въ чемъ не отказывался!

Иоаннъ отвернулся.

Басмановъ, въ отчаяннѣ, бросился къ своему отцу.

— Батюшка!—завопилъ онъ:—упроси государя, чтобы дароваль животъ холопу своему! Пусть надѣнутъ на меня уже не сарафанъ, а дурацкое платье! Я радъ его царской милости шутомъ служить!

Но Алексѣю Басманову были равно чужды и родственное чувство и состраданіе. Онъ боялся участіемъ къ сыну навлечь опалу на самого себя.

— Прочь!—сказалъ онъ, отталкивая Федора:—прочь, нечестивецъ! Кто къ государю не мыслить, тотъ мнѣ не сынъ! Иди, куда шлетъ тебя его царская милость!

— Святой игумень!—зарыдалъ Басмановъ, тащась на колѣняхъ отъ отца своего къ игумену:—святой игумень, умоли за меня государя!

Но игумень стоялъ самъ не свой, потупя очи въ землю, и дрожалъ всѣмъ тѣломъ.

— Оставь отца игумена!—сказалъ холодно Иоаннъ.—Коли будетъ въ томъ нужда, онъ послѣ по тебѣ панихиду отслужить.

Басмановъ обвелъ кругомъ умоляющимъ взоромъ, но вездѣ встрѣтилъ враждебныя или утрашенные лица.

Тогда въ сердцѣ его произошла перемѣна.

Онъ понялъ, что не можетъ избѣжать пытки, которая жестокостью равнялась смертной казни и обыкновенно ею же оканчивалась; понялъ, что терять ему болѣе нечего, и съ этимъ убѣжденіемъ возвратилась къ нему его рѣшимость.

Онъ всталъ, выпрямилъ станъ и, заложивъ руку за кушакъ, посмотрѣлъ съ наглою усмѣшкой на Иоанна.

— Надѣжа-государь!—сказалъ онъ дерзко, тряхнувъ головою, чтобы оправить свои растрепанные кудри:—надѣжа-государь! Иду я по твоему указу на муку и смерть. Дай же мнѣ сказать тебѣ послѣднее спасибо за всѣ твои ласки! Не умышлялъ я на тебя ничего, а грѣхи-то у

меня съ тобою одни! Какъ поведутъ, казнить меня, я всё до одного расскажу передъ народомъ! А ты, батька-игумень, слушай теперъ мою исповѣдь!..

Опричники и самъ Алексѣй Басмановъ не дали ему продолжать. Они увлекли его изъ кельи на дворъ, и Малюта, посадивъ его, завязаннаго, на-юнь, тотчасъ повезъ къ слободѣ.

— Ты зришь, отче,—сказалъ Іоаннъ игумену:—коли-кими я окруженъ и явными и скрытыми врагами! Моли Бога за меня, недостойнаго, дабы даровалъ Онъ добрый конецъ моимъ начинаніямъ, благословилъ бы меня, многогрѣшнаго, извести корень измѣны!

Царь всталъ и, перекрестившись на образа, подошелъ къ игумену подъ благословеніе.

Игумень и вся братія съ трепетомъ проводили его за ограду, гдѣ царскіе конюхъ дожидались съ богато убранными конями; и долго еще послѣ того, какъ царь съ своими полчанами скрылся въ облакъ пыли и не стало болѣе слышно звука конскихъ подковъ, монахи стояли, потупя очи и не смѣя поднять головы.

ГЛАВА XXXIV.

Шутовской кафтанъ.

Въ это самое утро къ Морозову, который, по волѣ царя, остался въ слободѣ, явились два стольника съ приглашеніемъ къ царскому столу.

Когда Дружина Андреевичъ пріѣхалъ во дворецъ, палаты уже были полны опричниковъ, столы накрыты, слуги, въ богатыхъ одеждахъ, готовили закуску.

Бояринъ, осмотрѣвшись, увидѣлъ, что кромѣ него нѣтъ ни одного земскаго, и понялъ, что царь оказываетъ ему особенную честь.

Вотъ зазвонили дворцовые колокола, затрубили трубы, и Иванъ Васильевичъ, съ благосклоннымъ, пріятнымъ лицомъ, вошелъ въ палату, въ сопровожденіи чудовскаго архимандрита Левкія, Василя Грязного, Алексѣя Басманова, Бориса Годунова и Малюты Скуратова.

Принявъ и отдавъ поклоны, онъ сѣлъ за свой приборъ, и всё за столомъ его размѣстились по чинамъ. Осталось одно пустое мѣсто ниже Годунова.

— Садись, бояринъ Дружина!—сказалъ ласково царь, указывая на пустое мѣсто.

Лицо Морозова побагровѣло.

— Государь,—отвѣтилъ онъ:—какъ Морозовъ во всю жизнь чинилъ, такъ и до смерти чинить будетъ. Старъ я, государь, перенимать новые обычаи. Наложилъ опять опалу на меня, прогони отъ очей твоихъ,—а ниже Годунова не сяду!

Всѣ въ изумленіи переглянулись. Но царь, казалось, ожидалъ этого отвѣта. Выраженіе лица его осталось спокойно.

— Борись,—сказалъ онъ Годунову:—тому скоро два года я боярина Дружину, за такой же отвѣтъ, выдалъ тебѣ головою. Но, видно, мнѣ пора измѣнить мой обычай. Должно-быть; ужъ не мы земскимъ, а земскіе намъ будутъ указывать! Должно-быть, ужъ я и въ домикѣ моемъ не хозяинъ! Придется мнѣ, убогому, забрать свою рухлядишку и бѣжать съ людишками моими куда-нибудь подалѣ! Прогонять они меня отсюда, каліку перехожаго, какъ отъ Москвы прогнали!

— Государь,—сказалъ смиренно Годуновъ, желая выручить Морозова:—не намъ, а тебѣ о мѣстахъ судить. Старые люди крѣпко держатся стараго обычая, и ты не гнѣвись на боярина, что помнитъ онъ разряды. Коли дозволишь, государь, я сяду ниже Морозова; за твоимъ столомъ всѣ мѣста хороши!

Онъ сдѣлалъ движеніе, какъ бы готовясь встать, но Іоаннъ удержалъ его взглядомъ.

— Бояринъ подлинно старъ!—сказалъ онъ хладнокровно, и умѣренность его въ виду явнаго непокорства исполнила всѣхъ ожиданіемъ. Всѣ чувствовали, что готовится что-то необыкновенное, но нельзя было угадать, какъ проявится царскій гнѣвъ, коего приближеніе выказывала лишь легкая судорога на лицѣ, напоминающая дрожаніе отдаленной зарницы.

Всѣ груди были стѣснены какъ передъ наступающей бурей.

— Да,—продолжалъ спокойно Іоаннъ:—бояринъ подлинно старъ, но разумъ его молодъ не по лѣтамъ. Больно онъ любитъ шутить. Я тоже люблю шутить и въ свободное отъ дѣла и молитвы время я не прочь отъ веселья. Но съ того дня, какъ умеръ шутъ мой Погтевъ, некому потѣшать меня. Дружинѣ, я вижу, это ремесло по сердцу; я же обѣщалъ не оставить его моею милостію, а потому жалую его моимъ первымъ шутомъ. Подать сюда кафтанъ Погтева и надѣть на боярина!

Судороги на лицѣ царя заиграли чаще, но голосъ остался попрежнему спокоенъ.

Морозовъ стоялъ, какъ пораженный громомъ. Багровое лицо его поблѣднѣло, кровь отхлынула къ сердцу, очи засверкали, а брови сначала заходили, а потомъ сдвинулись такъ грозно, что даже вблизи Ивана Васильевича выраженіе его показалось страшнымъ. Онъ еще не вѣрнулъ ушамъ своимъ; онъ сомнѣвался, точно ли царь хочетъ обезчестить всенародно его, Морозова, гордаго боярина, коего заслуги и древняя доблесть были давно всѣмъ извѣстны.

Онъ стоялъ молча, вперивъ въ Иоанна неподвижный, вопрошающій взоръ, какъ бы ожидая, что онъ одумается и возьметъ назадъ свое слово. Но Василий Грязной, по знаку царя, всталъ изъ-за стола и подошелъ къ Дружинѣ Андреевичу, держа въ рукахъ пестрый кафтанъ, полу-парчевый, полусермяжный, со множествомъ заплатъ, бубенчиковъ и колокольцевъ.

— Надѣвай, бояринъ!—сказалъ Грязной:—великій государь жалуетъ тебя этимъ кафтаномъ съ плеча вышлого шута своего Ногтева!

— Прочь!—воскликнулъ Морозовъ, отталкивая Грязного:—не смѣй, кромѣшникъ, касаться боярина Морозова, котораго предкамъ твоимъ предки въ псаряхъ и въ холодахъ служили!

И, обращаясь къ Иоанну, онъ произнесъ дрожащимъ отъ негодованія голосомъ:

— Государь, возьми назадъ свое слово! Вели меня смерти предать! Въ головѣ моей ты волѣнъ, но въ чести моей не волѣнъ никто!

Иванъ Васильевичъ посмотрѣлъ на опричниковъ.

— Правду я говорилъ, что Дружина любитъ шутить? Вы слышали? Я не волѣнъ жаловать его кафтаномъ!

— Государь, — продолжалъ Морозовъ: — именемъ Господа Бога молю тебя, возьми свое слово назадъ! Еще не родился ты, когда уже покойный батюшка твой жаловалъ меня! Когда я, вмѣстѣ съ Хабаровомъ Симскимъ, разбилъ чувашъ и черемисъ на Свѣягѣ, когда съ князьями Одоевскимъ и Мстиславскимъ прогналъ отъ Оки крымскаго царевича и татарскій набѣгъ отъ Москвы отвратилъ! Много ранъ получилъ я, много крови пролилъ на службѣ батюшки твоего и на твоей, государь! Не берегъ я головы ни въ ратномъ дѣлѣ ни въ думѣ боярской, спорилъ, въ

малолѣтство твое, за тебя и за матушку твою съ Шуйскими и съ Бѣльскими! Одною только честью дорожилъ я и никому, въ цѣлую жизнь мою, не далъ запятнать ее! Ты ли теперь опозоришь мои сѣдые волосы? Ты ли наругаешься надъ слугою родителя твоего? Вели казнить меня, государь, вели мнѣ голову на плаху понести, и я съ радостью пойду на мученья, какъ прежде на битвы хаживалъ!

Всѣ молчали, потрясенные сильною рѣчью Морозова; но среди общей тишины раздался голосъ Иоанна.

— Довольно болтать!—сказалъ онъ грозно, переходя отъ насмѣшливости къ явному гнѣву:—твоя глупая рѣчи, старикъ, показали, что ты добрымъ будешь шутомъ. Надѣвай дурацкое платье!

— Вы,—продолжалъ царь, повернувшись къ опричникамъ:—помогите ему; онъ привьмъ, чтобъ ему прислуживали!

Если бы Морозовъ покорился, или, упавъ къ ногамъ царя, сталъ бы униженно просить о пощадѣ, быть-можетъ, и смягчился бы Иванъ Васильевичъ. Но видъ Морозова былъ слишкомъ гордъ, голосъ слишкомъ рѣшителенъ; въ самой просьбѣ его слышалась непреклонность, и этого не могъ снести Иоаннъ. Онъ ощущалъ ко всѣмъ сильнымъ нравамъ неодолимую ненависть, и одна изъ причинъ, по коимъ онъ еще недавно, не отдавая себѣ отчета, отвратилъ сердце свое отъ Вяземскаго, была извѣстная ему самостоятельность князя.

Въ одинъ мигъ опричники сорвали съ Морозова верхнюю одежду и напялили на него кафтанъ съ колокольцами.

Послѣ послѣднихъ словъ Иоанна Морозовъ пересталъ противиться. Онъ далъ себя одѣть и молча смотрѣлъ, какъ опричники со смѣхомъ поправляли и обдергивали на немъ кафтанъ. Мысли его ушли вглубь сердца; онъ сосредоточился въ самомъ себѣ.

— А шапку-то позабыли?—сказалъ Грязной, надѣвая на голову Морозова пестрый колпакъ, и, отступивъ назадъ, онъ поклонился ему до полу.

— Дружина Андреевичъ!—сказалъ онъ:—бьемъ тебѣ челомъ на новой должности! Потѣшай насъ, какъ покойный Ногтевъ потѣшалъ!

Тогда Морозовъ поднялъ голову и обвелъ глазами собрание.

— Добро!—сказаль онъ громко и твердо:—принимаю новую царскую милость. Боярину Морозову невѣстно было сидѣть рядомъ съ Годуновымъ; но царскому шуту пристойно быть за царскимъ столомъ съ Грязными и Басмановыми. Раздвиньтесь, страдники! Мѣсто новому скомо-роху! Пропустите шута и слушайте: веѣ, какъ онъ будетъ потѣшать Ивана Васильевича!

Морозовъ сдѣлалъ повелительный знакъ, и опричники невольно постороились.

Гремя колокольцами, бояринъ подошелъ къ столу и опустился на скамью, напротивъ Иоанна, съ такою величественною осанкой, какъ будто на немъ вмѣсто шутовского кафтана была царская риза.

— Какъ же мнѣ потѣшать тебя, государь?—спросилъ онъ, положивъ локти на столъ, глядя прямо въ очи Ивану Васильевичу.—Мудренъ ты сталъ на потѣхи, ничѣмъ не удивишь тебя! Какихъ шутокъ не перешучено на Руси съ тѣхъ поръ, какъ ты государишь! Потѣшался ты, когда былъ еще отрокомъ и конемъ давилъ народъ на улицахъ; потѣшался ты, когда на охотѣ велѣлъ псарямъ князя Шуйскаго зарѣзать; потѣшался, когда выборные люди изъ Пскова пришли плакаться тебѣ на твоего намѣстника, а ты приказалъ имъ горячею смолою бороды палить!

Опричники хотѣли вскочить съ своихъ мѣстъ и броситься на Морозова; царь удержалъ ихъ знакомъ.

— Но,—продолжалъ Морозовъ:—то все было ребяческое веселье; оно скоро тебѣ надоѣло. Ты началъ знаменитыхъ людей въ монахи постригать, а женъ и дочерей ихъ себѣ на потѣху позорить. И это тебѣ прискучило. Сталъ ты выбирать тогда лучшихъ слугъ твоихъ и мукамъ предавать. Тутъ дѣло пошло повеселѣе, только ненадолго. Не все же ругаться надъ народомъ да надъ боярами. Давай и надъ церковь Христовую поглумимся! Вотъ и набралъ ты всякой голи кабадкой; всякой скаредной сволочи, нарядилъ ее въ рясы монашеския, и самъ монахомъ нарядился, и стали вы днемъ людей рѣзать, а ночью акаѣисты пѣть. Самъ ты, кровью обрызганъ, и пѣлъ, и звонилъ, и чуть ли обѣдню не служилъ. Эта потѣха вышла изо всѣхъ веселѣйшая; такой, опричь тебя, никому и не выдумать!

— Чтѣ же сказать тебѣ, государь? Какъ еще распотѣшить тебя? А развѣ вотъ чтѣ скажу: пока ты со своею опричниною въ машкерахъ пляшешь, къ заутренѣ

звонишь, да кровью упиваешься, наступишь на тебя съ заката Жигимонтъ, напрутъ съ полуночи нѣмцы да чудь, а съ полудня и съ восхода подымется ханъ. Нахлынетъ орда на Москву, и не будетъ воеводъ отстаивать святыни Господней! Запылаютъ храмы Божіи съ мощами святителей, настанутъ опять Батыевы времена. И будешь ты, царь всея Руси, въ ноги кланяться хану и, стоя на колѣняхъ, стремя его цѣловать!

Морозовъ замолкъ.

Никто не прерывалъ его рѣчи; всёмъ она захватила дыханье. Царь слушалъ, наклонясь впередъ, блѣдный, съ пылающими очами, съ пѣною у рта. Судорожно сжималъ онъ ручки кресель и, казалось, боялся проронить единое слово Морозова, и каждое врѣзывалъ въ памяти, чтобы за каждое заплатить ему особою мукой.

Всѣ опричники были блѣдны; никто не рѣшался взглянуть на царя. Годуновъ опустилъ глаза и не смѣлъ дышать, чтобы не привлечь на себя вниманіе. Самому Малютѣ было неловко.

Вдругъ Грязной выхватилъ ножъ, подбѣжалъ къ Іоанну и сказала, указывая на Морозова:

— Дозволь, государь, ему глотку заткнуть!

— Не смѣй!—проговорилъ царь почти шопотомъ и задыхаясь отъ волненія:—дай его милости до конца договорить!

Морозовъ гордо повелъ очами.

— Еще шутокъ хочешь, государь? Изволь, я тебя потѣшу!.. Оставался у тебя изъ вѣрныхъ слугъ твоихъ еще одинъ, древняго боярскаго рода; его ты откладывалъ казнить, потому ли, что страшился Божьяго гнѣва, или что не придумалъ еще достойной казни ему. Жилъ онъ далеко отъ тебя, подъ опалюю, и могъ бы ты забыть про него; но ты, государь, никого не забываешь! Послалъ ты къ нему своего окаяннаго Вяземскаго—сжечь его домъ и жену увезти. Когда-жъ онъ пришелъ къ тебѣ просить суда на Вяземскаго, ты заставилъ ихъ биться себѣ на потѣху, чая, что Вяземскій убьетъ стараго слугу твоего. Но Богъ не захотѣлъ его погибели, показалъ его правду.

— Что же ты сдѣлалъ тогда, государь? Тогда,—продолжалъ Морозовъ, и голосъ его задрожалъ, и коловольцы затряслись на одеждѣ:—тогда тебѣ показалось мало безчестія на слугѣ твоемъ, и ты порѣшилъ опозорить его еще неслыханнымъ, небывалымъ позоромъ!

— Тогда, — воскликнулъ Морозовъ, отталкивая столъ и вставая съ мѣста: — тогда ты, государь, боярина Морозова одѣлъ въ шутовской кафтанъ и велѣлъ ему, спасшему Тулу и Москву, забавлять тебя вмѣстѣ со скаредными твоими кромѣшниками!

Грозень былъ видъ стараго воеводы среди безмолвныхъ опричниковъ. Значеніе шутовской его одежды исчезло. Изъ-подъ густыхъ бровей сверкали молніи. Бѣлая борода величественно падала на грудь, пріавшую нѣкогда много вражыхъ ударовъ, но испещренную нынѣ яркими заплатами; и въ негодующемъ взорѣ было столько достоинства, столько благородства, что въ сравненіи съ нимъ Иванъ Васильевичъ показался мелокъ.

— Государь, — продолжалъ, возвышая голосъ, Морозовъ: — новый шутъ твой передъ тобою. Слушай его послѣднюю шутку! Пока ты живъ, уста народа русскаго запечатаны страхомъ, но минуетъ твое звѣрское цареніе, и останется на землѣ лишь память дѣлъ твоихъ, и перейдетъ твое имя отъ потомковъ къ потомкамъ на вѣчное проклятіе, доколѣ не настанетъ страшный судъ Господень! И тогда всѣ сотни и тысячи избіенныхъ тобою, всѣ сонмы мужей и женъ, младенцевъ и старцевъ, всѣ, кого ты погубилъ и измучилъ, всѣ предстанутъ предъ Господомъ, вопія на тебя, мучителя своего! И въ оный страшный день предстану и я предъ вѣчнымъ Судьею, предстану въ этой самой одеждѣ и потребую обратно моей чести, что ты отнял у меня на землѣ! И не будетъ съ тобою кромѣшниковъ твоихъ заградить уста вопіющихъ, и услышишь ихъ Судія, и будешь ты ввергнуть въ пламень вѣчный, уготованный дьяволу и аггеламъ его!

Морозовъ замолчалъ и, бросивъ презрительный взоръ на царскихъ любимцевъ, повернулся къ нимъ спиною и медленно удалился.

Никто не подумалъ остановить его. Важно прошелъ онъ между рядами столовъ, и только когда замеръ звонъ его колокольцевъ, опричники очнулись отъ оцѣпенѣнія; а Малюта, вставъ изъ-за стола, сказалъ Ивану Васильевичу:

— Прикажешь сейчасъ порѣшить его, государь, или пока въ тюрьму посадить?

— Въ тюрьму! — произнесъ Іоаннъ, переводя дыханіе. — Беречь его! Кормить его! Не пытать, чтобы не издохъ до времени; ты отвѣчаешь за него головой!

Вечеромъ у царя было особенное совѣщаніе съ Малютой. Колычевы, давно уже сидѣвшіе въ тюрьмѣ и пыгаемые Малютой, частью сознались во взводимой на нихъ измѣнѣ, частью были, по мнѣнію Іоанна, достаточно уличены друзьями ихъ и холопями, которые, не выдержавъ пытки, на нихъ показывали.

Много и другихъ лицъ было замѣшано въ это дѣло. Схваченные по приказанію царя и жестоко истязуемые, кто въ Москвѣ, кто въ слободѣ, они, въ свою очередь, называли много именъ, и число пытаемыхъ росло съ каждымъ днемъ и выросло наконецъ до трехсотъ человекъ.

Иванъ Васильевичъ, дорожа мнѣніемъ инъ сгранныхъ державъ, положилъ подождать отъѣзда бывшихъ тогда въ Москвѣ литовскихъ пословъ и учинить осужденнымъ въ одинъ день общую казнь; а дабы дѣйствіе ея было поразительнѣе и устрашило бы мятежниковъ на будущее время, казни сей надлежало совершиться въ Москвѣ, въ виду всего народа.

Въ тотъ же самый день царь назначилъ казнь Вяземскаго и Басманова. Мельникъ, какъ чародѣй, осужденъ былъ къ сожженію на кострѣ, а Коршуну, дерзнувшему забраться въ царскую опочивальню и котораго берегли доселѣ на торжественный случай, Іоаннъ готовилъ исключительнѣе, еще небывалыя мѣки. Той же участи онъ обрекъ и Морозова.

О подробностяхъ этой общей казни царь разговаривалъ до поздней ночи, и пѣтухи уже два раза пропѣли, когда онъ отпустилъ Малюту и удалился въ свою образную.

ГЛАВА XXXV.

К а з н ь.

По отъѣздѣ литовскихъ пословъ, наканунѣ дня, назначеннаго для торжественной казни, московскіе люди съ ужасомъ увидѣли ея приготовленія.

На большой торговой площади, внутри Китай-города, было поставлено множество висѣлицъ. Среди нихъ стояло нѣсколько срубовъ съ плахами. Немного подалѣ висѣлъ на перекладинѣ между столбовъ огромный желѣзный котель. Съ другой стороны срубовъ торчалъ одинокій столбъ, съ придѣланными къ нему цѣпями, и вокругъ столба работники наваливали костеръ. Разныя неизвѣстныя орудія виднѣлись между висѣлицами и возбуждали въ толпѣ

боязливья догадки, отъ которыхъ сердце заранѣе сжималось.

Мало-по-малу всѣ приходшіе торговать на базаръ разошлись въ испугѣ. Опустѣла не только площадь, но и окрестныя улицы. Жители заперлись въ домахъ и шопотомъ говорили о предстоящемъ событіи. Слухъ о страшныхъ приготовленіяхъ разнесся по всей Москвѣ, и вездѣ воцарилась мертвая тишина. Лавки закрылись, никто не показывался на улицахъ, и лишь время отъ времени проскакивали по нимъ гонцы, посылаемые съ приказаніями отъ Арбата, гдѣ Іоаннъ остановился въ любимомъ своемъ теремѣ. Въ Китай-городѣ не слышно было другого шума, кромѣ стука плотничьихъ топоровъ да говора опричниковъ, распоряжавшихся работами.

Когда настала ночь, затихли и эти звуки, и мѣсяцъ, поднявшись изъ-за зубчатыхъ стѣнъ Китай-города, освѣтилъ безлюдную площадь, всю взъерошенную кольями и висѣлицами. Ни одного огонька не свѣтилось въ окнахъ, всѣ ставни были закрыты, лишь кое-гдѣ тускло теплились лампы передъ наружными образами церквей. Но никто не спалъ въ эту ночь; всѣ молились, ожидая разсвѣта.

Наконецъ роковое утро настало, и въ небѣ послышалось усиленное карканье воронъ и галокъ, которыя, чуя близкую кровь, слетались отовсюду въ Китай-городъ, кружились стаями надъ площадью и унизывали черными рядами церковные кресты, князьки и гребни домовъ и самя висѣлицы.

Тишину прервалъ отдаленный звонъ бубенъ и тулumba-совъ, который медленно приближался къ площади. Показалась толпа конныхъ опричниковъ, по пяти въ рядъ. Впереди ѣхали бубенщики, чтобы разгонять народъ и очищать дорогу государю, но они напрасно трясли свои бубны и били воцагами въ тулumbaсы: нигдѣ не видно было живой души.

За опричниками ѣхалъ самъ царь Иванъ Васильевичъ, верхомъ, въ большомъ нарядѣ, съ колчаномъ у сѣдла, съ золоченымъ лукомъ за спиною. Вънецъ его шишака былъ украшенъ Деисусомъ, то-есть изображеніемъ на финифти Спасителя, а по сторонамъ—Богородицы, Іоанна Предтечи и разныхъ святыхъ. Чепракъ подъ нимъ блисталъ дорогими каменьями, а на шеѣ у вороного коня, вмѣсто науза, болталась собачья голова.

Рядомъ съ царемъ былъ виденъ царевичъ Іоаннъ, а позади ѣхала толпа ближайшихъ царедворцевъ, по три въ рядъ. За ними шло слишкомъ триста человекъ, осужденныхъ на смерть. Скованные цѣпями, изпуренные пыткой, они съ трудомъ передвигали ноги, повинуваясь понуждающимъ ихъ опричникамъ.

Шествіе заключалъ многочисленный отрядъ конницы.

Когда поѣздъ въѣхалъ въ Китай-городъ и все войско, спѣшившись, размѣстилось у висѣлицъ, Іоаннъ, не сходя съ коня, посмотрѣлъ кругомъ и съ удивленіемъ увидѣлъ, что на площади не было ни одного зрителя.

— Стоять народъ! — сказалъ онъ опричникамъ. — Да никто не убоится! Повѣдайте людямъ московскимъ, что царь казнить своихъ злодѣевъ, безвиннымъ же обѣщаетъ милость.

Вскорѣ площадь стала наполняться народомъ, ставни отворились, у оконъ показались блѣдныя, боязливыя лица.

Между тѣмъ костеръ, разложенный подъ котломъ, запылалъ, и на срубы взошли палачи.

Іоаннъ велѣлъ вывести изъ числа осужденныхъ нѣкоторыхъ, менѣе виновныхъ.

— Человѣки! — сказалъ онъ имъ громко и внятно, дабы всѣ на площади могли его слышать: — вы дружбой вашею и хлѣбомъ-солью съ измѣнщиками моими заслужили себѣ равную съ ними казнь; но я, въ умиленіи сердца, скорбя о погубленіи душъ вашихъ, милую васъ и дарую вамъ животъ, дабы вы покаяніемъ искупили вины ваши и молились за меня, недостойнаго!

По знаку царя, прощенныхъ отвели въ сторону.

— Люди московскіе! — сказалъ тогда Іоаннъ: — вы узрите нынѣ казни и мученія; но караю злодѣевъ, которые хотѣли предать врагамъ государство! Плачуще, предаю тѣлеса ихъ терзанію, яко азъ есмь судія, поставленный Господомъ судити народы мои! И нѣсть лицепріятія въ судѣ моемъ, яко, подобно Аврааму, подъявшему ножъ на сына, я самыхъ ближнихъ моихъ на жертву приношу! Да падеть же кровь сія на главу враговъ моихъ!

Тогда изъ среды оставшихся осужденныхъ вывели прежде всѣхъ боярина Дружину Андреевича Морозова.

Іоаннъ, въ первомъ порывѣ раздраженія, обрекъ-было его на самыя страшныя муки; но по непонятной измѣнчивости нрава, а можетъ-быть, и вслѣдствіе общей любви москвитянъ къ боярину, онъ наканунѣ казни отмѣнилъ

свои распоряженія и осудилъ его на менѣ жестокою смертью.

Думный дьякъ государевъ, стоя у сруба, развернулъ длинный свитокъ и прочелъ громогласно:

— «Бывшій бояринъ Дружина! Ты хвалился замутишь государство, призвать крымскаго хана и литовскаго короля Жигимонта, и многія другія бѣды и тѣсноты на Руси учинить. Ты же дерзнулъ злыми, кусательными словами поносить самого государя, царя и великаго князя всея Руси, и добрыхъ слугъ его на непокорство подымать. Заслужилъ ты себѣ истязанія паче смерти; но великій государь, помня прежнія доблести твои, отъ жалости сердца, повелѣлъ тебя, особно отъ другихъ и минуя прочія мѹки, скорою смертью казнить, голову тебѣ отсѣчь, остатковъ же твоихъ на его государскій обиходъ не отписывать!»

Морозовъ, уже взошедшій на срубъ, перекрестился.

— Вѣдаю себя чистымъ предъ Богомъ и предъ государемъ, — отвѣтствовала онъ спокойно: — предаю душу мою Господу Иисусу Христу; у государя же прошу единой милости, что останется послѣ меня добра моего, то все пусть раздѣлится на три части: первую часть — на церкви Божіи и на поминъ души моей; другую — нищей братіи, а третью — вѣрнымъ слугамъ и холопамъ моимъ; а кабальныхъ людей и рабовъ отпускаю вѣчно на волю! Вдовѣ же моей прощаю, и вольно ей выйти, за кого похочеть!

Съ сими словами Морозовъ еще разъ перекрестился и опустилъ голову на плаху.

Раздался глухой ударъ — голова Дружины Андреевича покатилась, и благородная кровь его обагрила доски помоста.

За нимъ опричники, къ удивленію народа, вывели оруженачаго государева, князя Вяземскаго, кравчаго Ѳедора Басманова и отца его Алексѣя, на котораго Ѳедоръ показалъ на пыткѣ.

— Люди московскіе! — сказалъ Іоаннъ, указывая на осужденныхъ: — се зрите моихъ и вашихъ злодѣевъ! Они, забывъ крестное свое цѣлованіе, тѣснили васъ отъ имени моего и, не страшася суда Божія, грабили животы ваши и губили народъ, который я же ихъ поставилъ охранять. И се нынѣ примутъ по дѣламъ своимъ достойную мзду!

Вяземскій и оба Басмановы, какъ обманувшіе царское довѣріе, были осуждены на жестока мѹки.

Дьякъ прочелъ имъ обвиненіе въ намѣреніи, извести царя чарами, въ преступныхъ сношеніяхъ съ врагами государства и притѣсненіи народа именемъ Іоанновымъ.

Когда палачи, схвативъ Ѳедора Басманова, взвели его на помость, онъ обернулся къ толпѣ зрителей и закричалъ громкимъ голосомъ :

— Народъ православный! Хочу передъ смертью покаяться въ грѣхахъ моихъ! Хочу, чтобъ всѣ люди вѣдали мою исповѣдь! Слушайте, православные...

Но Малюта, стоявшій сзади, не далъ ему продолжать. Опъ ловкимъ ударомъ сабли снесъ ему голову въ тотъ самый мигъ, какъ онъ готовился начать свою исповѣдь.

Окровавленный трупъ его упалъ на помость, а отлетѣвшая голова подкатилась, звеня серьгами, подъ ноги царскому коню, который откачнулся, фыркая и косясь на нее испуганнымъ окомъ. Басмановъ послѣднею наглостью избавился отъ ожидавшихъ его мученій.

Отецъ его Алексѣй и Вяземскій не были столько счастливы. Ихъ, вмѣстѣ съ разбойникомъ Коршуномъ, взвели на срубъ, гдѣ ожидали ихъ страшные снаряды. Въ то же время стараго мельника потащили на костеръ и приковали къ столбу.

Вяземскій, измученный пыткой, не имѣя силы стоять на ногахъ, поддерживаемый подъ руки палачами, бросалъ дикіе взгляды по сторонамъ. Въ глазахъ его не было замѣтно ни страха ни раскаянья. Увидѣвъ прикованнаго къ столбу мельника и вокругъ него уже вьющіяся струи дыма, князь вспомнилъ его послѣднія слова, когда старикъ, заговоривъ его саблю, смотрѣлъ въ бадью съ водою; вспомнилъ также князь и свое видѣніе на мельницѣ, когда онъ въ лунную ночь, глядя подъ шумящее колесо, старался увидѣть свою будущность, но увидѣлъ только, какъ вода почервонѣла подобно крови, и какъ заходили въ ней зубчатые пилы и стали отмыкаться и замыкаться желѣзные клещи...

Мельникъ не замѣтилъ Вяземскаго. Углубленный въ самого себя, онъ бормоталъ что-то себѣ подъ носъ и съ видомъ помѣшательства приплясывалъ на кострѣ, гремя цѣпями.

— Шикалу! Ликалу!—говорилъ онъ:—слетѣлися вороны на богатый пиръ! Повернулося колесо, повернулося! Чтò было высоко, тò стало низко! Шагадамъ! Подымися вѣтеръ отъ мельницы, налети на вѣроговъ моихъ! Кулла! Кулла! Разметай костеръ, загаси огонь!

И въ самомъ дѣлѣ, какъ будто повинуюсь заклинаніямъ, вѣтеръ поднялся на площади, но вмѣсто того, чтобы загасить костеръ, онъ раздулъ подложенный подъ него хворостъ, и пламя, вырвавшись сквозь сухія дрова, охватило мельника и скрыло его отъ зрителей.

— Шагадамъ! Кулла! Кулла!—послышалось еще за облакомъ дыма, и голосъ замеръ въ трескѣ пылающаго костра.

Наружность Коршуна почти вовсе не измѣнилась ни отъ пытки ни отъ долгаго томленія въ темницѣ. Сильная природа его устояла противъ приготовительнаго допроса, но въ выраженіи лица произошла перемѣна. Оно сдѣлалось мягче, глаза глядѣли спокойнѣе.

Съ той самой ночи, какъ онъ былъ схваченъ въ царской опочизальнѣ и брошенъ въ тюрьму, угрызения совѣсти перестали терзать его. Онъ тогда же принялъ ожидающую его казнь, какъ искупленіе совершенныхъ имъ нѣкогда злодѣйствъ, и, лежа на гнилой соломѣ, онъ въ первый разъ, послѣ долгаго времени, заснулъ спокойно.

Дьякъ прочелъ передъ народомъ вину Коршуна и ожидающую его казнь.

Коршунъ, взошедши на помость, перекрестился на церковныя главы и положилъ, одинъ за другимъ, четыре земныхъ поклона народу, на четыре стороны площади.

— Прости, народъ православный!—сказалъ онъ:—прости меня въ грѣхахъ моихъ: въ разбоѣ, и въ воровствѣ, и въ смертномъ убійствѣ! Прости во всемъ, что я согрѣшилъ передъ тобою. Заслужилъ я себѣ смертную муку, отпусти мнѣ вины мои, народъ православный!

И, повернувшись къ палачамъ, онъ самъ продѣлъ руки въ приготовленныя для нихъ петли.

— Привязывайте, что ли!—сказалъ онъ, тряхнувъ сѣдою кудрявою головой, и не прибавилъ болѣе ни слова.

Тогда, по знаку Іоанна, дьякъ обратился къ прочимъ осужденнымъ и прочелъ имъ обвиненіе въ заговорѣ противъ государя, въ намѣреніи отдать Новгородъ и Псковъ литовскому королю и въ преступныхъ сношеніяхъ съ турскимъ султаномъ.

Ихъ готовились повести—кого къ висѣлицамъ, кого къ котлу, кого къ другимъ орудіямъ казни.

Народъ сталъ громко молиться.

— Господи, Господи!—раздавалось на площади:—номилуй ихъ, Господи! Прими скорѣе ихъ души!

— Молитесь за насъ, праведные!— кричали нѣкоторые изъ толпы: — помяните насъ, когда придетъ во царствіе Божіе!

Опричники, чтобы заглушить эти слова, начали громко звать:

— Гойда! Гойда! Да погибнуть враги государевы!

Но въ эту минуту толпа заколебалась, всѣ головы обратились въ одну сторону, и послышались восклицанія:

— Блаженный идетъ! Смотрите, смотрите! Блаженный идетъ!

Въ концѣ площади показался человекъ лѣтъ сорока, съ рѣденькой бородой, блѣдный, босой, въ одной полотняной рубахѣ. Лицо его было необыкновенно кротко, а на устахъ играла странная, дѣтски-добродушная улыбка.

Видъ этого человека среди столькихъ лицъ, являвшихъ ужасъ, страхъ или звѣрство, рѣзко отъ нихъ отдѣлялся и сильно на всѣхъ подѣйствовалъ. Площадь затихла, казни приостановились.

Всѣ знали блаженного, но никто еще не видывалъ на лицѣ его такого выраженія, какъ сегодня. Противъ обыкновенія, судорога подергивала эти улыбающіяся уста: какъ будто съ кротостью боролось другое, непривычное чувство.

Нагнувшись впередъ, гремя веригами и желѣзными крестами, которыми онъ весь былъ обвѣшанъ, блаженный пробирался сквозь раздвигающуюся толпу и шелъ прямо на Іоанна.

— Ивашко! Ивашко!— кричалъ онъ издали, перебирая свои деревянные четки и продолжая улыбаться: — Ивашко! Меня-то забылъ!

Увидѣвъ его, Іоаннъ хотѣлъ повернуть коня и отѣхать въ сторону, но юродивый стоялъ уже возлѣ него.

— Посмотри на блаженного!— сказалъ онъ, хватаясь за узду царскаго коня: — что-жъ не велишь казнить и блаженного? Чѣмъ Вася хуже другихъ?

— Богъ съ тобой!— сказалъ царь, доставая горсть золотыхъ изъ узорнаго мѣшка, висѣвшаго на золотой цѣпочкѣ у его пояса: — нѣ, Вася, ступай, помолись за меня!

Блаженный подставилъ обѣ руки, но тотчасъ же отдернулъ ихъ, и деньги посыпались на землю.

— Ай, ай! Жжется!— закричалъ онъ, дуя на пальцы и потряхивая ихъ на воздухѣ: — зачѣмъ ты деньги въ огнѣ раскалилъ? Зачѣмъ съ адовомъ огнѣ раскалилъ?

— Ступай, Вася!—повторилъ нетерпѣливо Іоаннъ:— оставь насъ, тебѣ здѣсь не мѣсто!

— Нѣтъ, нѣтъ! Мое мѣсто здѣсь, съ мучениками! Дай и мнѣ мученической вѣнчикъ! За что меня обходишь? За что обижаешь? Дай и мнѣ такой вѣнчикъ, какіе другимъ раздаешь!

— Ступай, ступай!—сказалъ Іоаннъ съ зарождающимся гнѣвомъ.

— Не уйду!—произнесъ упорно юродивый, уцѣпясь за конскую сбрую, но вдругъ засмѣялся и сталъ пальцемъ показывать на Іоанна.—Смотрите, смотрите!—заговорилъ онъ:—что это у тебя на лбу? Что это у тебя, Ивашко? У тебя рога на лбу! У тебя козлиные рога выросли! И голова-то твоя стала пѣся!

Глаза Іоанна вспыхнули.

— Прочь, сумасшедшій!—закричалъ онъ и, выхвативъ копье изъ рукъ ближайшаго опричника, онъ замахнулся имъ на юродиваго.

Крикъ негодованія раздался въ народѣ.

— Не тронь его!—послышалось въ толпѣ:—не тронь блаженнаго! Въ нашихъ головахъ ты волёнъ, а блаженнаго не тронь!

Но юродивый продолжалъ улыбаться полудѣтски, полу-безумно.

— Пробори меня, царь Саулъ!—говорилъ онъ, отбирая въ сторону висѣвшіе на груди его кресты:—пробори сюда въ самое сердце! Чѣмъ я хуже тѣхъ праведныхъ? Пошли и меня въ царствіе небесное! Аль завидно тебѣ, что не будешь съ нами, царь Саулъ, царь Иродъ, царь кромѣшный?

Копье задрожало въ рукѣ Іоанна. Еще единый мигъ, и оно вонзилось бы въ грудь юродиваго, но новый крикъ народа удержалъ его на воздухѣ. Царь сдѣлалъ усилие надъ собою и переломилъ свою волю, но буря должна была разразиться.

Съ пѣной у рта, съ сверкающими очами, съ поднятымъ копьемъ, онъ стиснулъ коня ногами, налетѣлъ вскачь на толпу осужденныхъ, такъ что искры брызнули изъ-подъ конскихъ подковъ, и пронзилъ перваго попавшагося ему, подъ руку.

Когда онъ вернулся шагомъ на свое мѣсто, опустивъ окровавленный конецъ копья, опричники уже успѣли оттереть блаженнаго.

Іоаннъ махнулъ рукой, и палачи приступили къ работѣ.

На блѣдномъ лицѣ Іоанна показался румянецъ; очи его сдѣлались больше, на лбу надулись синія жилы, и ноздри расширились

.

Когда наконецъ, сытый душегубствомъ, онъ повернулъ коня и, объѣхавъ вокругъ площади, удалился, самъ обрызганный кровью и окруженный окровавленнымъ полкомъ своимъ, вороны, сидѣвшія на церковныхъ крестахъ и на гребняхъ кровель, взмахнули одна за другой крыльями и начали спускаться на груди истерзанныхъ членовъ и на трупы, висящія на висѣлицахъ...

Бориса Годунова въ этотъ день не было между пріѣхавшими съ Іоанномъ. Онъ еще наканунѣ вызвался провозжать изъ Москвы литовскихъ пословъ.

На другой день послѣ казни площадь была очищена, и мертвыя тѣла свезены и свалены въ кремлевскій ровъ.

Тамъ граждане московскіе впоследствии соорудили нѣсколько деревянныхъ церквей, на к о с т я х ъ и н а к р о в и, какъ выражаются древнія лѣтописи.

Прошли многіе годы; впечатлѣніе страшной казни изгладилось изъ памяти народной; но долго еще стояли вдоль кремлевскаго рва тѣ скромныя церкви, и приходившіе въ нихъ молиться могли слышать панихиды за упокой измученныхъ и избѣненныхъ по указу царя и великаго князя Іоанна Васильевича четвертаго.

ГЛАВА XXXVI.

Возвращеніе въ слободу.

Поразивъ ужасомъ Москву, царь захотѣлъ явиться милостивымъ и великодушнымъ. По приказанію его, темницы были отперты, и заключенные, уже не чаявшіе себѣ прощія, всѣ освобождены. Нѣкоторымъ Іоаннъ послалъ подарки. Казалось, давно кипѣвшая въ немъ и долго разгоравшаяся злоба разразилась послѣднею казнью и вылетѣла изъ души его, какъ пламенный снопъ изъ горы огнедышащей. Разсудокъ его успокоился, онъ пересталъ вездѣ отыскивать измѣну.

Не всякій разъ, послѣ безвинной крови, Іоаннъ предавался угрызениямъ совѣсти. Они зависѣли также отъ другихъ обстоятельствъ. Небесныя знаменія, внезапно ударившій громъ, проявленіе народныхъ бѣдствій устра-

шали его чуткое воображеніе и подвигали его иногда на всенародное покаянiе; но когда не случалось ни знаменiй, ни голода, ни пожаровъ, внутреннiй голосъ его молчалъ и совѣсть дремала. Такъ и въ настоящее время состоянiе души Іоанна было безмятежно. Онъ чувствовалъ послѣ совершенныхъ убійствъ какое-то удовольствованiе и спокойствiе, какъ голодный, насытившійся пищею. Болѣе изъ привычки и принятаго правила, чѣмъ отъ потребности сердца, онъ, возвращаясь въ слободу, остановился на нѣсколько дней молиться въ Троицкой лаврѣ.

Во всю дорогу пристава, ѣхавшіе передъ нимъ, бросали горстями серебряныя деньги нищимъ, а уѣзжая изъ лавры, онъ оставилъ архимандриту богатый вкладъ на молебны за свое здравіе.

Въ слободѣ между тѣмъ готовилось никѣмъ неожиданное событіе.

Годуновъ, посланный впередъ приготовить государю торжественный приемъ, исполнивъ свое порученіе, сидѣлъ у себя въ брусняной избѣ, облокотясь на дубовый столъ, подперши рукою голову. Онъ размышлялъ о случившемся въ эти послѣдніе дни, о казни, отъ которой удалось ему уклониться, о загадочномъ нравѣ грознаго царя и о способахъ сохранить его милость, не участвуя въ дѣлахъ опричнины, какъ вошедшій слуга доложилъ, что у крыльца дожидается князь Никита Романовичъ Серебряный.

Годуновъ при этомъ имени въ удивленіи всталъ со скамьи.

Серебряный былъ опальникъ государевъ, осужденный на смерть. Онъ ушелъ изъ тюрьмы, и всякое сношеніе съ нимъ могло стоить головы Борису Ѳедоровичу. Но отказать князю въ гостеприимствѣ или выдать его царю было бы дѣломъ недостойнымъ, на которое Годуновъ не могъ рѣшиться, не потерявъ народнаго довѣрiя, коимъ онъ болѣе всего дорожилъ. Въ то же время онъ вспомнилъ, что царь находится теперь въ милостивомъ расположеніи духа, и въ одинъ мигъ сообразилъ, какъ дѣйствовать въ этомъ случаѣ.

Не выходя на крыльцо встрѣчать Серебрянаго, онъ велѣлъ немедленно ввести его въ избу. Постороннихъ свидѣтелей не было, и, положивъ разъ принять князя, Годуновъ не захотѣлъ показать ему неполное радушіе.

— Здравствуй, князь,—сказалъ онъ, обнимая Никиту Романовича:—милости просимъ, садись; какъ же ты рѣ-

шился вернуться въ слободу, Никита Романычъ? Но дай сперва угостить тебя; ты, я чаю, съ дороги усталъ.

По приказанію Годунова поставили на столъ закуску и нѣсколько кубковъ вина.

— Скажи, князь,—спросилъ Годуновъ заботливо:—видѣли тебя, какъ ты взошелъ на крыльцо?

— Не знаю,—отвѣчалъ простодушно Серебряный:—можетъ-быть, и видѣли; я не хоронился, прямо къ твоему, терему подѣхалъ. Мнѣ вѣдомо, что ты не тянешь къ опричиннѣ.

Годуновъ поморщился.

— Борисъ Ѳедорычъ,—прибавилъ Серебряный доверчиво:—я вѣдь не одинъ; со мной пришло сотни двѣ старичниковъ изъ-подъ Рязани.

— Чтѣ ты, князь!—воскликнулъ Годуновъ.

— Они,—продолжалъ Серебряный:—за заставой остались. Мы вмѣстѣ несемъ наши головы государю; пусть казнить насъ или милуетъ, какъ ему угодно!

— Слышалъ я, князь, слышалъ, какъ ты съ ними татаръ разбилъ; но вѣдомо ли тебѣ, чтѣ съ тѣхъ поръ на Москвѣ было?

— Вѣдомо, —отвѣчалъ Серебряный и кахмурился. — Я шелъ сюда и думалъ: опричиннѣ конецъ, а у васъ дѣла хуже прежняго. Да проститъ Богъ государю! А тебѣ грѣхъ, Борисъ Ѳедорычъ, что ты только молчишь да глядишь на все это!

— Эхъ, Никита Романычъ, ты, я вижу, все тотъ же остался! Что-жъ бы я сказалъ царю? Послушался бы онъ меня, что ли?

— А хотя бы и не послушался,—возразилъ упрямо Серебряный:—все-жъ тебѣ говорить слѣдуетъ. Отъ кого-жъ ему правду знать, коли не отъ тебя?

— А ты думаешь, онъ правды не знаетъ? Ты думаешь, онъ и въ самомъ дѣлѣ всѣмъ тѣмъ извѣтамъ вѣрить, по которымъ столько людей казнено?

И, сказавъ это, Годуновъ закусилъ-было языкъ, но вспомнилъ, что говорить съ Серебрянымъ, котораго открытое лицо исключало всякое подозрѣніе въ предательствѣ.

— Нѣтъ,—продолжалъ онъ вполголоса:—напрасно ты винишь меня, князь. Царь казнить тѣхъ, на кого зло держитъ, а въ сердцѣ его не волѣнъ никто. Сердце царю въ рукѣ Божіей, говоритъ писаніе. Вотъ Морозовъ попытался-было прямить ему; что-жъ вышло? Морозова!

казнили, а другимъ не стало отъ того легче. Но ты, Никита Романычъ, видно, самъ не дорожишь головою, что, вѣдая московскую казнь, не убоялся придти въ слободу?

При имени Морозова Серебряный вздохнулъ. Онъ любилъ Дружину Андреевича, хотя бояринъ и похитилъ его счастье.

— Что-жъ, Борисъ Ѳедорычъ,—отвѣтилъ онъ Годуну:—чему быть, того не миновать! Да правду сказать, и жить-то мнѣ надоѣло; не красно теперь житье на Руси!

— Послушай, князь: ты самъ себя не бережешь; такой, видно, ужъ нравъ у тебя; но Богъ тебя бережетъ. Какъ ты до сихъ поръ ни лѣзь въ петлю, а все цѣлъ оставался. Должно-быть, не написано тебѣ пропасть ни за что ни про что. Кабы ты съ недѣлю тому вернулся, не знаю, чтó бы съ тобой было; а теперь, пожалуй, есть тебѣ надежда; только не спиши на глаза Ивану Васильевичу; дай мнѣ сперва увидѣть его.

— Спасибо тебѣ, Борисъ Ѳедорычъ; да ты обо мнѣ-то больно не хлопочи, а вотъ станичниковъ, коли можно, вызволи изъ бѣды. Они хоть и худые люди, а вины свои хорошо заслужили.

Годуновъ взглянулъ съ удивленіемъ на Никиту Романовича. Онъ не могъ привыкнуть къ простотѣ князя, и равнодушіе его къ собственной жизни показалось Годуну неестественнымъ.

— Что-жъ ты, князь,—спросилъ онъ:—съ горя, что ли, жить не хочешь?

— Пожалуй, что и съ горя. Къ чему еще жить теперь? Вѣришь ли, Борисъ Ѳедорычъ, иной разъ поневолѣ Курбскій на умъ приходитъ; подумаю про него, и самому страшно станеть: такъ, кажется, и бросилъ бы родину и ушелъ бы къ ляхамъ, кабы не были они враги наши.

— Вотъ то-то, князь! Въ теперешнее время намъ только и есть, что двѣ дороги: или дѣлать, какъ Курбскій—бѣжать навсегда изъ родины, или такъ, какъ я—оставаться около царя и искать его милости. А ты ни то ни другое: отъ царя не уходишь, а съ царемъ не мыслишь; этакъ нельзя, князь; надо одко изъ двухъ. Ужъ коли хочешь оставаться на Руси, такъ исполняй волю цареву. А если полюбить онъ тебя, такъ, пожалуй, и самъ отъ причинны отворотится. Вотъ, примѣрно, кабы насъ было двое около него,—одинъ бы другого поддерживалъ; сегодня бы я заропилъ словечко, завтра—ты; что-нибудь и осталось бы у

него въ памяти; вѣдь и капля, говорятъ, когда все на одно мѣсто каплетъ, такъ камень насквозь долбитъ. А нахрапомъ, князь, ничего не возьмешь!

— Кабы не былъ онъ царь,—сказалъ мрачно Серебряный:—я зналъ бы, что мнѣ дѣлать; а теперь ничего въ толкъ не возьму; на него идти Богъ не велить, а съ нимъ мыслить мнѣ не въ мочь; хоть онъ меня на ключья разорви, съ опричниной хлѣба-соли не поведу!

— Погоди, князь, не отчаивайся. Вспомни, что я тебѣ тогда говорилъ? Оставимъ опричниковъ; не будемъ перечить царю; они сами перегубятъ другъ друга! Вотъ ужъ троихъ главнѣйхъ не стало: ни обоихъ Басмановыхъ ни Вяземскаго. Дай срокъ, князь, и вся опричина до смерти перегрызется!

— А до того что будетъ?—сказалъ Серебряный.

— А до того,—отвѣчалъ Годуновъ, не желая сразу настаивать на мысли, которую хотѣлъ заронить въ Серебряномъ:—до того, коли царь тебя помируетъ, ты можешь снова на татаръ идти; за этимъ дѣло не станетъ.

Въ мысляхъ Серебрянаго нелегко укладывались два впечатлѣнія разомъ, и надежда идти на татаръ вытѣснила на время овладѣвшее имъ уныніе.

— Да,—сказалъ онъ:—только намъ одно и осталось, что татаръ колотить! Кабы не ждать ихъ въ гости, а ударить бы на Крымъ всѣми полками разомъ, да вмѣстѣ съ казаками, такъ, пожалуй, что и Крымъ взяли бы!

Онъ даже усмѣхнулся отъ удовольствія при этой мысли.

Годуновъ вступилъ съ нимъ въ разговоръ о его насильственномъ освобожденіи и о рязанскомъ побоищѣ. Уже начинало темнѣть, а они все еще сидѣли, бесѣдуя за кубками.

Наконецъ Серебряный всталъ.

— Прости, бояринъ,—сказалъ онъ:—уже скоро ночь на дворѣ.

— Куда ты, Никита Романычъ? Останься у меня, переночуй; завтра пріѣдетъ царь, я доложу о тебѣ.

— Нельзя, Борисъ Федорычъ, пора мнѣ къ своимъ. Боюсь, чтобъ они съ кѣмъ не повздорили. Кабы царь былъ въ слободѣ, мы прямо-бъ къ нему съ повинною пришли, и пусть бы случилось, что Богу угодно; а съ здѣшними душегубцами не уберешься. Хоть мы и въ сторонѣ, подъ самымъ лѣсомъ остановились, а все же можеть какой-нибудь объѣздъ наѣхать.

— Ну, прости, Никита Романычъ! Смотри-жь, ты не суйся царю на глаза; погоди, чтобъ я прислалъ за тобой... Да постой, не туда ты идешь, князь,—прибавилъ Годуновъ, видя, что Серебряный направляется къ краснымъ сѣнямъ, и, взявъ его за руку, онъ проводилъ его на заднее крыльцо.

— Прости, Никита Романычъ!—повторилъ онъ, обнимая Серебрянаго.—Богъ не безъ милости: авось и уладится твое дѣло.

И, подождавъ, чтобы князь сѣлъ на коня и выѣхалъ заднею околицею, Годуновъ вернулся въ избу, весьма довольный, что Серебряный не принялъ предложенія переночевать у него въ домѣ.

На другое утро царь съ торжествомъ въѣхалъ въ слободу, какъ послѣ одержанной побѣды. Опричники провозжали его съ криками:—Гойда! Гойда!—отъ заставы до самаго дворца.

Одна старая мамка Онуфревна приняла его съ бранью.

— Звѣрь ты этакой!—сказала она, встрѣчая его на крыльцѣ:—какъ тебя еще земля держитъ, звѣря плотояднаго? Кровью отъ тебя пахнетъ, душегубецъ! Какъ смѣлъ ты къ святому угоднику Сергію явиться послѣ твоего московскаго дѣла? Громъ Господень убьетъ тебя, окаяннаго, вмѣстѣ съ дьявольскимъ полкомъ твоимъ!

Но въ этотъ разъ увѣщанія мамки не произвели никакого дѣйствія. На дворѣ не было ни грома ни бурк. Солнце великолѣпно сіяло въ безоблачномъ небѣ, и ярко играли краски и позолота на пестрыхъ теремкахъ и затѣйливыхъ главахъ дворца. Іоаннъ не отвѣтилъ ни слова и прошелъ мимо старухи во внутренніе свои покои.

— Погоди, погоди!—продолжала она, глядя ему во слѣдъ и стуча о-поль клюкою:—разразится громъ Божій надъ теремомъ твоимъ, выжжетъ онъ всю твою нечестивую слободу!

И старуха удалилась въ свою свѣтлицу, медленно передвигая ноги и бросая сердитые взгляды на царедворцевъ, которые сторонились отъ нея съ суевѣрнымъ страхомъ.

Въ этотъ день, послѣ обѣда, Годуновъ, видя, что царь веселъ и доволенъ и противъ обыкновенія готовится отдохнуть, послѣдовалъ за нимъ въ опочивальню. Расположеніе къ нему Ивана Васильевича давало это право Годунову, особенно, когда ему было о чемъ доложить, что не всякому слѣдовало слышать.

Въ царской опочивальнѣ стояли двѣ кровати: одна — изъ голыхъ досокъ, на которой Иванъ Васильевичъ ложился для наказанія плоти, въ минуту душевныхъ тревогъ и сердечнаго раскаянія; другая, болѣе широкая, была покрыта мягкими овчинами, пуховикомъ и шелковыми подушками. На этой царь отдыхалъ, когда ничто не тревожило его мыслей. Правда, это случалось рѣдко, и послѣдняя кровать большею частью оставалась нетронутою.

Надобно было хорошо знать Ивана Васильевича, чтобы не ошибиться въ дѣйствительномъ расположеніи его духа. Не всегда во время мученій совѣсти онъ былъ склоненъ на милосердіе. Онъ часто приписывалъ угрызенія свои наводженію сатаны, старающагося отвлечь его отъ преслѣдованія измѣны, и тогда, вмѣсто того, чтобы смягчить свое сердце, онъ, на зло дьяволу, творя молитвы и крестныя знаменья, предавался еще большей жестокости. Не всегда также спокойствіе, написанное на лицѣ его, могло достоверно ручаться за внутреннюю безмятежность. Оно часто бывало одною личиною, и царь, одаренный рѣдкою проныцательностью и способностью угадывать чужія мысли, любилъ иногда обманывать расчеты того, съ кѣмъ разговаривалъ, и поражать его неожиданнымъ проявленіемъ гнѣва въ то самое время, когда онъ надѣялся на милость.

Но Годуновъ успѣлъ изучить малѣйшіе оттѣнки царскаго нрава и съ необыкновеннымъ чутьемъ отгадывалъ и объяснялъ себѣ неуловимыя для другихъ измѣненія лица его.

Подождавъ, чтобы Іоаннъ легъ на пуховую постель, и не видя въ его чертахъ ничего, кромѣ усталости, Борисъ Федоровичъ сказалъ безо всякихъ приготовленій:

— Вѣдомо ли тебѣ, государь, что опальникъ твой сыскался?

— Какой? — спросилъ Іоаннъ, зѣвая.

— Никита Серебряный, тотъ самый, что Вяземскаго, измѣнника твоего, саблей посѣкъ и въ тюрьму былъ посаженъ.

— А! — сказалъ Іоаннъ: — поймали воробья! Кто же взялъ его?

— Никто, государь. Онъ самъ пришелъ и всѣхъ станничиковъ привелъ, которые съ нимъ подъ Рязанью татаръ разбили. Они вмѣстѣ съ Серебрянымъ принесли твоей царской милости повинныя головы.

— Опомнились! — сказалъ Іоаннъ. — Что-жь, видѣлъ ты его?

— Видѣлъ, государь: онъ прямо ко мнѣ пріѣхалъ; ду-

малъ—твоя милость въ слободѣ, и просилъ, чтобъ я о немъ сказалъ тебѣ. Я хотѣлъ-было захватить его подъ стражу, да подумалъ: неравно Григорій Лукьянычъ скажетъ, что я подыскиваюсь подъ него, а Серебряный не уйдетъ, коли онъ самъ тебѣ свою голову принесетъ.

Годуновъ говорилъ прямо, съ открытымъ лицомъ, безо всякаго замѣшательства, какъ будто въ немъ не было ни тѣни хитрости, ни малѣйшаго участія къ Серебряному. Когда онъ наканунѣ проводилъ его заднимъ крыльцомъ, онъ поступилъ такъ не съ тѣмъ, чтобы скрыть отъ царя его посѣщеніе (это было бы слишкомъ опасно), но чтобы кто изъ слободскихъ не предупредилъ Іоанна и, какъ первый извѣститель, не настроилъ бы его противъ самого Годунова. Намекъ же на Вяземскаго, выставляющій Серебрянаго врагомъ казеннаго князя, былъ обдуманъ и приговоренъ Борисомъ Ѳедоровичемъ заранѣе.

Царь зѣвнулъ еще разъ, но не отвѣчалъ ничего, и Годуновъ, улавливая каждую черту лица его, не прочелъ на немъ никакого признака ни явнаго ни скрытаго гнѣва. Напротивъ, онъ замѣтилъ, что царю понравилось намѣреніе Серебрянаго предаться на его волю.

Іоаннъ, проливая кровь и заставляя всѣхъ трепетать, хотѣлъ вмѣстѣ съ тѣмъ, чтобъ его считали справедливымъ и даже милосерднымъ; душегубства его были всегда облечены въ наружность строгаго правосудія, и довѣріе къ его великодушію тѣмъ болѣе льстило ему, что такое довѣріе рѣдко проявлялось.

Подождавъ немного, Годуновъ рѣшился вызвать Ивана Васильевича на отвѣтъ.

— Какъ прикажешь, государь,—спросилъ онъ:—позвать къ тебѣ Григорья Лукьяныча?

Но послѣднія казни уже достаточно насытили Іоанна; нѣсколько лишнихъ головъ не могли ничего прибавить къ его удовлетворенію, ни возбудить въ немъ уснувшую на время жажду крови.

Онъ пристально посмотрѣлъ на Годунова.

— Развѣ ты думаешь,—сказалъ онъ строго:—что я безъ убойства жить не могу? Иное—злодѣи, подрывающіе государство, иное—Никита, что Аеоньку порубилъ. А изъ станичниковъ посмотрю, кого казнить, кого помиловать. Пусть всѣ и съ Никитой соберутся передъ краснымъ крыльцомъ на дворѣ. Когда выйду изъ опочивальни, увижу, что съ ними дѣлать!

Годуновъ пожелалъ царю добраго отдыха и удалился съ низкимъ поклономъ.

Все зависѣло теперь отъ того, въ какомъ расположе-ніи проснется Іоаннъ.

ГЛАВА XXXVII.

П р о щ е н і е.

Извѣщенный Годуновымъ, Никита Романовичъ явился на царскій дворъ съ своими станичниками.

Перераненные, оборванные, въ разнообразныхъ лохмотьяхъ, кто въ зипунѣ, кто въ овчинѣ, кто въ лаптяхъ, кто босикомъ, многіе съ подвязанными головами, всѣ безъ шапокъ и безъ оружія, стояли они молча, другъ подлѣ друга, дожидаясь царскаго пробужденія.

Не въ первый разъ видѣли молодцы слободу; приходили они сюда и гусярами, и нищими, и поводитильщиками медвѣдей. Нѣкоторые участвовали и въ послѣднемъ пожарѣ, когда Перстень съ Коршуномъ пришли освободить Серебрянаго. Много было между ними знакомыхъ намъ лицъ, но многихъ и не доставало. Не доставало тѣхъ, которые, отстаивая русскую землю, полегли недавно на рязанскихъ поляхъ,—ни тѣхъ, которые послѣ побѣды, любя раздолье кочующей жизни, не захотѣли понести къ царю повинную голову. Не было тутъ ни Перстня, ни Митьки, ни рыжаго пѣсенника, ни дѣдушки Коршуна. Перстень, появившись въ послѣдній разъ въ слободѣ въ день суднаго поединка, исчезъ Богъ вѣсть куда; Митька послѣдовалъ за нимъ; пѣсенника еще прежде уходилъ Серебряный, а Коршуна теперь подъ стѣною кремлевскою терзали псы и клевали вороны...

Уже часа два дожидались молодцы, потупя очи и не подозрѣвая, что царь смотритъ на нихъ изъ небольшого окна, продѣланнаго надъ самымъ крыльцомъ и скрытаго узорными теремками. Никто изъ нихъ не говорилъ ни съ товарищами ни съ Серебрянымъ, который стоялъ въ сторонѣ, задумавшись и не обращая вниманія на множество людей, толпившихся у воротъ и у калитокъ. Въ числѣ любопытныхъ была и государева мамка. Она стояла на крыльцѣ, нагнувшись на клюку, и смотрѣла на все безжизненными глазами, ожидая появленія Іоанна, быть-можетъ, съ тѣмъ, чтобы своимъ присутствіемъ удержать его отъ новой жестокости.

Иванъ Васильевичъ, наглядѣвшись довольно изъ потаен-

наго окна на своихъ опальниковъ, насладившись мыслію, что они теперь стоятъ между жизнью и смертію, и что не легко у нихъ, должно-быть, на сердцѣ, показался вдругъ на крыльцѣ въ сопровожденіи нѣсколькихъ стольниковъ.

При видѣ царя, одѣтаго въ золотую парчу, опирающагося на узорный посохъ, разбойники стали на колѣни и преклонили головы.

Іоаннъ помолчалъ нѣсколько времени.

— Здравствуйте, оборванцы!—сказалъ онъ наконецъ и, поглядѣвъ на Серебрянаго, прибавилъ:—Ты зачѣмъ въ слободу пожаловалъ? По тюрьмѣ, что ли, соскучился?

— Государь, — отвѣтилъ Серебряный скромно: — изъ тюрьмы ушелъ я не самъ, а увели меня насильно станичники. Они же разбили ширинскаго мурзу Шихмата, о чемъ твоей милости, должно-быть, уже вѣдомо. Вмѣстѣ мы били татаръ, вмѣстѣ и отдаемся на твою волю; казни или милуй насъ, какъ твоя царская милость знаетъ!

— Такъ это за нимъ вы тотъ разъ въ слободу приходили?—спросилъ Іоаннъ у разбойниковъ.—Откуда-жъ вы знаете его?

— Батюшка-царь, — отвѣчали вполголоса разбойники: — онъ атамана нашего спасъ, когда его въ Медвѣдевкѣ повѣситъ хотѣли. Атаманъ-то и увелъ его изъ тюрьмы!

— Въ Медвѣдевкѣ?—сказалъ Іоаннъ и усмѣхнулся.— Это, должно-быть, когда ты Хомяка и съ объѣздомъ его шелепугами отшлепалъ? Я это дѣло помню. Я отпустилъ тебѣ эту первую вину, а былъ ты, по уговору нашему, посаженъ за новую вину, когда ты вдругорядъ на моихъ людей у Морозова напалъ. Чтѣ скажешь на это?

Серебряный хотѣлъ отвѣчать, но мамка предупредила его.

— Да полно тебѣ вины-то его высчитывать!—сказала она Іоанну сердито.—Вмѣсто, чтобъ пожаловать его за то, что онъ басурмановъ разбилъ, церковь Христову отстоялъ, а ты только и смотришь, какую-бъ вину на немъ найти. Мало тебѣ было терзанья на Москвѣ, волкъ ты этакой!

— Молчи, старуха!—сказалъ строго Іоаннъ:—не твое бабѣ дѣло указывать мнѣ!

Но, досадуя на Онуфреву, онъ не захотѣлъ раздражать ее и, отвернувшись отъ Серебрянаго, сказалъ разбойникамъ, стоявшимъ на колѣняхъ:

— Гдѣ атаманъ вашъ, висѣльники? Пусть выступить впередъ!

Серебряный взялся отвѣчать за разбойниковъ.

— Ихъ атамана здѣсь нѣтъ, государь. Онъ тотъ же часъ послѣ рязанской битвы ушелъ. Я звалъ его, да онъ идти не захотѣлъ.

— Не захотѣлъ! — повторилъ Іоаннъ. — Сдается мнѣ, что этотъ атаманъ есть тотъ самый слѣпой, что ко мнѣ въ опочивальню со старикомъ приходилъ. Слушайте же, оборванцы! Я вашего атамана велю сыскать и на колъ посадить!

— Ужь самого тебя, — проворчала мамка: — на тѣмъ свѣту черти на колъ посадятъ!

Но царь притворился, что не слышитъ, и продолжалъ, глядя на разбойниковъ:

— А васъ, за то, что вы сами на мою волю отдались, я, такъ и быть, помилую. Выкатить имъ пять бочекъ меду на дворъ!.. Ну что? Довольна ты, старая дура?

Мамка зажевала губами.

— Да живетъ царь! — закричали разбойники. — Будемъ служить тебѣ, батюшка-государь! Заслужимъ твое прощеніе нашими головами!

— Выдать имъ, — продолжалъ Іоаннъ: — по доброму кафтану да по гривнѣ на человѣка. Я ихъ въ опричнину впишу. Хотите, висьльники, мнѣ въ опричникахъ служить?

Нѣкоторые изъ разбойниковъ замялись, но большая часть закричала:

— Рады служить тебѣ, батюшка, гдѣ укажетъ твоя царская милость!

— Какъ думаешь, — сказалъ Іоаннъ съ довольнымъ видомъ Серебряному: — пригодны они въ ратный строй?

— Въ ратный то строй пригодны, — отвѣтилъ Никита Романовичъ: — только ужъ, государь, не вели ихъ въ опричнину вписывать!

Царь подумалъ, что Серебряный считаетъ разбойниковъ недостойными такой чести.

— Когда я кого милую, — произнесъ онъ торжественно: — я не милую въ половину!

— Да какая-жъ это милость, государь! — вырвалось у Серебрянаго.

Іоаннъ посмотрѣлъ на него съ удивленіемъ.

— Они, — продолжалъ Никита Романовичъ, немного запинаясь: — они, государь, вѣдь доброе дѣло учинили, безъ нихъ, пожалуй, татары на самую бы Рязань пошли.

— Такъ почему-жъ имъ въ опричникѣ не быть?—спросилъ Іоаннъ, пронзая глазами Серебрянаго.

— А потому, государь,—выговорилъ Серебряный, который тщетно старался прибрать выраженія поприличнѣе:—потому, государь, что они, правда, люди худые, а все же лучше твоихъ кромѣшниковъ!

Эта неожиданная и невольная смѣлость Серебрянаго озадачила Іоанна. Онъ вспомнилъ, что уже не въ первый разъ Никита Романовичъ говоритъ съ нимъ такъ откровенно и прямо. Между тѣмъ онъ, осужденный на смерть, самъ добровольно вернулся въ слободу и отдавался на царскій произволъ. Въ строптивости нельзя было обвинить его, и царь колебался, какъ принять эту дерзкую выходку, какъ новое лицо привлекло его вниманіе.

Въ толпу разбойниковъ незамѣтно втерся посторонній человекъ, лѣтъ шестидесяти, опрятно одѣтый, и старался, не показываясь царю, привлечь вниманіе Серебрянаго. Уже нѣсколько разъ онъ изъ-за передняго ряда протягивалъ украдкою руку и силился поймать князя за полу, но, не доставъ его, опять прятался за разбойниковъ.

— Это что за крыса?—спросилъ царь, указывая на незнакомца.

Но тотъ уже успѣлъ скрыться въ толпѣ.

— Раздвиньтесь, люди!—сказалъ Іоаннъ:—достать мнѣ этого молодца, что тамъ сзади хоронится!

Нѣсколько опричниковъ бросились въ толпу и вытащили виновнаго.

— Что ты за человекъ?—спросилъ Іоаннъ, глядя на него подозрительно.

— Это мой стремянный, государь!—поспѣшилъ сказать Серебряный, узнавъ своего стараго Михеича:—онъ не видалъ меня съ тѣхъ поръ...

— Такъ, такъ, батюшка-государь!—подтвердилъ Михеичъ, заикаясь отъ страха и радости:—его княжеская милость правду изволить говорить!.. Не видѣлись мы съ того дня, какъ схватили его милость! Дозволь же, батюшка-царь, на боярина моего посмотреть! Господи-свѣты, Никита Романычъ! Я ужъ думалъ, не придется мнѣ увидѣть тебя!

— Что же ты хотѣлъ сказать ему?—спросилъ царь, продолжая недоувѣрчиво глядѣть на Михеича:—зачѣмъ ты за станичниками хоронился?

— Поопасывался, батюшка-государь, Иванъ Василье-

вичь, опричниковъ твоихъ попасывался! Это вѣдь, самъ знаешь, это вѣдь, государь, все такой народъ...

И Михеичъ закусилъ языкъ.

— Какой народъ?—спросилъ Иоаннъ, стараясь придать чертамъ своимъ милостивое выраженіе:—говори, старикъ, безъ зазора, какой народъ мои опричники?

Михеичъ поглядѣлъ на царя и успокоился.

— Да такого мы до литовскаго похода отродясь не видывали, батюшка!—проговорилъ онъ вдругъ, ободренный милостивымъ выраженіемъ царскаго лица:—не въ укоръ имъ сказать, ненадежный народъ, тѣтка ихъ подкурятина!

Царь пристально посмотрѣлъ на Михеича, дивясь, что слуга равняется откровенностью своему господину.

— Ну, что ты на него глаза таращишь?—сказала мамка.—Съѣсть его, что ли, хочешь? Развѣ онъ не правду говоритъ? Развѣ видывали прежде на Руси кромѣшниковъ?

Михеичъ, нашедши себѣ подмогу, обрадовался.

— Такъ, бабуся, такъ!—сказалъ онъ.—Отъ нихъ-то все зло и пошло на Руси! Они-то и боярина оговорили! Не вѣрь имъ, государь, не вѣрь имъ! Пѣсьи у нихъ морды на сбруѣ, пѣсий и брехъ на языкѣ! Господинъ мой вѣрно служилъ тебѣ, а это Вяземскій съ Хомякомъ наговорили на него. Вотъ и бабуся правду сказала, что такихъ сыроядцевъ и не видано на Руси!

И, озираясь на окружающихъ его опричниковъ, Михеичъ придвинулся поближе къ Серебряному: хоть вы-де и волки, а теперь не съѣдите!

Когда царь вышелъ на крыльцо, онъ уже рѣшился простить разбойниковъ. Ему хотѣлось только продержатъ ихъ нѣкоторое время въ недоумѣніи. Замѣчанія мамки пришли некстати и чуть-было не раздражили Иоанна, но, къ счастью, на него нашла милостивая полоса, и вмѣсто того, чтобы предаться гнѣву, онъ вздумалъ посмѣяться надъ Онуфревной и уронить ея значеніе въ глазахъ царедворцевъ, а вмѣстѣ и пошутить надъ стремяннымъ Серебрянаго.

— Такъ тебѣ не любя опричина?—спросилъ онъ Михеича съ видомъ добродушія.

— Да кому-жъ она любя, батюшка-государь? Съ того часу, какъ вернулись мы изъ Литвы, все отъ нея пошли сыпать бѣды на боярина моего. Не будь этихъ, прости Господи, живодѣровъ, мой господинъ былъ бы попрежнему въ чести у твоей царской милости.

И Михеичъ опять опасно посмотрѣлъ на царскихъ тѣлохранителей, но тотъ же часъ подумалъ про себя: «Эхъ, тѣтка ихъ подкурятина! Ужъ погублю свою голову, а очищу передъ царемъ господина моего!»

— Добрый у тебя стремянный!—сказалъ царь Серебряному.—Пусть бы и мои слуги такъ ко мнѣ мыслили! А давно онъ у тебя?

— Да я, батюшка Иванъ Васильевичъ,—подхватилъ Михеичъ, совершенно ободренный царскою похвалою:— я князю съ самаго съ его сыздѣтства служу. И батюшкѣ его покойному служилъ я, и отецъ мой дѣду его служилъ, и дѣти мои, кабы были у меня, его бы дѣтямъ служили!

— А нѣтъ у тебя развѣ дѣтушекъ, старичокъ?—спросилъ Иоаннъ еще милостивѣе.

— Было двое сыновей, батюшка, да обоихъ Господь прибралъ. Оба на твоемъ государскомъ дѣлѣ подъ Полоцкомъ полегли, когда мы съ Никитой Романычемъ да съ княземъ Пронскимъ Полоцкъ выручали. Старшему сыну, Василию, вражій ляхъ, налетѣвъ, саблей голову раскроилъ, а меньшому-то, Степану, изъ пищали грудь прострѣлили, сквозь самый налечникъ, вотъ настолькоъ повыше лѣваго соска!

И Михеичъ пальцемъ показалъ на груди своей мѣсто, гдѣ въ Степана попала пуля.

— Вишь!—проговорилъ Иоаннъ, покачивая головой и какъ будто принимая большое участіе въ сыновьяхъ Михеича.—Ну, что-жъ дѣлать, старичокъ: этихъ Богъ прибралъ, другихъ наживешь!

— Да откуда нажить-то ихъ, батюшка? Хозяйка-то у меня померла, а изъ рукава-то новыхъ дѣтей не вытрусить!

— Что-жъ,—сказалъ царь, какъ бы желая утѣшить стремяннаго:—еще, дастъ Богъ, другую хозяйку найдешь!

Михеичъ ощущалъ немалое удовольствіе въ разговорѣ съ царемъ.

— Да этого добра какъ не найти!—отвѣчалъ онъ, ухмыляясь:—только не охочь я до бабъ, батюшка-государь, да ужъ и старъ становлюсь этакимъ дѣломъ заниматься!

— Баба бабъ рознь!—замѣтилъ Иоаннъ и, схвативъ Онуфреву за душегрѣйку:—Вотъ тебѣ хозяйка!—сказалъ онъ и выдвинулъ мамку впередъ.—Возьми ее, старина, живи съ ней въ любви и въ совѣтѣ, да дѣтей приживай!

Опричники, понявъ царскую шутку, громко захохотали, а Михеичъ въ изумленіи посмотрѣлъ на царя, не смѣется ли и онъ, но на лицѣ Іоанна не было улыбки.

Безжизненные глаза мамки вспыхнули.

— Срамникъ ты!—закричала она на Іоанна:—безбожникъ! Я тебѣ дамъ ругаться надо мной! Срамникъ ты, тѣфу! Еретикъ безсовѣстный!

Старуха застучала клюкою о крыльцо, и губы ея еще сердитѣе зажевали, а носъ посинѣлъ.

— Полно ломаться, бабушка!—сказалъ царь:—я тебѣ добраго мужа сватаю; онъ будетъ тебя любить, дарить, уму-разуму научать! А свадьбу мы сегодня же послѣ вечерни сыграемъ! Ну, какова твоя хозяйка, старичина?

— Умилосердись, батюшка-государь!—проговорилъ Михеичъ въ совершенномъ испугѣ.

— Что-жъ? Развѣ она тебѣ не по сердцу?

— Какое по сердцу, батюшка!—простоналъ Михеичъ, отступая назадъ.

— Стерпится-слюбится!—сказалъ Іоаннъ:—а я дать за ней доброе приданое!

Михеичъ съ ужасомъ посмотрѣлъ на Онуфреву, которую царь все еще держалъ за душегрѣйку.

— Батюшка Иванъ Васильевичъ!—воскликнулъ онъ вдругъ, падая на колѣни:—вели меня казнить, только не вели этакого сраму на себя принимать! Скорѣй на плаху пойду, чѣмъ женюсь на ея милости, тѣтка ея подкурятина!

Иванъ Васильевичъ немного помолчалъ и вдругъ разразился громкимъ продолжительнымъ смѣхомъ.

— Ну,—сказалъ онъ, выпуская наконецъ Онуфреву, которая поспѣшила уйти, ругаясь и отплевываясь:—честь приложена, убытку Богъ избавилъ! Я хотѣлъ вашего счастья, а насильно вѣнчать васъ не буду! Служи попрежнему боярину твоему, старичина, а ты, Никита, подойди сюда. Отпускаю тебѣ и вторую вину твою. А этихъ го-лоштанниковъ въ опричину не впишу; мои молодцы, пожалуй, обидятся. Пусть идутъ къ Жиздрѣ, въ сторожевой полкъ. Коли охочи они на татаръ, будетъ имъ съ кѣмъ перевѣдаться. Ты же,—продолжалъ онъ особенно милостивымъ голосомъ, безъ примѣси своей обычной насмѣшливости и положивъ руку на плечо Серебрянаго:—ты оставайся у меня. Я помирю тебя съ опричиной. Когда узнаешь насъ покороче, перестанешь дичиться. Хорошо

бить татаръ, но мои враги не одни татары; есть и хуже ихъ. Этыхъ-то научись грызть зубами и метлой выметать!

И царь потрепалъ Серебрянаго по плечу.

— Никита,—прибавилъ онъ благоволетельно и оставляя свою руку на плечѣ князя:—у тебя сердце правдивое, и языкъ твой не знаетъ лукавства; такихъ-то слугъ мнѣ и надо. Впишись въ опричнину; я дамъ тебѣ мѣсто выбылого Вяземскаго. Тебѣ я вѣрю: ты меня не продашь.

Всѣ опричники съ завистью посмотрѣли на Серебрянаго; они уже видѣли въ немъ новое возникающее свѣтило, и стоявшіе подалѣ отъ Іоанна уже стали шептаться между собою и выказывать свое неудовольствіе, что царь, безъ вниманія къ ихъ заслугамъ, ставитъ имъ на голову опального пришельца, столбового боярина, древняго княжескаго рода.

Но сердце Серебрянаго сжалось отъ словъ Іоанновыхъ.

— Государь,—сказалъ онъ, сдѣлавъ усиліе надъ собою:—благодарствую тебѣ за твою милость; но дозволю ужъ лучше и мнѣ къ сторожевому полку примкнуться. Здѣсь мнѣ дѣлать нечего, я къ слободскому обычаю непривыченъ, а тамъ я буду служить твоей милости, доколѣ силъ хватить.

— Вотъ какъ!—сказалъ Іоаннъ и снялъ руку съ плеча Серебрянаго:—это значитъ, мы негодны его княжеской милости! Должно-быть, съ ворами оставаться честиѣе, чѣмъ быть моимъ оружничимъ! Ну, что-жъ,—продолжалъ онъ насмѣшливо:—я никому въ дружбу не набиваюсь и никого насильно не держу. Свыклись вмѣстѣ, такъ и служите вмѣстѣ! Добраго пути, разбойничій воевода!

И, взглянувъ презрительно на Серебрянаго, царь повернулся къ нему спиной и вошелъ во дворецъ.

ГЛАВА XXXVIII.

Выѣздъ изъ слободы.

Годуновъ предложилъ Серебряному остаться у него въ домѣ до выступленія въ походъ. Этотъ разъ предложеніе было сдѣлано отъ души, ибо Борисъ Ѳеодоровичъ, наблюдавшій за каждымъ словомъ и за каждымъ движеніемъ царя, заключилъ, что грозы болѣе не будетъ, и что Іоаннъ ограничится одною холодностью къ Никитѣ Романовичу.

Исполняя обѣщаніе, данное Максиму, Серебряный прямо съ царскаго двора отправился къ матери своего названнаго брата и отдалъ ей крестъ Максимовъ. Малюты не

было дома. Старушка уже знала о смерти сына и приняла Серебрянаго какъ родного; но когда онъ, окончивъ свое порученіе, простился съ нею, она не посмѣла его удерживать, боясь возвращенія мужа, и только проводила до крыльца съ благословеніями.

Вечеромъ, когда Годуновъ оставилъ Серебрянаго въ опочивальнѣ и удалился, пожелавъ ему спокойнаго сна, Михеичъ далъ полную волю своей радости.

— Ну, бояринъ,—сказалъ онъ:—выпаль же мнѣ наконецъ красный денѣкъ послѣ долгаго горя! Вѣдь съ той поры, какъ схватили тебя, Никита Романычъ, я словно свѣта Божьяго не вижу! То и дѣло по Москвѣ да по слободѣ слоняюсь, не провѣдаю-ль чего про тебя? Какъ услышалъ сегодня, что ты съ станичниками вернулся, такъ со всѣхъ ногъ и пустился на царскій дворъ, а нъ царь-то ужъ на крыльцѣ! Я давай межъ станичниковъ до тебя пробираться, да и не вытерпѣлъ,—сталъ ловить тебя за полу, а царь-то меня и увидѣлъ. Ну, набрался же я страху! Вѣкъ не забуду! Два молебна завтра отслужу: одинъ за твое здоровье, а другой—что соблюлъ меня Господь отъ этой вѣдьмы, не далъ надо мною такому скверному дѣлу совершиться.

И Михеичъ началъ рассказывать все, чтò съ нимъ было послѣ разоренія Морозовскаго дома и какъ онъ, извѣстивъ Перстня и вернувшись на мельницу, нашель тамъ Елену Дмитріевну и взялся проводить ее до мужниной вотчины, куда слуги Морозова увезли его во время пожара.

Серебряный нетерпѣливо слушалъ многократныя отступленія Михеича.

— Вѣдь я, Никита Романычъ,—говорилъ старикъ:—вѣдь я не слѣпъ; хоть и молчу, а все вижу. Признаться, батюшка, не нравилось мнѣ крѣпко, когда ты къ Дружинѣ Андреичу-то ѣздилъ. Не выйдетъ добра изъ этого, думалъ я, да и совѣстно, правду сказать, за тебя было, когда ты съ нимъ за однимъ столомъ сидѣлъ, изъ одного ковша пилъ. Ты меня, батюшка, понимаешь. Хоть ты, положимъ, и не виноватъ въ этомъ,—кто его знаетъ, какъ оно къ человѣку приходитъ!—да противъ него-то грѣшно было. Ну, а теперь, конечно, дѣло другое; теперь ей некому отвѣта держать, царствіе ему небесное! Да и молада она, голубушка, вдовой оставаться.

— Не кори меня, Михеичъ,—сказалъ Серебряный съ

неудовольствіемъ:—а скажи, гдѣ она теперь и что ты про нее знаешь?

— Позволь, батюшка, погоди; дай мнѣ все по порядку тебѣ доложить. Вотъ, изволишь ли видѣть, какъ я отъ станичниковъ-то на мельницу вернулся, мельникъ-то мнѣ и говоритъ: «Залетѣла, говоритъ, жарь-птица ко мнѣ; отвези ее, говоритъ, къ царю Далмату». Я сначала не понялъ, что за птица и что за Далматъ такой; только ужъ послѣ, когда показалъ онъ мнѣ боярыню-то, тогда ужъ смекнулъ, что онъ про нее говорилъ. Вотъ и поѣхали мы съ нею въ вотчину Дружины Андреича. Сначала она ничего, молчитъ-себѣ и очей не подымаетъ; потомъ стала потихоньку про мужа спрашивать; а потомъ, батюшка, туда, сюда, да и про тебя спросила,—только, вишь, не прямо, а такъ, какъ бы нѣхотя, отворотимшись. Известно, женское дѣло. Я ей все рассказалъ, что было мнѣ вѣдомо, а она, сердечная, еще кручиннѣе прежняго стала: повѣсила головушку да уже во всю дорогу ничего и не говоритъ. Вотъ, какъ стали подѣжжать къ вотчинѣ, поприщъ этакъ будетъ за десять, она, вижу, zaczynaеть беспокоиться.—«Что ты, говорю, сударыня, беспокоиться изволишь?» Она, батюшка, въ слезы. Я ее утѣшать.—«Не кручинься, говорю, боярыня: Дружина Андреичъ здравствуетъ!» А она, при имени Дружины-то Андреича, давай еще горше плакать. Я этакъ посмотрѣлъ на нее, да ужъ не знаю, что и говорить ей.—«И князь Никита Романычъ, говорю, хоча и въ тюрьмѣ, а должно-быть, также здравствуетъ!» Ужъ не зналъ, батюшка, что и сказать ей; чувствую, что не то говорю, а все же что-нибудь сказать надо. Только какъ назвалъ я тебя, батюшка, такъ она вдругъ и останови коня.—«Нѣтъ, говоритъ, дядюшка, не могу ѣхать въ вотчину!»—«Что ты, боярыня, куда-жъ тебѣ ѣхать?»—«Дядюшка, говоритъ, видишь золоченые кресты изъ-за лѣсу виднѣются?»—«Вижу, сударыня.»—«То, говоритъ, дѣвичій монастырь; я узнаю тѣ кресты; проводи меня туда, дядюшка». Я было-отговариваться, только она стоитъ на своемъ: проводи да проводи!—«Я, говоритъ, тамъ съ недѣлку обожду, Богу помолюсь, а потомъ повѣщу Дружинѣ Андреичу; онъ прилеть за мною!» Нечего было дѣлать, проводилъ ее, батюшка; тамъ и оставилъ на рукахъ у игуменьи.

— Сколько будетъ до того монастыря?—спросилъ Се-ребрянный.

— Отъ мельницы было поприщъ сорокъ, батюшка; отъ Москвы, пожалуй, будетъ подалѣ. Да оно намъ почитай по дорогѣ приходится, коли мы на Жиздру пойдемъ.

— Михеичъ! — сказалъ Серебряный: — сослужи мнѣ службу. Я прежде утра выступить не властенъ; надо моимъ людямъ царю крестъ цѣловать. Но ты сею же ночью побѣзжай о дву-конь, не жалѣй ни себя ни коней; попросись къ боярынѣ, расскажи ей все; упроси ее, чтобы приняла меня, чтобы ни на что не рѣшалась, не повидавшись со мною!

— Слушаю, батюшка, слушаю; да ты ужъ не опасешься ли, чтобы она постриглась? Этого не будетъ, батюшка. Пройдетъ годокъ, поплачетъ она, конечно; безъ этого нельзя; какъ по Дружинѣ Андреичѣ не поплакать, царствіе ему небесное. А тамъ, посмотри, и свадьбу сыграемъ. Не вѣкъ же намъ, батюшка, горе отбывать!

Михеичъ въ эту же ночь отправился въ монастырь, а Серебряный, лишь только занялась заря, пошелъ проститься съ Годуновымъ.

Борисъ Ѳедоровичъ уже вернулся отъ заутрени, которую, по обычаю своему, слушалъ вмѣстѣ съ царемъ.

— Что ты такъ рано поднялся, князь? — спросилъ онъ Никиту Романовича. — Это хорошо намъ, слободскимъ, а ты могъ бы и поотдохнуть послѣ вчерашняго дня. Или тебѣ непокойно у меня было?

Но тонкій взглядъ Годунова показывалъ, что онъ зналъ причину безсонницы князя.

Привѣтливость Бориса Ѳедоровича, его неподдѣльное участіе къ Серебряному, услуги, имъ столько разъ оказанныя, а главное — его совершенное несходство съ другими царедворцами, привлекали къ нему сильно Никиту Романовича. Онъ открылся ему въ любви своей къ Еленѣ.

— Все это мнѣ давно уже вѣдомо! — сказалъ, улыбаясь, Годуновъ. — Я догадался объ этомъ еще въ первый твой пріѣздъ въ слободу, изъ того, какъ ты смотрѣлъ на Вяземскаго. А когда я нарочно завелъ съ тобою рѣчь о Морозовѣ, ты говорилъ о немъ неохотно, несмотря что былъ съ нимъ въ дружбѣ. Ты, князь, ничего не умѣешь хоронить въ себѣ. О чемъ ни подумаешь, все у тебя на лицѣ такъ и напишется. Да и говоришь-то ты ужъ черзчуръ правдиво, Никита Романычъ, позволь тебѣ сказать. Я за тебя вчера испугался да и подосадовалъ-таки

на тебя, когда ты напрямикъ отвѣчалъ царю, что не хочешь вписаться въ опричнину.

— А что же мнѣ было отвѣчать ему, Борисъ Ѳедорычъ?

— Тебѣ было поблагодарить царя и принять его милость.

— Да ты шутишь, Борисъ Ѳедорычъ, али вправду говоришь? Какъ же мнѣ за это благодарить царя? Да ты самъ развѣ вписанъ въ опричнину?

— Я—дѣло другое, князь. Я знаю, что дѣлаю. Я царю не перечу; онъ меня самъ не захочетъ вписать; такъ ужъ я поставилъ себя. А ты, когда поступишь бы на мѣсто Вяземскаго, да сдѣлался бы оружничимъ царскимъ и былъ бы въ приближеніи у Ивана Васильевича, ты бы этимъ всей землѣ послужилъ. Мы бы съ тобой стали идти заодно и опричнину, пожалуй, подѣлки бы!

— Нѣтъ, Борисъ Ѳедорычъ, не сумѣлъ бы я этого. Самъ же ты говоришь, что у меня все на лицѣ видно.

— Оттого, что ты не хочешь приневолить себя, князь. Вотъ кабы ты рѣшился перемочь свою прямогу да хотя бы для виду вступилъ въ опричнину,—чего бы мы съ тобой ни сдѣлали! А то посмотри на меня: я одинъ, бьюсь какъ щука объ ледъ; всякаго долженъ опасаться, всякое слово обдумывать: иногда просто голова кругомъ идетъ! А было бы насъ двое около царя, и сила бы удвоилась. Такихъ людей, какъ ты, немного, князь. Скажу тебѣ прямо: и съ нашей первой встрѣчи разсчитывалъ на тебя!

— Не гожусь я на это дѣло, Борисъ Ѳедорычъ. Сколько разъ я ни пытался подладиться подъ чужой обычай, ничего не выходитъ. Вотъ ты, дай Богъ тебѣ здоровья, ты на этомъ собаку съѣлъ. Правду сказать, сначала мнѣ не по сердцу было, что ты иной разъ думаешь одно, а говоришь другое; но теперь я вижу, куда ты гнешь, и понимаю, что по-твоему дѣлать лучше. А я-бъ и хотѣлъ, да не умѣю; не сподобилъ меня Богъ такому искусству. Впрочемъ, что теперь и говорить объ этомъ! Самъ знаешь, царь меня, по моему же вопросу, въ сторожевой полкъ посылаетъ.

— Это ничего, князь. Ты опять татаръ побьешь; царь опять тебя передъ свои очи пожалуетъ. Оружничимъ тебѣ, конечно, уже не бывать; но если попросишься въ опричнину, тебя впишутъ. А хотя бы и не случилось тебѣ татаръ побить, все же ты приѣдешь на Москву, когда Еленѣ Дмитріевнѣ вдвой срокъ минетъ. Того не опасайся, чтобъ

она постриглась; этого не будетъ, Никита Романычъ; я лучше тебя человѣческое сердце знаю; не по любви она за Морозова вышла,—не зачѣмъ ей и постригаться теперь. Дай только остыть крови и высохнуть слезамъ; я же буду, коли хочешь, твоимъ дружкой.

— Спасибо тебѣ, Борисъ Ѳедорычъ, спасибо. Мнѣ даже совѣстно, что ты уже столько сдѣлалъ для меня, а я ничѣмъ тебѣ отплатить не могу. Кабы пришлось за тебя въ пытку идти или въ бою животь положить, я бы не задумался. А въ опрличнину меня не зови, и около царя быть мнѣ также не можно. Для этого надо или совѣстмъ отъ совѣсти отказаться, или твое умѣнье имѣть. А я бы только даромъ душой кривиль. Каждому, Борисъ Ѳедорычъ, Господь свое указалъ: у сокола свой летъ, у лебедя—свой: лишь бы въ каждомъ правда была.

— Такъ ты меня ужъ болѣе не винишь, князь, что я не прямою, а окольною дорогой иду?

— Грѣхъ было бы мнѣ винить тебя, Борисъ Ѳедорычъ. Не говорю уже о себѣ, а сколько ты другимъ добра сдѣлалъ! И моимъ ребятамъ безъ тебя, пожалуй, плохо пришлось бы. Недаромъ и любить тебя въ народѣ. Всѣ на тебя надежду полагаютъ; вся земля начинаетъ смотрѣть на тебя!

Легкій румянецъ пробѣжалъ по смуглому лицу Годунова, и въ очахъ его блеснуло удовольствіе. Примирить съ своимъ образомъ дѣйствій такого человѣка, какъ Серебряный, было для него немалымъ торжествомъ и служило ему мѣриломъ его обаятельной силы.

— Въ свою очередь, спасибо тебѣ, князь,—сказалъ онъ.—Объ одномъ прошу тебя: коли ты не хочешь помогать мнѣ, то, по крайней мѣрѣ, когда услышишь, что про меня говорятъ худо, не вѣрь тѣмъ слухамъ и скажи клеветникамъ моимъ все, что про меня знаешь.

— Ужъ объ этомъ не заботься, Борисъ Ѳедорычъ! Я никому не дамъ про тебя и помыслить худо, не только что говорить. Мои станичники и теперь уже молятся о твоёмъ здравіи, а если вернутся на родину, то и всѣмъ своимъ ближнимъ закажутъ. Дай только Богъ ущѣлѣть тебѣ!

— Господь хранитъ ходящихъ въ нездобіи!—сказалъ Годуновъ, скромно опуская глаза.—А впрочемъ, все въ Его святой волѣ! Прости же, князь, до скорого свиданія; не забудь, что ты обѣщаль позвать меня на свадьбу.

Они дружески обнялись, и у Никиты Романовича повеселѣло на сердцѣ. Онъ привыкъ къ мысли, что Годуновъ не легко ошибается въ своихъ предположеніяхъ, и недавнія опасенія его насчетъ Елены разсѣялись.

Вскорѣ онъ выѣхалъ во главѣ своего пѣшаго отряда; но еще прежде, чѣмъ они оставили слободу, случилось одно обстоятельство, которое, по тогдашнимъ понятіямъ, принадлежало къ недобрымъ предзнаменованіямъ.

Близъ одной церкви отрядъ былъ остановленъ столпленіемъ нищихъ, которые тѣснились у паперти, во всю ширину улицы, и, казалось, ожидали богатой милостыни отъ какого-нибудь знатнаго лица, находившагося въ церкви.

Подвигаясь медленно впередъ, чтобы дать время толпѣ раздвинуться, Серебряный услышалъ панихидное пѣніе и спросилъ, по комъ идетъ служба? Ему отвѣчали, что то Григорій Лукьяновичъ Скуратовъ-Бѣльскій справляетъ поминки по сынѣ Максимѣ Григорьевичѣ, убитомъ татарами. Въ то же время послышался громкій крикъ, и изъ церкви вынесли старушку, лишенную чувствъ; исхудалое лицо ея было обито слезами, а сѣдые волосы падали въ беспорядкѣ изъ-подъ бархатной шапочки. То была мать Максима. Малюта, въ смиренной одеждѣ, показался на крыльцѣ, и глаза его встрѣтились съ глазами Серебрянаго; но въ чертахъ Малюты не было на этотъ разъ обычнаго звѣрства, а только какая-то тупая одурѣлость, безъ всякаго выраженія. Приказавъ положить старушку на паперти, онъ воротился въ церковь дослушивать панихиду, а станичники съ Серебрянымъ, снявши шапки и крестясь, прошли мимо церковныхъ вратъ, и слышно имъ было, какъ въ церкви торжественно и протяжно раздавалось: «со святыми упокой!»

Это печальное пѣніе и мысль о Максимѣ тяжело подействовали на Серебрянаго; но ему вспомнились успокоительныя слова Годунова, и они скоро изгладили грустное впечатлѣніе панихиды. На изгибѣ дороги, входящей въ темный лѣсъ, онъ оглянулся на Александрову слободу и, когда скрылись отъ него золоченныя главы дворца Іоаннова, онъ почувствовалъ облегченіе, какъ будто тяжесть свалилась съ его сердца.

Утро было свѣжее, солнечное. Бывшіе разбойники, хорошо одѣтые и вооруженные, шли дружнымъ шагомъ за Серебрянымъ и за всадниками, его сопровождавшими. Зеленый мракъ охватывалъ ихъ со всѣхъ сторонъ. Конь

Серебрянаго, полный нетерпѣливой отваги, срывалъ михоходомъ листья съ нависшихъ вѣтвей, а Буянь, не оставившій князя послѣ смерти Максима, бѣжалъ впереди, поднималъ иногда, нюхая вѣтеръ, косматую морду или нагибалъ ее на сторону и чутко наавстривалъ ухо, если какой-нибудь отдаленный шумъ раздавался въ лѣсу.

ГЛАВА XXXIX.

Послѣднее свиданіе.

Нѣсколько дней шель Серебряный съ своимъ отрядомъ. На одномъ ночлегѣ, откуда былъ поворотъ къ дѣвичьему монастырю, онъ оставилъ людей своихъ и поѣхалъ одинъ навстрѣчу Михеичу, обѣщавшему привезти ему отвѣтъ отъ боярыни.

Всю ночь онъ ѣхалъ безостановочно. На зарѣ, приближаясь къ одному перекрестку, увидѣлъ онъ догорающій костеръ и сидящаго близъ него Михеича. Обѣ его лошади паслись неподалеку, осѣдланныя.

Услышавъ конскій топотъ, Михеичъ вскочилъ на ноги.

— Батюшка, князь Никита Романычъ!—вскричалъ онъ, узнавая князя:—не ѣзди далѣ, батюшка! Вернись назадъ, нечего тамъ тебѣ дѣлать!

— Что случилось?—спросилъ Серебряный, и сердце его замерло.

— Все кончено, батюшка! Не судилъ намъ Господь счастья!

Серебряный спрыгнулъ на землю.

— Говори!—сказалъ онъ:—что случилось съ боярыней?

Старикъ молчалъ.

— Что случилось съ Еленой Дмитріевной?—повторилъ въ испугѣ Серебряный.

— Нѣтъ болѣ Елены Дмитріевны, батюшка!—сказалъ мрачно Михеичъ.—Есть только сестра Евдокія!

Серебряный зашатался и прислонился къ дереву.

Михеичъ смотрѣлъ на него горестно.

— Что-жъ дѣлать, Никита Романычъ! Видно, на то была Божья воля. Не въ счастливый мы, видно, вѣкъ родились!

— Разсказывай все!—сказалъ Серебряный, оправившись.—Не жалѣй меня. Когда постриглась боярыня?

— Когда узнала о казни Дружины Андреича, батюшка; когда получили въ монастырѣ синодикъ отъ царя, съ

именами всѣхъ казненныхъ и съ указомъ молиться за ихъ упокой; наканунѣ того самаго дня, какъ я къ ней пріѣхалъ.

— Видѣлъ ты ее?

— Видѣлъ, батюшка.

Серебряный хотѣлъ что-то сказать и не могъ.

— На самый краткій мигъ видѣлъ,—прибавилъ Михеичъ:—не хотѣла она меня допустить сперва.

— Что она велѣла сказать мнѣ?—проговорилъ съ трудомъ Серебряный.

— Чтобы ты за нее молился, батюшка.

— И болѣ ничего?

— Ничего, батюшка.

— Михеичъ!—произнесъ князь послѣ краткаго молчанія:—проводи меня въ монастырь; я хочу проститься съ нею...

Старикъ покачалъ головой.

— Зачѣмъ тебѣ къ ней, батюшка? Не смущай ея болѣ; она теперь все равно что святая. Вернемся лучше къ отряду и пойдѣмъ прямо къ Жиздрѣ!

— Не могу!—сказалъ Серебряный.

Михеичъ опять покачалъ головой и подвелъ къ нему одного изъ своихъ коней.

— Садись же на этого,—сказалъ онъ, вздыхая:—твой больно заморился!

Они молча поѣхали къ монастырю.

Дорога шла все время лѣсомъ. Вскорѣ послышалось журчанье воды, и ручей, пробиравшійся межъ камышами, сверкнулъ сквозь густую зелень.

— Узнаешь ты это мѣсто, князь?—спросилъ грустно Михеичъ.

Серебряный поднялъ голову и увидѣлъ свѣжее пожараще. Кое-гдѣ земля была недавно изрыта, а остатки строения и сломанное водяное колесо показывали, что тутъ была мельница.

— Это когда они колдуна схватили,—замѣтилъ Михеичъ:—то и жилье его разорили: думали тутъ кладъ найти, тѣтка ихъ подкурятина!

Серебряный бросилъ разсѣянный взглядъ на пожараще, и они молча поѣхали далѣе.

Черезъ нѣсколько часовъ лѣсъ началъ рѣдѣть. Межъ деревьями забѣлѣла каменная ограда, и на расчищенной полянѣ показался монастырь. Онъ не стоялъ, подобно инымъ обителямъ, на возвышенномъ мѣстѣ. Изъ узкихъ

рѣшетчатыхъ оконъ не видно было обширныхъ монастырскихъ угодій, и взоръ вездѣ упирался лишь въ голые стволы и мрачную зелень сосенъ, опоясывавшихъ тѣснымъ кругомъ ограду. Окрестность была глуха и печальна; монастырь, казалось, принадлежалъ къ числу бѣдныхъ.

Всадники сошли съ коней и постучались въ калитку.

Прошло нѣсколько минутъ; послышалось бряцаніе ключей.

— Слава Господу Іисусу Христу!—сказалъ тихо Михеичъ.

— Во вѣки вѣковъ, аминь!—отвѣчала сестра-вратница, отворяя калитку.—Кого вамъ надобно, государи?

— Сестру Евдокію, — произнесъ вполголоса Михеичъ, боясь этимъ названіемъ растравить душевную рану своего господина.—Ты меня знаешь, матушка, я недавно былъ здѣсь.

— Нѣтъ, государь, не знаю; я только сегодня ко вратамъ приставлена, а до меня была сестра Агнія...

И монахиня посмотрѣла опасно на пріѣзжихъ.

— Нужды нѣтъ, матушка,—продолжалъ Михеичъ:—пусти насъ. Доложи игуменьѣ, что князь Никита Романычъ Серебряный пріѣхалъ.

Вратница окинула боязливымъ взглядомъ Серебрянаго отступила назадъ и захлопнула за собою калитку.

Слышно было, какъ она поспѣшно удалялась, приговарывая: «Господи Іисусе Христе, помилуй насъ!»

«Что бы это значило?—подумалъ стреманный:—зачѣмъ она боится моего боярина?»

Онъ посмотрѣлъ на князя и понялъ, что его пыльные доспѣхи, одежда, изорванная колючимъ кустарникомъ, и встревоженное выраженіе испугали вратницу. Въ самомъ дѣлѣ, черты Никиты Романовича такъ измѣнились, что самъ Михеичъ не узналъ бы его, если бы не пріѣхалъ съ нимъ вмѣстѣ.

Черезъ нѣсколько времени послышались опять шаги вратницы.

— Не взыщите, государи,—сказала она невѣрнымъ языкомъ сквозь калитку:—теперь игуменьѣ нельзя принять васъ; приходите лучше завтра послѣ заутрени.

— Я не могу ждать!—вскричалъ Серебряный, и, ударивъ ногою въ калитку, онъ вышибъ запоры и вошелъ въ ограду.

Передъ нимъ стояла игуменья, почти столь же блѣдная, какъ и онъ самъ.

— Во имя Христа Спасителя, — сказала она дрожащимъ голосомъ: — остановись! Я знаю, зачѣмъ ты пришелъ... но Господь караетъ душегубство, и безвинная кровь падетъ на главу твою!

— Честная мать! — отвѣчалъ Серебряный, не понимая ея испуга, но слишкомъ встревоженный, чтобы удивляться: — честная мать, пусти меня къ сестрѣ Евдокии! Дай на одинъ мигъ увидѣть ее! Дай мнѣ только проститься съ нею!

— Проститься? — повторила игуменья: — ты въ самомъ дѣлѣ хочешь только проститься?

— Дай мнѣ съ нею проститься, честная мать, и я все мое имущество на твой монастырь отдамъ!

Игуменья взглянула на него недовѣрчиво.

— Ты вломился насильно, — сказала она: — ты называешься княземъ, а Богъ вѣсть, кто ты таковъ, Богъ вѣсть, зачѣмъ пріѣхалъ... Знаю, что теперь вѣздятъ опричники по святымъ монастырямъ и предають смерти женъ и дочерей тѣхъ праведниковъ, которыхъ недавно на Москвѣ казнили!.. Сестра Евдокія была женою казненнаго боярина...

— Я не опричникъ! — вскричалъ Серебряный: — я самъ отдалъ бы всю кровь мою за боярина Морозова!.. Пусти меня къ бояринѣ, честная мать, пусти меня къ ней!

Должно-быть, правда и искренность написались на чертахъ Серебрянаго. Игуменья успокоилась и посмотрѣла на него съ участіемъ.

— Погрѣшила же я передъ тобою! — сказала она. — Но, слава Христу и Пречистой Его Матери, вижу теперь, что ошиблась. Слава же Христу, Пресущественной Троицѣ и всѣмъ святымъ угодникамъ, что ты не опричникъ! Напугала меня вратница; я уже думала, какъ бы только время выиграть, сестру Евдокію схоронить! Трудные у насъ годы настали, государь! И въ Божьихъ обителяхъ опальнымъ укрыться нельзя. Слава же Господу, что я ошиблась! Если ты другъ или родственникъ Морозовыхъ, я поведу тебя къ Евдокии. Ступай за мною, бояринъ, сюда, мимо усыпальницы; ея келья въ самомъ саду.

Игуменья повела князя черезъ садъ къ одинокой кельѣ, густо обсаженной шиповникомъ и жимолостью. Тамъ, на скамьѣ, передъ входомъ, сидѣла Елена въ черной одеждѣ

и въ покрывалѣ. Косые лучи заходящаго солнца ударили на нее сквозь густые клены и позлащали надъ нею ихъ увядающія вѣтви. Лѣто приходило къ концу; послѣдніе цвѣты шиповника облетали; черная одежда инокини была усѣяна ихъ алыми лепестками. Грустно слѣдила Елена за медленнымъ и однообразнымъ паденіемъ желтыхъ кленовыхъ листьевъ, и только шорохъ приближающихся шаговъ прервалъ ея размышленія. Она подняла голову, узнала игуменью и встала, чтобъ идти къ ней навстрѣчу, но, увидѣвъ внезапно Серебрянаго, вскрикнула, схватилась за сердце и въ изнеможеніи опустилась на скамью.

— Не пугайся, дитятко! — сказала ей ласково игуменья: — это знакомый тебѣ бояринъ, другъ твоего покойнаго мужа, пріѣхалъ нарочно проститься съ тобой.

Елена не могла отвѣчать. Она только дрожала и будто въ испугѣ смотрѣла на князя. Долго оба молчали.

— Вотъ, — проговорилъ наконецъ Серебряный: — вотъ какъ намъ пришлось свидѣться!

— Намъ нельзя было свидѣться иначе!.. — сказала едва внятно Елена.

— Зачѣмъ не подождала ты меня, Елена Дмитріевна? — сказалъ Серебряный.

— Если-бъ я подождала тебя, — прошептала она: — у меня недостало бы силы... ты не пустилъ бы меня... Довольно и такъ грѣха на мнѣ, Никита Романычъ...

Настало опять молчаніе. Сердце Серебрянаго сильно билось.

— Елена Дмитріевна! — сказалъ онъ прерывающимся отъ волненія голосомъ: — я навсегда прощаюсь съ тобой, навсегда, Елена Дмитріевна... Дай же мнѣ въ послѣдній разъ взглянуть на тебя... дай на твои очи въ послѣдній разъ посмотрѣть... откинь свое покрывало, Елена!

Елена исхудалою рукой подняла черную ткань, закрывавшую верхнюю часть ея лица, и князь увидѣлъ ея тихіе глаза, красные отъ слезъ, и встрѣтилъ знакомый кроткій взоръ, отуманенный бессонными ночами и душевнымъ страданіемъ.

— Прости, Елена! — вскричалъ онъ, падая ницъ и кланяясь ей въ ноги: — прости навсегда! Дай Господь за быть мнѣ, что могли мы быть счастливы!

— Нѣтъ, Никита Романычъ, — сказала грустно Елена: — счастья намъ не было написано. Кровь Дружины Андреича была бы между счастьемъ и нами. За меня онъ

пошелъ подъ опалу, я же погрѣшила противъ него, я— виновница его смерти! Нѣтъ, Никита Романычъ, мы не могли быть счастливы. Да и кто теперь счастливъ?

— Да, — повторилъ Серебряный: — кто теперь счастливъ? Не милостивъ Господь ко святой Руси; а все же не думалъ я, что намъ заживо придется разлучиться навѣки!

— Не навѣки, Никита Романычъ, — улыбнулась грустно Елена: — а только здѣсь, въ этой жизни. Такъ должно было быть. Не личила бы намъ однимъ радость, когда вся земля терпитъ горе и скорбь великую!

— Зачѣмъ, — сказалъ съ мрачнымъ видомъ Серебряный: — зачѣмъ не сложилъ я голову на татарскую саблю! Зачѣмъ не казнилъ меня царь, когда я ему повинную принесъ! Чтò мнѣ теперь осталось на свѣтѣ?

— Неси крестъ свой, Никита Романычъ, какъ я мой крестъ несу. Твоя доля легче моей. Ты можешь отстаивать родину, а мнѣ остается только молиться за тебя и оплакивать грѣхъ мой!

— Какая родина? Гдѣ наша родина? — вскричалъ Серебряный. — Отъ кого намъ ее отстаивать? Не татары, а царь губить родину! Мысли мои помѣшались, Елена Дмитриевна... Ты одна еще поддерживала мой разумъ; теперь все предо мной потемнѣло; не вижу болѣе, гдѣ ложь, гдѣ правда. Все доброе гибнетъ, все злое одолеваетъ! Часто, Елена Дмитриевна, приходилъ мнѣ Курбскій на память, и я гналъ отъ себя эти грѣшныя мысли, пока еще была цѣль для моей жизни, пока была во мнѣ сила; но нѣтъ у меня болѣе цѣли, а сила дошла до конца... разсудокъ мой путается.

— Просвѣти тебя Боже, Никита Романычъ! Ужели отъ того, что твое счастье погибло, ты сдѣлаешься врагомъ государевымъ, пойдешь наперекоръ всей землѣ, которая держитъ предъ нимъ поклонную голову? Вспомни, что Богъ посылаетъ намъ испытаніе, чтобы мы могли свидѣться на томъ свѣтѣ! Вспомни всю жизнь свою и не солги противъ самого себя, Никита Романычъ!

Серебряный опустил голову. Вскипѣвшее въ немъ негодование уступило мѣсто строгимъ понятіямъ долга, въ которыхъ онъ былъ воспитанъ и которыя доселѣ свято хранилъ въ своемъ сердцѣ, хотя и не всегда былъ въ силахъ имъ покоряться.

— Неси крестъ свой, Никита Романычъ! — повторила

Елена.—Иди, куда посылаетъ тебя царь. Ты отказался вписаться въ опричнину, и совѣсть твоя чиста. Иди же на враговъ земли русской; а я не перестану молиться за насъ обоихъ до послѣдняго моего часа!

— Прости же, Елена, прости, сестра моя!—воскликнулъ Серебряный, бросаясь къ ней.

Она встрѣтила спокойнымъ взглядомъ его сокрушенный взглядъ, обняла его какъ брата и поцѣловала три раза, безъ страха и замѣшательства, ибо въ этомъ прощальномъ лобзаніи уже не было того чувства, которое за два мѣсяца, у ограды Морозовскаго сада, кинуло ее въ объятія князя невольно и безсознательно.

— Прости!—повторила она и, опустивъ покрывало, поспѣшно удалилась въ свою келью.

Стали звонить къ вечернѣ. Серебряный долго глядѣлъ вослѣдъ Еленѣ. Онъ не слыхалъ, что говорила ему игуменья, не почувствовалъ, какъ она взяла его за руку и проводила къ оградѣ. Молча сѣлъ онъ на коня, молча поѣхалъ съ Михеичемъ обратнымъ путемъ по сосновому лѣсу. Звонъ монастырскаго колокола вызвалъ его наконецъ изъ оцѣпенѣнія. Онъ только теперь понялъ всю тяжесть своего несчастья. Сердце его разрывалось отъ этого звона, но онъ сталъ прислушиваться къ нему съ любовью, какъ будто въ немъ звучало послѣднее прощаніе Елены, и когда мѣрные удары, сливаясь въ дальній гулъ, замерли наконецъ въ вечернемъ воздухѣ, ему показалось, что все родное оторвалось отъ его жизни и со всѣхъ сторонъ охватило его холодное, безнадежное одиночество.

На другой день отрядъ Никиты Романовича продолжалъ свой путь, углубляясь все далѣе въ темные лѣса, которые, съ небольшими прогулами, соединялись съ Брянскимъ дремучимъ лѣсомъ. Князь ѣхалъ впереди отряда, а Михеичъ слѣдовалъ за нимъ издали, не смѣя прерывать его молчаніе.

Ѣхалъ Серебряный, понуря голову, и среди его мрачныхъ думъ, среди самой безнадежности свѣтило ему, какъ дальняя заря, одно утѣшительное чувство. То было сознаніе, что онъ въ жизни исполнилъ долгъ свой, насколько позволило ему умѣнье, что онъ шелъ прямою дорогою и ни разу не уклонился отъ нея умышленно. Драгоценное чувство, которое среди скорби и бѣдъ, какъ неотъемлемое сокровище, живетъ въ сердцѣ честнаго человѣка и предъ которымъ всѣ блага міра, все, что со-

ставляетъ цѣль людскихъ стремленій, — есть прахъ и ничто!

Одно это сознаніе давало Серебряному возможность переносить жизнь, и онъ, проходя всѣ обстоятельства своего прощанія съ Еленой, повторяя себѣ каждое ея слово, находилъ грустную отраду въ мысли, что въ самомъ дѣлѣ было бы совѣстно радоваться въ теперешнее время, и что онъ не отчуждаетъ себя отъ братій, но несетъ вмѣстѣ съ ними свою долю общаго бѣдствія.

Слова Годунова также пришли ему на память, и онъ горько усмѣхнулся, вспомнивъ, съ какою увѣренностью Годуновъ говорилъ о своемъ знаніи человѣческаго сердца.

«Видно, — подумалъ онъ: — не все умѣетъ угадывать Борисъ Федорычъ! Государственное дѣло и сердце Ивана Васильевича ему вѣдомы; онъ знаетъ напередъ, что скажетъ Малюта, что сдѣлаетъ тотъ или другой опричникъ; но какъ чувствуютъ тѣ, которые не ищутъ своихъ выгодъ, это для него потемки!»

И невольно вспомнилъ Серебряный о Максимѣ и подумалъ, что не такъ посудилъ бы названный братъ его. Онъ не сказалъ бы ему: она не по любви вышла за Морозова, она будетъ ждать тебя! Онъ сказалъ бы: спѣши, братъ мой! Не теряй ни мгновенія, замори коня и остави ея пока еще время!

И при мысли о Максимѣ одиночество Никиты Романовича представилось ему еще безотраднѣе, ибо онъ вѣдалъ, что никто уже не сойдется съ нимъ такъ близко, никто не пополнитъ свою душою его души, не поможетъ ему выяснитъ себѣ многое, что въ честномъ сердцѣ своемъ онъ сознавалъ смутно, но чего, въ тревогѣ событий, онъ не успѣлъ облечь въ ясныя очертанія...

И будетъ его жизнь идти своимъ чередомъ, не спрашивая, укладываются, или нѣтъ, его лучшія стремленія въ ея тяжелыя требованія, и долго, можетъ-быть, она будетъ плести свой пестрый узоръ, гдѣ каждая подробность, взятая отдѣльно, не имѣетъ понятнаго смысла, но гдѣ всѣ явленія держатся межъ собою неразрывною цѣпью, истекая одно изъ другого со строгою послѣдовательностью.

Понурилъ Серебряный голову и бросилъ поводья, и ѣхалъ шагомъ въ глухомъ бору, столь же мрачнымъ, какъ и его думы. Мѣрные шаги разбойниковъ прерывали тишину пустыни. Дикіе жители ея, бѣлки и верхолазы, не привыкшіе въ этомъ безлюдномъ мѣстѣ бояться чело-

вѣка, не прятались при видѣ ратниковъ, а только взбирались на верхніе сучья и любопытно глядѣли оттуда на проходившихъ. Пестрые дятлы продолжали цѣпляться за мшистую кору древесныхъ стволовъ, повертывали свои красныя головы на прищельцевъ и опять принимались стучать въ сухое дерево.

Одинъ изъ ратниковъ, возбужденный торжественностью природы, затаилъ вполголоса протяжную пѣсню; другіе стали ему подтягивать, и вскорѣ всѣ голоса слились въ одинъ хоръ, который звучными переливами далеко раздавался подъ дремучимъ навѣсомъ деревь...

Здѣсь можно бы кончить эту грустную повѣсть, но остается сказать, что было съ другими лицами, которыя, быть-можетъ, раздѣляли съ Серебрянымъ участіе читателя. О самомъ Никитѣ Романовичѣ услышимъ мы еще разъ въ концѣ нашего разсказа; но для этого надобно откинуть семнадцать тяжелыхъ лѣтъ и перенестись въ Москву, въ славный годъ завоеванія Сибири.

ГЛАВА XL.

Посольство Ермака.

Много времени протекло съ того дня, какъ Серебряный выѣхалъ изъ слободы во главѣ прощенныхъ станичниковъ. Разныя перемѣны произошли съ тѣхъ поръ на Руси. Но Іоаннъ попрежнему то предавался подозрѣніямъ и казнилъ самыхъ лучшихъ, самыхъ знаменитыхъ гражданъ, то приходилъ въ себя, каялся всенародно и посылалъ въ монастыри богатые вклады и длинные синодики съ именами убитыхъ, приказывая молиться за ихъ упокой. Изъ прежнихъ его любимцевъ не уцѣлѣло ни одного. Послѣдній и главный изъ нихъ, Малюта Скуратовъ, не испытавъ ни разу опалы, былъ убитъ при осадѣ Пайды, или Вейсенштейна, въ Ливоніи, и въ честь ему Іоаннъ сжегъ на кострѣ всѣхъ плѣнныхъ нѣмцевъ и шведовъ.

Сотни и тысячи русскихъ, потерявъ всякое терпѣніе и надежду на лучшія времена, уходили толпами въ Литву и Польшу.

Одно только счастливое событіе произошло въ теченіе этихъ лѣтъ: Іоаннъ постигъ всю бесполезность раздѣленія земли на двѣ половины, изъ которыхъ меньшая терзала бѣольшую, и по внушенію Годунова уничтожилъ ненавистную опричнину. Онъ возвратился на жительство въ Москву, а страшный дворецъ въ Александровой слободѣ запуслъ навсегда.

Между тѣмъ много бѣдствій обрушилось на нашу родину. Голодъ и моръ опустошали города и селенія. Нѣсколько разъ ханъ вторгался въ наши предѣлы и въ одинъ изъ своихъ набѣговъ онъ сжегъ всѣ посады подъ Москвою и большую часть самого города. Шведы нападали на насъ съ сѣвера; Стефанъ Баторій, избранный сеймомъ послѣ Жигимонта, возобновилъ литовскую войну и, несмотря на мужество нашихъ войскъ, одолѣлъ насъ своимъ умѣньемъ и отнялъ всѣ наши западныя владѣнія.

Царевичъ Іоаннъ хотя раздѣлялъ съ отцомъ его злодѣйства, но почувствовалъ этотъ разъ униженіе государства и попросился у царя съ войскомъ противъ Баторія. Іоаннъ увидѣлъ въ этомъ замыселъ свергнуть его съ престола, и царевичъ, спасенный когда-то Серебрянымъ на Поганой Лужѣ, не избѣжалъ теперь лютой смерти. Въ припадкѣ бѣшенства отецъ убилъ его ударомъ остраго посоха! Разказываютъ, что Годуновъ, бросившійся между нихъ, былъ жестоко израненъ царемъ и сохранилъ жизнь только благодаря врачебному искусству пермскаго гостя Строгонова.

Послѣ этого убійства Іоаннъ, въ мрачномъ отчаяннѣ, созвалъ думу, объявилъ, что хочетъ идти въ монастырь, и приказалъ приступить къ выбору другого царя. Снисходя однако на усиленныя просьбы бояръ, онъ согласился остаться на престолѣ и ограничился однимъ покаянiемъ и богатыми вкладами; а вскорѣ потомъ снова начались казни. Такъ, по свидѣтельству Одерборна, онъ осудилъ на смерть двѣ тысячи триста человѣкъ за то, что они сдали врагамъ разныя крѣпости, хотя самъ Баторій удивлялся ихъ мужеству.

Теряя свои владѣнія одно за другимъ, тѣснымъ со всѣхъ сторонъ врагами, видя внутреннее разстройство государства, Іоаннъ былъ жестоко пораженъ въ своей гордости, и это мучительное чувство отразилось на его пріемахъ и наружности. Онъ сталъ небреженъ въ одеждѣ, высокой станъ его согнулся, очи померкли, нижняя челюсть отвисла, какъ у старика, и только въ присутствіи другихъ онъ дѣлалъ усиліе надъ собою, гордо выпрямлялся и подозрительно смотрѣлъ на окольныхъ, не замѣчаетъ ли кто въ немъ упадка духа. Въ эти минуты онъ былъ еще страшнѣе, чѣмъ во дни своего величія. Никогда еще Москва не находилась подъ такимъ давленіемъ унынія и боязни.

Въ это скорбное время неожиданная вѣсть пришла отъ крайняго востока и ободрила всѣ сердца и обратила общее горе въ радость.

Отъ отдаленныхъ береговъ Камы прибыли на Москву знатные купцы Строгоновы, родственники того самаго гостя, который излѣчилъ Годунова. Они имѣли отъ царя жалованныя грамоты на пустыя мѣста земли Пермской и жили на нихъ владѣтельными князьями, независимо отъ пермскихъ намѣстниковъ, съ своею управою и съ своею дружиною, при единственномъ условіи охранять границы отъ дикихъ сибирскихъ народовъ, нашихъ недавнихъ и сомнительныхъ данниковъ. Тревожимые въ своихъ деревянныхъ крѣпостяхъ ханомъ Кучумомъ, они рѣшились двинуться за Каменный Поясъ и сами напасть на непріятельскую землю. Для успѣшнѣйшаго исполненія этого замысла, они обратились къ нѣсколькимъ разбойничьимъ или, какъ они себя называли, казачьимъ атаманамъ, опустошавшимъ въ то время съ шайками своими берега Волги и Дона. Главнѣйшими изъ нихъ были Ермакъ Тимофеевъ и Иванъ Кольцо, осужденный когда-то на смерть, но спасшійся чудеснымъ образомъ отъ царскихъ стрѣльцовъ и долгое время пропадавшій безъ вѣсти. Получивъ отъ Строгоновыхъ дары и грамоту, которою они призывались на славное и честное дѣло, Ермакъ и Кольцо, съ тремя другими атаманами, подняли знамя на Волгѣ, собрали изъ удалой вольницы дружину и явились на зовъ Строгоновыхъ. Сорокъ струговъ были тотчасъ нагружены запасами и оружіемъ, и небольшая дружина, подъ воеводствомъ Ермака, отслушавъ молебень, поплыла съ веселыми пѣснями вверхъ по рѣкѣ Чусовой къ дикимъ горамъ Уральскимъ. Разбивая вездѣ враждебныя племена, перетаскивая суда изъ рѣки въ рѣку, они добрались до береговъ Иртыша, гдѣ разбили и взяли въ плѣнъ главнаго воеводу сибирскаго, Маметкула, и овладѣли городомъ Сибирью на высококомъ и крутомъ обрывѣ Иртыша. Не довольствуясь этимъ завоеваніемъ, Ермакъ пошелъ далѣе, покорилъ весь край до Оби и заставилъ побѣжденные народы цѣловать свою кровавую саблю во имя царя Ивана Васильевича всея Руси. Тогда только онъ далъ знать о своемъ успѣхѣ Строгоновымъ и въ то же время послалъ любимаго своего атамана Ивана Кольцо къ Москвѣ бить челомъ великому государю и кланяться ему новымъ царствомъ.

Съ этою-то радостною вѣстью Строгоновы пріѣхали къ Иоанну, и скорѣ послѣ нихъ прибыло Ермаково посольство.

Ликованье въ городѣ было неслыханное. Во всѣхъ церквахъ служили молебны, всѣ колокола звонили какъ въ Свѣтлое Христово Воскресенье. Царь, обласкавъ Строгоновыхъ, назначилъ торжественный пріемъ Ивану Кольцу.

Въ большой кремлевской палатѣ, окруженный всѣмъ блескомъ царскаго величія, Иванъ Васильевичъ сидѣлъ на престолѣ въ Мономаховой шапкѣ, въ золотой рясѣ, украшенной образами и дорогими камнями. По правую его руку стоялъ царевичъ Ѳедоръ, по лѣвую—Борисъ Годуновъ. Вокругъ престола и дверей размѣщены были рынды, въ бѣлыхъ атласныхъ кафтанахъ, шитыхъ серебромъ, съ узорными топорами на плечахъ. Вся палата была наполнена князьями и боярами.

Воспрянувъ духомъ послѣ извѣстія, привезеннаго Строгоновыми, Иоаннъ смотрѣлъ не такъ уже мрачно, и на устахъ его даже появлялась улыбка, когда онъ обращался къ Годунову съ какимъ-нибудь замѣчаніемъ. Но лицо его сильно постарѣло, морщины сдѣлались глубже, на головѣ осталось мало волосъ, а изъ бороды они вылѣзли вовсе.

Борисъ Ѳеодоровичъ въ послѣдніе годы пошелъ быстро въ гору. Онъ сдѣлался шуриномъ царевича Ѳеодора, за котораго вышла сестра его Ирина, и имѣлъ теперь важный санъ конюшаго боярина. Рассказывали даже, что царь Иванъ Васильевичъ, желая показать, сколь Годуновъ и невѣстка близки его сердцу, поднялъ однажды три перста кверху и сказалъ, дотрогиваясь до нихъ рукой:

«Се Ѳедоръ, се Ирина, се Борисъ; и какъ рукъ моей было бы одинаково больно, который изъ сихъ перстовъ отъ нея бы ни отсѣкли, такъ равно тяжело было бы моему сердцу лишиться одного изъ трехъ возлюбленныхъ чадъ моихъ».

Такая необыкновенная милость не родила въ Годуновѣ ни надменности ни высокоумія. Онъ былъ попрежнему скромненъ, привѣтливъ къ каждому, воздержанъ въ рѣчахъ, и только осанка его получила еще болѣе степенности и ту спокойную важность, которая была прилична его высокому положенію.

Не безъ ущерба своему нравственному достоинству достигъ однако Годуновъ такого вліянія и такихъ поче-

стей. Не всегда удавалось его гибкому нраву устранять себя от дѣлъ, не одобряемыхъ его совѣстью. Такъ онъ, видя въ Малютѣ слишкомъ сильнаго соперника и потерявъ надежду уронить его въ глазахъ Іоанна, вошелъ съ нимъ въ тѣсную дружбу и, чтобы связать сильнѣе ихъ обоюдныя выгоды, женился на его дочери. Двадцать лѣтъ, проведенныхъ у престола такого царя, какъ Іоаннъ Грозный, не могли пройти даромъ Борису Ѳедоровичу, и въ немъ уже совершился тотъ горестный переворотъ, который, по мнѣнію современниковъ, обратилъ въ преступника человѣка, одареннаго самыми высокими качествами.

Глядя на царевича Ѳедора, нельзя было удержаться отъ мысли, что слабы тѣ руки, которымъ по смерти Іоанна надлежало поддерживать государство. Ни малѣйшей черты ни умственной ни душевной силы не являло его добродушное, но безжизненное лицо. Онъ былъ уже два года женатъ, но выраженіе его осталось дѣтское. Ростомъ онъ былъ малъ, сложеніемъ дряблъ, лицомъ блѣденъ и опухловатъ. Притомъ онъ постоянно улыбался и смотрѣлъ робко и испуганно. Недаромъ ходили слухи, что царь, жалѣя о старшемъ сынѣ, говаривалъ иногда Ѳедору: «Поноमारемъ бы тебѣ родиться, Ѳедя, а не царевичемъ!»

«Но Богъ милостивъ,—думали многіе:—пусть царевичъ слабъ; благо, что не пошелъ онъ ни въ батюшку ни въ старшаго брата! А помогать ему будетъ шуринъ его, Борисъ Ѳедоровичъ. Этотъ не поуплтитъ упасть государству!»

Шопоть, раздававшійся во дворцѣ между придворными, былъ внезапно прерванъ звуками трубъ и звономъ колоколовъ. Въ палату вошли, предшествуемые шестью стольниками, посланные Ермака, а за ними Максимъ и Никита Строгоновы съ дядею ихъ Семеномъ. Позади несли дорогіе мѣха, разныя странныя утвари и множество необыкновеннаго, еще невиданнаго оружія.

Иванъ Кольцо, шедшій во главѣ посольства, былъ человѣкъ лѣтъ подъ пятьдесятъ, средняго роста, крѣпкаго сложенія, съ быстрыми пронизательными глазами, съ черною, густою, но короткою бородой, подернутою легкою просѣдью.

— Великій государь!—сказалъ онъ, приблизившись къ ступенямъ престола:—казацкій твой атаманъ Ермакъ Тимофеевъ, вмѣстѣ со всѣми твоими опальными волжскими

казаками, осужденными твоею царскою милостью на смерть, старались заслужить свои вины и бьютъ тебѣ челомъ новымъ царствомъ. Прибавь, великій государь, къ завоеваннымъ тобою царствамъ Казанскому и Астраханскому еще и это Сибирское, доколѣ Всевышній благоволитъ стоять міру!

И, проговоривъ свою краткую рѣчь, Кольцо вмѣстѣ съ товарищами опустился на колѣни и преклонилъ голову до земли.

— Встаньте, добрые слуги мои!—сказалъ Іоаннъ.— Кто старое помянетъ, тому глазъ вонъ, и быть той прежней опалѣ не въ опалу, а въ милость. Подойди сюда, Иванъ!

И царь протянулъ къ нему руку, а Кольцо поднялся съ земли и, чтобы не стать прямо на червленное подножіе престола, бросилъ на него сперва свою баранью шапку, наступилъ на нее одною ногою и, низко поклонившись, приложилъ уста свои къ рукѣ Іоанна, который обнялъ его и поцѣловалъ въ голову.

— Благодарю преблагую и пресущественную Троицу,—сказалъ царь, поднимая очи къ небу:—зрю надо мною всемогущій Промыселъ Божій, яко въ то самое время, когда тѣнятъ меня враги мои и даже ближніе слуги съ лютостью умышляютъ потубить меня, всемилостивый Богъ даруетъ мнѣ верхъ и одолѣніе надъ погаными и славное приращеніе моихъ государствъ!

И, обеда торжествующимъ взоромъ бояръ, онъ прибавилъ съ видомъ угрозы:

— Аще Господь Богъ за насъ, никто же на ны! Имѣющіе уши слышати да слышатъ!

Но въ то же время онъ почувствовалъ, что напрасно омрачаетъ общую радость, и обратился къ Кольцу, милостиво смягчая выраженіе очей:

— Какъ нравится тебѣ на Москвѣ? Видывалъ ли ты гдѣ такія палаты и церкви? Али, можетъ, ты уже прежде бывалъ здѣсь?

Кольцо улыбнулся скромно-лукавою улыбкой, и бѣлизна зубовъ его какъ будто осѣтила его смуглое загорѣлое лицо

— Гдѣ намъ, малымъ людямъ, такія чудеса видѣть!—сказалъ онъ, смиренно пожимая плечами:—намъ и во снѣ такой лѣпоты не снилось, великій государь! Живемъ на Волгѣ по-мужицки, про Москву только слухомъ слышимъ, а въ этомъ краю отродясь не бывали!

— Поживи здѣсь, — сказалъ Іоаннъ благовольтельно: — я тебя изрядно велю угостить. А грамоту Ермака мы прочли и вразумѣли, и уже приказали князю Болховскому да Ивану Глухову съ пятьюстами стрѣльцовъ идти помогать вамъ.

— Премного благодарствуемъ, — отвѣчалъ Кольцо, низко кланаясь: — только не мало ли будетъ, великій государь?

Іоаннъ удивился смѣлости Кольца.

— Вишь ты какой прыткій! — сказалъ онъ, глядя на него строго. — Ужь не прикажешь ли мнѣ самому побѣждать къ вамъ на прибавку? Ты думаешь, мнѣ только и заботы, что ваша Сибирь? Нужны люди на хана и на Литву. Бери, что даютъ, а обратнымъ путемъ набирай охотниковъ. Довольно теперь всякой голи на Руси. Въмѣсто, чтобъ докучать мнѣ по всѣ дни о хлѣбѣ, пусть идутъ селиться на тѣ новыя земли! И архіерею вологодскому написали мы, чтобъ отрядилъ десять поповъ обѣдни вамъ служить и всякія требы исполнять.

— И на этомъ благодаримъ твою царскую милость, — отвѣтилъ Кольцо, вторично кланаясь. — Это дѣло доброе; только не пожалѣй ужъ, государь, поверхъ поповъ, и оружія дать намъ, сколько можно, и зелья огнестрѣльнаго поболѣ!

— Не будетъ вамъ и въ этомъ оскудѣнія. Есть Болховскому про то указъ отъ меня.

— Да ужъ и пообносились мы больно, — замѣтилъ Кольцо, съ заискивающею улыбкой пожимая плечами.

— Небось, некого въ Сибири по дорогамъ грабить? — сказалъ Іоаннъ, недовольный настойчивостью атамана. — Ты, я вижу, ни одной статьи не забываешь для своего обихода; только и мы нашимъ слабымъ разумомъ обо всемъ уже подумали. Одежду поставятъ вамъ Строгоновы; я же положилъ мое царское жалованье начальнымъ и рядовымъ людямъ. А чтобъ и ты, господинъ совѣтчикъ, не остался безъ одѣжи, — жалую тебѣ шубу съ моего плеча!

По знаку царя два стольника принесли дорогую шубу, покрытую золотой парчей, и надѣли ее на Ивана Кольцо.

— Языкъ-то у тебя, я вижу, остеръ, — сказалъ Іоаннъ: — а есть ли острая сабля?

— Да была не дурна, великій государь, только поиступилась маленько о сибирскія головы!

— Возьми изъ моей оружейной саблю, какая тебѣ болѣ

приглянется, да смотри, выбирай по сердцу, которая по-
краше. А впрочемъ, ты, я думаю, чиниться не будешь.

Глаза атамана загорѣлись отъ радости.

— Великій государь!—воскликнулъ онъ:—изо всѣхъ твоихъ милостей это самая бѣльшая! Грѣхъ было-бъ мнѣ чиниться на твоёмъ подаркѣ! Ужъ выберу въ твоей оружейной что ни на есть лучше! Только,—прибавилъ онъ, немного подумавъ:—коли ты, государь, не жалѣешь своей сабли, то дозвожь лучше отвезти ее отъ твоего царскаго имени Ермаку Тимоеичу!

— Объ немъ не хлопочи, мы и его не забудемъ. А коли ты боишься, что я не сумѣю угодить на его милость, то возьми двѣ сабли: одну себѣ, другую Ермаку.

— Исполать же тебѣ, государь!—воскликнулъ Кольцо въ восхищеніи.—Ужъ мы этими двумя саблями послужимъ твоему царскому здоровью!

— Но сабель не довольно,—продолжалъ Іоаннъ.— Нужны вамъ еще добрыя брони. На тебя-то мы, примѣривши, найдемъ, а на Ермака какъ бы за глаза не ошибиться. Какого онъ будетъ роста?

— Да, пожалуй, будетъ съ меня, только въ плечахъ пошире. Вотъ хоть бы съ этого молодца,—сказалъ Кольцо, оборачиваясь на одного изъ своихъ товарищей, здороваго дѣтина, который, принесши огромную охалку оружія и сваливъ ее на землю, стоялъ позади его съ разинутымъ ртомъ и не переставалъ дивиться то на золотую одежду царя, то на убранство рындѣ, окружавшихъ престоль. Онъ даже попытался вступить потихоньку съ однимъ изъ нихъ въ разговоръ, чтобъ узнать, не всѣ ли они царевичи? Но рында посмотрѣлъ на него такъ сурово, что тотъ не возобновлялъ болѣе вопроса.

— Принести сюда,—сказалъ царь:—большую броню съ орломъ, что виситъ въ оружейной на первомъ мѣстѣ. Мы примѣримъ ее на этого пучеглазаго!

Вскорѣ принесли тяжелую желѣзную кольчугу, съ мѣдной каймой вокругъ рукавовъ и подола и съ золотыми двуглавыми орлами на груди и на спигахъ.

Кольчуга была скована на славу и возбудила во всѣхъ одобрительный шопоть.

— Надѣвай ее, тюлень!—сказалъ царь.

Дѣтина повиновался, но сколько ни силился, онъ не могъ въ нее пролѣзть и допихнулъ руки только до половины рукавовъ.

Какое-то давно забытое воспоминаніе мелькнуло, при этомъ видѣ, въ памяти Іоанна.

— Будеть!—сказаль Кольцо, слѣдившій заботливо за дѣтиной:—довольно пялить царскую кольчугу-то! Пожалуй, разорвешь ее, медвѣдь! Государь, — продолжалъ онъ:—кольчуга добрая и будетъ Ермаку Тимоѣичу въ самую пору, а этотъ потому пролѣзть не можетъ, что ему кулаки мѣшаютъ. Этакихъ кулаковъ ни у кого нѣтъ, окромѣ его!

— А ну-ка, покажи свой кулакъ!—сказаль Іоаннъ, съ любопытствомъ вглядываясь въ дѣтину.

Но дѣтина смотрѣль на него въ недоумѣніи, какъ будто не понимая приказанія.

— Слышь ты, дурень,—повториль Кольцо:—покажи кулакъ его царской милости!

— А коли онъ мнѣ за то голову срубить?—сказаль дѣтина протяжно, и на глупомъ лицѣ его изобразилосъ опасеніе.

Царь засмѣялся, и всѣ присутствующіе съ трудомъ держались отъ смѣха.

— Дуракъ, дуракъ!—сказаль Кольцо съ досадою:—быль ты всегда дуракъ и теперь дуракомъ остался!

И, вывободивъ дѣтину изъ кольчуги, онъ подтащиль его къ престолу и показаль царю его широкую кисть, болѣе похожую на медвѣжью лапу, чѣмъ на человѣческую руку.

— Не взыщи, великій государь, за его простоту. Онъ въ рѣчахъ глупъ, а на дѣлѣ парень добрый. Онъ своими руками царевича Маметкула полониль.

— Какъ его зовуть?—спросиль Іоаннъ, все пристальнѣе вглядываясь въ дѣтину.

— А Митькою!—отвѣчалъ тотъ добродушно.

— Постой!—сказаль Іоаннъ, узнавая вдругъ Митьку:—ты никакъ тотъ самый, чтѣ въ слободѣ за Морозова бился и Хомяка оглоблей убиль?

Митька глупо улыбнулся.

— Я тебя, дурня, сначала не призналь, а теперь вспоминаю твою рожу!

— А я тебя сразу призналь!—отвѣтилъ Митька съ довольнымъ видомъ:—ты на высококомъ ослонѣ у самага поля сидѣль!

Этотъ разъ всѣ громко засмѣялись.

— Спасибо тебѣ,—сказаль Іоаннъ:—что не забыль ты

меня, малаго человѣка. Какъ же ты Маметкула-то въ полонъ взялъ?

— Животомъ навалился!— отвѣтилъ Митька равнодушно и не понимая, чему опять всё захохотали.

— Да,— сказалъ Іоаннъ, глядя на Митьку:— когда этакій чурбанъ навалится, изъ-подъ него уйти не легко. Помню, какъ онъ Хомяка раздавилъ. Зачѣмъ же ты ушелъ тогда съ поля? Да и какъ ты изъ слободы въ Сибирь попалъ?

Атаманъ толкнулъ Митьку непримѣтно локтемъ, чтобы онъ молчалъ, но тотъ принялъ этотъ знакъ въ противномъ смыслѣ.

— А онъ меня съ поля увелъ!— сказалъ онъ, ткнувъ пальцемъ на атамана.

— Онъ тебя увелъ?— произнесъ Иванъ Васильевичъ, поглядывая съ удивленіемъ на Кольцо.— А какъ же,— продолжалъ онъ, вглядываясь въ него:— какъ же ты сказалъ, что въ первый разъ въ этомъ краю? Да погоди-ка, братъ: мы, кажется, съ тобой старые знакомые. Не ты ли мнѣ когда-то про Голубиную Книгу рассказывалъ? Такъ, такъ, я тебя узнаю. Да вѣдь ты и Серебрянаго-то изъ тюрьмы увелъ. Какъ же это, божій человѣкъ, ты прозрѣлъ съ того времени? Куда на богомолье ходилъ? Къ какимъ мощамъ прикладывался?

И, наслаждаясь замѣшательствомъ Кольца, царь устремлялъ на него свой пронизательный, вопрошающій взглядъ.

Кольцо опустилъ глаза въ землю.

— Ну,— сказалъ наконецъ царь:— что было, то было; а что прошло, то травой поросло. Повѣдай мнѣ только, зачѣмъ ты, послѣ рязанскаго дѣла, не захотѣлъ принести мнѣ повинной вмѣстѣ съ другими ворами?

— Великій государь,— отвѣтилъ Кольцо, собирая все свое присутствіе духа:— не заслужилъ я еще тогда твоей великой милости. Совѣстно мнѣ было тебѣ на глаза показаться; а когда князь Никита Романычъ повелъ къ тебѣ товарищей, я вернулся опять на Волгу, къ Ермаку Тимоѣичу: не приведетъ ли Богъ какую новую службу тебѣ сослужить!

— А пока мою казну съ судовъ воровалъ да пословъ моихъ кизилбашскихъ на пути къ Москвѣ грабилъ?

Видъ Ивана Васильевича былъ болѣе насмѣшливъ, чѣмъ грозенъ. Со времени дерзостной попытки Вайюхи Перстня, или Ивана Кольца, прошло семнадцать лѣтъ, а злопамят-

ность царя не продолжалась такъ долго, когда она не была возбуждена прямымъ оскорбленіемъ его личного са-молюбія.

Кольцо прочелъ на лицѣ Іоанна одно желаніе посмѣяться надъ его замѣшательствомъ. Соображаясь съ этимъ расположеніемъ, онъ потупилъ голову и погладилъ затылокъ, сдерживая на лукавыхъ устахъ своихъ едва замѣтную улыбку.

— Всякаго бывало, великій государь!—проговорилъ онъ вполголоса:—виноваты передъ твоею милостью!

— Добро, — сказалъ Іоаннъ:— вы съ Ермакомъ свои вины загладили, и все прошлое теперь забыто; а кабы ты прежде попался мнѣ въ руки—ну, тогда не прогнѣвайся!..

Кольцо не отвѣчалъ ничего, но подумалъ про себя: «затѣмъ-то я тогда и не пошелъ къ тебѣ съ повинною, великій государь!»

— Погоди-ка,—продолжалъ Іоаннъ:—здѣсь долженъ быть твой пріятель!.. Эй!—сказалъ онъ, обращаясь къ царедворцамъ:—здѣсь ли тотъ разбойничій воевода, какъ бишь его? Микита Серебряный?

Говоръ пробѣжалъ по толпѣ, и въ рядахъ сдѣлалось движеніе, но никто не отвѣчалъ.

— Слышите?—повторилъ Іоаннъ, возвышая голосъ:— я спрашиваю, тутъ ли тотъ Микита, что отпросился къ Жиздрѣ съ ворами служить?

На вторичный вопросъ царя выступилъ изъ рядовъ одинъ старый бояринъ, бывший когда-то воеводою въ Калугѣ.

— Государь,—сказалъ онъ съ низкимъ поклономъ:— того, о комъ ты спрашиваешь, здѣсь нѣтъ. Онъ тотъ самый годъ, какъ пришелъ на Жиздру, тому будетъ семнадцать лѣтъ, убить татарами, и вся его дружина вмѣстѣ съ нимъ полегла.

— Право?—сказалъ Іоаннъ:—а я и не зналъ!.. Ну,—продолжалъ онъ, обращаясь къ Кольцу:—на нѣтъ и суда нѣтъ, а я хотѣлъ васъ свести да посмотрѣть, какъ вы поцѣлуетесь!

На лицѣ атамана выразилась печаль.

— Жаль тебѣ, что ли, товарища?—спросилъ Іоаннъ съ усмѣшкой.

— Жаль, государь,—отвѣчалъ Кольцо, не боясь раздражить царя этимъ признаніемъ.

— Да, — сказалъ царь презрительно: — такъ оно и должно быть: свой своему поневолъ братъ!

Вправду ли Іоаннъ не вѣдалъ о смерти Серебрянаго или притворился, что не вѣдаетъ, чтобъ этимъ показать, какъ мало онъ дорожить тѣми, кто не ищетъ его милости, — Богъ вѣсть! Если же въ самомъ дѣлѣ онъ только теперь узналъ о его участи, то пожалѣлъ ли о немъ или нѣтъ, это также трудно рѣшить; только на лицѣ Іоанна не написалось сожалѣнія. Онъ, повидимому, остался такъ же равнодушнень, какъ и до полученнаго имъ отвѣта.

— Поживи здѣсь, — сказалъ онъ Ивану Кольцу: — а когда придетъ время Болховскому выступать, иди съ нимъ обратно въ Югорскую землю... Да, я-было и забылъ, что Болховской свое колѣно отъ Рюрика ведетъ. Съ этими вельможными князьями управиться не легко: пожалуй, и со мной захотятъ въ разрядахъ считаться! Не всѣ они, какъ тотъ Микита, въ станичники просятся. Такъ чтобы не показалось ему обиднымъ быть подъ рукою казакаго атамана, жалую нынѣ же Ермака княземъ Сибирскимъ! Щелкаловъ, — сказалъ онъ стоявшему поодаль думскому дьяку: — изготовь къ Ермаку милостивую грамоту, чтобы воеводствовать ему надо всею землей сибирскою, а Маметкула чтобы къ Москвѣ за крѣпкимъ карауломъ прислалъ. Да кстати напиши грамоту и Строгоновымъ, что жалую-де ихъ за добрую службу и радвіе: Семену — Большую и Малую Соль на Волгѣ, а Никитѣ и Максиму — торговать во всѣхъ тамошнихъ городахъ и острожкахъ безошлинно.

Строгоновы низко поклонились.

— Кто изъ васъ, — спросилъ вдругъ Іоаннъ: — излѣчилъ Бориса въ ту пору, какъ я его осномъ поранилъ?

— То былъ мой старшій братъ, Григорій Аникинъ, — отвѣчалъ Семень Строгоновъ: — онъ волею Божьею прошлаго года умрел!

— Не Аникинъ, а Аникьевичъ, — сказалъ царь съ удаченіемъ на послѣднемъ слогѣ: — я тогда же велѣлъ ему быть выше гостя и полнымъ отчествомъ называться. И вамъ всѣмъ указываю писаться съ вичемъ и зваться не гостями, а именитыми людьми!

Царь занялся разсмотрѣніемъ мягкой рухляди и прочихъ даровъ, присланныхъ Ермакомъ, и отпустилъ Ивана Кольцо, сказавъ ему еще нѣсколько милостивыхъ насмѣшекъ.

За нимъ разошлось и все собраніе.

Въ этотъ день Кольцо, вмѣстѣ съ Строгоновыми, обѣдалъ у Бориса Федоровича за многочисленнымъ столомъ.

Послѣ обычнаго осушенія кубковъ во здравіе царя, царевича, всего царскаго дома и высокопреосвященнаго митрополита, Годуновъ поднялъ золотую братину и предложилъ здоровье Ермака Тимофеевича и всѣхъ его добрыхъ товарищей.

— Да живутъ они долго на славу русской земли!— воскликнули всѣ гости, вставая съ мѣстъ и кланяясь Ивану Кольцу.

— Бьемъ тебѣ челомъ ото всего православнаго міра,— сказалъ Годуновъ съ низкимъ поклономъ:— а въ твоемъ лицѣ и Ермаку Тимофеевичу ото всѣхъ князей и бояръ, ото всѣхъ торговыхъ людей, ото всего люда русскаго! Прими ото всей земли великое челобитіе, что сослужили вы ей службу великую!

— Да перейдутъ,— воскликнули гости:— да перейдутъ имена ваши къ сыновьямъ, и ко внукамъ, и къ позднимъ потомкамъ, на вѣчную славу, на любовь и образецъ, на молитвы и поученіе!

Атаманъ всталъ изъ-за стола, чтобы благодарить за честь, но выразительное лицо его внезапно измѣнилось отъ душевнаго волненія, губы задрожали, а на смѣлыхъ глазахъ, быть-можетъ, первый разъ въ жизни навернулись слезы.

— Да живетъ русская земля!— проговорилъ онъ тихо и, поклонившись на всѣ стороны, сѣлъ опять на свое мѣсто, не прибавляя ни слова.

Годуновъ попросилъ атамана, рассказать что-нибудь про свои походы въ Сибири, и Кольцо, умалчивая о себѣ, сталъ рассказывать съ одушевленіемъ про необыкновенную силу и храбрость Ермака, про его строгую справедливость и про христіанскую доброту, съ какою онъ всегда обходился съ побѣжденными.

— На эту-то доброту,— заключилъ Кольцо:— Ермакъ Тимофеевичъ взялъ, пожалуй, еще болѣе, чѣмъ на свою саблю. Какой острогъ, или городъ ихній, бывало, ни завоеемъ, онъ тотчасъ всѣхъ тамъ обласкаетъ, да еще и одаритъ. А когда мы взяли Маметкула, такъ онъ ужъ не зналъ, какъ и честить его; съ своихъ плечъ шубу снялъ и надѣлъ на царевича. И прошла про Ермака молва по всему краю, что подъ его руку сдаваться не тяжело;

и много разныхъ князьковъ тогда же сами къ нему пришли и ясакъ принесли. Веселое намъ было житье въ Сибири,— продолжалъ атаманъ:—объ одномъ только жалѣлъ я: что не было съ нами князя Никиты Романыча Серебрянаго; и ему бы по сердцу пришлось, и намъ вмѣстѣ было бы моготиѣе. Ты, кажется, Борисъ Ѳеодорычъ, былъ въ дружбѣ съ нимъ. Дозволь же теперь про его память выпить!

— Царствіе ему небесное!—сказалъ со вздохомъ Годуновъ, которому ничего не стоило выказать участіе къ человѣку, столь уважаемому его гостемъ.—Царствіе ему небесное!—повторилъ онъ, наливая стопу:—часто я о немъ вспоминаю!

— Вѣчная ему память!—сказалъ Кольцо, и, осушивъ свою стопу, онъ опустилъ голову и задумался.

Долго еще разговаривали за столомъ, а когда кончился обѣдъ, Годуновъ и тутъ никого не отпустилъ домой, но пригласилъ каждого сперва отдохнуть, а потомъ провести съ нимъ весь день. Угощенія слѣдовали одно за другимъ, бесѣда смѣняла бесѣду, и только позднимъ вечеромъ, когда объѣзжіе головы уже нѣсколько разъ проѣхались по улицамъ, крича, чтобы гасили кормы и огни, гости разошлись, очарованные радушіемъ Бориса Ѳеодоровича.

Прошло болѣе трехъ вѣковъ послѣ описанныхъ дѣлъ, и мало осталось на Руси воспоминаній того времени. Ходятъ еще въ народѣ преданія о славѣ, роскоши и жестокости грознаго царя, поются еще кое-гдѣ пѣсни про осужденіе на смерть царевича, про нашествіе татаръ на Москву и про покореніе Сибири Ермакомъ Тимоѳеевичемъ, котораго изображенія, вѣроятно, несходныя, можно видѣть доселѣ почти во всѣхъ избахъ сибирскихъ; но въ этихъ преданіяхъ, пѣсняхъ и разсказахъ правда мѣшается съ вымысломъ, и они даютъ дѣйствительнымъ событіямъ колеблющуюся очертанія, показывая ихъ какъ будто сквозь туманъ и позволяя воображенію возстаповлять по произволу эти неясные образы.

Правдивѣе говорятъ о наружной сторонѣ того царствованія нѣкоторыя уцѣлѣвшія зданія, какъ церковь Василія Блаженнаго, коей пестрыя главы и узорные теремки могутъ дать понятіе о причудливомъ зодчествѣ Іоаннова дворца въ Александровой слободѣ, или церковь Трифона Напруднаго, между Бутырскою и Крестовскою за-

ставами, построенная сокольникомъ Трифономъ вслѣдствіе даннаго имъ обѣта, и гдѣ доселѣ видно изображеніе святого угодника, на бѣломъ конѣ, съ кречетомъ на рукавицѣ *).

Слобода Александрова, послѣ выѣзда изъ нея царя Ивана Васильевича, стояла въ забвеніи, какъ мрачный памятникъ его гнѣвной набожности, и оживилась только одинъ разъ, но и то на краткое время. Въ смутные годы самозванцевъ, молодой полководецъ, князь Михаилъ Васильевичъ Скопинъ-Шуйскій, въ союзѣ съ шведскимъ генераломъ Делагарди, сосредоточилъ въ ея крѣпкихъ стѣнахъ свои воинскія силы и заставилъ оттуда польскаго воеводу Сапѣгу снять долговременную осаду съ Троицко-Сергіевской лавры.

Впослѣдствіи, — рассказываетъ преданіе: — въ одну жестокою зиму, въ январѣ мѣсяцѣ, къ ужасу жителей, нашла на Александрову слободу черная туча, спустилась надъ самымъ дворцомъ и разразилась надъ нимъ громовымъ ударомъ, отъ котораго запылали терема и вся слобода обратилась въ пепель. Отъ жилища роскоши, разврата, убійствъ и святотатныхъ богослуженій не осталось и слѣда...

Да поможетъ Богъ и намъ изгладить изъ сердецъ нашихъ послѣдніе слѣды того страшнаго времени, вліяніе котораго, какъ наслѣдственная болѣзнь, еще долго потомъ переходило въ жизнь нашу отъ поколѣнія къ поколѣнію! Простимъ грѣшной тѣни царя Іоанна, ибо не онъ одинъ несетъ отвѣтственность за свое царствованіе; не онъ одинъ создалъ свой произволь и пытки, и казни, и наущничество, вошедшее въ обязанность и въ обычай. Эти возмутительныя явленія были подготовлены предыдущими временами, и земля, упавшая такъ низко, что могла смотрѣть на нихъ безъ негодованія, сама создала и усовершенствовала Іоанна, подобно тому какъ раболѣпные римляне временъ упадка создавали Тиверіевъ, Нероновъ и Калигулу.

Лица, подобныя Василию Блаженному, князю Репнину, Морозову или Серебряному, являлись нерѣдко, какъ свѣтлыя звѣзды на безотрадномъ небѣ нашей русской ночи, но, какъ и самыя звѣзды, они были безсильны разо-

*) Съ тѣхъ поръ, какъ это написано, церковь Трифона Напруднаго такъ передѣлана, что ее узнать нельзя. Снаружи придѣлки, а внутренность переписана и перештукатурена въ новомъ вкусѣ. Все это вслѣдствіе пожертвованій *доброхотныхъ дателей*, какъ объясняютъ причетники.

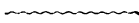
гнать ея мракъ, ибо свѣтились отдѣльно и не были сплочены ни поддерживаемы общественнымъ мнѣніемъ. Простимъ же грѣшной тѣни Ивана Васильевича, но помянемъ добромъ тѣхъ, которые, завися отъ него, устояли въ добрѣ, ибо тяжело не упасть въ такое время, когда всѣ понятія извращаются, когда низость называется добродѣтелью, предательство входитъ въ законъ, а самая честь и человѣческое достоинство почитаются преступнымъ нарушеніемъ долга! Миръ праху вашему, люди честные! Плата дань вѣку, вы видѣли въ Грозномъ проявленіе Божьяго гнѣва и сносили его терпѣливо; но вы шли прямою дорогой, не бояся ни опалы ни смерти, и жизнь ваша не прошла даромъ, ибо ничто на свѣтѣ не пропадаетъ, и каждое дѣло, и каждое слово, и каждая мысль вырастаетъ какъ древо, и многое доброе и злое, что, какъ загадочное явленіе, существуетъ понынѣ въ русской жизни, таитъ свои корни въ глубокихъ и темныхъ нѣдрахъ минувшаго.

Оглавленіе

III ТОМА.

Беллетристическія произведенія.

| | СТР. |
|--|------|
| Упирь. Разсказъ. Съ предисловіемъ Вл. Серг. Соловьева. | 3 |
| Семья вурдалака. Изъ воспоминаній неизвѣстнаго | 81 |
| Два дня въ Киргизской степи. | 109 |
| Артемія Семеновичъ Бервенковскій | 123 |
| Амена. Отрывокъ изъ романа «Стебеловскій» | 132 |
| Князь Серебряный. Повѣсть времянь Іоанна Грознаго | 155 |



UNIVERSITY OF MICHIGAN



3 9015 01921 9040



